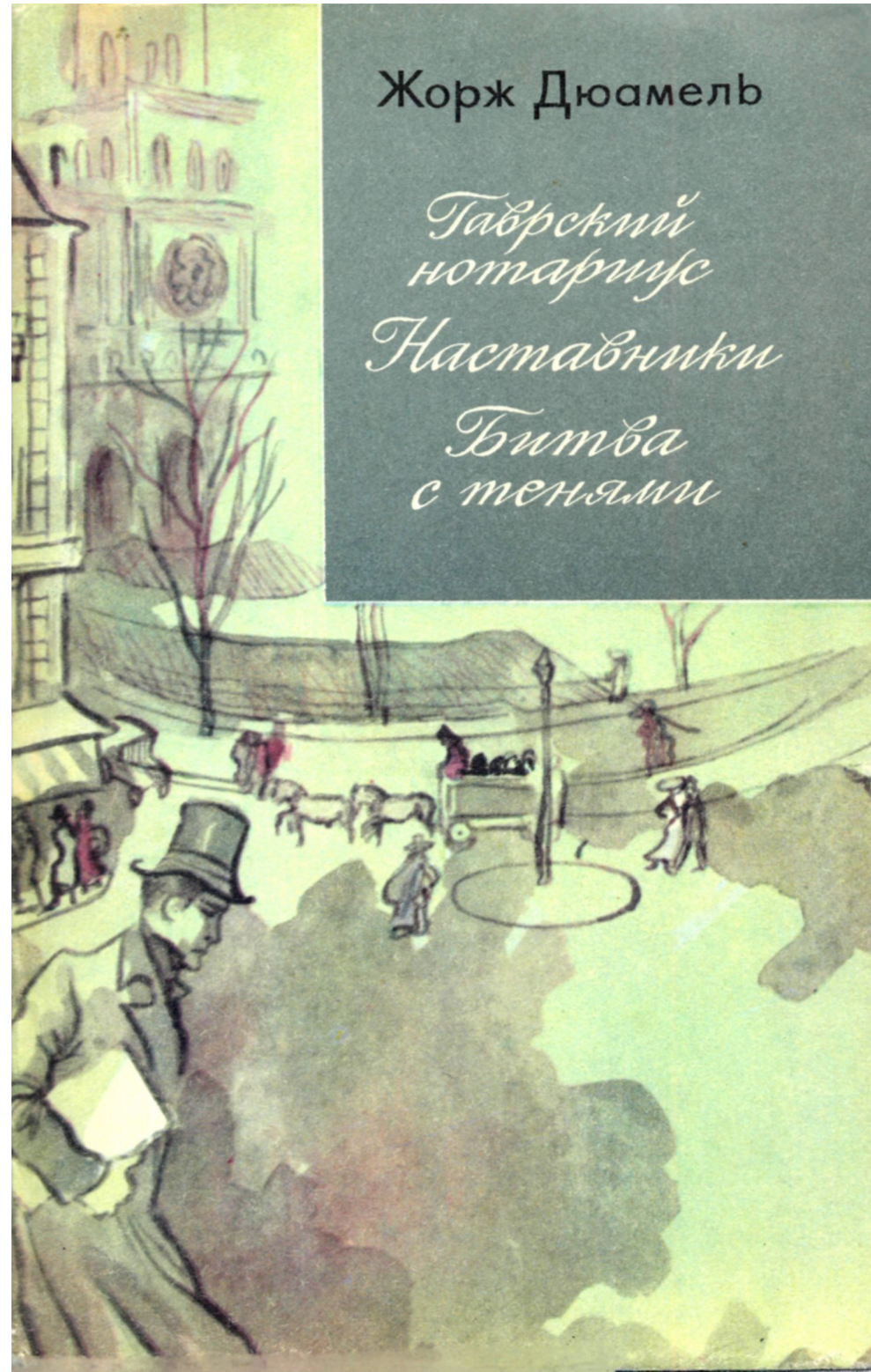
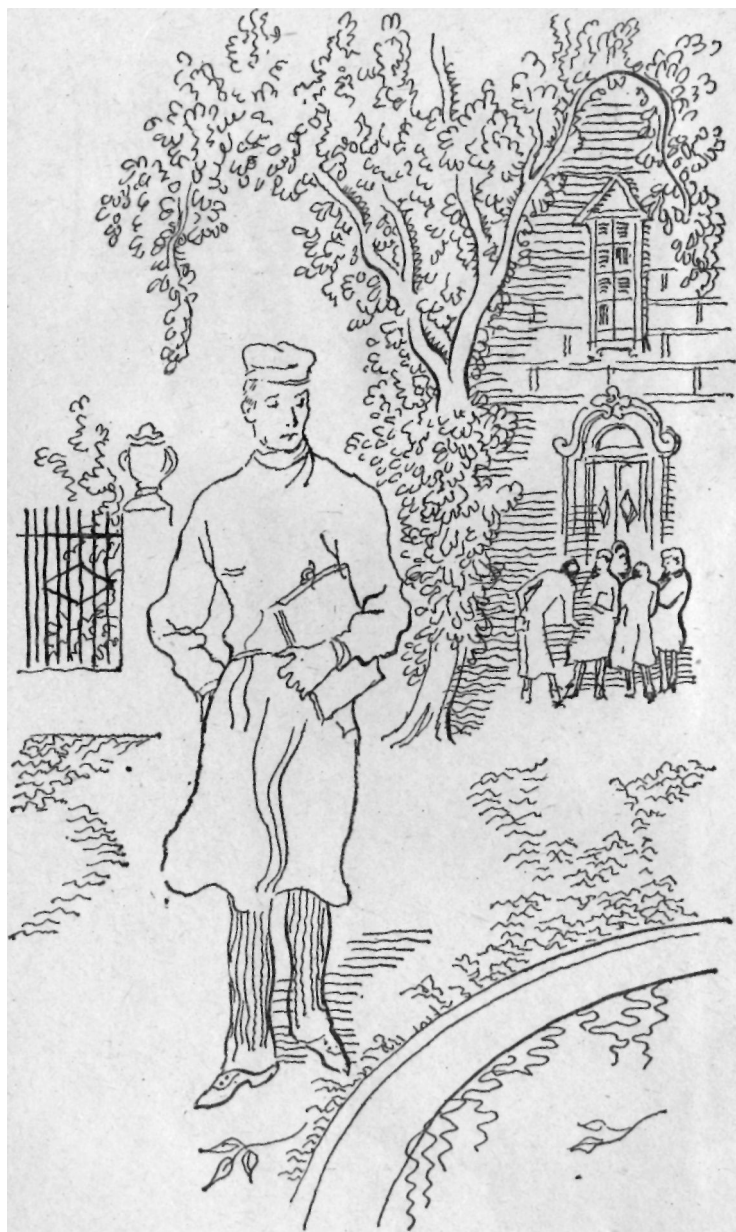


Жорж Дюамель

*Габрскій
нотариус
Наставники
Битва
с теньями*



Зарубежный
XX роман
XX ВЕКА



Жорж Дюамель

Хроника семьи Паскье

*Таврский
нотариус
Наставники
Битва
с тенями*

Перевод
с французского



Москва
«Художественная литература»
1974

И (Фр)
Д 95

Georges Duhamel
CHRONIQUE DES PASQUIER

Le Notaire du Havre, 1933
Les Maîtres, 1937
Le Combat contre les Ombres, 1939

Вступительная статья
О. Л. Тимофеевой

Художник
Б. Свешников

Дюамель Жорж.

Д95 Хроника семьи Паскье. Гаврский нотариус. Наставники. Битва с тенями. Пер. с франц. Вст. статья О. Тимофеевой. Худ. Б. Свешников. М., «Худож. лит.», 1974

528 с. (Зарубежный роман XX века)

Жорж Дюамель — выдающийся французский писатель-реалист XX века. Среди многочисленных его произведений выделяется монументальный цикл из десяти романов, объединенных общим названием «Хроника семьи Паскье».

Три романа этого цикла «Гаврский нотариус», «Наставники» и «Битва с тенями» являются самыми значительными в «Хронике семьи Паскье».

В первом романе описывается детство героя Лорана Паскье, во втором романе рассказывается о сложных взаимоотношениях Лорана Паскье со своими «наставниками» — учеными, наконец, в третьем романе показан острый конфликт того же героя с чиновной и научной средой.

Д $\frac{0734-159}{028(01)-74}$ 180-74

И (Франц)

© Издательство «Художественная литература», предисловие, перевод, оформление, 1974 г.

Д $\frac{0734-159}{028(01)-74}$ 180-74

Жорж Дюамель (1884—1966)

Жорж Дюамель — один из выдающихся прозаиков первой половины XX века, продолжатель критического реализма классиков французской литературы. Он принадлежит к плеяде писателей, создавших монументальные циклы романов, в которых отражены существенные черты современной эпохи.

Однако по сравнению с романами Анатоля Франса («Современная история»), Роже Мартен дю Гара («Семья Тибо»), Жюлья Ромена («Люди доброй воли»), Луи Арагона («Реальный мир»), Андре Мальро («Удел человеческий») изображение социальной действительности в произведениях Дюамеля отодвинуто на второй план. Главная тема его творчества — нравственные и интеллектуальные проблемы современного человека.

«Существует две истории мира — история его деяний, высеченная в бронзе, и история его мыслей, которая никого, кажется, не интересует», — говорит один из персонажей Дюамеля (роман «Полночная исповедь»). Этой второй истории и посвящено творчество Дюамеля.

Он был и поэтом, и драматургом, и прозаиком, и публицистом. Его книги имели в свое время огромный читательский успех во Франции и в других странах. Многие из них переведены на тридцать языков. Наиболее выдающиеся произведения Дюамеля актуальны и в наши дни — в них отражены те проблемы западной цивилизации, которые все настойчивее звучат в новейшей западной литературе и публицистике.

В 20-е и 30-е годы Дюамель был одним из немногих писателей-гуманистов, предупреждавших об опасностях, которые несет с собой развитие западной цивилизации, ее технический и научный прогресс. Он заявлял о необходимости направить развитие прогресса таким образом, чтобы оно не подчиняло человеческую личность единственной задаче — применению научных открытий и изобретений в промышленности для получения больших прибылей. Утверждение главенства человека, сохранение высокой человечности было движущей

силой, смыслом и целью произведений и поступков Жоржа Дюамеля.

Жизнь Дюамеля, главные вехи его биографии отмечены той же целенаправленностью, которая лежит в основе его творчества.

«Я родился в Париже, на одном из южных его холмов, — рассказывает писатель в своих воспоминаниях. — Всю свою юность я прожил среди маленьких людей, которые трудились и страдали в глубинах моего чудесного муравейника». Родители Дюамеля — выходцы из среды сельских ремесленников. Несмотря на то что детство Дюамеля прошло в обстановке постоянной борьбы с нуждой, в нем рано проявились литературные способности. Первые стихи он написал, когда ему было двенадцать лет, первый роман — в возрасте пятнадцати лет. В коллеже Дюамель учился блестяще, хотя часто и тяжело болел. «Я никогда не хотел бы вновь пережить мои детские годы», — признается писатель в своих воспоминаниях. Поступив на медицинский факультет Сорбонны, он вскоре начал заниматься исследовательской работой и подготавливать диссертацию. В то же время Дюамель не оставляет занятий литературой. В 1907 году, когда он был еще студентом, вышел сборник его стихов «Легенды и битвы».

Студенческие годы нелегко достались Дюамелю: ему приходится зарабатывать на жизнь частными уроками, работой в больнице, в библиотеке, сочинением статей для популярной медицинской энциклопедии. «Почти всем, что я узнал, я обязан бедности», — скажет впоследствии писатель.

В 1909-м — через год после окончания Сорбонны — Жорж Дюамель защищает диссертацию и получает ученую степень доктора (она соответствует ученой степени кандидата в нашей стране). Последующие пять лет он занимается научно-исследовательской работой в области физиологии.

Еще студентом Дюамель сближается с молодыми литераторами, увлекающимися поэзией и мечтами о демократическом и социалистическом обновлении человечества. Для начала они решают создать свою собственную коммуну: жить сообща, самостоятельно зарабатывать, чтобы ни от кого не зависеть, а в свободное время заниматься художественным творчеством. Молодые энтузиасты — среди них были поэты, художники, музыканты — устраивают недалеко от Парижа, в Кретейле, настоящий фаланстер: живут одним хозяйством и работают в типографии, оснащение которой куплено на общие сбережения. Они называют свое сообщество «Аббатством», имея в виду утопическое Телемское Аббатство Рабле. Поэты, входившие в эту творческую группу — Жорж Шенневьер, Жюль Ромен, Рене Аркос, Шарль Вильдрак, Люк Дюртен (каждый из них внес в дальнейшем свой значительный вклад в литературу), — создали новое направление в литературе — унизм. Это название возникло после

выхода в свет поэмы Жюль Ромена «Единодушная жизнь», которая имела значение манифеста. Слово «унанимизм» в переводе на русский язык значит единодушие. Унанимизм исходит из идеалистического мировоззрения, главная идея которого состоит в том, что человечество обладает единой душой и каждый человек — лишь ее частица. Кроме того, каждый коллектив, как бы он ни был мал или велик, непрочен или долговечен, также обладает своей собственной душой. Человек обретает полноту жизни лишь в единстве со своим коллективом, с его душой. Это единодушие является моральной основой общества, оно выше личных и классовых интересов. Душа коллектива, массы, ее психические состояния — это истинная духовная реальность, которая и должна стать предметом художественного изображения.

Поэты «Аббатства» вдохновлялись верой в социальный прогресс, в торжество демократии, поэзией Уолта Уитмена, Эмиля Верхарна, произведениями Достоевского, христианскими идеями Льва Толстого. Они стремились отобразить муки и надежды «униженных и оскорбленных», их всемирную солидарность с помощью новой поэтики. И мировоззрение, и художественная практика унанимистов были полемически направлены против символизма. Унанимисты стремились передать насыщенность, полноту действительной жизни в каждое ее мгновение.

«Аббатство» просуществовало всего лишь около двух лет. Но направление унанимизма оставило свой след в литературе, пробудив более углубленное внимание к жизни простых людей, к связям человека с его социальной группой, развив умение ощутить полноту бытия в обыденных, казалось бы, незначительных явлениях и состояниях.

В поэтических произведениях Дюамеля «Легенды и битвы» (1907), «Прежде всего человек» (1909), «По моему закону» (1910), «Спутники» (1912) отражены идеи унанимизма, общие для всей группы «Аббатства». В своем последующем творчестве Дюамель отошел от унанимистского культа абстрактного коллектива, обратившись к раскрытию духовного богатства индивидуальности. Но в течение всей своей жизни он остается верен тем гуманистическим идеалам, которые были выражены им уже в его унанимистской поэзии: он призывает найти полноту бытия в единстве с природой и человечеством, прославляет духовную красоту человека, скрытую порой в самых неприметных и скромных «маленьких» людях.

В предвоенные годы Дюамель обращается и к драматургии. В театре «Одеон» были поставлены его пьесы «Свет» (1911) и «Под сенью статуй» (1912), где впервые у Дюамеля звучат социально разоблачительные мотивы. В следующем году в «Театр дез Ар» поставлена его пьеса в стихах «Битва».

В 1909 году Дюамель женится на Бланш Альбан, которая становится вскоре актрисой театра «Одеон», а затем много лет играет на сцене «Вьё Коломбье». Отблеск долгой и счастливой семейной жизни Дюамеля и Бланш Альбан, выросших троих сыновей, найдёт свое отражение в книге «Игры и утехи» (1922).

В 1914 году в жизнь Дюамеля ворвалась трагедия первой мировой войны.

В первые же дни войны Дюамель отправился на фронт добровольцем (по состоянию здоровья он был освобожден от военной службы). Он работает военным врачом — сначала ассистентом, а затем главным хирургом корпуса — на самых горячих участках фронта. За четыре с половиной года он прооперировал две тысячи триста человек, через его руки прошли четыре тысячи раненых. Сохранились воспоминания людей, которые работали вместе с Дюамелем. Они рассказывают о его самоотверженности, постоянном стремлении быть рядом с самыми тяжелыми ранеными. Однажды, когда привезли раненых после газовой атаки, он попросил, чтобы его перевели в барак, где умирали отравленные газами. Он оставался с ними до конца, пытаясь вопреки всему спасти обреченных и, во всяком случае, облегчить их страдания.

В течение всех военных лет Дюамель вел записи обо всем, что ему пришлось увидеть и пережить. На основе этих непосредственных впечатлений написаны сборники рассказов «Жизнь мучеников» (1917) и «Цивилизация» (1918), сразу же получившие широкое общественное признание. За книгу «Цивилизация» Дюамелю была присуждена Гонкуровская премия.

Эти произведения сам Дюамель называет «литературой свидетельства». Эпиграфом к ним можно было бы поставить строки Элюара:

«Я говорю о том, // Что вижу, // Что знаю, — // Правду».

«Я действительно свидетельствовал, — пишет Дюамель. — Я не говорил о тактике и тем более о стратегии. Но мне кажется, что без этих смиренных свидетельств та большая история, о которой пишут историки, была бы слишком неполной».

В книгах «Жизнь мучеников» и «Цивилизация» засвидетельствованы страшные будни войны. Но и в этом кровавом аду Дюамель, склонившийся над умирающими и искалеченными людьми, не утратил своего гуманистического идеала. Напротив, он нашел его живое воплощение в молчаливом героизме и высоком человеческом достоинстве, с которыми солдаты переносят тяжелейшие ранения и сознание неминуемости мучительного конца. По силе изображения войны как кровавой бойни, как потрясшей сознание людей мировой трагедии рассказы Дюамеля о войне стоят рядом с книгами Анри Барбюса «Огонь» и «Ясность». Анри Барбюс высоко ценил их за правди-

вость. Но между этими произведениями, столь близкими по теме и материалу, есть существенная разница.

В «Жизни мучеников» и «Цивилизации» не отражен рост революционного сознания в массах, понятый и показанный Барбюсом. С большим мастерством писателя-реалиста Дюамель показывает раненых солдат и младших офицеров — с их разными характерами, каждый из которых обладает своим особым душевным богатством и неповторимостью. Но ни в одном из образов этих людей из народа, поднявшихся до высокого героизма и чуждых официальным громким словам, Дюамель не увидел протеста против войны. Герои его рассказов — мученики и жертвы, протест же рождается в душе самого рассказчика, который мучительно старается понять, как мог стать реальностью кошмарный разгул святотатственных античеловеческих преступлений мировой войны.

Дюамель приходит к выводу: причина мировой трагедии — в кризисе цивилизации, в ложной античеловеческой направленности ее развития. «Нет цивилизации в этом ужасающем хламе (здесь Дюамель подразумевает технику. — *О. Т.*), и если ее нет в человеческом сердце, значит, ее нет нигде».

Вернувшись с фронта, Дюамель полностью посвящает себя литературе, отказавшись от научной и медицинской деятельности. В 1919 году он пишет философское эссе «Овладение миром» и «Беседы во время столпотворения», в которых собрано воедино и по-новому осмыслено все, что записывал Дюамель на фронте из своих бесед с солдатами и офицерами о войне и ее причинах. В этих произведениях Дюамель предлагает свое решение проблемы кризиса цивилизации — моральную революцию. Люди должны освободиться от ужасного культа материального обладания. Счастье — только в духовном обладании, в поэтическом познании мира. Если бы все люди пришли таким образом к внутренней гармонии с миром, войны и революции были бы невозможны. «Нет истинной революции, кроме моральной. Все прочее — бедствие, напрасно проливаемые кровь и слезы».

Эссе «Овладение миром» имело большой успех: за два года его издавали тридцать шесть раз, у Дюамеля появились последователи, его приглашали в разные страны Европы, где он выступал с лекциями, провозглашая свои пацифистские идеи.

В послевоенные годы Дюамель активно занимается общественной деятельностью. Он сближается с Анри Барбюсом и движением «Кларте», объединившим прогрессивных писателей Европы в борьбе против войны и за социальное переустройство общества.

Выступления Дюамеля на страницах журнала «Кларте» имели антивоенный и антиимпериалистический характер. Но его сотрудничество с «Кларте» продолжалось недолго. Вскоре выявились разногласия между Барбюсом, с одной стороны, и Роменом Ролланом и Дюа-

мелем — с другой. Барбюс резко возражал против положения Ромена Роллана и Дюамеля об отказе от политической практики.

В 1920 году Дюамель, близкий к левому крылу социалистической партии, становится сотрудником газеты социалистов «Попюллер де Пари» и отходит от «Кларте».

В 1923 году Дюамель вместе с Роменом Ролланом принимает участие в создании журнала «Эроп», объединившего широкие круги прогрессивно настроенной интеллигенции. В 1925-м он, откликнувшись на призыв Французской коммунистической партии, вместе с другими писателями (Барбюсом, Арагоном, Элюаром, Ж.-П. Блоком, Муссином, В. Маргеритом) выступает в «Юманите» и «Кларте» протестом против войны в Марокко. В 1926 году Дюамель по поручению Международной организации Красного Креста вместе с Жаном Шенневьером совершает поездку в Польшу, где писатели засвидетельствовали, что политические заключенные содержатся в ужасных условиях. В 1927 году Дюамель приезжает в Москву для того, чтобы познакомиться с Советской Россией. Он был одним из первых крупных западных писателей, побывавших в Москве. Возвратившись во Францию, Дюамель опубликовал книгу «Путешествие по Москве», которая имела большой общественный резонанс. В этой книге Дюамель признает, что в результате революции «громадное большинство русского народа получило выгоды, которые оно хочет сохранить и защитит». Но революция, совершенная о помощью насилия, для него по-прежнему неприемлема. Поэтому все, что ему довелось увидеть и услышать в Москве, Дюамель воспринимает сдержанно и настороженно. Тем не менее общую настроенность книги, по его собственным словам, можно определить как проявление доброй воли.

С 1925 по 1928 год Дюамель побывал во многих странах Европы, в том числе в скандинавских. Его впечатления и размышления об этих поездках объединены в книге «Сердечная география Европы». В этой книге, пацифистской по духу, Дюамель мечтает о том, как с помощью мирных средств — переписки, личных контактов, путешествий, конференций, книг — установить братскую любовь между нациями и изжить национальную вражду. Впоследствии Дюамель признавал, что в «Сердечной географии Европы», где он любовался тем, что осталось в европейских странах от старой Европы, подлинные проблемы европейской цивилизации оказались в стороне,

В книге «Сцены будущей жизни» (1930), написанной после путешествия в США в 1928 году, Дюамель более проникновенен — его анализ американской цивилизации во многом актуален и в наши дни. Дюамель был первым послевоенным европейским писателем, ощутившим глубокую тревогу перед угрозой распространения далеко за пределы США американского образа жизни, страшного своей без-

духовностью. Его ужасает оскудение и разрушение человеческой личности, к которому ведет ускоренное развитие «машинной цивилизации» с ее культом материального процветания, доведенным до фетишизма. «Навязать человеку потребности и аппетиты, чтобы сбывать свой товар, — вот в чем суть философии этой торговой диктатуры», — пишет Дюамель, зорко замечая явление, о котором публицисты и социологи будут писать только через тридцать лет.

Он предвидит и опасности того, что теперь называют «массовой культурой». Его возмущает колоссальное распространение с помощью новой техники третьесортной культурной продукции, отучающей людей мыслить. Эти опасения он развивает и в других своих работах: «Гуманист и автомат» (1933), «Семейные споры» (1933), «Защита литературы» (1937).

Дюамель увидел в США, что «машинная цивилизация» достигла там много по сравнению с Европой этапа развития. Он называет свою книгу «Сцены будущей жизни», потому что и Европе не миновать этого пути в недалеком будущем. Но он заглядывает еще дальше. Предвосхищая некоторые нынешние научно-фантастические утопии, Дюамель выступает против «машинной цивилизации» и как биолог: он опасается, что машины, освободив человека от необходимости совершать усилия, вызовут физическую деградацию человечества. «Раз машина существует, почему бы не потребовать от нее всего? Чтобы она освободила нас от всего, даже от жизни?» Идеи, волновавшие Дюамеля, высказанные также в «Письмах к моему другу патагонцу» (1926), нашли отражение в его художественном творчестве позднее — в цикле романов «Хроника Паскье».

В 20-е годы Дюамель завершает свое поэтическое творчество сборником «Элегии и баллады» (1920), в котором развиты темы «Жизни мучеников», создает ряд пьес для театра и одновременно начинает писать цикл романов «Жизнь и приключения Салавена». В 1921 году выходит первый роман этого цикла «Полуночная исповедь».

Драматургия Дюамеля (1920—1923) имеет ясно выраженную сатирическую антибуржуазную направленность. В пьесе «Деяния атлетов» (1920) разоблачается коррупция буржуазной прессы. В пьесе «День признаний» (1923) деловитым и циничным буржуа противопоставлен интеллигент — выразитель гуманистических идеалов. Драматургия Дюамеля сыграла значительную роль в развитии левого либерально-реформистского французского театра 20-х годов. В последующие годы Дюамель не обращался больше к драматургии, но темы его пьес получили развитие в романах.

С 1924 года, когда выходит второй роман цикла «Жизнь и приключения Салавена» и роман «Принц Жаффар», главным жанром в творчестве Дюамеля становится роман. В это время писатель зани-

мается изучением проблем романа и пишет «Этюд о романе» (1925), в котором высказана его эстетическая программа. По мысли Дюамеля, искусство играет важную роль в жизни общества. Оно — не самоцель, а средство познания жизни и человека, средство воспитания человека. «Всякий роман, удаляющий нас от жизни, каким бы привлекательным он ни казался, является ошибочным и жалким производением», — пишет Дюамель. С его точки зрения, наиболее плодотворны традиции классиков французского реалистического романа. Но, по его мнению, в XX веке настало время не столько изображать конкретную социальную действительность, сколько изучать «единственную подлинную реальность» — внутренний мир человека, в котором таятся вечные незблемые ценности.

Эта эстетическая программа осуществлена в цикле романов «Жизнь и приключения Салавена», самого выдающегося произведения Дюамеля 20-х и начала 30-х годов.

Вспоминая о том, как возник у него замысел образа Салавена, Дюамель рассказывает, что, когда он ходил один по улицам Парижа, за ним неотвязно следовала тень еще не родившегося персонажа и нашептывала свои истории. Это было еще в 1914 году до начала войны. Тогда же была написана и первая глава первого романа. Персонаж, которого Дюамель назвал Салавеном, сопровождал многообразную деятельность писателя до 1932 года.

Салавен — мелкий канцелярский служащий, но его социальная принадлежность не имеет большого значения в романе. В предисловии к русскому изданию четвертой книги цикла «Дневник, Салавена» (в русском издании «Дневник святого») Дюамель так поясняет свой замысел: «То, что я хотел показать в романе, вовсе не является психологией, присущей только канцелярскому служащему. Это — психология общечеловеческой значимости, обрисованная случайными чертами канцелярского служащего». И в другом месте он уточняет: «Это человек, каких, конечно, очень много, человек со своими недостатками и достоинствами, со своими смешными черточками и минутами величия». На вопрос одного писателя: «Почему тебя так долго занимает жизнь мелкого канцелярского служащего?» — Дюамель ответил: «Послушать тебя, и станет непонятно, почему Пастер делал свои опыты над мышами и морскими свинками. Он должен был бы, конечно, экспериментировать только над принцами и прелатами».

В пяти романах о Салавене изображена духовная одиссея человека, стремившегося достичь в своей жизни нравственного идеала. Дюамель показывает слабые, наивные, смешные стороны Салавена и в то же время высокую человечность его стремлений. Критики находят в Салавене некоторые черты самого автора.

Салавен считает себя незаурядной личностью — человеком тонкой духовной организации, глубоко чувствующим и способным на ве-

ликие поступки. Он страдает от ничтожности своего социального положения, его убивает однообразие и убогость жизни, которую он вынужден вести, ему тесно и душно в этом мире. В нем пробуждается жажда совершить что-то великое, необычайное, но что именно, он и сам не знает. Первую робкую попытку выделить себя из серой массы конторских служащих Салавен совершает в романе «Полуночная исповедь». Неожиданно для самого себя он вдруг дотрагивается пальцем до уха своего начальника. Единственный результат — увольнение. Этот смешной и нелепый поступок — первый шаг, с которого начинаются искания Салавена.

В романе «Двое» (1924) Салавен пытается найти духовную гармонию в дружбе, но его друг — во всем ему противоположная натура. Если Салавен склонен к внезапным порывам и самоанализу, то Эдуард не помышляет ни о каком самосовершенствовании, он удовлетворен спокойным существованием. Эта книга изображает очередное фиаско Салавена, и все же лиризм и мягкий юмор, пронизывающие это повествование о дружбе, окрашивают ее в светлые тона.

В романе «Клуб на Лионской улице» (1929) Салавен снова сталкивается с людьми, которые ему во всем противоположны, — энергичными, волевыми, целеустремленными. Это — коммунисты. Салавен пытается их понять в надежде последовать их примеру. Но он разочаровывается, так как коммунисты, по его мнению, лишены утонченной культуры, духовных стремлений и потому стремятся завоевать для народа лишь материальное благосостояние. Салавен же — идеалист и не желает принимать во внимание реальные материальные потребности. Он считает, что людям не нужно ничего, кроме морального усовершенствования.

В последнем романе «Таков он сам по себе» (1932) Салавен обращается к практической деятельности. Он совершает самоотверженные поступки — работает бесплатно в арабской больнице, выполняя самую тяжелую работу, берет на себя заботы о несчастном полудиком арабе. Но окружающие его люди, не понимая, зачем он все это делает, смеются над ним, араб же, возмущенный нелепостью поведения своего благодетеля, убивает его. Умирая, Салавен переживает нравственное озарение. Он говорит жене: «О, если бы я должен был начать жизнь сначала, мне кажется, я знал бы как. Как это было бы просто! Как мы были бы счастливы!» Салавен понял, что он должен был не бежать от своего серого, как ему казалось, существования, а именно в нем найти скрытые возможности поэзии и любви.

Этот финал романа ясно говорит о том, что «Жизнь и приключения Салавена» — это романическое воплощение идей, высказанных Дюамелем в «Овладении миром». По поводу множества писем от читателей самых разных стран, которые узнавали себя в Салавене, писатель говорит: «Это не специфически французская фигура — это

человек. Таков и был мой замысел: найти всемирно человеческое и вечно человеческое». «Салавена надо рассматривать как «геометрическое место» всей человеческой сущности в широком смысле слова, тем более что эта сущность не локализована ни во времени, ни в пространстве». Однако цикл о Салавене не укладывается в прокрустово ложе заранее заданной идеи, как это всегда бывает в подлинно художественном произведении. Как бы ни стремился писатель определить сущность человека вне времени и пространства, эта попытка, конечно, отмечена точным историческим временем — периодом между двумя мировыми войнами. «Салавен — это воплощение смятения умов тотчас же после войны; это образ среднего европейца, преследуемого призраками», — пишет французский критик Пьер Кюрнье.

Сила художественного обобщения и психологической правдивости образа Салавена таковы, что в нем отразились те черты сознания буржуазного интеллигента первого послевоенного периода, которые оставались характерными для него и в последующие десятилетия. Интеллектуальная и духовная смятенность, бесконечные колебания в попытках решить, в чем его цель а что он должен делать, с классической ясностью отраженные в образе Салавена, через четверть века стали неотъемлемыми свойствами героев экзистенциалистского романа.

Салавен упорно ищет выхода из невыносимой для него ситуации, которую переживало в начале 20-х годов все «потерянное поколение»: после катастрофы первой мировой войны ни о какой религии не может быть и речи, утрачена и вера в спасительность цивилизации. Остается одно — искать моральную опору в самом себе. И вот Салавен, несмотря на то что бога нет, а может быть, именно поэтому, решает стать святым («Дневник святого», 1927). Ему кажется, что в этом он обретет нравственную опору, на которой можно было бы удержаться и противостоять хаосу, грозящему вторгнуться во внутренний мир человека. Духовная эволюция Салавена приводит к выводу: нравственная победа человека возможна и тогда, когда он терпит поражение; в благородстве мужества он полностью осуществляет себя, и в этом его спасение, даже при условии, что его усилия не приводят к видимым во времени результатам.

Идеал героического стоицизма, к которому стремится Салавен, так его и не достигнув, на двадцать пять лет опережает задачу, которую ставит перед собой персонаж романа Альбера Камю «Чума» Тарру: «Теперь я знаю только одну конкретную проблему — возможно ли стать святым без бога». Другой персонаж «Чумы» доктор Риз переводит эту проблему на обычный язык: «Единственное, что мне важно, — это быть человеком». Переключка идей у персонажей «Салавена» и «Чумы» ясно говорит о том, что в цикле романов о Салавене уже определилось то направление духовных поисков части за-

падноевропейской интеллигенции, что найдет свое выражение во французской литературе середины 40—50-х годов в произведениях тех писателей, которые переосмыслили свой индивидуалистический протест в свете пережитого ими Сопротивления.

Развитие проблем, поставленных в романах о Салавене, закономерно вело писателя к следующему циклу — «Хронике Паскье». Знаменательно, что Дюамель начал работать над первым романом нового цикла — «Гаврский нотариус» — тотчас же после выхода в свет последнего романа цикла «Жизнь и приключения Салавена».

В «Хронике Паскье» проблема поисков выхода — как жить и что делать в ситуации углубляющегося кризиса западной цивилизации — исследуется писателем на примере уже не изолированной судьбы, взятой вне времени, а нескольких судеб, точно датированных и связанных в единое целое как история семьи.

Разъясняя во многих своих работах и выступлениях замысел «Хроники Паскье», Дюамель говорит, что он хотел изобразить в ней не социальную и естественную историю семьи в духе Эмиля Золя, но прежде всего ее человеческую историю с присущими ей радостями и горестями — горячую, живую плоть клана. Но этим не ограничивается замысел писателя: он ставит своей целью показать не только историю семьи, но и явление такого широкого плана, как формирование во Франции в период с 1880 по 1930 год духовной элиты страны, — восхождение средней французской семьи к вершинам культуры. Об этом ясно сказано во вступлении к первому роману «Хроники» — «Гаврский нотариус», причем подчеркивается, что самые выдающиеся представители науки и культуры — это люди, чьи отцы или деды возделывали землю Франции или жили трудом своих рук, то есть были рабочими или ремесленниками. «Необходимо много рабочих для того, чтобы мог появиться один ученый, и для того, чтобы его появление было оправдано», — пишет Дюамель.

В одной из своих лекций писатель дает такое краткое резюме «Хроники»: «Основной сюжет истории Паскье — восхождение семьи, вышедшей из народа, к вершинам элиты, между 1880 и 1930 годами. Раймон Паскье, сын садовника из Иль-де-Франса, трудолюбиво изучает науки и, отчасти благодаря тому, что его жена Люси-Элеонора упорно и увлеченно помогает ему, получает диплом врача. От этой жены у него было семь человек детей, пять из них выжили. Один из них (Лоран) станет, не без усилий и перипетий, одним из выдающихся биологов своего времени. Старшая из дочерей (Сесиль), исключительно одаренная музыкантша, очень рано станет великой пианисткой. Младшая, замечательная красавица (Сюзанна), станет актрисой. Старший сын, скупаемый самыми суетными вожделями, становится известным дельцом (Жозеф). Наконец, один из сыновей тихо погрязнет в беспросветной посредственности (Фердинан).

Французский критик Поль Кюрнье пишет о «Хронике Паскье»: «У Дюамеля нет аполгии буржуазной семьи, как у Поля Бурже, но он и не проклинает ее, как Андре Жид». В это наблюдение необходимо внести существенное уточнение. «Хроника Паскье» не может быть ни аполгией буржуазной семьи, ни ее проклятием просто потому, что в ней нет изображения собственнической буржуазной семьи, как, например, в романах Франсуа Мориака, Филиппа Эрриа, Эрве Базена. В первом романе «Хроники», «Гаврском нотариусе», показано, что семья Паскье — Раймон, его жена Люси и дети — постоянно терпит лишения, а собственность, которой они обладают, весьма эфемерна. Единственное их подлинное достояние — это трудолюбие и упорное стремление к знаниям, культуре. Но когда подрастают дети, в семье начинается настоящее социальное расслоение. Она распадается на две враждебные, по сути, группы. Одна — Лоран и Сесиль, позднее к ним присоединится младшая — Сюзанна — представители трудовой интеллигенции, другая — Жозеф и Фердинан — настоящие буржуа. На протяжении всех десяти томов «Хроники» Лоран Паскье, в котором воплощено гуманистическое начало — любовь к людям, правдоискательство, бескорыстная преданность науке, — испытывает ужас и отвращение, сталкиваясь с миром буржуазного предпринимательства, с его цинизмом, алчностью и грязными махинациями, персонифицированными в образе старшего брата Жозефа.

В романе «Гаврский нотариус» этот страшный мир воплощен и в том разрушительном влиянии, которое оказывают на семью надежды на богатое наследство («Неведомое чудовище вторглось в нашу жизнь, оно готовилось все разрушить, уничтожить, растоптать» — так определяет это влияние Лоран), и в гротескном и в то же время реалистическом образе домовладельца, душевная грубость которого становится причиной самоубийства маленького Дезире — друга детства Лорана.

В последующих томах носителем этого антидуховного начала становится Жозеф Паскье. Жадность и нравственная тупость, доводящие его до подлости, изображаются в каждом томе «Хроники» в их постепенном развитии, сопутствующем его социальному восхождению.

В «Хронике Паскье» — в ее образах, в самой художественной ткани ясно выражена главная идея Дюамеля, развитая им в эссе «Овладение миром» и в цикле романов о Салавене: стремление современной цивилизации к материальному процветанию враждебно ее духовному развитию. Но если в «Овладении миром» и даже в «Салавене» эта идея находит самое абстрактное выражение, то в романах «Хроники» сила художественного обобщения, заключенная в ее образах, обнажает социальную основу этого главного положения Дюамеля. Она состоит в том, что духовному развитию противоречит не

само по себе материальное процветание, а буржуазное процветание, враждебное национальной культуре. Таков объективный смысл «Хроники Паскье».

Каждый из романов «Хроники» может быть прочитан и как самостоятельное произведение. Из тома в том переходят все те же герои — несколько замечательно рельефных образов. Доктор Раймон Паскье — неисправимый и обаятельный фразер, фанфарон, донжуан, прожектор, но в то же время и волевой, трудолюбивый, по-своему, в духе позитивизма XIX века, преданный идеям прогресса, сумевший привить своим детям — тем из них, которые имели к этому склонность, — жажду знаний, тягу к культуре, целеустремленность. Люси Паскье — трогательный тип любящей матери и преданной жены. Лоран — вечно беспокойная, страдающая душа, человек, неспособный на моральные компромиссы, готовый всем пожертвовать ради истины и справедливости. Жюстен Бейль — с его идеальными стремлениями, бескорытием и безответной, преданной любовью к Сесил и Жан-Поль Сенак — несчастный поэт, загадочная натура, отталкивающая и привлекательная одновременно. Все эти и другие образы «Хроники» написаны с подлинным мастерством в своеобразной дюамелевской манере, спаивающей в одно нераздельное целое лиричность и мягкий юмор, сдержанность и патетику, философское раздумье и реалистическую достоверность. Но главная особенность «Хроники», ее необходимейший элемент состоит в том, что вся она сцементирована непрерывной и напряженной работой мысли ее центрального героя — Лорана Паскье. Все, что происходит в «Хронике»: драматические события жизни Лорана, его родных и друзей — содержание десяти томов, — нанизано на единый стержень, основную драму Лорана, драму идей и поисков нравственного абсолюта.

Сравнивая «Хронику Паскье» с воспоминаниями Дюамеля, убеждаешься в том, как много в ней автобиографического. Так, Раймон Паскье необычайно похож на отца писателя. Пьер-Эмиль Дюамель — сын сельского ремесленника; так же, как и Раймон Паскье, отец Дюамеля перепробовал множество профессий, без конца переезжая с места на место, и наконец в пятьдесят лет получил диплом врача, всего на три года раньше, чем его сын Жорж.

Признавая, что образы отца и матери во многом списаны с его собственных родителей, Дюамель подчеркивает, что, по мере того как создавалась «Хроника», они все больше отходили от своих прототипов. Что касается детей Паскье, то они не имеют ничего общего с его братьями и сестрами, утверждает писатель, поэтому «Хронику Паскье» Дюамель называет своими «вымышленными воспоминаниями».

Основные вехи жизни Лорана Паскье совпадают с фактами биографии самого Дюамеля — годы учения на медицинском факультете,

работы в Пастеровском институте, участие в творческом содружестве унанимистов. Но история личной жизни молодого ученого, разумеется, вымышлена.

Примером того, как преобразуются в «Хронике» впечатления, взятые из жизни писателя, может служить история дружбы Лорана с Дезире Васселеном в «Гаврском нотариусе», а затем, в последующих томах, — дружба с Жюстеном Вейлем. Оба эти персонажа возникли в воображении писателя на одной и той же жизненной основе. Когда Жоржу Дюамелю было четырнадцать лет, его друг Жюль К. погиб, попав под поезд. Дюамель рассказывает в воспоминаниях: «Он был мой ровесник и друг. Я назвал его Жюстеном а продлил его существование, дав ему возможность наслаждаться и страдать, полной чашей черпая богатство жизни, а себе — пережить в мечтах всю эту пылкую дружбу с ним, которая была у нас отнята». Таким образом, смерть друга детства была действительно пережита Дюамелем, но она была лишь толчком для создания эпизода самоубийства Дезире, которым завершается роман «Гаврский нотариус», как бы выводя подростка Лорана из узкого семейного круга в мир суровых невзгод человеческого существования.

Поясняя композиционный замысел «Хроники», Дюамель пишет: «Есть свой смысл в том, что термин «цикл», или циклическая композиция, может быть сегодня применен к роману, потому что роман занял в представлениях публики и в истории литературы место поэмы... Главный персонаж произведений этого рода — время, которое современные ученые считают четвертым измерением мира... Здесь не может быть завязки, интриги, развязки. Разве есть развязка у жизни вида?»

Первые три тома «Хроники» — «Гаврский нотариус» (1933), «Зверинец» (1934), «Вид земли обетованной» (1934) — посвящены семье Паскье, еще не расставшейся со своими сыновьями. «Гаврский нотариус» — воспоминания Лорана Паскье о своем детстве — это почти поэма в прозе, полная лиризма. Образы отца и матери — Раймона и Люси Паскье, узкий семейный круг, первая детская дружба окружены ореолом поэтичности. Мать для мальчика — «святая в тысяче всяких мелочей» — неутомимо заботливая, трудолюбивая, у нее ловкие и нежные руки, ясный ум, своеобразная гордость и такт. Отец вызывает у маленького Лорана совсем другие чувства — он и любит его, и боится его гнева и холодной насмешливости. В связи с наследством, которое должна получить его жена, в Раймоне Паскье проглядывают те черты, которые расцветут пышным цветом в его старшем сыне Жозефе — склонность к денежным аферам, бесцеремонность с близкими.

«Согласись, что деньги — это хитрая штука! И надо быть простаком, чтобы выколачивать горбом какие-то десять — двенадцать

франков за ночь», — говорит он жене, когда, к ее ужасу, в счет будущего наследства, покупает акции, чтобы получать с них проценты.

В романе «Гаврский нотариус» сюжетная линия, связанная с наследством, ведет к развитию жесткой темы семейных неладов, которые позже вынудят Лорана уйти из семьи родителей (в романе «Вид земли обетованной»). Тема денег как жестокой и враждебной силы закономерно связана и с темой «униженных и оскорбленных», которая находит свое завершение в смерти Дезире Васселена. И все же светлые тона в романе «Гаврский нотариус» преобладают. Как справедливо отмечает критик Поль Кюрнье: «Дюамель отказывается изображать мир только в мрачных тонах. Он протестует против тенденции литературы отчаяния». Образ живого Дезире Васселена — мальчика, очаровательного своей наивностью, чистотой, упрямой привязанностью к мучившему его отцу, — занимает немалое место в повествовании Лорана о своем детстве, в то время как о его самоубийстве рассказано всего лишь в нескольких строках — сдержанно и без нажима. Это соотношение светлого и трагичного, в котором всегда, в конечном счете, весомее жизнеутверждающее начало, характерно для всей «Хроники Паскье».

Чем больше взрослеет Лоран, тем нестерпимее становятся для него циничная жадность старшего брата, для которого деньги — единственное мерило ценности человека, и безответственное поведение отца, который обманывает мать. Лоран жаждет человеческих отношений, не оскверненных корыстью и ложью. О попытке создать идеальное творческое содружество молодых поэтов, художников и музыкантов, которые живут и зарабатывают сообща, рассказывает роман «Бьеврское уединение» (1937). В нем воспроизведена история унитаристской группы «Аббатство», однако Дюамель подчеркивает в своих воспоминаниях, что все персонажи романа вымышлены и ни в какой мере не являются литературными портретами друзей его молодости. В романе показано, что даже молодым и независимым людям слишком трудно ужиться вместе. «Я убежал из дома потому, что у меня вызывали ужас все эти дразги, вздорные перебранки, мелкая зависть. А здесь я нахожу все то же самое. По-видимому, люди не могут жить иначе» — такой вывод делает Лоран из неудавшегося опыта создать ячейку свободного общества.

Разочарование, пережитое Лораном в «Бьеврском уединении», сменяется новой мечтой: найти достойных учителей, у которых он мог бы почерпнуть необходимую духовную пищу, учиться мыслить, видеть главное, отменяя несущественное. Лоран подчеркивает, что он нуждается в наставниках, а не в вождях. «Я не прошу освободить меня от ответственности, не собираюсь идти с закрытыми глазами, я требую духовной пищи, хлеба насущного. И не могу обойтись без руководства», — поясняет он. В романе «Наставники» (1937) показано,

как, черпая духовную пищу у избранных им научных руководителей, Лорану приходится испытать новые разочарования. В этом романе Лоран — талантливый начинающий ученый, с увлечением ведущий научно-исследовательскую работу в лаборатории, которой ему поручено руководить. Он работает одновременно у двух ученых — крупнейших биологов страны — Шальгрена и Ронера. Вскоре он замечает существующий между ними антагонизм — и в их научных идеях, и в личных отношениях. Наблюдая за все обостряющейся враждой своих учителей, Лоран приходит к горестному выводу: в своем поведении даже самые высокоразвитые люди руководствуются не разумом, а эмоциями, причем чаще всего иррациональными. Однако двух ученых разделяет не только несовместимость характеров, но и полная противоположность в их отношении к науке.

Лоран Паскье замечает, что Ронер фанатично стремится доказать правоту своей системы взглядов, отмечая те факты, которые не подтверждают его гипотезу, тем самым нанося ущерб научной истине, которую он якобы отстаивает. Главный стимул его деятельности — тщеславие, забота о своей карьере. Поэтому Ронер циничен и бесчеловечен не только по отношению к сопернику в науке — Шальгрена, но и вообще к людям. Так, когда умирает его лаборантка, заразившись той болезнью, которую изучает Ронер в своей лаборатории, ученый не испытывает к ней сострадания, не находит слов сочувствия, а лишь с удовлетворением предвкушает, сколько научной информации получит он при вскрытии трупа молодой женщины.

Шальгрэн, напротив, наделен благородными чертами характера. Симпатии автора явно на его стороне. В отличие от Ронера, который только провозглашает, что разум и поиски научной истины превыше всего, Шальгрэн действительно служит научной истине, но он предостерегает от слепого преклонения перед наукой. «Разумом нужно пользоваться с осторожностью как великолепным, но исключительным в природе и даже иногда опасным инструментом», — говорит Шальгрэн.

Писатель развивает в романе «Наставники» свои мысли о науке и ученых, связанные с его критикой «механической цивилизации» и высказанные им еще в «Письмах к моему другу патагонцу». Там он писал: «Знания и мудрость далеко не синонимы. Я вращаюсь в кругу людей высокого ума и ненасытного честолюбия. Однако я, в основном, вынужден их презирать». Эти впечатления того периода жизни Дюамеля, когда он занимался научно-исследовательской работой в области физиологии, несомненно, положены в основу романа «Наставники», так же как и точка зрения на роль науки: «Человечеству как нравственной личности с некоторых пор не по плечу современное знание, и мы должны примириться с тем, что оно влачит, как

болезненную опухоль, свой чудовищный познавательный аппарат, свое мучение, свою кару!» Эти мысли повторяются и в более поздней публицистике Дюамеля. В одной из последних своих книг он писал! «Мы, люди XX века, дорого заплатили за то, чтобы понять: наука — это еще не мудрость».

Итак, мечта Лорана найти путь к истине, следуя за учителями, не привела его к цели. Он снова гнался за недостижимым. Но, следя за борьбой идей и честолюбий, благородства и бессердечия, гуманности и жестокости, персонифицированных в образах Шальгрена и Ронера, молодой ученый приходит к выводу: «Мир это хаос; равновесие — это не правило, а исключение. И я даю клятву — работать для равновесия и порядка». Здесь вступает в силу девиз Лорана, который поставлен эпиграфом ко всей «Хронике Паскье»: «Чудо — не деяние». Во вступлении к роману «Гаврский нотариус» Лоран рассказывает, что он придумал это изречение во время первой мировой войны — под Верденом. «Между чудом и деянием я выбираю деяние», — говорит Лоран. Его выбор — это путь упорного труда, познания, служения людям, несмотря на любые трудности.

В романе «Сесиль среди нас» (1938) Лоран ведет спор о религии со своей сестрой Сесиль. Она необычайно талантливая пианистка, рано узнавшая славу, но глубоко несчастна в личной жизни: умирает ее единственный ребенок, а муж ее не любит, и она уходит от него. Ее утешением становится религия. Для Лорана это невыносимо, так как религиозная вера уводит от него сестру, духовная близость с которой всегда была для него необычайно важной. Он горячо спорит с сестрой: «Я не презираю человека, и потому идея вашего неба для меня неприемлема... Я вырос в лабораториях нового века и не верю в бессмертие души. О, не думай, что мы, люди науки, уверены в существовании порядка. Порядка нет!.. Природа это беспорядок. Ничто в ней не говорит о предварительном плане». В этом споре Лорана с Сесилью, пожалуй, наиболее ярко выплескивается эмоциональный и интеллектуальный накал внутреннего мира молодого ученого. Роман заканчивается сценой, имеющей символическое значение: Сесиль вместе с Лораном подходит к церкви. Сестра зовет его войти, но Лоран прощается с ней и продолжает свой путь — усталый и подавленный. Он не приемлет чуда, его ждут новые деяния.

В романе «Битва с теньями» (1939) уже нет драмы идей. Это горькая сатира на общество, в котором царят косность, глупость, невежество, демагогия, подлость и карьеризм. Лоран оказывается объектом нелепой травли только потому, что он захотел уволить непригодного к работе служащего, оказавшегося, на беду, ставленником министерства. И горше всего то, что ученые коллеги, кто из трусости, кто из равнодушия, кто из карьеризма, не захотели помочь Ло-

рану, хотя на словах все были за него. Молодого ученого увольняют из института, лишают возможности работать, хотят даже отнять орден Почетного легиона. Но тут вступает в силу главный герой хроники — время. Начинается первая мировая война. Лоран и его друг Жюстен Бейль уходят добровольцами на фронт.

В романе «Сюзанна и молодые люди» (1941) завершается одна из важных линий «Хроники» — тема антагонизма искусства и буржуазного общества. Сюзанна Паскье — талантливая актриса, необычайно красивая и привлекательная женщина, так же как и Сесиль, не находит своего счастья. Одна из причин этого — невозможность полностью отдать свой талант любимому искусству, так как в мире буржуазных отношений оно чаще всего подчинено денежным, коммерческим интересам.

В последнем романе «Хроники» — «Страсть Жозефа Паскье» (1945) — доведено до полного завершения разоблачение духовной нищеты и убожества старшего брата Паскье — Жозефа, который во всех романах цикла выступал как воплощение буржуазной практичности и цинизма. После его самой удачной финансовой махинации — спекуляции оружием во время войны на Балканах, Жозефом овладевает жажда славы. Он замышляет приобрести, разумеется, с помощью денег, звание академика. Заплатив известному автору за два труда по искусству и выдав их за свои, Жозеф выставляет свою кандидатуру в Академию изящных искусств и проваливается. Несмотря на всю самоуверенность Жозефа, эта неудача выбивает у него почву из-под ног — ведь его жизненное кредо было основано на вере во всеислие денег. Затем обнаруживается, что и в семейной жизни он несчастлив. Жена его не любит и изменяет ему, дети его ненавидят. Благополучие Жозефа, его постоянное преуспевание, оказывается, зиждилось на трясине, так как ему были чужды истинные ценности.

Нравственное крушение Жозефа Паскье — духовного антипода Лорана Паскье, которым завершается «Хроника», символично. Ибо во вражде двух братьев, начавшейся еще в отроческие годы, воплощен основной конфликт этого цикла романов: антагонизм национальной культуры и буржуазной системы.

Вступление к «Хронике Паскье» заканчивается горьким пророчеством Лорана: «Люди моего сорта обладают как бы иммунитетом к некоторому роду мечтаний. Они знают, чувствуют с силой отчаяния, что настанет день, когда человек, слово человека, идея человека и воспоминание о человеке — все это ничего не будет значить в мире, где уже никто и никогда не будет носителем нашей духовной сущности. Но нет дня, когда бы эти мужественные люди не придумывали новых способов принести жертвы и испытывать лишения ради принципов и законов, создавать памятники и доктрины, оставляя безыс-

ходному будущему патетические свидетельства нашего величия и нашего несчастья».

Пессимизм Лорана Паскье как будто подтверждается тем, что ему пришлось пережить и наблюдать на протяжении всей «Хроники Паскье». Тем не менее он не оправдывается самой художественной тканью романов этого цикла, где, в конечном счете, преобладают оптимистические тона. Дюамель-художник оказывается шире Дюамеля-мыслителя. Он показывает торжество человечности и поражение бездушного буржуазного эгоизма. А хронос—время — главный герой хроники, который, по мысли Лорана Паскье и самого Дюамеля (как мы помним по его публицистическим работам), ведет человечество к безысходному будущему — разрушает благополучие Жозефа и укрепляет Лорана в его гуманистических идеалах. Оптимистичность художественного решения «Хроники Паскье», так же как и цикла о Салавене, определяется гуманистическими идеалами Дюамеля. Именно поэтому в 1946 году в своей речи во Французской Академии по поводу принятия в ее члены Жюля Ромена, Жорж Дюамель говорил о необходимости противостоять тенденциям литературного направления, увлеченного идеей хаоса и абсурда.

В период создания «Хроники Паскье» (1933—1945) Дюамель выступал с многочисленными публицистическими произведениями, в которых он предостерегал от опасности окончательно утратить моральные ценности, которая грозит западной цивилизации.

В 30-е годы Дюамель активно выступает против фашизма. В сборниках «Дневники белой войны» (1939) и «Французские позиции» (1940) он разоблачает бесчеловечность гитлеровского режима, осуждает правящие круги Франции за их прогитлеровскую политику, предупреждает об опасности войны.

Дюамель-публицист всегда выступает с позиций пацифизма и абстрактного гуманизма. Боязнь социальных катаклизмов привела его к неприятию Народного фронта. Но как только начинается война с гитлеровской Германией, писатель заявляет о необходимости вооруженной борьбы с фашизмом. С самого начала войны Дюамель вместе со своими сыновьями едет на фронт. Он снова становится хирургом. Но на этот раз он спасает беженцев — стариков, женщин и детей, пострадавших от бомбежек. Об этом он написал небольшую книгу рассказов «Место убежища» (1940). Весь тираж книги был тотчас же сожжен гитлеровцами, так же как и сборники публицистических антифашистских статей Дюамеля, а заодно и все остальные его произведения, которые были затем запрещены в оккупированной Франции.

В августе 1944 года Дюамель передал в подпольную газету «Леттр Франсез» написанный им очерк об уничтожении деревни Орадур-сюр-Глан. В том же году он опубликовал «Хронику горького времени»,

где записи о жизни в оккупированной Франции перемежаются с размышлениями писателя о судьбах культуры.

В послевоенные годы Дюамель пишет мемуары, много путешествует, создает путевые очерки и публицистические статьи.

В 50-е годы он написал еще несколько романов; «Путешествие Патрика Перью» (1950), «Крик из глубины» (1951), «Комплекс Теофиля» (1958), в которых варьируются мотивы романов «Хроники Паскье», идеи его публицистических произведений, при этом усиливается пессимистическая настроенность и слабеет художественная выразительность.

Все наиболее значительные произведения Дюамеля были созданы в 1917—1945 годы. В период между двумя войнами и недолгое время после окончания второй мировой войны каждая новая книга, каждое выступление писателя получали широкий отклик. Но бурное наступление новых веяний во французской литературе оттеснило Дюамеля на второй план. Этому способствовала также и художественная слабость произведений, написанных им в конце жизни. За последние два десятилетия Дюамель был почти забыт и уж совсем неизвестен молодому поколению читателей.

Тем не менее за годы, прошедшие после смерти Дюамеля, следовавшей в 1966 году, значительность его творчества становилась все ощутимее: многие его произведения и сейчас звучат с не меньшей силой, чем тридцать и сорок лет назад. В них отражены те проблемы кризиса западной цивилизации, которые с каждым годом вызывают все более глубокую тревогу в кругах западной интеллигенции.

Дюамель был одним из первых западных писателей, неустанно предупреждавших о том, что научно-технический прогресс, не управляемый принципами морали, призванной защитить человека и его будущее, несет в себе угрозу гуманистическим идеалам и самой жизни человечества.

Искусство одного из выдающихся писателей-реалистов XX века отражает поиски новых путей интеллигенцией Запада середины XX века и проникнуто верой в возможность борьбы за будущее человека.

О. Тимофеева



Гаврский нотариус

РОМАН



Перевод
М. ВАХТЕРОВОЙ



Глава I

Семейный обед. Новости из Гавра. Первые соображения о чечевнице. Ночной разговор

У нас в столовой горела по вечерам большая медная лампа, всегда начищенная до блеска, всегда чуть влажная от керосина. Мы все собирались вокруг нее играть и учить уроки при ее пленительном свете. Накрывая на стол и расставляя тарелки, мама с ворчанием отодвигала в сторону наши книжки и тетрадки.

Фердинан старательно выводил буквы своим аккуратным почерком. Он писал, уткнувшись носом в тетрадку. Ему уже тогда следовало бы носить очки. Но об этом догадались только гораздо позже. Жозеф, облокотясь на клеенку, делал вид, будто учит уроки, а сам потихоньку читал газету, прислоненную к стакану. Сесиль играла на полу, под столом, а я, монотонно бормоча «восемью восемь», «восемью девять», то и дело пихал ногами маленькую дикарку. Слышно было, как на кухне, за стеной, мама гремит кастрюлей.

Жозеф несколько раз протяжно зевнул и крикнул:

— Пора бы поесть!

Мама появилась в дверях, вытирая руки синим полотняным фартуком. Она сказала:

— Ваш отец запаздывает, дети мои. Начнем обедать без него. Мойте руки.

Мы побежали на кухню мыть руки — все, кроме Жозефа, который заявил, пожимая плечами:

— У меня руки чистые.

Когда все уселись за стол, мама принесла суповую миску. Милая наша мама! Она была невысокого роста,

складная, полненькая, с нежной кожей на округлом лице, с шиньоном черных волос, который она укладывала не наверху, по тогдашней моде, а низко на затылке, как тяжелый пышный плод. Такая скромная, гладкая прическа!

Она подала нам суп из чечевицы. Жозеф проворчал: — Вечно одно и то же!

Еще стояли зимние холода. Мы не очень-то любили суп, но от него растекалось по всему телу такое приятное тепло, и через минуту согревались колени, согревались ноги, слегка заочевенные в толстых шерстяных чулках.

Время от времени Фердинан, низко нагнувшись над тарелкой, вылавливал из супа луковки.

— Терпеть не могу лука! — хныкал он. Тогда Сесиль кричала, протягивая ложку:

— А я люблю, дай мне!

Убрав суп, мама поставила на стол блюдо чечевицы с колбасой. Двое старших начали препираться, кому достанется самый толстый кусок, хотя колбасу еще не нарезали. Сесиль что-то напевала, мурлыкала. Она и теперь такая: вечно напевает за столом. Моя мать нарезала колбасу, и старшие братья принялись за еду. Мама взяла вилку и вдруг замерла, словно окаменев. Она к чему-то прислушивалась, приоткрыв рот.

— Ваш отец идет! — сказала она. — Слышите шаги на лестнице? Это ваш папа.

Но мы ничего не слышали.

Позвонив ключами за дверь, отец нетерпеливо повернул ключ в замке.

Он вошел. Вешалка находилась в маленькой прихожей. Но папа, не задерживаясь, прошел прямо в столовую. В руках он держал письмо.

— Извини, Раймон, — пробормотала мама. — У нас опять чечевица на обед. Я тебе объясню...

Папа не отвечал. Он смотрел на нас с ласковой и вместе с тем насмешливой улыбкой. Он стоял, не снимая пальто с меховым воротником, не снимая шляпы. Стройный, голубоглазый, с золотисто-рыжими длинными усами, он походил на Хлодвига, короля Хлодвига из моей книжки. Он был красивый. Мы восхищались им.

Он опять улыбнулся и швырнул письмо на стол.

— Госпожа Делаэ умерла, — заявил он.

Мама сильно побледнела.

— Быть не может!

— Смотри с а м а , — отвечал о т е ц . — Вот письмо от нотариуса.

И снял пальто. На нем был костюм изящного покроя, по его словам, изрядно поношенный, хотя мы этого не замечали.

Мама развернула письмо и вдруг, уткнувшись лицом в кухонный фартук, горько заплакала. Папа усмехался, презрительно подняв брови. Жозеф воскликнул:

— Не плачь, мама. Ведь мы ее не любили, не стоит о ней плакать.

Мама положила салфетку на стол.

— Ведь она меня вырастила, детки , — сказала она.

Поглаживая холеные усы, отец взбивал рукой завитки своих волнистых волос. Он распрямил плечи, два-три раза откашлялся и уселся за стол. У него были прекрасные манеры. Он казался настоящим светским львом, как их рисуют на картинках. И улыбался такой чарующей улыбкой!

Моя мать вытерла глаза и сказала:

— Прости меня, Раймон. Нынче опять чечевица. Ты знаешь почему. К несчастью, в это время года нигде нельзя достать петрушки.

Но папа был явно в хорошем настроении. Он только пожал плечами. Обычно он говорил:

— Подайте мне любое блюдо, лишь бы это было хорошо прожарено и аппетитно на вид.

Тогда мама украшала чечевицу зеленой петрушкой, и кушанье становилось аппетитным на вид.

Неторопливо съев суп, отец спросил:

— А ты почему не ешь?

— Не могу, мне кусок в горло не идет.

— Право же, не стоит огорчаться.

Мы, дети, замерли в ожидании каких-то необыкновенных событий. Жозефу было почти четырнадцать лет, и он иногда говорил басом, точно взрослый мужчина. Он выпалил:

— Раз тетя Делаэ умерла, значит, мы получим наследство.

Отец с досадой передернул плечами.

— Не суйся не в свое дело, голубчик, это тебя не касается.

— Ж о з е ф , — прибавила мама с упреком , — хороший человек не станет говорить о наследстве над свежей могилой.

Когда мы пообедали, убрали книги и тетрадки, родители отправили нас в постель.

Жозеф и Фердинан спали вдвоем в темном чулане, выходявшем на кухню. Для них, уже взрослых мальчиков, зажигали лампу, и им разрешалось почитать и позаниматься часок-другой перед сном. Но в этот вечер папа не стал зажигать лампы.

— Дети, сейчас же ложитесь спать, — сказал он.

— Почему?

— Потому что так надо.

Младших, Сесиль и меня, укладывали в спальне родителей. Там стояли две широкие деревянные кровати, поставленные под прямым углом. На одной спала мама, на другой — папа. Мы, малыши, ложились поочередно то в одну, то в другую и частенько ссорились, потому что каждому хотелось лечь с мамой: ведь у мамы так уютно и тепло, а папа, опасаясь, что мы будем толкаться, отпихивал нас к самой стене.

В тот вечер я никак не мог заснуть. Сегодня была «папина очередь». Я прижался к стенке и, затаив дыхание, прислушивался к доносившимся до меня словам. Родители долго разговаривали шепотом, сидя в столовой, потом пришли в спальню. Папа, растянувшись на спине и заложив руки за голову, говорил небрежным тоном, мама тихо отвечала ему с соседней кровати.

— Первым делом мы уедем из этой конуры.

— Хорошо, Раймон. Только не называй конурой нашу маленькую квартирку. Она не так уж плоха. Быть может, мы еще пожалеем о ней когда-нибудь.

— Никогда! Мне нужна квартира, по крайней мере, из четырех комнат. Да, никак не меньше. Иначе где же мы разместим мебель?

— Мебель, Раймон? А откуда ты знаешь, что она достанется нам?

— А кому же еще? У твоей тетки были слишком развиты семейные чувства, не могла же она пожертвовать мебель в какую-нибудь богадельню. Известно, что в завещании твоего дяди Проспера...

— Но ведь они всегда оставляли все последнему в роде, Раймон. И я уверена, что тетушка Делаэ изменила завещание своего мужа.

Мамин голос звучал приглушенно в ночной тишине.

— Ох, Рам, не предавайся мечтам.

— Каким мечтам? — проворчал отец с раздраже-

ни ем. — Скажи на милость, кто из нас двоих предается мечтам? Одно несомненно: твоя тетка Альфонсина умерла. Ты читала письмо нотариуса? Что это, сон или явь, письмо нотариуса?

— Она скончалась, Раймон. Но кто нам поручится, что она не лишила меня наследства?

При этих словах, как мне послышалось, мама снова заплакала. Отец нетерпеливо ворочался на подушке.

— Лишила наследства... лишила наследства... Да нет, Люси, эти людишки чересчур слабохарактерны, чтобы на это решиться.

— Ох, Рам, не говори о них дурно в такую минуту.

— Что хочу, то и говорю. Они меня терпеть не могли, твои Делаэ. Я был для них чужаком, пугалом, вот кем! Именно пугалом.

— Они просто не понимали тебя, Раймон. Ты трудолюбивый, благородный, мужественный, образованный, но ты совсем другого склада. А порою ты не можешь удержаться, говоришь дерзости, над всеми насмехаешься... Посуди сам, как же они могли с тобой ужиться?

— Тем хуже для них.

Наступило долгое молчание. Кажется, я начал уже засыпать. Тут Фердинан закашлялся.

— Ты спишь, Фердинан? — спросила мама. — Вы спите, дети?

Никто не отвечал; но я уверен, что, по крайней мере, трое из нас, лежа в темноте, настороженно прислушались.

— Люси! — прошептал отец.

— Что?

— Я бы не хотел ездить в Онфлёр, ни даже в Гавр, без особой надобности. К тому же нотариус и не упоминает обо мне. Он вызывает одну тебя.

— Я поеду одна, — сказала моя мать спокойно. — Попрошу мадемуазель Байель присмотреть за детьми.

— Хорошо. А что касается квартиры...

— Погоди немного. Я начну искать, как только разберусь во всех этих делах.

Снова наступило молчание, и вдруг раздался мамин голос, мелодичный, нежный, мечтательный:

— Мне говорили об очень удобной квартире около вокзала Монпарнас. Это где-то неподалеку от твоей рабо-

ты. Там, кажется, много воздуха и даже прекрасный вид. Ты спишь, Раймон?

— Нет, не сплю, только не морочь себе голову, Люси. Все это выяснится позднее, ты же сама сказала.

— Ах, Раймон, я строю планы, кому это может повредить? Это не значит морочить себе голову.

И снова молчание, сгустившийся мрак. Снова приглушенные голоса, нескончаемый дуэт, где повторяются цифры, числа, имена знакомые, имена неизвестные, увещания, вздохи. Я засыпаю. Сплю. Опять просыпаюсь: дуэт продолжается. Я слышу:

— Есть должности, где можно заработать, сколько угодно... В конце концов мужчина сорока, сорока двух лет — в расцвете сил.

Больше я ничего не разбираю. Спать так сладко!

Глава II

Мадемуазель Байель. Приготовление к отъезду. Мудреное завещание. Сестры из Лимы. Посмертная месь. Ночные волнения

Все следующее утро моя мать бегала по делам. Нас поручили соседке, м-ль Байель, высокой, дородной старрой деве; она давала уроки катехизиса и при случае занималась с нами. Мне нравились ее красивые черные глаза. Когда мой отец встречался с ней у нас или на лестничной площадке, он донимал ее фривольными шуточками. М-ль Байель начинала заикаться от смущения. Она вспыхивала, и ее красивые глаза сердито сверкали.

В то утро наша соседка пришла умыться и причесать Сесиль. Я уже умел мыться и одеваться самостоятельно. Мама оставила на столе записку карандашом и кучку очищенных овощей. Мадемуазель, громко сопя, прочла записку. Потом разожгла огонь и поставила варить овощи, как там было сказано.

Мама возвратилась поздно. Так поздно, что Жозеф и Фердинан, закусив, уже опять ушли в школу. Отец почти никогда не приходил завтракать домой. После полудня м-ль Байель занялась со мной чтением и письмом. Из-за слабого здоровья я еще не ходил в школу и учился дома.

Сесиль что-то напевала, играя под столом. Мама мастерила себе траурное платье. Она шила с поразительной быстротой. Время от времени она прерывала работу, задумчиво глядя перед собой. Потом, стукнув наперстком по столу, снова принималась делать стежки, втыкать и выдергивать иголку с такой ловкостью и сноровкой, что за ней не угналась бы ни одна портниха. Иногда, не отрываясь от шитья, моя мать задумчиво шептала:

— Семью восемь...

Мадемуазель Байель тут же громко отвечала:

— Пятьдесят шесть!

И мама, погруженная в свои мысли, рассеянно повторяла:

— Да, конечно, пятьдесят шесть, пятьдесят шесть... боже мой... боже мой!

К вечеру мама уже все сметала и начала примерять платье. Во всем черном она показалась мне очень величественной. Накормив нас обедом, мама сказала:

— Я поработаю до полуночи, самое большее до часу, и к утру все будет готово.

Убрав со стола, она села за швейную машинку. И тут же запела. Это была грустная песенка, которую все мы давно знали, хотя я никогда не мог разобрать слов. Речь шла о красавице, которую кто-то ранил и рассек ей лоб.

Папа вернулся домой, когда мы уже легли спать. Я видел, как он уселся в кресло возле швейной машинки, скрестив ноги и засунув пальцы за проймы жилета. Он говорил:

— Просто невероятно, в скольких местах я успел побывать сегодня. Начнем с того, что я виделся с Шевальро. Он мне настоятельно советует готовиться к экзаменам. И обещает оказать поддержку. Это уже немало. Это почти все, что нужно.

— Рам, — увещевала мама, — подумай о том, что у нас, возможно, не будет наличных денег. Остерегись, погоди строить планы.

Отец топнул ногой.

— Позволь тебе заметить, Люси, что это не планы, а твердое решение. К тому же я не собираюсь уходить от Клейса. Там у меня как-никак твердый заработок. Но даже если бы госпожа Делаэ не померла, мне все равно пришлось бы сдавать экзамены. Ты говоришь: нет наличных денег. Допустим, что их действительно не будет. Но ведь остается мебель.

— Рам, неужели ты продашь эту мебель?

— А почему бы и нет?

— Это же старинные фамильные вещи...

Отец нетерпеливо передернул плечами.

— Подумаешь! Да этакого хлама можно закупить сколько угодно. Мебели полным-полно на любой распродаже.

— Но это же чужая мебель.

Однако мама уже готова была уступить. Она вздохнула.

— У меня голова идет кругом. Как бы то ни было, мое платье через два-три часа будет готово.

Наступило долгое молчание. Я не мог заснуть. Отец раскрыл свой молескиновый портфель. Вынув оттуда книги и бумаги, он разложил их перед собою на столе. Он занимался, подперев голову обеими руками. По временам отец нетерпеливо топал ногой по полу, точно конь, который бьет копытом.

На другое утро, когда я проснулся, мама уже одевалась в дорогу. Она привязала к бедрам узенькую подушку с отрубями, которую называла турнюрком. Надела свое новое траурное платье. Потом плащ с капюшоном. Завязала под подбородком ленты нарядной шляпки. Она была готова к отъезду, и мы смотрели на нее с восхищением. Отец предложил:

— Я провожу тебя на вокзал.

— Пожалуйста, Раймон. Только не ездь меня встречать. Я сама не знаю, сколько там пробуду. Дня два, три, а может, и дольше.

Она возвратилась на следующий день к вечеру. Мы сидели за столом, и отец был с нами. Не успела мама войти, как Жозеф закричал:

— Ну как? Какие новости?

— Вечно ты пристаешь, вечно лезешь не в свое дело, — рассердился папа. — Дайте же матери раздеться.

Мама улыбалась, но вид у нее был усталый и озабоченный. Она сняла шляпку, дорожный плащ и сразу надела синий фартук, чтобы не испачкать нового платья. Жозеф не отставал:

— Расскажи, какие новости.

Мама смущенно покачала головой.

— Представь себе, Раймон, все оказалось далеко не так просто.

— Так я и знал! — воскликнул отец со смехом. Но тут

же сдержался и добавил: — Незачем торопиться. Мы поговорим об этом после.

— Почему же? — возразила м а м а . — Если дети будут сидеть смиренно...

— Ну тогда говори.

— Как я и предполагала, Раймон, нам досталась мебель.

— Да? Вот как?

Глаза моего отца гневно засверкали.

— Прошу тебя, Рам, не приходи в ярость, а то я совсем запутаюсь и все забуду. У меня голова идет кругом. Что касается денег, понимаешь ли, это совсем не так просто. Мне завещана половина, ровно половина. Погоди немного... Это не наличные деньги, как ты говоришь. Это процентные бумаги. Потерпи еще, не прерывай меня.

— Я молчу.

— Процентные бумаги, но на особых условиях, Раймон. Само собой, я буду получать проценты, но бумаги продать не могу.

— То есть как? Они принадлежат тебе, а ты не можешь их продать?

— Позволь объяснить тебе, Раймон. Они завещаны не мне лично, они завещаны детям.

— Что за чепуха? Каким детям?

— Нашим детям, Рам. Деньги положены в банк на имя детей, а я имею право пользоваться лишь рентой, это узуфрукт, как объяснял мне нотариус. Самый же капитал составляет приблизительно пятьдесят тысяч франков...

Тут Жозеф привскочил. Глаза у него округлились. Из рта потекли слюны.

— Пятьдесят тысяч франков, — повторила м а м а . — Такова была бы общая сумма, если продать бумаги. Но повторяю, мы не можем получить капитал до моей смерти. Ты слушаешь меня, Раймон?

Отец молча кивнул головой. Язвительно улыбаясь, он повторял свистящим шепотом:

— Вот хамы! Ну и хамы!

— Что такое хам? — спросил Фердинан.

— Видишь? — вздохнула моя м а т ь . — Было бы лучше не начинать разговора при детях.

Отец пожал плечами:

— Это самое я и говорил. Но теперь продолжай. А все остальное?

— Остальное? погоди, дай сообразить. Наследство делится на три части. Самая меньшая часть помещена в пожизненную ренту на имя тети Коралл, и этого как раз хватит на ее содержание в приюте.

Отец нетерпеливо махнул рукой.

— Я не могу объяснять быстрее, — продолжала мама. — А то я все перепутаю. Оставшаяся сумма, около сорока тысяч франков в процентных бумагах, опять-таки в процентных бумагах, сдана на хранение нотариусу и завещана моим двум сестрам.

— Твоим сестрам в Лиме?

— Вот именно.

— Да ведь они же умерли?

Мама набожно перекрестилась.

— Экий ты нетерпеливый, — вздохнула она. — Не выходи из себя, Рам!

— Если ты еще хоть раз скажешь, что я нетерпелив, я сейчас же ложусь спать и ничего не желаю слышать об этой истории до будущей недели.

— Успокойся, Рам, дай мне договорить. Тут как раз начинается самое интересное. Наша семья знала, что мои бедняжки сестры скончались. Во всяком случае, мне так говорили, всегда так говорили. Еще семь лет назад дядя Проспер затребовал официальное свидетельство об их смерти. Как видно, в Лиме подобные вещи делаются очень медленно. Гаврский нотариус сказал, что он каждый месяц посылает запрос на эти пресловутые документы. Слушай внимательно, Раймон, это очень важно. Когда нотариус получит официальное свидетельство, что мои бедные сестры действительно скончались в Перу, капитал, внесенный в банк на их имя, перейдет прямо к нам.

— В бумагах, которые нельзя продать?

— Как раз напротив. Эти бумаги мы имеем право сразу же продать, и притом на выгодных условиях — так сказал мне сам нотариус. Мы даже получим проценты с бумаг, считая со дня смерти тети Альфонсины. Знаешь, ведь я ее видела, тетю Альфонсину. Ее еще не успели положить в гроб, когда я приехала. Она так мало изменилась! Прямо как живая!

— Об этом мы после поговорим, Люси. Так ты сказала, что эти документы запрашивают от властей Перу

уже больше семи лет? Право же, нет никакого смысла ждать...

— Я понимаю, о чем ты думаешь, Раймон. Розыски ведутся семь лет, но лишь полгода назад нотариус вышел из терпения, рассердился. А уж если он рассердится, он спуска не даст. Ты не видел этого человека — богатырь, шея совсем как у быка. Теперь дело пойдет по-другому. Ведь прежде он им не объяснял, для чего требует эти документы. Перуанские родственники, может быть, боялись, что кто-то зарится на их деньги. А теперь, когда тетя умерла, нотариус хочет привести дела в порядок — понимаешь? Он сказал, что хлопоты продлятся еще месяца четыре, не больше. Вот видишь, Рам, нечего было горячиться. Он сказал: четыре месяца. Ну, будем считать — полгода.

Отец начал шагать по комнате. Он безостановочно ходил вокруг стола, так как у нас было тесно. Заложив руки за спину, под фалдами сюртука, он сердито бормотал:

— Какая подлая месть! Какая утонченная месть!

Мы все молчали, замерев от страха, не зная, начнет ли отец бушевать, или дело кончится той легкой презрительной усмешкой, которая нас так страшила и восхищала. Отец говорил, покусывая кончики усов:

— Пожалуй, могут подумать, будто я жаден до денег.

— Ну что ты, Рам! — запротестовала моя мать с болью в голосе.

Отец перестал кружить по комнате, и мы увидели на его лице знакомую презрительную усмешку.

— Я не могу любить деньги, — сказал он простодушно о . — У меня их никогда не было. Я просто не знаю, что это такое. Но если вдруг они мне достанутся! Если богатство свалится с неба! Тут все вы увидите, ты увидишь, Люси, уж я сумею ими распорядиться. Идите спать, дети!

Мы не смели послушаться, не смели просить отсрочки. Мы были возбуждены и растеряны. Отец погнал нас в спальню широким, несколько театральным жестом, точно загонял стадо в овчарню. Потом уселся против мамы и сказал:

— Повтори все с самого начала, хорошо? Посмотрим, что можно извлечь из этой неразберихи.

И снова мы погружались в дремоту, убаюканные журчащим шепотом двух голосов, и до нас доносились числа, цифры, планы на будущее, вздохи, мечты, вспышки гнева, а иногда рыдание или приглушенный смех.

Глава III

Улица Вандам. Анатомия и физиология парижского дома. Что видно с балкона. Проекты и расчеты. Мечты заразительны. Прибытие мебели. Приобщение к таинству музыки. Барометр

Сцены, которые я здесь набросал, представляют собою всего лишь туманную прелюдию к моему детству. Настоящая жизнь началась для меня на улице Вандам. Только там спала с моих глаз завеса, только там впервые зазвучали для меня оглушительные трубные звуки, мелодии радости, страдания, гордости.

Мы всегда говорили: улица Вандам. На самом же деле наш дом стоял в тупике Вандам. Когда моя мать, осмотрев утром новую квартиру, вернулась домой и с воодушевлением принялась описывать ее достоинства и преимущества, отец грозно нахмурил брови.

— Ни за что на свете, — заявил он, — никогда не соглашусь жить в тупике. Даже если мне предложат целый особняк. В тупике! Какой позор!

Однако он согласился осмотреть помещение и вернулся умиротворенный.

— Там очень уютно. Спору нет. Только не называйте это тупиком. Мы будем говорить: улица Вандам.

Наш дом! В моих воспоминаниях он встает как крепостная башня, как цитадель, как наш акрополь: главный фасад, облицованный тесаным камнем, высокие глухие боковые фасады, выложенные шероховатым песчаником! Дом еще довольно новый, но уже весь в мелких выщербинах, весь покрытый слоем копоти. Квадратный, массивный, пока еще единственный в этом квартале, застроенном провинциальными домишками и деревенскими лачугами.

Да, наша цитадель, убежище, логово, откуда видны лишь облака да небо Парижа, священная обитель, где все наши надежды, стремления, невзгоды, раздоры, дерзкие мечты, все семейные тайны зарождаются, спеют и зревают в течение долгих лет, как в знойной теплице.

Двери подъезда весь день распахнуты настежь. Вечером они захлопываются с глухим стуком, и надо произнести пароль, чтобы ступить на лестницу и спотыкаться

на ее ступеньках. В нижнем пролете лестницы всегда темно, даже в разгар лета. Тускло трепещет газовый рожок. Лестница деревянная. Должно быть, вначале ее натерли воском, но теперь только подметают, поливая жавелевой водой — уж слишком много проходит по ней народу. Если крепко хватить кулаком по перилам, по ним пробегает дрожь, все выше и выше, чуть ли не до самого неба. Все в доме знают, что один малыш разбился насмерть, вздумав прокатиться верхом по этим перилам. Лестница все поднимается, пересекая густо населенные этажи, расположенные друг над другом, точно геологические пласты. Здесь слышится треньканье мандолины, там — тьяканье собачонки, дальше — сиплое, затрудненное дыхание чахоточного. А вот и толстая дама со своей вечной песенкой: «Люблю тебя, поймешь ли это слово?» А вот опять «тук... тук... тук...» из комнаты господина, который мастерит что-то непонятное. И повсюду швейные машинки, и топот детских ножек в коридоре, и голоса мужчин и женщин, которые бранятся и спорят о делах своего клана. Все эти звуки непроизвольно улавливает чуткий слух мальчугана. Звуки эти ослаблены, приглушены стенами, дверьми, мокрой одеждой, повешенной на гвоздях, и спертым, душным воздухом квартиры. И каждый знает, что едят на всех этих этажах. Запах лука взбирается, как зверок, по ступенькам лестницы. Он ползет, шмыгает, цепляется за всякий выступ. Он будит старого холостяка, который работает по ночам и встает в три часа дня. Запах лука! Он проникает в замочную скважину, в любую щелку, в трещинку на двери. Он просачивается сквозь кирпичные стены и штукатурку. Но вонь жареной селедки еще пронзительней, еще беспощадней. Она набегает волна за волной, как войско, идущее в атаку; запах лука приходит в смятение и отступает. Вонь жареной селедки будет квартировать здесь до завтра. Ее даже не вдыхаешь, а как бы осязаешь. Она липкая и пристаёт к пальцам.

Но вот все здание охватывает странная дрожь. Сперва содрогается в недрах земли сложенный из песчаника фундамент. Потом мало-помалу начинает сотрясаться весь остов каменного гиганта, все этажи до самой крыши. В кухне позвякивают бутылки, ударяясь об стенку. Стекла принимают дребезжать в рамах. Там и сям просыпаются все новые голоса и друг за другом вступают в хор. «Я здесь, я здесь, я здесь», — тревожно отзываются

со всех сторон предметы, способные подать голос. Гул растет, достигает неистовой силы. Весь дом в каком-то восторженном ужасе приветствует поезд, который с ревом пронесится с севера, совсем под боком, громяхая на стрелках. Ветер гневно швыряет на нас клубы дыма. На балконах оседает черная сажа. Запах угольной гари врывается сквозь створки окон. До чего она родной — запах поездов! Никто здесь не приветствует его, кроме мальчугана в черном фартуке, который поднимается по лестнице, посасывая шарик.

Лестница не пустует. Там и сям распахиваются двери, появляются какие-то фигуры. Существует три сорта людей: те, с кем здороваешься, те, кого не знаешь, и, наконец, враги, с которыми лучше бы не встречаться.

Лестница выходит из мрака. С каждой ступенькой она становится все светлее. Она как бы возносится к небу, в благословенные сферы, где даже запах лука-пороя претворяется в благоухание полей. И вдруг, подобно крутой тропе, взбежавшей на горное пастбище, лестница торжественно замирает у порога широкой площадки. Она совсем не похожа на площадки нижних этажей. Она просторная, чистая, и в вечерние часы ее озаряет солнечный луч. Она увенчивает лестницу, как цветок венчает стебель. Это вершина. Место, располагающее к мечтам и к поэзии. Мальчуган очень любит, хотя это и запрещено, садиться на краю пропасти, болтать ногами в пустоте и прижиматься щекой и губами к железным прутьям перил — их холод обжигает.

На эту поднебесную площадку выходили четыре квартиры. Одна из них пустовала, при мне она всегда оставалась пустой. Впоследствии мама получила разрешение устроить там праздничный ужин по случаю первого причастия Фердинана. Как только окончилось пиршество и комнаты подмели, таинственная квартира навеки погрузилась во мрак, вновь стала обителью пауков и привидений. Соседнее помещение занимала престарелая чета Куртуа, с которыми первое время мы почти не встречались. Наконец в двух квартирах напротив, выходявших окнами на фасад, жили — справа Васселены, слева — мы, Паскье.

Отец требовал не меньше четырех комнат — их и было четыре. Все они выходили окнами на улицу, и вдобавок — о, верх блаженства! — к ним примыкал балкон. О самой улице, о жалком тупике, сперва не хотелось и

думать. Она находилась где-то далеко внизу и тонула в зловещем сумраке. Но стоило растворить окно, как душа начинала витать над Парижем. Это был не тот светлый, четко очерченный Париж, какой открывается взору с вершины прославленных холмов. То было безбрежное море крыш, стен, ангаров, водонапорных башен, дымоходов и всякого рода несуразных строений. Если наклониться влево, можно было увидеть Эйфелеву башню, до половины погруженную в каменный хаос. Когда мы въезжали в эту квартиру, она только еще достраивалась.

В этом сумбурном нагромождении символом порядка и разума служила Западная железная дорога. Начиная от вокзала Монпарнас, в ту пору еще небольшого здания, она вытягивала свои конечности, заявляла о своих правах, расстилала повсюду сети рельс, раскидывала направо и налево строения депо, мастерские, поворотные круги, семафоры. Подобно бешеному потоку, она с ревом пронеслась у подножия северного фасада нашего милого дома.

Мама сказала:

— На этот раз, Раймон, у тебя будет отдельная комната. О, я понимаю тебя! Разве можно заниматься умственной работой, когда кругом орут и шумят дети?

И папе предоставили отдельную комнату, которая называлась рабочим кабинетом, но на самом деле....

Однако, прежде чем описывать все прелести нового жилища, я должен вернуться немного назад. Воспоминания встают передо мною то с миртовой ветвью в руке, в венке из роз на челе, а то с пустыми руками и обнаженной головой. Одни я бережно храню, других я боюсь. Следует ли, в зависимости от этого, одни предать забвению, а другие вывести на свет божий? О нет, я был бы несправедлив!

Моя мать еще раза два ездила в Онфлёр. Ей пришлось даже переправляться на другой берег, чтобы поставить подпись на различных документах у гаврского нотариуса. Однажды, возвратясь домой, она объявила, что все улажено.

— В сущности, ты был прав, Р а м , — сказала о н а , — ты всегда прав. Мебели там было слишком много, чересчур много даже для квартиры из четырех комнат. Поэтому я отобрала только самое нужное. А остальное мы продали с публичного торга там же, на месте. Не могу сказать, что я решила на это с легким сердцем. Там был,

например, изящный секретер тети Викторины. Чудесная вещь! Но что поделаешь? Дети разломали бы его на мелкие куски. Распродажа прошла удачно. Ты не спрашиваешь, сколько я за это выручила?

Отец загадочно улыбался. Мама что-то шепнула ему на ухо, и он улыбнулся еще шире. Мать вытащила из-за корсажа небольшой конверт, и папа поймал его на лету, как ловят бабочек. Он пошутил:

— Я ставлю на ноль и срываю банк!

У матери перехватило дыхание, она испуганно зашептала:

— Осторожнее, Рам, будь благоразумен.

— О, здесь сушие пустяки, — отвечал отец. — Даже не на что содержать танцовщицу.

— Раймон, ты же знаешь, я не выношу подобных шуток.

Отец что-то быстро подсчитывал в уме.

— На это мы перебьемся месяца четыре, от силы пять.

— Погоди, Рам. Считая ренту за два первых квартала да твой заработок у Клейса, нам хватит до октября. Ты вполне можешь спокойно готовиться к экзаменам.

— Допустим, — рассуждал папа, — что хлопоты нотариуса займут шесть месяцев, самое большее шесть, — ну что ж, мы можем подождать полгода. Но предстоит еще переезд на квартиру. Ты подумала о переезде?

— Да, — отвечала мама, сосредоточенно глядя перед собой. — Я все рассчитала, все обдумала, сидя в вагоне, — и наш переезд, и сроки квартирной платы, и платежи по векселю Вадье...

— Какой еще вексель?

— Вексель, который ты выдал пятнадцатого января.

— Да, правда. И это все?

— Нет. Надо одеть и обуть всех детей. Это я тоже подсчитала. Я все тебе объясню, Раймон.

Отец тяжело вздохнул.

— А я-то думал, что у нас будет немного свободных денег!

— Но они у нас есть, Рам. У нас будут деньги. Посуди сам: в октябре мы получим сорок тысяч франков, конечно, если продадим все бумаги. На сорок тысяч много можно сделать. Целые годы спокойной, обеспеченной жизни. Ты сдашь экзамены. Жозеф будет учиться дальше, да и Фердинан, если захочет. Каникулы, наверное,

станем проводить за городом. Если тебе не по душе Нель, поедем в другое место. Разумеется, не в этом году. Когда получим известие из Гавра.

Отец пожал плечами.

— Чересчур много планов. Опять ты размечталась.

И мама умолила, осеклась, приоткрыв ряд блестящих зубов. Между ними разыгралась обычная сцена, вечная игра, которую я так хорошо понял впоследствии. Моя мать не была восторженной натурой. Напротив, — осторожной, благоразумной, полной опасений. Но достаточно было одного папиного слова, чтобы пробудить в ней надежды. Кому же верить, господи боже, если не верить этому необыкновенному человеку? И мама, вдохновленная каким-нибудь намеком отца, предавалась мечтаньям. Отец был гораздо более скрытным. Сболтнув что-нибудь случайно, он наблюдал с недоумением и досадой за восторженным порывом этой доверчивой души.

— Чересчур много планов, — повторил он. — Будем считать, что мы обеспечены до октября. Небольшой просвет впереди — и то хорошо. Сначала займись квартирой.

Моя мать пустилась на поиски и нашла помещение на улице Вандам. Были долгие таинственные переговоры, и наконец в один прекрасный день мама объявила:

— Мебель доставлена.

Тогда папа решил:

— Завтра перевезем туда детей.

Мы онемели от радости и благодарности.

На следующий день мы переехали. Нас все приводило в восторг: дом, лестница, квартира, конечно, балкон, вид на город, простор серого неба над головой, но главное, главное незнакомая мебель, все эти добротные величественные вещи, которые привезли для нас, которые принадлежали нам.

— Здесь ты можешь спокойно работать, — говорила мама, — конечно, если затворишь дверь. Тебе не придется больше ходить по библиотекам.

Вдруг Жозеф закричал:

— Фортепьяно! Тут есть фортепьяно!

Он приподнял крышку, под которой красовалась надпись золотыми буквами: «Гиршауер, поставщик императорского двора». Жозеф уже протянул руку к клавиатуре с некоторой опаской, будто к неведомому чудовищу. Но тут произошло самое удивительное... Малютка Сесиль,

этот мышонок, проскользнув у нас между ног, сразу же уселась на табурет, обитый цветастым атласом. Она ударяла пальчиком по клавишам, и фортепьяно откликалось ей таинственными, прекрасными звуками. Сесиль принялась напевать одну из своих мелодий. И мы не могли resist, звучит ли это инструмент или детский голосок.

— О, она у нас музыкантша! — сказала мама. — Я всегда это говорила. Недаром ее называли в честь святой Цецилии.

Мы все расселись кто куда на запыленных в дороге стульях. Папа попросил:

— Сыграй нам любимую песню твоей мамы. Ну, знаешь, про Марию Лещинскую.

Сесиль пела, играла не помню что, словно в порыве вдохновения. Ее легкие ручки извлекали из старого разбитого инструмента небесные мелодии. Как быстро освоилась эта девочка! Как непринужденно она держалась! Она как будто говорила: «Это фортепьяно, мое фортепьяно. Я знаю, как с ним обращаться. Я всегда это знала».

Отец слушал, поглаживая свои длинные усы, взволнованный, бледный, с затуманенным взором. И мы были потрясены не столько могуществом божественной гармонии, сколько тем, что этот насмешливый, непостижимый, неприступный человек поддался ее очарованию, готов растаять, запросить пощады.

Но наваждению пришел конец. Папа встряхнул головой и снова стал улыбаться.

— Ну у , — сказал он , — давайте осмотрим все остальное.

Остальное было великолепно. Там имелись библиотечные шкафы, полные книг, поставец для фаянсовых тарелок, буфет красного дерева, комод, покрытый мраморной доской с узорами. Мы трогали, гладили эти диковинные вещи, мы готовы были их расцеловать. Жозеф, пыхтя от восторга, открыл нам величайшую тайну:

— Если это твоя вещь, твоя собственная, ты можешь делать с ней все, что угодно, даже сломать ее, даже съесть. Все решительно!

Были там гравюры в затейливых рамках, любимые гравюры, которые долгие годы давали пищу моей фантазии. Были две широкие деревянные кровати, величественные, как корабли, и множество других вещей, среди прочих огромный ртутный барометр. Во время перевозки

грузчики уложили его плашмя, и крупная жемчужина ртути вытекла на паркет. Когда мы хотели поймать ее, она проворно ускользнула от нас, точно живой зверек.

Раз двадцать в последующие годы этому старому барометру пришлось переезжать с квартиры на квартиру. Раз двадцать старательные грузчики неуклюже укладывали его плашмя в солому. И раз двадцать из него вытекали крупные капли ртути. Он цел до сих пор и по-прежнему предсказывает дождь, бурю и великую сушь с ту-пым безразличием, как все прочие барометры.

Глава IV

Выкройки. Кройка и шитье. Происхождение наследственной черты. Беседа о завещаниях и завещателях. Культ словарей. Как бороться с дремотой. Загородная прогулка. Обед в ресторане

Всем детям сшили новую одежду. Это потребовало огромного труда, и в нашей квартире, едва мы успели переехать, воцарился полный кавардак. Обычно одежда Жозефа переходила Фердинану, а вещи Фердинана, выстиранные, заштопанные, выглаженные, складывали в комод до тех пор, пока я не вырасту и они не придутся мне впору. Но маме хотелось отметить наше новоселье на улице Вандам как великое событие, и она всех нас нарядила во все новое.

— О, я не выброшу старой одежды, — говорила она папе. — Ты же знаешь, я ничего не выкидываю. Я все рассчитала. Тех денег, что ты мне даешь, хватит и на детское белье. А вот на обувь придется потратить несколько больше, чем ты приносишь.

— Будь осмотрительна, Люси!

— Надо непременно обуть детей, пока это возможно. Я очень бережлива, Раймон. Но тут уж ничего не поделаешь. Мало ли что случится потом. Пусть дети ходят чистенькие. Я как-нибудь обойдусь. Не беспокойся.

И мама отправилась в поход по тем таинственным магазинам, где особо избранные натуры ухитряются, избежав множества соблазнов, раздобыть именно то, чего хотели, и гораздо дешевле, чем смели надеяться. Наша

столовая в новой квартире была превращена, как и прежняя, в швейную мастерскую, и мама начала размышлять над выкройками из серой бумаги. Она напоминала полководца, который изучает карты, составляя план сражения. Держа в руке большие ножницы, моя мать, такая подвижная, подолгу раздумывала, прежде чем кроить материю. Иногда она цыкала на нас:

— Помолчите хоть минутку, дети, дайте мне разобратся!

Мы замолкали, испуганные ее суровым тоном, ее резким жестом. И вдруг со скрипом и лязгом ножницы хищно врезались в сукно.

Жозефу был обещан настоящий мужской костюм, впервые в жизни с длинными брюками. Жозеф все время приставал к матери, не отходя от нее ни на шаг, так как у него начались пасхальные каникулы. Он настойчиво требовал, чтобы были модные лацканы, красивые пуговицы, бесчисленные карманы. Мама говорила:

— Не беспокойся, костюм будет шит, как у лучшего портного.

Моя мать все умела делать: кроить мужские костюмы, сметывать, строчить, вышивать, вязать, красить, стирать, утюжить. Что же еще? Да все решительно, я же сказал.

Жозеф, довольный, садился на скамеечку у ее ног и смотрел на нее снизу, точно котенок, который ждет лакомого кусочка. Фердинан, забившись в уголок, жадно читал книжку. Мы с Сесиль играли и возились в нашем царстве, под столом. Иной раз днем в мирной тишине раздавался звонок. Отца ждали только к вечеру, весь наш выводок щебетал здесь, на месте. Кто же мог потревожить покой семейного гнезда? Мама хваталась за сердце.

— О х , — стонала она , — эти звонки меня доконают. Что там такое? Поди погляди, Фердинан. Нет, ты, Сесиль. Нет, не ты! Ах, я все путаю, я хотела сказать: Жозеф.

Жозеф поднимался с места. Холодный ветер с лестницы врывался в наш мирок. Это почтальон принес письмо.

— Давай сюда! Может быть, это письмо из Гавра... — говорила мама.

Но это было извещение от какого-то поставщика. И после минутной тревоги снова наступала тишина, становилось еще уютнее и спокойнее.

— Мама, — спрашивал Жозеф, — почему, когда раздался звонок, у тебя задрожал подбородок? Отчего это с тобой?

И мама в который раз повторяла эту старую историю:

— Дети мои, это семейная черта, но в нашем роду так было не всегда. Мы унаследовали это от моего деда с отцовской стороны, Гийома. Да, Гийома Делаэ. Когда он умер, я была совсем крошкой. Но мне все рассказали. Он был солдатом в войнах Империи, той великой Империи, при Наполеоне. Он воевал под командой маршала Нея, который хорошо его знал. Когда Наполеон пал, а бедного Нея приговорили к смерти, наш прадед, на свое горе, на беду свою, попал в тот самый взвод, который должен был расстрелять его командира. Маршал Ней узнал его и крикнул: «Стреляй, Гийом! Стреляй, не бойся!» И тут, дети мои, у вашего прадеда задрожал подбородок, так он был потрясен. И до самой смерти у него трясся подбородок из-за всякого пустяка. У его детей, которые потом родились, тоже дрожал подбородок, хотя до тех пор никто в семье этим не страдал. С моим отцом, как мне говорили, тоже это бывало, когда он сердился. И с дядей Проспером — в особых случаях жизни. У меня подбородок дрожит вот так, помимо моей воли. Пока еще неизвестно, перейдет ли это к вам по наследству. Но мне кажется, что Лорану это грозит. Он, пожалуй, похож на семью Делаэ, хотя глаза у него отцовские, глаза Паскье...

Оба брата и сестренка глядели на меня с жадным любопытством. Я краснел от гордости и тщетно пытался показать, будто у меня дрожит подбородок.

Мама продолжала работать, напевая. Порою она тихонько говорила сама с собою, как бы размышляя вслух. Она шептала:

— Теперь я начну компоновать.

Я отлично знал, что она возьмет иголку и начнет сметывать куски на живую нитку. Но все же мне чудилось, будто вот сейчас на столе, как по волшебству, вырастут стены, дворцы, башни.

Иногда между нами, младшими, вспыхивали ссоры. Мы начинали хныкать, пищать, реветь. Тогда мама громко стучала наперстком по столу.

— Ну вот, загудел соборный колокол! — ворчала она.

И нам становилось смешно. Иной раз ссора переходила в нудные препирательства, в жалобное нытье. И мама сердито качала головой:

— Экие пустомели!

Папа чаще всего возвращался только к обеду, На нем был новый костюм, галстук с пышным бантом, он держал под мышкой портфель, набитый книгами. Мы говорили ему:

— Ты похож на школьника,

И он улыбался с довольным видом. Положив портфель, папа спрашивал:

— Никаких вестей из Гавра?

— Ты же знаешь, надо ждать не меньше четырех месяцев, — отвечала мама.

— Знаю, но это могло произойти раньше. А вдруг неожиданная удача? Иной раз такие дела решаются сразу.

— Запасись терпением, Рам.

— О, терпения у меня сколько угодно. Досадно упустить счастливый случай.

— Какой случай?

— Сегодня я слышал... даже могу сказать от кого: от Марковича, свояка Клейса. Он дал совет, куда поместить капитал. Необычайно выгодные условия! Только подумай, Люси: двенадцать процентов! И дело абсолютно надежное. Ценные бумаги госпожи Делаэ, — я говорю о тех, что сданы на хранение нотариусу впредь до получения известий из Америки, — ну сколько они принесут дохода, я тебя спрашиваю? Три процента. Не больше. А может, и того меньше. В семейке Делаэ все были сквалыги, не видели дальше своего носа.

— Раймон! Раймон!

— Молчу, молчу, успокойся. Больше ничего не скажу. Мы не просили у них наследства, даже не думали о нем. И вдруг они повесили мешок с деньгами прямо у нас перед носом, точно конфету на веревочке. Как это унижительно!

— Чего ты хочешь, Рам! Они были люди осмотрительные.

— Терпеть не могу осмотрительных!

— Люди благоразумные, уверяю тебя... Ты же знаешь, я их не оправдываю, Рам. Но пусть мирно покоятся в могиле.

Папа еще немного поворчал, точно большой рассерженный пес. Мы, дети, не знали, куда деваться, опасаясь вспышки гнева.

Но гроза миновала. Отец снова улыбался, прищунив светло-голубые глаза. Мы успокоились, хотя втайне и

были слегка разочарованы, что нас лишили грозного и великолепного зрелища разбушевавшейся стихии.

Тут Фердинан спросил с самым невинным видом:

— Что значит слово «апикальный»?

И папа объяснил четким уверенным тоном. Никто не удивился, ибо это была его специальность. Он все знал и все умел объяснить точно и ясно. Отец был для нас ходячей энциклопедией. Впоследствии я понял, с каким невероятным упорством он изучал слова и их значения, наивно полагая, что это основа всего, первая необходимая ступень для восхождения по общественной лестнице.

Иногда, уже дав объяснение, отец говорил:

— А теперь проверим.

И раскрывал на столе объемистый том словаря Литре. Те из нас, кто умел читать, подбежав, склонялись над этой семейной библией. Мама вскрикивала:

— Осторожней, не наколитесь на булавки! Не трогайте моих выкроек!

Тут отец начинал читать вслух. Мама умолкала, и все семейство благоговейно слушало.

За обедом папа возвращался к прежнему спору, но уже в шутовском тоне.

— Мы ведь не просили денег у Делаэ, не правда ли?

— Конечно, нет! — подтверждала мама.

— Значит, если мы когда-нибудь их получим, то будем тратить их без стеснения. И ничто не помешает мне говорить, что эти Делаэ — просто старые калоши.

— Но мы непременно получим эти деньги, — лепетала мама. — Отчего ты говоришь «если, если»... Уж теперь-то я твердо на них рассчитываю. Как мы можем обойтись без них?

После обеда мы отправлялись спать. В столовой жужжала швейная машинка, а отец уходил работать к себе. Он раздобыл где-то у старьевщика, — вероятно, в подражание Балзаку, как я догадался потом, — широкий грубошерстный халат и кутался в него, не то из кокетства, не то спасаясь от ночного холода. Я спал тогда в маминной кровати, а Сесиль укладывали на диван в «рабочей кабинете». Таков был новый распорядок. Часто Сесиль, потревоженная среди ночи светом лампы, начинала громко бредить во сне. Тогда отец брал ее на руки и относил в мамину постель, а меня перекладывал на место сестренки. Чаще всего мы даже при этом не просыпались и ут-

ром удивленно таращили глаза. Но иногда, очнувшись от забытья, я раскрывал глаза и осматривался по сторонам. Папа занимался, сидя в кресле с низенькой спинкой. Я видел его то в профиль, то вполоборота. На столе горела керосиновая лампа. Иногда по вечерам отец писал заметки, которые назывались у нас «статьи для Клейса». Или же читал, держа перо в руке. Он шевелил губами, точно школьник, повторяющий уроки. Подчас он клевал носом, голова его клонилась все ниже, падала на грудь. Тогда он поступал очень странно: протягивал руку над ламповым стеклом и долго держал, не отдергивая. В комнате начинало пахнуть паленым. Иной раз, борясь с дремотой, отец вынимал из кармана ножик с перламутровой ручкой и колот кисть левой руки. Наутро рука была вспухшая и багровая. Мама вздыхала, с упреком качая головой.

Я уже снова погружался в сон, когда из темноты, из дальней комнаты, доносилось легкое покашливанье.

Отец спрашивал громким шепотом:

— Ты еще не спишь, Люси?

— Нет. Я подсчитываю расходы, — отвечал издали мамин голос.

И она прибавляла, тоже шепотом:

— Какое у нас нынче число?

— Девятнадцатое.

— Только девятнадцатое? Боже милосердный!

Вскоре я стал понимать, что для женщин маминого склада жить — значит стараться дотянуть до конца месяца, не истратив слишком много, не ломая голову над грозной загадкой сфинкса.

Как я уже говорил, наступили пасхальные праздники. Во время каникул произошли два важных события. Однажды трое старших, — Жозеф, Фердинан и я, отправились с отцом на прогулку за город. Свернув на улицу Верцингеторикс, мы вскоре вышли за Парижскую заставу. Дальше надо было просто идти вдоль Западной железной дороги в сторону Медона, к лесу. Сады предместья блаженно дремали в легком весеннем воздухе, от которого у нас, городских мальчишек, с непривычки кружилась голова. По пути к лесу мы вышли на тропинку; перед ней на шесте была прибита деревянная табличка с надписью: «Проход запрещен». Фердинан, бежавший впереди, остановился как вкопанный, точно перед глухой стеной.

— Дальше хода нет! — крикнул он нам.

Папа насмешливо улыбался. Он протянул руку к трухлявой, источенной червями дощечке и вдруг, отодрав ее, зашвырнул далеко в канаву.

— Ну о т , — сказал он с усмешкой. — Теперь путь свободен. Пойдем дальше, мальчики.

Я замер на месте позади всех, растерянно моргая, потрясенный до глубины души.

Другим важным событием была пирушка в ресторане. После того как мы прогуляли целый день, папа сказал:

— Дома ничего не приготовлено. Пойдем обедать в ресторан.

— Раймон, это же безумие! — воспротивилась мама.

— Ничего, попробуем.

В ресторане было почти совсем пусто; через всю залу, выкрашенную водянисто-зеленой краской, тянулась огромная печная труба.

Мама говорила:

— Мне так непривычно есть блюда, которые не я сама готовила.

А нам, детям, все казалось восхитительным и какого-то особенного, незнакомого вкуса.

— Это очень шикарный ресторан, — ликовал Жозеф, пыжась от гордости.

— Да н е т , — бросил папа с вы со ка . — Ресторан грошовый.

Это испортило нам все удовольствие. Мама шептала:

— Не стоило им это говорить, Они бы и не заметили.

Мы вернулись пешком на улицу Вандам. Каникулы кончились. Завтра должна была начаться новая жизнь. Мы бурно обсуждали свои дела, перебивая друг друга, и папа соблаговолил принять участие в разговоре. Жозефу предстояло поступить на дополнительные курсы на улице Бломе. Меня в Фердинана устроили в школу на улице Депре, куда нас обещали принять на конец семестра. Сесиль собиралась брать уроки музыки у подружки м-ль Байель. Все предвещало нам счастливые дни. О, сладостная пора жизни! Лучшее лето моего детства! Словно корабль, крепко оснащенный, хорошо снаряженный, нарядно украшенный, я радостно пускался в плаванье, ввеля свою судьбу морским ветрам.

Глава V

Первое появление Дезире Васселена. Любопытство Фердинана. Школа на улице Лепре. Портрет г-на Жоликлера и его великие достоинства. Урок арифметики. Предметный урок. Ранние горести

Чтобы придать мне бодрости, мама несколько раз обняла меня. Она крепко прижимала меня к груди, гладила по головке, целовала мои волосы и нежно мурлыкала, как будто лакомилась чем-то вкусным.

Потом мама внимательно осмотрела мою одежду: черный шерстяной передник, большой берет, накидку с капюшоном, новенький ранец.

— Все хорошо, все как следует, — сказала она. — Фердинан уже готов. Вам пора идти. Я говорила с директором. Там вас ждут. Вас проводит Дезире Васселен. Он учится в одном классе с тобой, Лоран, но он уже совсем большой.

Дезире ждал нас на площадке лестницы, так как мы жили совсем рядом, дверь в дверь. Он был ровесником Фердинана, старше меня года на три, не больше, но это был великан. Здоровенные ноги, огромные, вечно потные руки, круглая шишковатая голова и глубоко запавшие черные глаза с унылым взглядом. Чужим людям он, вероятно, казался уродом, но мне он понравился с первого взгляда и сразу покорило мое сердце. Я порывисто, с полным доверием взял его за руку. Его мать стояла на площадке перед дверью. В то утро я едва успел ее разглядеть. Это была женщина с поблекшим лицом, еще довольно красивая, но растрепанная, одетая кое-как.

— У вашего сына такое доброе лицо! — сказала мама.

— Это ангел, настоящий ангел! И не такой испорченный, как другие мальчишки, — отвечала г-жа Васселен хриплым голосом.

Мы стали спускаться по лестнице. Меня переполняла горячая благодарность к этому рослому малому, сжимавшему мою ручонку своей теплой лапой. Фердинан семенил за нами с несколько растерянным видом, всегда ему свойственным из-за его близорукости. Улучив удобный момент, он спросил:

— Ты гораздо выше меня, Дезире. Почему же ты все ешь в младшем классе, где Лоран?

— Я-то? Да я плохой ученик, — ответил Дезире.

Фердинан тихонько хмыкнул. Такая откровенность его озадачила. Он и сам считался посредственным, неспособным учеником, но он прилежно зубрил уроки и гордился этим, ибо не мог еще постичь в столь раннем возрасте, что тяжкие, мучительные усилия, по правде говоря, нередко остаются бесплодными.

Пока мы шагали по улицам в утренней сутолоке, он забрасывал Дезире вопросами:

— Ты не учишь уроков?

Дезире замотал головой.

— Нет.

— Ты не любишь заниматься?

— Нет.

— Ты что, не понимаешь, что написано в учебнике?

— Нет, понимаю.

— Так почему же? — удивлялся Фердинан.

Дезире медленно покачал большой головой.

— Мне неохота, неинтересно.

— Вот как? А что же тебя интересует? Ничего?

— Да нет, почему же.

— А что? Что?

— Да так, разные разности.

Дезире густо покраснел и перестал отвечать. Ломовые лошади, потные, лоснящиеся, с грохотом тащили по мостовой тяжелые фургоны к вокзалу Западной железной дороги. Мы пришли на улицу Депре.

По двору носилась толпа мальчишек, и меня, еще непривычного к школьным обычаям, привели в ужас их дикие крики. Какой-то замухрышка, кривляясь, подбежал ко мне и, содрав с меня берет, пустился наутек. Я растерялся. Тут Дезире, не трогаясь с места, заорал грозным басом. Он подзывал его, как зовут собаку:

— Сюда, Габурен! Ко мне!

И тот вернулся с покорным, чуть ли не подобоострастным видом. Он протянул берет, всячески стараясь увернуться от оплеухи.

— Убирайся вон! — рявкнул Дезире.

— А ты силач! — вздохнул Фердинан, внезапно исполнившись уважением.

Дезире Васселен отвечал мрачным шепотом:

— Да, силач.

Затем он подвел нас к тучному старику с седой бородой и, отдав честь по-военному, представил нас:

— Господин директор, вот мальчики Паскье.

— Хорошо, — кивнул толстяк. — Позаботься о младшем брате, а я займусь старшим.

Тут директор сунул в рот оловянный свисток и, надув заросшие бородой щеки, громко свистнул.

Был ли это школьный свисток? Или же трубный глас архангела? Словно по волшебству, сотни мальчишек, бегавших и оравших во дворе, замерли как вкопанные на том самом месте, где их застал сигнал. Вмиг воцарилась удивительная тишина; можно было расслышать, как вдалеке, за домами, ругается и шелкает кнутом ломовой извозчик.

Раздался второй свисток, и толпа детей начала маршировать в такт, громко и отчетливо отбивая шаг по булыжникам двора. Третий свисток — и все исполнители этого странного танца вдруг бросились врассыпную и, согласно заранее установленному порядку, устремились к разным углам двора, как бы служившим точками притяжения. Каждый класс выстраивался попарно в длинные шеренги. Дезире снова взял меня за руку и привел на место. Я подоспел, когда ряды уже построились. Мальчишки, разгоряченные бегом, не могли стоять смирно. Но вот раздался новый свисток, и все школьники запели хором, в унисон. Тонкие ломающиеся голоса подростков звучали нестройно. Однако все невольно поддавались очарованию музыки. Лица разглаживались, становились серьезными, умиротворенными. Песенный ритм являл свою непостижимую чудесную власть, и все забывали, кто о зубной боли, кто об утренней ссоре с отцом, о засаде и драке на углу Западной улицы, о голодном желудке, о дырявых башмаках. Один за другим отряды школьников двинулись к зданию. Продолжая петь, они подошли к лестнице, разделявшейся на два марша; одни повернули налево, другие направо. И громкому шарканью подожв по деревянным ступеням вторили частые, мерные звуки свистка.

Впервые переступив порог, я был поражен, испуган, охвачен запахом школы — запахом старого тряпья, остывшей золы, бумаги, клея, чернил, дешевой пищи и жавелевой воды, тем запахом, одно воспоминание о котором до сих пор вызывает во мне нежную грусть.

По примеру других учеников, я снял свою накидку в коридоре и, испуганно моргая, вошел в светлый класс с голубовато-белесыми стенами. Учитель только что вошел на кафедру. Он производил поистине величественное впечатление. Грива волос была откинута назад, густая борода с проседью обрамляла лицо с крупными чертами. В воспоминаниях он представляется мне то народным трибуном, то статуей речного божества, то наконец богом-отцом с картины. Голос его был под стать этой благородной внешности; знакомый нам всем громовой бас грохотал над нашими головами и, проникая сквозь стены, раскатывался далеко, теряясь в дебрях Парижа. Несколько позже я узнал, что учителя звали г-н Жоликлер. Одного этого благозвучного имени было бы достаточно, чтобы снискать ему уважение во всех слоях общества.

Вряд ли г-н Жоликлер еще живет на свете: в этом — увы! — заставляет меня усомниться та самая арифметика, правила которой он нам объяснял с таким терпением. Но мне хочется принести дань уважения его памяти. С первых моих шагов в жизненной борьбе он являлся для меня олицетворением власти, и могущественной, и вместе с тем вполне допустимой. Что я говорю? Слово допустимой слишком слабо. Скажем лучше приятной и необходимой. Если впоследствии, через много лет, пережив тяжелую внутреннюю борьбу (о чем мне, несомненно, придется рассказать), когда я должен был сделать выбор между методом насилия и даром убеждения, если, повторяю, я сумел занять разумную позицию, то я обязан этим не только своей натуре, но и наставлениям этого замечательного школьного учителя, который с такой охотой и добротой делал свое дело, по моему глубокому убеждению и ю, — самое трудное на свете.

День начался с урока арифметики, науки, которую я не слишком-то любил, но уважал, потому что мама каждый вечер с трепетом обращалась к ней за помощью. Нынче нам предстояло проходить правила деления на однозначное число. На классной доске было написано несколько упражнений. Школьники по очереди вставали и, скрестив руки на груди, объясняли эти задачи на примерах.

— Сколько раз число пять содержится в двадцати восьми?.. Это значит, если мне надо разделить двадцать восемь шаров...

Каждый ученик должен был самостоятельно придумать пример. Подошла очередь моего друга Дезире Васселена. Он скрестил руки, нахмурил брови и начал:

— Сколько раз число семь содержится в тридцати семи...

Он говорил медленно, с трудом, склонив набок свою большую голову, с рассеянным, удрученным видом. Он сильно отставал в учении, хотя был самым старшим в классе. В качестве примера он выбрал вишни и довольно складно продолжал нараспев:

— Это значит, что мои товарищи получают каждый по пяти вишен, а мне достанется только две.

Весь класс насторожился. По всем правилам полагалось сказать: «Мне останется две». После паузы Дезире произнес заунывным голосом:

— Но мне на это наплевать!

Господин Жоликлер воздел руки к небу. Он запрокинул голову в комическом изумлении, и мы увидели его ноздри и раскрытый рот с гнилыми корешками зубов. Он засмеялся:

— Вечно тебя обижают, бедный мученик Васселен. Ладно, садись. Я все-таки поставлю тебе хорошую отметку.

И Дезире опустил на место с угрюмым видом.

Пришел черед Габурена, того паршивца, что стащил у меня берет с головы. У него была нахальная крысиная мордочка. Он выбрал для задачки клубнику, но так долго мямлил, что г-н Жоликлер прервал его:

— Ну хорошо, клубника. У тебя остается пять ягод. Какие ты возьмешь себе?

Облизнувшись, Габурен проглотил слюну и ответил:

— Самые крупные.

Господин Жоликлер расхохотался. Весь класс помирал со смеху. Так впервые столкнулись на моих глазах противоречивые понятия качества и количества.

После урока арифметики начался урок предметного обучения. Мне посчастливилось в том, что меня вызвали, но я оскандалился с ответом.

— Какого цвета бывает вино? — спросил г-н Жоликлер. — Сколько вы знаете сортов вина в отношении цвета?

Все подняли руки, каждому не терпелось ответить на такой легкий вопрос.

— Отвечай ты, новенький! — обратился ко мне учитель. — По крайней мере, мы услышим, какой у тебя голос.

Я встал, трепеща от волнения.

— Есть два сорта вина — белое и черное, — отвечал я робко.

Весь класс загудел хором:

— Белое и красное. Красное, господин учитель!

Почти все в этой школе были дети рабочих. Вино, как друг или враг, напиток или яд, было связано со всей их жизнью, со всеми спорами, рассуждениями и стычками в их семьях. Разве мог я объяснить доброму учителю, что никогда не пробовал вина, что никто у нас дома его не пил, и мой отец сам варил в бочке, в подвале, какой-то дешевый напиток, то пенящийся, шипучий, то густой и приторный? Я сел на место, сгорая со стыда.

Вся большая перемена прошла в унынии. Мы с Дезире Васселеном укрылись в углу двора, подальше от шумной ватаги школьников. Я говорил ему, стараясь рассеять тучи на его хмуром лице:

— Ты очень хорошо отвечал правила деления.

Он вздохнул, угрюмо глядя вниз:

— Да. А все-таки под конец сморозил какую-то чушь. А почему, сам не знаю.

Глава VI

Дружба. Страсть низшего сорта. Героизм моего дорогого Дезире. Пономарь-висельник. Драматическая сцена отцовского проклятия. Боевой клич г-на Васселена. Разговор между начальником и подчиненным. Привычка грызть ногти. Цыпленок по-королевски и церковное вино. Два стиха Ламартина. Взгляд на супружескую измену

Мой отец, как всякий человек, одержимый бурными неистовыми страстями, которые доставили мне жестокие страдания, когда я о них узнал (об этом я не премину рассказать, если хватит времени), — мой отец не растрчивал себя на второстепенные привязанности. Он не

искал и не знал чувства дружбы, которую совершенно несправедливо называл страстью низшего сорта. Вдобавок его мучило постоянное несоответствие между его высокими стремлениями и той заурядной средой, в которой он задыхался. Поэтому у него не было истинных друзей — только деловые связи, знакомые, соседи. Не приходится упоминать и о товарищах по работе: отец всегда работал в одиночку, — слишком уж он был честолюбив и нетерпим, чтобы доверяться посторонним и с кем-либо сотрудничать. Моей матери, обремененной домашними заботами, фанатически преданной своим священным обязанностям, все люди, кроме детей и мужа, представлялись толпой враждебных призраков, которых опасно было прогневить и следовало чем-то умиловить. Поэтому божественная дружба вступила в наш дом робкими шагами вместе с нами, детьми.

Я не могу рассказать историю моей дружбы с Дезире Васселеном: слово «история» предполагает развитие, постепенный прогресс. А Дезире сразу, с первой минуты стал моим лучшим, истинным, закадычным другом. Впоследствии я встречал немало превосходных друзей, иные из них до сих пор служат утешением моей жизни. Но ни один не доставлял мне столько радости, гордости и заботы, как Дезире — отсталый ученик, Дезире-горемыка.

Начать с того, что он спас мне жизнь. Об этом легендарном происшествии десять свидетелей, одаренных живым воображением, долгое время рассказывали всякий раз по-новому, ибо язык дан нам для того, чтобы воспевать героизм, без которого жизнь была бы убогой.

Однажды, в мае месяце, мы возвращались из школы. Мама, как обычно, поджидала нас, выглядывая с балкона, там, высоко, под самым небом. Фердинан уже вошел в подъезд, а я еще приплясывал на углу улицы, размахивая ранцем и что-то напевая, как вдруг чужой свирепый пес, раздраженный моими прыжками, бросился на меня и опрокинул наземь. Не успел я опомниться, как Дезире ринулся на зверя. Он схватил его за горло и, точно младенец Геркулес — змею, стал душить, напрягая все силы, так что на лбу у него вздулись вены. Мама, свесившись с балкона, оглашала улицу криками о помощи. Наконец какой-то извозчик отогнал собаку кнутом. Она укусила Дезире Васселена в руку и в запястье. Как он был прекрасен в моих глазах, бледный и окровавленный! Он

взял меня на руки, хотя я был цел и невредим, и отнес домой вверх по лестнице. Изю всех дверей высыпали жильцы. Мама, плача навзрыд, смазала сливочным маслом раны моего спасителя и забинтовала, приложив корпию, которая всегда хранилась у нее в запасе.

С этого дня Дезире Васселен получил право заходить к нам в любое время. Часто он появлялся во время обеда и усаживался на табуретку в уголке, как можно дальше от стола, с унылым, понурым видом. Я звал его:

— Поди сюда, Дезире. Садись рядом со мною.

Но он упорно отказывался, непонятно почему, и подходил ближе, только когда я был один в комнате. Впоследствии я узнал, что Жозеф, который терпеть не мог моего друга, как-то раз процедил сквозь зубы:

— Подозреваю, что этот ваш Дезире не часто моет ноги, от него здорово воняет...

Бедняга Дезире, должно быть, услышал эти жестокие слова и надолго затаил обиду. Но все же он приходил к нам, потому что любил меня и потому еще, что у него было немало причин бежать из дома.

Теперь, по прошествии сорока лет, супруги Васселены кажутся мне четой скоморохов, которые разыгрывали в жизни пошлую трагикомедию.

Господин Васселен был высокого роста, скорее тощий, чем стройный, с гладко выбритым лицом, как ходили в те времена только священники и актеры; манерами и походкой он напоминал, по выражению моего отца, пономаря-висельника.

Первые дни, еще не разу не видя, мы прозвали его «господин Пррт» из-за странного возгласа, которым он, шелкая языком о небо, извещал домочадцев о своем прибытии. От угла улицы до самого дома он непрерывно выпаливал яростное «пррт». Отправлялся ли он на работу, опять раздавалось резкое «пррт», пронзительное, точно свисток паровоза, видимо, в знак прощания. Поднимался ли по ступенькам гулкой лестницы, — оттуда несло «пррт» и «пррт». Утром, в постели, чтобы разбудить жену и детей, он сызнова рывкал свое «пррт», проникавшее сквозь стены.

Стены нашего любимого дома, надо признаться, не служили заметным препятствием для шума. Квартира Васселенов примыкала к нашей вплотную, и все, что у них происходило, было для нас весьма ощутительно. Я едва не написал «было нам понятно», но это не совсем

точно, потому что в те годы я еще многого не понимал. Впрочем, их странные слова и дикие вопли могли бы про- светить меня не хуже, чем комментарии шепотом моих родителей, которые я слышал краем уха.

Такое тесное соседство с первых же дней встревожило мою мать и вызвало на лице отца то хищное выражение, которое, как мы знали по опыту, предвещало грозу.

— Оставь их, Р а м , — уговаривала м а м а . — Главное, не выходи из себя; иначе нам придется опять уехать из квар- тир, как из всех прежних. Раз есть только два выхо- да — ссориться с соседями или жить в мире, не будем портить отношения. Что нам до них? Не считая, конечно, младшего Дезире — это просто ангел.

Мой отец неохотно отказался от стычки. Он уступил только ради Дезире. Впрочем, со временем чудачества г-на Васселена стали его забавлять.

— Это шут гороховый, — говорил отец с презритель- ной усмешкой. — Он невыносим, но неподражаемо сме- шон.

Первая наша встреча лицом к лицу с Васселенами произошла в воскресенье, за завтраком. Уже больше часу до нас доносилась из-за стены громкая перебранка. Ма- ло-помалу, сами того не замечая, мы стали прислуши- ваться. Мрачный густой бас кого-то гневно распекал, а его прерывал другой мужской голос, тонкий и визгливый. Какая-то женщина, очевидно, г-жа Васселен, вмеша- валась в спор, исторгая жалобные вопли. Вдруг раз- дался грохот, шум падающих стульев. Низкий бас гре- мел:

— Я проклинаю тебя! Презренный, недостойный сын! Проклинаю тебя!

Шум усилился, все семейство выбежало на площадку. Мы замерли с вилкой в руке, испуганно прислушиваясь.

— Манюэль! — рыдала г-жа Васселен. — Если ты его проклянешь, он никогда больше не вернется. Опомнись, Манюэль, сними с него проклятье!

— Ни за что! — отвечал г-н Васселен с олимпийским величием. — Этот прохвост еще будет валяться у нас в ногах, выпрашивая хлеб, который мы добываем в поте лица. Проклинаю тебя, недостойный сын!

Разразились новые мольбы и крики, от которых дро- жали стены.

Моя мать, трепеща от волнения, не могла усидеть на месте.

— Какой ужас, Рам! Не ходи туда. Я пойду помочь этой несчастной женщине.

Мама растворила дверь сперва наполовину, потом настежь. И нам представилась вся сцена. Перед соседней дверью, засунув одну руку за лацкан жилета, а другой потрясая салфеткой, стоял г-н Васселен в трагической позе. Г-жа Васселен, преклонив колени на нашем половике, от чего ее пышные юбки вздулись, как на картине Грёза, испускала неестественные вопли, обливаясь непритворными слезами. Едва лишь отворилась наша дверь, какой-то нескладного вида юнец, ухмыляясь, бросился вниз по лестнице.

— Преступник удрал, справедливость торжествует! — воскликнул г-н Васселен громовым голосом и вдруг, обернувшись и увидев нас, отвесил низкий поклон.

— Какой позор, какое унижение! Да еще в присутствии столь почтенного семейства. Простите нас великодушно, как и мы прощаем недостойному сыну. Замолчи, Пола. Успокойся. Покорись судьбе! Смее ли я, сударь, предложить вам чашечку кофе? Мы как раз начали пить кофе.

Папа отказался, покачав головой. Мама, ласково утешая, помогла подняться г-же Васселен, которая все еще всхлипывала и сопела. Ее муж, взмахнув салфеткой, изящно поклонился.

— Пойдем домой, Пола, — сказал он. — Научимся скрывать свои страдания. Будем молча нести свой крест.

Он грозно фыркнул два-три раза и, дернув за руку, увел свою жену. Как только двери захлопнулись, наш сосед, то ли желая облегчить душу, то ли чтобы положить конец этой сцене, разразился своим пронзительным, непонятным «пррт... пррт...».

Через несколько дней мы волей-неволей узнали все, что можно было узнать о семействе Васселенов.

Манюэль Васселен в начале нашего знакомства служил счетоводом во «Фландрском дворе», модном магазине, основанном одной предприимчивой богатой дамой. Говоря о своей должности, он всякий раз приводил ради шуточки стихотворную строку, — по словам моего отца, цитату из Корнеля:

Он служит при дворе владычицы своей, — декламировал старый шут, делая ударение на слове «при дворе».

На самом деле он постоянно менял место работы, переходя из конторы в контору. Чаще всего его просто увольняли без всяких церемоний, а если хозяева долго его терпели, он сам находил какую-нибудь, самую невероятную причину, чтобы взять расчет.

— Так уж я создан, — объяснял он н а м . — Я человек вольный и непостоянный, непокорный, нетерпеливый. Я не выношу никакого ярма, мои юные друзья! Таков закон природы, и не только в гнусном человеческом обществе. Даже улитки куда-то ползут, даже устрицы не торчат на месте. Меня влечет все неисследованное, все неизведанное.

О своих столкновениях с начальством он рассказывал необыкновенные истории, великолепно изображая в лицах целые сцены, которые с тех пор вошли в наш семейный фольклор. Я бы и сейчас охотно посмеялся над этим с Жозефом и Фердинаном, если бы еще не потерял способности смеяться и даже раскрывать рот в присутствии Жозефа и Фердинана... Но предоставим слово г-ну Васселену.

— Я предвижу, — начинал он , — что мне придется передать бухгалтерские книги Менских торговых рядов кому-нибудь менее одаренному, чем я. Нынче утром у меня состоялся разговор с моим шефом, замечательным человеком, разговор, над которым он будет ломать голову до скончания дней своих. Вообразите себе, что рано утром этот выдающийся человек вздумал восхвалять мне все преимущества моей должности.

— Господин Васселен, — сказал он , — вы занимаете у нас прочное положение.

Я. Разумеется, господин Дюшнок. (Его зовут иначе, Дюшнок — это дружеская кличка.) Разумеется. Должен признаться, именно это меня и огорчает.

Он. Это вас огорчает? Объяснитесь, господин Васселен.

Я. Поймите, господин Дюшнок, пока я искал место, у меня была надежда.

Он. Что такое? Какая надежда?

Я. Надежда получить место, господин Дюшнок.

Он. Быть не может! А теперь?

Я. Я получил место, но потерял надежду, господин Дюшнок. Это крайне прискорбно.

Он. Что прискорбно, господин Васселен? Я не понимаю.

Я. Целыми днями я задаюсь вопросом, что предпочесть: надежду или прочное место. Это становится навязчивой идеей, господин Дюшнок. Кончится тем, что я уйду от вас.

Он. Уйдете от нас? Возьмете расчет? Что это значит?

Я. Я уйду. Увы, это так, господин директор. Когда я уволюсь, я буду уверен, что не остался. Сами понимаете, я не могу жить в вечном сомнении.

Он. Каком сомнении?

Я. В сомнении, уйти мне или остаться, господин Дюшнок...

Госпожа Васселен воздевала руки к небу. Мой отец саркастически улыбался. Старый фигляр, скривив рот, выпаливал насмешливое «пррт». Подобные разговоры обычно происходили на лестничной площадке, при случайных встречах. Дома, затворив двери, папа покатывался со смеху.

— Он погряз в пороках. Я уверен, что он пьяница. Ручаюсь, что он играет на скачках. И в довершение всего грызет ногти. Ну и фрукт!

Господин Васселен в самом деле грыз себе ногти с ужимками, гримасами, хрюкая от удовольствия, если ему попадался незамеченный кончик ногтя, крошечный заусенец, который мог ему доставить еще четверть часа жгучего наслаждения. С помощью тоненького, грязного, но острого ножичка он проникал в недоступные для зубов уголки, сдирал кожу, резал себе пальцы до крови.

Нередко, когда г-н Васселен приходил со службы, до нас доносились испуганные возгласы его супруги:

— Откуда ты все это натаскал? Смотри, кончится тем, что ты попадешься. Помяни мое слово!

Господин Васселен хихикал, издавая свое любимое «пррт», которое он называл «мой боевой клич». Он был неисправимым воришкой. Каждый день он притаскивал из своей конторы всевозможные мелочи: карандаши, тетрадки, конверты, баночки клея, почтовые марки. Таким пустякам он не придавал ни малейшего значения, и это не мешало ему читать своим детям напыщенные нотации о честности и порядочности.

После второй встречи он вбил себе в голову пригласить нас на ужин.

— У нас не будет никаких торжеств, — говорил он. — Просто дружеская пирушка в честь моего поступления счетоводом в магазин «Морячка». Далековато находится

эта самая «Морячка» для такого старожила улицы Ван-дам, как я. Терпеть не могу набережной Сены, там всегда вспоминаешь об утопленниках... Итак, не ждите ничего особенного. Мы скушаем цыпленка по-королевски и разопьем бутылку церковного вина.

Первое время мои родители под всевозможными предлогами отказывались от этого несуразного ужина, чтобы избежать ответного угощения. Но вскоре оказалось, что любезные приглашения г-на Васселена были пустой болтовней и даже для него самого ничего не значили. Однако он неизменно соблюдал привычный ритуал.

— Когда же вы придете отведать цыпленка по-королевски? — кричал он маме, встретив ее на лестнице.

Иной раз, ущипнув меня за щеку и пробурчав несколько раз «пррт, пррт», он заявлял решительным тоном:

— Скажи своим родителям, юный Елиаким, что ужин назначен на воскресенье. Да, совершенно точно. Я куплю цыплят и поставлю вино на холод.

Я ничего не отвечал, а старый чудак, повернувшись ко мне спиной, тут же обо всем забывал. На другой день, снова оседлав своего конька, он даже вдавался в подробности:

— Любите вы улиток? Надо запасти по дюжине улиток на брата. Ты спросила о детях, Пола? Или ничего не сказала? Что ты, дети охотно проглотят по дюжине, не хуже папы с мамой. Пойми меня хорошенько, Пола, я хочу закатить превосходный, изысканный ужин.

Эти бредовые фантазии принимали подчас форму галлюцинаций. Непрерывно восхваляя достоинства цыпленка по-королевски, г-н Васселен вообразил, что действительно угощал нас ужином. Однажды в сумерках, встретив меня в подъезде под лестницей, он воскликнул с торжествующим видом, брызжа слюной:

— Ну как, юный Елиаким? Недурно бы повторить пирушку, не правда ли?

Я молчал, разинув рот от удивления.

— Признайся, что цыпленок был хорош, — продолжал он, — надо бы лучше, да некуда. Обыкновенный цыпленок, да как зажарен! С эстрагоном! Я убежден, что ты никогда не пробовал ничего подобного. Жалко, ты не пил церковного вина, это тебе не по возрасту. Ничего, в следующий раз будет шампанское. Поднесу тебе стаканчик. Идет, юный Елиаким?

Он именовал меня «юный Елиаким», от чего мне было ни тепло, ни холодно. Зато к бедняге Дезире отец обращался не иначе как в насмешливом, издевательском тоне. Он высокопарно называл его на «вы», кроме тех случаев, когда бросал ему в лицо два стиха Ламартина, которые впоследствии, процитировав, прославил Ростан:

Мужайся, выродок, и знай: в своем паденье
Ты носишь на челе знак высшего рожденья.

Зачастую он звал своего сына просто «выродок». Он приказывал:

— Сбегайте за табаком, выродок!.. Принесите мне бутылку пива, выродок!

А еще чаще окликал его на каком-то ужасном жаргоне, непонятном для непосвященных:

— Эй, болдырь! Вы готовы, болдырь?

И тут же прибавлял странные, оскорбительные прозвища:

— Ублюдок... дегенерат... урод... недоносок...

Несчастный Дезире бледнел и трепетал от ужаса.

Тут за ребенка вступалась г-жа Васселен.

— Это твой сын! — визжала она. — Ты сам его породил, негодяй, хоть этому и трудно поверить: ведь он во сто раз лучше тебя. Это настоящий ангел. Он твой, я ни разу тебе не изменяла, хотя ты вполне это заслужил, Мано. Будь уверен, у меня не было недостатка в поклонниках... Но быть женой рогоносца! Нет уж, я слишком себя уважаю!

Чувствуя, что атмосфера накаляется, мама старалась греметь посудой, чтобы заглушить голоса, но сквозь тонкие стены было слышно каждое слово. Васселен отвечал сладким голосом:

— Я женился на тебе по любви, Пола. И если изменял тебе, то опять-таки по любви. Верь мне, Пола, я изменял только с теми женщинами, которые похожи на тебя, да, Пола, похожи на тебя больше, чем ты сама на себя похожа. Попробуй-ка это объяснить, дорогая!

— О х , — стонала г-жа Васселен, — делай что хочешь, негодяй, только оставь в покое бедного ребенка.

— Бедного? — сурово вопрошал Васселен. — Ну да, бедного духом. Блаженны нищие духом.

— Оставь его , — вопила мать, выйдя из себя.

— Я не стыжусь его, я о нем горюю. Он идиот. Ну что ж, это мой крест. В каждой семье есть свой идиот, свой эпилептик, сифилитик, чахоточный, мошенник, своя потаскуха. А у кого в семье их нет, так скоро будут. Господь справедлив.

Голос звучал все громче, все трагичнее, совсем как в театре. И вдруг раздавался грохот, звон посуды. Трещали полы, сотрясались стены. Дезире начинал стонать и молить о пощаде.

Глава VII

Исследование запахов. Любимые уголки. Бесстрашие моего друга Дезире. Ссоры и привычки Васселенов. Что видно в зачехленную скважину. Племя Куртуа. Игра в банк по субботам. Живопись гуашью

— Улицы служат для того, чтобы проходить по ним, дети мои, а не для того, чтобы играть. Не задерживайтесь на улице, умоляю вас на коленях! И будьте осторожны. Остерегайтесь колясок и повозок, каждый день они давят колесами маленьких детей. Берегитесь собак: уж тебе-то, Лоран, это известно на горьком опыте. Бойтесь пьяниц. Остерегайтесь незнакомых людей; если с вами кто-нибудь заговорит, отвечайте вежливо: «Да, сударь. Нет, сударь», а сами пускайтесь наутек.

Так говорила наша мама, но все ее доводы были напрасны. Что значили для нас опасности парижских улиц по сравнению с их соблазнами. Едва выйдя из школы, мы устремлялись вперед по нагретым солнцем тротуарам, точно молодые ищейки, пригнувшись к волнующим запахам городских джунглей. Я так любил улицу Верцингеторикс, улицу Шато, Западную улицу, и если бы мне довелось после смерти вернуться туда и витать незрячим привиденьем, то я узнал бы по запахам родные места, где протекало мое детство. Благоухание фруктовой лавки, свежее, пряное, которое к вечеру ослабевает, сменяясь духом болотной сырости, увядшей зелени, гниющих плодов. Дым прачечной, пахнущий паленым бельем, сушилкой, потным женским телом. Затхлый дух мясной лавки,

насыщенный испарениями бычьей крови, противным и жутким запахом резанных животных; смолистый аромат сосновых опилок, рассыпанных по плиточному полу. Острый запах открытых банок краски, исходящий из пустой лавки, которую заново перекрашивают. Симфония ароматов бакалейного магазина, разнообразных, стойких, приносящих вести о далеких странах, известных мне только по книгам. Букет лекарственных запахов, доносящийся из аптеки, озаренной на исходе дня красным и синим пламенем, трепещущим в стеклянных шарах. Дыхание булочной, спокойное, теплое, материнское. Я бродил по улицам, раздувая ноздри, жадно вдыхая дуновение ветра.

В конце улицы Шато вздымались, как торжественный животворный фимиам, запахи поездов и паровозов. В те отдаленные времена улицу пересекал железнодорожный путь. Повозки и коляски подолгу ждали перед закрытым шлагбаумом, пока маневрировали составы; в воздухе висела ругань возчиков и кучеров. Пешеходы, более счастливые, могли перебраться на улицу Котантен и на пустыри у бульвара Вожирар по хрупкому мосточку, который с грацией козочки перепрыгивал через железнодорожные рельсы.

Я любил постоять на середине мосточка. С одной стороны тянулся туманный канал, который убегал куда-то вдаль, в просторы полей, к тихим провинциальным городкам. С другой стороны вставали застланные дымом купола вокзала, черные канавы, ангары для вагонов. Справа и слева виднелись мастерские, буфера, будки стрелочников, ротонды депо, которые в различные часы дня напоминали то закопченные храмы, где рабочие поклонялись божественным локомотивам, то конюшни, откуда по временам выводили стального коня, лоснящегося, бьющего о землю копытом, рвущегося в бой.

Порою, когда мы стояли там, забывшись, внезапно сотрясался весь мир. Длинный поезд, точно сказочный змей, пронесся у нас под ногами. Извергаемый им черный дым на миг заволакивал нас пахнущим серой сумраком, словно грозовой тучей.

Мы возвращались домой по нашей мирной улице Вандам. Вдоль тротуаров тянулись приземистые домики; через растворенные двери виднелись коридоры, сизые от кухонного чада. И вдруг, точно гром фанфар, шибал нам в нос резкий запах конюшен, лошадиного пота, свежего, еще теплого навоза, перегоня; пронеслись порывы вет-

ра, насыщенного аммиаком, пронизанного роем синеватых мух.

После этого бурного взрыва улица затихала и далее, до самого конца, источала лишь тусклые пресные испарения; общественные бани и прачечная с цинковой вывеской распространяли влажный мыльный дух. Но вот перед нами, словно бурный морской пролив, открывался проспект Мен, весь исхлестанный северным ветром. С другой стороны проглядывал небольшой отрезок улицы Вандам, случайно вклинившийся в квартал Гетэ.

Мы возвращались к своему обиталищу. Я нежно любил улочку Персеваль с таким поэтичным названием. Там раскинулся сад, где бушевала пышная зелень. В вечерней тишине за бесконечно длинной оградой раздавался топот ломовых лошадей, слышно было, как они гремят цепями, с хрустом жуют овес и норовисто брыкаются, ударяя себя копытами по брюху. Мне нравился пустынный, залитый асфальтом треугольник, который, ради нелепого выравнивания, отрезали от улицы Вандам. Любил я и наш тупик, где земля была покрыта щебенкой, подобно дорогам, убегающим вдаль.

Поднявшись к себе на верхотуру, я забирался с книжкой в руках на балкон, куда залетала черная бархатная сажа от проходящих паровозов. Балкон Васселенов был отделен от нашего чугунной решеткой. Дезире усаживался там, грызя горбушку хлеба, посыпанного крупной солью. Мне больше нравился балкон с северной стороны, откуда были лучше видны поезда, и я звал Дезире к нам. Он выбегал на площадку, тихонько стучался в дверь и минуту спустя садился рядом со мной.

Однажды в ответ на мой зов он, нахмутив брови, с решительным и хладнокровным видом, отважился на отчаянный поступок: перешагнул через перила и по краю бездны обошел балкон снаружи... Я зажмурил глаза, онемев от ужаса. Но храбрый мальчик уже опустился на пол рядом со мной. Он был совершенно спокоен.

— Ох! — прошептал я упавшим голосом. — Да ты же мог сломать себе шею!

Кивнув головой, он ответил просто:

— Да. Только никому не говори.

Порою наш блаженный покой вдруг прерывали резкие оглушительные звуки, доносившиеся снизу с мостовой. Бродячие музыканты на трубах и тромбонах дудели романсы, вальсы, оперные арии. Из окон им швыряли

медные монетки, которые подбирал, шаря по канавам, их менее музыкальный собрат.

В теплую погоду, при раскрытых окнах, ссоры в семье Васселенов раздражались громом среди ясного неба. У моего друга была сестра, здоровенная девка, которая вызывала во мне непреодолимое отвращение. Она работала где-то в швейной мастерской. Возвращаясь по вечерам, в разные часы, она ссорилась с матерью, грубо бранилась и громко хлебала суп, из-за близорукости уткнувшись подбородком в тарелку. Схватив вилку, она прожорливо, со зверскими гримасами набрасывалась на еду. Эта девица вечно с кем-то переругивалась и вряд ли замечала присутствие такого ничтожного существа, как я; я же глядел на нее с ужасом, какой всегда у меня вызывает животная тупость в человеке.

Что до Люсьена, юного шалопаю, которого отец на наших глазах проклял и выгнал из дома, то он время от времени возвращался. Примирение происходило за тайной семейной пирушкой, на которую беднягу Дезире чаще всего не допускали. И вдруг там вновь вспыхивал скандал, взрываясь, как бомба. В десятый раз преданный проклятию, недостойный сын удирал куда глаза глядят. Рыдающим голосом незадачливый счетовод поносил свое потомство.

— Я вижу, что вы последуете за мной в бездну позора, — кричал он. — Это моя вина. Небеса покарали меня!

И почти сразу успокоившись, чудак принимался напевать непристойные песенки, завершая их томным «пррт».

По временам все семейство куда-то исчезало. Дезире, вернувшись домой, наткнулся на запертую дверь и часами сидел в ожидании на ступеньках лестницы. Как-то вечером я застал его там, и мы разговорились.

— В квартире пусто, — сказал он. — Никто не отвечает.

— Но ведь уже семь часов.

— Что поделаешь! Мама, верно, ушла по делам.

Я был еще совсем маленький мальчик и, по наивности, решил на странный поступок. Я подошел к дверям Васселенов. Сквозь замочную скважину проникала тусклая полоска света. Заглянув в отверстие, я удивленно вскрикнул.

— Знаешь, — прошептал я, — а ведь твои родители дома.

— Вот как? — покорно вздохнул Дезире. — Ты их видишь?

— Да, очень хорошо вижу.

Из прихожей была отворена дверь, ведущая в спальню.

— Что же они делают? — спросил Дезире, позевывая.

— Да я не пойму. Твой отец снимает куртку. Слышишь? Он смеется.

Дезире вскочил на ноги. Оттолкнув меня от двери, он тоже заглянул в замочную скважину. Когда он повернулся ко мне, я едва узнал его: он был бледен и весь дрожал.

— Что ты видел еще?

— Ничего, больше ничего! — отвечал я в испуге.

— Не смотри больше. Не смей смотреть никогда! — сердито буркнул мальчик.

Он стиснул мне руку и повторил еще тише каким-то странным, угрожающим тоном:

— Не смей смотреть. А то я убью тебя.

Эта сцена, которая привела меня в смятение, но не убавила моей любви к Дезире, была прервана по воле providения приходом г-на Куртуа, старика соседа. Он занимал вдвоем с женой третью квартиру на нашей площадке, напротив Васселенов, выходящую окнами во двор. Квартира, расположенная против нас, как я уже говорил, пустовала.

Господин Куртуа в ту пору, вероятно, было немногим больше пятидесяти лет. Это был необыкновенно корректный, безукоризненно вежливый господин. Однако на меня он почему-то с первого взгляда произвел неприятное впечатление; показался мне не вполне нормальным, выжившим из ума старикашкой, что, впрочем, и подтвердилось в дальнейшем.

Господин Куртуа носил, смотря по сезону, суконную или люстриновую серую куртку, светлый цветастый жилет и не снимал перчаток даже летом, что на улице Вандам считалось верхом изящества. Он нюхал табак, но помимо табачного от него исходил какой-то своеобразный запах: сафьяна, опрятного старческого тела, испорченных зубов, морщинистой кожи.

Он красил свои жесткие, коротко подстриженные усы. Красил и редкие пряди волос, которые тщательно зачесывал веером на лысом, безукоризненно белом черепе. Г-н Куртуа всю жизнь трудился в маленькой часовой мастерской, которая и теперь еще существует на улице Ванв. Он работал там до пятидесяти лет, упорно и не-

уклонно преследуя одну-единственную цель, подобно многим французам тех времен, — «удалиться на покой»; просто поразительно, как мало людей чувствуют зловещий отзвук этого выражения: отставка, бегство, самоубийство.

Итак, он «удалился на покой», передав мастерскую своему брату-холостяку и двум незамужним сестрам. Если я несколько задержусь на описании этой коллекции кикимор, то отнюдь не из пристрастия к курьезам, хотя и это можно понять, но потому, что все эти Куртуа сыграли важную роль в мечтаниях и горестях нашей семьи.

Куртуа-младший, или попросту Толь, как все его называли — ибо он носил имя, которое лишь совсем недавно прославил г-н Анатоль Франс, — Куртуа-младший был горбат, и притом весьма своеобразно, — если можно так выразиться, — горбат во всех направлениях. Его чудовищное туловище в форме бочки как-то косо держалось на ногах, а голова была криво приставлена к шее. Таким образом его особа как бы состояла из трех частей, которые были слеплены кое-как и при каждом движении грозили развалиться и — жутко подумать — обрести самостоятельность. Он во всем подражал старшему брату — красил волосы, нюхал табак и издавал, пока еще в слабой степени, тот запах дубленой кожи, который я не сумел бы точно определить.

В мастерской с ним работали сестры, старые девы, обе превосходные часовщицы; все трое гнули спину целую неделю, не вынимая лупы из глаз, и только по субботам являлись на улицу Вандам, чтобы провести вечер и развлечься нелепой игрой в банк, где ставкой служили зерна белой фасоли. В этот день сестры надевали шляпы, вуалетки, напяливали юбки с оборками, турнюры, рукава с буфами и пудрились какой-то пахучей пудрой, которая, не достигая кожи, облепляла густой пушок, покрывавший их лица. Мы прозвали их феями, а почему, — я не решился бы объяснить из уважения к этому прелестному имени, особенно с добавлением обычных эпитетов моего отца.

Некоторое время спустя соседи стали приглашать нас на субботние вечера. Г-н Куртуа в назначенный час встречал нас у дверей. Всем нам, взрослым и детям, он поочередно пожимал руки, любезным жестом приглашая нас пройти налево; впоследствии у одного политического деятеля, многократно занимавшего пост министра, мне

довелось наблюдать тот же самый жест во время утомительной процедуры приема избирателей.

На игре в банк по субботам председательствовала г-жа Куртуа. Чудо мимики, эта дама была похожа сразу и на своих золовок, и на деверя, и на мужа. Она являла собой нечто среднее, обобщенный тип своего клана. Г-жа Куртуа благоухала старой кожей, подобно одним, и рисовой пудрой, подобно другим. На голове, с помощью щипцов и папильоток, она соорудила замысловатую прическу под сеткой-паутинкой.

Комната, где почтенное общество собиралось для игры в банк, была увешана сверху донизу картинами, написанными г-ном Куртуа гуашью и изображавшими розы во всех видах: в букетах, пучках, венках и гирляндах.

При первом же знакомстве г-н Куртуа предложил давать мне уроки живописи, и мама, найдя, что у меня есть способности, с радостью согласилась.

— Сперва ты напишешь зеленый бутон, — поучал меня г-н Куртуа. — Потом я тебя научу изображать розовый бутон, затем распустившийся цветок. Листочков всегда должно быть три. Один листик светло-зеленый, другой темно-зеленый, а между ними двухцветный. Это обязательное правило. Позже, когда ты научишься писать красную розу, мы попробуем розу желтую и, наконец, махровую. Но это уже другой коленкор.

Я прилежно следовал этим мелочным наставлениям. Но иногда, давая волю фантазии, отступал от правил. Г-н Куртуа сердился.

— Раз ты это сделал, — брюзжал он, не стесняясь ходячих выражений, — раз ты так напакостил, значит, ты глуп как пробка.

Вскоре, должно быть, экономя время, он стал сокращать этот оборот. Он говорил:

— Опять пробка! Уж такая пробка, хуже некуда!

Первые дни я был преисполнен благодарности, так как г-н Куртуа не только обучал меня даром, но давал кисти и краски. Очень скоро я понял, однако, что у людей практичных всякий труд требует оплаты. После урока г-н Куртуа отводил меня к жене, и эта дама, заполучив партнера, даже столь неумелого, как я, с азартом играла со мной в пикет.

Госпожа Куртуа была не слишком приятной партнершей. Она плутовала, передергивала, награждала меня обидными прозвищами и вдобавок, будучи высокого мне-

ния о своем поле, называла меня в женском роде, что меня несколько коробило.

— Дуреха! Сонная тетеря! — кричала она. — Если бы ты догадалась скинуть пики, ты бы уже выиграла.

Я был всегда обманут, вечно в проигрыше. Зато я как-никак расплачивался за уроки живописи гуашью, а главное, зевая от скуки, постигал на опыте, что ничто в жизни не дается даром.

Глава VIII

Сны наяву в нашей семье. Проекты и мечты. Просторное жилье. Одежда, мебель, домашняя прислуга. Экономия и сокращение расходов. Всемирная выставка. Горячие бани. Урок географии. Заблуждение XIX века относительно образования и мудрости. Визит 2-жи Трусеро

Не помню, какой толкователь снов утверждал, что не бывает совместных сновидений. Очевидно, этот ученый муж имел в виду только сны во время сна. Действительно, что ни говори, педанты тщетно пытаются установить различие между сновидениями и снами наяву. Те же слова для всякого француза означают и сонные грезы, и слабые мечты во время бодрствования.

Так вот, в середине лета вся наша семья начала предаваться снам наяву. Говоря о нашей семье, я имею в виду только родителей и их выводок, то есть всего шесть человек, как нас было в то время.

Это странное явление происходило не каждый день и не каждый час. Обычно все начиналось вечером, за ужином. Наш отец, положив вилку на стол, устремлял куда-то вдаль просветленный взор и говорил задумчиво:

— Мы устроились тут гораздо удобнее, чем прежде, но все-таки в большой тесноте.

— Раймон, — пугалась мама, — неужели ты вздумал переезжать отсюда?

— Нет, но мне пришла в голову мысль...

— Какая мысль?

— Не могли ли бы мы, если бы это было возможно...

С этого коварного плеоназма, который мне приходилось слышать из многих уст, и начинался безудержный разгул мечтаний и проектов.

— Мы могли бы, если это возможно, сиять соседнюю квартиру, пустующее помещение. Подумай — вдвое больше площади!

— Однако, Раймон...

— Да нет, не сейчас, конечно. Когда получим известие из Гавра. Почти вдвое больше площади. Понимаешь, Люси?

После этой фразы наступало молчание, но в воздухе что-то назревало. Моя мать тоже задумывалась, пристально глядя в одну точку. Лицо ее выражало сначала страх, чуть ли не смятение. Она будто измеряла взглядом бездонную пропасть. Затем мало-помалу бездна каким-то чудом заполнялась, выравнивалась, исчезала, и мама приходила в себя.

— Разумеется, как только мы получим письмо от нотариуса... К октябрьскому сроку платежа это было бы уж слишком хорошо. Но к январю или даже к половине срока...

— Сорок тысяч франков мы разделим ровно на четыре части, — мечтал папа в слух, — четыре части на четыре года. К тому времени я сдам экзамены и получу диплом. И тогда все дороги открыты! Я буду писать статьи, а там подвернется какое-нибудь место, удачный случай, непредвиденные обстоятельства, разные мелкие доходы... Спокойная жизнь. Интересная работа, обеспеченность. В первый же год мы поместим отложенную сумму, то есть остальные три части, в какое-нибудь выгодное предприятие. Деньги не должны лежать мертвым капиталом, их необходимо пускать в оборот. Маркович долбит мне это при каждой встрече...

— Нельзя ли прорубить дверь в стене? — мечтательно проговорила мама.

— В какой стене?

— Из нашей спальни, чтобы соединить обе квартиры вместе.

Прорубить стену! Мы слушали, оторопев от изумления. Прорубить дверь в стене! В нашем возрасте стены представлялись чем-то вечным и незыблемым.

— Стену? — переспросил отец. — А почему бы и нет, Люси? Думаю, что домовладелец ни в чем нам не откажет.

Жозеф тоже приходил в азарт,

— У нас будет самая большая квартира во всем доме. А у меня — правда, мама? — у меня будет своя комната. Отдельная комната для меня одного!

— Спроси у твоего отца, сынок. Самую удобную, тихую комнату мы отдадим ему. Рабочий кабинет вашего отца — важнее всего. Я не настаиваю на гостинной: у нас никогда ее не было, можно обойтись без нее. Но фортепьяно не должно стоять в кабинете, где работает ваш отец.

При упоминании о фортепьяно у кроткой Сесиль разгорались глаза. Вся семья воодушевлялась, все наперебой принимались мечтать вслух. Фердинан что-то жалобно канючил о башмаках, которые ему жмут. У Фердинана всегда были скромные претензии, но он настойчиво добивался своего. Жозеф, возвысив голос, заговаривал о велосипеде, о путешествиях. Мама строила планы о наших зимних костюмах, не только теплых, что само собой разумеется, но даже элегантных и даже по несколько штук на брата. Далее, одним махом, она уносила в мечтах все выше, покупала мебель, расстилала ковры, вешала лампы, вставляла зеркала. Отец, хотя и более сдержанный, хотел заняться составлением образцовой библиотеки. И мы все на минуту благоговейно замирали, точно в церкви при возношении даров.

Вслед за тем — кто из нас первым произнес это слово? — заходил разговор о домашней прислуге, сперва только о поденщице. Мама горячо протестовала:

— Я всегда все делала сама... Зачем нам чужой человек в доме?..

Напрасные возражения! Служанка толстела, разрасталась и вдруг, по загадочным законам размножения, производила на свет двух или даже нескольких служанок. Это случалось в наши лучшие дни, дни безумной оргии сновидцев. Правда, дело еще ни разу не доходило до слуги мужского пола.

Я написал о сновидцах, хотя это, может быть, и варварское выражение. Утверждать не берусь. Никто не знает, откуда произошло слово «сон». Сновидения посланы с небес нам, здравомыслящим французам, как искупление. Но вернемся к моему рассказу.

В нашем доме поминутно раздавались торжественные ритуальные заклинания, произносимые то голосами взрос-

лого, то устами младенца: «письмо нотариуса... известие из Гавра... документы из Лимы...» Мама шептала:

— И подумать только, что эти деньги мы получим именно теперь, в такой момент! Это чудо, просто чудо!

Дальше — больше, фантазия разыгрывалась, проекты принимали широкий размах. Нас влекло к расточительству, мотовству, безрассудству. Не считаясь с расходами, мы мечтали о морских купаньях, о кучере, театральных ложах, загородном домике. Но вдруг наступало отрезвление. Как все транжиры, мы были подвержены внезапным припадкам скупости. Мы сокращали расходы. Продавали предметы роскоши. Служанка тощала, хирела, уступала место поденщице. В конце концов мы ее увольняли.

Моему отцу всегда первому надоедали призраки, им же самым вызванные из мрака. По тону его голоса, по выражению глаз мы чувствовали, что он вот-вот спустится с облаков, бросит нас одних, вернется к действительности. Он глядел на маму сначала с насмешливой улыбкой, потом холодно, затем с раздражением. О, как он презирал бесплодные мечтания своих близких, даже когда сам их на это вызывал, особенно когда сам их вызывал! Он резко прерывал нас:

— А до тех пор мы будем по-прежнему перебиваться кое-как, и в этом месяце нам едва удастся свести концы с концами.

Он проводил рукой по лбу, тяжело вздыхал и уходил из дома, оставив нас в полной растерянности.

Случалось иногда, что волшебные чары никак не удавалось рассеять. Порою летняя ночь, наступавшая после долгих сумерек, навевала новые мечты. Однажды вечером папа сказал:

— В сущности, наши дела не так уж плохи. Давай сведем детей на Выставку.

Мама, уже успокоившись, сослалась на домашние дела, посуду, шитье. Но ей пришлось уступить и поспешно переодеться. Мы провели упоительный вечер в шуме и суете и вернулись домой, сонные, счастливые, на империале омнибуса.

Подчас, пользуясь хорошим настроением отца, мама высказывала какие-нибудь скромные, но определенные пожелания.

— Завтра, в четверг, — говорила она, — мне хотелось бы повести детей в бани. Ты ничего не имеешь против?

Отец взрывался. Его мысли были заняты дипломом, общественной деятельностью, богатством, почетным положением, а ему вдруг толкуют о каких-то банях. Тем не менее он давал согласие и, нахмутив брови, под конец предлагал:

— Я не желал бы вмешиваться в дела семейства Делаэ, но если хочешь, напишу тебе черновик письма к нотариусу. Не очень-то он торопится. Ужасно, что мы зависим от таких людей!

На следующий день мы отправлялись в бани, захватив корзину со своим бельем и мылом, потому что мама, отбросив пустые мечтания, соблюдала строжайшую экономию. Она брала две ванны на четверых и сама мыла нас всех, кроме Жозефа, который уже стал совсем большим мальчиком.

Наши семейные волнения преследовали меня и на школьной скамье. Я был очень нерадивым учеником на уроках г-на Жоликлера. Когда он задавал мне вопросы, я витал где-то в заоблачной высоте и, внезапно очнувшись, как с неба свалившись, не мог ничего сообразить. Однажды на уроке географии меня разбудил его сердитый голос:

— Еще раз спрашиваю, что вы знаете о Гавре? Расскажите мне о Гавре. Вот ты, Паскье, соня эдакая, отвечай!

Я встал, скрестил руки и ответил самым простодушным тоном:

— Гавр... Гавр... Это место, где живет нотариус.

Класс загудел, раздались смешки. Господин Жоликлер удивленно раскрыл рот и воздел руки к небу. Он поставил мне плохую отметку из принципа, но не рассердился: учитель знал, что у детей, даже у маленьких детей, всегда лежат на сердце тайные домашние заботы и что к этому, ни о чем не расспрашивая, следует относиться с уважением.

Я сел на место совершенно сконфуженный. Солнечные лучи, проникая через полотняные занавески и преломляясь на переплете книги в руках учителя, освещали его благородное лицо и пряди седеющей бороды, сквозь которые виднелся галстук. Я сидел удрученный, покусывая кончик грифеля: до сих пор чувствую его вкус во рту, стоит мне вспомнить об этом.

Урок продолжался под сонное жужжанье голосов, изредка прерываемое то стуком упавшего шарика, — и тут

же кому-то плохая отметка! — то нетерпеливым возгласом ученика, который, щелкая пальцами, просил позволения на минутку выйти во двор.

Солнце перестало бить в глаза. В классе открыли окна настежь. Я смотрел на верхушки деревьев с чахлой листвой, на жалкие облезлые дома Западной улицы, обращенные к нам задней стороной. В одном окне какая-то женщина с обнаженными до плеч толстыми розовыми ручищами прилежно штопала белье. У моего соседа по парте, мальчика лет девяти, нарывал чирей на подбородке. Он переносил боль молча, так же терпеливо, как те простые солдаты, которых много лет спустя я видел на войне.

Время от времени какой-нибудь мальчуган, очнувшись, шумно потягивался и с недоумением таращил глаза на классную доску, стены, учеников, не соображая, где он находится. А порою весь класс, выйдя из оцепенения, начинал бесноваться, визжать, лягаться, стучать по партам, брызгать друг в друга из свинцовых чернильниц с проржавленными краями. Г-н Жоликлер раздражался гневом, заглушая поднявшуюся бурю своим громовым глосом.

Мы возвращались домой вместе, Дезире Васселен и я. Проходя мимо каморки привратницы, он участливо предлагал:

— Давай заглянем в стол тетушки Тессон. А вдруг оно пришло, ваше письмо из Гавра.

В знак дружеского доверия, я посвятил Дезире в нашу великую тайну. Поднимаясь по лестнице, он иногда спрашивал меня, на что мы будем тратить эти деньги. И начинал мечтать вместе со мной, добрая душа! Остановившись на ступеньке, он прибавлял со вздохом:

— Мы-то не ждем никакого наследства, никаких известий из Гавра; у нас нет ничего, кроме папиного заработка. Трудно ему приходится.

Хоть я был еще очень мал тогда, меня это трогало до слез: бедняга Дезире, несмотря на побои, обиды, непрерывные оскорбления, обожал своего негодного отца.

К вечеру накапливалось много задач и письменных работ. Если папа приходил вовремя, он помогал нам учить уроки, очень умело, но с раздражением. Он не терпел ни легкомыслия, ни медлительности. Только и слышалось: «олух», «тупица», «осел».

Нередко во время занятий с отцом, рядом, в клане Васселенов, внезапно вспыхивал скандал. Во всем доме дрожали стены. Пономарь-скоморох метал громы и молнии, оправдывая свой очередной уход со службы:

— Брошу я эту дурацкую контору на Монпарнасе и всех этих болванов, Я еще могу стерпеть, когда меня упрекают в рассеянности, но когда говорят, будто я мошенничаю, я прихожу в бешенство. Честь для меня дороже жизни. Вон отсюда, ублюдок! Не смейте слушать то, что вас не касается!

Мы застывали, разинув рот, с пером в руке, забывая об уроках и невольно прислушиваясь к мерзкой перебранке. Папа хмурил брови. Когда он сам был спокоен, чужие скандалы казались ему нелепыми и постыдными. Мы все, особенно мама, ужасно боялись, как бы он не вмешался в ссору, что он частенько себе позволял, как я вскоре расскажу. Хотя отцу и претило морализирование, он нередко читал нам наставления, приводя в пример неурядицы Васселенов.

— Такие безобразные сцены прекратятся, когда люди станут образованными, — поучал он нас. — Поверьте, единственная причина гнусного поведения — невежество. А потому учитесь, работайте. У людей будет меньше поводов для ссор, когда они научатся всему, что необходимо знать.

— Однако, папа, — возразил как-то Жозеф, — господин Васселен вовсе не невежда, уверяю тебя. Напротив, он очень образованный. У него степень бакалавра и еще какой-то диплом.

Папа недовольно тряхнул головой и промолчал. Это замечание его задело. Он был типичным представителем XIX века, когда люди не сомневались в превосходстве науки, не прислушивались к предостережениям Шопенгауэра, упорно смешивая «образование» и «мудрость».

В то лето, к концу школьных занятий, к нам явилась неожиданная гостья: нам нанесла визит тетя Анна.

Тетя Анна? Мне следовало бы сказать: г-жа Трусеро, как мы всегда называли ее по маминому примеру. Разумеется, такую преданную жену, как мама, было бы нелепо заподозрить во мстительности, однако на чудачества моего отца она в отместку отвечала своими собственными причудами. Папа всегда именовал ее родных «госпожа Делаэ», «господин Делаэ». Ни за что на свете, даже после их смерти, даже вспоминая о далеком про-

шлом, он не согласился бы назвать дядей или тетей этих ненавистных кретинов, этих сквалыг, этих грубиянов. Надо признаться, что и мама со своей стороны, упоминая о нашей тетке Анне, ни разу не сказала «моя золовка». Она говорила, слегка поджав губы: «госпожа Трусеро» или же «вдова Трусеро». Нашего дядю Леопольда она тоже терпеть не могла и прозвала его «трубачом», потому что он когда-то дирижировал духовым оркестром в Неле. Папа не обращал внимания на эти робкие нападки на его родню: семейные дразги его нисколько не задевали.

Итак, в один прекрасный день нам нанесла визит тетя Анна, вдова Трусеро. Возвращаясь из школы, я застал ее на площадке перед нашей дверью. Это была необычайно полная, суровая дама, вся расплывшаяся, с жестким багровым лицом, испещренным мелкими морщинами. Я не узнал ее, так как мне почти не приходилось ее видеть. Она назвала себя, подставила мне щеку для поцелуя, не потрудившись нагнуться пониже, позвонила и, отстранив меня, первая вошла в дверь. Моя мать вежливо пригласила ее в комнаты. Тетя уселась на стул, не снимая митенок. Завязалась беседа, мало понятная для меня, еще не искушенного тогда в тонкостях семейной дипломатии и в искусстве вести спор.

Время от времени моя мать отлучалась на кухню по хозяйственным делам. Когда мы остались одни, тетя Анна подошла ко мне с кислой улыбкой.

— Что это ты жуешь? — спросила она. — Ого, шоколад. Каково! Видно, вы ни в чем себе не отказываете. Покажи мне плитку.

Я протянул ей шоколадку. Она разломила ее пополам и украдкой, с дикой жадностью откусила большой кусок. В ожидании мамы, замешкавшейся на кухне, тетушка зевнула, раскрыв рот, весь черный от шоколада.

— А варенье ты тоже любишь, мой котеночек? — спросила она.

Я ответил «да», наивно полагая, что, порывшись в карманах своих пышных юбок, тетя угостит меня чем-нибудь сладеньким.

— Ах вот как, — продолжала она с ехидной усмешкой. — Ты любишь варенье, дружок. Ну что ж, когда его подадут, тогда и покушаешь.

В эту минуту, по счастливой случайности, вернулся папа. Он слегка прикоснулся губами к морщинистой щеке своей сестры. Он держался учтиво, но отчужденно.

— Итак, вы получили наследство? — прошипела г-жа Трусеро.

— Да нет, — возразила мама. — Пока еще только мебель. Деньги мы получим позже.

Состроив гримасу, тетушка надела пенсне, которое плохо держалось на ее коротком толстом носу.

— Мебель? — переспросила она. — Вон та, что стоит здесь? Да, да, я вижу.

Внимательно осматривая нашу обстановку, тетя то и дело бормотала:

— Это недурно... Да... Не так уж плохо...

Но все ее ужимки, каждая морщинка на лице говорили другое:

— Экая дрянь!.. Я бы ее и даром не взяла, вашу мебель.

Бесцеремонно, не торопясь, тетка произвела осмотр всей квартиры, у нее был высокомерный вид знатока, опытного оценщика. Папа криво улыбался. Мама, поджав губы, с изысканной вежливостью следовала за гостьей.

— Не мое дело давать вам советы, душенька Люси, — цедила сквозь зубы г-жа Трусеро, — но при вашей манере укладывать вещи, в шкафу ничего невозможно найти. Понять не могу, как вы там разбираетесь.

Мама бледнела от негодования; у них в семье были свои, от бабушек унаследованные правила, как наводить порядок в шкафу. Делаэ и Паскье смирли друг друга ледяным взглядом.

— Угости чем-нибудь тетю Анну, — сказал папа, чтобы положить конец этой сцене.

Тетушка соблаговолила выпить чаю и положила в чашку четыре куска сахара. Она славилась своей умеренностью в еде; но проявляла ее только дома, а не в гостях. Прихлебывая чай, она шипела:

— Не понимаю, как вы его завариваете: у вашего чая какой-то странный вкус. Может быть, это зависит от воды или от посуды. Но ничего, пить можно.

Прощаясь, гостя сказала:

— Держи меня в курсе, Этьен. Ах да, по лицу твоей жены я вижу, что здесь тебя называют Раймон. Дело

ваше, как хотите, дети мои. Ну до свидания! И держи меня в курсе.

Когда дверь за ней затворилась, папа пожал плечами.
— В курсе чего? О чем она говорит?

А мама покатывалась со смеху. Она была в восторге. Упав на стул, она вся тряслась и хохотала до слез.

— В курсе чего? Ох, мой бедный Раймон, неужели ты ничего не понял? Когда дело касается твоей родни, ты наивен, как младенец. Я вовсе не суеверна, право, но нынче я так обрадовалась, что и выразить не могу. Уж один этот визит госпожи Трусеро подает надежду, что мы скоро их получим, деньги из Гавра. О, я ее хорошо знаю, Рам: она почуяла деньги.

Глава IX

Уличная война. Мужество Дезире Васселена. Вспышки гнева моего отца. Крестовый поход в защиту хороших манер. Эстетика, гигиена и мораль. Гнев как высокое искусство. Переход от слов к действию. Ценность чечевицы как метательного снаряда

В последние недели школьного семестра весь класс одолела лень и дремота, воцарилась анархия. Измученный г-н Жоликлер засыпал за рулем. Иногда, очнувшись, он читал нам какую-нибудь историю, и класс оживлялся. В остальное время пятьдесят простодушных мальчишек обсуждали на все лады важные события, происходившие в соседнем квартале. Между нашей школой и школой на Западной улице разгорелась беспощадная война. Удрав из-под надзора наставников, отряды бойцов сражались в пустынных закоулках улицы Тексель и Мулен-де-Вер, где заново мостили мостовую и потому имелись тайники и склады камней, которыми пользовались грозные стрелки из рогаток.

Под заботливой, почти отеческой опекой моего дорогого Дезире я безнаказанно проходил мимо неприятельских засад и пересекал поле битвы, не подвергаясь напа-

дению. Дезире Васселен получил от природы самый драгоценный дар, какой только может обрести человек: истинное мужество, хладнокровное, стойкое, без гнева и ненависти. Это действительно великий дар...

В современном обществе господствует нелепое разделение обязанностей и достоинств, поэтому большинство людей считают, что не нуждаются в храбрости и могут вполне положиться на мужество специально нанятых для этого людей; но когда обществом вдруг овладевает порыв безумия, оно требует от человека неподготовленного, лишённого мужества, невесть каких подвигов смелости и самоотверженности. Так вот, я могу сказать, что мой милый Дезире обладал подлинным мужеством, чуждым гнева и ненависти, которое не нуждается в подхлестывании, которому не приходится преодолевать страх, ибо мужество — это отнюдь не ярость.

Мужество бывает разного рода: Дезире смелый, Дезире непоколебимый трепетал, едва услышав голос своего отца, должно быть, потому, что он любил этого противного субъекта.

Я восхищался моим другом Дезире, доверялся ему, полагался на его благородное покровительство во всех случаях жизни, и когда его не стало, я лишь с мучительным трудом научился давать отпор, постепенно выковал себе защитный панцирь и оружие.

Под крылышком Дезире, в тепле и уюте, я предавался мечтам, выдумывал волшебные истории — легкие пушистые плоды детской фантазии. Большею частью эти истории были связаны с жизнью и смертью пресловутых тетушек из далекой Лимы.

Нельзя сказать, что новости из Лимы запаздывали, так как назначенные сроки еще не истекли, но нетерпение нашей семьи, ожидавшей счастливой развязки, избавления от забот, час от часу нарастало. К фантастическим замыслам, увлекательным мечтам и проектам стали примешиваться приступы раздражения. Я говорю здесь о моем отце, имею в виду только его одного, потому что вспышки его гнева были чуть ли не главным несчастьем моего детства.

Эти бурные сцены происходили по-разному, но, независимо от их причины и характера, раздражались особенно в те дни, когда отец испытывал недомогание, досаду, усталость от работы или уличной суеты.

Сначала надо сказать о более безобидных выходках, не слишком резких, подчас даже остроумных, которые, однако, всегда могли перейти в настоящую ярость, подобно тому как щепотка пороха может вызвать взрыв.

Как я уже говорил, в хорошие дни мой отец был насмешлив, холоден, высокомерен. Изящным жестом он поглаживал свои прекрасные рыжеватые усы. Он взирал на всех свысока, с философским равнодушием. У него были богатые идеи, обширные замыслы, трудная работа. Посудите сами, какое значение, какую цену мог он придавать суетне ничтожных людишек, которыми населен наш бранный мир? Таково было его нормальное состояние, но я с горечью вынужден признаться, что «нормальное» отнюдь не значит «обычное». И это крайне прискорбно, ибо в лучшие дни отец казался мне таинственным и возвышенным, благосклонным божеством.

К несчастью, философ нередко спускался с пьедестала и всегда по какой-нибудь важной, бесспорно уважительной причине. Отец, например, не мог выносить уродства. Он был совершенно нетерпим к дурным манерам. Его реакция была немедленной, откровенной, непредвиденной. Бывало, мы ехали в омнибусе, и какой-нибудь пожилой господин, чуть ли не с орденом Почетного легиона, что в те времена высоко ценилось, начинал потягиваться и громко зевать. Мой отец тут же, не сдержавшись, возвышал голос. Обычно он нападал прямо, в открытую.

— Послушайте, с ударь, — говорил он любезным и вместе с тем язвительным тоном, — неужели вам не совестно показывать нам содержимое вашего рта?

Этот простой вопрос производил необычайное впечатление. Все разговоры прекращались, пассажиры замирали в ожидании, опасаясь и вместе с тем надеясь, что разразится скандал. Почтенный господин иногда, оторопев, бормотал извинения, иногда, в испуге, поспешно вставал, дергал за шнурок и выходил из омнибуса. Порою потерпевший давал отпор с раздражением или с достоинством, огорчением, негодованием. Мама хватала нашего отца за локоть и испуганно стонала:

— Раймон, Раймон, ради господа бога!

Но отец спокойным, решительным жестом отклонял ее мольбы. Ничто на свете не помешает ему исполнять свой священный долг — блюсти и проповедовать заповеди хорошего тона. Обедя присутствующих сверкающим

победоносным взглядом, он произносил, улыбаясь, с ледяным спокойствием:

— Кто не в силах избавиться от этой ужасной привычки, сударь, пусть нанимает экипаж.

Атмосфера в омнибусе накалялась до предела. Разгорались споры — и не о чем ином, как о правах и обязанностях человека в обществе. Мы, дети, опасаясь неминуемой катастрофы, пытались делать вид, будто не знакомы с этим крикуном, защитником хороших манер. Но большей частью все кончалось благополучно: зевающий господин спасался бегством, очищал поле боя. Иной раз вылезали мы сами. Надо добавить, что в отдельных случаях отец заставлял нас проехать дальше, чем нужно, лишь бы не подумали, будто он выходит из игры, сдает позиции.

Бывало также, что моему отцу не хотелось или было лень нападать в открытую. Тогда он молча выказывал явные признаки нетерпения, словно готовился к атаке. Он пожимал плечами, качал головой, громко откашливался, вздыхал. Бедная мама, чувствуя приближение взрыва и умирая со страху, пыталась чем-нибудь его отвлечь. А он, еще не произнеся ни слова, выражал свои чувства красноречивыми жестами. Обращаясь к господину, который, задремав, клевал носом, отец взмахивал рукой вверх, как бы приглашая того выпрямиться. Парню, ковырявшему в носу, он грозил пальцем, точно приказывая: «Руки прочь!» Если кто-нибудь беззастенчиво почесывался, отец любезно протягивал руку, точно предлагал: «Хотите, я вам помогу?»

При этом все его движения были необычайно грациозны; еще бы! Ведь благородный рыцарь сражался за изящество и хорошие манеры.

Отец совершенно не выносил гримас ни у собственных детей, ни у посторонних. Если нам встречался прохожий, который, задрав голову вверх, шурился и скалил зубы, папа громко выражал возмущение:

— Не кривляйтесь, сударь, не гримасничайте, а то вы состаритесь раньше времени.

Он испытывал глубокое отвращение к нервному тикю и никогда не упускал случая заявить об этом публично, мало того, безжалостно старался привлечь к несчастному всеобщее внимание. Не скрывал он также своей брезгливости к людям с физическими недостатками и был не прочь давать им советы. Гордясь своей густой шевелю-

рой, он любил, например, изводить лысых, особенно когда те имели бесстыдство — по его собственному выражению — ходить с непокрытой головой.

— Извольте надеть шляпу, сударь! Разве я показываю свои голые коленки?

Если навстречу попадался какой-нибудь урод, папа восклицал, закатывая глаза:

— Надо следить за своей внешностью... Я не могу понять... Что ты дергаешь меня за рукав, Люси? Повторяю: просто недопустимо быть столь безобразным, как иные субъекты, на которых я предпочитаю не указывать пальцем.

Эстетические требования порою заменялись соображениями гигиены. Мой отец и мысли не допускал, что может быть неправ. Я часто вспоминаю об этом теперь, когда мне случается быть уверенным, чересчур уверенным в своих суждениях или в своем праве. Папа видеть не мог, когда какая-нибудь женщина неловко держала на руках младенца. Он буквально разъярялся:

— Ах, сударыня! Разве можно так неловко носить ребенка? У него головка свесилась. Вы же сделаете из малыша идиота или калеку.

Если дама или кто-нибудь из провожатых осмеливался возражать, отец обрывал их на полуслове:

— Никаких разговоров! Уж я-то знаю, как обращаться с детьми. У меня их было шестеро.

Мне случалось видеть, как, сердито отняв младенца у матери, он придавал ему правильное положение. И, водружившись, говорил:

— Я вам донесу его до дому. Так будет лучше. Ну, можно ли быть такой неловкой!

И он действительно провожал неопытную мать, держа на руках малыша.

Тогда в этом удивительном человеке проявлялись черты поборника справедливости и даже — чему трудно поверить, зная о последующих годах, — черты блюстителя нравов и моралиста. Я настаиваю на словечке «тогда»; ведь характер изменяется, как и всё на свете.

Мой отец был не прочь разглагольствовать перед широкой публикой и не стеснялся громко высказывать свои взгляды. Однажды вечером, после привычных мечтаний о будущем всей семьей, отец решил повести нас на спектакль, и мы отправились в ближайший небольшой теат-

рик на Монпарнасе, который, кажется, существует до сих пор и о котором я не могу вспомнить без легкого трепета. Там представляли какую-то пьесу, но я не помню ни названия, ни автора, ни сюжета, ничего, кроме сцены, где женщина с пышной прической, засунув руки в карманы черного фартука, сокрушалась о судьбе героя, угодившего в тюрьму. В битком набитом зале стояла жара от газовых рожков в молочно-белых колпаках и от дыхания простонародья. Вдруг я заметил, что папа, порывшись в кармане, вынимает связку ключей. Маме, как видно, был хорошо знаком этот жест: она вся позеленела и задрожала всем телом:

— Рам... ради господ бога!

Мой отец, пошарив в кармане, выбрал подходящий ключ и приставил к губам. Раздался резкий, пронзительный, оглушительный свист. Ошеломленная актриса осеклась. В один миг зрители повскакали с мест. Папа тоже встал во весь рост, бледный, улыбающийся, усы торчком.

— Я не понимаю, — произнес он звучным голосом среди наступившей тишины, — я просто не понимаю, как может приличный театр ставить такую мерзость!

Поднялся невообразимый шум и гвалт. С галерки орали:

— Убирайся вон отсюда!

И даже:

— Гоните его в шею!

Отец вцепился обеими руками в красный бархатный барьер ложи.

— Я уплатил за свое место, — заявил он. — Уйду, когда мне будет угодно.

И гордо уселся среди бури негодования. Мы ушли только во время антракта. Как ни странно, этот дерзкий выпад не вызвал осложнений, и мы благополучно выбрались из зала. Громкие слова и решительный тон производят впечатление на толпу. Проводя нас между рядами зрителей, папа сердито повторял:

— Я просто не понимаю...

О! Он был беспощаден к тому, чего не мог понять!

Не знаю, право, можно ли называть вспышками гнева его манеру громогласно и запальчиво высказывать свое мнение. Мне, вероятно, придется рассказать в свое время об ужасающем скандале, из-за которого нам пришлось съехать с квартиры на улице Вандам: на моем жаргоне я

называю это «Взбучка домовладельцу», подобно тому как говорят «Серенада Маргарите» или «Крейцера со- ната».

Такие музыкальные сравнения вполне уместны. Припадки ярости мой отец разыгрывал, как настоящий артист. Он редко терял власть над собой и словно упивался своим голосом, своим мастерством. Он сам к себе прислушивался, и я не раз замечал, как он улыбается в самый трагический момент. Он похож был на тенора, который, исполняя коронную арию, размышляет, глядя на зрителей, стоит ли ради такой публики брать верхнее «до». Я даже не мог бы определить, чего было больше в этих бешеных взрывах — подлинного гнева, спортивного азарта, любопытства, пробы сил или просто привычки. Папа мог в течение долгих месяцев не устраивать сцен, подобно тем виртуозам, которые, занявшись посторонними делами, за весь сезон ни разу не прикасаются к инструменту. Но особенно поражало меня то, с какою быстротой проходили эти припадки ярости. Точно мыльный пузырь, лопнувший с треском — о, с каким громким треском! — неистовый пыл вдруг утихал. Грозный тиран начинал улыбаться. Пять минут спустя он уже обо всем забывал. На нас, свидетелей разыгравшейся бури, отец не таил обиды, только удивлялся, почему мы бледнеем и дрожим. Он снова прекрасно владел собой, становился любезным, обаятельным, галантным. Поглаживая длинные усы, папа начинал строить планы на будущее, то будущее, о котором он не переставал говорить даже на краю могилы.

В то памятное лето отец не раз закатывал буйные, великолепные скандалы и всегда по поводу гаврского дела. Первое время, не желая писать сам, он диктовал письма маме. Вначале нотариус отвечал короткими отписками, рекомендуя запастись терпением. Потом он вовсе перестал отвечать.

Это молчание и подстрекало отца на громоподобные рулады. Он начинал ледяным тоном, ошестинясь, с побелевшими от бешенства глазами:

— Я сам туда поеду.

— Куда? — пугалась мама.

— К нотариусу. Добьюсь наконец ответа.

— Рам, не делай этого. Я же знаю тебя, Рам. Это будет ужасно.

Тут папа откашливался и поносил коллегия нотариусов вообще и в частности гаврского сутягу в красноречивейшей громовой арии.

Как ни странно, он, так негодовавший на шумные ссоры Васселенов, не желал признать, что скандал всегда скандал и крик всегда крик. Он не допустил бы никакого сравнения между своим блистательным соло и жалким хором соседей. Его бы оскорбила самая мысль, что семейство Васселенов в испуге, разинув рот, прислушивается к истошным воплям г-на Паскье. Слишком уж он был уверен в справедливости своего гнева, в своей священной правоте. Он орал:

— Деньги? Деньги? Да, мне нужны деньги. А для чего? Чтобы продолжать образование, чтобы подняться ступенью выше, стать выдающимся человеком, показать, на что я способен. И все становятся мне поперек дороги, даже этот остолоп из Гавра!

— Не кричи так громко, Раймон. Если кто-нибудь услышит и напишет в Гавр, нам плохо придется.

— Да я сам ему это напишу.

— Раймон, умоляю тебя!

Голос певца поднимался до фальцета. Более высокой ноты он уже взять не мог и, чтобы облегчить душу, переходил от слов к действиям. Отец искал глазами, осветившими, почти белыми от ярости, какой-нибудь хрупкий предмет, однако не слишком ценный. Однажды, когда мы все сидели за столом, он схватил большое блюдо, полное до краев — как нетрудно догадаться — пресловутой че-чевицей.

— Раймон, это же завтрак для детей! — жалобно вступилась мама.

— Ничего, они съедят что-нибудь другое! — твердо заявил этот поразительный человек. И ловким жестом вышвырнул блюдо в раскрытое окно.

Мы жили на шестом этаже, и окно выходило на улицу. На миг все оцепенели, потом раздался крик.

— Ох, Раймон, ты кого-то убил! — в отчаянье простонала мама.

Папа стоял весь бледный. Но Жозеф, свесившись с балкона, уже заглянул вниз и осмотрелся кругом.

— Ничего, — прошептало он. — Это тетушка Тессон, она испугалась и вскрикнула; она стояла на пороге.

Отец сразу успокоился. Мама все еще лепетала!

— Раймон! Ради господ бога!

Глава X

*Попутные размышления о религиозном
чувстве. Разговор об аде. М-ль Байель
среди нечестивых. Первые шаги моего
милого Дезире на стезе веры. Обет.
Ночные молитвы*

Сказать по правде, господь бог, к которому столь часто взывала мама, уже не занимал сколько-нибудь значительного места в ее обремененной заботами душе.

Жившие в Париже Делаэ воспитали маму в католической вере. Насколько мне известно, они были люди подлинно благочестивые и, можно думать, преданные религии. Перед своим замужеством моя мать еще ревностно выполняла все церковные обряды, и в раннем детстве я не раз видел, как она горячо молилась, — к этому ее побуждали и житейские трудности, в которых не было недостатка. Со временем она перестала молиться и посещать церковь, за исключением торжественных случаев, венчаний, похорон, когда религиозные церемонии, естественно, вновь обретают свое значение и достоинство. Я почти уверен, что ее отход от веры не имел никаких философских обоснований: чтобы философствовать, нужно иметь досуг и привычку. Добавлю, что такого рода переворот невозможно всецело объяснить злоключениями и постоянными житейскими невзгодами: жестокая нужда и разочарования редко оказываются главными причинами неверия. Все объяснялось моральной позицией моего отца. Нахожу нужным сказать, что, если бы отец проявил агрессивное безбожие, он, безусловно, не оказал такого влияния на спутницу жизни, а, возможно, даже разжег бы в ней новое рвение — не жажду спасения души, но скорее, если можно так выразиться, фанатизм, с каким ньюфаундленд вытаскивает из воды утопающего.

Но нет, отец выказывал в отношении предметов веры то вежливое безразличие, ту холодную терпимость, какие в истории любой религии следует рассматривать как зловещие симптомы, ибо они приносят больше вреда, чем яростные нападки антиклерикалов. Отец позволил крестить детей и допустил их к причастию. Он согласился венчаться в церкви, и со временем его тело было внесено

в церковь и лишь затем предано земле. Этим и ограничилось его отношение к религии. Для него религиозные обряды были лишь светской условностью. Я убежден, что отец никогда не переживал великой нравственной трагедии, потрясшей столько душ и породившей наш вечно мятущийся мир. Я даже склонен думать, что отец не прошел через два метафизических кризиса, каким подвластны весьма многие мужчины: при осознании таинственной власти порождать жизнь и при первых признаках утраты этой способности.

Итак, отец прожил жизнь без бога. Я говорю об этом, не вынося никакого суждения. Я также прожил без бога, но как это произошло, по каким причинам и при каких обстоятельствах, я расскажу в дальнейшем. Все же я должен хотя бы кратко упомянуть о нашем неверии. Это знаменательное явление, и его невозможно упустить из виду, размышляя о современном мире.

Примерно в начале нашего пребывания на улице Вандам я слышал, как моя мать говорила м-ль Байель:

— Если Раймон попадет в ад... Ах! Поверьте, мадемуазель, он не делает ничего предосудительного, только он совсем не соблюдает церковных обрядов, и, по-моему, это очень прискорбно. Ну, что ж, если Раймон попадет в ад, я предпочту оказаться там вместе с ним, чем вознестись на небо, где я буду совсем одна. Подумайте только, мадемуазель: совсем одна!

Мадемуазель Байель с горестным видом покачивала головой и пускалась в объяснения, не то чтобы вдохновленные горячим чувством, но скорее технического характера. У нее были средневековые представления об аде, и она располагала о нем до ужаса точными сведениями. Мама из вежливости слегка качала головой, но уже не слушала ее; она отдавалась очередным тревогам, делала подсчеты, строила планы.

— Даже вулканы, — разглагольствовала м-ль Байель, — служат устрашающим доказательством существования ада. И сера, которую иногда выбрасывают вулканы, — это та самая, в какую дьявол ввергает грешников. Ну, понятно, сера в расплавленном виде.

Мама поднимала голову, поправляла очки, перед тем как вдеть нитку в иголку, втягивала воздух сквозь зубы и высказывала такое соображение:

— Если я теперь умру, то они наверняка сразу же получат деньги.

— Кто? — в полном недоумении вопрошала м-ль Байель. — Грешники? Какие же деньги в аду? Впрочем, нет, они все же там имеются, но лишь для того, чтобы искупать скупцов.

— Да не о ваших грешниках речь, — вырывалось у мамы, и лицо ее искажалось ужасом. — Я говорю о муже и детях. Если бы я теперь умерла, они сейчас же получили бы деньги от продажи процентных бумаг, которые можно реализовать только после моей кончины. Есть и другие деньги, которые мы надеемся получить, — наследство от моих сестер из Лимы. Во всяком случае, они сразу бы получили те деньги! Но что случилось бы с ними, — боже мой! — если бы я сейчас умерла; не говоря уже о бедных моих малышах, у меня не выходит из головы мой Раймон. Он молод на вид и кажется крепким. Но после перенесенной им серьезной болезни он стал хрупким, очень даже непрочным. Если не будет меня, некому будет растирать ему спину, и он умрет, мадемуазель, очень скоро угаснет.

Мадемуазель Байель, скорее сбита с толку, чем взволнованная, прекращала свои речи на тему об аде и тревожно озиралась по сторонам.

— Где же дети? — спрашивала она.

Мадемуазель Байель преклась о своих овечках. После нашего переезда на улицу Вандам она частенько нас посещала. Она занималась с Фердинаном, которому нужно было готовиться к первому причастию. Хотя я был еще малышом, она опекала и меня, полагая, что я уже достиг так называемого сознательного возраста. Она походила проливая мне свет на множество предметов, о каких идет речь в катехизисе. Я не преувеличиваю, употребляя слово «свет»: м-ль Байель обладала светозарной, хотя и несколько примитивной верой. Однажды она появилась, когда я играл с Дезире Васселеном.

— Ты друг Лорана? — спросила она.

— Да, мадемуазель.

— Ты, конечно, крещен? И, надеюсь, католик?

Дезире утвердительно кивнул головой.

— А когда ты причащался? Ты уже большой мальчик.

Дезире, понунив голову, должен был признаться, что он еще не причащался, — у его родителей столько всяких забот, и их нельзя в этом винить... М-ль Байель слушала его с горящими глазами, облизывая губы, радуясь, что обрела новую овечку, драгоценную добычу, предназна-

ченную в дар небесам. Она тут же нанесла визит Васселенам. Дело было вечером, г-н Васселен принял миссионершу запросто, в ночных туфлях. Мы с Дезире, будущим неопитом, стояли на площадке перед открытой дверью, и до нас долетали обрывки разговора.

— Нищий духом, дражайшая мадемуазель, — декламировал удрученный отец. — Нищий духом, выродец! Подумать только, что царство небесное... Ну, да эта песенка вам знакома куда лучше, чем мне. Ладно, если, по-вашему, из него выйдет какой-нибудь прок... Извините, мадемуазель, все же я забочусь о его душе... Вы говорите, что все расходы... Смею вас уверить, я готов удовлетворить все потребности моего потомства, в том числе и духовные. Впрочем, если вы возьмете на себя расходы, мы не будем возражать. Конечно, кроме расходов на угощение после причастия... Простите, мадемуазель, с этим я справлюсь сам, я знаю свой долг. Разумеется, мадемуазель, вы окажете нам честь и будете присутствовать на дружеской пирушке... Что такое? Нет? Ну ладно. Пррт!

Казалось бы, этот «боевой клич», даже несколько приглушенный и притушенный, должен был перепугать ангелическую посетительницу. Ничуть не бывало. М-ль Байель держалась молодцом: условилась о встречах, назначила дни и часы, сделала всякого рода распоряжения.

— Вместе с Дезире я возьму маленького Лорана Паскье, — сказала она на прощанье. — Они дружат между собой, и это прекрасно.

Мадемуазель Байель, не теряя времени, начала преподносить нам начатки религиозного образования. Мой дорогой Дезире был сразу же покорен. Отсталый ученик школы на улице Дебре с первого же дня стал подавать блестящие надежды в области освоения катехизиса.

Некоторое время спустя, в конце лета, когда мы вечером мирно беседовали на балконе в дыму проносящихся мимо поездов, Дезире внезапно сделал мне туманное признание:

— Я дал обет, Лоран.

— Что это такое, обет?

— Это когда дают обещание, ну, обещание, страшное обещание, которое надо непременно сдерживать.

Я слушал его с широко раскрытыми глазами. Я не слишком-то понимал, в чем дело. Дезире Васселен был на три года старше меня. Он владел гораздо большим запасом слов и идей.

— Что за обещание ты дал? — спросил я наконец.

— Да, я дал обет. Если папа... — Дезире замялся. — Я не могу тебе этого растолковать. Ты еще слишком мал. А потом, это моя сокровенная тайна. Если папа... станет... ну, если он сделает кое-что, о чем я не могу тебе сказать, — так вот, из благодарности господу богу я стану священником. Ты понимаешь меня, Лоран?

Я был ошеломлен и вместе с тем восхищен таким великим замыслом.

— А что, если твой папа... — высказал я предположение, — если он не пожелает сделать то, чего тебе хочется...

— Ну, что ж, тогда я не стану священником.

— А что ты будешь делать, Дезире?

— Ничего. Не знаю. Лучше не думать об этом.

Как я уже сказал, лето было на исходе. Мы провели его на балконе, на лестничной площадке и лишь изредка тайком прогуливались по улицам в нашем квартале. Лето подходило к концу. Но из Гавра по-прежнему не было вестей.

— Пожалуй, я мог бы... отступиться, — как-то раз сказал папа. — Клейс предложил мне заработок, которого хватило бы нам на пропитание, но это заняло бы все мое время. А между тем в марте я должен сдавать первые экзамены. Отступиться было бы безумием, нет, я не хочу отступиться. Я... не... хочу! Если мы так и не получим письма от нотариуса, то мне придется взять часть заданий, о которых говорил Клейс, и я буду работать по ночам.

Вечером папа возвращался с целой пачкой толстенных книг, и под утро я просыпался, разбуженный вздохами, какие вырывались у него, когда он жег себе руку, чтобы разогнать сон.

Мама шила, стирала, штопала. Временами, широко раскрыв глаза, приоткрыв рот и обнажив белые, крепкие зубы, чуть отставив мизинчик и работая иглой, она прислушивалась к чему-то, для нас неуловимому. О! К заурядным домашним звукам: к тонкой песенке газа на плите, под кастрюлькой, к шелесту струйки, падающей из крана в раковину; быть может, она даже слышала, как течет живой поток времени, как квартирная плата час за часом подтачивает, словно мышь, наши жалкие средства, улавливая невнятную жалобу изношенных башмаков, причмокивание ребятишек, требующих еды, тревож-

ные сигналы к уплате налога. Да мало ли что еще она могла услышать? Разве, напрягая чуткий слух, не уловишь вздохов уходящей жизни, истаивающих денег, подстреленной надежды, что трепещет крыльями и умирает?

Порой мама говорила:

— Оно непременно придет. Оно так нам нужно! Не может не прийти.

В эту пору она уже не читала установленных молитв. Она бормотала вполголоса странные призывы:

— Боже мой, что нам делать? Экзамены Раймона, все эти его занятия, — я понимаю, что это — святыня, что это необходимо для нашего блага. Но пока все это осуществится, нам будет туговато. А письмо из Лимы все не приходит. И мои бедные сестры в Лиме все не дают о себе знать. Ах! Я с ума сошла, совсем помешалась! Боже мой! Как могут они дать о себе знать, — ведь они же умерли! Все эти письма нотариуса не имеют никакого значения! Я не могу написать сестрам в Лиму, потому что их нет в живых. А как важно было бы написать мне самой письмо, в котором я могла бы все объяснить, которое вылилось бы из сердца!

Глава XI

Дезертирство Жозефа. Примерный ученик Лоран. Интерес тетушки Тессон к гаврским делам. Письмо нотариуса. Прачечная на улице Гетэ. Бегство и возвращение фортепяно

Осень этого года была ознаменована важными событиями.

Прежде всего Жозеф отказался продолжать учение. Его решение привело в ярость отца и сильно расстроило маму.

— Послушай, Жозеф, — убеждала его она, — ты вздумал бросать учение как раз в момент, когда твой отец начинает изучать такие трудные науки. А ведь отец-то уже немолод... То есть он еще молод, и вид у него совсем свежий... Ты знаешь, Раймон, мы смотрим с тобой на это совсем по-разному. А главное, я не хотела тебя обижать. В самом деле, ты кажешься куда моложе своих

лет. Но пойми меня, Жозеф, при современном культурном прогрессе ученье для тебя совершенно необходимо.

Жозеф смахивал на норовистого коня, который артачится перед барьером, Он был рослый и широкоплечий. У него уже формировался этакий солидный басок. Тут он принялся скрести по полу носком ботинка.

— Если это не попросту лень, то приведи свои доводы, — буркнул папа.

Жозеф был готов дать объяснения.

— У меня достаточно доводов, Во-первых, я не создан для науки. О, я не глупей других, но все эти премудрости для меня пустой звук. Это не в моем духе. И я даже убежден, что добрые три четверти всех знаний, какие нам вбивают в голову, совершенно бесполезны, во всяком случае, не пригодятся мне в моей будущей деятельности. И потом, нужно без конца покупать книги и учебные пособия, даже в школе, где я учусь. У нас слишком скромные средства, чтобы все это покупать.

— Никуда не годится твой довод, — с горечью проговорил папа. — Будь у тебя хоть малейшее желание учиться, ты раздобыл бы книги хоть воровством...

— Р а м , — вскричала мама, — даже в шутку не давай ему таких советов!

— Он понимает, что я хочу сказать. Книги! Да их изпод земли достанешь, если они тебе по-настоящему нужны.

Отец теребил свои усы. Вид у него был до крайности расстроенный. В то время, когда он, как еще никогда в жизни, собирался напрячь все свои силы во имя восхождения нашей семьи, его смена обнаруживает признаки усталости! Наконец он спросил:

— Чем хочешь ты заниматься?

Жозеф сделал попытку оправдаться:

— Если бы я стал продолжать учение, то целых восемь или даже десять лет не мог бы зарабатывать деньги. А между тем, если я сейчас же займусь коммерцией...

Было произнесено магическое, хотя и несколько туманное слово. В те времена, отнюдь не отдаленные, еще не говорили: «дела», с той особой интонацией, какую слышишь в наши дни, но произносили более скромным тоном и вкладывая более точный смысл: «коммерция».

Итак, Жозеф стал заниматься «коммерцией». Комиссионная фирма взяла его в обучение на два года, на пол-

ном содержании. Папа пожимал плечами, и у него вырвались бурные вздохи. Он не терпел никакого ига. Такие слова, как «должность», «служащий», вызывали у него приступы бешенства.

Я кратко рассказал об этой маленькой семейной сцене, да она и не заслуживает большего. В ней запечатлелся один исторический момент, и она невольно мне вспоминается, когда я слышу теперь от Жозефа:

— Родители заставили меня бросить учение. Они взяли меня из школы в самый разгар моих успехов. Разумеется, это не помешало мне сделать карьеру; но представьте себе, чего бы я достиг, если бы со мной носились, как с другими, я хочу сказать, с малышами...

Жизнь любит равновесие: как раз, когда Жозеф принял это скороспелое решение, я неожиданно проявил себя как превосходный ученик. Нет смысла объяснять, как произошло такое превращение. Припоминаю только, что все предметы стали для меня близкими, ощутимыми, ясными. Говорят, что природа не делает скачков! Но, вникая даже не в свои наблюдения ученого и изыскания, которым я посвятил свои лучшие годы, но просто в историю своей жизни и в свой личный опыт, я обнаруживаю только прыжки, крутые повороты, неожиданности, озарения и резкие перемены.

Школа на улице Депре вскоре стала для меня некоей благословенной обителью, где я пожинал плоды своих трудов, что льстило моей гордости. Но, радуясь своим успехам, я не забывал о семейных невзгодах. В полдень и вечером, возвращаясь домой, я останавливался у каменки привратницы и тихонько стучался в оконце.

— Нет, н е т , — говорила о н а , — ничего для Паскье.

Во время каникул, в час, когда, по моим расчетам, почта уже должна была прийти, я, крадучись, на цыпочках спускался по лестнице. Уже в этом раннем возрасте я знал, что сплошь да рядом корреспонденция из провинции прибывает после полудня. Иной раз я видел тетушку Тессон во дворе, где она чистила одежду или судачила с кумушками.

— Есть что-нибудь для нас? — спрашивал я ее.

Она передергивала плечами.

— Кажется, две-три бумаги.

— Ну, а письма?

— Может, и есть письма. Потом я погляжу.

— Видите ли, — бормотал я, краснея, — мы ждем письма, должны получить письмо из Гавра.

Под конец тетушке Тессон запомнилось это название, и, когда я проходил мимо нее, она говорила с угрюмым видом:

— Поднимайся к себе наверх, малыш. Еще ничего нет из Гавра.

Как-то вечером, в начале зимы, возвращаясь из школы, я испытал подлинное потрясение. Привратница, как видно, куда-то отлучилась, — дверь ее была на замке. Заглянув в оконце, я увидел столик, куда обычно складывали почту для жильцов. Уже смеркалось. В каморке было совсем темно. Газовый рожок в вестибюле ронял мигающий луч на разбросанные письма, и я разглядел на одном из них нашу фамилию: «Паскье». То был белый конверт казенного образца. На уголке можно было разглядеть две-три печатные строчки. Расплющив нос о стекло, я наконец разобрал слово «контора», которое уже имело для меня определенное значение. А под ним другое, магическое слово «Гавр».

Сердце, как козленок, запрыгало у меня в груди. Фердинан еще не вернулся: он готовился к выпускным экзаменам и ходил на дополнительные занятия. Дезире опередил меня, он медленно поднимался, по лестнице, по нашему обычаю, шаркая ногами по ступенькам. В одно мгновение я его догнал.

— Дезире, — сказала, — оно там!

До него сразу же дошел смысл этой загадочной фразы.

— Письмо из Гавра? — спросил он.

— Да, но тетушка Тессон ушла, не знаю куда. Бегу сказать маме.

Дезире следовал за мной по пятам.

— Ах, оно пришло, — сказал он с глубокомысленным видом. — Я готов был ручаться...

— Как же ты мог об этом знать?

Дезире, поднимаясь по лестнице, вздернул плечами, как бы уклоняясь от ответа, но тут же прошептал, опустив голову:

— Я попросил мадемуазель Байель научить меня молитве и молился о письме. И вот видишь, оно и пришло.

В его глазах светилась радость. Мы вошли на площадку. Наша дверь была заперта. Дома никого не было, что случалось довольно редко. Я вынул ключ из-под по-

ловика. Он был завернут в листок белой бумаги, на которой было написано маминой рукой: «Если вам будет совершенно необходимо меня повидать, то я в прачечной на улице Гетэ».

— Подожди свою маму у нас, — предложил мне Дезире Васселен. — Или, если ты войдешь к себе и не захочешь быть один, я прибегу через минуту.

Я стоял с листком в руке, в полном недоумении, сам не знаю почему охваченный грустью. Я догадался, что мама ходит в общественную прачечную, пока мы в школе, — и ужаснулся при этой мысли. Эта прачечная внушала мне какой-то бессознательный страх. Проходя мимо и вдыхая ее запахи, я испытывал тошноту. Из ее узкого коридора вместе со зловонием вырывался оглушительный, сумбурный шум. Двое молодых в полосатых фуфайках частенько появлялись на пороге и с руганью разбирали отвратительные тюки грязного белья.

Все это пронеслось у меня в голове, но не помешало мне принять твердое решение.

— Пойду и скажу маме, что письмо из Гавра у тетушки Тессон.

— Ладно, — решил Дезире, — я иду стобой.

Мы спустились вместе. Через несколько минут мы вошли, держась за руки, в дверь с цинковым флажком.

Если веселье порождается шумом, то прачечная на улице Гетэ заслуживала свое название¹; но, по правде сказать, из этой пещеры раздавался самый удручающий шум. Уже на пороге нас оглушил страшный грохот и гам — стук вальков, крики, смех, свист пара. Огромные лампы мутно светили, словно в густом тумане. Множество женщин трудились, стоя над лоханками. В глубине помещения кипел гигантский котел, и из него клубами вырывался пар. Похожий на дьявола мужчина что-то там помешивал. Мне померещилось, что я очутился в аду, о котором рассказывала м-ль Байель.

— Что вам нужно, парнишки? — спросил пожилой мужчина в фартуке, должно быть, хозяин.

Дезире ответил на диво уверенным тоном:

— Мы хотим видеть госпожу Паскье.

Мужчина крикнул:

— Паскье!

¹ Французское слово *gaieté* означает; веселье.

Это имя, кровно мне близкое, прозвучало для меня как чужое, совсем незнакомое.

Появилась мама. Какая она была маленькая и смиренная! Какое усталое у нее было лицо! Улыбаясь через силу, она вытирала руки о фартук из грубого холста.

— Что вам нужно, дети мои? — спросила она.

— Мама, — сказала я, — письмо там.

Лицо матери озарилось улыбкой. Она знала, что я имею в виду. У нее начал дрожать подбородок, так заметно, прямо до смешного.

— Я как раз кончила. Подождите, детки.

Она уложила полную корзину белья, давая мне при этом кое-какие пояснения:

— Я прихожу сюда из-за простынь и другого крупного белья, которого дома не могу ни выполоскать как следует, ни просушить. Я понимаю твое волнение, Лоран, но больше не приходи сюда и не мешай мне работать, — разве только придет письмо из Гавра.

Она сняла фартук, накрыла крышкой полную корзину, расправила подвернутые рукава и набросила на голову черный кружевной шарф. Потом взяла корзину левой рукой, а мне протянула правую.

— Мама, — выпалил я, едва выйдя на улицу, — письмо лежит на столе у тетушки Тессон. Я видел это письмо, только не мог его взять: тетушка Тессон куда-то запропастилась. Я думаю, теперь она уже вернулась.

И впрямь, тетушка Тессон возвратилась.

— Возьмите, — буркнула она, — вот вам наконец ваше письмо.

Мама поднялась на третью ступеньку. В одной руке она держала корзину, в другой — письмо.

— О! — вырвалось у меня. — Прочитай его сейчас же!

— Нет, — ответила она. — Дома.

Лестница была длинная, корзина тяжелая. Мы взбились медленно. Время от времени мама ощупывала письмо, стискивая его между большим и указательным пальцами. Добравшись до пятого этажа, она остановилась передохнуть. И покачала головой.

— Письмо что-то уж больно легкое, больно тонкое! Боже мой, а вдруг это не то? Вдруг это не то, что мы ждем!

Мама все делала очень тщательно. Она отперла дверь, потом осторожно зажгла большую лампу в столовой,

большую медную лампу. Пальцы у нее были еще сырые, и она вытерла ламповое стекло белоснежной тряпкой. Затем она уселась на стул и разорвала конверт, полученный от нотариуса. Я впился в нее взглядом и, наблюдая, как у нее дрожит подбородок, думал о множестве вещей, о множестве незнакомых людей, об экзаменах отца, о тетках из Лимы, о деде Гийоме Делаэ, о казни маршала Нея: «Не бойся, Гийом...»

— Нет, — сказала наконец мама, встряхнув головой.

— Но ведь это письмо из Гавра?

— Да, это письмо из Гавра... Но не то письмо.

— Но что же это такое, мама?

— Бумага, которую надо подписать. Как тебе объяснить! Ну, из этого видно, что наше злополучное дело идет своим чередом.

Мама уронила письмо на колени. От нее пахло жавелевой водой и мылом. Кожа на руках сморщилась, расстрескалась от стирки и отливала какой-то жуткой белизной. Недавно она стала носить обручальное кольцо на мизинце, — так у нее распухли суставы.

Мама сосредоточенно смотрела перед собой на стену и сквозь стену куда-то вдаль.

— О! Не смотри так! — взмолился я, размахивая рукой у нее перед глазами.

— Почему?

— У меня от этого сердце разрывается.

В тот вечер отец вернулся поздно, когда мы уже давно пообедали. Как видно, он где-то поел и сразу же уселся за письменный стол. Я уже несколько дней спал на пресловутом диване Сесили. Я лежал смиренно, дремал или притворялся, что сплю, и не мешал отцу работать.

— Что ты скажешь об этом письме, Раймон? — спросила мама.

Отец пожал плечами.

— Это значит только одно, что дело еще не пришло к концу. Доверенность! Им все еще требуются доверенности! В лучшем случае нам хватит на два-три месяца. На те деньги, что я получу от Клейса, мы протянем два месяца.

— Но послушай, Рам, детям совершенно необходима верхняя одежда. И башмаки и белье! А через полтора месяца срок уплаты за квартиру. Нам никак не свести концы с концами.

Папа тяжело вздохнул.

— Мне пришло в голову, что можно что-нибудь заложить в ломбарде, — сказал он. — Это поможет нам выкрутиться.

— Я не против, но что именно?

— Хотя бы фортепяно.

— В самом деле, фортепяно!

— Я велю завтра же его увезти.

— Имей в виду, Раймон, что дело продвигается, раз они запрашивают доверенность, — прибавила мама. — В конце концов мы получим эту сумму.

— Ну, конечно, когда мы все давно будем в могиле. Уж, верно, госпожа Делаэ потешается над нами на том свете.

На другое утро, когда мы возвратились из школы, фортепяно уже исчезло. У Сесили, после окончания каникул, все время уходило на уроки музыки и на занятия в школе на улице Кросе-Спинелли, куда я заходил за ней по дороге.

— Где же мое фортепяно? — спросила она.

У мамы вырвался вздох, вид у нее был смущенный.

— Оно в починке.

— Но оно не было сломано, — возразила девчурка.

И она разрыдалась. Папа хмурил брови и пощипывал усы. Сесиль отказалась от завтрака и даже не пошла в школу. Она забилась под кровать и, лежа ничком, плакала без конца. Горестный день! К вечеру у папы с мамой состоялся разговор вполголоса:

— Я отнесу двое наших часов. И те и другие золотые. И возьму назад фортепяно.

— Но подумай о перевозке, Раймон! На нее уйдет добрая треть всей суммы.

— Тем хуже! Я допустил ошибку. Я заложу также твою камею и мою булавку для галстука. Не могу я слышать, как плачет наша малышка. В конце концов она права. Это ее призвание, ее будущее.

Мама молча пожала плечами. Папа снова погрузился в работу.

На следующий день на лестнице послышалась ругань грузчиков. Фортепяно водворилось на свое место, и Сесиль повеселела. Папа стал чаще кричать нам издали: «Который час у вас на стенных часах?»

Глава XII

Зимние ночи. Страхи и привидения. Воспаление уха. Знакомство с больницей. Золотая рыбка и канарейка. Походы в ломбард. Появление кометы

Зима, зима, сумрачный туннель! Погода ворчливая, ветер вздыхает, и далеко-далеко, быть может, над самым краем земли, виднеется голубое, ослепительное сияние. Уж наверно, там выход из туннеля в другое, более милосердное время года.

Приходится жить и набираться терпения. Ночи тянутся бесконечно, и нас посещают тревожные сны. Но дом наш накрепко заперт: напрасно ветер завывает за дверь и с грохотом налетает порывами на железный навес над трубой. Пленный огонь угасает в топке кухонной плиты. Все двери у нас нараспашку, чтобы последние волны теплого воздуха растекались по комнатам. Отец трудится, закутавшись в свое монашеское одеяние. Он шевелит губами, повторяя конец фразы. Потом он задерживает дыхание, но тут же у него вырывается «ух!», совсем как у чернорабочего. Подобно своим предкам крестьянам, он не умеет работать, не напрягая мускулов.

Мама шьет, сидя в столовой. Она работает быстро, она торопится. Я просто не могу себе представить ее праздною. Она всегда будет торопиться, даже в мире ином, в раю, в обители упокоения; покой для нее не что иное, как приятное мирное занятие, такое, как метить белье или подрубить носовые платки. По временам мама говорит сама с собою. Это она что-то подсчитывает, или строит планы, или втайне набрасывает в уме черновик письма тетушкам в Лиме, черновик воображаемого письма.

Старшие братья спят у себя в комнате, а Сесиль в кабинете у отца. Я слышу их дыхание, а порой они что-то бормочут во сне. Царит мир. Все вокруг так спокойно и надежно.

А между тем где-то совсем близко притаилась жуть. Это порождение мрака, дочь черной ночи. Такая хитрюга, такая выдумщица, она то и дело меняет лицо, прини-

мает все новый облик. А порой — и это ужасней всего! — она теряет и лицо, и всякий образ.

Бесконечно тянется зимняя ночь. Теперь уже все улеглись, даже папа со своими вечными вздохами, даже мама, которая как будто торопится уснуть, чтобы поскорее приступить к утренним трудам.

Мальчуган бесшумно встает. Он идет босиком, вытянув перед собой руки, в переднюю и ощупью удостоверяется, что дверь заперта на замок, что засов задвинут, Несколько мгновений малыш стоит в нерешительности. Что бы еще проверить? Не доносится ли из кухни легкий запах газа? Мальчик скользит как тень по каменному полу, еще сырому после вечерней стирки. Маленький ночной дозорный ощупывает газовый кран и уходит, потом вдруг возвращается. Он не вполне уверен, что кран как следует закрыт. О, сомнения! О, беспокойство! Два-три раза сряду он проводит онемевшими пальцами по крану, рискуя его открыть. Опасаясь, что у него так и получилось, он проверяет еще раз.

Это все? Нет. Еще окно. Оно заперто. Потянувшись к нему, мальчуган задевает папино кресло. Пустяк — еле уловимый шум, какой, верно, производят привидения, пролетая по комнатам. Но вот раздается голос, сонный, как бы затуманенный:

— Кто там? Кто здесь ходит? Это ты, Жозеф?

Молчание. Душа матери погружается в забвение, как в бездну.

Теперь малыш разыскивает свою постель. Он озяб. У него стучат зубы. Ему представляется, будто он блуждает где-то во мраке, как неприкаянная тень. Внезапно ему становится страшно самого себя.

Постелька! Убежище! Раковина! Закрыт со всех сторон: внешние враги уже не страшны. Остаются другие, неуловимые, чудовища, не имеющие ни тела, ни формы, ни цвета, — мысли, с которыми нет сладу.

Что это за пришлец, фосфоресцирующий в темноте? Каким чудом он проник к нам в дом? Он как-то странно продвигается, не переступая ногами. Вместо тени отбрасывает мертвенный свет, растекающийся по комнате. Под мышкой у него портфель, он в сюртуке, с белым галстуком и в каком-то зловещем цилиндре. Он молча ухмыляется. Он угрожающе безмолвен. Он чертит пальцем на стене зелеными огненными буквами:

«Я Гаврский нотариус».

Но вот он куда-то проваливается. Растворяется в ночном мраке, как кусок сахара в воде. Вслед за ним появляются дамы. Ой! Ой! Это тетушки из Лимы! У них смуглые лица, почерневшие на тропическом солнце, жгучие кровавые губы, высокие испанские гребни. Навстречу им — дядя Проспер, совсем плоский, выходит из альбома, где наклеены семейные карточки.

И вдруг — страшный шум! О, ужас! Это скелет. Он улыбается, скаля зубы. Он в треуголке, держит портфель с медной цепочкой, совсем как у тех господ, что приходят предьявлять ко взысканию векселя. Он снова улыбается и протягивает руку, требуя денег. Призраки, сбившись в кучу, протягивают руки и хором требуют денег, денег, денег, денег!

Потом привидения улетают. Реальный мир заявляет о себе: кто-то ходит в соседней квартире, где живут одни пауки. Кто-то ходит. Вот он кашлянул тихонько, но вполне внятно. Теперь совсем другие звуки: плачет ребенок. О! Кто-то скребется за стеной. Прямо около моего дивана, близ моего сердца. Внезапно волосы у меня будто оживают. Они встают дыбом. Я слышу, как они шевелятся.

Но вдруг нахлынули новые впечатления. Что там за шум вдалеке, на улице! Это тревожные сигналы пожарных. Опять огонь. Огонь! Прошлой зимой целый склад сгорел под нашими окнами. Запах гари и жар бушующего пламени врывались к нам в окна. Боже мой, что станем мы делать, если нам придется спускаться с шестого этажа, на веревке, в пустоту, или даже прыгать вниз на матрацы, разостланные для этого на земле? Бррр!.. А! Крики пожарных замирают вдалеке. На этот раз нам не угрожает пожар.

Однажды вечером я был разбужен не призраком нотариуса, но острой болью, свербившей глубоко в ухе. Еще не замер мой первый крик, как мать уже вскочила на ноги. Она подбежала к моей постели и долго, пристально смотрела на меня. Мне стало легче от этого взгляда. Но вот я снова заплакал.

— Потерпи, мой дорогой! — говорила м а м а . — Не мешай отцу работать.

Папа влил мне в больное ухо каплю теплого масла, потом снова сел за работу. У него был встревоженный вид. Он обхватил голову руками и явно старался сосредоточиться и углубиться в свой труд. Это нелегко ему

давалось. Тут мама закутала меня в одеяло и стала носить по всей квартире. Она крепко держала меня и баюкала, как грудного младенца, тихо-тихо напевая жалобную песенку о женщине, раненной в лоб. Я все еще всхлипывал, и она горячо просила меня:

— Умоляю тебя, мой родной, не мешай работать отцу. А завтра я куплю тебе что-нибудь очень хорошее. Чего бы ты хотел?

Я перестал плакать и ответил:

— Золотую рыбку.

На следующее утро нарыв в ухе сам прорвался. У меня был еще сильный жар. После кофе, ублаготворив мужа и отправив детей, мама одела меня потеплее. У нее были плотно сжатые губы и почти суровое выражение лица, какое появлялось всякий раз, как одному из близких грозила хоть малейшая опасность. Она закутала мне голову шарфом, наспех оделась и взяла меня на руки. Я был уже большой и тяжелый. Мама самоотверженно дотащила меня до угла проспекта и остановила омнибус.

Стоит мне закрыть глаза, как я вновь вижу больницу. Передо мной встает вестибюль с его тревогами, с его особым запахом, с чугунной печью и деревянными скамейками. А потом — приемная. Она длинная, как коридор, и полутемная. Врачи в белых халатах сидят все рядышком, как рабочие на фабрике. У каждого своя лампа, свое зеркальце на лбу, свои инструменты, свой столик, свой больной, откинувшийся к стене с обреченным видом.

То и дело слышатся жалобные возгласы:

— Осторожно, сударь. Ох, прошу вас, потише!

И стоны то повышаются, то понижаются, совсем как в песне. В самом деле, можно подумать, что поют песню, и от этого еще страшней.

Пришел и мой черед мучиться и протяжно стонать. Мама держала меня обеими руками и приговаривала с отчаянием в голосе:

— Я куплю тебе золотую рыбку, мой родной. Уши, это так болезненно. Золотую рыбку и еще что захочешь. Только не двигайся, ради бога! Чтобы доктор все хорошенько разглядел!

Я удержался от слез и попросил птичку.

Мое выздоровление затянулось на целых две недели, И мне пришлось несколько раз посещать больницу. Я получил золотую рыбку и птичку. Обе они прожили у меня

достаточно долго, чтобы стоило о них упомянуть в истории нашей жизни. Я полагаю, что, если бы они внезапно обрели дар речи, уж они-то наверняка высказали бы свое мнение о Гаврском нотариусе. Временами, возвращаясь из школы, я замечал, что мама уже не такая грустная, у нее был бодрый взгляд и успокоенное лицо.

— Казалось бы, — говорила она, — нет ничего общего между нами и золотой рыбкой. А между тем это неверно. В те часы, когда я остаюсь одна, — представь себе! — это крохотное существо составляет мне компанию. Это движение, это жизнь, нечто хоть капельку на нас похожее. Мне, конечно, не пришло бы в голову разговаривать со швейной машинкой, но я беседую с рыбкой, видишь ли, большей частью с рыбкой. Канарейка уж очень шумливая, никогда не слушает, что ей говорят.

Хоть я был в то время еще малышом, я легко мог себе представить, что именно поверяла мама рыбке в минуты одиночества. К концу зимы в нашей семье все острее чувствовалась нужда. Самые разнообразные предметы, доставшиеся нам по наследству, покидали нашу квартиру, и в этом не было ничего таинственного, так как слово «ломбард» произносилось запросто и становилось прямо-таки навязчивым. На наших глазах исчезли граφυры в рамках, фаянсовые тарелки, мраморная доска с камина. Стенные часы тоже отправились туда же.

— Не беда, — говорил папа, тяжело вздыхая. — Можно увидеть из окна, который час на железнодорожных мастерских.

Барометр чуть было тоже не уехал от нас.

— Ах, — сетовала мама, — вряд ли за него что-нибудь дадут!

Отец пожал плечами и повесил барометр обратно на стену. Всем существом он выражал упорство, каким, вероятно, удивлял своих родных знаменитый Бернар Палисси. Он обращался к маме, и мы слышали его слова:

— Я заложу все, вплоть до кровати, но сдам свои экзамены. До первого из них, Люси, остается несколько дней. Не хочу до старости перебиваться случайными мелкими заработками. Я хочу добиться успеха. Ради этого можно пойти на любые жертвы. Ужасно только, что от этого страдают дети.

Он даже не упомянул о маме. Он привык не считаться с ней.

Так проходил день за днем, и папа трудился, стиснув зубы. Поэтому нас очень удивило, когда однажды вечером он пришел с сияющим взглядом и светлой улыбкой.

— Невероятная удача! — весело сказал он. — Нам предстоит экспроприация!

Глава XIII

*Маленькая дуэль между Делэ и Паскье.
Чудеса и превратности экспроприации.
Антиполитическое животное и философия
индивидуализма. Радужные надежды.
Содружество жильцов. Апология желез-
ных дорог. Приготовления к выезду. Упа-
док и гибель великой идеи*

Несмотря на веселый голос и даже на улыбку, заявление отца было встречено испуганным безмолвием. Половина слушателей не понимала значения этого слова. Остальные пытались переварить известие, обнаружить в нем хоть что-нибудь положительное.

— Как! — вырвалось у Жозефа. — Значит, нас выгонят отсюда.

Жозеф был еще мальчиком, но его лицо уже отражало самые разнообразные страсти. Передавая какую-то смутную работу сознания, его юное и свежее лицо странно исказилось, на нем обозначились горестные морщины, и с минуту оно напоминало старую, недоверчивую физиономию тетки Анны Трусеро. Улыбка отца уже не успокаивала Жозефа. Экспроприация! Он пережевывал это слово, и оно казалось ему жестоким, чреватым всяческими невзгодами и угрозами, сулило появление судебных исполнителей, голубой гербовой бумаги.

Отец повел плечами и уселся за стол. Мама напряженно размышляла. Как всегда, она нуждалась хотя бы в краткой передышке, чтобы собраться с мыслями.

— Экспроприация, — проговорила она. — Да! Я полагаю, господин Рюо, хозяин дома, выиграет от этого и крепко наживется, но мы-то, жильцы? Нас принесут в жертву в этом деле. Нас ждут немалые трудности и хлопоты.

Отец снова повел плечами, но уже с более жизнерадостным видом.

— Сразу видно, Люси, — отвечал он, — что ты плохо разбираешься в таких вещах, как экспроприация.

— Прошу прощения, — задумчиво сказала мама. — Мои родители Делаэ однажды подверглись экспроприации. У них был земельный участок в Ривьер-Сен-Совер, когда через него стали проводить железную дорогу. Но они были землевладельцами.

Папино лицо приобрело какое-то жесткое выражение.

— Но мы-то, к сожалению, не Делаэ, мы всего-навсего квартиранты.

— Рам! Рам! К чему ты клонишь? Делаэ! Да я скоро совсем позабуду, что была Делаэ, что когда-то носила эту фамилию — ведь я стала уже совсем Паскье, как все вы. Ну да! Паскье — такой, какой ты сам, но не такой, как твоя сестра и, уж конечно, не как Трубач. Я тебе сказала все это, Раймон, чтобы ты был поосторожней.

Папа снова улыбнулся, но с оттенком горечи. Он согнул ногу в колене, показывая, какие тонкие и продранные подметки на его башмаках.

— Поосторожней... — пробормотал он. — Думаешь, я не остерегаюсь? Еще какой-нибудь месяц или даже меньше — и у меня будет просто неприличный вид. В дождливые дни у меня промокают ноги до самых лодыжек.

— Знаю, — вздохнула мама. — Я прекрасно это вижу, когда по утрам чищу твои злополучные ботинки.

— Через месяц, — продолжал папа, — я должен сдать первые экзамены. Это, конечно, важный шаг. Но это еще далеко не выход из положения. Нужно еще раздобыть денег. В данный момент это самое главное. Что, по-твоему, я должен предпринять?

Все лица, даже самые свежие, казалось, внезапно подернулись траурным крепом. Лампа разливала какой-то болезненный, удручающий свет. В подобных случаях мама всегда первая всплывала на поверхность.

— К счастью, — проговорила она, — к счастью, мы будем экспропрированы. Ты же сам сказал?

Папа вновь улыбнулся.

— Ты мне даже не дала объяснить, как обстоит дело. А между тем ты знаешь, Люси, что я никогда не витаю в облаках. Ты же знаешь.

О, могущество любви! Мама с энтузиазмом кивнула головой и даже подняла руки чуть не к самому небу в

знак того, что она прекрасно это знает и считает папу решительно неспособным фантазировать.

— Разумеется, — продолжал этот невозмутимый человек, — разумеется, хозяин строения, то есть нашего дома, получит большую часть денежной компенсации. Что до нас, простых жильцов, то мы все же имеем право голоса. Экспроприация наносит нам ущерб, и размеры этого убытка всегда определяются, более или менее добросовестно, специальной комиссией, которая называется жюри, комиссией по экспроприации. Погоди, Люси, сейчас я тебе все растолкую.

Все мы чувствовали, что мама уже начала приходить в азарт. Парижане еще жили восторженными воспоминаниями об экспроприациях, имевших место при Второй империи, в кафе, в омнибусах, в подъездах рассказывали всякие легендарные истории, — о сапожнике и продавце жареной картошки, которые уступили свои лавчонки за огромную сумму и стали богачами. Толковали о заговорах и интригах политических воротил, которые стремились, благодаря экспроприации, попасть под золотой дождь. Многие и многие горожане считали бы верхом удачи, если бы их выгнала из дому армия рабочих, нагрянувших сносить здание. Передавали друг другу изпод полы наставления, имевшие магическую силу. Иные ловкачи, разнухав заранее, селились по линии будущего прожорливого проспекта. Некоторым прямо-таки не везло: экспроприация проходила у них под самым носом, на расстоянии каких-нибудь двух метров, а порой и того меньше, — и до конца дней их терзала жестокая досада. Были случаи, когда люди с отчаяния кончали с собой или даже сходили с ума. А между тем подвергшиеся экспроприации разъезжали в каретах, упивались шампанским и вели разгульный образ жизни.

— Да, — сказала мама, глотая слюну, как всегда при сильном волнении, — да, Раймон, растолкуй мне как следует. Прежде всего, кто будет нас экспроприировать?

— Западная железная дорога.

— Вот оно что! — проговорила мама. — И как мне это до сих пор не приходило в голову! Я даже удивляюсь, что это раньше не случилось.

Она не сразу загоралась, но стоило ей воодушевиться, как она уже не знала удержу. С этого момента уже все казалось ей возможным. Если бы отец сказал, что нас экспроприрует Эйфелева башня, моя мать поверила бы

ему. Главное было довести ее до соответствующего накала.

— Уже давно, — продолжал отец, — идет речь о том, чтобы расширить вокзал Монпарнас и мост на проспекте Мен. Но это еще в будущем. А вот сейчас будут прокладывать железнодорожную ветку и, может быть, даже возводить мост на улице Шато, где ее пересекают рельсы. Западная компания покупает полосу земли вдоль всей улицы Вандам. Мы находимся на самом выигрышном месте, и нам не придется долго ждать.

— Чудесно! — воскликнула мама. — А откуда ты все это знаешь?

Папа замялся.

— Если я тебе скажу, — признался он, — ты сразу же подумаешь, что это несерьезно. Я услышал об этом от Васселена.

— Да, конечно, — как-то неопределенно протянула мама.

Она была несколько разочарована. Все, что исходило от Васселена, исключая нашего Дезире, казалось ей чем-то подозрительным. Такого же мнения был в большинстве случаев и папа.

— Васселен, — продолжал он горячо, — не внушает мне ни малейшего доверия. Я говорю это перед вами, дети, и прошу вас никому не передавать. Впрочем, если вы даже и передадите, мне решительно наплевать, — я не скрываю своих взглядов. Но лучше об этом помалкивать, по крайней мере, в настоящий момент. Потому что на этот раз у Васселена совершенно точные сведения. Я тебе много раз говорил, Люси, Васселен обладает всеми пороками, этот прохвост грешен даже тем, что занимается политикой.

На лице моей матери отразилось изумление и отвращение. Отец от природы был «антиполитическим животным» или даже «аполитичным», как выражались в прошлом веке индивидуалисты, предшественники Ницше.

Есть в морских глубинах рыбы, которые постоянно плавают стаями, бок о бок, плавник к плавнику, в несметном множестве уносятся теми же течениями, устремляются в те самые водовороты, предаются все вместе обжорству и сообща попадают в сети. Зато есть среди рыб и одиночки, которые избирают свои собственные пути, рискуя запутаться в водорослях, попасть на мель и наскочить на рифы. Мой отец напоминал таких одиноких

скитальцев, но при этом им руководили не эгоистические расчеты, но логика и рассудок, ибо все, к чему он стремился, прежде всего зависело от него самого, и если нужно было приобретать знания и, как он говорил, подняться ступенью выше, лучше всего было сразу же приступить к делу своими силами. Добавлю, что им владела гордость, и он всячески избегал местоимения «мы».

Ах, отец, отец, каким привлекательным становишься ты в свете воспоминаний! Как щадит тебя этот свет! Я приступил к моему повествованию с кровоточащим сердцем, полным упреков, несмотря на твою смерть и на протекшие годы. Я испытывал такую потребность избавиться от неприязни, погасить недобрые чувства. И вот, отец, мой рассказ продвигается вперед, и я уже не властен над своим повествованием. Воспоминания проливают мне в душу неизъяснимую отраду. Я уже готов, отец, воспевать тебе хвалу. Неужели же ты снова обманешь меня, неуловимый отец? Неужели ты заставишь меня позабыть, что я не мог тебя любить со всей нежностью?

Политика! Подумать только! Презренный Васселен! Этого еще ему недоставало! В глазах моей матери я читал порицание, смешанное с жалостью. Раз отец презирал политику, нам оставалось только считать политику некрасивым, нечистопопытным занятием, достойным всяческого порицания.

Между тем отец продолжал:

— Я считал, что Васселен совершенно неспособен оказать кому бы то ни было хоть малейшую услугу. А вот и ошибся! Он оказал услуги Сент-Илеру, муниципальному советнику нашего округа. Они встречаются. Я сам видел, как они разговаривали. И эти сведения Васселен получил от Сент-Илера. Так вот, мы будем экспропрированы! И уже в будущем месяце.

— Но что можем получить мы, простые квартиранты?

— Послушай! Мы не простые жильцы, как иные прочие. Я работаю дома. Моя квартира, можно сказать, рабочее помещение, что-то вроде мастерской. Тем самым я попадаю в особую категорию.

— Да, а что могут получить, к примеру, люди этой категории?

— Что-нибудь около десяти тысяч франков или даже двенадцати тысяч.

— Погоди, — прошептала мама. — Дай мне подсчитать.

Она прищурилась и молча шевелила губами.

— Десять тысяч! — вырвалось у нее наконец. — Но ведь это колоссально, Рам! Подумай только, переезд обойдется нам всего в несколько сот франков. Уж никак не больше.

— Знаю, — отвечал папа. — Вот почему я и сказал, что нам необычайно повезло.

— Если бы мы вдобавок получили письмо из Гавра, — то, пожалуй, и впрямь бы разбогатели.

— О! — воскликнул папа с презрением в голосе. — Письма от этого господина из Гавра нам придется ждать куда дольше. Десять тысяч франков чистоганом! И без всяких гербовых бумаг, без крючкотворства, без доверенностей, без всех этих идиотских нотариальных процедур! Честное слово, меня так и подмывает облегчить душу и написать ему, сей важной персоне из Гавра. Письмо... Да, со всей откровенностью и смелостью! Выложить ему весь мой образ мыслей.

— Нет, Рам, нет, умоляю тебя! Не восстанавливай против нас этого человека. Если на нас свалятся деньги из Гавра, — ну, что ж! Мы получим из двух источников — и это будет более чем кстати.

Мы, ребятишки, с раскрытым ртом внимали рассказам о золотом дожде.

На следующий день к нам явился с визитом Васселен. То был настоящий визит. Он пришел в перчатках. Вид у него был весьма внушительный, деловой, благодушный. Под мышкой у него виднелась папка с бумагами, правда, чересчур толстая для такого нового дела, в которую он, впрочем, даже не заглядывал. Он втолковывал папе:

— По существу говоря, мы имеем право и даже обязаны сформулировать наши пожелания, или, как выражаются высоким стилем, *desiderata*. Вы, Паскье... Позвольте мне называть вас по-братски Паскье. Так вот, дорогой мой Паскье, я подписываю вас под требованием пятнадцати тысяч. Смотрите: я вписываю пятнадцать тысяч во вторую колонку. Вы находите, что это много? Милый мой, если у людей такого сорта попросить бочку, то дай бог получить бутылку. Еще вчера мне это сказал советник Сент-Илер. Лично я требую двенадцать тысяч, — моя квартира похуже вашей, и я не работаю дома. Я ходил к господину Куртуа — ему полагается десять ты-

сяч. Бездетный, сами понимаете. Так будем же готовы защищать свои права. Ведь мы имеем дело с пиратами, с сущими акулами!

То был блестящий период в жизни г-на Васселена. У него рождались великие идеи, великие проекты, высокие слова. Он тут же предложил основать Содружество жильцов. Это название он писал на больших листах бумаги вязью, круглым и готическим шрифтом. Он придумывал подзаголовки: «Объединение в целях взаимной защиты граждан, подвергающихся срочной экспроприации». Он облазил весь дом снизу доверху, и на каждом этаже ему с радостью давали подписи. Он разглагольствовал, предлагая вниманию жильцов свои бумажонки:

— Наше общество взаимной защиты находится под высоким покровительством господина советника Сент-Илера, моего личного друга.

Он уговорил всех жильцов нанять адвоката и предложил г-на Моллара, «светило в юриспруденции». Таинственный г-н Моллар не пожелал работать бесплатно и сразу же попросил небольшой аванс. Каждый из членов Содружества внес Васселену скромную сумму — двадцать франков.

Через несколько дней, во время завтрака к нам ворвался Васселен. Он сжимал в руке салфетку, которой широко пользовался во время ораторской жестикуляции.

— Идите, — сказал он, — и посмотрите! Я не назову вас маловерами, ибо, к счастью, у вас нет недостатка в вере. Но все же посмотрите сами.

Он распахнул окно, впустив мартовский ветер, и всех нас, и малышей и взрослых, вытолкнул на балкон. Отряд землекопов с кирками и лопатами шагал по щебню между рельсами железной дороги. Два-три господина в котелках, видимо, инженеры, проделывали измерения рулеткой. Секретарь вносил цифры в книгу записей.

— Вот! — вскричал Васселен. — Вот уже начинаются работы! И есть основания думать, что они не затянутся.

Один из инженеров устался на наш дом. Он сделал какой-то отстраняющий жест и, повернувшись к своим коллегам, стал что-то горячо им доказывать. Энтузиазм Васселена достиг апогея.

— С нашего дома и начнется великое разрушение. Мой знаменитый друг, советник Сент-Илер, как раз сегодня утром сообщил мне об этом. Взгляните, дети мои,

взирайте на этот старый квартал, о котором в скором времени сохранится лишь воспоминание как об отправном пункте исторического прогресса! Разрушители зданий пролагают киркой дорогу в будущее. Разрушать — это значит созидать! Придет время, юноши, и вы будете вспоминать, как в дни детства, онемев от изумления, присутствовали при величественном развертывании сети железных дорог. Как жаль, что у меня в настоящий момент нет под рукой бутылки-другой шампанского. Мы с вами торжественно выпили бы за новые времена. Дайте же мне руку, Паскье, честную руку экспроприированного активного члена Содружества жильцов. Нет, не говорите о председательстве и о роли председателя: я сделал сущие пустяки. Вдобавок я не помышляю о земной славе. Это мой долг, я исполнил только свой долг, потрудившись для спасения ближних и на благо человечества.

Папа не произнес ни слова. Он смотрел на инженеров и рабочих, чем-то занятых на железнодорожных путях. Теперь все это казалось не просто правдоподобным, но почти очевидным. По уходе Васселена, пока мы заканчивали завтрак, отец проговорил, устремив взор в будущее, то есть в бесконечность:

— Все же придется нам подыскивать другую квартиру. По возможности, в этом же квартале. Сам я не смогу этим заняться: сейчас я до крайности перегружен.

— Я поищу, Раймон. Каждый день, между двумя и четырьмя, пока малыши в школе, буду отлучаться ненадолго.

Мать начала ходить по кварталу. Наверстывая потерянное время, она засиживалась за работой до поздней ночи. Порой она говорила:

— На бульваре Пастера можно снять квартиру из пяти комнат, если приплатить еще двести франков. Если добавить триста франков, то будет еще комнатка для прислуги. Ну, конечно, о прислуге не может быть и речи. Что за безумие! Я уже давно от этого излечилась. Но эту комнатку можно было бы оборудовать для Жозефа, ведь он уже почти взрослый...

Васселен задумал всерьез созвать общее собрание членов нашего Содружества и выработать соответствующий устав. Но дело кончилось тем, что он потребовал, чтобы все мы внесли еще по десять франков в счет аванса. Таким образом, каждый из членов уже уплатил по тридцать франков.

Вечером, усаживаясь за работу, папа сказал:

— Экспроприация — выгодное дело. К тому же это нечто бесспорное. Речь идет не о том, чтобы что-то принять или отвергнуть. Нашего мнения не спрашивают. Ну, что ж! Хоть мне обычно и легко переезжать с места на место, признаюсь, что мне как-то жалко покидать этот дом. Я уже начал к нему привязываться. Я сохраню о нем только хорошие воспоминания.

— А ты вполне уверен, — вздохнула мама, — что мы сразу же получим эту сумму, эту пресловутую сумму?

— Слушай, Люси, будь же логичной. Если они выселят нас, то вполне естественно сперва дать нам денег на переезд. Ведь найдутся в нашем доме вполне порядочные люди, у которых нет средств даже нанять экипаж, чтобы уехать отсюда.

— Пятнадцать тысяч франков, — проговорила мама. — Честное слово, я согласилась бы и на половину, лишь бы мне ее немедленно выплатили.

— Да нет, Люси, нет! Не надо отступать. Мы должны добиваться своих прав, чего бы это ни стоило, и ни в коем случае не сдаваться!

— Ну, хорошо! Пусть будет ни по-твоему, ни по-моему. Я согласилась бы на десять тысяч.

Папа пожимал плечами и уходил с головой в работу.

На одного человека вся эта история так подействовала, что он стал неузнаваем — то был мой милый Дезире. Он повеселел, в его глазах сияла гордость.

— Ты еще плохо знаешь моего папу, — уверял он. — Он всегда как будто шутит, но он очень умный. Повстречай он людей, которые оценили бы его, папа наверняка стал бы знаменитостью. Где же тебе все это знать, ведь ты только урывками видишь его минуту-другую. Но когда он в ударе, он так говорит!.. Нельзя удержаться от слез, до того это красиво и так плавно у него льется!

Приближалась весна. Отец успешно сдал первый из своих пресловутых экзаменов. Мама угостила нас превосходным завтраком, хотя мы находились в крайне бедственном положении. Мы ели с аппетитом, радуясь папиному успеху и вкусным блюдам. Мама приговаривала:

— В кролике, зажаренном по-бордоски с чесноком, всегда попадают непрожаренные горьковатые кусочки. Пусть тот, кому они достанутся, скажет мне.

На беду, такие кусочки всякий раз доставались мне. Миновали весенние дни. Г-н Васселен еще заговаривал об экспроприации, но уже с меньшим жаром. Повстречав кого-нибудь из жильцов, он останавливался на лестнице и бурчал со свирепым видом:

— Это сущие флибустьеры! Но не беда, не беда. Мы в самом выигрышном положении. Наш адвокат трудится вовсю. Я вижу с ним чуть ли не каждый день.

Дезире снова впал в меланхолию. Стоило нам заговорить об экспроприации, как у него болезненно передергивалось лицо. Члены Содружества с каждым днем все реже вспоминали об этой золотой легенде. Да мы и сами перестали об этом говорить. Однажды папа сказал, тяжело вздыхая:

— Это совсем, как история с экспроприацией.

— Да, — пробормотала мама, — что из этого получилось?

Мы жили этой надеждой и мечтой всю зиму, а теперь она стала чем-то вроде прошлогоднего снега.

Проходили недели за неделями. Временами тема экспроприации еще всплывала в домашних разговорах, но постепенно тускнела и угасала. Кто-нибудь говорил:

— Это было еще во время знаменитой экспроприации...

Иногда прибавляли:

— Интересно знать, что случилось с адвокатом, которого рекомендовал Васселен?

— О! Уж он-то наверняка проглотил весь аванс. Когда имеешь дело с юристами, деньги так и плывут.

Прежде чем окончательно кануть в забвение, эта эпопея имела удивительный, прямо-таки драматический отголосок. Однажды на исходе весны, когда мы с Дезире Васселеном дремали на балконе, внезапно он вынул из кармана какой-то малюсенький предмет. Крепко сжимая его в кулаке, он сказал дрожащим от волнения голосом:

— Вот, Лоран, возьми, ты отдашь это вечером папе и маме.

Дезире разжал руку: на его ладони блеснула золотая монетка, маленькая десятифранковая монетка. Он продолжал, понизив голос:

— Остается еще двадцать франков. Постараюсь их раздобыть. Но главное, главное ничего не говори об этом моему папе и даже маме. Я уж как-нибудь вывернусь. Запомни, остается вернуть всего двадцать франков.

Глава XIV

Новые соображения относительно чечевицы. Переписка с коллегией нотариусов. Проект путешествия в Америку. Поль Глазерман, или искушение. Элементарные подсчеты. Г-н Лаверсен, г-н Боттоне и м-ль Вермену или Верменуз. Декларация независимости

Следующий период нашей жизни был печальным, туманным и не совсем понятным. Я предпочел бы целиком предать его забвению. Если я сейчас хоть бегло о нем рассказываю, то, быть может, потому, что слова имеют роковую власть отравлять воспоминания и под конец их умерщвлять.

Добрых три месяца Гаврский нотариус не был главным предметом наших семейных мечтаний. Но когда экспроприация растаяла как дым, Гаврский нотариус снова выступил на первый план. То был поистине самый молчаливый из нотариусов. Я никогда его не видел, даже забыл его имя, но всякий раз, как о нем подумаю, мне представляется чудовище, у которого нет ни рта, ни ушей. Бездушный идол равнодушия.

Мама снова принялась писать, несколько раз в неделю она отправляла письма, то умоляющие, составленные ею самой, то кипящие гневом, продиктованные папой. Все эти письма словно падали в глухой, бездонный колодезь. Когда послание казалось отцу образцом обличительного красноречия, он посылал его заказным. Мне думается, что деньги, истраченные на письма, связанные с этим злополучным делом, позволили бы нам недурно прожить целых два месяца, ежедневно питаюсь мясом. Это соображение может повлечь за собой целый ряд других. Еще в ту пору я пришел к убеждению, что сам по себе не слишком привлекательный вегетарианский режим питания, при котором человек забывает, что он плотоядное животное, к тому же никак не совместим с трудовым образом жизни. Делая смелый скачок через пропасть, существующую, по мнению философов, между физиологией и психологией, могу сказать, что злоупотребление каким-нибудь блюдом, обычно вызывающее тошноту, иной раз может привить к нему любовь. У меня были бы основания возненавидеть

чечевицу. А между тем нет! Меня нередко тянет к чечевице. Если позабудут меня угостить чечевицей, я прошу ее, даже требую! Я повторяю вслед за отцом: «Это фосфор в таблетках». Чечевица по-прежнему остается для меня основной едой. Я ее смакую сосредоточенно, благоговейно, с какой-то трезвой меланхолией.

Но прекратим эти гастрономические рассуждения. Однажды в нашей корреспонденции... Нет! Уступаю брату Жозефу столь напыщенные выражения: как бедные люди, мы получали лишь время от времени какое-нибудь письмо, зачем же говорить о «корреспонденции»? Любое письмо сразу же бросалось в глаза, привлекало к себе внимание. Однажды мы получили письмо с печатной надписью: «Коллегия нотариусов». Оно было адресовано моей матери, и она схватила его дрожащей рукой.

— Боже! Что мы сейчас узнаем? Что-нибудь ужасное? Вот увидите, этот господин из Гавра удрал, унося с собой все наши деньги, наши процентные бумаги и что еще там, боже мой!

Моя мать вскрыла конверт и самолично прочитала раз десять письмо вслух, так как папы не было дома. Мы, детишки, обступили ее и тоже старались вникнуть в смысл этого загадочного письма. Наконец мама уразумела, что папа, ни слова ей не говоря, подписавшись ее именем Люси Делаэ-Паскье, обратился в Коллегию нотариусов с жалобой на их гаврского коллегу; он обвинял его в медлительности, в недобросовестности, удивлялся его молчанию. Этот подвиг был совершен отцом, по крайней мере, месяц тому назад, как это явствовало из текста: «В ответ на ваше любезное письмо от...» Как-никак Коллегия нотариусов прислала ответ. Ответ неопределенный, уклончивый, не слишком вежливый: там одним махом оправдывались все должностные лица, современные и будущие, и в заключение рекомендовалось запастись спокойствием и терпением.

Мама до крайности встревожилась: она ведь всегда проявляла изрядное благоразумие и осмотрительность, если только дело не касалось непосредственно ее выводка, но в таком случае слово «тигрица» было бы слишком слабым. Итак, она размышляла, отрывисто высказывая нам свои опасения:

— Если господин из Гавра узнает об этом, то все кончено. Мы пропали. Хватит нам неприятностей на добрых десять лет.

Вечером, когда папа вернулся, мама передала ему письмо.

— Что такое? — вырвалось у папы, и усы у него зашевелились.

— Раймон, я боюсь, что мы сделали ошибку!

Мама не участвовала в этой сумасбродной выходке, но, заговорив об ошибке, сразу же приняла часть вины на себя.

По некоторым признакам было видно, что отец готов разразиться благородным гневом, исполняя партию соло:

— Я сделал то, что считал нужным сделать, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Плевать мне на эти деньги из Гавра! Но я не могу выносить безразличия этого болвана. Я имею в виду нотариуса. Раз Коллегия нотариусов стоит горой за эту каналью, я знаю, что мне остается сделать. Мне остается только поехать туда.

— Куда же? В Гавр?

— Н е т, — отрезал отец солидным величием. — Не в Гавр. В Америку! Уж там-то я добьюсь своего.

На минуту воцарился ужас. Мне казалось, что моя мать бросится сейчас на колени перед отцом, умоляя его отказаться от столь безумного и вместе с тем столь грандиозного замысла. Но вот она расплакалась. Глядя на ее слезы, папа стал улыбаться. Через несколько минут он уже позабыл об Америке, и к нему вернулось спокойствие, которое так горячо ему рекомендовала Коллегия нотариусов.

В это лето мы подверглись самому пагубному искушению. Я говорю: «мы». О, я был тогда всего лишь хрупким мальчуганом, но переживал наши испытания с юным пылом, и бедствия, постигавшие наш клан, потрясали меня до глубины души.

Как-то раз мама получила письмо, которое со временем было обнаружено мною в семейном архиве. Это просто чудо, что письмо сохранилось после сорока с лишним лет нашей жизни, полной всяких передряг и случайностей. Оно сейчас передо мной, и мне будет проще всего его переписать.

ПОЛЬ ГЛАЗЕРМАН,
ХОДАТАЙ ПО ДЕЛАМ

Авансирование. Выдача ссуд под залог. Расследования частного порядка. Коммерческие операции. Секретные поручения. Деньги по завещаниям.

Сударыня,

Нам стало известно через наших агентов, что дело о завещанном Вам наследстве в настоящее время является предметом расследований, предпринятых во Франции и в Америке; дело это носит спорный характер, и, к сожалению, упомянутые расследования еще далеко не пришли к концу, и могут пройти долгие годы, прежде чем Вы получите удовлетворение. После рассмотрения папки с документами, доставленной в нашу контору нашими специальными агентами, мы можем сделать Вам следующее предложение, которое, бесспорно, окажется для вас весьма выгодным. Мы можем взять на себя обязательство осуществлять от Вашего имени и вместо Вас все меры, содействующие ускоренному и, если возможно, окончательному разрешению дела. Поскольку указанные меры связаны со значительными расходами и немалым риском, Вы, со своей стороны, благоволите дать по установленной законом форме письменное обязательство предоставить нам шестьдесят процентов от причитающейся Вам суммы. Четвертая часть остатка будет Вам выплачена при подписании нашего соглашения, подписании, каковое будет иметь место спустя десять дней после данного Вами устного согласия.

*Мы пребываем в надежде, сударыня, что Вы расцени-
те должным образом наше предложение и сообразовите
принять в соображение риск, на который наша контора
готова пойти, соблюдая Ваши интересы.*

Благоволите, сударыня, принять заверение...

Папа перечел письмо два раза с начала до конца.

— Жулики! Прохвосты! — воскликнул он с презрительной усмешкой. — Мы окружены мошенниками. Удивительное дело.

Но вот гнев улегся, папа поднял брови. Лицо его по-светлело.

— В сущности говоря, — сказал он, — мы можем получить сейчас же десять тысяч франков. Не будем спешить с отказом. Я уже почти совсем разуверился в успехе этого гаврского дела. Знаешь, Люси, пожалуй, лучше получить на руки десять тысяч франков, чем надеяться на эти сорок тысяч, которых, быть может, мы никогда и не понюхаем.

— Погоди, Р а м , — остановила его мама, и лицо у нее стало серьезным. — Мне кажется, ты ошибаешься. Там сказано: «четвертая часть»...

— Да четвертая часть от сорока тысяч франков — это десять тысяч. Я еще не разучился считать.

— Нет, Рам, ты, конечно, ошибаешься. Там сказано: «четвертая часть остатка». Шестьдесят процентов от сорока тысяч, это будет... Дай мне сообразить. Это будет двадцать четыре тысячи. Значит, остается шестнадцать тысяч. И четвертая часть шестнадцати тысяч — это всего лишь четыре тысячи. Вот, Раймон. И это все. Четыре тысячи теперь же и со временем двенадцать тысяч. Теперь тебе ясно, что это мошенничество.

Папа очень плохо и крайне медленно считал. Он заставил маму раз восемь проделать этот подсчет. Под конец он даже нацарапал цифры на полях письма, они и сейчас у меня перед глазами. И как ни горько мне об этом говорить, он еще колебался минуту-другую! О! Он не отличался жадностью, просто-напросто испытывал усталость, хотя никогда бы в этом не признался; да, в этот день он действительно изнемогал от усталости. Четыре тысячи франков на руки... Но вот он пришел в себя и сразу же взорвался:

— Разбойники с большой дороги! Грабители! Бандиты! Я напишу им, Люси, сейчас же, немедленно!

— Какой смысл им писать? Достаточно ничего не ответить.

— Н е т , — упорствовал п а п а , — я напишу. — И он добавил вполголоса: — Таким образом, у меня уже не будет соблазна вступать в это дело, что бы там ни произошло. Лучше сжечь корабли.

Он написал. Он не мог себе отказать в этом утешении. Должен сказать, что в следующем году мы получили три или четыре предложения подобного же рода. Мама говорила:

— Ты же видишь, Раймон, ты же видишь: если все эти господа готовы заняться нашим делом, значит, по существу, оно вполне надежное. Подождем! Наберемся терпения!

Волей-неволей нам оставалось терпеливо выжидать. И дни проходили за днями. Ведь что бы ни случилось и даже если ничего не случается, дни текут, а за ними недели и месяцы, и каждый вечер приходится задавать себе вопрос, как разрешить жуткую проблему, какую пред-

ставляет собой завтрашний день. И все же завтрашний день как-то переживается.

Однажды утром мама сказала, разливая кофе:

— Раймон, мне пришла в голову одна мысль.

Папа встрепенулся.

— Замечательная мысль, Раймон! Мы возьмем жильца на полный пансион.

Папа нахмурился:

— А где ты его поместишь?

— Прошу прощения, — продолжала мама. — У нас только одна подходящая комната — твой рабочий кабинет. Ты устроишься в нашей спальне. Я знаю, тебе будет не очень-то спокойно, бедный Раймон. Но ведь ты всюду можешь работать, когда тебе придет охота. Ты и представить себе не можешь, Раймон, как это меня выручит. Я уже все подсчитала, можешь мне поверить.

— Жильца на полный пансион! Какого жильца? — Папа даже притопнул ногой.

— Сказать тебе по правде, Раймон, я уже нашла себе жильца. Это некий господин Лаверсен, знакомый тетуски Тессон.

— Делай, как находишь нужным, Люси.

И мама сделала все, что только смогла. Она передвинула фортепьяно в столовую, втиснула папин стол и его книги в спальню, которую с гордостью называла «большой»; там уже стояли две кровати, и, по правде говоря, то была довольно жалкая комнатуха. Потом она заказала слесарю добавочный ключ ко входной двери. Расходы небольшие, но как-никак расходы.

— Без небольшой затраты средств ничего не добьешься я, — говорила мама. — Не беда! Дело пойдет на лад. Господин Лаверсен идеальный жилец: он работает по ночам в типографии какой-то газеты. И тетушка Тессон уверяет, что это такой благовоспитанный человек!

И вот появился г-н Лаверсен с небольшим чемоданом. Папа встретил его весьма корректно, но холодно... У г-на Лаверсена были коротко остриженные волосы и борода с проседью. Его лицо отличалось бледностью, как у всех, кто спит днем. У него слегка выступало брюшко, вид был унылый, но «вполне приличный», как аттестовала его тетушка Тессон. С нами он только ужинал перед уходом на работу. Остальное время спал и пробуждался, чтобы позавтракать; таким образом, у мамы не было ни минуты отдыха. Г-н Лаверсен не проявлял чрезмерной требова-

тельности. Когда ему было что-нибудь нужно, он стучал кулаком в перегородку. Мама тут же вскакивала с покорным и тревожным выражением лица.

— Я не хочу заставлять его ждать, — говорила она. — Он так устает на работе и нуждается в услугах. Старый холостяк, — как его не пожалеть!

Мы уже давно привыкли играть в столовой. Однажды г-н Лаверсен постучал кулаком в стенку.

— Утихомирьте ваших ребят, сударыня. Поймите же, они не дают мне спать.

Мы изо всех сил старались говорить шепотом и не смеяться. Когда кто-нибудь из нас передвигал стул, мы испуганно переглядывались и бранились под сурдинку.

Раз в неделю г-н Лаверсен отдыхал. Он сидел у себя в комнате и курил трубку. Табачный дым расползлся по всей квартире, и хотя мы не решались об этом говорить, у нас было тяжело на душе, как у жителей города, захваченного неприятелем.

Обычно г-н Лаверсен возвращался домой к пяти часам утра. Иногда маму будил скрежет ключа, поворачиваемого в замке, и она металась в постели; я ощущал это сквозь сон, когда спал рядом с ней. Однажды утром я услышал, как она говорит, понизив голос, весьма настойчиво:

— Раймон, ты слышишь меня, Раймон?

— Да, да. Что такое?

— Господин Лаверсен только что вернулся.

— Ну, и что же из этого?

— Раймон, господин Лаверсен не один. Прислушайся, ведь слышно два голоса. Раймон, кажется, господин Лаверсен привел какую-то женщину, даму, уж не знаю, какую. Боже мой, боже!

Папа окончательно проснулся. Он приподнялся на локте и стал прислушиваться.

— Так и есть, Люси. Я слышу женский голос.

— Раймон! Но это же невозможно!

Папа в недоумении прищелкивал языком.

— Ну, что ж, Люси, так уж случилось. Раз этот человек снимает комнату, он там у себя как дома. В конце концов он имеет право принимать кого захочет и даже принимать женщину, не спрашивая у нас разрешения.

— Раймон, я уже сказала тебе, что это недопустимо.

— Когда берешь жильца, можно всего ожидать.

— Я понимаю, если бы это была его сестра. Но в пять часов утра, какая там сестра! А вдруг это какая-нибудь тварь?

— Ах! — воскликнул п а п а . — Молчи, Люси. Ты сама пошла на это и должна стерпеть.

— Есть в е щ и , — возразила м а м а , — которые я никак не могу выносить. Мой дом! Мой очаг! Что подумают дети?

— Не мешай мне спать, Люси.

Я тоже уснул. Мама была в большом волнении и долго что-то шептала. Не могу сказать, что произошло в то утро, так как я должен был пойти в школу. Вернувшись часам к двенадцати, я узнал, что г-н Лаверсен уложил свои вещи в чемоданчик и уехал от нас. Мне удалось уловить обрывки разговора между отцом и матерью.

— Не с к а ж у , — признавалась м а м а , — чтобы он держался неподобающим образом. Он поставил мне на вид, что эту тему мы заранее не обсуждали. Невозможно же все предвидеть. Представь себе, Раймон, он толковал мне о гигиене, оказывается, он так привык, — раз в три недели. Что до женщины, я ее видела. Ее, пожалуй, не назовешь тварью. Нет. Все равно я потрясена. Но он уехал и даже уплатил мне все, что за ним оставалось. Сама-то я ничего бы с него не потребовала, — лишь бы он убрался!

Папа пожал плечами, и с г-ном Лаверсеном было покончено. Тетушка Тессон вскоре нашла ему преемника. То был итальянец по имени г-н Боттоне.

— Вообще-то я не доверяю иностранцам, — разглагольствовала тетюшка Тессон, — но за этого могу вам поручиться. И потом я его предупредила на этот счет, мадам Паскье. Все, что угодно, только не женщины.

Господин Боттоне не оставил заметных следов в наших анналах. Он действительно не приводил дам и проявлял изысканную учтивость. Нам было неизвестно, чем он занимается. По вечерам к нему всякий раз приходило несколько его соотечественников, и они с большим жаром беседовали на своем языке, уверенные, что мы ничего не понимаем. Он прожил у нас всего три недели и уехал, очень вежливо распрощившись. На другой же день после его отъезда, около полудня, раздался резкий стук в дверь. Появился элегантно одетый господин в сопровождении двух полицейских. Узнав, что г-н Боттоне от нас уехал, он был явно разочарован.

— Где же у вас были глаза! — воскликнул он. — Разве можно сдавать комнаты анархистам! Все же мы произведем обыск в его комнате.

Мы были в ужасе, и у мамы дрожал подбородок, совсем как у ее бабушки Гийома в день расстрела маршала Нея. Уходя, посетитель добавил:

— Вы сдаете комнату? А вы заявили об этом кому следует, согласно требованиям закона? Вы еще услышите обо мне.

— Видишь, — сказала вечером мама, — все ополчилось против нас. Нам не позволяют сдавать комнату с пансионом.

Папа прищурил один глаз.

— Я никогда не стоял за необходимость сдавать комнаты с пансионом, но раз мне запрещают иметь жильцов, — то я изменяю свое мнение. Я хочу сдавать комнаты! Слышишь, Люси, я хочу жильцов!

— Не горячись, Раймон. Я подыщу нам еще кого-нибудь.

К счастью, полицейские забыли о нас, и однажды вечером мама заявила:

— Раймон, на этот раз я нашла то, что нужно! О! Это прямо исключительный случай! Старая дама, или, вернее, старая барышня, бывшая директриса школы. Вполне благовоспитанная особа. Когда имеешь дело с пожилой особой, можешь не опасаться всяких там сюрпризов.

Мне вспоминается, что эту идеальную жилищу звали м-ль Вермену или Верменуз и что она была родом из Оверни. Она прожила у нас месяц с лишним, и с самого начала стала обнаруживать необычайную требовательность в отношении стола. По ее мнению, существовало только два вида кушаний — горячительные и освежающие. Она сочетала одни с другими и принимала их в строго установленных дозах. Она шпыняла маму за лишнюю крупинку соли, за капелюку уксуса, за атом теплого сала, за пылинку муки. Моя мать молча страдала и терпеливо выслушивала лекции по диетике из уст несносной особы. Вдобавок м-ль Верменуз была помешана на чистоте речи, и однажды в нашем присутствии поправила отца:

— Нет, сударь, нет! Глагол «любить» перед инфинитивом требует предлога.

Тут лицо отца исказила свирепая улыбка, которой мы так напугались.

— С предлогом или без предлога, мадемуазель, но вы были бы не прочь хоть разок проспрягать этот глагол с партнером, если бы нашелся охотник!

Ох, уж этот папа! Как больно мог он отхлестать, когда его выводили из себя!

Мадемуазель Верменуз выпрямилась во весь рост и осыпала его бранью. Она уехала от нас на другой же день.

— Конечно, — простонала м а м а . — Больше не хочу жильцов, больше не могу! Простите меня, детки. Я делала это ради вашего блага. Но это сверх моих сил. Уж такой мы народ — не можем смешиваться с другими.

У всех нас было такое чувство, что эти посторонние люди одним своим присутствием оскверняли наше убежище, наш храм, наше сокровенное святилище, где протекала наша жизнь с ее радостями и горькой нуждой. Но что поделаешь! Что поделаешь! Мы согласны были хуже питаться, ходить в дырявых башмаках, страдать от холода и от тусклого освещения, протирать до дыр чиненую и перечиненную одежду, — лишь бы нам жить одним, своей семьей, своим кланом; мы предпочитали быть несчастными, обездоленными, но чистыми сердцем и не соприкасаться с людьми другой породы.

Глава XV

Первое причастие. Униженное дитя. Материнская справедливость. Минутная слабость. Шитье готового платья. Усталость и отчаяние

Тридцать шесть тысяч дней! Такое бремя, такое соколовище выпадает на долю человека, который проживет сто лет. Дни! До чего они кратки! И вместе с тем какой это бесконечный рой! Какая пустыня! Какое одиночество!

Я скитаюсь, злосчастный мореплаватель, по берегам, возле которых некогда произошло кораблекрушение. Мельчайшие события проносятся передо мною, всплывают там и сям, точно обломки судна.

Фердинан и Дезире удостоились первого причастия. Для этого праздника раздобыли денег: отец посетил г-на Клейса и, преодолевая отвращение, попросил у него ссуду в рассрочку. Стол был накрыт в соседней пустой квартире при содействии тетушки Тессон. Мы имели случай увидеть противную физиономию г-жи Трусеро и еще несколько лиц, обычно не появлявшихся в мире Паскье. Оказывается, в столь торжественных случаях даже бедняки имеют обыкновение принимать всякого рода людей, которых не любят или едва знают. Фердинан получил в подарок от разных лиц пять монеток по сто су и вечером, по уходе гостей, вручил их маме. У мамы слезы навернулись на глаза.

— Спасибо, сыночек, — сказала она. — Я отдам тебе потом...

Она не прибавила: «когда Гаврский нотариус...» Ох! Мы все еще думали о нем, но теперь уже гораздо реже о нем говорили. Нам как-то неловко было о нем упоминать.

Мой дорогой Дезире Васселен вел себя образцово во время причастия. Все присутствовавшие, начиная с его папы, нашли, что он некрасив, дурно одет и производит комическое впечатление. Конечно, можно быть набожным, но не до такой же степени! Мне же он показался прекрасным, исполненным благородства. Я спросил его вечером, после конфирмации:

— Значит, решено, ты будешь священником?

Он ответил с мрачным видом:

— Нет, не решено. Я еще ничего не могу сказать.

Передо мной всплывает другое событие, случившееся почти в то же время. Фердинан провалился на экзамене. Вижу его как сейчас: он сидит на стуле и похож на бычка, которого хватили обухом по голове. Он так ревностно трудился! У него не было недостатка в усердии, но не хватало способностей. Папа смотрит на него с убийственной усмешкой. Фердинан вздыхает:

— Я снова примусь за учебу.

И он действительно готов начать сызнова.

Папа вздергивает плечами. Какая ирония судьбы! Жозеф ударился в «коммерцию», а Фердинан неудачник. Остальные еще малыши. Выходит, что он один, человек уже зрелых лет, — с некоторых пор он перестал упоминать о своем возрасте, — вопреки здравому смыслу, задумал попытаться счастья на скорбном, полном разочаро-

ваний попроще науки. Что за бес, в самом деле, подзуживает человека! Ну, что ж, папа один-одинешенек пойдет вперед!

Фердинан уже не в силах сдержать слез. Все мы подавлены. Какое унижение! Какая горечь! Впрочем, нет! Мама не испытывает унижения и горькой досады. Внезапно она берет на руки свое опечаленное, потерпевшее поражение дитя, которое плачет, сидя в сторонке на стуле, плачет, не осушая больших близоруких глаз. Она держит его на руках, как грудного младенца. Она баюкает и утешает его. Она перечисляет и превозносит бесспорные достоинства злополучного ребенка.

До конца ее дней не будет удержу материнской любви, любви несправедливой при всей своей справедливости. Пусть никто не посмеет сказать, мама, что одно из твоих чад, плоть от плоти твоей, несчастнее других! Говорят, что он неспособный? В таком случае у нее еще больше оснований нежно его любить, лелеять, петь ему хвалу, защищать его во всех случаях жизни. К тому же он не менее развит, не глупее других, — просто ему не везет, он менее удачлив. Как же не предоставить ему, хотя бы в ее сердце, самого теплого, самого уютного, самого почетного уголка!

Пусть годы проходят за годами, пусть наступает новое столетие, чреватое новыми судьбами. Говорят, что Жозеф разбогател, что малютка Сесиль стала великопленной пианисткой, что младшая, Сюзанна, блистает красотой, что Лоран сдружился со славой. Все это прекрасно и, быть может, даже правда; но материнское сердце до последней минуты будет биться, ратуя за справедливость, совершая воздаяние, восстанавливая равновесие. По крайней мере, найдется человек, который будет превозносить заслуги Фердинана, повторять его словечки, оповещать о его вкусах, восхвалять его труды.

Так обстоит дело. Именно так. Кто дерзнет на это пожаловаться? Справедливость требует признать, что одному человеку невозможно обладать всеми достоинствами. И все же в иные моменты нам становится ясно, что можно завидовать всему на свете, даже избытку материнской жалости.

Отдаваясь воспоминаниям, я плохо различаю времена года. Снова пришла зима. В иные месяцы мы испытывали какой-то необъяснимый подъем духа и, сами не зная почему, были уверены, что все уладится чудесным

образом. Были и проклятые месяцы, когда, придавленные невзгодами и усталостью, мы уже больше не помышляли о Гаврском нотариусе. Мы жили, совсем как животные, которые бредут, тупо глядя вниз, переступая копытами в пыли.

Как-то вечером я впервые услышал из уст папы роковую фразу:

— Люси, я, пожалуй, отступлюсь.

Он не облокотился на стол, как обычно, но уронил на него вытянутые руки. Он, такой гордый, такой мужественный, такой честолюбивый, сгорбился и понурил голову. Он провел без сна слишком много ночей. Уверенность в себе вдруг стала его покидать, как кровь вытекает из глубокой раны. Он продолжал каким-то глухим голосом:

— Я, пожалуй, отступлюсь... Момент подходящий, Клейс предлагает мне работу... Обширную компиляцию. Она займет по меньшей мере четыре года. Если я откажусь от экзаменов, наше положение сразу улучшится. О! Я знаю, что в этом не будет ничего позорного, это будет только... невероятно после всего, что я уже проделал.

Мама протянула руку и схватила руки мужа, распластанные на столе. Она их пожала и, улыбаясь, промолвила:

— Отступиться! Что за бредовая мысль, Раймон! Вижу, до чего ты устал! Завтра ты уже забудешь об этом.

Папа сразу же распрямился.

— Устал? Нет, нет, я никогда не устаю. Я только потому об этом заговорил, что мне хотелось облегчить тебе жизнь.

Мама рассмеялась:

— Какой ты добрый, Раймон! Но я — не в счет. Не беспокойся обо мне. К счастью, я совсем здорова.

Через несколько дней мама явилась после отлучки в город с огромным тюком и вечером развернула его на столе. То были уже скроенные мужские брюки; оставалось только их сшить. Мама села за машинку и проработала добрую половину ночи. Она достала эту работу в торговом доме готового платья, извлекавшем немалый доход из труда надомных работниц.

— Эта работа не слишком хорошо оплачивается, — говорила мама, — но все же очень нам поможет. Мы как-

никак сведем концы с концами. Понимаешь, Раймон, ты будешь у себя в кабинете, я в столовой. Не заметим, как пройдет ночь.

Порой я удивлялся:

— Как ты шьешь, мама! Как замечательно ты шьешь!

Она отвечала:

— В этом моя жизнь.

Она слегка причмокивала губами и еще успевала улыбнуться. Иногда добавляла:

— Будь у меня дочка постарше, она могла бы мне помочь! Мы работали бы вдвоем, и все же было бы веселей. Но у нас только малютка Сесиль, а все остальные мужчины.

Жизнь шла своим чередом. Кое-кто из соседей жаловался, что швейная машинка мешает им спать. Но в конце концов они привыкли к ее стуку.

Как-то раз меня разбудил среди ночи кошмарный сон. Мне никак не удавалось уснуть. Папа уже улегся и дремал рядом со мною. Я видел на паркете полоску света, пробивавшуюся из-под двери, но из столовой не доносилось ни единого звука. Эта мертвая тишина нагнала на меня страх, я спрыгнул с кровати и босиком на цыпочках направился к свету.

Мама спала, сидя у стола, уронив голову на согнутую в локте руку. Как видно, она была простужена, тоненькая блестящая ниточка стекала у нее из носа на шитье. Она была совсем бледная и с трудом дышала полукрытым ртом. Когда я тронул ее за руку, она проснулась, увидела меня и расплакалась. Она посадила меня к себе на колени и крепко прижала к груди, пытаясь согреть, ведь я был в рубашонке и босой. Она плакала тихонько-тихонько, и у нее вырывались бессвязные фразы:

— Видит бог, я не желала смерти моим бедным сестрам. Если бы я этого хотела, то было бы понятно, что я наказана свыше. Но, увы, они умерли! Пусть же мне дадут, господи, то, что мне принадлежит по праву, и пусть с этим будет покончено! Ложись спать, Лоран. А то завтра ты будешь вялый и с трудом пойдешь в школу. Учение — прекрасное дело, Лоран, особенно в юные годы. Но таким, как мы, — я хочу сказать, как твой отец, — оно обходится уж слишком дорого. У тебя ледяные ноги, Лоран. Дай, я еще минутку погрею их в ладонях.

Глава XVI

Мамина болезнь. Таинственное появление старика. Злой гений Васселен. Случай и удача. О выборе заимодавца. Путешествие в Гавр. Вмешательство господ Куртуа. Подписание договора

На исходе этой зимы мама заболела. Это было трагично и неожиданно. Началось ночью. Папа говорил мне на ухо:

— Проснись поскорей, мой мальчик, и ложись на кровать к братьям.

Я с трудом открыл глаза. Папа держал в руках тазик, полный крови. Мама через силу улыбнулась:

— Не бойся, Лоран. Мне что-то нездоровится, только и всего.

Водворившись в комнате братьев, я слышал до утра, как папа гремел кувшинами, шарил в шкафу, отыскивая белье, грел воду в кухне на газе.

Когда наступило утро, тусклое февральское утро, мама с трудом оделась.

— Я не виновата, Раймон, — бормотала она, — но у меня кружится голова.

Она спустилась по лестнице, опираясь на папину руку, и они уехали на извозчике. Она пролежала неделю в больнице, неделю, в течение которой м-ль Байель приходила нам готовить и даже делала постирушку. Впоследствии мы потеряли м-ль Байель в дебрях Парижа. Сейчас она наверняка совсем старенькая, если еще жива. Должно быть, она позабыла о нас. Я шлю ей привет, ей или ее тени. Это была по-настоящему добрая и прямо-таки святая девушка. Ей ничего не стоило засучить рукава и орудовать метлой, подобрав длинные юбки, какие носили в те времена. Она проявляла в жизни простонародное, крестьянское милосердие, которое я нахожу весьма почтенным.

Всю неделю папа садился за стол вместе с нами. У него был озабоченный вид, но он старался владеть собой и даже улыбался. Однажды он внезапно вскочил из-за стола и заперся у себя в кабинете. Когда он возвратился, я заметил происшедшую в нем перемену: его подбородок стал как будто короче, рот слегка ввалился. Он с трудом ел и не отвечал на наши вопросы. Когда

наконец он проронил несколько слов, я прямо ужаснулся. Я не узнал его голоса: то был голос старика, шепелявый и невнятный. Мне вдруг почудилось, что мир вокруг меня рушится. Вот-вот разразится катастрофа. Я был не в силах проглотить ни куска.

Когда мы встали из-за стола, Жозеф отозвал меня в сторону:

— Вы удивляетесь, что он так чудно говорит. Но я-то знаю, в чем тут дело. У него сломалась вставная челюсть, понимаете? Искусственные зубы.

— Не может этого быть! — воскликнул я со слезами на глазах. — У папы нет вставных зубов!

Жозеф пожал плечами.

— Если бы ты не дрыхал, а был внимателен, то увидел бы, что папа каждый вечер моет вставную челюсть в тазике, чистит ее щеточкой, что стоит всегда в стакане.

Я не ответил ни слова. Я был в отчаянье. Отец казался мне всегда таким красивым, таким молодым! И вдруг я увидел перед собой старика, каким он станет в свое время и каким не хочет нам еще казаться.

Два дня отец был таким жалким стариком. На третий день, возвратившись домой, он стал говорить, как прежде, улыбаясь в свои длинные усы. Но я уже утратил доверие.

На следующий день вернулась и мама, одна, со свертком белья под мышкой. Она перенесла небольшую операцию, о которой нам почти ничего не сказали. Меня испугала ее бледность; переступив порог, она чуть не упала в обморок.

— Люси, — сказал отец, — сделай мне удовольствие и поменьше работай. Мы все будем тебе понемножку помогать. Что до ночного шитья, то с этим покончено. И думать об этом не смей.

Мама растерянно озиралась по сторонам.

— Можешь себе представить, — продолжал папа, — все эти дни я старался найти разумное решение. Я обдумываю один проект. Мы потолкуем о нем, когда ты отдохнешь. Еще можно подождать с неделю.

Мне помнится, что именно в те дни моего гордого, выскомерного отца искушал «злой гений» Васселен. Когда его выгнали отовсюду, Васселен принялся играть на скачках, но уж не от случая к случаю, а планомерно, с упорством, вовсе не свойственным этому человеку,

«вольному и непостоянному». Чуть ли не каждый день он ездил за город, составлял списки, записывал имена, проделывал невероятно сложные вычисления, изучал специальные труды, ревностно следовал научным методам, менявшимися каждую неделю. Словом, трудился в поте лица, как никогда прежде на постоянной работе. Он готов был пойти на мученичество во славу тотализатора, с чисто апостольским рвением раздражался пламенными речами, обращая неверных. Остановливая много отца на лестнице, он пытался его соблазнить.

— Знаю, знаю, что вы сразу разбогатеете, когда получите наследство, — бубнил он. — Но пока, дорогой мой друг. Подумайте, а пока? Тут нет и речи о случайной удаче, я знаю, что это вам не по вкусу. Напротив, тут точный математический расчет. Вы ставите сто су, какие-то несчастные сто су, и выигрываете в десять — двенадцать раз больше ставки. В неудачные дни — в шесть-семь раз. А ведь можно поставить куда больше ста су.

Папа улыбался, качал головой и никак не поддавался искушению. Ни разу не поддался. Он любил риск, но ему претили азартные игры. Я никогда не видел, чтобы отец играл в карты или купил лотерейный билет. Его мечты уносились в иные сферы. Как и все люди, даже легче других, он мог поддаться обману, и это случалось с ним неоднократно; но ему требовалась хотя бы видимость разумных доводов. Он еще недалеко ушел от крестьян, которые готовы застраховаться от всяких случайностей, связанных с погодой, урожаем и стихиями. Будь у него деньги, он, я полагаю, вложил бы их в выигрышные акции, о чем не раз нам толковал: можно получить сказочное богатство, оставаясь спокойным, что основной капитал неприкосновенен. Со времени маминной болезни его главной задачей стало получить ссуду. О, не какую-нибудь там маленькую ссуду!

— Что-нибудь весьма солидное, — говорил он, — что позволило бы нам вздохнуть свободно.

Несколько дней сряду он скитался в отвратительном мире ростовщиков. Возвращаясь вечером, он изливал душу:

— Это чудовишно, Люси! Госпожа Делаэ была гениальной в своем роде. Она приняла все предосторожности, какие возможно. Обдумала все, до мелочей. Представь себе, эти бумаги, пресловутые процентные бумаги, формально принадлежащие нашим детям, бумаги, кото-

рыми ты владеешь, — их можно было бы продать только после твоей смерти...

— А х, — вздохнула мама, — если бы я умерла в больнице, вы продали бы эти бумаги, и у вас были бы деньги.

— Не говори глупостей, Люси. Мы все равно не могли бы их продать. Ты не прочла как следует эти бумажки. Я тоже невнимательно их читал. Но деловые люди, они-то во всем разбираются. Действительно, эти процентные бумаги можно продать после твоей смерти. Однако при условии, что дети будут совершеннолетними. При условии, что каждый из детей, имеющий по завещанию право на двенадцать тысяч пятьсот франков, достигнет совершеннолетия. Терпение! Я еще не кончил. Остается вопрос о займе. Вообще говоря, всегда возможно занять кое-какую сумму под залог ценных бумаг. Так вот, когда имеешь дело с твоими хвалеными бумагами, то даже для займа необходимо, чтобы их формальный владелец достиг совершеннолетия; это значит, что нашему старшему, Жозефу, остается ждать еще пять с чем-то лет. Согласись же, что это восхитительно, и я ничуть не преувеличиваю, называя госпожу Делаэ в своем роде гениальной. Ну и порода! Ну и сквалыги!

Мама тяжело вздыхала, розовая от смущения, а папа снова отправлялся на поиски. Однажды он возвратился такой измученный, такой удрученный, что мама не удержалась от вопросов:

— Что с тобой, Раймон?

— То же, что и все эти дни. Я искал. И ничего не нашел.

— Кого же ты видел сегодня?

— Никого, кто бы мог тебя интересовать.

Папа был в дурном настроении и не захотел сказать правду. После минутного размышления мама спросила ласковым голосом:

— Ты, случайно, не повстречал госпожу Трусеро?

Тут папе пришлось сознаться, как ребенку, застигнутому врасплох:

— Да, я видел сестру Анну.

— Ты с ней не говорил о займе?

— Как же, говорил. К кому же мне еще обращаться? Я никого не знаю, решительно никого. Ведь она моя сестра; это же вполне естественно. Похоронив последнего мужа, она живет вполне обеспеченно.

— Ах, Рам! Не надо было этого делать! Лучше уж умереть с голода, Раймон! И нам, и даже детям, да, даже детям! Просить у госпожи Трусеро! Какой стыд! Какой позор!

Мама рыдала без слез, охваченная гневом и отчаянием.

— Что она тебе ответила? Можешь не говорить. Я и так догадываюсь. Разве после этого я смогу взглянуть ей в глаза?

Задыхаясь от горечи и негодования, отец не проронил ни слова.

Прошло пять-шесть дней, и, по всей видимости, папа уже готов был отступить, но как-то вечером мама сказала:

— Слушай, Раймон, я нашла.

— Что ты там нашла?

— Человека, который даст нам взаймы.

Папа сделал неопределенный жест.

— Нам дадут каких-нибудь десять луи. Знаю наперед.

— Н е т , — возразила м а м а . — Я нашла заимодавца. И мы получим десять тысяч франков.

— Кто же это? — спросил отец с недоверием в голосе.

— Наш сосед, господин Куртуа.

Папа покачал головой.

— Ты бредишь, бедняжка Люси. Это такие скупердяи. Десять тысяч франков! Целое состояние. Ты еще не раскусила господ Куртуа.

— Прошу прощения, — возразила мама с чрезвычайным спокойствием. — Это не пустая болтовня. Целых два дня мы толковали с ними об этом. Можно сказать, дело решенное. Недостает только одной бумаги; я завтра же сама поеду за ней в Гавр, к нотариусу, и он, конечно, мне не откажет: это выписка из завещания относительно денег из Лимы. Копия! Я вернусь с этой бумагой в руках и даю тебе слово, что не пройдет и недели, как мы получим деньги.

— Это было бы уж слишком хорошо, — проговорил па п а . — А ну-ка растолкуй мне все, с самого начала.

И папе все стало известно: предварительные разговоры, чрезвычайная недоверчивость, проявленная Куртуа, бесконечные вопросы, задаваемые его супругой, младшим братом, сестрами-феями, всей семьей, наконец, условия, проценты, требование своевременного возвращения

долга. О, как искусно она вела дело, с виду такая простушка!

— Знаешь, Люси, — сказал папа, — из тебя вышла бы замечательная деловая женщина!

Все произошло именно так, как было предусмотрено и подготовлено мамой. В то время я был еще очень юн, но не лишен наблюдательности. Впоследствии в моем окружении об этом событии говорилось целых тридцать лет, и мои воспоминания столько раз освежались, можно сказать, обновлялись, что сердце начинает у меня кропотливо, едва подумая об этом.

Мама совершила поездку в Гавр. Для этого срочно понадобились деньги, и пришлось еще кое-что заложить, на этот раз был нанесен ущерб библиотеке. Разумеется, я имею в виду книжный шкаф. Что до книг, то мы скорее пошли бы на смерть, чем согласились бы с ними расстаться. Их нагромодили стопками в углу; наверху возлежал словарь Литтре, ему следовало быть под рукой, так как его то и дело открывали, как иные открывают Библию.

Эта маленькая поездка заняла два дня, и все это время мы жили, затаив дыхание. Но вот мама вернулась, лицо у нее было радостное, и она сразу же нас успокоила:

— Бумага у меня. Выписка, копия. В таких случаях не отказывают. Если бы мы послали письменный запрос, нам пришлось бы ждать не меньше трех месяцев. Мы же знаем, как это ведется у господ нотариусов. Но я была там! Я сама была там! Я уселась в углу конторы и заявила, что буду ждать. Когда они поняли, что я ни за что не уйду, то велели снять копию. В то же утро были наложены печати, засвидетельствованы подписи и еще что-то. С меня содрали за это шестнадцать франков шестьдесят сантимов! За одну бумажонку!

— Так, значит, Люси, ты его видела?

— Нотариуса? Гаврского нотариуса?

— О ком же я еще могу спрашивать?

— Разумеется, видела. О! Человек как человек, самый заурядный. У меня создалось впечатление при первой встрече, что это здоровяк, сангвиник, с бычьей шеей. Можно же так ошибаться! Он оказался довольно-таки тощим и бледным. Я вдруг подумала, уж не болен ли он? Потом в поезде мне снова пришло это на ум, и я сказала себе, что будет прямо ужасно, если он, не дай бог, умрет. То есть именно для нас.

— Да, да. Что же он тебе сказал?

Мама пожимала плечами.

— Ты же знаешь, что такие господа мало что говорят. Кажется даже, они не слишком хорошо себе представляют, о каком деле идет речь. У них ведь такая куча дел! Он сказал мне, что наше дело продвигается неплохо, только французский консул...

— Французский консул! Что за консул? Не хватало еще, чтобы консул вмешивался в наши дела!

— Это неизбежно, Раймон! Французский консул в Лиме. Так вот, за два года они три раза сменялись, и всякий раз, естественно, приходилось начинать все сначала. Оказывается даже, что расходы незаметно возрастают, все возрастают мало-помалу.

— Какие такие расходы?

— Расходы, связанные с расследованием.

— Да, да, — проговорил задумчиво папа. — Все-таки бумага у тебя. В данный момент это главное.

Весь вечер они обсуждали со всеми подробностями заем у Куртуа. Номинально заем выражался в сумме десять тысяч франков. Мы брали на себя гербовые сборы, весьма незначительные, и должны были покрыть убытки от продажи акций при понижении курса. Другими словами, господа Куртуа продавали ценные бумаги на десять тысяч франков. В результате этой продажи, учитываемая понижение курса и комиссионные издержки, мы получили по курсу дня девять тысяч шестьсот пятьдесят франков, но давали расписку на десять тысяч.

Папа возмущался:

— Это чудовищно!

Но мама возражала:

— Нет! Это логично. Они продают ради нас, исключительно ради нас. Значит, мы и должны нести убытки.

Сперва дал согласие на ссуду господин Куртуа-старший, затем Куртуа-младший, действовавший от его имени и от имени своих сестер. За ссуду с нас брали восемь процентов.

— Наш капитал приносит нам пять процентов, — говорил господин Куртуа, — учитывая, что мы идем на риск, мы берем с вас восемь, и это отнюдь не ростовщический процент.

Было оговорено, что при получении наследства господам Куртуа будет немедленно выплачена вся сумма: таким образом обеспечивались интересы кредиторов, и

они должны были получить, кроме своих десяти тысяч франков, еще особую компенсацию в размере пятисот франков, принимая во внимание риск, связанный, с новым помещением капитала. Наконец было предусмотрено, что если наследство, а именно деньги, завещанные сестрам в Лиме, не будет получено в течение установленного срока, то мы выплатим, по крайней мере, две трети ссуды, когда Жозеф достигнет совершеннолетия, посредством нового займа, под залог принадлежащих ему ценных бумаг.

Отец скрежетал зубами. Мама пыталась его успокоить:

— Все это тебя удивляет, Раймон, потому что у тебя никогда не было денег. А вот в семье дяди Проспера, довольно-таки состоятельной, целыми днями только и говорилось что о повышении стоимости, о понижении курса, о стольких-то процентах, о гарантии, о судебномзыскании и все в том же духе. Такова жизнь.

Официальная церемония состоялась у нас в «рабочем кабинете» по истечении недели — срока, необходимого для выполнения всех формальностей. Сперва появились г-н Куртуа с супругой, — я хочу сказать, Куртуа-старший. Он явно нервничал и то и дело выпячивал губы, издавая какое-то хрюканье, отчего забавно взъерошивались его крашенные, траурно-черные усы. Он уселся на табурет перед фортепьяно, положив руки на колени. То был табурет, вертящийся на винте. Г-н Куртуа временами поворачивался то направо, то налево, и винт пронзительно скрежетал.

Через несколько минут вошли и феи в сопровождении Куртуа-младшего. Исходившие от них запахи старого сафьяна, пачули, испанской кожи и нюхательного табака миглом возобладали над запахами нашего клана. Мы, ребяташки, сгрудились за дверью, и нам казалось, что нас завоевали и обратили в рабство.

Мама принялась читать ясным, естественным, спокойным голосом текст, уже сто раз пережеванный за истекшую неделю и в заключение переписанный на листах гербовой бумаги. По временам г-н Куртуа поднимал указательный палец и произносил:

— Что вы сказали? Не угодно ли вам перечесть последний параграф? Честное слово, я начинаю глохнуть.

Госпожа Куртуа наклонялась к папиному уху и шептала:

— Не решаюсь ему сказать, но он в самом деле становится туговат на ухо.

Порой г-н Куртуа поднимал руку, останавливая маму. Он поворачивался то направо, то налево на табурете, хмуря мохнатые крашенные брови, и изрекал:

— Я же слышу, как скрипит винт. Значит, я не оглох. Просто госпожа Паскье чересчур тихо читает. — И мама повышала голос.

Вторично текст договора был прочитан Куртуа-младшим. При каждой фразе феи покачивали в такт головой, как это делают любители поэзии, внимая чтению стихов.

После того как текст был дважды оглашен, мама подписалась первая: «Люси-Элеонора Делаэ, в замужестве Паскье». По своему смирению она написала «Делаэ» малюсенькими буквами, а «Паскье» в три раза крупнее. Папа подписался последним. На губах у него блуждала улыбка, и он смотрел куда-то вдаль.

Тут оба Куртуа принялись шарить во внутреннем кармане пиджака с какой-то опаской, как будто боялись прикоснуться к ядовитому насекомому или к взрывчатому веществу. Для пущей надежности они разделили сумму пополам. Г-н Куртуа-старший отсчитал пять билетов по тысяче франков и произнес:

— Теперь очередь за тобой.

Куртуа-младший отсчитал четыре тысячи шестьсот пятьдесят франков. Они положили банковые билеты на середину стола, прикрыли их рукой и минуту-другую пребывали в такой позе. Затем они сказали:

— Пересчитайте сами.

Наша мать пересчитала купюры и передала их папе. Куртуа проверили подписи на гербовой бумаге и только тогда сложили ее и спрятали в карман.

Еще не менее получаса компания пыталась вести мирную беседу, как по субботам во время игры в банк. Но дело как-то не клеилось. Все испытывали невыразимое волнение, от которого перехватывало горло. Лысый череп г-на Куртуа, обычно блиставший белизной, был весь испещрен красными пятнами.

Господа Куртуа никак не могли уйти. Они всматривались в наши вещи, в нашу обстановку, в наши лица каким-то новым ужасным взглядом, сопровождавшимся усмешкой; этот взгляд говорил о том, что они возымели на нас права.

Наконец они убрались. Папа спрятал банкноты в ящик стола, который запирался на ключ. Довольно долго он искал, куда бы спрятать этот ключик. Не найдя такого места, он решил оставить ключ в замке. Все мы по очереди ходили проверять, надежно ли задвинута на засов наружная дверь. Были заперты все окна, выходящие на балкон, даже закрыты жалюзи. И я могу сказать, что в эту ночь никто из нас не сомкнул глаз, даже малютка Сесиль.

Глава XVII

*Затруднения от избытка. Газовое нака-
ливание. Диалог о капитале и о богат-
стве. Государственная казна Франции
под угрозой. Недомогание, вызванное
наступившей жарой. Ночь тревожного
ожидания*

Маме захотелось первым делом приобрести всем нам одежду и белье. Затем было решено отложить известную сумму на текущие хозяйственные расходы, выкупить почти все вещи из ломбарда и постараться надежно поместить остаток суммы, что-то около семи тысяч франков. Мама робко заговорила о сберегательной кассе. На губах у папы появилась презрительная усмешка.

— Что это ты вздумала, Люси! Сберегательная касса принимает только незначительные суммы, каких-нибудь полторы тысячи франков. Нам пришлось бы завести несколько книжек на разных лиц, в частности, для тебя потребовалось бы разрешение от мужа и бесконечные формальности. Вдобавок там выплачивают смехотворные, прямо-таки ничтожные проценты.

— Да, но мы сможем в любое время брать оттуда деньги, понемножку, без всякого труда.

— Дай мне подумать, Люси.

— Умоляю тебя, будь благоразумен.

Папа ничего не ответил. Получив деньги, он твердо решил распоряжаться ими по-своему. Бывало, в дни нужды он взывал к жене: «Люси! Люси!», но как только дела поправились, он вновь почувствовал себя хозяином, диктатором.

Не говоря нам ни слова, он предпринял всякого рода шаги и однажды вечером внезапно сообщил нам добрую весть. Как всегда, это произошло во время ужина, и мы, дети, принимали участие в обсуждении, причем позволялось говорить не только Жозефу, но даже и малютке Сесиль.

— Дело сделано, Люси! — заявил папа. — Я нашел, куда поместить деньги.

Мама тотчас же насторожилась.

— Объясни мне, что ты задумал.

— Помнишь, Люси, что мы обязались выплачивать нашим кредиторам восемь процентов.

— Еще бы не помнить!

— Восемь процентов. Хорошо. Пусть себе Куртуа трубит направо и налево, что это не ростовщический процент. Во всяком случае, для нас это страшно тяжело, и, между нами говоря, такой поступок едва ли можно назвать порядочным. Но не стоит об этом говорить. Если наши деньги будут приносить три-четыре процента, то мы не получим и половины суммы, какая нужна на выплату процентов, тем более что с нас берут проценты с десяти тысяч, а мы сможем поместить всего лишь семь тысяч. Поэтому я стал разыскивать какое-нибудь исключительное предприятие, которое приносило бы такую прибыль, чтобы ее хватило на выплату процентов Куртуа. Ну, что же! Я нашел, Люси. Мы будем получать двенадцать процентов.

Мама зажмурилась.

— Мой дядя Проспер говорил, что деньги не могут приносить больше десяти процентов; он считал, что не следует гнаться за более высокими процентами, это рискованно.

— Твой дядя Проспер, быть может, был и оборотистым коммерсантом, но это был человек другой эпохи, человек с ограниченным кругозором. Ты же понимаешь, Люси, это не в прямом смысле двенадцать процентов. Чтобы получить двенадцать, надо к процентам прибавить дивидент. С одной стороны, семь, с другой — пять, по крайней мере, на этот год, потому что если мы оставим там деньги, то через некоторое время получим гораздо больше.

— погоди, Раймон. Тебе дают сумму, за которую с тебя берут восемь процентов. И ты говоришь, что это ростовщический процент. Да, да, Рам, ты в этом убеж-

ден, хотя сейчас это отрицаешь. И в глубине души я, пожалуй, с тобой согласна. Так вот, теперь ты, в свою очередь, даешь займы деньги, полученные тобою в долг.

— Как так? Я и не думаю давать займы — я помещаю деньги.

— Это одно и то же. Помещение денег — та же ссуда. Ты только что не без оснований жаловался, что приходится платить восемь, а сам готов взять двенадцать. Ничего не понимаю, Раймон.

— Пойми же наконец, что я помещаю свои деньги, или, если угодно, даю их займы, людям, которые пускают их в оборот. В оборот! Видишь, Люси, что это значит?

— О да! Вижу. Понимаю. Что же это за предприятие?

— Удивительное предприятие, о котором Маркович толкует мне уже второй год. Название тебе ничего не скажет. Это промышленное предприятие. Вот посмотри их объявление.

Отец протянул ей листок, на котором стояло: «Инканда-Финска. Общество для использования патентованного изобретения Финска. Освещение посредством газового накаливания».

Мама читала, наморщив лоб.

— Вот как? Что же все это означает?

— Повторяю тебе, Люси: исключительно выгодное предприятие. Акционерная компания.

— У моего дяди Проспера Делаэ, — проговорила мама с озадаченным видом, — я не раз слышала о потрясающих предприятиях, которые существуют только на бумаге. Газовое накаливание! Скажите пожалуйста!

Папа начал выстукивать какой-то мотив на столе, выдавая свое раздражение.

— Накаливание! Да, Люси! Уверю тебя, в этом можно убедиться воочию, тут нет никакой иллюзии. Я побывал в их конторах, и они, понятное дело, освещаются этим способом. Ослепительный свет!

— В конце концов, — вздохнула мама, — это дело надо обдумать.

— Да здесь все ясно, Люси.

— Прежде чем принять решение, давай, Рам, поразмыслим несколько дней.

— Уже все обдумано, Люси. Нельзя было терять времени. Сегодня я приобрел акции по шестьсот девяносто. Завтра они уже будут стоить семьсот пятьдесят. Словом, я отдал распоряжение. Я даже уплатил деньги.

У мамы начал дрожать подбородок.

— Надо было бы еще немного подождать.

— Но я же тебе говорю, что все решено, дело сделано. Теперь мы вполне обеспечены.

— А если нам понадобятся деньги на хозяйство, на твои майские экзамены или еще на что-нибудь?

— Ну, что ж, мы продадим акцию или даже две. Нужно только предупредить об этом за двое суток.

Мама ничего не ответила.

Она стала заметно худеть, побледнела, потеряла покой. Нередко она говорила сама с собой, то ли ночью, сидя за шитьем, то ли на кухне, занятая стряпней. Я слышал, как она бормотала:

— Эти деньги нам не принадлежат! Господи! Так невозможно жить.

Между тем дела шли прекрасно. Возвращаясь вечером, папа восклицал с торжеством:

— Знаешь, сколько я получил вчера за день? О, я не говорю о Клейсе, — там сущие пустяки. Нет, я имею в виду Инканду, я говорю об акциях. Знаешь, сколько я выиграл?

— Откуда же мне знать!

— Сто пятьдесят франков, Люси. Такую сумму я получаю от Клейса, проработав двенадцать ночей. Согласись, что деньги — это хитрая штука! И надо быть простаком, чтобы выколачивать горбом какие-то десять — двенадцать франков за ночь.

— Откуда у тебя получаются эти сто пятьдесят франков?

— Пятнадцать помножить на десять, проще простого. Если так будет продолжаться, то я не прочь купить тебе что-нибудь. Что бы тебе хотелось, Люси?

Мама качала головой.

— Я знаю, что есть люди и даже немало людей, которые таким образом наживают деньги. Позволь мне сказать тебе, Раймон, что я никак не возьму этого в толк. Выходит, что кто-то зарабатывает их вместо нас...

— Нет, деньги пущены в оборот.

— Поразмысли немного, Раймон. Ведь это люди делают обороты. Деньги-то ничего не делают. И если никто не зарабатывает их вместо нас, то, может быть...

— Что?

— Может быть, и не существует такого человека.

— Что же, по-твоему, я должен его разыскать?

— Ну да, Рам! Постарайся разыскать. Какое это будет для меня облегчение!

— Люси! Бедняжка Люси! Ты вылитая Делаэ! Ты совсем не разбираешься в современном мире.

Прошло несколько недель, и мама попросила денег.

— Надо бы подождать еще восемь или десять дней, — отвечал папа.

— Но деньги подходят к концу. Я не могу так долго ждать.

— Придется подождать, — отрезал папа. — В настоящий момент Инканда производит обновление своего инвентаря. Акции несколько понизились. Мы были об этом предупреждены. Это вполне естественное явление.

Мама смертельно побледнела.

— Раймон! Сейчас же продавай акции! Все до одной!

— Ты с ума сошла! Потерять больше тысячи франков!

— Немедленно, Раймон! Я готова умолять тебя на коленях!

Папа схватил шляпу, два-три раза стремительно прошелся по комнате и направился к двери.

— Что за нелепая сцена! Прямо-таки неприличная! Не воображай, что я поддамся страху и ликвидирую свои акции! Я уйду, пойду куда-нибудь в другое место, где, по крайней мере, мне дадут спокойно работать!

Прошло пять дней. В четверг утром — мне никогда не забыть этого дня! — г-жа Васселен, которой понадобился Дезире, вошла в комнату, где мы с ним играли. В руке у нее была какая-то газета, ее обычная духовная пища. Она хрипло проговорила мелодраматическим тоном:

— Читали? Катастрофа! О! Сегодня во многих домах будет плач и скрежет зубовой!

Мама обычно пропускала мимо ушей иеремиады Васселенов, но тут она насторожилась. На беду, она обладала даром предчувствий.

— Вы сказали, катастрофа? Железнодорожная катастрофа?

— Да нет. Посмотрите сами. Ах! Что за мерзавцы!

Мама взяла газету, пробежала ее глазами, пошатнулась и вдруг рухнула навзничь на пол.

Она потеряла сознание. Пришлось расстегнуть ей корсаж, впрыснуть лицо холодной водой, похлопать по рукам. Я чуть не умер от ужаса, но все же любопытство взяло верх, и я заглянул в газету. Там было набрано крупным шрифтом:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА ФРАНЦИИ ПОД УГРОЗОЙ.
СКАНДАЛ С ИНКАНДА-ФИНСКА. АРЕСТ АДМИНИСТРАТО-
РОВ. СКОМПРОМЕТИРОВАНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ.
ТОЛПА НЕГОДУЮЩИХ ГРАЖДАН ПЕРЕД КОНТОРОЙ ОБЩЕ-
СТВА и т. д. и т. п.

Госпожа Васселен положила к себе на колени мамину голову. Она приговаривала с мрачным видом:

— Вот как вы расстроены! Бедняжка, мне вас жалко. И все из-за денег, бог ты мой! Из-за них все беды! Позвольте мне вам сказать: уж я-то знаю, что такое жизнь, смею вас уверить. Да! Люди ни из-за чего так не убиваются, как из-за денег. Это корень зла.

Мама пришла в себя и уселась на стул.

— Я полагаю, — полюбопытствовала г-жа Васселен, — вы тоже потеряли какую-то сумму при этом банкротстве?

— Да нет, — возразила мама. — Мы ничего не потеряли, сударыня. Я и не слыхала об этом. Это просто от жары. Ведь май на дворе.

Мы всё поняли. Я хочу сказать, мы с Фердинаном. Мы оба онемели от ужаса, а быть может, и от восхищения.

В этот день, до самого вечера, мама пролежала, запершись в одной из комнат, чего с ней до сих пор никогда не бывало. Два-три раза, когда нам становилось невмоготу, мы стучали в дверь. Мама отвечала:

— Если вам ничего особенного не нужно, оставьте меня, ребятишки. Оставьте меня, мне нездоровится.

В этот вечер, к нашему ужасу, папа не вернулся домой ночевать, — случай небывалый. Мама провела всю ночь, сидя на стуле перед открытым окном, то и дело она

вскакивала, выходила на балкон и прислушивалась к уличному шуму.

Папа возвратился лишь на следующее утро. Растрепанный, небритый, в нечищенной одежде. Вид у него был грозный и зловещий. Мама подала ему кофе, не проронив ни слова.

Глава XVIII

Бедственное лето. Соображения относительно пищи и детского аппетита. Утешение. Новые таинства музыки и школьные успехи. Некуртуазность Куртуа. Муки, причиненные табуретом. Вариации слабоумия

Это несчастье, так потрясшее всех нас, послужило началом событиям поистине рокового лета, лета девяносто первого года. Зимние, сумрачные дни, отбрасывающие траурные тени на лица людей, становятся как бы естественным фоном горестных переживаний. Но когда я чувствую себя несчастным, мне ненавистно коварное лето с его влажной духотой, с его грозами, с его отравляющим душу очарованием, и так мучительно бывает несоответствие между ясной погодой и мрачным настроением.

Наша столовая снова превратилась в мастерскую портнихи. Каждые два дня мама отлучалась и приносила объемистый тюк раскроенной материи; ей приходилось сшивать отдельные куски, класть на подкладку, обметывать петли и пришивать пуговицы.

Чтобы не перепутать разложенные на столе выкройки, мы стали обедать в крохотной кухоньке; она была дорога моему сердцу, хоть я и не признавался в этом: царившая там темнота гармонировала с сумрачной окраской наших мыслей.

Мне совсем недавно исполнилось десять лет. Я был худенький и, пожалуй, тщедушный. Я почти ничего не ел, быть может, испытывая отвращение ко всему на свете, но, возможно, меня лишали аппетита расчеты, каким не чужды бывают даже дети: при каждом глотке я неволь-

но думал, во что он нам обошелся. В иные дни кровь ударяла мне в лицо, рот наполнялся слюной, и я скрежетал зубами, как молодой зверек. Я был голоден, несмотря ни на что, мне хотелось есть и жить. В то время мне открылся смысл и значение простой пищи, такой, как хлеб, сыр, сахар. Я и теперь чуть ли не каждый день об этом размышляю. Но вот я снова впал в оцепенение. Временами нам перепадало немного мяса. Что за пытка, что за досада! Кусок говядины распадается на жесткие волокна, и они застревают в горле, никак их не проглотить, и слезы застилают ясные глаза ребенка. К счастью, к великому счастью, в это лето мы почти совсем позабыли вкус мяса.

Повторяю, мне было всего десять лет с небольшим. Но мне уже было известно много такого в жизни, о чем иные люди нередко не имеют понятия даже на пороге смерти.

Не хочу быть несправедливым, не стану проявлять неблагодарности! Время от времени мы все же получали утешения. Случалось, вечером малютка Сесиль садилась за фортепьяно, и целый час, позабыв обо всех невзгодах, мы слушали игру нашего ангела, как некогда дикие звери внимали гласу фракийского певца Орфея.

В этот год я получил свидетельство о начальном образовании, окончив школу с блеском и в очень раннем возрасте. Папа только что успешно сдал экзамены. Он подхватывал меня на руки, сажал к себе на плечо и восклицал, сияя от радости:

— Вот два лауреата!

Он обладал даром легко забывать, даром, который, в зависимости от обстоятельств, бывает или серьезным недостатком, или немалым достоинством. Порой он ошеломлял маму такими суждениями:

— В сущности говоря, нам повезло, что дела в Гавре затянулись до настоящего времени. Если бы мы получили всю сумму, то не стали бы заниматься у Куртуа, и возможно, что я вложил бы в это предприятие Инканда тридцать пять или тридцать шесть тысяч франков. Это было такое замечательное предприятие! И мы потеряли бы все наши деньги.

Инканда уже больше не подавала никаких надежд. Но, удивительное дело, папа говорил о ней и с яростным негодованием, и с какой-то нежностью. Впоследствии он

всякий раз принимал к сердцу великие кораблекрушения — финансовый крах Терезы Юмбер, катастрофу с Рошеттом. На него оказывала гипнотическое воздействие гениальность этих авантюристов, что бы он о них ни говорил.

Нет, я не желаю быть неблагодарным! Мы плыли, подхваченные течением, нередко испытывая нужду и лишения, но постоянно носились с грандиозными замыслами, питали радужные надежды, и родители нежно нас любили. Всякий вечер я изощрялся, придумывая, как бы мне выразить им свою благодарность, и с болью в сердце помышлял о Дезире. Его отец, разъяренный бесконечными неудачами, провалами, оскорблениями и собственными оплошностями, вздумал искать облегчения, избивая своего младшего сына. О! Уже не в порыве раздражения, а систематически, два-три раза в неделю; он производил экзекуцию без посторонних свидетелей, при закрытых дверях, предварительно вытолкнув г-жу Васселен на площадку.

Дезире обычно проявлял мужество и старался молча переносить побои. Но порой он не мог удержаться от слез. Его рыдания доносились до нас. Папа вставал, заметно побледнев, усы у него грозно топорщились. Он принимался стучать в стенку или даже в дверь и кричал изменившимся голосом:

— Сейчас же перестаньте, сударь, а не то я пойду за полицией! Или проучу вас, сударь, своими руками!

На другой день Дезире говорил мне с улыбкой:

— Все это пустяки, Лоран. Скажи своему отцу, что это сущие пустяки. Папа просто пошутил. Уверяю тебя, он не сделал мне больно. Просто-напросто у него неприятности. Ему пришлось опять поступить на службу, и эта работа ему не по душе.

Больше всего мучений причиняли нам Куртуа. «Банк» стал неким священнодействием, принял принудительный характер. Мама бросала шитье и волей-неволей принимала участие, не избег этого и отец, который не мог терять ни одного вечера и приходил в отчаяние от таких сеансов. У Куртуа вошло в привычку то и дело врываться к нам; представители их племени появлялись под самыми пустыми предложениями — занести газету, проверить часы, взять взаймы коробку спичек или даже взглянуть перед прогулкой на наш ртутный барометр, о котором феи говорили: «Это ценный прибор». Если мы

сидели за столом, как всегда в кухне, г-жа Куртуа останавливалась на минуту, прислонившись к притолоке двери.

— Вот как! Вы кушаете вишни! — изрекала она. — А мы еще их не пробовали в этом году.

— Дело в том, — отвечала мама, — что мы не едим мяса.

Тут госпожа Куртуа поучала:

— Салат очень хорош летом, но он берет такую уйму масла. Надо уметь себя ограничивать, времена-то трудные...

После ее ухода мама шептала, задыхаясь:

— Будь у нас деньги, я их немедленно бы им вернула.

Под конец мы стали все, что только возможно, прятать от наших любопытных кредиторов. Поутру, возвращаясь домой с убогим провиантом, мама старалась незаметно проскользнуть мимо дверей Куртуа. У нее вырывалось со стоном:

— Бедняжки вы мои, одежда на вас вся износилась, — вот и хорошо. Если бы вы получили новую, я даже не решилась бы вас переодеть из боязни услышать обидное замечание.

По правде сказать, я полагаю, что наше больное воображение выискивало, находило и изобретало по всякому поводу или даже без всякого повода всевозможные причины для страданий. Так обстояло дело, когда нас постигло настоящее бедствие.

Господин Куртуа явно терял слух. Его близкие давно это заметили. Мы тоже знали об этом. Случалось, он приходил к нам в дом, я хочу сказать, в нашу квартиру, даже не постучавшись в дверь. Его сопровождала жена, и, входя, они всякий раз продолжали все тот же спор.

— Разрешите мне, — говорил он, — сесть на табурет. — Речь шла о вертящемся табурете у фортепьяно, резкий скрип которого старик еще улавливал при всей своей глухоте. Г-н Куртуа поворачивался на табурете, тот скрипел, и старик кричал с торжеством, повернувшись к жене: — Я прекрасно слышу скрип табурета. А раз я слышу, как он скрипит, значит, я не глухой.

На что г-жа Куртуа отвечала:

— Друг мой, здесь никто и не говорит, что ты глухой.

Старик повертывался к нам спиной и уходил, радуясь, что удался его опыт.

Мы уже стали находить эту церемонию вполне естественной, когда дело приняло новый оборот.

Однажды вечером г-н Куртуа, по обыкновению, за-явился к нам, без церемоний отворив дверь в передней. Мы доедали ужин и, предчувствуя что-то необычное, тотчас же перешли в столовую, где в беспорядке были разбросаны куски материи, отрезы, катушки, клубки, булавки. За г-ном Куртуа шествовало все его племя: жена, брат и фен. Лица у них были вытянутые, руки дрожали, глаза испуганно бегали. Они с ужасом взирали на своего главу, господина и повелителя.

Господин Куртуа слегка нам кивнул и бросил лишь несколько слов:

— Я иду на табурет.

Он даже не извинился. После того как табурет поскрипел на разные лады, он вернулся в столовую и уселся на стул, уронив руки на колени, бледный как мертвец; на щетине его подбородка блестели капельки пота.

— Н е т , — произнес о н , — я вовсе не глухой. Если кто посмеет мне это сказать, ему не поздоровится.

Минута молчания. Потом г-н Куртуа выкрикнул с яростью в голосе:

— Если кто-нибудь заикнется о том, что я глухой, знаете, что я сделаю? Я потребую деньги обратно. Я потребую свои деньги. Что сделали с моими деньгами?

Госпожа Куртуа подошла к мужу. Она обратилась к нему ласково, как к больному ребенку:

— Тебе вернут твои деньги. Успокойся, голубчик мой! Не правда ли, сударь и сударыня, вы вернете ему деньги? Успокойся, мой родной, пойдя покрути табурет. Толь, не покрутишь ли ты ему табурет?

Куртуа-младший начал тихонько подталкивать брата, выпроваживая его в соседнюю комнату. Едва они удалились, как г-жа Куртуа и феи ударились в слезы.

— Какой ужас, мадам Паскье! Он помешался — и все из-за этой глухоты! Он вконец помешался. Что нам теперь делать?

— Надо пригласить в р а ч а , — посоветовал мой отец.

Госпожа Куртуа так и привскочила. Слезы смывали пудру с ее физиономии. Она была чудовищно безобразна.

— Врача! Об этом нечего и думать! Если вмешаются в дело врачи, они посадят его под замок. Я не хочу его им отдавать. Я хочу, чтобы он был со мной, буду сама за ним ухаживать.

— Сударыня, — сказала мама, проявляя необычайное присутствие духа, — я прекрасно вас понимаю. На вашем месте я поступила бы точно так же. Ты понимаешь меня, Рам, — о том, что ты предложил, не может быть и речи. Не надо приглашать врача. Разумеется, мы будем об этом молчать. Но если господин Куртуа примется снова требовать денег, пойдут разные толки, и всем станет ясно, что господин Куртуа болен.

Госпожа Куртуа перестала стонать. Она бросала на нас злобные, угрожающие взгляды. Маме удалось с безупречным тактом пригрозить ей. Г-жа Куртуа слегка припудрилась и повернулась к своим золовкам:

— Сделайте мне одолжение, вытрите глаза и улыбайтесь. Понятно? Чтобы он ничего не заметил. Ничего, госпожа Паскье, я его успокою насчет денег. О! Я знаю, как к нему подойти. Хоть он и помешанный, он все-таки мой муж. Уж я-то его изучила. Повторяю вам, я его успокою. Только никому ни звука об этом и будьте с ним поласковой. Вы слышите, дети?

Она обвела всех нас взглядом. Папа куда-то исчез. Мне думается, он пошел прогуляться по кварталу. Возвратился он только около полуночи. Г-жа Куртуа с приговорками, с ласковыми словами и всякими нежностями вводила своего помешанного, а он ухмылялся и кричал:

— Я слышу, как пролетает муха. Я слышу, как упадет булавка. У меня слух хоть куда!

Когда дверь за посетителями захлопнулась, мама упала на стул. Она ломала руки и восклицала:

— Это нестерпимо! Чем мы заслужили такое наказание?

Она еще воспринимала любое несчастье как небесную кару.

В последующие дни г-н Куртуа появлялся на краткое время, то один, то под охраной. Он направлялся к табурету и, поворачивая сиденье, все вновь и вновь вызывал скрип. И приговаривал с добродушным видом:

— Берегите мои деньги! Попробуйте сказать мне хоть слово поперек, и я потребую свои деньги обратно, уж такой я человек!

Порой он уже совсем заговаривался. Мы, дети, втихомолку стали над ним подшучивать, — в самом деле, все это было не только ужасно, но и смешно.

Иной раз в ужасе я спасался на балкон. Дезире приходил ко мне. Мы просиживали там часы за часами и делились своими невзгодами.

Как-то я спросил:

— Что же, ты по-прежнему хочешь стать священником? Мне было бы это по душе.

Дезире отвечал:

— Я уже тебе сказал, что нет. Кончено, больше не хочу.

Глава XIX

*Праздничный шум. Потрясение Жозефа. Катастрофа. Прискорбное вмешательство г-на Рюо. Юпитер Громовержец. Грозовой вечер. Молчание и скорбь. In tetoriam*¹

Дело было в середине июля, то ли накануне, то ли за два дня до национального праздника, не могу точно сказать. Знаю только, что почта работала, потому что вечером раздавали письма. Знаю, что коммерческие предприятия еще были открыты, поскольку Жозеф ушел на работу в семь часов утра. Помню также, что утром мы с Фердинаном и Сесилью были в школе. Знаю, наконец, что нам еще не приносили счета на оплату квартиры. Да, дело было именно в середине июля: к воспоминанию об ужасе, пережитом в этот вечер, примешиваются впечатления от рева труб и завывания валторн. Знойный грозовой сумрак пронизан огоньками фонариков. Пошлый ярмарочный гул навсегда отравил мои самые горестные воспоминания.

Жозеф вернулся к полудню. В доме еще царил покой; но смутный шум, доносившийся с улицы, доказывал, что у жителей нашего квартала уже ходили ходуном

¹ На память (лат.).

ноги и все готовились вальсировать на растрескавшемся асфальте.

Жозеф всегда приходил последним, так как место его работы находилось далеко. Когда он вошел, все мы сидели за столом. Он снял шляпу, вытер пот со лба и проговорил:

— Так вы еще ничего не знаете?

И в ответ на наше изумленное молчание:

— Господин Васселен в тюрьме.

К чести моих родителей должен сказать, что эта новость не вызвала у них восклицаний: «Так я и думал!» — или: «Тут нечему удивляться». Они были люди прямые и простодушные, еще достаточно близкие к простому народу, у которого слово «отверженный» означает и преступника и страдальца.

— Откуда ты это знаешь? — осведомился папа.

— Полицейские там внизу, в каморке привратницы. Дядюшка Тессон все мне сказал, потому что я хотел войти и посмотреть, нет ли писем. Господин Васселен сегодня утром, как всегда, пошел в свою контору этой новой фирмы «Малый Сен-Жермен». И его там же, в конторе, арестовали.

— Боже мой, что же он натворил?

Жозеф никогда не проявлял особой чувствительности. Все же он опустил голову и проговорил испуганным голосом:

— Он растратил две тысячи франков. Теперь говорят «растрата». Это то же самое, что кража. Но воровать, красть — как это ужасно!

Мама тяжело вздохнула:

— Садись, Жозеф. Все-таки съешь хоть кусочек.

И Жозеф отвечал:

— У меня пропал аппетит.

Мы окончили то, что можно было назвать завтраком, в полном молчании. Под конец мама предложила:

— Не пойти ли мне за Дезире? Он мог бы побыть у нас.

Папа покачал головой:

— Поздно. Вот они.

На площадке послышался топот ног. Потом звонок, слабый, отдаленный, затерявшийся как бы в мире ином. Затем голос г-жи Васселен. А вслед за ним отчаянный крик, вопль трагической актрисы, которой сообщили о смерти ее супруга не на сцене, а в реальной жизни.

Мы стояли у дверей и прислушивались.

— Р а м , — сказала м а м а , — Рам, если нужно будет успокоить эту бедную женщину, я пойду, как только они уберутся. Но тебе, Раймон, не надо вмешиваться. Иди лучше по своим делам.

Папа отвечал, что накануне праздника ему некуда идти, а на улице такой шум, что у него пропадает всякая охота гулять. Он взял книжку и уселся, обхватив голову руками. Хотя он был некурящий, он разыскал в коробке старую, пожелтевшую папиросу и принялся курить. Когда пробило три часа, вдруг обнаружили, что мы, малыши, не пошли второй раз в школу, а Жозеф позабыл о своей конторе. Мы находились в ожидании чего-то необычайного.

Около половины четвертого полицейские удалились. Топот их сапог наконец замер в тревожной тишине, воцарившейся в доме. Не знаю, чего могла опасаться мама, но у нее вырвался глубокий вздох.

— Дайте мне слово , — сказала о н а , — что никто из вас не тронется с места. Я пойду навестить бедную даму.

— М а м а , — произнесся сдавленным голосом , — мне хотелось бы поговорить с Дезире.

— Оставь Дезире в покое. Если я смогу его привести, он будет обедать с нами.

Мама вышла и заперла за собой дверь. Через каких-нибудь десять минут она возвратилась.

— Какая ужасная картина! — сказала о н а . — Они все там перевернули вверх дном, искали денег. Этого не передашь словами: белье разбросано по комнате, вся посуда на полу, подушку распороли, а пух так и летает на сквозняке. Они заглядывали даже в школьные учебники. Даже сняли со стен эстампы и с потолка в столовой висячую лампу. Спрашивается, зачем? Нечего и говорить, они ничего не нашли. Уж наверное, господин Васселен промотал на скачках эти несчастные две тысячи франков. Или куда же они делись? Боже мой!

— А госпожа Васселен?

— На нее больно смотреть. Она, конечно, ничего не знала. С ней обращались как с воровкой. Старших детей там не было. Сын — отпетый негодяй. Дочь такого же поля ягода. Это погибшая семья.

— А Дезире? — спросил я вполголоса.

— Дезире плачет, забился за кровать. Мы с матерью никак не могли вытащить его оттуда. Бедняжка Дезире!

Все это очень печально, дети мои. Постарайтесь как-нибудь убить время. Будьте умниками. Я помогу этой даме привести квартиру в порядок. Ведь надо же уложить на место белье и расставить посуду. Что ты сейчас делаешь, Раймон?

— Я? Ничего. Ты же видишь, я занимаюсь.

Мама вернулась к Васселенам и пробыла у них целых два часа. Время от времени папа вставал и выходил подышать на балкон. Вид у него был раздраженный. Он не говорил ни слова. Он подергивал усы и смотрел на небо, а оно было пасмурное, хмурое и предвещало грозу.

Был уже седьмой час, и день уже начал угасать, когда кто-то позвонил у дверей Васселенов. Мы наострили уши и задержали дыхание. Мы услышали густой тягучий бас:

— Я хочу видеть госпожу Васселен.

— Сударь, — ответила мама, — не угодно ли вам подождать? Госпожу Васселен только что постиг тяжелый удар.

— Знаю и именно потому хочу немедленно ее видеть. Я полагаю, сударыня, вы должны меня знать. Я Рюо, домовладелец, я ваш хозяин.

Папа вскочил. Он подошел на цыпочках к двери и молча остановился.

— Надеюсь, вы понимаете, сударыня, — продолжал посетитель, — что я больше не желаю видеть полицейских в принадлежащем мне доме. Господин Васселен в тюрьме, и в этом нет ничего удивительного. Но госпожа Васселен здесь. С ней-то я и намерен поговорить. Вы можете передать ей, сударыня, что я отказываю ей от квартиры. Она должна съехать не в будущем году, а теперь, сейчас же! Я не потерплю воров в своем доме!

Старик повысил голос. Мы услышали жалобный стон, — это означало, что наконец появилась г-жа Васселен.

— Не потерплю воров в своем доме!

Тут мой отец тихонько приоткрыл дверь. Признаюсь, в эту минуту он показался мне страсть каким красивым и гордым. Он всегда был худощав, но в этот период времени почти не уступал в худобе знаменитому рыцарю Ламанчскому. Его длинные усы шевелились, совсем как живые. У него были красивые руки, белые, гладкие, нервные, и он ими прекрасно жестикулировал. Он ти-

хонько приоткрыл дверь, потом распахнул ее настежь. Мы все сбились в кучу за его спиной, изумленные, зачарованные; у нас было чувство, что вот сейчас он сбросит тяжесть, сдавившую нам грудь.

— Сударь, — твердо сказал папа, — вы домовладелец. А я — Паскье, Эжен-Этьен-Раймон Паскье.

Хозяин повернулся к нему. Он был коренастый, с серой щетиной волос. У него была борода с проседью, руки как клешни и брюшко, выступающее бугром. Вдобавок он был совершенно лыс, и я сразу же почувствовал, что это еще больше усугубит его вину.

— Ах, вы господин Паскье? Ну, что же? Что из этого следует?

— Из этого следует, сударь, — бросил папа, — что я прошу вас немедленно удалиться и больше не нарушать покой этого дома.

Старик покраснел, потом побагровел, затем почернел, и с минуту казалось, что у него хлынет кровь из носа, пойдет пена изо рта и он лопнет со злости.

— Покой этого дома? Вы говорите о моем доме! Это мой дом, сударь, мой дом!

Папа усмехнулся, его спокойствие становилось грозным, и все мы поняли, что на него накатила безудержный гнев, гнев с большой буквы, какому человек предается всего раза два-три в жизни.

— Возможно, — проговорил он, — что этот дом принадлежит вам. Но это мы в нем живем, и мы имеем право на покой, да мы и платим за покой. Сударь, эту семью постигло несчастье, — и как раз в этот момент вы смеете так возмутительно себя вести. И вы думаете, сударь, что я это потерплю и не отделаю вас на свой лад?

Мало-помалу, слово за слово, отец все повышал голос. То было великолепное нарастание, искусное крещендо. И старикашка Рюо, внезапно охваченный ужасом, начал пятиться назад. Он отступал шаг за шагом, бормоча себе под нос:

— Да это невообразимо!

— Да, сударь, я вас отчитываю, и по заслугам! Вы урод! У вас толстое брюхо. Вы смешной болван! У вас лживые глаза. И вдобавок вы ни в чем себе не отказываете, вы позволяете себе роскошь быть лысым!

Его речь, исполненную все нарастающего пафоса, едва не сорвало внезапное появление господ Куртуа. Художник, малевавший гуашью розочки, так и сиял.

Он выкрикивал с торжеством: «Я слышу! Я все слышу!», как другой стал бы хвастаться: «Я тоже художник!»

Но отец уже закусил удила. Его ничто не могло бы остановить. Напрасно мама и г-жа Васселен дергали его за фалды. Напрасно восклицала г-жа Куртуа: «Вы переходите все границы!» Не обращал он внимания и на соседей, которые покидали свои логова и поднимались по лестнице. Отец устремился к великолепному апогею гнева.

— Вы изволите быть плешивым, пузатым, косолапым, и, в довершение всего, вы злы, отвратительно злы. Сударь, вы хам! Высший образец хамства! Об этом все узнают, сударь, все до одного. Я хочу, чтобы весь дом, весь квартал знал об этом, хочу, чтобы знал весь Париж, чтобы весь мир знал, что вы, сударь, хам! Хам, помноженный на каналью, да плюс хищник, да еще болван!..

Старик пустился наутек. Он бежал, перепрыгивал через две, три, через несколько ступенек. То было паническое бегство, отчаянная, безумная скачка. На площадках каждого этажа толпились жилицы, — одни молчали, ошеломленные, другие зубоскалили. А папа, преследуя свою жертву, мчался за ней по пятам.

— Болван и вдобавок трус, и к тому же вы, сударь, подлец. И сдается мне, что вы еще рогоносец! Стоит на вас взглянуть, и сразу видно, что вы, сударь, настоящий рогоносец! Притом рогоносец унылый, самая гнусная разновидность...

Голос его все разрастался, потом начал глохнуть, уходя в недра дома. Через минуту он загремел уже на улице. Мы стояли на балконе в ужасной тревоге и вместе с тем испытывая странное облегчение. Папин гнев разразился под открытым небом. Неуклюжий Рюю пытался удрать, но ангел мщения ни на пядь не отставал от него. За ними увязалось множество возбужденных людей. Поистине, то был поразительный, достойный восхищения гнев, какого нам еще не приходилось наблюдать и слышать. Через несколько мгновений эта кучка людей скрылась за поворотом на улице Вандам. До нас еще долетали раскаты разъяренного голоса, слова, слова, слова. Но вот крики заглохли где-то в стороне проспекта Мен.

Мы замерли на месте, потрясенные до глубины души. Нам дано было зреть Юпитера-громовержца.

Папа вернулся минут через десять. Он медленно поднимался по лестнице, обмахиваясь клочком газеты, — он очень разгорячился. Он пожимал руки жильцам, которые поджидали его, чтобы выразить ему свое уважение, свои восторг, свое пламенное восхищение.

Госпожа Васселен, тяжело вздыхая, стояла на пороге нашей кухни. Мама шепнула мне на ухо упавшим голосом:

— Ничего не говори отцу. Он сделал это от чистого сердца, но все это ужасно. Пойди взгляни на бедняшку Дезире.

День угасал. Низко нависло черное небо. Все предвещало грозу. Я проскользнул как тень в квартиру Васселенов. Но я не в силах рассказать о том, что я увидел, войдя в их столовую...

Когда через какой-нибудь час я очнулся на руках у моей матери, я услышал, как вполголоса говорили вокруг меня:

— Что за несчастье! Какое ужасное несчастье!

Тут я пришел в себя и увидел, как вижу порой и теперь, когда грозовым вечером предаюсь воспоминаниям, — Дезире Васселена, который с петлей на шее висел на крючке от лампы.

Нет! Ни слова больше! Больше ни слова!

Немного спустя, когда стемнело, мама распахнула окна. Послышалась музыка, — народ веселился и плясал там вдалеке, на бульваре Вожирар и на проспекте Мен. Мама сказала:

— Все же надо зажечь керосиновую лампу, хотя бы для того, чтобы уложить нашего малыша.

Папа зажег лампу и спросил, вытирая руки:

— Что это за письмо?

— Какое письмо? — отозвалась мама упавшим голосом.

— Да вот это, на столе.

Моя мать протянула руку, продолжая меня укачивать. Усталым жестом она перевернула письмо. Но она тут же положила его на стол и прошептала папе:

— Погляди, только сделай это незаметно. У бедняжки Лорана начал дрожать подбородок. И очень сильно, как у меня, у моего отца и у дедушки Гийома.

Потом она снова взяла письмо и неловко, одной рукой, разорвала конверт. И тут же сказала:

— Это письмо из Гавра!

Глава XX

Письмо из Гавра. Несколько эпизодов из истории семьи. О трех строчках Буало. Доля Орели и доля Матильды. Урок арифметики. Жар и бред. Труд надежней чудес

То было письмо из Гавра.

Я сейчас же о нем расскажу, хотя бы для того, чтобы отогнать натиск зловещих дум, рассеять налетающих белых и черных ангелов. Цифрам свойствен полярный холод, нечеловеческая сухость, — поэтому в них есть нечто умиротворяющее, нечто близкое к покою небытия.

Я поведаю об этом эпизоде в кратких словах, хотя моя мать просидела всю ночь, разбираясь в юридическом жаргоне и пытаюсь добраться до смысла, а отец, как мне думается, так и не понял до конца этого сногшибательного документа.

Как бы то ни было, я дам свое личное истолкование, которое можно считать правильным, ибо оно всецело подтверждается последующими событиями. Я приведу также кое-какие подробности, ставшие мне известными много лет спустя, благодаря отношениям, завязанным с моими коллегами в Лиме.

Оказывается, две сестры моей матери не умерли в 1866 году, как можно было думать на основании письма, полученного от компаньона моего деда во время болезни последнего. Мой дед Матюрен действительно потерял тогда двух дочерей, но они были от второго брака и умерли одновременно в разгар какой-то эпидемии. Две дочери от первого брака, приехавшие из Франции, родные сестры моей матери, вышли замуж в 1867 году, как об этом известил Проспера Матюрен. Старшая, Орели, скончалась от родов, примерно через год, то есть в 1868 году. Вторая, Матильда, покинула Лиму, уехав со своим мужем, коммерсантом, в Куско. Впоследствии я вспоминал об этом, декламируя на уроке или перечитывая следующие строчки Буало-Депрео, из которых первая пошловата, вторая отдает романтической меланхолией, а третья попросту смешна:

За счастьем гонятся на суше и в морях.
Не рвись в отчизну пальм, ищи его поближе:
Оно доступно нам и в Куско и в Париже.

В 1869 году, два года спустя после брака, эта сестра, которую, собственно говоря, мне следовало бы называть тетей Матильдой, ушла из дому во время землетрясения. Как видно, это довольно-таки обычное явление в тех краях, и любой перуанец знает, что после первого же толчка надо выбегать на улицу, иначе рискуешь быть похороненным под развалинами. Итак, тетка Матильда, как и все прочие, покинула свой дом. Но когда землетрясение кончилось, все поиски молодой женщины оказались напрасными. Ее так и не удалось обнаружить живой или мертвой.

Оказывается, существует закон, запрещающий выдавать свидетельство о смерти исчезнувшего человека, пока не обнаружен и должным образом не опознан его труп. Если же таковой так и не будет найден, то факт смерти может быть установлен и свидетельство выдано лишь по истечении тридцати лет со дня исчезновения данного лица.

Таковы, в общих чертах, были сведения, собранные французским консулом в Лиме, после длительных розысков, сопряженных с немалыми трудностями.

Свидетельство о смерти Орели, составленное по всей законности, было отправлено во Францию, и Гаврский нотариус, буквально выполняя завещательное распоряжение г-жи Делаэ, предоставил моей матери так называемую «долю Орели», то есть двадцать тысяч франков в ценных бумагах. Что до доли Матильды, то она должна была лежать в депозите под надзором нотариуса до 1899 года. И следует сказать, что в этом году мы действительно получили эту сумму со всеми процентами.

Однако письмо, о котором идет речь, получено было нами в 1891 году. Доля Орели, как я уже сказал, состояла из ценных бумаг, оформленных «на предъявителя» и подлежащих продаже. Нотариус сам предложил дать распоряжение о продаже. Эти бумаги подверглись некоторому обесцениванию, и стоимость их по нынешнему курсу выражалась в сумме девятнадцати тысяч двухсот франков. Зато к основному капиталу надлежало прибав-

вить три процента годовых, какие выросли после смерти г-жи Делаэ, то есть за два года и три месяца. В конечном итоге получалось двадцать тысяч пятьсот пятьдесят франков.

Эта сумма была обременена издержками, а именно: расходы, связанные с введением в права наследства, издержки, сопряженные с расследованием, а главное, расходы, вызванные розысками, возмещения которых требовали перуанские агенты. В общей сложности издержки — я сохранил все эти омерзительные бумажонки — составляли ошеломляющую сумму: семь тысяч триста пятнадцать франков.

Моя мать в течение долгих дней размышляла над этими цифрами, исковав себе все пальцы.

Она посвящала арифметическим вычислениям все свободные минуты, закончив хозяйственные дела и оказав помощь несчастной, удрученной катастрофой, г-же Васселен.

Папа говорил, заглядывая в бумаги через мамино плечо:

— В итоге мы можем рассчитывать на тринадцать тысяч двести с чем-то франков.

Мама обернулась и застыла на месте, уставившись на удивительного спутника жизни, человека, покорной тенью которого она стала навсегда.

— Ты говоришь, Рам, тринадцать тысяч франков... Но ведь ты забываешь, что из этой суммы мы должны уплатить Куртуа десять тысяч, плюс пятьсот франков, плюс восемь процентов за триместр, а именно, двести франков. Все это вместе взятое составляет десять тысяч семьсот.

Папа воздел руки к небу. Он уже начал забывать и заем у Куртуа, и банкротство Инканда-Финска, и сумасшествие престарелого кредитора, и сцены с табуретом.

Мама отнюдь не была подавлена. Следует даже сказать, что она никогда еще не проявляла такой силы духа, как в эти горестные дни. У нее уже больше не вырывалось:

— Боже мой, у меня голова идет кругом!

Она держала голову высоко, у нее был ясный взгляд и плотно сжатые губы. Она начала заметно полнеть, и вскоре мы узнали, что у нее родится еще одно дитя, братец или сестрица. (Это была маленькая Сюзанна, по-

явившаяся на свет в январе 1892 года.) Впрочем, наша мать всех нас вынашивала на ходу, в разгар жизненных битв.

Но вот мама выпрямилась и сказала:

— Выслушай меня, Раймон. После всех расчетов у нас останутся две тысячи пятьсот тридцать пять франков. Этого нам хватит на все осенние расходы и на переезд, — потому что нам придется переменить квартиру. Г-н Рюо, конечно, не терял времени, извещение у меня в кармане. Послезавтра я пойду к нему и надеюсь договориться с ним об отсрочке до октября, разумеется, если он не вздумает подать на нас в суд. Две тысячи пятьсот франков, Раймон. И это все, решительно все. Быть может, впоследствии, через много лет, мы и получим долю Матильды. Возможно. Но я больше не хочу об этом думать. Больше не хочу, Раймон, все кончено! Теперь я буду рассчитывать только на нас, на наши четыре руки, на наши две головы. И уверяю тебя, Раймон, так будет лучше.

Папа посмотрел на нее.

— Да, — согласился он, — так будет лучше. И какой урок, милая жена! Какой урок, дети мои! Клянусь, что с этим покончено! Чтобы я снова попал в лапы к этим прохвостам, к этим кредиторам, к этим жуликам из Инканда, к этим крючкотворам! Никогда в жизни! Кончено! Кончено!

Он улыбнулся какой-то странной улыбкой. Все мы, исключая Сесиль, были уже достаточно взрослыми и знали, что, быть может, планеты в небесных просторах иной раз и вздыхают; «Кончено!», но все же продолжают вращаться.

Папа повторил:

— Кончено!

Мама остановила его:

— Говори потише. Гроб еще не закрыт. Госпожа Васселен сейчас одна. Пойду посижу с ней часок-другой. Ей надо хоть немного вздремнуть.

Весь этот разговор я слышал, лежа в постели на большой деревянной кровати, где мне предстояло пролежать еще немало дней и недель в жару и в беспмятстве и с которой мне суждено было в одно прекрасное утро в конце лета встать исцеленным, навсегда исцеленным от веры в чудеса, во все необычайное и чудодейственное.

В самом деле, кое с чем было покончено. Потеряла свою силу прочно овладевшая нами мечта, которая на протяжении двух с лишним лет обманывала нас, губила, заставляла не замечать голод и жажду, насыщала нас во время нужды и лишений.

Мы снова пускались в путь, разбитые, разочарованные, изнемогая от усталости и страданий, но все же испытывая явное облегчение. Мы устремлялись в путь, на котором нас ждали новые битвы, и я расскажу о них в свое время, если продлится моя жизнь и я не утрачу мужества и сил.



Наставники

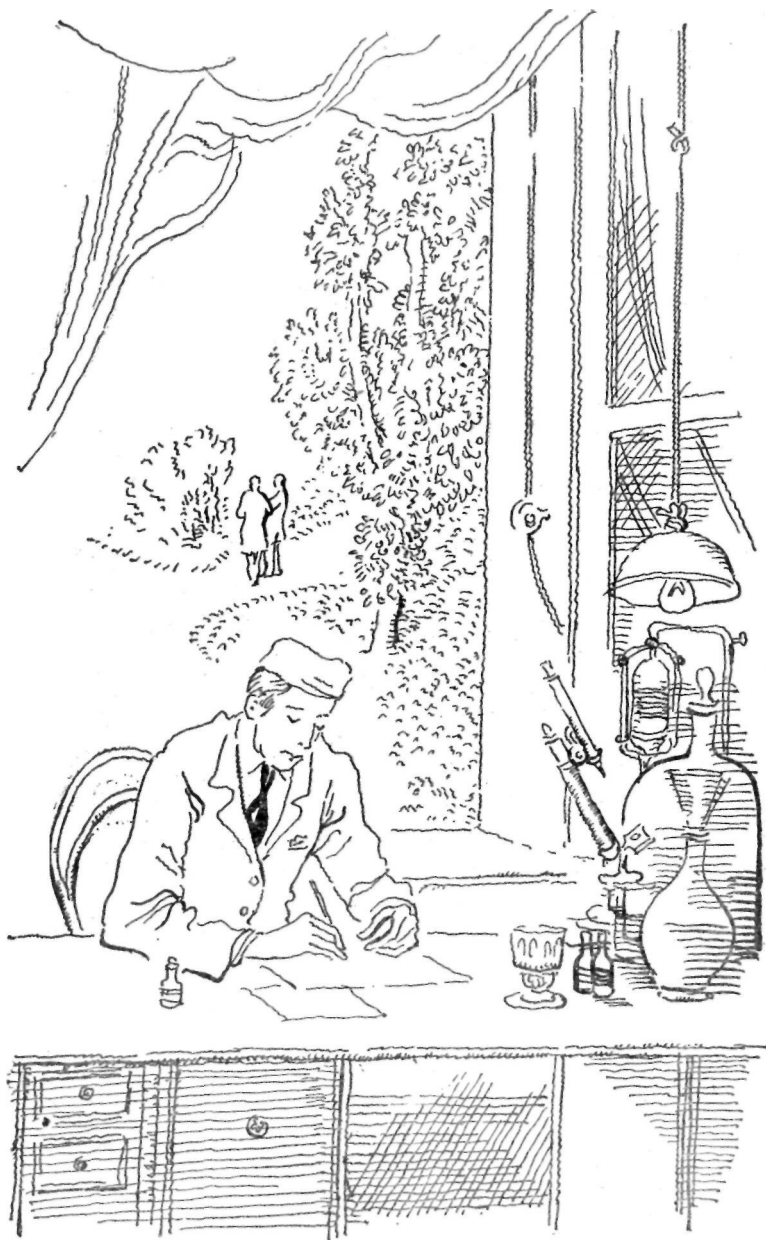
РОМАН



Перевод

О. МОИСЕЕНКО

В. ФИНИКОВА



Глава I

Одиночество и прилежание. Портрет Жозефа Паскье, каким он был в сентябре 1908 года. Повадки кроликов. Упоминание о Жан-Поле Сенаке. Размышления доктора Паскье о парижских улицах. Семейное собрание. Гордость разорившегося человека. Кредитная операция. «Жозеф! Если бы отец нас видел!» Быть верным главному в жизни

Стоит мне подумать, дорогой Жюстен, о шуме, в котором ты живешь, или, лучше сказать, в котором ты добровольно, мужественно соглашаешься жить, и мне становится немного стыдно за свое затворничество, за свой покой.

Должен признаться, однако, что мир и тишина, в которые я погружаюсь в иные часы, благотворно действуют на мысли, не покидающие меня с прошлого года. Мне хотелось бы послать тебе по почте немного моего покоя. Но ты, пожалуй, откажешься от этого подарка, взбалмошный ты человек!

Долгими часами я неподвижно сижу за столом. Привыкаю сосредоточенно работать и по возможности избегать лишних движений, как нас учит тому патрон. Прильнув глазом к микроскопу, с карандашом в руке, я рисую или записываю свои наблюдения. Каждые пять секунд капля воды звонко падает из крана в кристаллизатор, напоминая мне музыкальный крик жабы, который мы слушали летними вечерами в Бьевре. Помнишь, как был прекрасен этот звук, похожий на звук окарины и трогавший нас своей чистотой именно потому, что его

издавало, или, точнее, издает, обездоленное и отвратительное животное? Вероятно, такое признание покажется тебе излишне романтичным, но я всегда вспоминаю о Бьевре с глубоким волнением! Как могли мы мучить друг друга, причинять друг другу столько горя? Все было так прекрасно, так чисто, несмотря на бедность и на ссоры. Еще и года не прошло с тех пор, а я уже позабыл все наши невзгоды. Я думаю лишь о наших взлетах, о наших восторгах, о наших радостях.

Но не будем больше говорить о прошлом, раз ты этого не хочешь и с такой настойчивостью просишь меня об этом в каждом письме. Позабудем о жабах и об их ночной песне. Итак, я говорил тебе о полной тишине вокруг меня и, главное, во мне. Слышно только шипение язычка газа под ванной термостата. Слышны также прыжки кроликов, резвящихся возле меня. Время от времени самка, раздраженная приставаниями самца, как-то странно постукивает задними лапами по плиточному полу. Кроликов я оставляю на свободе, чтобы удобнее было наблюдать за ними во время опытов. В лаборатории у меня уединенно (извини, Жюстен, если это овечьяе воспоминаниями слово невзначай возникло на бумаге), так как Фове вернется только после первого октября. Г-н Шальгрэн работает либо у себя в лаборатории, либо в своем официальном и тесном кабинете, где он принял меня, когда я пришел к нему в первый раз. Он иногда заходит ко мне, чаще всего по вечерам, когда я спускаю воду. Задав мне два-три вопроса по поводу опытов, он принимается мечтать вслух и высказывает поразительные мысли. Я сижу затаив дыхание. Порой он говорит долго. Я готов бесконечно слушать его.

По утрам я бываю один, и это продлится до возвращения Фове и Стерновича. В ноябре появятся, очевидно, новые сотрудники, и придет конец моей чудесной тишине.

Сегодня утром, часов в десять, в лабораторию вошел Жозеф. Я не ждал его. Обычно он не предупреждает о своем приходе. Что-то кольнет его, и он появляется или дает о себе знать. Ты знаешь моего братца Жозефа. Так вот, ты не узнал бы его сегодня утром. Ты не видел Жозефа месяцев семь-восемь. Пожалуй, он немного потолстел. Ему не больше тридцати четырех лет, а волосы уже начали седеть, что навлекает на него насмешки отца всякий раз, как они встречаются. За исключением

этого, наш молодец еще крепок и даже массивен. Превосходные челюсти, самые мощные в нашем семействе. Складки жира уже поднимаются от шеи вверх, и лицо начинает заплывать. Однако это здоровый жир, доброкачественный жир. Нос довольно велик, но не длинен. Немного напоминает нос мамы. Помимо этого, в лице нет ничего от семейства Паскье. Глаза темнее, чем у всех нас. Иной раз — необъяснимое явление — их радужная оболочка бледнеет, и Жозеф с минуту смотрит на мир светло-голубым взглядом моего прославленного папаши. Усы коротко подстрижены. Зубы белые, рот красиво очерчен. В нем еще не чувствуется ничего порочного... Извини меня за это слово. Быть не может, чтобы со временем на лице Жозефа не отразилась его душа. Но пока что он еще прекрасное животное, сильное животное.

Как передать тебе впечатление, которое произвел на меня сегодня утром Жозеф, когда он отворил дверь в мою лабораторию? Он вошел без стука. Он всюду входит без стука. Итак, представь себе Жозефа, которому хотелось бы казаться удрученным, но у него ничего не получается — не позволяет характер. Представь себе Жозефа, которому хотелось бы понуриться, а он, противясь этому желанию, выпрямляется и напрягает все мускулы. Вот именно, когда Жозеф разворачивает плечи, это значит, что ему надлежало бы их опустить. Представь себе Жозефа, видимо, имеющего тайные причины для грусти, однако ему удастся вызвать на своем лице лишь показное выражение скорби, которое следовало бы назвать «маской скорби на похоронах». Представь себе, наконец, Жозефа, которому хотелось бы говорить тихо, низким дрожащим голосом, а он вместо этого откашливается, набирает полные легкие воздуха, и, как обычно, от раскатов его голоса дребезжит вся стеклянная посуда на этажерках.

Он уселся. Попытался опустить голову на грудь, но вместо этого у него получилось почему-то движение вызывающее, дерзкое, и он сказал мне с видом одновременно погребальным, насмешливым и сердитым:

— Знаешь, дела мои плохи, очень плохи!

— Что такое? Со здоровьем не ладится?

Жозеф сделал неопределенный и несколько драматичный жест.

— Э, если бы речь шла только о здоровье!

— По-моему, нет ничего более важного...

Жозеф взглянул на меня со смесью сострадания и любопытства и прибавил:

— Я забежал к тебе по дороге, на минутку. Приходи обедать к родителям сегодня в половине первого, и мы потолкуем обо всем по-семейному. Соберется вся родня.

— Как, и Сесиль и Фердинан?

— Ну да, все. Дело очень серьезное. До скорой встречи, Лоран. Я заехал к тебе на машине.

И, уже собираясь затворить за собой дверь, он неожиданно обернулся и произнес голосом, таинственным и драматичным, следующие непонятные слова:

— Покамест у меня еще есть машина.

И тут же вышел. Слышно было, как гулко стучали его каблуки по старой лестнице Коллежа.

Снова стало тихо. Прошло все же немало времени, пока я снова не услышал, как поет капелька воды в кристаллизаторе и вздыхает язычок пламени под медной радужной ванной. Жозеф давно перестал меня смущать, ты же знаешь. Но он по-прежнему удивляет меня. По-прежнему нарушает ход моих мыслей. Не направляет их по своему усмотрению, нет, а именно нарушает.

Но вот снова наступила тишина, и мысли мои потекли своей обычной чередой. Кролики снова стали гоняться друг за дружкой и драться исподтишка. Увы, кролики — отнюдь не кроткие и пугливые грызуны, какими их обычно изображают; это дикие звери, как и все живые существа. Самец преследует самку и докучает ей. Если самка дурно настроена, она выражает свое нетерпение тем, что бьет по земле задними лапами — все как у людей, старина, как у людей. А если самец проявляет настойчивость, самка кусает его и, можешь быть уверен, отнюдь не куда попало: она норовит впиться зубами в то самое место, где гнездится желание. Случается, она разом выхолощивает несчастного. Тогда раненый кролик испускает дикие вопли, пронизывающие тишину лаборатории. Право же, дорогой друг, если я и браню кроликов, если строго сужу их, то лишь потому, что мне приходится мучить их, делать им уколы. Как-нибудь, дабы искупить свою вину, я выращу кролика, которому дам спокойно прожить жизнь и умереть собственной смертью. Когда Сенак приходит сюда, чтобы работать с г-ном Шальгреном, и видит драки моих зверьков, он неизменно ворчит: «Стоит мне взглянуть на твоих кроликов, и я убеждаюсь, что война неизбежна». Впрочем, Жозеф, ко-

торый, по-моему, может лучше судить о событиях, чем Сенак, ведь биржа — превосходный наблюдательный пункт, Жозеф не верит в возможность войны. На днях германский император провел, как ты, вероятно, читал, небольшие показательные маневры на эльзасской границе. Жозеф уверяет, что это чепуха. Сенак менее оптимистичен. Он вздыхает, охает: «Война непременно разразится. Все кончается войной. Еще не было примера, чтобы мирный период не завершился войной». Сенак смешит меня. Он и тебя насмешил бы, дорогой Жюстен, если бы ты с ним встретился. А ты с ним встретишься. И, позабыв наконец обо всех распрах, взглянешь на него без раздражения и досады.

Я очень доволен, что мне удалось пристроить Сенака к г-ну Шальгрёну. Впрочем, Сенак искренне мне благодарен. Он еще не был в отпуске, как ты понимаешь, ибо приступил к работе только в мае этого года. И при встрече со мной говорит проникновенно: «В прошлом году в это время я был свободным человеком и смотрел, как цветут бобы». Я полагаю все же, что он работает и ведет себя смирно. Мы видимся далеко не каждый день. У него имеется собственный небольшой кабинет у патрона, на улице Асса.

В полдень я запер зверьков в крольчатник и отправился на Пастеровский бульвар. Как тебе известно, три месяца тому назад мой папаша переехал с Аустерлицкой набережной на Пастеровский бульвар. Он в восторге. «Мы покончили с болотами, — говорит он, выпячивая грудь. — Мы покончили с нездоровым климатом низин. Здесь мы почти в горах. К тому же само название мне нравится. Пастер был всегда для меня образцом, примером. Пастеровский бульвар — это звучит прекрасно! Подумать только, что есть несчастные, которые живут на улице Вертушки или в Коровьем городке. От этого можно заплакать. Вот Фессарская улица — дело другое: забавное название, звучное, не лишенное приятности. А возьмем, к примеру, проезд Гатбуа. Кто такой этот Гатбуа? Что он сделал? Говорят, построил дворец. Понимаешь, дворец! Да плевать я хотел на дворец, если он стоит на улице Коссонри или Бискорне, даром его не возьму! Не надо бояться ни своих импульсов, ни своей безотчетной неприязни».

Но довольно об этом — ты и сам знаешь отца. Из всех нас он единственный, кто не меняется, единственный, кто

не может измениться. Единственный, кому суждено не меняться.

Квартира у родителей довольно уютная, окнами на бульвар и на гулкий двор, который собирает, приумножает и разносит все тайны жильцов.

Жозеф не обманул меня: когда я пришел, все семейство было в сборе. Родители приглашают нас обычно четыре раза в год. Но тут речь шла об исключительном собрании, и мама сразу же предупредила, что пообедать придется чем бог послал. Вид у нее был встревоженный. Она смотрела на Жозефа молча, внимательно, как смотрела прежде, когда кто-нибудь из нас, детей, заболел. Время от времени она вздыхала и негромко спрашивала: «Что ты собираешься нам сказать? Мне очень бы хотелось разобраться...»

В конце концов мы все собрались в гостиной, где обычно ожидают своей очереди пациенты отца, и уселись в кружок, как у нотариуса. Вероятно, ты не встречал Фердинана после весеннего праздника в Бьевре. Он толстеет прямо катастрофически. Клер, жена Фердинана, не отстает от него. В прежние времена она была по-настоящему тоненькой со своими хрупкими косточками и мелкими суставами. От счастья ее, можно сказать, разнесло. Нос и подбородок выступают на оплывшем лице, приподнимая и натягивая кожу. Это ее единственные ясно выраженные черты. К сожалению, такая полнота вызвана не избытком спокойствия и радости. Супругов преследует страх перед болезнями. Отец самоотверженно лечит их. Он дает им кучу невероятных лекарств, которые в конце концов возымеют действие, иначе говоря, вызовут какую-нибудь подлинную болезнь. Долгое время я надеялся, что у Клер будет ребенок, и это отвлечет супругов от себя и даже в известной мере спасет их, излечив от воображаемых недугов. Теперь я уже не рассчитываю на это. Фердинан безумно ревнив. Вероятно, он стал бы ревновать Клер к ребенку, да, ревновать в той мере, в какой ребенок отнял бы у него жену. Таким образом, эти двое людей осуждены жить и стариться в тягостном одиночестве, в атмосфере такой полной, такой невероятной близости, что их брак — книга за семью печатями.

Сюзанна тоже присутствовала на семейном совете. Ей было не более двух лет, когда ты впервые пришел к нам на улицу Ги-де-ла-Брос. Возможно ли? Сюзанне уже сем-

надцать лет, и это вполне сложившаяся женщина. Ее красота тревожит меня. Я расскажу тебе как-нибудь на свобде о стычках Сюзанны и незадачливого Тестевеля. О, с этим еще не покончено! И Тестевелю предстоят новые испытания. Но на сегодня довольно о нем.

Сесиль тоже была с нами, я, кажется, писал тебе об этом, и я сел рядом с ней на диван в стиле Людовика-Филиппа. Мы все были в сборе и ждали пресловутого сообщения Жозефа. Тогда Жозеф снял ногу с колена, откашлялся и глухо, торжественно произнес:

— Я разорен.

За этим странным сообщением последовало полминуты молчания, что вовсе неплохо для семейства Паскье. Затем отец прошептал:

— Я не вполне, уяснил себе, что ты под этим подразумеваешь.

Жозеф пожал плечами и повторил по слогам:

— Я ра-зо-рен. Понимаете? Ра-зо-рен. Вот и все.

Мама прижала руку к губам, и глаза у нее сразу покраснели. Она прошептала, вздыхая: «Бедный мальчик!» Папа тут же овладел собой. Он дернул себя за кончики медно-красных усов и заметил с полнейшим спокойствием:

— Ты говоришь «разорен». Полно, уж не значит ли это, что у тебя ровно ничего не осталось?

Жозеф тряхнул головой.

— Вполне возможно, что ровно ничего.

— Так вот, мой милый, — проговорил отец медовым голосом, — это не так ужасно, как тебе кажется. Лично у меня ничего нет и никогда ничего не было. И смею тебя заверить, что я прекрасно живу.

— Полно, папа! — Жозеф повысил голос. — Существует огромная разница между выражениями «ничего не иметь» и «все потерять».

— Должен тебе признаться, — продолжал папа, — мне было бы весьма приятно разориться, это означало бы, по крайней мере, что мне есть что терять. Не каждому посчастливится разориться.

— Не смею спорить, — степенно ответил Жозеф.

— Рам, будь же серьезен. Пусть Жозеф все подробно объяснит, — проговорила мама.

— Это почти невозможно. Во всяком случае, трудно. Вы ровно ничего не смыслите в делах.

— А твой парижский дом... замок Пакельри, как ты его называешь, да и все остальное, ведь, по-моему, имеется и «остальное»?..

Жозеф безуспешно попытался опустить голову и сказал:

— Попытаемся спасти Пакельри. Именно поэтому мне и хотелось повидать всех вас. Ведь Пакельри — наше родовое поместье.

Должен тебе сказать, дорогой Жюстен, что до этой минуты беседа велась в ровном, спокойном, дружественном тоне. Вдруг, как это принято у нас, все заговорили одновременно, и мне показалось, будто Жозеф как раз надеялся, рассчитывал на этот гвалт в духе семейства Паскье. Он пустился в специальные объяснения, которые были столь ясны, что мрак тотчас же окутал события и людей. Отец разглагольствовал, не слушая остальных. Он говорил очень громко и время от времени вопрошал: «Ты хоть попользовался деньгами, куда они у тебя были? Будь я богат, я пожил бы как король!» Фердинан с важным видом требовал дополнительных сведений о лихорадке, охватившей биржу. Мы все повскакали с мест, кроме Сесили. У Жозефа был вид не разорившегося человека, а финансиста, которому удалась блестящая операция. Надо полагать, что в его профессии такая дерзость необходима. Мама настойчиво спрашивала: «Неужели потерял даже твой дом на юге?» Жозеф отвечал веско, тоном вполне естественным: «Еще ничего неизвестно. Возможно, я потерял больше того, что имел. Возможно, я по уши в долгах. Скоро все выяснится». Странно, но у него был при этом такой вид, словно он сообщил нам хорошие, радостные новости.

Вдруг мама пробормотала: «Надо все же пообедать. Мы продолжим разговор за столом. Ты нам все объяснишь». Когда мы шли друг за другом по узкому коридору, отец заметил с металлическими нотками в голосе: «Вспомни, милый, сколько колкостей ты говорил мне, бывало, если мне случалось потерять тысячу, от силы две тысячи франков. Сегодня мы тоже могли бы сказать тебе кое-что!» — «Тут нет ничего общего, — рокотал в ответ спокойный и решительный голос Жозефа, — деньги, которые я теряю, принадлежат мне, мне одному». — «А разве мои деньги не мне принадлежали?» — «Нет, то были семейные деньги, и добро бы большие деньги, но потерять такой пустяк, как две тысячи франков, — бездарно».

После этой краткой сентенции мы развернули салфетки, и обед начался отнюдь не в обстановке неловкости, а среди оглушительного шума, ибо наш клан пришел в волнение. В таких случаях, как тебе известно, я бываю немногословен. Справа от меня сидела Сесиль, слева — Сюзанна. Младшая сестричка смотрелась в столовую ложку и, вскрикивая от ужаса при виде своего искаженного изображения, говорила хорошо поставленным красивым голосом, хотя и слишком низким, на мой взгляд, при ее изящной внешности: «Разориться, как это замечательно! Ну и везет же нашему Жозефу!» И затем, приложив руку к груди, принималась играть, как на сцене: «Вы разорены, сударь... Разорен? Кто? Я? Да нет же!» Не знаю, станет ли когда-нибудь Сюзанна известной актрисой, но она до безумия любит это изумительное ремесло и к тому же не лишена способностей. Я тихо беседовал с Сесилью, которая все время прислушивалась к общему разговору. Ты знаешь ее: она талантлива, витает в облаках, и, однако, ее интересуют мелкие семейные дела и неурядицы. Жозеф решил, видимо, прочесть нам специальный доклад о сталелитейных заводах в центральной части страны и о Руманьских плотинах. Он объяснял, как надо взяться за дело, чтобы блистательно разориться. Фердинан пускался в рассуждения и по временам задавал Жозефу какой-нибудь вопрос, который тот едва достаивал ответом. Отец, со своей стороны, произносил монологи, но его никто не слушал. Мама пыталась, как всегда, навести порядок в нашем пандемониуме. И среди всей неразберихи слышались порой замечания, которые мы сделаем даже через десять тысяч лет, когда встретимся в царстве теней: «Нет, спасибо, я не выношу холодной макрели, она слишком жирна». — «А я не выношу мерлана. Не понимаю, как можно любить мерлана». Или же: «Почему, папа, ты режешь хлеб своим ножом?» — «А тебе какое дело?» — «О, мне-то все равно, только это не принято». И тут же без перехода Жозеф снова пускался в рассуждения. Он сказал между прочим чуть ли не трагическим тоном:

— Печально все это, ведь наша семья начала было возвышаться.

— Подумаешь! — пробормотал отец в свои пушистые усы. — Деньги можно вернуть.

— Хорошо тебе говорить.

Позабыв об окружающих, Сесиль улыбалась своей ангельской улыбкой, и я понимал, что означает эта улыбка. Я думал об улице Вандам, о нашей ранней юности. Сюзанны еще не было на свете. Сесиль, вызывающая ныне всеобщее восхищение, в первый раз положила руки на клавиши фортепьяно; она сделала это, как прирожденный укротитель, которому тигр повинуется с первого раза, послушно опускаясь на колени. Между двенадцатью и часом дня Жозеф быстрым шагом ходил по улицам, чтобы сэкономить деньги, отложенные на обед. И папа, о котором все же не следует забывать, готовился по ночам к экзаменам и, чтобы отогнать сон, колот перочинным ножом тыльную сторону руки. Да, наша семья возвысилась, но мы еще не достигли вершин, и Жозеф преувеличивает. Он напрасно считает, будто семья поднимается благодаря ему.

Сесиль поняла, о чем я думаю; она едва ощутимо дотронулась до моей руки и улыбнулась. Мне кажется, что с этой минуты я перестал обращать внимание на разговор.

Говорил ли я тебе, что Элен не пришла? Вероятно, ее присутствие не изменило бы ни характера, ни тона беседы. Она во всем придерживается теперь мнения мужа, заимствует у Жозефа мысли, повторяет его слова. Как странно! Элен была умной и живой девушкой. Она недолго боролась. За какие-нибудь полгода превратилась в копию Жозефа. Знаешь, ведь они не сами воспитывают своих детей, хотя Элен и очень этого хотелось. У них была бонна; теперь, когда Жозеф «разорен», он, вероятно, поручит свое потомство заботам престарелой бабушки Паскье.

Я совсем было забыл о разорении Жозефа и перестал слушать разговоры о движимом и недвижимом имуществе, когда Фердинан, долго перешептывавшийся с Клер, заявил, воспользовавшись минутой относительного затишья:

— Если мы соберем все, что имеем, нам удастся, пожалуй, наскрести для тебя пять тысяч франков.

И, шумно задышав, он важно обвел глазами всех сидящих за столом. И тут я понял значение этого семейного сборища и причину настойчивости Жозефа. Я сказал Сесили:

— Думается мне, дорогая Сесиль, что тебя обложат крупной данью.

Она с улыбкой пожала плечами.

После обеда, когда мы все вернулись в желтую гостиную, Фердинан отвел меня в сторону. О, не пытайся вызвать в памяти высокого тонкого юношу прежних дней, его непокорные волосы и тяжелый, неуверенный взгляд. Представь себе лучше господина, еще молодого, но успевшего накопить солидный жирок, господина, у которого пожаром горят мочки ушей. И так, он отвел меня в угол гостиной. Тот самый Фердинан, который долгие годы говорил о Жозефе не иначе как с горечью, с затаенным озлоблением, вдруг преисполнился к нему симпатией, сочувствием, нежностью. В голосе у Фердинана звучали слезы. Он говорил в нос: «Нельзя все же бросить его в этом трагическом положении. Ведь он — наш брат. Что до меня, я выполнил свой долг, полностью выполнил. Я жертвую все, что имею. И ты, Лоран, не такой человек, чтобы пренебречь своим долгом... У отца было отложено три тысячи франков, он только что их отдал. Сесиль не пожалеет и десяти тысяч — Сесиль у нас капиталистка. У Сюзанны ничего нет, кроме надежд на будущее. Но Жозеф обещал помочь сестренке получить причитающуюся ей часть состояния еще до совершеннолетия. Какой ужас эти денежные дела!»

Фердинан сопел и настойчиво заглядывал мне в глаза.

Мы вышли вместе с Жозефом, так как он направлялся в сторону высших школ. Он казался немного усталым. Вдруг он сказал:

— Меня ждет машина. Мы еще можем пользоваться ею.

И тотчас же прибавил, как кардинал Мазарини:

— Придется расстаться со всем этим.

Не знаю почему, но при этих словах он улыбнулся. И мне показалось, что он сбросил с себя усталость, напруг мускулы и снова обрел решимость.

— Знаешь, — вздохнул он, садясь в машину, — говорят, будто в день своей коронации Наполеон сказал брату, которого звали так же, как и меня: «Жозеф! Если бы отец нас видел!» Какая наивность! Если бы старик Бонапарт и мог видеть сыновей, он отнюдь не был бы ослеплен. Он сказал бы им: «Едемте скорее домой, не то из-за вас обед опять простынет». Или что-нибудь в этом роде.

— Я не вижу тут связи, Жозеф, — пробормотал я. — При чем коронавание императора, когда речь идет о фи-

нансовом крахе? Ведь если я правильно тебя понял, ты разорился.

Жозеф слушал меня в пол-уха.

— Теперь мне ясно, — проговорил он, глубоко вздохнув, — нашу семью ничем не удивишь. Мне никогда не удастся удивить вас. Я никогда не вырву возгласа восхищения ни у кого из вас, Паскье.

— Ну, это ты хватил через край, милый Жозеф! Зачем тебе удивлять нас? И главное, почему ты надеялся поразить нас своим разорением?

Жозеф пожал плечами и устремил взгляд в окно, словно отчаявшись объяснить мне что бы то ни было.

Он высадил меня у Французского коллежа и тут же отправился по своим делам. А я погрузился в чудесную тишину лаборатории. Пусть продают, если желают, виллу в Ницце, парижский дом, Руманьские плотины и все остальное — я в этом не разбираюсь. И, в сущности, мне безразлично, если продадут даже Пакельри — поместье, которое Жозеф называет «родовым», хотя мы не имеем на него никаких прав, а он распоряжается там, как полновластный хозяин, как диктатор. Все это меня мало трогает. И, однако, я огорчен неудачей Жозефа. Он верит только в одно — в деньги. Если денег у него не будет — какая пустота впереди! И каким несчастным он, вероятно, чувствует себя. Но странное дело, вид у него скорее возбужденный, чем несчастный. Не понимаю я его.

Должен тебе признаться, что я обещал ему тысячу франков. Это все, что у меня есть в настоящее время. Жозеф поблагодарил меня сдержанно, но не без теплоты. Он сказал: «Все уладится, не беспокойся, все уладится». Моя тысяча франков — он отнюдь не рассчитывал на эти деньги, — видимо, обрадовала его больше, чем десять тысяч франков Сесили, которая, по его словам, постоянно дает ему деньги для каких-то финансовых операций... Эти операции, которыми Жозеф занимается вот уже десять лет от имени Сесили, вещь довольно темная.

Я собирался рассказать тебе о том, как я работаю в лаборатории под руководством г-на Шальгрена. И опять семейство Паскье все спутало. Извини меня, дорогой Жюстен. Клятвенно обещаю тебе больше не говорить о моем семействе. Да, да, освободимся, очистимся от всякой скверны и будем верны главному в жизни. Преданный тебе...

21 сентября 1908 г.

Глава II

Воспоминания об уединенной жизни в Бьевре. Чтение Плутарха. Надо ли вобрать в себя дыхание героев? Одно из представлений о Мессии. Жюстен и Лоран на перепутье. Молодые люди и любовь к жизни. Повиноваться прежде всего. Начальник и наставник. О потребности восхищаться. «Сударь» и «патрон». Эпидемия холеры. Различные мнения о франко-русском союзе и о научных открытиях

Ну уж нет! Если Жозеф воображает, будто ему достаточно разориться, чтобы я свернул с избранного мною пути и отвлекся от своих каждодневных дел, он ошибается, и я больше ничего не скажу тебе о нем. Впрочем, мне ничего нового и не известно, разве только, что он много суетится. Жозеф лишний раз заставил меня заинтересоваться его особой. Я недоволен этим и немного сержусь на него. Итак, лучше не говорить о нем, что, впрочем, не составляет для меня никакого труда.

Я вполне согласен с тобой, дорогой Жюстен: после распада «Уединения» нам было нелегко решить вопрос о том, как жить дальше. Да, наш эксперимент оказался неудачным, но он был прекрасен, достоин преклонения. Мы, несколько молодых людей, посвятивших себя научным занятиям, попытались жить вместе и кормиться трудом своих рук. Мы потерпели поражение. Причины этого краха требовали критического осмысления, и мы занялись им оба с огромной требовательностью к себе. Ты пережил все это, быть может, не так болезненно, как я, но быстрее и более бурно. И очень скоро, скорее, чем я, освободился от прошлого и нашел утешение. Я тем более восхищен твоим поступком, что ты ненавидишь шум. Не возражай: в «Уединении» ты всегда просил нас хорошенько затворять двери, не давать ставням хлопать на ветру, не переговариваться с этажа на этаж — требования вполне разумные, но наши товарищи не всегда это понимали. Вот почему мне трудно вообразить тебя среди шума, неизбежного при твоей теперешней жизни.

Я, вероятно, меньше страдал, чем ты, в первые минуты после распада, гибели нашей коммуны. Сожаления, беспокойство пришли лишь позднее. Говорить о разочаро-

вании было бы неправильно: в данном случае я гораздо больше разочаровался в себе, чем в других. Но в моем смятении преобладала над остальными чувствами страстная жажда величия. Мне казалось, что во время нашей трогательной и жалкой авантюры я потерял точное представление о человеке, о его возможностях. Ты будешь смеяться надо мной, Жюстен, но по возвращении в Париж я, как слепец, ошупью бродил среди книг и инстинктивно набросился на Плутарха, я перечитал, я проглотил все произведения Плутарха. Это было не слишком справедливо, согласен, но я судил о наших собратях — Тестевеле, Сенаке, Жюсеране, хороших парнях, которые, возможно, станут когда-нибудь выдающимися людьми, я судил о них, исходя из таких образцов, как Гай Гракх, Пелопид и другие ходульные персонажи, что свидетельствует о недостатке человечности и, главное, здравого смысла.

Но пойми, я бредил героизмом, мне хотелось «вобрать в себя дыхание героев», как говорит Ромен Роллан. Этого имени ты, вероятно, не знаешь, хотя и знаешь все на свете. Так зовут человека, который преподавал в Нормальной школе историю искусства — а может быть, и преподает ее по сей день, точно не знаю. Фове, слушавший лекции Романа Роллана, дал мне почитать его книги и, между прочим, жизнеописание Бетховена. Великолепная вещь! Против своего обыкновения, Сенак не честит Романа Роллана, он даже хорошо отзывается о нем, но ставит ему в упрек что-то вроде академической премии, которую тот получил за свою диссертацию. Какое дело до этого Сенаку, если диссертация действительно хороша?!

Дорогой Жюстен, в тот день, когда ты решил жить среди простых людей, я поклялся вобрать в себя дыхание героев. Ты нередко говорил мне в «Уединении», что для вас, евреев, Мессия, в сущности, не человек, а обобщенный образ людей, которые пронесли сквозь века искру священного пламени. Замечательная мысль! Но мне кажется, что у иных обиженных природою людей эта искра поистине слишком слаба. Надо находить великих людей и следовать за ними, ибо у них эта искра подобна пламени, озаряющему, хотя бы на миг, окружающий мрак. Такие люди существуют, надо только узнать их, приблизиться к ним. Пастер, о котором мой отец говорит с подлинным лиризмом, был, несомненно, личностью, достойной Плутархов будущего. Я знал г-на Даистра, знал Рено

Сензье и г-на Эрмереля — замечательного малого, хотя и слишком молчаливого на мой вкус. Мне хотелось бы познакомиться с людьми вроде Родена и Анатоля Франса. К сожалению, они и им подобные отделены от прочих смертных ореолом славы, а положение мое настолько скромно, что у меня нет никакой надежды коснуться хотя бы полы их сюртука. Можно ли не испытать восторга при мысли, что эти люди дышат тем же воздухом, что и мы? И, однако, это захватывающая дух правда. Жюстен, дорогой старый друг, имеются лишь два выхода, — я уже говорил тебе об этом, — либо жить, как ты, среди простых людей, либо жить, как мне того хочется, среди людей незаурядных. Все остальное — вздор и потерянное время.

Если бы ты был здесь, со мной, если бы я видел твой длинный нос и непокорные волосы (может быть, ты их остриг, но ничего не сказал мне об этом?), твои глаза, смотрящие на людей и на вещи с таким настойчивым любопытством, — согласишься, что набросок получился дружеский, хотя и схематичный, — итак, если бы ты был здесь, рядом, я, вероятно, не посмел бы с такой непринужденностью беседовать с тобой. Но ты далеко, ты не можешь прервать меня, а если тебе случается не слишком внимательно читать мои письма, я этого не вижу и не обижаюсь. Ты уже понял, конечно, из этих строк, что я полностью обрел душевное равновесие. Когда я привил себе еще не вполне проверенную вакцину Эрмереля, то поступил так, вероятно, потому что мне не хотелось жить. Ты почувствовал это. Я был молод, дорогой друг и брат, я был страшно молод. Теперь я дорожу жизнью. Говорю это не без стыда, но я должен тебе это сказать. Время апатии и отрешенности миновало: я дорожу жизнью. Это означает, что я и в самом деле становлюсь мужчиной, начинаю, так сказать, покрываться патиной. При объявлении войны на убой отправляют в первую очередь молодых под предлогом, будто старики неспособны сражаться. Возможно. Будущее покажет, так ли это. Но в одном я уверен: молодых посылают в первую очередь на убой потому, что очень молодые люди наделены в большей степени, чем остальные, гордым презрением к смерти. Молодые охотнее стариков соглашаются умереть. Молодые люди еще не любят жизни. Они постареют, изведуют горе, позор, отчаяние и, страшно сказать, полюбят эту жалкую жизнь и потеряют всякое желание умирать.

Все это привело бы меня в отчаяние, будь я еще зеленым юнцом; но душа моя понемногу черствеет, и эмоциональный взгляд на вещи уступает место научному, что дает мне огромное облегчение.

Кстати, пиши мне, пожалуйста, менее скупое о молодой мотальщице — кажется, ты так ее назвал, — которая, видимо, занимает не последнее место в твоём сердце. В ответ, мой друг, — откровенность за откровенность, — я поведаю тебе, и весьма пространно, о роли печени в выработке агглютининов.

Мысль об исследовании агглютининов — тебе это ничего не говорит, но притворись, будто ты все понимаешь, — принадлежит лично мне, хотя почти все мысли, зреющие ныне у меня в голове, подсказаны патроном. Я признаюсь в этом без всякой неловкости, признаюсь даже с гордостью. Мы с тобой придерживались вздорных идей об оригинальности, особенно в «Уединении», где нас окружали смутьяны, или, точнее сказать, анархисты. Мы утратили способность повиноваться, и это было бы большим несчастьем, окажись такая потеря непоправимой, окончательной. Обо мне можешь не беспокоиться. Я делаю успехи в области индивидуализма — я объясню тебе потом, как и почему, и постараюсь защитить свою точку зрения, — итак, я делаю успехи в области спасительного индивидуализма; однако на первой же странице всех моих тетрадей я написал с помощью условных знаков, понятных мне одному, следующее краткое правило: «Повиноваться прежде всего». Не подумай, будто я хочу временно отказаться от собственной воли. Вот что означают для меня самого эти слова: «Тщательно выбирать своих наставников и повиноваться им». Заметь, я сказал «наставников», а не «начальников». Мысль о начальнике мне совсем чужда, хотя и менее близка, чем мысль о наставнике. Я хочу учиться, иными словами, познавать, усваивать, я хочу расти, быть может, потому, что принадлежу к семье, набирающей силы, идущей в гору, как говорит Жозеф, который путает два понятия — подъема и богатства. Я не прошу освободить меня от ответственности, не собираюсь идти с закрытыми глазами, я требую духовной пищи, хлеба насущного. И не могу обойтись без руководства.

Я прекрасно понимаю, что подлинный начальник является также и наставником, поскольку он преподаёт людям, скажем, уроки мужества, решимости. Ты, Жюстен,

по собственной воле решил подчиниться дисциплине, значит, у тебя имеются все качества, необходимые для начальника; можешь не сомневаться в этом, несмотря на все разочарования, постигшие нас в Бьевре. Но мне-то к чему начальник, ведь я не человек действия? Нет, нет, я требую именно наставников.

Ты недоумеваешь, конечно, почему я говорю о наставниках? Разве недостаточно одного наставника, если он наставник настоящий? Можешь быть спокоен, я обдумал этот вопрос. При выборе наставников можно ошибиться. Поэтому благоразумие требует получить прежде всего данные для сравнения. Это не что иное, как римский метод, перенесенный из области управления в область познания: *consules ambo*¹. Видишь, я открываю тебе, при условии соблюдения полнейшей тайны, свой план или, лучше сказать, свой метод.

Данные для сравнения являются в то же время и данными для контроля. Я говорю контроля, а не критики. Критиковать я не отваживаюсь. Мне необходимо кем-нибудь восхищаться, Жюстен, да, да, да! И пусть даже я ошибусь, для меня важно само чувство восхищения, важнее даже, чем его объект.

Если бы Жан-Поль Сенак прочел это письмо, с ним случился бы, по-моему, нервный припадок. Он настолько лишен способности восхищаться, что это почти трагично для поэта. Он поведаль мне вчера одну из тех тайн, которые позволяют заглянуть в глубину человеческой души. «Все считают, — сказал он, — что у меня отвратительный характер, но признают, что я умен. Это неправда, я глуп. Только я этого никому не говорю. Я один достаточно умен, чтобы понять, насколько я глуп».

Странно видеть Сенака с его сухим, бесплодным умом в присутствии такого человека, как патрон. Ты догадываешься, конечно, что я имею в виду г-на Шальгрена. Жаль, что фразеология социальных распрей опошילה прекрасное слово «патрон». Когда Шлейтер заговаривает о хозяевах, о патронах, о предпринимателях, он превращается в доктринара, в фанатика, предающего анафеме инакомыслящих. Я еще вернусь к Шлейтеру, который заделался настоящим политиком с тех пор, как он купается в лучах славы Вивиани. Для меня слово «патрон» по-прежнему означает человека, служащего

¹ Оба консула (*лат.*).

примером, отца, призванного защищать и даже создавать. В медицинской среде, которую я, право же, люблю от всего сердца, ученик называет наставника «сударь». Ты не можешь себе представить, как прекрасно это простое слово, как оно благородно, почтительно, особенно если юноша обращается к тому, кто учит его, кто руководит им. Если отношения между учителем и учеником становятся более сердечными, последний отказывается в минуты духовной близости от слова «сударь» и позволяет себе назвать наставника «патрон». Именно так я называю г-на Шальгрена, хотя это не принято в Коллеже, и он терпит это обращение, памятуя о своей работе в больницах. Мне кажется даже, что слово «патрон» трогает его как знак сыновнего почтения.

Я напишу здесь свою диссертацию по естествознанию. Что же касается моей диссертации по медицине, я собираюсь защитить ее почти одновременно с первой и для этого хочу поработать у Николя Ронера, не отказываясь, впрочем, от своего места в Коллеже. Я писал тебе о двух наставниках, понимаешь теперь, к чему я клоню.

Я ходатайствовал о месте препаратора, ныне вакантном, в лаборатории профессора Ронера. Жду ответа. Эта должность плохо оплачивается, но она поможет мне получить доступ к одному из самых выдающихся людей нашего времени и поработать вместе с ним. Мне кажется по некоторым данным, что патрон высоко ставит г-на Ронера. Он нередко ссылался на него в своих книгах, и притом с неизменной похвалой. О работах Ронера он говорит с величайшим уважением. Я не сказал г-ну Шальгрену, что надеюсь получить место у Ронера, и сделал это из робости, а не потому что скрытничая с ним.

Впрочем, спешного тут ничего нет. Г-н Ронер сейчас в России. Он поехал туда на холеру. Ты, вероятно, знаешь, что в России свирепствует холера. Она появилась сперва на Волге. А теперь вспыхнула в Санкт-Петербурге. У нас во Франции была создана комиссия по борьбе с этой эпидемией. Ронер тотчас же предложил свои услуги. Все, кто знает профессора, говорят о нем как о человеке на редкость мужественном и хладнокровном. Разве не прекрасно это братство народов, ставшее возможным благодаря науке?! — Вот я и заговорил языком доктора Паскье, моего папаши! — Холера косит людей в России; тут же является крупный французский ученый и говорит: «Распоряжайтесь мною!»

Быть может, я напрасно рассказал тебе эту историю. Как человек восторженный, ты вполне способен взять билет на поезд и помчаться в Россию. К счастью для тех, кто тебя любит, у тебя, насколько мне известно, нет ни гроша в кармане.

Услышав разговоры об этой эпидемии в день нашего семейного сборища, Жозеф пожал плечами и сказал какую-то грубость по поводу франко-русского союза: «Превосходно, давайте нам свои миллионы, а мы дадим вам нашу холеру», или что-то в этом роде.

Как ни странно, но в вопросе о франко-русских отношениях Жозеф и Сенак довольно хорошо понимают друг друга. Сенак не выносит ни Стерновича, ни других русских, работающих у г-на Шальгрена. Он бормочет себе в усы: «Эти молодцы намереваются спасти мир, построить новое общество, а сами не могут пришить пуговицу к пиджаку...» И странное дело — у самого Сенака вечно не хватает на пиджаке нескольких пуговиц. Сенак — страшный человек, и опасен он главным образом для тех, кто на него похож.

Сенак садится иной раз на табурет против меня и, в ожидании г-на Шальгрена, вопрошает: «К чему, в сущности, стремятся ученые, вроде тебя? Да к тому, чтобы помешать людям умирать. Какая чушь. Если наука помешает людям умирать, их нечем будет кормить. Им придется вести войну и убивать друг друга. Веселенькая получится история».

Стоит нам заговорить о подвигах Уилбура Райта, как Сенак пожимает плечами и заявляет: «Все эти прекрасные открытия будут использованы честолюбцами и сумасшедшими. В общем, вы, ученые, основные орудия всемирного беспорядка!»

Как это печально! Сенак внушал бы мне гадливость, если бы я его не знал. Но я его знаю! Ты не раз просил меня не писать тебе о Сенаке. Почему? Он странный тип. Такого человека, как он, нельзя без сожаления предоставить собственной участи. Да и, кроме того, я уже давал себе слово не писать о своем семействе. Если я перестану рассказывать тебе о моих товарищах, мне почти не о чем будет с тобой говорить. А надо признаться, эта переписка и приятна мне и полезна: она позволяет мне изливать душу и, главное, помогает приводить в порядок мысли. Знай же, что я эгоист.

Постарайся в своем следующем письме поменьше писать мне о доктринах и побольше о людях. Кропоткин мне нравится, договорились; но мне хотелось бы знать о твоих товарищах по работе и прежде всего попросить тебя меньше скрывать со своим старым другом, когда речь заходит о той самой девушке... До следующего письма. Обнимаю тебя. Vale¹.

29 сентября 1908 г.

Глава III

Господин Оливье Шальгрэн, профессор Французского коллежа. Рассеянность ученого. Непринужденный монолог о рационализме XIX века. Интермедия о музыкальных вибрациях. Задача, стоящая перед рационализмом XX века. Одна из особенностей бенгальского языка

Раза три или четыре за минувшую весну я предлагал тебе, пока ты еще не уехал: «Заходи в Коллеж утром или после обеда, и, быть может, ты увидишь г-на Шальгрена». Ты не смог прийти, ты не пришел. Сожалею об этом. Теперь мне придется описать тебе профессора, и описание выйдет многословным, растянутым, тогда как ты уловил бы все молниеносно, с одного взгляда.

Портреты, которые ты видел в газетах, дают весьма отдаленное представление о г-не Шальгрене. К тому же он не любит сниматься. На всех фотографиях вид у него суровый, почти жесткий. Ошибочное впечатление! Не подумай также, будто патрон держится напряженно, неуверенно, отнюдь нет, он обладает чудесной сдержанностью, которую мне самому хотелось бы иметь во всех случаях жизни. На фотографиях он, неизвестно почему, кажется высоким. Он не очень высок, но сухощав; и заметь, что сухощавый не означает щуплый. Если бы слову «аристократ» можно было вернуть его прекрасный первоначальный смысл, я сказал бы, что Оливье Шальгрэн подлинный аристократ. Я не раз задавал себе вопрос, не

¹ Будь здоров (лат.).

внук ли он архитектора Шальгрена, построившего Французский колледж, где мы работаем. Я не решаюсь расспрашивать его по этому поводу. Да это и неважно.

Лицо у него бритое, очень бледное, изборожденное благородными морщинами. Очков он не носит, лишь изредка надевает их. По-моему, он против очков не потому, что заботится о своей внешности — она мало его трогает, просто ему хочется соответствовать, несмотря на возраст, сложившемуся у него представлению об облике ученого. Он часто говорит: «Ученый, естествоиспытатель, работающий в лаборатории, — прежде всего здоровое животное, он должен все видеть, все слышать, все ощущать». В самом деле, патрон на редкость наблюдателен, восприимчив. И не отказывает себе в удовольствии продемонстрировать это, к стыду своих учеников; от него ничего не ускользает. Он слышит, как падает пылинка, замечает тень волоса на стене. По едва уловимым признакам угадывает, кто побывал в лаборатории. «Сегодня утром сюда приходил господин Сенак», — говорит он иной раз. Должен сознаться, что смешанный запах спирта и табака, столь характерный для Сенака, можно почувствовать и при обычном обонянии.

У г-на Шальгрена довольно длинные волосы, вьющиеся, шелковистые, почти совсем седые. Они касаются ворота его рабочей блузы и, можешь быть уверен, не оставляют там ни малейших следов перхоти: все на нем чисто, опрятно, без ненужного фатовства. Хочется также рассказать тебе о его руках, которые, по-моему, очень красивы. Правда, кожа на них суховата, особенно возле суставов, так как, если верить энциклопедии, патрону лет пятьдесят шесть — пятьдесят семь, но подвижность этих рук, их изящество приводят меня в восторг. Никогда ни одного лишнего или несоразмерного жеста: в каждом движении та полная гармония, которой, по всей вероятности, объясняется власть чародеев и гипнотизеров.

Если бы патрон случайно прочел это письмо, оно вряд ли бы ему понравилось. Он создал себе очень ясное, очень трезвое представление о том, что я назвал выше его обликом; но он не любит им, не проявляет к нему ни малейшего снисхождения. «Надо хорошенько себя узнать, чтобы лучше о себе позабыть», — замечает он иногда.

Все его работы говорят о редкой последовательности, и, однако, он человек рассеянный. Или, лучше сказать,

он разрешает себе отвлекаться, охотно поддается своей рассеянности. Стоит ему о чем-нибудь заговорить, и он поминутно уходит в сторону от основной темы, открывает новые пути, боковые тропы. Он умолкает, возвращается обратно, забегает вперед, устремляется ввысь, опять умолкает, внутренне становится на колени, если можно так выразиться, рассматривает скрытый от наших глаз предмет, и рассматривает так долго, что кажется, будто он успел задремать, только взгляд бодрствует, бархатистый взгляд серо-карих глаз, то устремленный в одну точку, то подвижный, взгляд удивительно мягкий, и, однако, выдержать его трудно, когда он бывает пристальным, сосредоточенным.

Вчера утром он зашел ко мне. Я как раз рассматривал под микроскопом срезы печени и клетки Купфера, которые мне удалось поместить в самом фокусе. Патрон наблюдал несколько минут за моей работой и неожиданно попросил:

— Пожалуйста, Паскье, покажите мне ваши препараты!

Он сел вместо меня на высокий табурет в ярком свете, падавшем из окна. Право, бледность у него почти неестественная, что очень меня беспокоит; конечно, это не желтизна слоновой кости, характерная для рака, а скорее пергаментная бледность некоторых сердечных больных. И порой его белое лицо становится еще блее, словно оно может бледнеть до бесконечности.

Он незаметно переставил пластинку микроскопа, чтобы обежать взглядом весь препарат. «Поразительно, поразительно!» — приговаривал он. Затем с улыбкой взглянул на меня: «Я не принадлежу к числу тех, кто находит, что все логично, все естественно, все объяснимо. Нет, конечно же, нет!»

Он повернулся ко мне на табурете и продолжал, по-прежнему улыбаясь, словно имелась явная связь между тем, что он сказал, и тем, что собирался сказать:

— Знаете, мой друг, меня только что избрали председателем Общества по рационалистическим изысканиям. Я уже давно принадлежу к этому старому обществу. Можно ли не быть рационалистом, Паскье? Люди моего возраста были вскормлены этим горьким, но питательным молоком. Да и как не быть рационалистом, дорогой друг? Если мы освободились наконец от жалких суеверий, от всех разновидностей мерзкого фанатизма, то мы

обязаны этим прежде всего твердому и мудрому рационализму. Я гораздо старше вас, Паскье. Я сам был свидетелем последних конвульсий былых химер. Я сказал «последних». Но они еще возродятся, они возрождаются каждый день. Возрождаются даже у людей со светлой головой. Возьмите хотя бы Клода Бернара, который всю жизнь победоносно сражался с витализмом, с анимизмом и прочими ошибочными доктринами. Так вот, под конец жизни этот самый Клод Бернар принялся фантазировать, и фантазировать наугад. Он втайне подготовил работу против идей Пастера, работу незаконченную, которая не увидела света до его смерти, но Бертелло разыскал ее не то сам, не то через третьих лиц в ночном столике покойного и хладнокровно опубликовал. Это произошло в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году, в разгар лета, мне было тогда двадцать семь лет. Трудно себе представить гнев Пастера, ведь за двенадцать лет до этого он написал о Бернаре очерк, полный блистательных похвал. Пастер, по своему обыкновению, разрешил спор. И не только разрешил, но и все поставил на место. Мы следили, затаив дыхание, за всеми перипетиями этой драмы, так как для нас это была драма...

...Обратите внимание, Паскье, вы колете своих кроликов в боковую вену и правильно делаете; но вон у того кролика уши совсем прозрачные: у него гематома, которая грозит общим заражением... Как всегда, Пастер одержал победу, и фантазеры отказались на время от своих фантазий. Задумывались ли вы когда-нибудь, мой друг, о том, что Пастер, человек верующий, возвышенная душа, был одним из величайших проповедников рационализма. Во всех своих даже наименее важных работах он — воплощение рационалистической логики. И находятся люди, думающие, будто мир, в сущности, несложен... Я уже сказал вам, что меня назначили председателем Общества по рационалистическим изысканиям. Я долго колебался, мой друг, прежде чем принять эту довольно обременительную честь, и если я в конце концов согласился, то не без тайного умысла.

Патрон сделал характерное движение губами, словно он что-то пережевывал. Обычно это служит у него признаком волнения. Затем негромко просвистел несколько тактов из Персифаля на мотив «Тайной вечери». Почему? Да, почему? Не знаю. Наконец, понизив голос, продолжал свой монолог:

— Замечали ли вы, мой друг, что ваши зверьки чувствуют музыку? Все животные чувствуют музыку, даже рыбы, и это поразительно. Сом, например, прекрасно слышит звонок. Я уже не говорю о змеях, которые раскачиваются под звуки музыки. Но человек, Паскье, человек! Попробуйте взглянуть на вещи объективно: звук есть вибрация, и вибрация довольно примитивная. Допускаю, что восприятие звуковых волн может оказывать более или менее благоприятное влияние на живую клетку, эту поразительную субстанцию, о которой мы почти ничего не знаем; но разве мы все сказали, говоря о приятном или неприятном впечатлении? Разве такие слова хоть сколько-нибудь соответствуют бесконечному миру радостей и мук, которые пробуждаются в нас только потому, что наша барабанная перепонка вибрирует под влиянием звуковых волн? И пусть мне не говорят об ассоциации идей и воспоминаний — это не разрешает проблемы. Вы воспроизводите при помощи трубочки или струны четыре-пять последовательных звуков, и я впадаю то в экстаз, то в мрачное отчаяние. Как вам известно, люди, подобные Вакслеру, упорно сводят все это к вопросам биологической химии, к уравнениям, к крикам. Это же ребячество!

Снова пауза. Патрон тихо качал головой, а я ждал, предоставляя ему бродить ощупью в этих богатых мыслями дебрях. Он опять заговорил:

— Я человек девятнадцатого века, а девятнадцатый век останется в истории веком торжествующего рационализма. Меня радует это. Но люди не бывают благоразумны в своем торжестве, и даже разум, восторжествовав, проявил недостаточно сдержанности и такта. Впрочем, это естественно после стольких веков угнетения и варварской тирании! После всех этих тюрем и костров. Можно покарать Исидора или Система, но не Галилея: перед Галилеем преклоняются, его учение продолжают. В конце концов рационализм взял верх. К сожалению, опьянев от успеха, иные трезвые умы решили, что разум может и должен все объяснить. Вот видите, дорогой друг, какое щекотливое создалось положение. Допустить в принципе, что разум не в состоянии всего объяснить, значит заранее сложить оружие, отступить перед химерой, понимаю. Но утверждать, будто разум может все объяснить, значит насаждать от избытка самомнения новое заблуждение, новую разновидность не-

вежества и варварства. Паскье, я говорю так, словно я один, так, как мне случается говорить, когда я бываю один.

По всей вероятности, я улыбнулся, потому что лицо патрона осветилось ласковой улыбкой.

— Вы, Паскье, человек двадцатого века. Я не говорю, что рационализм не узнает новых боев и даже новых потрясений. Всегда приходится начинать сызнова — окончательной победы не существует. Полагаю, однако, что человечество перенесет на другую почву свою потребность в конфликтах, в столкновениях, в борьбе. В самом деле, социальные разногласия с каждым днем обостряются. Они не замедлят принять характер прежних религиозных войн. Рационализм стоит на достаточно прочных позициях, чтобы оказаться не скажу терпимым, но попросту мудрым. Рационалистическое миропонимание может признать без стыда, что оно не единственно возможное, что существуют другие пути, быть может, опасные, но которые все же ведут куда-то. Рационализм достаточно силен сегодня, чтобы пойти на мировую. Понимаете? Я надеюсь, если уж все говорить до конца, что рационализм перестанет смотреть на себя как на естественного противника интуитивного или религиозного познания и даже познания мистического или поэтического. Это может стать великой задачей двадцатого века. Задачей людей вашего возраста. Я лишь возвещаю ее. И чтобы сделать это с наибольшим авторитетом, я согласился стать во главе нашего старого Общества, где имеется много людей, впрочем, весьма достойных, которые по-своему исповедуют рационалистический катехизис и, сами того не подозревая, бывают столь же непреклонны и слепы, как их враги, и даже фанатичны на свой манер.

Патрон снова наклонился над микроскопом и стал рассматривать мои препараты. Он говорил, умело регулируя аппарат:

— Бертело умер в прошлом году... Как это мы не чувствуем, что наш смертный час пробил? Почему природа, которая и так делает много таинственного, не предупреждает нас об этом? Почему мы не чувствуем, что смерть близка, что мы начинаем переживать себя и даже препятствовать развитию наших собственных идей?

Я слушал. Я ждал новых, замечательных признаний. Но тут вошел Сенак с портфелем, набитым бумагами,

Патрон тотчас же встал. Он снова был собран, подтянут, готов к новым трудам. Он улыбался, чуть не смеялся. Он говорил:

— Позовите меня завтра, чтобы показать новые срезы. Завтра, завтра... Вам, вероятно, известно, Паскье, что на бенгальском языке понятия «завтра» и «вчера» обозначаются одним и тем же словом. Бенгальцам можно позавидовать. Впрочем, этого штриха достаточно, чтобы объяснить завоевания англичан и многое другое. Рационализм — жесткий и тяжелый корсет, но отказываться от него не надо. Я по-прежнему остаюсь рационалистом... Идемте же в библиотеку, господин Сенак.

Они вышли. Признаюсь тебе, старый друг, что я проклинал Жан-Поля Сенака. Надо же было ему свалиться как снег на голову и помешать нам! Я был так счастлив!

Я описал тебе эту сцену, пока она еще свежа в тайниках моего сердца. И описал плохо. Ты не представляешь себе, как это было замечательно. Гораздо свободнее, гораздо проще, чем все, что я мог бы тебе сказать. Я подписываюсь без обиняков:

*Л. П., рационалист нового века,
или лучше Л. П., неорационалист.*

2 октября 1908 г.

Глава IV

Превосходная тема для диссертации. Величие и упадок бережливого человека. Полезное и бесполезное. Элен, или о покорности в браке. Деловые люди и ученые. Собака финансиста. Чувство собственности и долги. Паломничество, предпринятое ради очищения души. Крик в заброшенном парке. Лоран назначен пре-паратором к 2-ну Николя Ронеру

Фове вернулся из поездки. До занятий еще далеко, но работа у нас есть, и мы знаем, что патрон скоро будет на посту: две недели отпуска, две недели вне лаборатории, вероятно, уже тяготят его. Фове пишет диссертацию.

цию. Тема превосходная: влияние музыкальных вибраций на микроорганизмы. Это, конечно, идея г-на Шальгрена, который говорил со мной на днях — я, кажется, писал тебе об этом — о влиянии музыки на живые существа. Я не ждал Фове раньше конца октября. И вот моя драгоценная тишина нарушена. Дело, конечно, не в том, что Фове шумлив, напротив, этот господин чересчур деликатен. Да и в настоящее время он держится менее надменно, чем прежде, даже чуть-чуть искачительно.

Вчера я отнес Жозефу тысячу франков, весь мой личный капитал. И, поверь мне, сделал это от всего сердца. К сожалению, Жозеф был невозможен, или, точнее, верен себе. Бывают дни, когда в него словно вселяется бес. Он пригласил меня обедать, но не обошелся при этом без неприятных замечаний: «Проедим наши последние денежки... Под конец надо сделать широкий жест... Нет, нет, идем... Одним безумством больше или меньше...»

Обед был обставлен просто и уютно. Мне показалось, что число слуг в доме уменьшилось. Жозеф не преминул заметить: «Я увольняю их постепенно, чтобы не вызвать подозрений. И, главное, ни слова Элен об этих делах. Она ничего или почти ничего не знает. Спасибо за тысячу франков. Это все же кое-что в моем почти трагическом положении. Важно, чтобы все обошлось и у меня не отняли бы вот этого!»

И с этими словами он указал на ленточку у себя в петлице. Ты ведь знаешь, — кто этого не знает? — что он получил в январе орден Почетного легиона. Странная вещь: Жозеф, который настойчиво советовал мне не носить никаких знаков отличия, придает огромное значение своему ордену. Он всячески выставляет его напоказ и время от времени замечает: «Теперь настала очередь папы. Я займусь этим делом, не беспокойся. Награждение отца значит для меня не меньше, чем мое собственное...» Жозеф только говорит так, а на самом деле вовсе не спешит добиться успеха и потерять то преимущество, которое он якобы приобрел благодаря этому украшению.

Как видишь, я не позволяю Жозефу дурачить себя. Да мне и не хотелось бы давать ему повод для насмешек. Я вручил ему тысячу франков, не сказав, что мне пришлось отказаться от покупки зимнего пальто и газо-

вой печки. Напротив, я принял рассеянный вид человека, не придающего значения столь скромной сумме.

Во время обеда разговор шел о том, что полезно и что бесполезно. Превосходный повод для Жозефа говорить всякую ерунду. Он смотрит на жену и изрекает комическим тоном:

— Возьмем хотя бы тебя, дорогая! Ты так называемая образованная женщина, а что ты знаешь полезного в жизни? Ты лицензиат каких-то естественных наук, кажется, химических, а сделать простую яичницу и то не сумеешь.

И вдруг мрачно заявляет:

— Бывают, однако, обстоятельства, при которых светской женщине приходится самой готовить яичницу...

Он вздыхает. Элен поразительно спокойна. Она улыбается, и на ее правой щеке появляется прехорошенькая ямочка, на которую я уже давно обратил внимание. Элен заметно пополнила. Ее нежное лицо блондинки сильно краснеет, особенно после еды. Я спросил, почему детей нет дома. Жозеф ответил с театральным жестом:

— Они у мамы! Им там прекрасно. Няня стоила слишком дорого.

Новый вздох и подмигивание левым глазом по моему адресу. И тут же Жозеф прибавляет:

— Вся эта сорбоннская премудрость — чистой воды надувательство. Лиценциаты знают формулы и цифры. Но когда речь заходит о том, чтобы, скажем, приготовить для больного аспирина или глауберову соль, приходится обращаться к обыкновенным подмастерьям, которые получили разумное образование в специальных школах и прекрасно понимают, что к чему; они-то и выполняют всю работу. Вы же просто-напросто предметы роскоши, статисты, жонглеры идеями, а ваша научная деятельность лишь вывеска, не больше.

Элен сказала: «О, я-то!» — и опять последовала улыбкой с ямочкой.

По прошествии стольких лет этот брак все еще изумляет меня. Братец Жозеф грубовато шутит, пытаясь скрыть почти суеверное почтение, которое он питает к умственному труду, и, в сущности, очень гордится познаниями и дипломами жены. Но все это тревожит его, и он пытается окольными путями взять перевес над женой. Вчера, в конце обеда, он сказал:

— Я не человек науки, не наблюдатель-виртуоз, как ты, Лоран. Но я чистосердечно верю в прогресс. Впрочем, вы, ученые, работаете лишь на нас, деловых людей. Да, вы, сколько вас ни на есть, даже астрономы. Ты разрезаешь мышинные лапки на микроскопические кусочки и заявляешь: я занимаюсь чистой наукой! Но все это приведет к созданию какого-нибудь химического продукта, к заводам, к акциям, которые мы станем покупать и продавать, и эти акции вдохнут подлинную жизнь в ваши благоглупости.

Он покраснел, воодушевился. Он пил и ел с большим усердием и все же изредка шумно вздыхал, и лицо его ненадолго принимало похоронное выражение. Не без лиризма орудуя вилкой, он снова принялся рассуждать:

— Возьмем хотя бы твоего друга Сенака и те вещи, которые он пишет и публикует в газетах или журналах, не знаю точно... Изготавливать романы, изготавливать стихи, делать научные открытия! Подумаешь!.. Я мог бы делать то же самое, если бы захотел. Не смейся! Погоди минутку! Вот сейчас, не сходя с места, я придумаю сюжет для фельетона. Сделаю научное открытие здесь, за столом, с помощью вилки и бутылки вина. Погодите только одну минуту! Но нет, к черту, плевать мне на это. Я предпочитаю делать деньги. Это более трудно, зато гораздо важнее.

В коридоре, когда я, совершенно измученный, уже собирался проститься, Жозеф сразу успокоился и рассмеялся. Он посмотрел на бегающего фокстерьера, ибо у этого банкрота великолепный, просторный дом, и сказал:

— Взгляни на мою собаку. Она — умница: скачет на трех лапах. Оставляет одну про запас, на старость. Настоящая собака бережливого человека.

Бережливость! Он только и говорит об этом с тех пор, как разорился. Я оглядывал переднюю, ковры, мебель — насколько мне известно, весь дом принадлежит ему или, по крайней мере, принадлежал две недели тому назад, — и мне было немного стыдно за свою жалкую тысячу франков, за каплю воды, которую я принес в эту Сахару. Он, видимо, понял мой взгляд и проговорил, морща лоб:

— У меня масса забот, Лоран. Люди, не имеющие состояния, не понимают своего счастья! Но, знаешь, твоя тысяча находится в надежных руках, не беспокойся.

Я верну тебе деньги, можешь не сомневаться, и даже с крупными процентами. Дан мне только расплатиться с долгами.

Тут он выпрямился, обрел свою обычную решимость и самоуверенность. Он снова напыжился, если можно так выразиться. Он говорит «мои долги», как собственник, как другие сказали бы «мои поместья». Я плохо знаю дела Жозефа и не представляю себе, велики ли эти пресловутые долги.

Я собирался отворить дверь и сбежать, но он схватил меня за руку. Он говорил тихо, как бы извиняясь, и улыбался при этом плотоядной улыбкой. «Когда я пью, когда я ем или занимаюсь любовью, — принял я он объяснять, — я наслаждаюсь в тысячу раз больше, чем остальные люди». И сжал зубы. Он верил тому, что говорил.

Затем прибавил без всякой видимой связи:

— Я послал тебе корзину груш, груш из Пакельри! Сознайся, что у груши из Пакельри замечательный вкус.

Он послал мне груши, это сушая правда, и уже напоминал мне об этом более десяти раз. Он хочет, чтобы я говорил о них при каждой встрече, распространялся об их вкусе, аромате, нежности, сочности... То же самое происходит всякий раз, как он делает мне какой-нибудь подарок. Слава богу, он не часто их делает!

Он не сразу отпустил меня. Высунув голову в приоткрытую дверь, он твердил сквозь зубы: «Я хочу спасти Пакельри. Недаром я обратился к вам, недаром стал трубить сбор. И однако, когда я живу в Пакельри, меня тянет в Болье, а когда я в Болье, мне хочется быть в Мениле. Глупо, да? Я завидую людям, у которых один-единственный дом — они не знают своего счастья. Но скоро, очень скоро, все это кончится. (Шумный вздох.) Только бы удалось спасти Пакельри! Подумай только! Ведь это колыбель нашего семейства, Лоран!»

Наконец я сбежал. Еще немного, и я вышел бы из себя. Колыбель семейства! Это прямо-таки находка, если вспомнить, что он уже три года владеет этим поместьем.

Кровь бросилась мне в голову, это всегда бывает со мной после разговора с Жозефом. Как объяснить тебе мое душевное состояние? Я не могу понять Жозефа и, наверно, прескверно описываю его в своих письмах. Иногда я ненавижу его и вместе с тем жалею. Попытаюсь быть предельно искренним и сказать тебе все как

есть. Я был уверен, что совесть моя чиста перед Жозефом. Конечно, я не завидовал его богатству и даже думал о нем со спасительным отвращением, ведь что там ни говори, а деньги финансистов заработаны тяжким трудом множества безвестных людей, гнувших спину в нижних слоях общества. Итак, я старался не думать об этом богатстве, и обычно мне это удавалось. Так вот, с тех пор как Жозеф разорился, я испытываю смутное сожаление. Да, да, мне неприятно, что он потерял все эти деньги. Меня раздражает необходимость жалеть его. Я знал, что Жозеф воспользуется любым случаем, чтобы попросить у меня чего-нибудь — денег, внимания, книгу, рекомендацию. А теперь приходится еще дарить его заботой, чуть ли не жалостью. Он ненасытен.

Мне очень хотелось очистить душу после этого обеда и найти несколько часов для спокойного раздумья: срочной работы в лаборатории не было, и я сделал нечто такое, в чем непременно должен тебе признаться, во-первых, потому что я дал себе слово никогда от тебя ничего не скрывать — а это поможет мне ничего не скрывать от самого себя — и, во-вторых, потому что ты поймешь, уверен в этом, охватившее меня чувство.

Я сел в поезд на Люксембургском вокзале и поехал вот так, совсем один, поклониться Бьевру.

Сначала мне было трудно мысленно отрешиться от Жозефа. Он причиняет мне боль, унижает меня. После наших встреч я думаю упорно, с отчаянием, не похож ли я на него хоть немного. И в конце концов отыскиваю черты сходства, а это тяжело.

Итак, в поезде я отнюдь не был в состоянии благодати. Когда мне случается испытать душевную боль, я всеми средствами пытаюсь преодолеть ее. Я говорю себе, например: «Предположим, что это не я... что горе случилось с другим... Ну же, вообразим, что я тут ни при чем...» К сожалению, это почти никогда не удается, и мне приходится мучиться, пока горе не утихнет.

Я все же приехал в Бьевр и там сразу почувствовал, что избавился, да, избавился от Жозефа, так как другие тени закружились вокруг меня. Они проделали со мной весь путь до конца.

Стоял осенний день, прекрасный, мягкий, в дымке прозрачного тумана. Все запахи, казалось, достигли чудесной минуты своего завершения. Завтра, вероятно, они

будут испорчены гниением, смертью. Я дошел до калитки, следуя вдоль ограды, нашей ограды... Как и прежде, там висит объявление. Дом сдается внаем. Ключи находятся у мамыши Кловис, нашей бывшей поденщицы. Какая досада! Идти за ключами к этой старой карге не представлялось возможным: мой приезд, это неожиданное возвращение внушили бы ей мысль о всяких ужасах, навеянных детективными романами. Я обошел кругом все поместье. В том месте, где каменная кладка осыпалась, я без труда влез на ограду и примостился на ней. Какое волнение охватило меня! Я видел все — огород, парк, дом, хибарку садовника, которую занял под конец Бренуга, сарайчик, где последователь Толстого Жюссеран пилил по утрам дрова, водокачку, которую нам пришлось чинить во время холодов... Помнишь, как на самом ее верху Ларсенер еще пел нам свою знаменитую оперу «Макалас и Жирламир»? Я слышал удары тарана — он все еще работает. Мне казалось, что окна мастерской вот-вот откроются, ты появишься в одном из них и захлопаешь в ладоши, призывая нас на работу. Тогда я сделал глупость, которая показалась мне, однако, вполне естественной. Я крикнул: «Жюстен!», и этот крик разнесся в вечерней тишине. И тут случилось нечто, удивительное: ты мне ответил. Да, да, я не брежу. Вероятно, в этом месте существует эхо, которое мы никогда не замечали, и звук, видимо, отражается от стены дома. Ты мне ответил. Это означает даже для рационалиста, что из дома до меня неожиданно донесся крик. И это был твой голос.

Я спрыгнул на землю и ушел. Я не жалел, что совершил это паломничество. Мои мысли прояснились, стали приходить в порядок. Мы попытались жить вместе, в семье друзей, и натолкнулись на непреодолимые трудности. В сущности, мы не знали друг друга, и никакое высшее правило не помогло нам «видеть своих ближних в боге», как говорит философ. Мы с горечью увидели приятелей такими, какими они были на самом деле, и испытали боль разочарования. Своих родителей не выбираешь, и это очень жаль. Я начинаю понимать, что друзей тоже не выбираешь. Их приобретаешь, сохраняешь, терпишь и ведешь за собой; да, так уж повелось. Утешения ради, я полагаю, что человек выбирает своих наставников. Я уверен, что можно и должно выбирать своих наставников.

Я направился в Масси, чтобы сесть там в поезд. Прошел через весь Верьерский лес, который понемногу расцветивает осень. Какая тишина! Под сводом деревьев пела птица, одинокая птица. Можно было подумать, что это звенит колокольчик в заброшенном храме.

По возвращении домой я нашел письмо, в котором сообщалось, что я назначен препаратором к профессору Ронеру; он читает лекции в Сорбонне, но его лаборатории находятся при институте Пастера.

Вот это новость так новость! Мне следовало бы сразу сообщить ее тебе, но я оставил ее на закуску. После этого я промечтал всю ночь. Хорошо, что я поехал в Бьевр и отпраздновал свои последние свободные дни! Отныне с моими двумя наставниками мне предстоит немало хлопот.

Сегодня утром я объявил о своем назначении г-ну Шальгрёну. Он ждал этого, так как был осведомлен о моем прошении. Он ограничился словами: «Господин Николя Ронер — выдающийся ученый». Как прекрасна эта полная гармония двух интеллектов в Эмпирее!

Я пишу тебе дома, в своей комнате. Если бы я громко позвал тебя, скажи, ты бы откликнулся? Не думаю, ты пренебрегаешь мною, и мне подолгу приходится ждать твоих писем.

Твой верный друг и брат.

15 октября 1908 г.

Глава V

Сенак желает делать опыты. Размышления о потерянном рае. Первая беседа с г-ном Ронером. Лоран старается быть беспристрастным. Любовь и печаль Тестевеля. Скрытая похвала одиночеству

Да нет же, дорогой Жюстен, я не давал твоего адреса Сенаку. И если ему известно, что ты нанялся простым рабочим на прядильную фабрику в Рубе, я тут ни при чем. Я не избегаю произносить твое имя и даже беседую с ним о тебе. Но вообще-то я выжидаю. Говоря откровенно, я не доверяю ему, бываю с ним настороже. И поэтому твои упреки задевают меня и даже оскорбляют.

Но раз Сенаку все известно, и ты знаешь, что он все знает, не подумай, будто он посмеялся над твоей историей. Напротив, по-моему, он был удивлен, взволнован. Да, да, именно взволнован. Он вовсе не бесчувственный человек, а человек, несчастный от природы. А это большая разница. Он сказал мне, жуя свой длинный ус — ибо он снова принялся жевать усы и таким образом к облику бедняги прибавился еще один штрих, — итак, он сказал мне: «Оказывается, Жюстен стал фабричным рабочим». — «Откуда ты знаешь?» — спросил я. Он неопределенно покачал головой, и в глазах его вспыхнул живой огонек: «Я не вижу здесь ничего веселого. Быть может, в один прекрасный день я поступлю точно так же. Надо экспериментировать. Надо все испытать...»

Я с сожалением посмотрел на него. «Все испытать!» В его устах это звучит довольно безотрадно. И, не ожидая моего ответа, он принялся молотить вздор. «У Жюстена собачий характер, — говорил он, — но парень знает, чего хочет». Я передаю тебе смысл его слов. На мой взгляд, это не что иное, как дань уважения. И подумать только, что, по мнению Сенака, у тебя собачий характер! Поразительно!

Вслед за этим Сенак заговорил о Бьевре, что он делает ежедневно, не без дрожи в голосе, посапывания и покашливания. Такие-то дела! Если бы мы добились своего, мы были бы еще в Бьевре, и все шло бы по-старому: каждодневная, будничная работа, борьба за успех, разговоры, ссоры. И вечные жалобы на судьбу. Но мы потерпели крах. Неудача дает простор мечте, развязывает ей крылья. Из-за того, что мы потерпели крах, «Уединение» представляется нам в самом радужном свете. И мало-помалу переходит в разряд возвышенных воспоминаний. Утешение, как видишь, несколько парадоксальное! Размышляя на эту тему, я задаю себе вопрос, чем был, в сущности, потерянный рай? И не потому ли он стал раем, что был потерян? Жизнь состоит, таким образом, из обескураживающих контрастов. Если бы существовали только привычка и иммунитет, все было бы слишком хорошо, а также слишком просто. Но имеется еще и анафилаксия. Понимаешь? Нет? Это не что иное, как состояние повышенной чувствительности организма, который вместо того, чтобы приспособиться к ядам, к чужеродным субстанциям, неожиданно восстает против

них и предпочитает погибнуть. Куда ни повернись, всюду контрасты, антагонизм, разногласия.

Вот мы и отвлеклись от Сенака. Тем лучше.

Я был у г-на Ронера. Попросил профессора принять меня, чтобы представиться ему и сообщить о моем назначении. Я давал тебе как-то его книгу «Происхождение жизни» и уверен, что, познакомившись с ней, ты не испытал ничего, кроме уважения к незаурядному уму ее автора. Полагаю, однако, что сам человек поразил бы тебя.

Я видел г-на Ронера сотни раз издали, когда слушал его лекции. Сегодня утром я увидел его совсем близко. Какая неожиданность! Иные оптические аппараты создают иллюзию приближения. Великолепный повод для ошибок: только подлинное приближение позволяет нам, несовершенным животным, познавать окружающий мир. Видеть в десяти — двенадцати метрах от себя господина, рассуждающего возле своих приборов, кое-что значит. Но пробыть хотя бы минуту с этим человеком, неожиданно оказаться в непосредственной близости от него, близости в пространстве и во времени, видеть неровности его кожи, округлость щеки, чуть заметную растительность на подбородке, ощущать его запах, да, да, я не оговорился, запах его одежды, его тела, его жизни, воспринимать не только тембр его голоса, но и ритм биения сердца, чувствовать теплоту его дыхания у себя на лбу или на руке, встречать его взгляд, пока тот еще не остыл, не изменился под влиянием расстояния или побочных впечатлений, следить за непрерывными изменениями зрачка, за движением мускулов, трепетом век и за многими другими менее заметными, но более таинственными и интересными явлениями, поверь мне, это захватывающее зрелище. Как видишь, я без стеснения провозглашаю себя последователем Шальгрена.

Господин Ронер был в лаборатории, там он меня и принял. Зная о недавнем возвращении профессора из России, где он лечил холерных больных, а следовательно, изучал холеру на месте, я надеялся, что он хоть упомянет об этом. Увы, он ничего не сказал; его молчание меня огорчило и в то же время показалось героическим. Человек едет на борьбу со страшной эпидемией, а по возвращении ведет себя так, словно он прогулялся воскресным днем в Вильнев-Сен-Жорж, чтобы отведать там

жареной рыбы. Мне понравилась эта сдержанность, хотя мое любопытство и не было удовлетворено.

С первого взгляда Николя Ронер не похож на ученого, который ведет кропотливые исследования в области биологии. Его можно принять за военного, скажем, за генерала от артиллерии или за генерала инженерных войск. Он небольшого роста без всякого намека на полноту, на массивность. Держится прямо. Его почти совсем седые волосы коротко острижены и стоят спереди жестким бобриком. Он носит усы и эспаньолку. Черты лица не слишком отяжелели, и кожа сохранила известную свежесть, известную молодость. О взгляде стоит поговорить особо. Он меня озадачил. Это в точности взгляд моего отца, взгляд лазурный, ясный, холодный, слегка иронический. К счастью, этот взгляд иногда беспричинно теплеет, и губы профессора складываются в обольстительную улыбку, что приносит некоторое облегчение собеседнику.

На г-не Ронере была куртка, а не халат. Он, видимо, много курит, так как усы окрашены табаком. Указательный и большой палец правой руки тоже пожелтели. От одежды, от всей его особы исходит еле уловимый запах бензойной смолы.

Тогда как в лаборатории г-на Шальгрена все просто, скромно и даже слегка припудрено пылью, словно подернувшей предметы дымкой мечтаний, в лаборатории г-на Ронера все сверкает, все начищено, отполировано. Г-н Шальгрэн весьма близок душой к Пастеру, который сделал свои прекраснейшие открытия в скромном жилище на улице Ульм. Напротив, у г-на Ронера есть что-то американское — никель, блеск. Не ищи в моих описаниях ничего похожего на критику. Я искренне считаю, что гениальность может проявляться без помпы, без шума. Я полагаю также, что скаредность, свойственная некоторым нашим учреждениям во Франции, может сковать ум и довести ученого до отчаяния. Заметь, что я стараюсь быть беспристрастным.

Мы долго говорим о моих планах. Точнее, я говорю... Г-н Ронер слушает. Иной раз на его лице появляется замкнутое выражение, и мне становится не по себе, будто я разглагольствую перед стеной. Затем он пускает в ход свою обольстительную улыбку, и все кругом озаряется. Профессора, видимо, заинтересовала научно-исследовательская работа, которую я собираюсь вести в

его лаборатории по вопросу о полиморфизме некоторых патогенных бактерий, чтобы на ее основе написать мою диссертацию по медицине. Он неоспоримый авторитет в этой области и первый биолог, который попытался применить к микроорганизмам давние идеи Юго де Ври о мутациях. Я говорю с тобой не совсем понятным языком. Извини меня, зато он как нельзя лучше передает постоянно осаждающие меня мысли. Запомни из этих излияний основное: деля свое время и свой труд между г-ном Шальгреном и г-ном Ронером, я следую зрело обдуманному плану.

Я сказал г-ну Ронеру, что работаю над диссертацией по биологии в лаборатории Французского коллежа. Он сдержанно улыбнулся и ответил, что высоко ценит г-на Шальгрена как ученого. Несколько слов, не больше. Я был глубоко взволнован при виде той благородной простоты, с какой эти двое незаурядных людей заочно, мимоходом, отдают должное друг другу.

Под конец он показал мне свои владения. У меня будет лаборатория, правда, крошечная, но для меня одного. Сотрудников здесь немного, и можно будет успешно сделать нужную мне работу. Пока в лабораториях почти пусто. Я познакомился с бледной высокой брюнеткой, которая исполняет здесь обязанности лаборантки. У нее грустные глаза и низкий, тихий голос. Она показалась мне очень симпатичной. Она занимается, видимо, весьма скромное положение, но держится мило, с большим достоинством. Ее имени я не запомнил.

Я предупредил свою привратницу, что побываю дома до полудня, перед тем как идти обедать к Папийону. К сожалению, кормят там плохо, и большинство ребят сбежало оттуда.

Поднявшись по лестнице до своей квартиры на улице Соммерар, я увидел Тестевеля, сидевшего на ступеньках.

Тестевель очень меня огорчает. Наш верзила совсем опустился. У него скорбный взгляд человека, предавшегося страстям, как говорил некогда Бренуга. Вместо того чтобы выставить себя в выгодном свете, он перестал следить за собой, за своей одеждой. Он плохо выбрит. Ногти запущены, в трауре. Он был таким чистюлей прежде, а теперь ходит в нечищеном костюме. По-видимому, он окончательно впал в любовное безумство. Я говорю об этом с горечью, с беспокойством, ведь речь идет о моей

сестре Сюзанне. О, я не слишком беспокоюсь за Сюзанну: она никогда не выйдет замуж за Тестевеля. Она мечтает о карьере, о театре, об артистической деятельности. Тестевель нужен ей как стоптанный башмак. Раз двадцать на дню она награждает Тестевеля шлепками, похожими иной раз на пощечины. Бесцеремонно дает ему множество невысказанных поручений. Он снова стал работать корректором в газете «Матен» и проводит в редакции часть ночи. Встает он поздно. Вернее, должен бы вставать поздно. Но Сюзанна требует, чтобы он ждал ее рано утром на Пастеровском бульваре и провожал оттуда в Консерваторию. Он устает. Стал бледным и жалким. Сюзанна переняла манию Сенака: она наделяет Тестевеля всевозможными глупыми прозвищами — Тетеря, Тетанус, Тестомеля и т. д. и т. п. В иные дни он бывает наверху блаженства, остальное время погружен в мрачное уныние. Я сказал пару слов Сюзанне. Она весело рассмеялась, и притом с такой невинной жестокостью, что я тоже не мог удержаться от смеха. У нее бывают вздорные требования и капризы. Она приказала, например, несчастному Тестевелю носить галстуки Лавальер. На следующий же день он пришел, нацепив на себя мягкий галстук в горошек. Как бы мимоходом она дернула галстук за концы, чтобы развязать его. Он снова его завязал. Она раз двадцать развязывала галстук. И каждый раз со взрывом смеха. Я разозлился, ведь она моя сестра. Сделал ей замечание. Тестевель был готов меня съесть. Он ворчал: «Ведь это сама жизнь! Это молодость! Ты становишься брюзгой. Неужели ты уже ничего больше не понимаешь?»

Итак, Тестевель ждал меня на лестнице, куря сигарету.

— Ты идешь обедать к Папийону? Давай пообедаем вместе, — предложил он.

На улице я заметил, что он не брился четыре-пять дней, не меньше. Я намекнул ему на это... упущение. Он ответил с блаженной улыбкой:

— Сюзанна попросила меня отпустить бороду. Мне кажется, борода мне пойдет. К тому же она скроет небольшую ямочку, вот здесь, на подбородке.

Увы, что тут скажешь? Тестевель должен переболеть этой досадной болезнью. Повторяю, Сюзанне ничего нельзя втолковать. Она смеется и смотрит на меня своими прекрасными глазами, чистыми, как родниковая

вода. Я плохой ментор и ухожу от нее посрамленный. Предоставим же Тестевеля его судьбе.

Я с радостью узнал, что ты вернулся к поэзии и даже пишешь стихи после работы, несмотря на отупляющую усталость. Но почему ты бываешь так немногословен, говоря о прогулках с этой работницей, м-ль Мартой?.. Будь у меня что-нибудь подобное, я без конца писал бы тебе об этом.

Пора приниматься за работу.

Речь у г-на Ронера необычайно четкая, впрочем, четкость свойственна и всей его особе. Мне показалось, однако, что он называет патрона не то Шапегрен, не то Шатегрен, точно не знаю. Почему? Скорее всего, я ослышался, вряд ли это ошибка профессора. Впрочем, неважно.

Возвращаюсь к своим книгам. Твой брат по одиночеству.

Л. П.

20 октября 1908 г.

Глава VI

Встреча с г-ном Мерес-Миралем. Кратура Жозефа Паскье. Разоблачения по поводу вполне надежного капитала. Катехизис законченного пройдохи. Отрывочные мысли о финансовом гении. Тревоги богатого человека. Ангел музыки успокаивает Лорана. Сесиль Паскье принимает участие в научной работе. Покой сердца и покой ума

Пишу тебе в пылу гнева, с которым никак не могу совладать. Быть может, мне удастся избавиться от него, рассказав тебе обо всем. Искренне желаю этого, гнев обуревает меня. Я болен, дышу с трудом, сердце бьется неровно, руки и ноги перестали слушаться, желудок бунтует, во рту пересохло, так как слюнные железы отказываются работать.

И все это из-за сущей безделицы, в чем ты не замедлишь убедиться. Злюсь же я на самого себя.

Я вышел от Папийона около часу дня и собирался пересечь бульвар Сен-Мишель, когда мне повстречался г-н Мерес-Мираль. Мы обменялись рукопожатием, и я подумал сначала, что этого более чем достаточно.

Я говорил тебе о г-не Мерес-Мирале, да ты и сам видел его во время нашего памятного пребывания в Пакельри два года тому назад. Г-н Мерес-Мираль — секретарь, фактотум, доверенное лицо Жозефа. Прошу тебя заметить, насколько эти звания расходятся в данном случае с их общепринятым смыслом. Г-н Мерес-Мираль — секретарь, которому надлежало бы, хотя бы из осторожности, не разглашать тайн патрона; кроме того, этот фактотум почти ничего не делает, по крайней мере, ничего существенного. И наконец сам Жозеф представляет его следующим образом: «Познакомьтесь, мое не внушающее доверия доверенное лицо». А г-н Мерес-Мираль принимает эту колкость с сияющей улыбкой. Надо все же полагать, что он знает толк в иных темных делишках, для которых финансистам всегда требуются помощники.

Итак, он стоял на тротуаре, и я собирался без малейшего сожаления покинуть его, как вдруг почувствовал прилив сострадания.

Нельзя сказать, чтобы г-н Мерес-Мираль роскошно одевался. Он нюхает табак, и его жилет усыпан табачными крошками и заскоруз от грязи. У фактотума отвислые щеки, несколько подбородков про запас, шея гармошкой, короче говоря, целый ассортимент жировых складок. Глаза большие, выпуклые; один зрачок расширен, другой превратился в точку, что не предвещает их обладателю ничего хорошего. Растительность — волосы и усы — редкая, легкая, как пух, зато старательно выкрашенная. Он делает иногда тщетные усилия, чтобы вставить монокль в свой заплывший глаз. Голос низкий, скрипучий. На ногах замшевые гетры, забрызганные грязью. Я не считаю его ни дураком, ни растяпой. По всей вероятности, наш человечек не в силах устоять перед известными удовольствиями. Он начал свою карьеру с какой-нибудь небольшой подлости, а остальное пришло само собой. К сожалению, Жозеф толкает его по наклонной плоскости, видимо, поручая ему сомнительные сделки, которые он не желает брать на свой счет. Тебе может показаться, что я сегодня безжалостен. Ты скоро поймешь почему.

Итак, я окидываю г-на Мерес-Мираль внимательным, сочувственным взглядом и спрашиваю:

— Ну как, сударь, дела не слишком хороши?

Господин Мерес-Мираль прикладывает руку ко рту, пытается заглушить икоту, и говорит:

— Увы, похвастаться нечем.

— Не смею расспрашивать о причине ваших огорчений, — замечаю я мягко.

— Да? Но, в сущности, почему?

— Насколько мне известно, вы собираетесь оставить службу у моего брата. Я слышал о ваших неприятностях, господин Мерес-Мираль, и, поверьте, всем сердцем сочувствую вам.

Господин М. - М. — ты разрешишь мне прибегать иногда к этому сокращению — поднимает брови, расправляет складки на своем лице, опускает монокль и говорит:

— Оставьте господина Паскье! Этого еще недоставало! Но почему, позвольте вас спросить? Нет, об этом и речи быть не может. Если я и упомянул о неприятностях, то имел главным образом в виду непорядки с желудком, с кишечником, понимаете, господин Лоран?

Какую-то долю секунды я пребываю в нерешительности. Трудно себе представить, чтобы Жозеф скрыл свое положение от подручного, который живет, пресмыкаясь, в его тени. Я продолжаю очень осторожно:

— Мне говорили... я слышал, будто мой брат собирается изменить свой образ жизни, навести порядок в своих делах.

Господин Мерес-Мираль шумно откашливается, чтобы удалить мокроту из своих астматических легких, и берет меня под руку.

— Сударь, — говорит он, — на тротуаре неудобно беседовать о финансовом гении господина Паскье, вашего брата. Не откажите в любезности выпить со мной чашечку кофе со сливками. Нет, нет, прошу вас, я знаю, что делаю: состояние моей казны не внушает опасений. Думается мне, господин Лоран, вы имеете довольно смутное представление о близком вам человеке, об одном из любопытнейших представителей нового века, если только я не ошибаюсь.

Он подталкивает меня, тащит за собой, и вот мы уже сидим на террасе Вашет, между двумя большими окна-

ми, выходящими в сторону музея Ключни. Г-н Мерес-Мираль улыбается, приводя в движение комки жира, которые скрывают черты его лица, вставляет монокль в припухлость глаза и благодушно вопрошает:

— Не будете ли вы так добры, сударь, объяснить мне, почему ваш уважаемый брат собирается изменить свой образ жизни?

— Но , — говорю я с неудовольствием, — вы должны это знать лучше, чем я! Дело в том, что брат разорился.

Господин М.-М. закрывает глаз без монокля, сжимает дряблые губы и бормочет:

— Вот как?! Превосходно! Превосходно! Понимаю, все ясно.

Следует покашливание, сопровождаемое разнообразными хрипами. Г-н М.-М. прочищает горло, сворачивает сигарету и зажигает ее, повторяя: «Понимаю, понимаю, да, да...»

Затем он дотрагивается тыльной стороной руки до пуговицы на моем жилете, сжав пальцы, возвращает руку на прежнее место и продолжает конфиденциальным тоном:

— Господин Лоран, я не выполнил бы своего долга, если бы не воспользовался этой встречей, чтобы успокоить вас относительно положения дел вашего брата. Но минутку внимания! Я хочу почтительнейше попросить вас о строгом соблюдении тайны. Ведь у вас, молодого человека с благородным сердцем, нет желания навлечь немилость на Жана Мерес-Мирала и довести его этим до нищеты и отчаяния. Итак, ваше честное слово! Вы дали его, благодарю. Как вам известно, я питаю чувство благоговейного восхищения к вашему уважаемому брату. Можете ли вы сказать мне, от кого вы получили сведения о разорении господина Жозефа?

— Да от него , — отвечаю я, пожимая плечами, — от него самого.

— Превосходно! Все разъясняется. Еще один вопрос, сударь. Какого числа господин Жозеф счел нужным сообщить вам эту досадную новость?

— Не знаю точно. Это было в конце прошлого месяца. Погодите, вспомнил, кажется числа двадцать первого. Да, это было утром в понедельник, двадцать первого числа.

— Поразительно, поразительно: финансисты, вроде вашего уважаемого брага, не разоряются по понедельникам.

— Но почему же?

— Да потому, что по понедельникам Биржа бывает закрыта уже третий день. Итак, господин Лоран, я начинаю понимать. Разрешите мне почти полностью успокоить вас. Дела господина Жозефа идут хорошо, и в его финансовом положении не произошло за последнее время сколько-нибудь существенных перемен. Вы удивлены?

— Вы, верно, ошибаетесь, господин Мерес-Мираль. Двадцать первого сентября, на торжественном семейном собрании Жозеф заявил нам, что он разорен и, видимо, выйдет из этой передраги обремененный долгами.

Господин М.-М. улыбается, берет понюшку табака, запихивает ее в нос, машет рукой, словно желая отогнать муху или опровергнуть легковесные аргументы, и продолжает, понизив голос:

— Он, конечно, сказал вам это, и вы ему поверили, что вполне естественно: господин Жозеф Паскье обдает замечательным даром — он заставляет верить своим словам и сам верит тому, чему хочет верить. Можете не сомневаться, уважаемый господин Лоран, мне известны денежные дела вашего брата. Его состояние вполне надежно, и он прекрасно им распоряжается. Опасаться нечего. Бывают, правда, случайности, перебои, ложные шаги. В жизни вашего брата они крайне редки. И это хорошо, так как он плохо переносит неприятности. Попробуем проанализировать с вами создавшееся положение. В пятницу восемнадцатого сентября Руманьские плотины — превосходное предприятие, в сущности, созданное вашим братом, — почему-то внезапно осели; вероятно, сказалась засуха в Руманьском бассейне, но это пустяки — теперь там ежедневно идет дождь. Я иногда езжу по делам в те места и знаю, что говорю. Ваш брат потерял на бумаге сумму, которую я оценил бы в тридцать тысяч франков, ни одним луидором больше. Должен вам признаться, что он был в отвратительном настроении. Впрочем, теперь уже можно утверждать, что эта превосходная недвижимая собственность будет вскоре восстановлена. Вы смотрите на меня? Вы как будто удивлены?..

— Но, господин Мерес-Мираль, а как же парижский дом, вилла в Болье, замок в Мениле?..

— Все эти владения находятся в образцовом порядке, сударь, смею вас заверить. Я рад, что могу хоть немного успокоить вас. Минутку, господин Лоран, разрешите задать вам один вопрос, надеюсь, он не покажется вам нескромным после того, что мы здесь говорили. Скажите, на том собрании в лоне семьи, о котором вы так любезно упомянули, не обратился ли господин Жозеф с просьбой о небольшом займе, как это называется на нашем профессиональном языке?

Я утвердительно кивнул, и г-н Мерес-Мираль рассмеялся, что не обходится у него без драматических последствий, так как он начинает задыхаться и складки на его лице и шее приходят в бурное движение.

— Ну и н у , — приговаривал о н , — это бесподобно. Никто ему и в подметки не годится. Что за человек! Он бывает страшен, но он меня интересует, и в некотором роде я даже преклоняюсь перед ним. Кха, кха, кхи, кхи, ха, ха! — последовал приступ кашля и приступ с м е х а . — Разрешите задать вам вопрос об этом займе, о размере денежных взносов, собранных в тот памятный день. Но я вряд ли ошибусь, сказав, что эта сумма приблизительно равна сумме денежных потерь. О, я знаю господина Паскье, он принципиальный человек. Каждая его потеря должна быть тут же возмещена новыми поступлениями, добытыми любым путем. Человеку, который теряет хотя бы луидор, не пытаюсь немедленно возместить потерю, грозит неминуемый финансовый крах. Вы поражаете меня, господин Лоран, вид у вас огорченный. А я-то думал успокоить вас своим сообщением. Известно ли вам, что ваш уважаемый брат — выдающийся человек, гений на свой лад, да, я не оговорился, — гений наживы.

Господин М.-М. снова рассмеялся и стал засовывать себе в нос новые понюшки. Видимо, он не торопился вставать из-за стола, тогда я заплатил по счету и ушел; однако на прощание мне пришлось выслушать немало дельных и лирических замечаний по поводу финансового гения моего брата.

У меня оставалось еще немного времени, и я вскочил в omnibus. Решил заехать на улицу Прони, чтобы повидать Сесиль. Я был очень взволнован. Не из-за денег, можешь мне поверить. Но я ничего не мог понять, а я во всем люблю ясность. Жозеф сказал нам, что разорен, Неужели он мог так посмеяться над нами, его близкими,

которые бедны, очень бедны по сравнению с ним? Омнибус катил, а я в ярости возвращался все к тем же мыслям: возможно, финансовый гений и существует, но это пошлый, омерзительный гений. Есть страны, где никогда не рождалось ни одного выдающегося человека — артиста, ученого, поэта, зато там постоянно появляются денежные тузы, банковские воротилы, спекулянты. Нет, нет! Я не признаю такого гения, я отвергаю его.

Сесиль была дома и упражнялась на клавесине. Мне показалось, будто я принес с собой в этот целомудренный приют дыхание ядовитых мыслей. Сесиль сразу поняла, что я сам не свой. Не отрывая рук от клавиатуры, она спросила с улыбкой:

— Что случилось? Почему у тебя такой расстроенный вид?

Этих слов было достаточно, чтобы я вскипел:

— Жозеф посмеялся над нами!

Сесиль пожала плечами и повернулась ко мне лицом: во всем ее облике появилось вдруг что-то покорное. Она сказала:

— Да, да, мне кажется, я знаю, почему ты так говоришь.

— Знаешь?! Ты знаешь, что он сделал! И ты улыбаешься, ты прощаешь! Скажи прежде всего, откуда ты это знаешь?

Сесиль уклончиво повела плечами. Я ходил взад и вперед по комнате и негодовал:

— Он богат, могуществен. Ему захотелось иметь деньги, поместья. Он все это имеет. Он презирает нас, смеется над нами и под конец разыгрывает отвратительную, нелепую комедию и, шутки ради, выманивает у нас какие-то жалкие гроши. О, я говорю так не из-за этой ничтожной суммы, ты меня знаешь, Сесиль. Но я чувствую себя униженным. И как он, должно быть, смеялся! Как глумился над нами! Сесиль, это невыносимо!

Сесиль сидела, сложив на коленях руки, в позе ожидания и мольбы, которую она часто принимает даже перед публикой, на концертах. На ней было белое платье, последнее в этом сезоне. Она дала моему гневу остыть и заговорила спокойно, рассудительно:

— Я почти все узнала, об остальном догадалась. Мне даже сообщили кое-какие подробности. Всегда найдется человек, готовый сообщить тебе подробности. Полно,

Лоран, будь же справедлив: Жозеф болен. Если бы сию минуту кто-нибудь сказал тебе, что опыты Пастера — надувательство, ты обезумел бы от горя, потому что ты веришь в науку. И если бы нам с тобой доказали — впрочем, это невозможно, — что концерт ля минор Моцарта — произведение безвестного безумца и алкоголика, мы были бы сбиты с толку и вместе с тем глубоко опечалены, потому что мы верим в искусство. Жозеф верит только в деньги. Он вовсе не сильный и могущественный человек, каким мнит себя. Он слаб и жалок. О, я знаю его лучше, чем ты. Всякий раз, как у него бывает горе, он приходит ко мне. Ты удивлен? Но это так. И приходит не для того, чтобы послушать музыку, а для того, чтобы облегчить душу, на свой лад. Ты плохо знаешь Жозефа. Он страдает, как и все. Стоит ему потерять сто франков, и ему, миллионеру, начинает казаться, будто он самый обездоленный из людей. Он потерял как-то тысяч тридцать и счел себя разоренным. Он обезумел от ужаса. Он пришел поведать мне о своем крахе и в конце концов убедил меня. Я тоже решила, что он разорен. Я пожалела его. И все еще жалею. Он живет среди роскоши и вместе с тем среди сомнений и страхов. В те дни, когда Жозеф не получает никакой прибыли, он пугается и начинает лихорадочно придумывать новые ходы, его охватывает чувство неуверенности, боязнь лишиться достатка. В иные дни, несмотря на все свои поместья, дома, ценности, полные доверху сундуки и другие богатства, о которых мы даже не подозреваем, в иные дни, говорю я, он бывает не менее жалок, чем нищий, просящий милостыню на улице.

Говоря все это, Сесиль держалась очень прямо, спокойно, по-настоящему просто — так могла бы говорить Минерва, покровительница искусств. Минерва сострадательная, мудрость которой проникнута кротостью. Она сказала в заключение со странной улыбкой:

— Надеюсь, все уладится. И в результате он ничего не потеряет, а, быть может, даже останется в барыше.

— Надеешься?

— Ну да, поскольку это его болезнь и нет других средств хоть немного облегчить ее.

Я рассмеялся. И так как Сесиль одержала надо мной верх, она сыграла в ознаменование этой дружеской побе-

ды небольшую вещь Генделя, сарабанду, легкую, грустную и вместе с тем исполненную благородного и пленительного изящества. Затем сестра угостила меня чаем. Мы как раз кончали пить его, и было еще очень рано, когда пришел Ришар Фове со своими коробками, культурами и записями. В гостиной Сесили все это выглядит довольно забавно. Сесиль не выказывает ни тени неудовольствия. Впрочем, идея Ришара не лишена интереса. Только, по-моему, подобные опыты было бы проще делать в лаборатории. Но Ришар настаивает на том, чтобы «музыкальная ванна» давалась в особой, артистической обстановке. Он говорит: та же мелодия, сыгранная г-ном Тартемпиемом и мадемуазель Паскье, по-разному воздействует на слух и чувства слушателей. Если мы хотим изучить влияние музыки на культуры иных примитивных организмов, следует сразу же обратиться к возвышенному искусству. Итак, он приходит и записывает: «Концерт Вивальди. Такая-то тональность. Столько-то минут. Клавесин». «Мазурка Шопена ми мажор. Столько-то минут». Должен тебе признаться, что это кажется мне немного смешным. Сесиль проявляет ангельское терпение. К тому же она играет, ни на что не обращая внимания и даже не глядя на манипуляции Фове. Когда при мне с вопросом об этом эксперименте обратились к г-ну Шальгрёну, он ответил с тонкой улыбкой: «Следует все же попробовать».

Я покинул пианистку и экспериментатора. На улице мною вновь овладел гнев. Я еще не избавился от него. Вероятно, Жозеф несчастен по-своему, но он внушает мне омерзение. Именно омерзение. Мне следовало бы сказать ему: «Ты разорился? С точки зрения социальной. это более чем справедливо, а лично для тебя, милый Жозеф, это послужит превосходным уроком». Мне следовало бы отвести таким образом душу и повернуться к нему спиной. А я расчувствовался и позволил надуть себя, одурачить. Это трудно переварить. Следует, однако, отдать должное господину финансисту. Он жаловался на днях, что ему никак не удается поразить свою семью. Помнишь, это были его собственные слова. По-моему, на этот раз он добился своего.

Я снова обещаю тебе не писать больше о ненавистном Жозефе. В свое время мне не хватило душевной чистоты. Эта нелепая история призывает меня к поряд-

ку. Я хочу, чтобы отныне моя жизнь была целиком посвящена наставникам, которых я люблю и уважаю. Я хочу жить спокойно. Знаю, это трудно, и все же я добьюсь своего. Мне кажется, я уже обрел покой сердца. Я сумею заслужить и покой ума.

Братский привет. Л. П.

23 октября 1908 г.

Глава VII

Откровенность Жан-Поля Сенака. Перебранка со Стерновичем. Мнение г-на Шальгрена о важности созерцания в науке. Исключительные интеллекты на улице не валяются. Ришар Фове — воплощенная изысканность. Лоран в поисках путеводной звезды

Жить спокойно нелегко. Последнее посещение Сенака повергло меня в смятение.

Полагаю, что ты подскочишь, скомкаешь это письмо, разразишься проклятиями и закричишь: «Зачем тебе видеться с Сенаком? Предоставь злосчастного Сенака его участи и т. д. и т. п.»

Старый друг и брат, я вижу с Сенаком, потому что он один из наших. Я трезво сужу о нем, поверь, я разбираю, анализирую беднягу без всякой предвзятости и питаю к нему нечто вроде дружеского любопытства. Я полон снисходительности. Сенак не лишен ни чуткости, ни ума. Он несчастен, и что там ни говори, а он поэт.

Заметь, я вижу с всеми нашими друзьями по «Уединению». Если бы мы расстались навсегда, в этом было бы что-то необъяснимое, нездоровое. Да, я с ними встречаюсь, и порой не без удовольствия. Я встречаюсь со всеми, кроме Жюссерана. Он избегает нас, он не хочет с нами знаться, он разлюбил нас. Не потому ли, что разбогател? Не думаю. Скорее всего, его мучают угрызения совести: он не может перебороть себя и простить нам свою вину.

Что до остальных, они ведут себя так же, как Сенак. Иными словами, говорят о нашей попытке с дрожью в голосе и со вздохами сожаления.

Но вернемся к Сенаку. Я сразу почувствовал, что он хочет мне что-то сказать, что-то заранее обдуманное, подготовленное. Если Сенак собирается сделать важное сообщение, он, фигурально выражаясь, поворачивается к нему спиной и начинает вести беседу о том о сем. Итак, он начал зевать и бубнить хорошо знакомым тебе безучастным голосом. Он жаловался на свое здоровье, которое вовсе не так плохо, как он пытается это представить. Он охал:

— Что происходит у меня в организме? Что происходит в этой чертовой коробке? Хочешь верь, хочешь нет, но в иные дни из меня выходит не меньше трех литров мочи, а в другие — каких-нибудь пятьдесят капель. И неизвестно почему, совершенно неизвестно. Положение меняется каждый день, понять ничего нельзя.

Он снова зевнул, затем провел рукой по лбу.

— Я теряю волосы, — вздыхал он. — И право же, равновато. Вчера я был у парикмахера. Он сказал мне: «Хорошие волосики. Жаль, что их так мало». Я не обидчив, но это оскорбительно.

И в самом деле, он лысеет. Во время этих излияний я смотрел на Сенака и вдруг увидел его лицо в будущем, его старческое лицо. Да, он первый из нас показал мне на миг свое лицо таким, каким оно станет на склоне лет, и я был этим глубоко опечален.

Главная его новость, видимо, еще не вполне созрела, потому что Сенак продолжал ходить вокруг да около. Он принялся расхваливать свою затворническую жизнь. Оказывается, он нашел в тупике Томб-Исуар замечательное пристанище, ветхую хибару из двух комнат неизвестного назначения, очевидно, старую мастерскую художника, и снял все помещение почти даром, так как никто на него не позарился. Домишко стоит в глубине тупика. Поблизости никакого жилья, лишь заброшенные конюшни, склады, пустыри. Сенак поселился там после распада нашего «Уединения» с собакой Миньон-Миньяром и старым голубем, зябнувшим в клетке. Сенак открыл наслаждение, доставляемое одиночеством. Он опьяняется тишиной, неподвижностью, разочарованием. И говорит об этом не без лиризма. Сознайся, что у него не такая уж мелкая душа.

Я как раз размышлял об этом, когда мой посетитель пробормотал:

— Что за странная мысль поступить препаратом к Ронеру, когда человек признан одним из лучших учеников Шальгрена!

Заметь, Жюстен, что я не позволяю себе называть патрона попросту Шальгреном или величать Ронера только по фамилии. Но Сенак человек не гордый: он охотно говорит «ты» великим мира сего.

Сперва я ничего не ответил. Я ждал нового выпада. Он последовал, хотя и с запозданием.

— Я никогда не вмешиваюсь в то, что меня не касается, — пробормотал Сенак. — Но обычно, Лоран, ты не такой уж неловкий. И даже неплохо умеешь устраиваться в жизни. Ты что, нарочно это сделал? Хочешь понаблюдать за ними? Ну что ж, пожалуй, стоит того. Если только не сам Шальгрэн попросил тебя проникнуть во вражеский лагерь. В таком случае, будем считать, что я ничего не сказал.

Я только что пытался выгородить в твоих глазах Сенака. Тем легче мне признаться теперь, что тон его слов сильно меня покорбил.

Мы были одни в лаборатории. В этот час служитель чистит крольчатник и псарню. Я ничего не ответил, и так как мое молчание смутило Сенака, он продолжал говорить. То были обрывки фраз, которые кололи и даже ранили меня на лету.

— Ты вращаешься уже несколько лет в этой среде. Я же о ней почти ничего не знаю. Да и к тому же у меня другая профессия. Я смотрю на вещи глазами писца. Неважно! О вражде Ронера — Шальгрена много толкуют, но, конечно, шепотом. Ты не дурак. Значит, у тебя есть какая-то цель. И все же, Лоран, будь начеку. Эти господа ненавидят друг друга. И, хуже всего, стараются этого не показывать. Значит, положение серьезное. Я очень люблю господина Шальгрена. Иметь с ним дело — одно удовольствие. И знаешь, Лоран, я никогда не забуду, что ты нашел для меня это место в минуту, когда у меня не было ни гроша, когда я устал голодать. Что ты там увидел?

Я заметил на щеке и на шее Сенака длинную царапину, явно непохожую на бритвенный порез. В ответ я указал на нее пальцем, и он проговорил:

— Это сделал кот госпожи Шальгрэн. Занятное жи-

вотное кротового цвета, смешанной ангорской породы. О, мы с ним прекрасно ладим. Ну и кот, доложу я тебе! Обычно мы понимаем друг друга. Но иной раз, когда я хочу его приласкать, он норовит меня оцарапать... Да, я очень люблю господина Шальгрена. Правда, я почти ничего не понимаю из того, что он дает мне переписывать, — я говорю о научных работах. Я схватываю лишь отдельные мысли, и они удивляют меня, ошеломляют. Вовсе не нужно быть специалистом, чтобы смекнуть, что к чему, скажем, в превосходно написанном опровержении, сильном, страстном, с капелькой желчи. Скажи, Лоран, «Происхождение жизни»?..

— Ну и что?

— Это книга Ронера?

— Да, и потрясающая книга.

Сенак расхохотался. А я спрашивал себя, что он еще скажет, спрашивал не без тревоги и даже отвращения. Но тут появился Стернович. Не бойся, я не собираюсь впутывать Стерновича в нашу переписку. Стернович — русский еврей, который заходит иногда в лабораторию для каких-то исследований. Если я набросаю здесь его портрет, ты сразу же закричишь, будто я впадаю в антисемитизм. И однако, я люблю тебя, еврея, ты мой дорогой друг. Но право же, у вас слишком чувствительный эпидермис, вы невыносимы. Стоит мне сказать что-нибудь о евреях, как ты тут же принимаешь это на свой счет. Будь же справедлив. Как бы ни были велики любовь и восхищение, которые я питаю к тебе, я не могу не отметить, что от Стерновича так и разит самодовольством и спесью. Он убежден, что западные народы — народы отсталые и жалкие, что они не способны ни мыслить, ни творить, ни даже пользоваться благами, которые им ниспослало небо. Он убежден, что в один прекрасный день он и ему подобные (а все они в известной мере торговцы и ростовщики) люди, прозябающие ныне в каком-нибудь грязном степном городишке, перевернут мир и покажут нам, как надо наводить порядок в умах и управлять делами при их благосклонном руководстве. Вот, получай! Но, повторяю, ты не несешь никакой ответственности за Стерновича: не трать ни атома энергии на его защиту.

Итак, Стернович вошел в лабораторию в ту самую минуту, когда я ждал от пресловутого Жан-Поля Сенака новых открытий. Сенак сразу поднялся. Я остался один

за рабочим столом. А оба мои посетителя начали, по своему обыкновению, препираться. Сам того не желая, я прислушивался к их словам. Сенак вытащил из портфеля пачку бумаги, а русский проговорил, тараща свои блестящие глаза, которые кажутся удивительно маленькими за толстыми стеклами очков:

— Так, значит, вам, французам, требуются линейки на бумаге, чтобы не уклоняться ни вправо, ни влево.

— Нет, — отвечал Сенак, всем своим видом походивший на kota, который заметил муху. — Нет, не всегда. Обычно я пишу на так называемой школьной бумаге, там вовсе нет линеек.

— Понятно, — подхватил Стернович, — вы имеете в виду бумагу, листы которой ничем не скреплены.

— Вот именно. Нам, французам, не требуется скрепок — идеи и так держатся у нас в голове.

— Так зачем же вы пользуетесь линованной бумагой?

— А затем, чтобы писать между строк, — насмешливо прошипел Сенак. — Мы, французы, проводим линейки, но не пишем по ним. Соображаете?

Стернович тотчас же завел речь об отсутствии дисциплины. Это становилось невыносимым. Я не мешал обоим парням продолжать свой бездарный спор. Мною владели недовольство, тревога. Надо тебе сказать, что за последние четыре-пять дней г-н Шальгрэн почти не обращался ко мне, а ведь обычно он держится со мной как с другом, а не как с учеником. Я подсчитал сколько раз г-н Шальгрэн заходил в лабораторию, не говоря мне ни слова и даже как бы не замечая меня, и вдруг почувствовал себя очень несчастным. В эту минуту спорщики перестали спорить. Сенак собрался в библиотеку. Он подошел пожать мне руку и сказал вполголоса:

— А ты не обратил внимания, дорогой, что в толстой книге Ронера, где представлен весь ученый мир, мэтр Шальгрэн не удостоен даже крошечной ссылки?.. Ну, иду, иду. Пора. Мы поговорим об этом потом, если, конечно, захотим.

Утро было хмурое. Мне казалось, будто какой-то яд проник в мои мысли. Я убедился, что г-н Шальгрэн нарочито холоден со мной, что я, вероятно, допустил огромную, трудно исправимую ошибку. Я был сердит на Сенака, просветившего меня, да, в общем, я был сердит на него за эту с позволения сказать услугу.

Среди дня в большую лабораторию пришел г-н Шаль-

грен. Он сел рядом со мной. Я был встревожен, смущен. Сначала он молча следил за моей работой. Затем спросил своим легким, как бы бесплотным голосом:

— Скажите, Паскье, вам случается терять время?

Я был поражен. Я почувствовал, что краснею, и отвел:

— По-моему, я не теряю его, патрон.

— Да, вы работяга, и это хорошо. Однако время надо уметь терять. Порой истина осеняет нас среди праздности, когда мы ни о чем не думаем, бываем открыты, доступны.

Я был удивлен: г-н Шальгрен трудится с утра до ночи. Не знаю, находит ли он время для сна. И вдруг такой вопрос! Он сказал еще:

— Постоянно говорят о наблюдении в науке. Но если бы не боязнь показаться смешным, следовало бы говорить о созерцании. Ведь открывают нам свою тайну как раз те вещи, те живые существа, на которые мы не смотрим, у которых ничего не требуем.

Я ждал объяснений. Но г-н Шальгрен встал и, протянув мне руку, сказал:

— Мне кажется, за последние дни мы почти не беседовали с вами. Извините меня, мой друг. Работа крайне тревожит меня. Я постепенно дошел до предположений столь необычных, что боюсь говорить о них. Вы найдете их странными, быть может, неразумными. Итак, до завтра, Паскье!

Я ответил ему как обычно:

— До завтра, патрон.

Господин Шальгрен собирался выйти. Он тут же вернулся и проговорил с улыбкой:

— Мне нравится слово «патрон». Но, надеюсь, Паскье, вы называете так меня одного. В общем, вы понимаете...

Должен сказать, что это замечание снова повергло меня в смятение.

Я распределил свое время таким образом, что могу проводить утро в Коллеже, а остальное время в Институте. Мне кажется, я начинаю понимать г-на Ронера. Но он смущает меня. И всегда будет смущать. Его суждения (как бы это выразиться?) безапелляционны. Вчера вечером он говорил со мной о г-не Эрмереле, у которого я работал до «Уединения» и, как тебе известно, очень его люблю.

— Он человек редкого ума, — заметил я.

Господин Ронер промолчал и улыбнулся. Я спросил:

— Вы не согласны со мной, сударь?

Профессор неопределенно развел руками:

— Нет, почему же, раз вы так говорите.

Я был совершенно сбит с толку, но продолжал с еще большим пылом:

— Господин Эрмерель всегда казался мне исключительно одаренным человеком.

Профессор Ронер слегка нахмурил брови, а они у него большие и кустистые.

— Полно, полно, — сказал он вкрадчиво и вместе с тем сухо, — не толкуйте вкривь и вкось об исключительных интеллектах. Они на улице не валяются.

Я очень боюсь, как бы несносный Сенак не совершил новой бестактности, коснувшись скрытых ран. Я слышал вчера издали профессора Ронера, беседовавшего с одним из своих ученых коллег.

Он говорил свойственным ему бесстрастным голосом:

— Это мечтатель, человек иррационального склада ума. Зачем только он пожаловал в Общество по рационалистическим изысканиям?

И вдруг мне стало страшно. Только бы эти слова не относились к моему любимому патрону! Кажется, я писал тебе, что его назначили председателем этого Общества? Должен сознаться, я теряюсь среди этого тумана, этого мрака. Фове пришел как раз в ту минуту, когда я собирался уходить. Он теперь почти любезен со мной и даже почти дружелюбен. Моя руки, я спросил у него с показным равнодушием:

— Вы ничего не слышали? Говорят, будто у патрона неприятности с господином Ронером?

Фове пожал плечами.

— Неприятности? Кто вам сказал? Нет, не знаю.

Я не настаивал. Вероятно, Сенак ошибается. Но вот что меня настораживает: как-никак, а он проводит много времени с г-ном Шальгреном, занимается его корреспонденцией, переписывает на машинке его статьи, даже те из них, о которых я ничего не знаю.

Да, я хочу побранить тебя за Фове. Ты не знаешь Фове, а относишься к нему враждебно, чуть ли не со злобой, которая меня задевает. Да будет тебе известно, что Ришар Фове вовсе не мой близкий друг и, по всей вероятности, никогда им не будет. Он человек другой

породы, чем мы с тобой. Он наделен пленительным изяществом и отменным вкусом. Или, лучше сказать, он владеет монополией на вкус, и это проявляется в каждом его движении, в каждом слове. По сравнению с ним, милый Жюстен, мы беотийцы и дикари, тогда как он — воплощенная изысканность.

Итак, Жюстен, пусть этот беглый набросок успокоит тебя относительно чувств, которые я питаю к Фове. Как коллега он человек довольно приятный, но внушает мне лишь весьма прохладную симпатию.

А впрочем, к дьяволу! Я утомлен, встревожен. Я допускаю, что такие люди, как Шальгрэн и Ронер, могут не ладить и даже враждовать между собой: такие вещи случаются в храме науки. Но то, что они могут не уважать друг друга, не испытывать взаимного восхищения, оскорбляет меня и приводит в замешательство. Ведь оба они крайне умны, черт подери! Им стоит только почтить, подумать и понять. Кому это доступнее, чем им?

Твой сбитый с толку Лоран.

30 октября 1908 г.

Глава VIII

Подлинная ясность духа не есть отсутствие страстности. Новый портрет г-на Ронера. Трость и карман — физиологический очерк. Решение по поводу знаков отличия. Близким ничего не прощаешь. Критика финализма. Эпизодическое появление доктора Ру. Катрин Удуар, друг Лорана. Леон Шлейтер и политический демон. Спокойствие Лорана, олимпийца

Неизъяснимое спокойствие! Олимпийская ясность духа! Такова теперь моя жизнь, дорогой Жюстен. Прошу заметить, однако, что это прекрасное спокойствие исключает всякую пассивность, а та жизнеутверждающая ясность, к которой я постепенно приобщаюсь, не имеет ничего общего с холодностью. Подлинная ясность духа не есть отсутствие страсти, это сдержанная страсть,

обузданный порыв. Я учусь ограничивать себя, иными словами, властвовать собой.

Знаешь, г-н Ронер поистине поразительная фигура. Он понравился бы тебе, уверен. Я уже говорил, что он мал ростом. Но это едва заметно, так как держится он очень прямо. Мне кажется даже, что он носит пояс, нечто вроде корсета. Он говорит: «Брюшко не просто жировой слой и признак физического упадка — это проявление нравственной деградации. Брюшко начинает расти, когда ум слабеет и примиряется со старением организма». Г-н Ронер с этим не примиряется. Он занимается утром и вечером шведской гимнастикой. Соблюдает строжайший режим питания, который он не теряет надежды навязать всему человечеству. Носит наглухо застегнутую куртку, отчего кажется еще прямее. В будни надевает на голову небольшую круглую шляпу из черного легкого фетра. Не расстаётся со своей тростью. Он говорит: «Трость и карман — дополнение, придаток организма. Трость удлинит на восемьдесят пять сантиметров радиус восприятия моих мышц, моих осязательных органов. Она расширяет и преобразует все мои ощущения, кроме ощущения тепла. Благодаря своей трости, я ощущаю то, что не ощутил бы голой рукой. Трость — звуковая антенна. Антенна факультативная, съёмная, которая лишена чувствительности и легко заменяется другой. Все же наше общество более изобретательно, чем сообщество насекомых... Не понимаю, как разумный человек, наделенный пытливым умом, может обходиться без палки. Что касается карманов, то число их достигает у меня двадцати трех, когда я бываю в пальто. И все они имеют определенное назначение. Карман — это не специализированный резервуар, резервуар, не подчиненный воздействию сфинктера. Наши естественные резервуары — желудок, мочевой пузырь, прямую кишку — нельзя наполнить чем попало; к тому же они находятся в сильнейшей зависимости от эмоций. Карман же начисто лишен всяких эмоций. Явное доказательство неполноценности женщин — это отсутствие карманов в их одежде».

Господин Ронер отнюдь не феминист. Он овдовел четыре или пять лет тому назад и почти никогда не говорит о своей жене, а если и говорит, то очень сдержанно и скупно.

Он не носит орденов, хотя, как я слышал, он офицер Почетного легиона. Эта простота заставила меня приза-

думаться. Мне до неприличия посчастливилось, так как я получил орден в двадцать шесть лет при известных тебе обстоятельствах. Я против того, чтобы выставлять напоказ всякие знаки отличия. Отныне, по примеру г-на Ронера, моя петлица ничем не будет украшена.

Профессор Николая Ронер — примерный работник. Его усидчивости можно только позавидовать. Он способен заниматься, не ослабляя внимания, часов восемь—десять подряд, что кажется мне просто баснословным. Умеет он и отдыхать — способность не менее замечательная, — играя в карты или раскладывая пасьянс. Он признается в этом и даже советует поступать так же. Он говорит: «Когда я играю в карты, то могу почти с уверенностью сказать, что не стану думать ни о чем другом».

И наконец ему свойственна довольно мелочная бережливость — достоинство, которое я постараюсь понять и оценить.

Я пытаюсь, как видишь, нарисовать его портрет. Это нелегко: с каждым днем я лучше узнаю человека, замечаю новые его черты, и мне приходится исправлять все предшествующие наброски.

Служитель нашей лаборатории два дня не приходил на работу: жена его рожала, и дело у нее, видно, не ладилось. Г-н Ронер проворчал:

— Ребенок идет, наверно, боком. Неправильное положение! Для того, чтобы быстро и хорошо выйти на свет божий, ребенок должен устремиться вперед, нагнув голову, как искусный пловец, как мужчина, пробивающий себе путь в жизни.

Я довольно долго переваривал эту сентенцию. Сначала она показалась мне грубой. А затем пленила меня. И тут я должен поделиться с тобой своими сомнениями. Я недавно писал тебе, что у г-на Ронера глаза светлоголубые, цвета неба в Иль-де-Франсе, напоминающие порой взгляд моего отца. Ну вот, мне кажется, что профессор Ронер рассуждает так же, как рассуждал бы мой братец Жозеф, будь он по-настоящему образованным человеком. А между тем то, что отталкивает, что возмущает меня в Жозефе, поражает и восхищает в устах г-на Ронера. Такова, очевидно, дорогой Жюстен, влияние культуры и таланта. Грубость Жозефа, смягченная гуманистическим, философским отношением к жизни, могла бы стать со временем силой, величием. Но Жозеф мой брат. Близким ничего не прощаешь: они позволяют нам

заглянуть в наши собственные глубины и озаряют порой эту бездну.

Как видишь, ум г-на Ронера отнюдь не состоит из оттенков и полутонов, как у г-на Шальгрена. Это сильная от природы натура и, по всей вероятности, более стойкая, чем у моего доброго патрона.

Господин Ронер работал вчера вечером, когда я пришел к нему за советом; не отвечая на мой вопрос, он сразу ополчился на меня: «Искушение изменить рационализму, отвлечься от него хотя бы мысленно, хотя бы на секунду, не что иное, как западня, которую надо всячески избегать. Я прочел докладную записку, которую вы-так любезно передали мне. Вы приводите там слова, которыми Шарль Рише заканчивает свой труд об анафилаксии, а эта цитата оставляет, вопреки всему, лазейку для финализма. Неудачная цитата! Рише выдающийся ученый, но если он начинает молоть чепуху, надо тут же отвернуться от него. Мысль о том, будто вид может самопроизвольно предотвращать любые изменения, диктуемые внешней средой... Будто он может направлять собственное развитие, принося в жертву, в случае необходимости, отдельные особи, — это же идеалистическая точка зрения. Будьте осторожны, господин Паскье! У нас имеется лишь одно неоспоримое, верное и гибкое средство познания — наш разум. Все остальное шатко, нелепо, близоруко. Все остальное возвращает нас к блуждающему в потемках варварству. Никаких компромиссов! Мы, люди, все можем объяснить благодаря нашему разуму, и только благодаря ему. Поймите меня правильно: если имеются другие объяснения, я даже не желаю их слушать, я предоставляю их на рассмотрение моллюскам, червям и прочим низшим животным. Эти объяснения вводили в обман людей в продолжение четырех или пяти тысячелетий. Наконец мы, ученые, избавились от них. Итак, никаких препирательств, никаких проволочек! Тот, кто на данном этапе развития науки не идет прямо к цели, рискует все поставить под угрозу. Можете назвать его в зависимости от обстоятельств предателем, подлецом или дураком».

Сколько тут было холодной страсти! Какой язвительный, резкий тон! Я даже не колебался, я был почти убежден. Несмотря на усы и эспаньолку, г-н Ронер походил в эту минуту на Робеспьера. Мне думается, что Неподкупный должен был говорить именно так, этим упрямым,

ледяным голосом, который никогда не повышается, никогда не дрожит. Впрочем, г-н Ронер наделен, видимо, огромной проницательностью: я постоянно думаю о проблемах рационализма в нашу эпоху, и профессор сумел задеть меня за живое.

Приход г-на Ру неожиданно помешал нашему разговору. Ты видел, конечно, его портреты в иллюстрированных журналах. Какое странное аскетическое лицо! Сколько суровости в его чертах! По всей вероятности, г-ну Ру еще нет шестидесяти. Он коротко стрижет волосы и носит бородку, похожую на бороду гугенотов XVI века, его нетрудно представить себе в плоеном воротнике и в брыжах. Брыжей у него нет, но он обматывает шею толстым кашне вроде тех, что случается видеть у классных надзирателей. Он ходит в черном, более чем скромном костюме и в толстых башмаках, которые подошли бы разве только какому-нибудь викарию. Я часто встречаю его у заведующего хозяйством, где он дежурит по нескольку часов в день, наблюдая за всем, что происходит, за людьми, которые приходят, за людьми, которые выходят. У него необычайно зоркий глаз. На прошлой неделе я зашел к нему в кабинет с какими-то бумагами. Г-н Ру сидел на соломенном стуле за голым столом в метр длиною и в локоть шириною, положив ноги на трехфранковый жесткий коверчик. Можно было подумать, что находишься в приемной неумирующей монашеской конгрегации. Не скрою от тебя, я до сих пор не избавился от чувства ледяного почтения. Я находился в самом преддверии науки XIX века, непреклонной, чисто-сердечной, целомудренной.

Господа Ру и Ронер заговорили о делах. Я догадался, что речь идет о Биологическом конгрессе, который откроется в Париже в конце зимы.

Господин Ронер заметил:

— Вы отказались председательствовать на конгрессе, и это очень жаль — с вами все было бы гораздо проще. Насчет речи я подумаю. Позвольте мне подумать. Я не люблю ни с кем делить ответственность...

Тут оба собеседника отошли от меня, и конца разговора я не услышал. Я отправился в главную лабораторию. Стал работать с г-жой Удуар, молодой женщиной, о которой я тебе рассказывал в одном из писем: она выполняет здесь «функции лаборантки», как говорит Стернович. Она из очень хорошей семьи, но, к сожалению,

не получила систематического образования. Замужем она была всего несколько месяцев, затем супруг покинул ее из-за какого-то любовного увлечения. Ей пришлось поступить на работу. Она занимается здесь культурами, термостатами, измеряет температуру у животных, делает им уколы, ведет записи. Она преданна, молчалива и печальна. У нее иссиня-черные волосы и матовая кожа. Прекрасные, затуманенные грустью, глаза. Она очень мне нравится. Не подумай, будто речь идет о какой-нибудь интрижке. Нет, я питаю к ней искреннюю дружескую симпатию с примесью нежности. Я назвал ее «молчаливой», и это соответствует действительности. Но стоит ей заговорить, и раздается прекрасное контральто, звучное, хватающее за душу, как звуки скрипки в нижнем регистре.

Как видишь, я пытаюсь описать тебе людей, которые меня окружают. Не подумай, будто я считаю себя центром чего бы то ни было. Нет, нет, я стал скромным, даже чересчур скромным. Всякая гордыня внушает мне отвращение.

Господин Ронер прошел с г-ном Ру по лаборатории и проводил его до дверей. Затем подошел ко мне, вид у него был озабоченный. Он хрустел пальцами. Этот звук действует мне на нервы.

— Вы знакомы с господином Шлейтером? — спросил он.

— Да, сударь, я работал с ним прежде у господина Даистра.

— Будете иметь удовольствие встретиться с ним. Он проводит расследование в нашем Институте, да, расследование по поручению министерства, и, вероятно, находится на этаже под нами. Он явится сюда с минуты на минуту.

Господин Ронер сухо рассмеялся и прибавил:

— Именно у Даистра господин Шлейтер подготовил свою диссертацию о содержании фосфолипидов в птичьих яйцах. Я хорошо ее помню. Превосходная работа. С тех пор господин Шлейтер ударился в политику. Мы еще услышим о нем. И пусть его бывшие коллеги и наставники не слишком сожалеют о такой потере! Когда высокообразованный человек обращается к политике, это значит, что он потерпел крах на избранном поприще, это значит, что он уже ни на что не годен. Государством

управляют люди, оставшиеся за бортом всех почтенных профессий.

Глаза г-на Ронера сверкали холодным пламенем. Он стиснул зубы, что привело меня в еще большее замешательство, чем смысл его слов. Затем проговорил со сдержанным гневом:

— Заметьте, Паскье, я имею в виду людей, которые получили все же солидное образование. Зато другие! Какое убожество! Необразованных людей не следовало бы допускать к административным должностям. Надо бы учредить курсы, конкурсы. В сущности, народ презирует образование: он видит, что и необразованные люди занимают высшие посты в государстве, он понимает, что и без образования можно обойтись. Таким образом, власть попадает в руки наименее достойных. К сожалению, люди талантливые и любящие свое дело не желают отказываться от него, чтобы стать лакеями парламентского сброда. Народ прекрасно знает, что ни за четыре-пять месяцев, ни даже за пять лет случайный человек не станет ученым, хирургом, художником. Зато на политическом поприще первый встречный может не сегодня, так завтра сесть в кресло власть имущих и, заполучив это кресло, командовать не только прихвостнями, но и учеными, хирургами, генералами, художниками — словом, людьми, которые отдали все силы, чтобы научиться чему-нибудь и прилично выполнять определенную работу. Все это не слишком весело.

Эти речи поставили меня в тупик. Известно, что г-н Ронер бывает в кулуарах министерств и засыпает политических деятелей ходатайствами и жалобами. Как же так?

Господин Ронер, вероятно, еще долго говорил бы на эту тему, но тут явился Леон Шлейтер. Два года назад он покинул Сорбонну. Теперь он в отпуске и пользуется любым случаем, чтобы повидать старых товарищей. Не знаю, что тому причиной — тоска или желание порисоваться.

Он все такой же черный, худой и унылый.

Нужды нет, я встретился с ним не без удовольствия. Мы побеседовали о Сорбонне, о его приезде в «Уединение» в прошлом году, о наших однокурсниках и преподавателях. Затем Шлейтер заговорил о политике. Он начальник кабинета Вивиани, но придерживается более левых убеждений, чем его патрон, и даже более левых, чем

Жорес и Гед, его кумиры. Он окопался в прихожей министерств, но лишь для того, чтобы ожидать и готовить там революцию. Затем он сразу перешел на тон, который я назвал бы тоном «революционного ханжества». В самом деле, он говорит о революции, как иные говорят о господе боге, с видом елейным и сокрушенным.

Он ушел. Г-н Ронер успокоился. К нам вернулась та олимпийская ясность духа, о которой я, кажется, упоминал в начале этого письма, и я снова наслаждался ею.

Как видишь, жизнь моя течет спокойно. Одно только испортило мне настроение за последние дни. В Институт зашел Сенак, хотя ему и нечего здесь делать. И все никак не мог уйти.

Сенак сумасброд. Да, надо сказать тебе, пока я не забыл: все его недавние инсинуации бессмысленны и необоснованны. На прошлой неделе г-н Ронер обратился ко мне с такими словами: «Я только что получил письмо от г-на Шальгрена. Поистине любезное письмо. Речь идет об одном пункте повестки дня. Поблагодарите его, пожалуйста, от моего имени». Мне показалось, что ветер разогнал все тучи на моем горизонте. Я был доволен.

Твой старый друг Лоран, олимпиец.

15 октября 1908 г.

Глава IX

*Сенак ни во что не верит, даже в необы-
тые. Что означает, в сущности, пренебре-
жение к почестям. Друг кошек. Кот уга-
дывает мысли людей. Г-н Шальгрен
встревожен. Статья, которая должна
остаться втайне. Странное совпадение.
Хибарка в глубине тупика. Похвала оди-
ночеству. Признания Сенака. О научном
любопытстве*

Твоя правда, Жюстен, я пренебрегаю помимо воли пашей перепиской, и ты вправе жаловаться на меня. Прошу прощения. Но на моих глазах разыгрывается непонятная драма, о причинах и перипетиях которой мне

очень трудно судить. От моей недавней ясности духа не осталось и следа. Я живу среди тревог и опасений.

Чтобы объяснить тебе, в чем дело, придется вернуться к некоему разговору, который вышел у меня с Сенаком десять дней тому назад. Речь идет о тягостных событиях, и поэтому тебя не слишком удивит, что в них замешан Сенак. Я чуть было не написал «скомпрометирован», но все же удержался.

Я был в Институте десять дней назад или около этого, когда туда пожаловал Сенак. Должны были начаться лекции, практические занятия, и я готовился к прибытию студентов. Можешь себе представить, сколько у меня было работы. Когда ко мне заходит Сенак, это ведет к потере часа времени, не меньше. А если, к несчастью, он еще и выпил, мне приходится более двух часов нянчиться с ним, ободрять его, утешать. В тот день Сенак выпил. Если бы я не заметил этого по его взгляду, по запаху спирта, по дрожанию рук, по звуку голоса, по невнятному произношению, то безошибочно догадался бы обо всем по характеру его речей. Когда Сенак бывает пьян, он ругает пьяниц и обвиняет в пьянстве всех и каждого. Он начал с того, что обрушился на Стерновича:

— Он напивается как стелька четыре раза в неделю, весь пропитался спиртом. Он русский еврей, а по страстию к сивухе похож на настоящего русского. Право, в России так много запойных пьяниц, что она никогда не сыграет видной роли в мировой политике. Кха, кха! Не переносу пьющих людей.

Он беспрестанно икал, отравляя спиртным духом всю лабораторию. Затем принялся жаловаться:

— Испоганил я свою жизнь, а подыхать все же неохота. Моя жизнь — сплошное мучение, Лоран, можешь мне поверить, я слов на ветер не бросаю. И вот что мерзко, я предпочитаю это великому ничто. Вероятнее всего, я попаду в ад, как говорят добрые люди. Ад — все же кое-что, какая-то форма вечности. Я предпочитаю ад небытию. Ад — это продолжение существования. Впрочем, хочешь, я все выложу тебе начистоту: я не верю в ад, я ни во что не верю, даже в небытие. Ты слышал, что я сказал? Я не верю даже в небытие.

Уф! Когда Сенак бывает в таком настроении, не остается ничего другого, как терпеливо сносить его. Я сделал вид, будто ничего не слышу, и продолжал переходить от стола к столу. Мой халат был распахнут. Се-

нак шел за мной по пятам, продолжая икать. Он дернул меня за полу, и взгляд его сразу загорелся.

— Ха, ха, ты уже не носишь ордена! — прогготал он.

— Не все ли тебе равно?

— Все равно, понятно, но это симптоматично: люди потому не носят орденов, что ждут более высокой награды и бывают недовольны, не получив ее. Я говорю, конечно, не о тебе. Взгляни на Ронера, он перестал надевать свою серебряную бляху с тех пор, как Шальгрэн отхватил золотую. Это же яснее ясного.

— За молчи, — сказала я, вскипев. — Тебе этого не понять, но бывают в жизни минуты, когда человек чувствует, что он избавился от скверны, что ему не нужны почести.

Сенак расхохотался и, засунув в нос указательный палец, пробормотал:

— Полно, не так уж ты наивен! Отказываются от знаков отличия как раз люди самые чванливые, самые жадные до почестей. Они считают для себя честью пренебречь почестями. Ну, да когда-нибудь ты в этом признаешься.

И без всякого перехода, словно воспользовавшись моим настроением, чтобы затронуть основной вопрос, он заявил:

— Послушай, Лоран, сегодня утром я не пошел к профессору Шальгрэну и уж лучше скажу тебе напрямик: я больше к нему не пойду.

Я почувствовал, что гнев мой сменил свой объект и отправную точку и устремился по новому направлению.

— Что ты опять натворил?

Это было сказано резко, и я полагал, что Сенак примет бой, станет защищаться, контратаковать. Ничего подобного. Он опустил глаза и проговорил с умильной улыбкой:

— Я не могу туда вернуться из-за кота.

Я, кажется, писал тебе, что по моей просьбе г-н Шальгрэн взял к себе этой весной Сенака в качестве секретаря. Сенак умеет писать на машинке. Знает стенографию. Как помнишь, он был до «Уединения» секретарем некоего политического деятеля по фамилии Куальё. Скромное место у г-на Шальгрэна давало ему возможность прокормиться. Г-н Шальгрэн много пишет. Ему нужен человек, который вел бы его картотеку, ходил бы по библиотекам, читал и систематизировал интересные

статьи, переписывал рукописи. Работа эта приятная не только благодаря общению с патроном, ибо он человек в высшей степени живой и многосторонний, но и благодаря отсутствию строгого распорядка дня. Ничего похожего на работу в учреждении. Много свободного времени, много независимости. Словом, все, о чем мог только мечтать в свои лучшие часы такой парень, как Сенак.

Он заметил, не поднимая глаз:

— Я ничего не сделал дурного. Говорю же тебе, все вышло из-за кота. Я не могу больше видеть этого кота.

— Каковы бы ни были причины твоего ухода, заявляю тебе — они нелепы!

— Ты этого не знаешь. А я нахожу их более чем основательными.

Я сидел на краю соломенного тюфяка и нервно вертел в руках стеклянную линейку. Сенак стоял передо мной как преступник. Он искал дрожащей рукой ученическую табуретку, низенькую табуретку, на которую и опустился. В этом положении он мог не поднимать на меня глаз. Уставившись на мою коленку, он стал извлекать из глубины своего существа какие-то жалкие оправдания, которые, пожалуй, не пришли бы в голову никому другому.

— Знаешь, его зовут Минос. Красивое имя для кота. Когда я писал за столом в библиотеке, он ходил вокруг меня, терся о мои штаны, всячески старался приласкаться. Так что под конец я брал его поперек туловища и сажал к себе на колени. Он оставался у меня долго, очень долго. Порой я даже забывал о нем. Порой он мурлыкал, требуя, чтобы его погладили. Тогда я чесал у него за ухом или щекотал ему пальцем шею. Стоит пальцу немного соскользнуть, и нащупываешь трахею толщиной с гусяное перо, ее кольцообразные хрящи...

Сенак умолк, и мне пришлось подбодрить его: «Что все это значит?... Объясни... Я не понимаю...» Тогда он вновь заговорил:

— Ты никогда не убивал кошек? Нет. Значит, ты не любопытен. Это очень трудно, поверь. Иные сажают кошку в мешок и до смерти забивают ее палкой. Кошка прыгает, шипит, воет. Это ужасно. Другие вешают ее. А когда кошка издохнет, ты не можешь себе представить, какая она бывает длинная и тяжелая. Да, да, убить ее нелегко. Я не раз нащупывал трахею. Согласись, это заманчиво. Я говорил себе, что стоит сжать горло... Толь-

ко надо выработать прием. Я часто думал об этом приеме. С силою зажать задние лапы между колен, схватить одной рукой передние лапы, а другой, ну, другой заняться трахеей... Понимаешь, Лоран, меня привлекала трудность затеи. Ничто другое. Задушить кошку, не дать себя оцарапать, согласись, ведь это требует ловкости. И как раз в ту минуту, когда я был готов совершить... этот поступок... Я только подумал о нем, даже не попробовал сжать колени. Повторяю, это было как бы неясным желанием... Вдруг кот Минос испустил истошный вопль. Я даже не угрожал ему, даже не сжимал... Он испустил оглушительный вопль и пребольно оцарапал меня. Вот, погляди на мою руку. Словно он угадал мысль, которая даже не была вполне четкой, вполне определенной. И затем прыгнул. Фрр! Он уже был на камине и смотрел на меня оттуда челоуечьим взглядом. И под конец ушел, пожав плечами. Честное слово!

Мы с тобой хорошо знаем Сенака. И все же это признание вызвало у меня тягостное чувство. Я подыскивал ответ, когда он снова заговорил:

— Что получилось бы, если бы я убил этого кота? Что сказал бы господин Шальгрэн? Что подумали бы обо мне люди, если бы я явился с такой дичью в руках?

— Но в конце концов, — возразил я, передернув плечами, — ты же не убил кота?

Сенак покачал головой.

— Это почти то же самое. Я больше не вернусь к Шальгрэну. Понимаешь, я не хочу, чтобы кот опять посмотрел на меня. Я этого не вынесу.

Вид у Сенака был упрямый. Должен сознаться, я жалел его. И в довершение всего, мне захотелось, по своему обыкновению, утешить его. Но он взял свою шляпу и ушел, бедняга, жуя свой черный ус. А я стал придумывать, куда бы его пристроить, надо же ему как-то жить. Боже, до чего я глуп! Я думал лишь об этой нелепой и отвратительной истории с котом, о потерянном месте, в сущности, о пустяках.

Несколько дней прошли среди этих мелких забот. Я избегал говорить о Сенаке с патроном. Я думал: «В конце концов господин Шальгрэн сам скажет мне что-нибудь».

Все вышло так, как я ожидал, и я почти сразу же почувствовал, что драма вовсе не проста. Г-н Шальгрэн спросил у меня во вторник или среду на этой неделе:

— Ваш друг Сенак, видно, болел? Он уже около недели не приходит на работу. Будьте так добры, Паскье, узнайте, что с ним.

Вид у патрона был озабоченный. Он щурился, что служит у него, насколько мне известно, признаком усталости. Вдруг он сказал что-то совершенно невразумительное:

— Господин Сенак вне подозрения. Он ваш друг, и это достаточная гарантия. К тому же все три копии у меня.

Почувствовав, что до меня не доходит смысл этих отрывочных фраз, он постарался взять себя в руки. И все же голос его дрожал от волнения, когда он спросил:

— Скажите, вы читали последний номер «Медицинской прессы»?

— Нет еще, патрон, не успел.

Господин Шальгрэн, видимо, колебался. Он сделал усилие над собой, чтобы успокоиться, и мне показалось, будто он улыбнулся. Но это была вымученная улыбка, и она расстроила меня. Затем он прибавил, понизив голос:

— Вам, верно, известен, Паскье, труд господина Ронера «Происхождение жизни»? Последнее время об этой книге много говорят.

— Да, патрон, известен.

— В труде господина Ронера есть превосходные места. Но там имеются, кроме того, фантастические гипотезы и сомнительные высказывания. Господин Ронер злоупотребляет рационалистической диалектикой и договаривается до утверждений несколько курьезных в устах признанного поборника научного эксперимента. Вспомните, Паскье, основное положение предисловия: «Стоит соединиться в определенных пропорциях углероду, азоту, кислороду, водороду, сере и нескольким второстепенным элементам, стоит возникнуть условиям, необходимым для синтеза живых белков, как появятся зачаточные формы жизни, которые мы еще не можем полностью объяснить, но непременно объясним в ближайшем будущем, и, раз появившись, говорю я, эти формы станут развиваться, влиять на окружающую их питательную среду и порождать путем мутаций, или, иными словами, путем скачкообразных изменений, живые организмы, подчиненные всем законам прогрессивной или регрессирующей эволюции...» Я цитирую по памяти. Подлинный текст, не-

сомненно, лучше — господин Ронер превосходный стилист. Так вот, все эти идеи — а они произвели огромное впечатление — не что иное, как плод пустого теоретизирования...

Господин Шальгрэн надолго умолк. Я не мог понять смысла этого монолога. И, главное, не улавливал связи между диатрибой патрона и дрызгами Сенака. Я даже сомневался в наличии между ними какой-либо связи. Голосом еще более тихим, еще более неуверенным патрон снова заговорил:

— Мне не нравится труд господина Ронера. Будьте спокойны, мой друг, я ничего ему об этом не сказал. И даже как будто написал хвалебное письмо. Однако я оставляю право критики за собой: господин Ронер один из тех биологов, которые не устояли против математической заразы. Несмотря на всю свою ригористичность, он из породы тех мечтателей, которые воображают, будто стоит смешать в пробирке водород, углекислоту и прочие ингредиенты, положить пробирку в термостат, и сутки спустя они найдут в своей кухне нечто вроде гемопаразита Лаверана или, как знать, даже ее величество палочку Коха. Эти господа — люди весьма серьезные, но тут есть над чем посмеяться... Ведь это же возврат, и возврат воинствующий, якобы научно обоснованный, к самопроизвольному зарождению! Представьте себе, Паскье, я написал осенью критическую статью по поводу книги господина Ронера, но отнюдь не собирался ее публиковать. Я не полемист. Статью же я набросал для себя, для себя одного, чтобы успокоить свою совесть. Я никому о ней не говорил. Именно потому я не понимаю тона статьи господина Ронера в последнем номере «Медицинской прессы».

Видя, что патрон не решается высказаться яснее, я заметил самым почтительным образом:

— Сударь, я ничего не понимаю.

— Конечно, вы и не можете понять. Поверьте, мой добрый друг, если я заговорил с вами, именно с вами, об этом тягостном деле, то сделал это не только из дружеского расположения к вам. Вы знаете господина Сенака, он ваш друг и как будто старый друг. Должен вам сказать, Паскье, что я дал текст своей статьи господину Сенаку и просил переписать ее в трех экземплярах.

Патрон опять умолк. Кончиком среднего пальца он постукивал по своей верхней губе, что является у него

признаком полной растерянности. Я слушал его с мучительным беспокойством.

— Погодите, Паскье. Погодите, мой друг. Господин Сенак переписал текст у себя дома. И, как я уже говорил, в трех экземплярах. Все три экземпляра находятся у меня, и я никому их не показывал. Я не выпущу их из рук до самой смерти, если только не уничтожу заранее. Как видите, я на ложном пути. Господин Сенак вне подозрения, и мне не следовало называть его имя. Сознаться, однако, что получилась довольно-таки странная ситуация. В своей пресловутой статье, появившейся в «Медицинской прессе», господин Ронер отвечает на все мои критические замечания. Он не может затронуть лично меня, поскольку я ничего не опубликовал, но он обращается к отвлеченному оппоненту и приписывает ему мои мысли, мои выражения, слово в слово. Пока что я один понимаю всю оскорбительность этого приема, весь яд этой риторики.

Профессор Шальгрэн все больше волновался. Но он не краснел, напротив. Большие пятна костяного цвета выступили у него на щеках и на лбу. Да, я не оговорился, казалось, что сквозь кожу просвечивает изначальная, первобытная субстанция костяка. Я пробормотал:

— Патрон, Жан-Поль Сенак честный человек. И вряд ли его можно заподозрить в рассеянности или в легкомыслии, когда речь идет о таком серьезном деле.

Овладев собой, г-н Шальгрэн улыбнулся своей милой улыбкой:

— Ну, конечно, я и не сомневаюсь в этом. Главное, Паскье, не принимайте моих слов близко к сердцу, прошу вас как друг. Я припоминаю, пытаюсь понять. Ведь такое совпадение более чем странно. Полно, мой друг, давайте работать. В сущности, наука — наше единственное прибежище от отчаяния и смерти.

Смею тебя заверить, что я был весьма далек от мудрого спокойствия, вновь обретенного патроном. Стоило мне взять под защиту Сенака, как мною овладели самые страшные подозрения. Работал я плохо. После обеда отправился в Институт и сделал все от меня зависящее, чтобы не встретиться с г-ном Ронером. Часов в шесть я сел в трамвай и поехал к Сенаку.

Он был у себя.

Я уже говорил тебе, что он живет в глубине мощеного тупика. В начале этой улочки расположены столярные

мастерские и чувствуется похоронный запах еловых досок и стружек. Затем стоит домик барышника, за ним лавка мраморщика, дальше находятся заброшенные конюшни, еще дальше пустырь и, наконец, хибарка Сенака. Подойдя к ней, я невольно подумал, что пристрастие к одиночеству все же признак характера со странностями.

Прежде, нежели я успел постучать, послышался разноголосый лай. Я ожидал увидеть Миньон-Миньяра, немислимого пса, который был с нами в «Уединении». Он оказался не один. Приоткрыв дверь, Сенак попросил меня быть поосторожнее с его новым питомцем, тощей собакой, похожей на немецкую овчарку, у которой один из голубых, словно фарфоровых, глаз покрыт молочно-белым бельмом. Оказывается, пес этот не был ни добродушным, ни приятным.

Я сел на диван, служивший Сенаку кроватью. Диван был такой низкий, что я неожиданно оказался в довольно неудобной позе.

— Вот видишь, — сказал Сенак, — я живу в полном одиночестве. Здесь, Лоран, больше чем «Уединение», здесь сверхуединение. Ты легко поймешь меня. Иногда по вечерам, когда я варю нашу похлебку — все мы: псы, голубь и я — едим одно и то же, — я говорю себе с радостью, что ни у кого на свете нет ни малейшей причины вспоминать обо мне. Какая замечательная легкость! Какое освобождение! Едва только собаки уснут, в ушах у меня раздается как бы пение. Это волнующий гимн безмолвию. Я думаю о том, что есть люди, которые слушают дыхание своего ребенка или заводской шум, люди, которые знают, что к ним могут обратиться, о чем-нибудь их попросить — об услуге, совете. Брр... Я отрешился от всего на свете. Мои часы и те стоят. Я даже не завожу их, чтобы они не нарушали моего покоя.

Мне хотелось сказать ему: «Вот видишь, я вспомнил о тебе. Подумай, Жан-Поль, ты ничего не сделал такого, чтобы заставить меня вспомнить о тебе?» Но сдержался и решительно заявил:

— Ты вернешься, и как можно скорее, на работу к профессору Шальгрону.

Он удивленно поднял брови, и так как комнатка освещалась керосиновой лампой, стоявшей на ночном столе, а Сенак был на ногах, от этой мимики на его лице заплясали причудливые тени.

— Слышишь? — повторил я. — Прошу тебя вернуться на работу к господину Шальгрёну.

Я не ждал от Жан-Поля Сенака гневной выходки. Он редко сердится. Он ворчит, он брюзжит, он пускает слезу и жалуется. На этот раз он рассмеялся.

— Ну нет! Ну нет! — приговаривал он. — Мы с тобой не в «Уединении». Конец дисциплине. О казарме и речи быть не может, дружок.

— Сенак, — сказал я, — прошу тебя как о личном одолжении, вернись к господину Шальгрёну.

— О личном одолжении? Почему?

Он говорил так спокойно, казался таким прямым, что я не решался коснуться существа дела. Наконец я собрался с духом:

— Представь себе, милый Жан-Поль, у господина Шальгрёна имеются все основания полагать, что работа, которую он не хотел предавать гласности, попала неизвестно как в руки его противников. Лучший способ доказать ему, что ты непричастен к этому предательству, вернуться на работу, несмотря на историю с котом, даже в том случае, если тебе придется сделать усилие над собой. Понимаешь, Сенак?

Он слушал, не проронив ни слова. Я же вспомнил, как в прошлом году мы поехали в Бьевр, чтобы уличить его в краже — у нас тогда пропало вино, и мы считали его виновником этой пропажи. Вспомни, он заплакал. Мы были в отчаянии, просили у него прощения. В конце концов он одержал над нами верх, так как воровкой оказалась наша прислуга, гнусная мамаша Кловис. Я ожидал, что Сенак станет хныкать, осыпать меня упреками. Но нет, лицо у него сразу же стало замкнутым. Он пробормотал:

— Что это за нелепица?

— Конечно, ты тут ни при чем, — сказал я чистосердечно. — Господин Шальгрён дал мне это понять. Все три экземпляра, которые ты переписал в его присутствии, находятся у него. Но, пойми, если ты уйдешь сейчас от патрона, это может вызвать нежелательные толки. Не надо уходить от него.

Тут Сенак расхохотался. Этого я никак не ожидал. Он так долго смеялся, что собаки залаяли. В его хибарке было холодно. Право же, это была пренеприятная минута.

— Три экземпляра! — воскликнул Сенак. — Ну, так если хочешь знать, я сделал четвертый. Только никому об этом не говори. Всезнающие ученые совсем не наблюдательны. Можно подумать, будто господин Шальгрэн смотрит на людей и на предметы. На самом деле, господин Шальгрэн ничего не видит. Я сделал четыре экземпляра, а не три!

Еще немного, и я бросился бы на несчастного, мне хотелось схватить его за плечи, как следует встряхнуть, даже побить.

— Так, значит, это ты! Ты! Возможно ли? И для чего? Для чего, спрашивается?!

Я настолько потерял власть над собой, что обе собаки дружно зарычали. Впрочем, Миньон-Миньяр меня даже не узнал. Что касается второй собаки, то это дикий зверь, зверь, живущий впроголодь.

Сенак поднял руку.

— Осторожно! Не то они тебя искусают.

— Но для чего, спрашивается, для чего ты сделал это?

Тогда Сенак ответил вполне непринужденно:

— Как для чего? Естественно, чтобы посмотреть... Все вы совсем не любопытны.

— Понимаешь ли ты, что это гораздо серьезнее, чем воровство, что это сродни преступлению!

Он ходил взад и вперед по комнатушке, положив руки в карманы панталон, подняв плечи и вперив взгляд в пол; вид у него был упрямый. Обе собаки следовали за ним.

— Не надо громких слов. Я люблю эксперименты. Я любознательнее, чем вы все вместе взятые. Кража! Преступление! Об этом и речи не было бы, если бы ты не вмешался в дело.

Мне стоило большого труда промолчать, успокоиться. Сенак продолжал ходить, и его тень тоже разгуливала по стенам. Наконец я сказал вполголоса:

— Это ужасно, неслыханно! Но все равно, Сенак, ты не можешь уйти от господина Шальгрена, пока не признаешься в этой гнусности. Итак, ты вернешься на работу и останешься там впредь до дальнейших распоряжений. Ты это сделаешь, хотя бы ради меня.

В голосе у Сенака снова зазвучали жалобные нотки. Он захныкал:

— Хотя бы ради тебя! Все вы таковы: думаете толь-

ко о себе. Да и любой ваш поступок продиктован не чем иным, как эгоизмом.

Он все говорил и говорил на эту тему, и голос его звучал угрюмо, назидательно. Я продолжал настаивать на своем, и мы условились встретиться еще раз. Я ушел из отвратительной обители Сенака более озабоченный, чем раньше. Собаки лаяли, преследуя меня по пятам.

Спускаясь по улице Томб-Исуар, я пытался понять поведение Сенака и чуть было не заболел от этого. Ведь, в сущности, все сомнения рассеялись: он украл один из экземпляров статьи г-на Шальгрена и передал его известному тебе человеку. И сделал это не из-за денег или личного честолюбия, а «чтобы посмотреть».

Не прибавлю ничего больше. Я утомлен, подавлен. Мне следовало бы дать ему хорошего пинка, с отвращением отвернуться от него. Не могу. Теперь уже не могу. Ведь я почти его сообщник, и у меня остался один выход — наблюдать за беднягой, не спускать с него глаз.

Наконец, признаю тебе по секрету: мне все еще жаль Сенака. Я не могу бросить его в том... болезненном состоянии, в каком он находится. Я написал «в болезненном состоянии», но моим первым и несколько романтическим побуждением было написать: в состоянии смертного греха.

Твой Лоран.

17 ноября

Глава X

Обращение к другу-еврею. Жюстен просит писать ему о семействе Паскье. Элементарная форма метафизической тоски. Способ подбодрить усталых лошадей. Лоран наталкивается на стену. Можно ли сидеть между двумя стульями? Создание Благотворительного комитета. Сведения о застарелой ненависти. Идейных распрей не бывает. Накануне Биологического конгресса. Двое ученых, ищущих истину

Жюстен, друг мой, ты несправедлив и не заслуживаешь своей репутации справедливого человека. В своем последнем письме ты просишь меня больше не говорить с тобой о евреях. Ты пишешь: «Я знаю, ты любишь

меня, ты любишь нас. Однако я предпочитаю обходить молчанием этот вопрос. Тебе никак не удастся забыть о том, что я еврей». Но, дорогой Жюстен, можно ли об этом забыть? Неужели вы настолько незаметны, что вас трудно заметить? Неужели вы так удивительно молчаливы, что вас можно не слышать? Если я говорю о тебе, о вас и даже, подчеркиваю, о них, ты начинаешь возмущаться. Но если бы я перестал говорить о них, о вас, о тебе, ты принялся бы кричать еще громче. В таком случае, позволь мне жить и говорить, как я того хочу. А если в этой откровенной переписке тебе придет фантазия сказать что-либо о «гоях», будь спокоен, я прислушаюсь к твоим словам. Но мне нечего тревожиться: ты ничего не скажешь о нас, как «таковых». Вы, евреи, еще не перестали удивляться самим себе, а иной раз побуждаете и даже заставляете нас разделять это удивление.

У меня такое чувство, словно все, что я поверяю тебе в письмах, не так уж для тебя важно, что ты предпочел бы услышать не о моих скромных заботах, а о серьезных проблемах, стоящих перед Европой. Увы, Жюстен, ты идеолог, социолог, пророк. Я же сталкиваюсь с обыденными трудностями, которые заслоняют от меня порой блестящие интеллектуальные или политические перспективы, среди которых твой разум лавирует с такой завидной непринужденностью. Напряженные отношения между кайзером и Великобританией, посещение русского царя сербским наследным принцем — значительные события, вполне согласен с тобой. При чтении твоих писем мне становится порой немного стыдно, так как я старательно рассказываю тебе лишь о скрытой вражде между двумя почтенными учеными и исследователями.

Благодарю тебя за внимание к моим близким и за сердечность, с которой ты справляешься о них. Я клянусь в каждом своем письме не говорить больше о моем семействе, предать забвению ничтожные случаи из жизни Жозефа или Фердинана, а ты постоянно расспрашиваешь меня о семействе Паскье и просишь ничего от тебя не скрывать. Хорошо. Постараюсь исполнить твоё желание.

Как ты легко поймешь, я сохранил в тайне все, что мне поведал г-н Мерес-Мираль. Я слишком жалею людей, находящихся в зависимости от такого молодца, как

Жозеф. Я подавил свой гнев и ничего не сказал. Жозеф пользуется той исключительной безнаказанностью, которой повсюду пользуются нахалы. Он перестал говорить о своем разорении. При встрече со мной — а я не могу с ним не встречаться из-за матери — он изливается в жалобах по поводу выпавших на его долю ужасных испытаний и того труда, с каким он снова карабкается в гору. Он испускает вздохи и страдальчески морщит лицо, чтобы показать, насколько он измучен. Подумать только! Он был разорен. Он все потерял. Его собирались выбросить на свалку вместе с мусором и окурками. Какими же мы были дураками, что сочувственно выслушивали его излияния и выворачивали наизнанку свои карманы, дабы помочь ему. И вот понемногу все налаживается. Благодаря нашей своевременной помощи, колосс снова встает на ноги. Жозеф сказал на последнем семейном обеде: «Глоток рома не бог весть что, но, выпитый в нужную минуту, он может спасти человека. То же наблюдается и в финансовом мире». Глоток рома — это сбережения, которые мы, дураки, предложили ему от всего сердца. Фердинан, обычно ничего не прощающий Жозефу, находится наверху блаженства. Жозеф надолго привязал его к себе. Вместо того чтобы подавлять брата, он обратился к нему за помощью. Фердинан торжествует. Он спаситель, ангел-хранитель, бог этой финансовой машины. Он говорит: «К счастью, мы были тут! Я надеюсь, что нам удастся уладить дела Жозефа».

Но Жозеф уже отдалился от нас. Он сыграл с нами — а быть может, и с собой — жестокую шутку в своем излюбленном жанре. И для него с этим покончено. Другие дела, другие комедии призывают его. Я все же поговорил с ним о трех тысячах франков, принадлежащих отцу. Ибо у этих трех тысяч было совсем другое назначение.

Как тебе известно, моему отцу пошел шестьдесят третий год. Ты хорошо знаешь его — он сама жизнь. Жизнь отнюдь не мудрая и терпеливая, а безумная, пылкая и капризная. У него почти никогда не бывает лишних трех тысяч франков. Он не может собрать их. Что-то в его душе восстает против спокойного накопления столь значительной суммы. Вся его энергия направлена на внешний мир. Он должен раздавать и расточать, рисковать и терять. И все же ему удалось сэкономить три тысячи франков. С какой целью? Угадай. Готов побить-ся об заклад, что не угадаешь.

Отца, который любит лишь «красоваться», действовать, наслаждаться, жить, преследует за последнее время неотвязная мысль. И однако... У него две или три побочных семьи. Он жжет свечу с двух концов. Каждую неделю привлекает к себе внимание публичной ссорой, скандалом, дебошем. Каждые два года меняет квартиру и взгляд на вещи. У него мускулистые нервные ноги, победоносная осанка, стоящие торчком усы. Он говорит: «Я никогда не устаю. Проживу до ста лет, не меньше». И тут же заводит речь о театре, который он обожает, о знаменитых певицах, балеринах, куртизанках. Он поет фальцетом арии из опер прежнего времени. Подает реплики Сюзанне, когда она разучивает какую-нибудь партию, но только в роли любовника, играть другие он не согласен. Он ухаживает за своими снохами, которые отнюдь не питают к нему неприязни, а если и целует их, то норовит поцеловать в глаза, в местечко около губ или пониже шеи... Так вот, этот неуемный человек упорно думает о том, чтобы выстроить для себя гробницу. Ради этой гробницы он не без труда сэкономил три тысячи франков. Он уже приобрел место на кладбище в Несле, так как хочет найти успокоение в деревне своих предков.

Я узнал от матери о положении этого дела. Уже приглашен архитектор, сделаны чертежи. Вот, дорогой Жюстен, грандиозное предприятие, которое, быть может, объединит супругов после стольких измен, ссор и трагедий. Мама говорит о гробнице как о загородном доме. Слушая ее, я внезапно понял тайну Древнего Египта, я понял, что смерть руководит и управляет всеми действиями живых. Метафизика — занятие буржуазное, аристократическое. Я имею право увлечься метафизикой, как только мне заблагорассудится. Но у папы не было времени на это. Он был поглощен тем, чтобы выбиться в люди и не дать себя затоптать, чтобы получить образование и заработать на хлеб насущный. И вот, неожиданно, метафизика берет этот странный реванш. Желание, потребность человека, столь жизнелюбивого, соорудить себе при жизни гробницу не что иное, как элементарная форма метафизической тоски.

Поняв, что папе нелегко отказаться от своей египетской мечты, я решительно вступился за него. На днях я отозвал Жозефа в сторону и сказал, смотря ему прямо в глаза!

— Я никогда ничего у тебя не попрошу, ничего, понимаешь? Но тебе придется вернуть родителям эти три тысячи франков. Придется, Жозеф! Придется!

Жозеф приложил руку к груди.

— Друг мой, за кого ты меня принимаешь? Эти деньги священны для меня.

И он тотчас же заговорил о Пакельри, где вода застывает парк всякий раз, как Уаза выходит из берегов. Я уже видел приближение минуты, когда мне придется утешать бедного, подавленного Жозефа.

Ну нет, Жюстен, прошу тебя, оставим мое семейство в благодетельной тени. Да и что я могу сказать? Ларсенер снова стал бывать у нас и иногда приглашает куда-нибудь Сюзанну; вот почему Тестевель впал в мрачное отчаяние. А впрочем, пусть себе живут, как хотят. Одно только мучает меня, если хочешь знать. Уже давно отец не выкидывал ни одной несурзной выходки. Давно не огорчал меня. Я начинаю беспокоиться. Эта длительная передышка неестественна. Она не предвещает ничего доброго.

Ты должен быть доволен, Жюстен. Ты желал услышать новости о моем клане, ты их получил. В общем, дела не так уж плохи. Мне хотелось бы сказать то же самое обо всех окружающих меня людях. Я узнал, что Сенак вернулся к г-ну Шальгрону, но ввиду того, что он перестал заходить в Коллеж, а его поведение внушает мне вполне понятное беспокойство, я отправился его проведать.

Это было незадолго до полудня. Я нашел Сенака в тупике, где он живет, у ворот торговца лошадьми. Стоял хмурый зимний день, сырой, промозглый. Сенак был в дрянном, засаленном ватерпруфе, в котелке, сдвинутом на макушку, и со своими висячими усами производил при дневном свете довольно жалкое впечатление. Он наш ровесник, разница между нами не больше двух-трех лет. Это ужасно! Под глазами у него залегли лиловые тени, веки набухли, словно налились водой. Бреется он небрежно, так что подбородок кажется синим. Руки выглядят невымытыми, ногти обломаны и грязны. При мысли о том, что я горячо рекомендовал его г-ну Шальгрону, мне стало не по себе.

Он стоял на узеньком тротуаре тупика и смотрел на барышников, которые гоняли по двору лошадей.

— Ты только взгляни, — сказал он мне, — взгляни на

эту комедию. Не понимаешь? Забавная штука. Главный барышник, тот, что в синей куртке и в большой шелковой фуражке, набил себе рот дольками чеснока, что ни сколько не мешает ему разговаривать. Когда он хочет показать лошадь во всей ее красе, он вынимает чеснок изо рта и вставляет его под хвост своей кляче. Честное слово! Чеснок щиплет лошадь, и она бежит резвее, чем рысак. По-моему, это презабавно.

Он рассмеялся своим мрачным, болезненным смехом, который, как всегда, оборвался, словно заглушенный его усами. Затем он взял меня под руку, и мы вышли на улицу. Мне хотелось еще раз поговорить с ним об этом ужасном случае... об этой бестактности, не знаю, как лучше выразиться. Я был крайне смущен, взволнован. Подбородок у меня дрожал — наследственный признак сильного волнения. И все же я отважился.

— Знаешь, Жан-Поль, — сказал я, — эта... история, в которой ты замешан, может иметь весьма серьезные последствия.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Ну нет, уволь, — сказал он, — надоело. Не надо читать мне мораль. Люди должны отвечать за свои убеждения. Надо заставить людей, даже если они носят фамилию Шальгрэн, понять, чего они, собственно, хотят. Два твои человечка ненавидят друг друга, и не с сегодняшнего дня. Так пусть же они знают об этом и даже выложат все начистоту. Я во всем люблю ясность.

Он смотрел на меня, он смел на меня смотреть. Его взгляд не прячется, напротив. Он ищет ответного взгляда и удерживает его с упрямым и навязчивым упорством. Так что сам испытываешь желание отвести глаза, уклониться от его взгляда, как виновник. Он продолжал:

— Люблю эксперименты. Я, кажется, уже докладывал тебе об этом.

— Но зачем тебе понадобился именно этот эксперимент?

Он закашлялся.

— А зачем ты делаешь прививки морским свинкам? Замолчи, не то со смеху меня уморишь.

Я почувствовал, что сколько-нибудь разумный разговор не состоится. Я натолкнулся на стену. Я не оговорился: передо мной была сплошная, глухая, отвесная стена, за которой живет всякий человек. Да, старина, как ничтожны препятствия, воздвигаемые перед нами при-

родой, — горы, океаны, всевозможные силы, ветры, приливы, — как ничтожны они, говорю я, по сравнению с теми препятствиями, которые мы пытаемся превозмочь в характере людей! Прости мне это высокопарное отступление. Но могу ли я говорить иначе? Ведь я сталкиваюсь изо дня в день не с живыми людьми, а с неприступными стенами. Легче изменить течение реки, переплыть море, задержать ветер, чем помешать Жозефу, моему отцу, Сенаку и всем прочим, да, миллионам других людей, быть тем, что они есть, и думать так, как они думают. Я смотрел на Сенака, и сердце мое сжималось от невозможности преодолеть, испустить что бы то ни было. Да, жертва Христа иллюзорна, ибо признано с самого начала, что ангелы тьмы не подлежат спасению.

Извини меня за столь отвлеченное рассуждение. Вернемся к Сенаку. Я искал вслепую какой-нибудь выход, хотя бы временный, и ничего не нашел, кроме какой-то чепухи. Я сказал:

— Подумал ли ты хоть о том, что речь идет не только о людях, но и о науке?

Сенак захихикал:

— Оставь науку в покое. В истории с твоими патронами все зиждется на самолюбии, на гордости, и только. Ненавижу гордецов. Мне хотелось бы унижить их, показать им всю их глупость, всю их ничтожность.

Он долго сопел и наконец сказал, пожимая мне руку:

— Смело могу сказать, что я не гордец.

Все это плохо кончится. Я начинаю понимать, что между г-ном Шальгреном и г-ном Ронером уже давно существует глухая неприязнь, которую нелегко заметить. Если бы я догадался об этом раньше, то поостерегся занять положение, которое станет, вероятно, весьма затруднительным, положение человека, сидящего между двух стульев и рискующего оказаться на полу. Мое официальное место работы у г-на Ронера, а сердце я уже давно отдал г-ну Шальгреному. Я люблю и уважаю г-на Шальгрена, но я уважаю также г-на Ронера и восхищаюсь обоими: и тот и другой люди исключительно одаренные.

Ты слышал, конечно, о катастрофе, которая произошла в прошлом месяце на вестфальских каменноугольных шахтах. О ней много говорили на Севере, где ты живешь, да и вообще в рабочей среде. Франция собирается выстроить в Лиевене опытную станцию для изучения

такого рода несчастных случаев. Чтобы собрать необходимые для этого дела четыреста тысяч франков, Совет каменноугольных шахт решил учредить Благотворительный комитет, куда войдут, естественно, крупные ученые. В прошлый понедельник представители Совета зашли узнать мнение г-на Ронера. Он был в лаборатории, я работал тут же вместе с другими препараторами. Делегаты изложили свою просьбу. Профессор доброжелательно улыбался и хрустел пальцами. Он сказал вполголоса: «Конечно, с большим удовольствием, это весьма почетная задача. Можете рассчитывать на меня». Тогда ему вручили список членов Благотворительного комитета. Я пробежал глазами этот перечень поверх плеча профессора. Он бросил на него взгляд и сухо промолвил:

— Хорошо, я подумаю. Оставьте мне копию списка. Следует все же знать, с кем будешь заседать в этом Комитете.

Рот его искривился, в углах губ пролегли две глубокие морщины. Он сменил свой решительный тон, который мне так импонирует, на тон недоверчивый, резкий и даже злобный. Я успел разглядеть, что профессор Шальгрэн не только выдвинут заместителем председателя Комитета, но и дал согласие занять этот пост. Г-н Ронер тут же оборвал беседу, и посетители ушли немало разочарованные. Г-н Ронер заговорил с двумя другими сотрудниками: один из них Вьюом, которого ты знаешь, а другой низенький человечек, чрезвычайно живой и язвительный, по имени Совинье. И вдруг профессор заявил крайне прерзительным тоном:

— Возмутительно, что во главе Общества по рационалистическим изысканиям стоит ныне господин, в котором есть что-то от фантазера и ясновидца!

Вьюом и Совинье засмеялись. Я не рассердился на них. У моих коллег нет тех оснований, что у меня, уважать г-на Шальгрэна. И все же слова профессора показались мне излишне грубыми. Как только он ушел, мы, препараторы, разговорились по душам. Мои товарищи заинтересованы оборотом, принятым за последние дни ссорой «старцев», как называет наших патронов Совинье. Вероятно, моим коллегам не известно все, что известно мне, таково уж мое печальное преимущество. Короче говоря, ссора эта давняя, и ей следовало бы оставаться в рамках приличия, как это обычно бывает, когда двое людей одинаковой профессии невзлюбят друг дру-

га. Г-н Ронер обвиняет Шальгрена в том, что его рационализм замешан на розовой водичке, что он скатывается к дилетантизму, к томизму (?!), вступает в сделку со своей совестью и ведет Общество по рационалистическим изысканиям к расколу и анархии. Шальгрэн упрекает Ронера в примитивном рационализме, в школьной философии, в том, что он толкает учение на путь нетерпимости и якобинства.

Ты читаешь эти строки, дорогой Жюстен, и тебе, наверно, кажется, что можно с первого взгляда обнаружить идеологическую сущность разногласия. И, однако, это еще не подлинная сущность. Никогда не удастся обнаружить подлинной сущности. Всегда имеется еще что-то другое.

Позавчера я невзначай встретил Шлейтера в коридоре Сорбонны. В разговоре с ним я осторожно затронул вопрос об идейной борьбе между Ронером и Шальгреном. Он рассмеялся незримым смехом, клокочущим где-то глубоко в груди, и выразил свое мнение по поводу чувства ненависти, которое питают друг к другу оба мои патрона. Оказывается, это не что иное, как ненависть. Г-н Шальгрэн член Академии наук с 1906 года. Он вступил в нее два года спустя после г-на Ронера, и тот, говорят, сделал все возможное, чтобы преградить ему дорогу. Теперь оба они академики; но во время заседаний делают вид, будто незнакомы. Кроме того, профессор Ронер говорит о г-не Шальгрене не иначе как искажая его фамилию, произносит ее Шапегрен или Шатегрен. Я уже заметил эту манеру Ронера, но не вполне понимал до сих пор, что она означает. Увы! Увы!

Шлейтер говорил долго. Я слушал его, понурившись. Итак, чисто идейных распрей не бывает. Бывают лишь распри, вызванные чувствами и страстями. Когда ссорятся двое любовников, двое супругов или двое друзей, они призывают на выручку идеи, доктрины и философские системы; но суть разногласий редко лежит в голове: она коренится в плоти и в крови. О, я и прежде догадывался об этом. Я во многом винил отца в плане чисто философском, я упрекал его в том, что у него безотносительное, ребячливое представление о науке, что он простодушно смешивает науку и мудрость, не интересуется ни Шопенгауэром, ни Ницше, пренебрегает ценностями, которые я ставлю во главу угла. Но все это немногого бы стоило, если бы отец сделал так, чтобы я мог полю-

бить его попросту, от всего сердца. Идеи служат украшением нашей ненависти или нашей любви, но определяющим являются страсти, которые управляют нами даже в том случае, когда мы имеем честь быть Ронером или Шальгреном.

От беседы со Шлейтером у меня остался весьма неприятный осадок. Смею тебя заверить, Жюстен, что эти прискорбные открытия не слишком повлияли на почтительное восхищение, которое я питаю к избранным мною наставникам. Однако они нарушили ту прекрасную ясность духа, о которой я тебе недавно писал.

Не подлежит сомнению, что козни Сенака содействовали этому кризису. Но я до сих пор не могу понять, как он взялся за дело, чтобы произвести свой так называемый «опыт». К г-ну Ронеру не слишком легко подступиться. Постараюсь осторожно расспросить Совинье, помоему, он парень продувной.

Я познакомился со статьей из «Медицинской прессы». Для стороннего читателя статья безупречна. Можно подумать, что г-н Николя Ронер ведет спор с тенями где-нибудь под портиком. Но для меня, знающего теперь всю подноготную дела, статья приобретает иное звучание. В ней нет ни одного слова, которое не было бы направлено против идей г-на Шальгрена и даже — впрочем, и это довольно затратно — против привычек и личности моего дорогого патрона. Проанализируй хотя бы такое место: «По мнению иных, в общем вполне респектабельных ученых, биология будущего должна дремать в пыльных, плохо оборудованных и плохо управляемых лабораториях в ожидании милостей поэтического вдохновения. Мы же, биологи XX века, убеждены, что явления природы надо наблюдать при ярком, холодном свете разума, не измышлять, а именно наблюдать с помощью безупречной аппаратуры и при поддержке верящего нам дисциплинированного народа и т. д. и т. п.» Я не стану приводить других высказываний. Вся статья выдержана в том же духе.

Созыв Биологического конгресса явно обостряет дискуссию, что весьма прискорбно. Не помню, писал ли я тебе об этом Конгрессе — мне столько еще надо тебе сказать. Он должен состояться в Париже, в конце зимы. Этот Конгресс не обычный, а чрезвычайный. Он ставит себе целью доказать с полной наглядностью, объединив ученых различных отраслей науки, что биология основывается в наши дни на химии, на физике, на физиологии,

на медицине, скажем лучше — на всех науках, чтобы не забыть ни одной. Сначала председательствовать на Конгрессе предложили Бертело, который был не только выдающимся ученым, но и министром в отставке, что неизменно льстит французам с их несколько извращенным пристрастием к политическому декоруму. К несчастью, Бертело умер. Обратились к г-ну Ру, который пользуется большой любовью среди народа. Г-н Ру уклонился. Он человек осмотрительный, холодный, прекрасно знающий, что он хочет и чего не хочет. После предварительных переговоров пост был предложен моему патрону Оливье Шальгрону, члену Французского института, члену Академии медицинских наук, профессору Французского колледжа, председателю Общества по рационалистическим изысканиям и т. д. и т. п. Г-н Шальгрэн, надо признаться, тут же согласился. В первый день намечено провести торжественное собрание с военным оркестром в Сорбонне, а вечером второго или третьего дня устроить грандиозный банкет в Пале д'Орсэ. Организаторы просили г-на Ронера выступить с речью на этом банкете. Г-н Ронер еще не дал согласия, так как он надеялся председательствовать на Конгрессе. Таково положение вещей в данную минуту.

Да, да, это ужасно! Поверь, я не разочарован. У меня нет нелепых иллюзий. Я знаю, что люди есть люди, даже если они и крупные ученые. Но все это задевает меня, причиняет мне боль. Патрон что-то замышляет. Видимо, собирается ответить на статью в «Прессе». Он работает без устали. При входе к нему в кабинет я застаю его среди вороха бумаг. Обычно он пишет легко, а тут возвращается к каждой фразе, шлифует ее, оттачивает. Он больше не говорит со мной о Сенаке. Я заметил, однако, что он не дает ему переписывать ничего существенного. Г-н Шальгрэн очень добр. Он вполне может, да и всегда мог выставить вон Сенака. Он этого не сделал. Должен тебе признаться, я сбит с толку и не знаю, что мне еще предпринять. На днях Сенак зашел из библиотеки ко мне в лабораторию Коллежа. Он наклонился к самому моему уху и проговорил чуть слышно:

— Вот видишь, я все еще прихожу сюда, хотя мне это и дорого стоит. Хочется оказать тебе услугу.

Трудно объяснить чувство неловкости, которое я испытываю в этом ложном положении. Сегодня утром, когда я собирался показать г-ну Шальгрону вычерченные

мною кривые и спросить, какого он мнения о них, патрон обернул ко мне свое прекрасное бледное лицо и неожиданно сказал:

— Я не боюсь критики. Стараюсь даже извлечь из нее пользу. Но критике легко причинить мне боль, потому что она сразу обнаруживает мои уязвимые места. Не надо долго распространяться о моих ошибках, чтобы убедить меня и привести в отчаяние. Я сразу же соглашаюсь с противником, с его мнением. Мне не приходится делать усилия над собой, чтобы признаться в моих недостатках, в моих ошибках.

Он явно страдал, и я отвернулся, так как слезы жгли мне глаза.

Мы принялись за работу, спокойствие вернулось к нам. Я долго считал, что оно вернулось навсегда, что эта ссора была нелепым кошмаром, что я опять сумею мирно работать под руководством избранных мною наставников. Я знаю обоих ученых, знаю как людей и по их трудам: оба они ищут истину, ищут страстно, бескорыстно. Значит, надежда не потеряна. Линия моего поведения ясна: даже если они будут работать порознь, я постараюсь понять их и по-прежнему любить обоих.

7 декабря 1908 г.

Глава XI

Задача в том, чтобы сдвинуть горы. Энциклопедический союз. Беглый портрет юного Совинье. Смягчающие обстоятельства в пользу Жан-Поля Сенака. Ронерфилы и шальгренисты. Выпад добросердечного человека. Исследования, которые могут перевернуть науку. Оценка саморекламы. Сочинение Ван Хелмона. Ненависть, родившаяся в давние годы. Лоран дает новую клятву. Обед у патрона. До чего же неблагоприятен Жюстен

Да, да, Жюстен, г-н Шальгрэн ответил. И если я не написал тебе об этом раньше, то лишь потому, что этот долгожданный ответ поверг меня все-таки в смущение. Когда я говорю «ответ», ты, конечно, понимаешь, что я

имею в виду. Речь идет не о дуэли на глазах у многочисленной публики. Людей, способных постичь самую сущность и движущие причины этого конфликта, не так уж много. Тем не менее друзья г-на Шальгрена ждали от него полновесного ответного удара; удар этот был нанесен, но разочаровал нас.

Статья г-на Шальгрена появилась в журнале «Ревю де Де Монд», в котором патрон охотно пишет. Его нетрудно понять. Ему не хотелось выступать вслед за профессором Ронером на страницах «Медицинской прессы», к которой г-н Шальгрэн весьма благоволил. Это явно означало бы, что он принимает вызов. Тогда-то он и остановился на «Ревю де Де Монд», но выбор его оказался не слишком удачным, и вот почему: во-первых, это еще более усугубило литературный характер его работы; во-вторых, сама эта работа выносит на суд ничего не смыслящей в биологии публики разногласия, которые следует разрешать при закрытых дверях, в тесном кругу специалистов, и, наконец, выбор, павший на «Ревю де Де Монд», вкладывает оружие в руки тех, кто, подобно г-ну Ронеру, упрекает г-на Шальгрена в симпатиях к теизму и иррационализму.

Уж не говоря обо всем прочем, даже сама форма статьи вызвала у нас крайнее недоумение. Это нечто вроде памфлета, написанного поначалу тяжелым слогом и направленного против азбучных наукообразных истин, которые... против того хромоногого рационализма, который... и так далее. Эх, дорогой Жюстен, у меня сердце обливалось кровью, когда я читал эти, видимо, заранее подготовленные и отделанные с величайшей тщательностью, двадцать или тридцать страниц. Я читал и все время твердил про себя: «Я всего-навсего молодой человек и то, наверно, защищался бы намного лучше, действовал бы намного смелее, добиваясь своей цели». В конце статьи, — если «Ревю» попадет тебе в руки, не поленись взглянуть в нее, — так вот, в конце статьи есть примечательная фраза, которую мне хочется здесь процитировать: «Из всех стран мира именно Франция та страна, которая мудро и по достоинству оценивает достижения науки, и это действительно делает ей честь: она не тешит себя пустыми иллюзиями, однако и не впадает в отчаяние». Но как раз эта-то фраза и произвела на некоторых дурное впечатление. Мне знакомы взгляды патрона. Он посвятил всю свою жизнь научным изысканиям —

он имеет право на то, чтобы с ним вели честную игру, а также имеет право судить о том или ином факте свысока. Так вот, кое-кто из моих сверстников начинает поговаривать, что патрон ставит себя в унижительное положение, что торжество науки требует беспредельной веры, что сомнение не тот рычаг, которым можно сдвинуть горы, и что насущная задача нынешнего дня состоит именно в том, чтобы сдвинуть горы.

Кроме того, статья г-на Шальгрена по ряду причин, о которых я скажу тебе позже, появилась совсем не вовремя. Меня крайне удручает сознание того, что в научном мире подспудно действуют две враждующие партии. Я хорошо знаю, что преувеличиваю и что мне следовало бы сказать: в маленьком изолированном мирке биологической науки. Научный мир! Он, как и любое общество, расчленен многочисленными непроницаемыми перегородками. Ты мне часто твердил, что нечто подобное творится и в литературном мире, что драматурги не интересуются работами романистов, а романисты, в свою очередь, совершенно равнодушны к громогласным творениям поэтов. То же самое происходит и в науке. Физики и химики трудятся в поте лица под стеклянным колпаком, астрономы не видят ничего, кроме небесного свода, математики живут в дебрях своих знаков, а мы, исследователи загадок жизни, корпим не покладая рук, забившись в уголок среди наших сушильных шкафов и подопытных свинок, и тут же затыкаем уши, коли речь идет не о нас. Одна из величайших идей г-на Шальгрена, которая выдвинута им уже давно и от которой он не отсекся и по сей день, — это энциклопедический союз наук. Союз на благо биологии. Сознайся, это — великолепная идея, но не очень-то надейся, что она воплотится в жизнь.

Я говорил тебе, как под покровом темноты сколачиваются две секты, две группы. Они еще не рискуют показываться при свете дня, но тайком уже трудятся всюду. Если я скажу, что низкая затея всегда находит для себя необходимую пищу, поддержку и помощь, то не воображай, будто я увяз в пессимизме. Я хорошо помню, что многие прекрасные творения тоже собирают вокруг себя толпы приверженцев. Но вот что замечаю я с ужасом: с каким задором, с какой увлеченностью и изобретательностью самые благодушные люди собираются вокруг предприятия, цель которого — оклеветать и причинить вред, разъединить и уничтожить.

Не думай, будто я хочу обелить перед тобой Сенака, если скажу, что он вовсе не такой уж злой, каким хочет казаться. Я кое-что разузнал о нем у моих двух коллег: Вьюома и Совинье. Нет, Сенак не пробирался в сумерках в дом г-на Ронера, пряча под красновато-серым пальто перепечатанный на машинке текст, который похитил у г-на Шальгрена. Истина не столь романтична. Жан-Поль давно знал Вьюома, с которым встретился как-то раз у меня. Через Вьюома он познакомился с Совинье, юношей с лисьей мордочкой, о котором я, кажется, уже тебе говорил. Совинье — сын того самого знаменитого ботаника, имя которого, возможно, тебе даже неизвестно и который в течение десяти лет буквально терроризировал Академию наук. Умер он в 1906 году, а сына его все еще называют в медицинских кругах сыном патрона. Он знает всех на свете, фамильярно величает стариков по имени, обладает неистощимым запасом всевозможных анекдотов и слывет откровенным специалистом по скандалам. Странная вещь: несмотря ни на что, он вовсе неплохой парень и даже услужлив. Но он не может не смеяться и ради этого готов принести в жертву и свою семью, и своих друзей.

Думается, он искренне привязан к Ронеру, однако сама мысль о драке наполняет его спортивным азартом. Он почувствовал, что Сенаку известно кое-что, чем можно пощекотать нервы. Он пригласил его на обед и подпоил, что сделать, впрочем, нетрудно. Сенак принялся умничать, рассуждать о взглядах г-на Шальгрена, о научных, не подлежащих огласке, записках г-на Шальгрена... Совинье заявил Сенаку, что тот не осмелится показать ему эти бесподобные записки. Тогда Сенак вытащил их из кармана, помятые, засаленные, и Совинье тут же, на столике в ресторане, переписал их. Позже Сенак увидел самого г-на Ронера. Но зло было уже сделано, и г-н Ронер больше ни о чем не спросил.

Узнав об этих деталях, которые Совинье изложил своим язвительным тоном, я подумал, что мне снова придется объясняться с беднягой Жан-Полем. Ведь, в общем-то, поступок его не так уж серьезен. Он согрешил по слабости души, из глупого фанфаронства, тщеславия и так далее. Поразмыслив, я решил промолчать. Если же я рискну переговорить с ним один на один и оправдать его хоть наполовину, он непременно разозлится, примет-

ся долбить свое: он, дескать, знает, чего хочет; он нарочно проделал «эксперимент» и он, видите ли, куда омерзительнее, подлее и гнуснее, чем я могу себе представить.

Совинье говорит об этих вещах с этакой игривой веселостью. Он уже успел окрестить по-своему приверженцев обеих партий. Он говорит: «Мне кажется, что Рок стал ронерфилом. Ну а Николь, конечно, шальгренист. Вы же, Паскье, бываете и у того и у другого, но никому не отдаете предпочтения. Воспользуйтесь этим, дорогой, ведь долго так не протянется. Что же касается вот таких ребят, как Шлейтер, то у них выработался иммунитет — полнейшее ко всему безразличие. Они не поляризуются». Любопытно, что в последнюю нашу встречу Шлейтер заявил мне с видом превосходства: «Поступайте, как я: не вмешивайтесь в эти междоусобицы. Я давно уже потерял надежду примирить людей, которые никак не могут договориться».

Я только что упомянул фамилию Николь. Ты знаешь, а может, и нет, что есть два Николая: Морис и Шарль. Так вот, я говорю о Шарле. Он — друг г-на Шальгрена, но мы видим его крайне редко, потому что с некоторых пор он возглавляет Пастеровский институт в Тунисе. Ему примерно лет сорок — сорок пять. Он высок ростом, худощав, подвижен. У него маленький обрубленный нос, усы. Редкие пушистые волосы. Он необыкновенно кроток и, поскольку плохо слышит, всегда чуть растерян. Ироническая и мягкая улыбка. Он похож на святого с витража, облаченного в профессорское платье и подретушированного под Диккенса. До своего отъезда в Тунис он работал у г-на Шальгрена, который любит его и охотно выслушивает. Он провел в Париже около недели и, видимо, успокоил патрона, склонил его к примирению. Они виделись ежедневно, и г-н Шальгрэн начал даже улыбаться. К сожалению, Николь уехал. И снова у нас поползли по углам разные шепотки и слухи. Страшно сказать, Жюстен, но такие образованные, такие выдающиеся, а порой даже гениальные люди, среди которых я, по счастью, живу, изощряются, будто простые смертные, в едком злословии, погрязают в нелепых сплетнях и пересудах. Г-н Шальгрэн чувствует, что такие вещи недостойны его. Я хорошо вижу, что он глубоко страдает от этого. Ясность духа покинула его. Слишком много людей оттачивают когти и зубы, дабы стереть в порошок эту злосчастную ясность.

Я уже говорил тебе, что ответ г-на Шальгрена оказался не слишком удачным. Сейчас ты поймешь, в чем дело. Спустя три или четыре недели Ронер опубликовал научную статью, о которой и по сей день трубят вся пресса и даже публика. Попробую вкратце объяснить тебе основное содержание этой статьи, и ты без труда сам почувствуешь всю ее важность. Ронер культивировал некоторые виды обыкновенной плесени в тщательно приготовленных средах, испытывая их при определенных температурах. После многочисленных пересадок он нашел в этих культурах туберкулезную бациллу или ей подобную, обладающую всеми особенностями туберкулезной бациллы. Он поместил эту бациллу в другие среды и получил новые, шарообразные формы, или, как мы говорим, *кокки*, которые характеризуются особыми свойствами и даже любопытными патологическими особенностями. Уверяю тебя, подобные исследования могут произвести коренной переворот в науке и поэтому вызывают жгучий интерес в наших ученых кругах. Следует добавить, что такие работы представляют, по-моему, неизмеримую ценность. Это, естественно, привлекло всеобщее внимание. Ронер позаботился принять журналистов большой прессы и сообщить им заранее приготовленные ответы на их вопросы, в которых, не скрою от тебя, тонко, хитроумно и настойчиво прославляется сам г-н Ронер, техника г-на Ронера, гениальная изобретательность г-на Ронера. Наконец, с некоторых пор на г-на Ронера сыплются всевозможные почести, и, наверно, газеты северных стран не преминули высказать свое мнение по этому поводу.

Признайся, г-н Шальгрэн выбрал неудачный момент, чтобы броситься на штурм убеждений г-на Ронера. Он и сам это почувствовал. Я замечаю, что стал поступать так же, как Совинье и все прочие. Я без умолку тараторю о Ронере, о Шальгрэне. Но будь уверен: чувство огромного уважения, которое я испытываю к ним, ничуть не уменьшилось. Я просто поддаюсь всеобщему возбуждению, и только.

Как ни жаль, а все же придется тебе сказать об одной тягостной для меня вещи: успех Ронера — а это настоящий успех — невольно задевает и даже болезненно ранит моего дорогого патрона. На днях он пришел к нам в Коллеж со скомканным в руке номером газеты «Матен» и пробурчал:

— Господин Ронер дал интервью газетчикам. Это несерьезно и неприлично. Лет двадцать назад такого бы никто не сделал.

Он был прав. Рано или поздно, но научные концепции ученых всегда становятся достоянием толпы — без этого не обойдешься; однако не самим же ученым заниматься дешевой популяризацией своих собственных идеи.

Я здорово огорчился, когда через два дня увидел в Коллеже сотрудника «Эко де Пари». Он учтиво испросил позволения поговорить с патроном; тот сразу же его принял и продержал у себя более получаса. Потом этот молодчик опубликовал в своей газете статью. У патрона был какой-то покаянный вид. Он все твердил: «Обо мне тут всего два слова. И вообще речь не обо мне. Я говорил лишь о своих взглядах, ну и об этом старом доме, к которому все же стоит привлечь внимание публики».

Мы сидели в большой лаборатории. Было около полудня. Как бывало часто, патрон уселся рядом со мной. Я почувствовал, что он взволнован, что вот-вот заговорит о Ронере, что он просто не может не говорить о нем.

— Вы ее прочитали?.. — спросил он меня. — Прочитали эту знаменитую статью?

Меня охватил страх. Я понимал: если он вдруг спросит мое мнение, мне не удастся от него скрыть, что я нахожу статью г-на Ронера весьма интересной. Он ничего не спросил и сам заговорил. Заговорил словообильно, с яростной страстностью, весьма смахивающей на гнев:

— Вот увидите, Паскье, вот увидите, что Ронер со своим столь удивительно прямолинейным и сугубо экспериментальным рационализмом скоро вернется к мысли о самозарождении. Он только что нанес удар по самой идее специфичности. Если я правильно понимаю ход его мыслей, то сначала он изготовит палочку Коха, а потом уж неизвестно что из неизвестно какой гадости. Ему останется только открыть нам химический состав его плесени. И вот, пожалуйста, нас подвели к самозарождению! Дело Пастера пошло прахом. По крайней мере, так считает Ронер. Но он ошибается в своих расчетах. Он думает лишь об одном: как бы стать великим, как бы перекрыть славу Пастера. Но нет! Этого он еще не достиг.

Он вытащил из кармана записную книжку, послунав палец, полистал ее и продолжал:

— Вам не приходилось читать старых авторов? Вы, конечно, не читали Ван Хелмона. Почитайте, он стоит этого. Ронер повторяет его буквально слово в слово. Вот, послушайте, что говорил этот милейший человек XVII века: «Если заткнуть грязной рубашкой горлышко сосуда с зерном, то выделившийся из грязной рубашки фермент, видоизмененный под воздействием запаха зерна, может превратить пшеницу в мышь примерно за двадцать один день». Как видите, Ронер говорит то же самое, разглагольствуя о превращении чего бы то ни было во что бы то ни было. Дорогой мой, я с грустью прочитал глупости Ван Хелмона. Вот и наши потомки посмеются над нашими громогласными сообщениями, похожими на победные реляции, как мы смеемся теперь над нелепостями старых физиков.

У меня было такое ощущение, будто патрон оставил в покое Ронера и, очистившись от скверны злословия, снова окунулся в сферу философии, в коей он обычно парил с легкостью. Он захлопнул свою записную книжку, щелкнув при этом резинкой.

— Ну, ничего. Мы топчемся, мы оступаемся, но все-таки идем вперед, и наука — почти помимо своей воли — тоже идет вперед. В один прекрасный день мы сможем не только победить болезни, но еще и перевернуть привычные нормы жизни, вывести по желанию нужный нам пол, создать бесполое существо, расу пигмеев или расу великанов. Какое могущество! И как же мы тогда поступим? Вот о чем я себя спрашиваю. Мы не в силах остановиться. Наука походит на заразную болезнь, болезнь, которая, прогрессируя, видоизменяет мир или же разрушает его.

У меня были все основания считать, что он напрочь забыл о г-не Ронере. Пустые надежды! Патрон вдруг приложил указательный палец к верхней губе, у самого носа, и произнес удивительнейшую фразу:

— Господин Ронер — большая умница. Я почти уверен, что он заблуждается, идет по ложному пути; тем не менее я восхищаюсь его умом и не скрою от вас, друг мой, что порой ему завидую... да, да, завидую... Завидую его складу мышления.

И неожиданно еле слышно добавил:

— Я никогда вам не говорил, что в юности мы, господин Ронер и я, вместе учились в лицее Генриха Четвертого, в классе риторики. О, это давняя история. С той

поры он терпеть меня не может. Во мне, конечно, есть нечто такое, что вечно его раздражает. И знаете, Паскье, он сотни раз без всякого повода говорил мне и говорит всякие гадости. Если, допустим, Вакслер или Рише ныне знамениты и увенчаны лаврами, это его ничуть не трогает. Но если успех выпадает на мою долю, он бесится, ему не по себе.

Патрон встал, отвернулся и, уходя, заметил:

— Мы проделаем все его опыты, не так ли, друг мой? Начнем с завтрашнего дня. И если он издевается над всем миром, что ж! — тогда мы заявим об этом во всеуслышание. Надеюсь, вы не забыли, Паскье, что, если не ошибаюсь, послезавтра вечером мы обедаем все вместе.

После этого разговора я дал себе тайную клятву. Я поклялся, что если в будущем, в далеком будущем, я тоже стану мэтром, то ни за что и никогда не ввяжусь в недостойную перебранку с человеком, которого по праву буду считать выдающейся личностью. Поклявшись, я тут же сообразил, что для данного случая клятва моя не подходит. Несмотря на свои учтивые утверждения, г-н Шальгрэн не считает г-на Ронера выдающейся личностью, ну а Николая Ронер тоже не слишком высокого мнения о своем противнике.

Все это неразрешимо, и я не могу тебе передать, до чего же мне трудно жить в состоянии неопределенности: всякий день меня кидает от восхищения к огорчению, от уважения к жалости, ибо иногда мне действительно становится жалко их обоих.

Один или два раза каждые три месяца патрон приглашает на обед своих сотрудников. Обычно обед проходит весело. Г-н Шальгрэн охотно и много говорит. Он много путешествовал, знаком с замечательными людьми, ему хорошо известны их привычки и нравы. В тот день обеда не хватало обычной приятной легкости. Домашняя обстановка г-на Шальгрэна тебя бы поразила. Она до ужаса провинциальна: кашпо, чехлы, цветы в банках, плюш. Но это идет не от патрона, а от его жены. У самой двери уже пахнет кошкой. Кот г-жи Шальгрэн — тот самый, что так прекрасно читал мысли Сенака, — благоухает самыми разнообразными запахами. Принюхавшись к его следам, можно безошибочно определить, что он налопался спаржи. По счастью, г-н Шальгрэн из-за сердца не курит, а то трудно себе представить, какая

получилась бы диковинная смесь из табачного дыма и зловонного запаха этого зверя.

Пусть эта беглая зарисовка не приведет тебя к мысли, будто я не люблю бывать у г-на Шальгрена дома. Напротив, обычно мне нравится у него. Но этот вечер произвел на меня неприятное впечатление. Все собравшиеся толковали только о недавней стычке, об ответе, о втором ответе, о предполагаемой кандидатуре председателя Конгресса, о будущих речах, о присутствии президента Республики или на открытии Конгресса, или на банкете, или на торжественном обеде. Все это выглядело довольно убого. Г-жа Шальгрэн, которая, должно быть, была хороша собой в молодости, — особа впечатлительная: некоторые события, вроде конгрессов, и некоторые учреждения, вроде академий, представляют в ее глазах величайшую ценность. Нам, людям моего возраста, это непонятно. Больше того, нас это раздражает. Я пишу «мой возраст» потому, что об этих вещах г-н Шальгрэн говорит с мягкой улыбкой. Но возраст тут ни при чем. Пусть я даже буду стариком, чего мне вовсе не хочется, я не перестану думать так, а не иначе.

Кажется, г-н Ронер предпринимает всевозможные демарши, дабы добиться от комитета председательского места на Конгрессе, ибо после смерти Бертело и отказа г-на Ру вопрос этот еще не решен. День же открытия Конгресса почти на носу, вот все и начинают помаленьку брюзжать. На обеде у патрона все разговоры вертелись вокруг этого. Г-жа Шальгрэн вдруг с горечью сказала:

— Все крайне просто: если профессор Ронер будет выступать на Конгрессе, мой муж там не появится.

Шальгрэн покачал головой:

— Как раз наоборот, я должен там появиться. Нельзя позволять себе идти на поводу настроения. Будь хоть немного благоразумной, Шарлотта.

Однако г-жа Шальгрэн, казалось, и не собиралась быть благоразумной.

Огорченный, чуть ли не отчаявшийся, я вернулся к себе домой.

Бывают моменты, когда достаточно небольшого толчка — и все разлаживается. Вот патрон трудится, мы тоже безмятежно трудимся. Я забываю обо всех душевных терзаниях. Я думаю лишь о великих идеях, которые освещают нам дорогу и ведут нас по ней. И вдруг — бах! Все летит кувырком, все расстраивается. Для этого доста-

точно какого-нибудь пустяка: непредвиденной встречи, книги, слова, а то и еще меньше — мелькнувшего воспоминания, мысли, картины или вообще ничего.

Ты, Жюстен, готов уже подумать, что, несмотря на всю свою решимость и обычную сдержанность, я тоже подвергся заразе. Это верно. По правде говоря, я и сам замечаю, что слишком уж увлекся, слишком втянулся в эти раздоры, что небрежно отвечаю на твои письма и умалчиваю о том, с каким волнением и интересом я читаю их. Больше того, порой я даже не решаюсь высказать тебе самые свои сокровенные мысли. Ты не раз просил меня рассказывать о моих семейных новостях. Я делал это скрепя сердце. Прекрасно вижу, что эта часть моих писем не удовлетворила тебя. Эх, Жюстен, давай будем откровенны: твой интерес к клану Паскье искренен, но не думай, что я слепец. Когда ты настойчиво допрашиваешь меня о наших семейных делах, я-то знаю, о ком тебе хочется услышать, а если я молчу, ты остаешься недоволен.

Жюстен, друг мой, брат мой, позволь тебе сказать, что ты не слишком-то благодарен. Прошлым летом ты твердил мне о некой молоденькой работнице по имени Марта, с которой ты с удовольствием встречался. Честное слово, я радовался за тебя. Я надеялся, что ты... излечишься, о упрямец из упрямцев. Теперь я хорошо вижу, что ты еще мучаешься, и это меня скорее огорчает, чем раздражает.

Ты упрекаешь меня в том, что я больше не пишу о Фове. Но стоит мне хоть заикнуться о нем, как ты принимаешься укорять меня в чрезмерной фамильярности: я, видите ли, называю его просто Ришаром. В своих письмах ты закатываешь мне настоящие сцены ревности.

Думается, на сей раз я высказал тебе все, что хотел сказать о Ришаре Фове. Он не был и никогда не будет моим другом, по крайней мере, задушевым другом. Он всячески старался попасть в дом Сесили и поставить там кое-какие опыты, которые, впрочем, так и не двигаются с места. Сесиль применяется к игре, считая, что это доставляет мне удовольствие. Но поскольку мне не хочется огорчать Ришара Фове, я, разумеется, не могу ей сказать, что все это для меня безразлично. Вот и все, все, абсолютно все. Не из чего страдать. Скажи мне, дорогой Жюстен, а ты вообще-то можешь не страдать?

28 декабря 1908 г.

Твой Лоран.

Глава XII

Чистая дружба, не больше. Наши наставники — это наши наставники. Подписи и манифесты. Тяжкий грех против разума. Человек силен своим критическим разумом. «Коэффициент Ронера». Причуды. Высказывание Шарля Рише. Две души лицом к лицу

Да, я действительно говорю о твоей подруге, м-ль Марте, с такой свободой и искренностью хотя бы потому, что разговор о ней ограничен определенными рамками. Так что уж не гневайся. И не петушись. Ты же сам меня уверял, что речь здесь идет лишь о чистой дружбе, не больше. Тем хуже, дружище, тем хуже! Если бы ты просто мне сказал, что эта юная особа — твоя любовница, то поверь, я бы не только не рассердился, но даже обрадовался. Берегись, Жюстен: мы ведь условились, что полная откровенность — вот основа и правило всей нашей переписки. Я свято чту это соглашение. Постарайся и ты поступать так же искренне.

Я не скрывал от тебя, что с удовольствием поглядываю на Катрин Удуар. Ты, должно быть, успел забыть, что Катрин Удуар — молодая женщина, которая работает у Ронера в качестве ассистента, или, как говорит Стернович, лаборанткой; лаборантка — новое модное словечко, которое я нахожу довольно милым, но оно, кажется, не французского происхождения. Все здесь зовут ее г-жой Удуар. Мы с нею хорошие друзья, и, когда остаемся наедине, без всяких соглядатаев, я называю ее просто Катрин. Я, кажется, писал тебе, что семьи у нее нет, с мужем она рассталась. Вдвоем мы спокойно беседуем, и в словах наших сквозит неподдельная нежность. Ты должен понять, что я не люблю ее. Да, не люблю. То, что происходит с нами, можно назвать «чистой дружбой, не больше».

Госпожа Удуар делает для патрона так называемые «пробежки». О, боже! Я только что назвал г-на Ронера патроном! Что бы сказал мой бедный и дорогой г-н Шальгрэн, если бы он услышал! Но вернемся к «пробежкам». Недавно в южном предместье Парижа распространилась любопытная эпидемия неизвестной болезни, которая не похожа на скарлатину, но непременно вызывает ангину, нефрит — иначе говоря, болезнь почек, и эндокардит, то

есть довольно серьезное сердечное заболевание, приводящее иногда к смерти. Нам довелось повидать больных, одних — в домашних условиях, других — в больницах. Г-н Ронер в конце концов выделил разновидность стрептококка — ты знаешь, вернее, догадываешься, что речь идет о микробе, — и стрептококк этот, или, точнее, микрококк, быстро и легко выращивается и образует колонию бактерий, но, дабы сохранить вирулентность, его нужно вводить прямо в живой организм. Извини меня за такой жаргон: если не рассказать тебе об этом, ты бы не только не понял моей нынешней жизни, но даже и не заинтересовался бы ею. Сей пресловутый вирус убивает морскую свинку за пять дней. Через четыре дня у больного животного берут немного крови, вводят ее в тело здорового животного, и оно заболевает. У животных, точно так же как и у людей, появляются все признаки нефрита и эндокардита. Это очень интересная работа, и г-н Ронер с жаром за нее взялся. Катрин же делает «пробежки», то есть целыми днями бегают со шприцем от одного зверька к другому и колет их. Я только что дал тебе, говоря языком журналистов, необходимые уточнения. Ну, а теперь самое время откровенно высказаться до конца. Я не свожу глаз с Катрин Удуар, когда она работает. Я созерцаю ее без всякой задней мысли. Я поистине наслаждаюсь, как ты любишь говорить, «чистой дружбой». Когда она заканчивает свою работу, мы принимаемся о чем-нибудь болтать. Я разглядываю ее красивое меланхолическое лицо и неожиданно замечаю, как краешек ее ноздри или брови начинают подрагивать, подергиваться, и по лицу пробегает легкая зыбь. И вдруг во мне, в глубине моего существа, зарождается, растет какая-то неудержимая страшная сила, похожая на некоего демона, но не на демона-чужака, а на своего собственного. Так бы и схватил эту милую приятную женщину, схватил бы ее за руки или за плечи, покрыл бы ее поцелуями и ласками, завладел бы ею как добычей. А зачем? — спрашиваю я т е б я . — Зачем? Для того, чтобы, утолив ненасытного демона, избавиться от него, чтобы заново взглянуть и на весь мир, и, в частности, на Катрин Удуар в свете «чистой дружбы». Видишь, как все это не просто: я же сам тебе говорил, что не люблю г-жу Удуар, что я вообще не охотник до любви. Трудно быть чистым душой и довольствоваться лишь чистой дружбой.

Но хватит об этом. Как ни досадно, а все же надо тебе сообщить, что г-н Ронер получил орденскую ленту коман-

дора Почетного легиона. Его наградили орденом в начале января. Не успела новость облететь всех, как г-н Ронер уже нацепил на себя сей выдающийся знак.

Если это доставляет ему удовольствие, что ж, я только рад, и, однако, не скрою, что я глубоко огорчен. Мне думалось, что г-н Ронер презирает почести. Оказалось, совсем наоборот: он считал себя обойденным славой. Не воображай, будто я несправедлив к нему. Кстати, обрати внимание, с какой примерной сдержанностью я высказываюсь. А вот Совинье, нежно любимый выученик г-на Ронера, не слишком-то стесняется в выражениях. Прочитав газету, он заявил: «Пора бы! Старик чуть ли не до неприличия жаждал иметь эту побрякушку. Без нее он бы непременно расхворался». Такая манера разговора мне претит. Несмотря на все их слабости, наши наставники — это наши наставники. Теперь я уже не даю себе зарок избегать почестей. Впрочем, именно такой дружеский совет преподнес мне ты в прошлом году, когда меня, по представлению г-на Эрмере, наградили орденом. Я и по сей день чувствую себя от этого неловко.

Господин Шальгрэн, как я узнал от Совинье, отправил г-ну Ронеру открытку с поздравлением. Мой дорогой патрон — смелый игрок. Это не обезоружило Ронера, и он, с одной стороны, счел нужным ответить, а с другой, принялся строить всяческие козни, чтобы помешать Шальгрэну стать председателем Конгресса. Заметь, сам Ронер уже не претендует на это место. Все чувствуют, что председателем ему не быть, да и сам он это прекрасно знает. Но он бы с великой радостью воспрепятствовал Шальгрэну занять этот пост. Поэтому-то он и назвал имя Рише.

У Рише замечательный характер: он не способен на какой-нибудь неучтивый шаг. На днях комитет должен собраться для голосования. Ронер так мечется, что мне становится как-то не по себе. Он надоумил одного из своих учеников, моего приятеля Рока, которого ты, кстати, знаешь, опубликовать статью, полную гнусных намеков на работы г-на Шальгрэна. При встрече я выложу Року все, что думаю об этой махинации.

На прошлой неделе г-на Шальгрэна уговорили подписать протест или прошение в пользу персов, приговоренных к смерти во время последнего политического кризиса. Текст этого письма, подписанного г-ном Шальгрэном и переданного, кажется, по телеграфу персидскому

правительству, был опубликован во всех наших передовых газетах. Г-н Ронер — полагаю, что это именно он, — вырезал текст из газет и, не мешкая, переслал всем членам комитета, снабдив его убийственными комментариями, дабы убедить всех, будто г-н Шальгрэн — опасный вольнодумец и, помимо прочего, франкмасон! Уверяю тебя, что это вовсе не так: г-н Шальгрэн отнюдь не франкмасон! Если бы он им был, то не скрывал бы этого. По своим философским взглядам он совершенно чужд духу масонства. Он часто подписывает всевозможные манифесты, призывы, протесты. И все потому, что не умеет отказывать. Ведь он удивительно великодушный, сострадательный человек.

Мысль о том, что автором всех этих упомянутых мною мелочных анонимок является г-н Ронер, пришла мне в голову в тот момент, когда он во всеуслышание заявил: «Господин Шальгрэн — добрая душа. Он подписывает прошения о помиловании людей, которых и на свете нет. Все эти пресловутые «осужденные на смерть» — не что иное, как огородные пугала и марионетки, выдуманные грязными политиками. У господина Шальгрэна слишком уж чувствительное сердце».

Я начинаю понимать г-на Ронера. До чего же любопытная фигура! Он — человек огромного ума. Никто не умеет лучше него разложить трудности на составные части и заняться каждой частью в отдельности, дабы проникнуть в ее тайну, как это рекомендовано им в «Рассуждениях о методе». И, однако, этот вьедливый ум не всегда меня подкупает, чаще всего он раздражает. Поначалу я спрашивал себя: почему? Наконец, кажется, понял. Г-н Ронер преклоняется не перед разумом как таковым, он преклоняется только перед собственным разумом. Он глубоко убежден, что лишь он один — великая умница, а все прочие — глупцы в той или иной мере. Обычно он и не скрывает от окружающих своего презрения и запросто обливает им даже выдающихся людей, известных своими заслугами, работами, изобретениями. Г-н Ронер презирает вообще всех ученых и никогда не упускает случая выказать это свое презрение. Я, конечно, еще не слишком хорошо разбираюсь в людях, но думаю, что начисто отрицать наличие интеллекта у других — это тяжкий грех против разума.

Господин Ронер говорит обычно ровным, спокойным голосом; я уже писал тебе, слушая его, невольно ду-

маешь: вот к таким же ораторским приемам прибегал и Робеспьер. Г-н Ронер почти никогда не повышает голоса. Иногда его тон, всегда насмешливый, становится буквально ледяным. По обе стороны рта прорезаются две глубокие складки, губы кривятся, а уголки их опускаются вниз. В такие моменты презрение, которое он испытывает ко всему миру, переходит у него, наверно, в отвращение.

С нами, мелкою сошкой, он обычно сердечен без теплоты и снисходителен не без сарказма. В его присутствии я думаю только о том, что говорю. Никакой непринужденности, никакого душевного порыва. Может, так он хочет привести к повиновению. Но есть одна вещь, которая сильно меня смущает, и мне хочется тебе об этом поведать: г-н Ронер никогда не дает мне возвыситься над самим собой. Наоборот. Если после разговора с ним у меня не остается впечатления, будто я смехотворное ничтожество, тогда я могу считать себя вполне удовлетворенным. Словом, он обладает особым даром заставить человека почувствовать себя ничтожным, маленьким, никчемным, как бы мал и скромн он ни был. Вполне возможно, что подобную дрессировку и унижение человеческого достоинства он расценивает как своеобразное достижение, как очередную победу. Он, например, заявил мне: «Вы, Паскье, сильны своей памятью. Да, да, я знаю, что говорю: память — отличительное свойство вашего ума. И как бы там ни было, это свойство высоко ценится». Я цитирую здесь лишь одно из тысячи его высказываний. Возражать ему бесполезно. Ты, конечно, меня понял. Как-то привыкаешь к его складу ума. Ей-богу, в обществе г-на Ронера я чувствую себя еще более жалким и никудышным, чем обычно, и тут уж, разумеется, не до счастья.

И все-таки г-н Ронер — упомяну в последний раз — наделен исключительным умом. Чего-чего, а идей у него хватает. И трудится он не покладая рук.

Поистине человек силен способностью критически взглянуть на вещи! Г-н Ронер буквально изводит тех, кто находится в непосредственной близости к нему. Пожалуй, покойная г-жа Ронер достаточно натерпелась от своего несносного супруга, прежде чем отправиться в небытие, которое теперь кажется ей, наверно, настоящим раем. Сам же г-н Ронер считает себя всегда правым. Он уверен, что в один прекрасный день он придет к синтезу органических альбуминов, то есть получит живую клетку. Он даже уверен, что, коли он решил, значит, непременно

создаст живую материю по собственному усмотрению. Вот почему он презирает и жизнь, и живую материю. Но если эта живая материя именуется Ронером, то он отнюдь не презирает ее. Он восхищается ею и всячески ее уважает. В глубине души он не сомневается в величии живой материи, отмеченной «знаком Ронера», «коэффициентом Ронера».

Он тщательно следит за своей одеждой и крайне придиричив к тем, кто так или иначе интересуется его бесценной персоной. Он — штатный профессор на медицинском факультете, член Академии наук, президент многочисленных научных обществ и кавалер многих орденов. Тем не менее если у него случается какая-нибудь ерундовая неполадка, пустячная неприятность, если ему доведется, к примеру, потерять деньги или просто упустить какую-нибудь благоприятную возможность, тогда он считает себя обойденным судьбой, обманутым, покинутым всеми. Он выходит из себя и сыплет проклятьями, но голос у него неизменно ровен. Я, кажется, уже говорил тебе, что он на редкость бережлив. Боюсь только, как бы со временем эта добродетель не стала именоваться иным термином. Недавно мы собирали деньги для одного нашего покалечившегося сотрудника. Ронер дал пять франков, не преминув при этом заметить недовольным тоном: «Подобные вещи — дело государства. Не можем же мы с нашим нищенским жалованьем разыгрывать из себя благотворительное общество».

Он много курит. Когда из-за катара верхних дыхательных путей или из-за насморка ему запрещают курить, он смотрит на курящих с таким раздражением и завистью, будто с ним, с Ронером, поступили ужасно несправедливо.

Его нередко приглашают войти в состав какого-нибудь комитета, составленного из именитых лиц. Он соглашается с недовольным видом, жалуется, что его рвут на части. Но если его никто и никуда не приглашает, то он ворчит, что о нем вечно забывают и что все это возмутительно.

Нужно ли досказывать до конца? Этот человек со столь цепким, критическим складом ума суеверен. Разумеется, он не сознается в этом, но такое от нас не скроешь, его выдают некоторые причуды. Он не любит прикуривать третьим от одной спички. Он притрагивается к дереву, если опасается какой-нибудь досадной промашки. Он носит брелок с арабским амулетом, с которым он не расстался бы ни за что на свете. Как-то раз Шарль Рише

пригласил его в качестве почетного гостя на знаменитый банкет тринадцати. Сначала Ронер принял приглашение, но в последнюю минуту с извинениями отказался.

Раз уж я заговорил о Рише, то расскажу тебе один случай. Однажды я зашел в зал для практических занятий. Шарль Рише занимался там со студентами. Огромный, худой, прищулив глаза, от которых разбежались симпатичные морщинки, засунув руку в брючный карман у пояса, он ходил взад и вперед перед черным столом. В тот момент, когда лаборант — уж не знаю для какого опыта — отрезал голову лягушки, Рише метнулся к животному и крикнул: «Погодите, погодите! Я сейчас разрушу церебральное вещество, уцелевшее еще в этом жалком кусочке тела. Пусть оно не мучается после нас». И своими чуткими пальцами сделал то, о чем только что говорил.

Я был тронут, ибо все это было сказано и проделано с удивительной простотой.

Не думай, что я ищу легковесного противопоставления. Шарль Рише — крупнейшая величина и притом натура крайне многогранная. Уверяю тебя, что, несмотря на бегло нарисованный мною портрет Ронера, он тоже величина. Я вижу его слабости, и если о них упоминаю, так делаю это как бы в отместку, ибо вообще-то считаю Ронера человеком исключительного ума. Так сказать, благородство без взаимности. Г-н Ронер всякий раз дает понять, что считает г-на Шальгрена круглым дураком. (Я пишу это слово скрепя сердце, так как оно обижает и смущает меня.) Он преисполнен удивительной злобы. Он, например, шипит: «Если говорить о прекрасной карьере, то он ее сделал. Господин Шальгрэн один из тех, кто ничего не упустит, чтобы преуспеть».

Я отворачиваюсь, будто ничего не понимаю, и украдкой удираю в первую же открытую дверь. Мое положение становится все более и более трудным. Долго ли я смогу так продержаться? Не знаю. Иногда я испытываю такое чувство, будто г-н Ронер надеется через мою скромную особу донести до г-на Шальгрена свои самые язвительные замечания в его адрес. Он плохо рассчитал, и если в один прекрасный день поймет, что ошибся, то мне не поздоровится.

Все же не пойми превратно мои разглагольствования. Я еще раз повторяю тебе, что г-н Ронер — выдающийся человек. Г-н Шальгрэн тоже замечательный человек. Но какие они разные! Да, я знаю: позднее, когда они оба

умрут и пройдут века, оба их черепа, эти окаменелые чаши, почти не различишь. А сейчас вокруг и внутри этих чаш трепещет, бьется живая материя. И там, в лоне этой материи, рокочут две души, две враждующие души, которые непременно должны причинять боль друг другу.

Тороплюсь закончить это письмо. В моей конуре стоит ужасный холодище. Скоро ночь, и я устал.

Твой Л.

Глава XIII

Снисходительность и милосердие. Паук в своей паучьей пропасти. Разговоры о ядах. Сенак знает, что делает. «Молить» — глагол переходный. Воскрешение Тестевеля. Влияние морального климата на научные изыскания. Муки г-на Шальгрена. Гнев профессора Ронера. Печальная весть.

Несмотря на то, что в своем последнем письме ты осыпашь Жан-Поля Сенака всевозможными малоприятными эпитетами, ты не прочь бы, как я понял, узнать о нем кое-какие подробности. Вижу, что мое молчание беспокоит тебя. Больше того: твоя неприязнь к нему, как мне кажется, вовсе не исключает милосердия, которое, впрочем, не следует смешивать со снисходительностью. И уверяю тебя, поскольку речь идет о Сенаке, то милосердие здесь, по-моему, вполне уместно.

Прошло много дней, а я все не встречал Сенака, и это меня, признаться, удивляло, так как иногда он захаживал завтракать к Папийону, а кое-когда даже и поднимался ко мне, узнав от консьержки, что я дома. Случалось, он навещал меня и в Институте, но там, конечно, я уж не бросался к нему с расprostертыми объятиями, и тогда он утешался болтовней с Роком, Вьюмом и Совинье, особенно с Совинье, который по-прежнему испытывает свои интеллектуальные вирусы на особе Жан-Поля.

Итак, как-то утром на прошлой неделе я что-то искал в своем чуланчике, где хранятся всевозможные стаканы, колбы, ампулы, ступки, пробирки, и все ломал себе голову над его загадочным долгим молчанием. В этом закутке, среди вороха вещей, стоял большой белый куб из фарфора, которым никто и никогда не пользовался. Про-

ходя мимо, я взглянул на него и заметил на дне его паука. Видимо, он попал сюда случайно из-за своих эквилибристических упражнений и теперь никак не мог выбраться наружу. Его лапки безнадежно скользили по гладкой стенке куба, а на чью-то помощь извне рассчитывать, разумеется, не приходилось. Увидя меня, он стремительно, решительно и ловко, на что способны одни лишь пауки, проделал четыре или пять коротких перебежек по вертикальной стенке сосуда, но тут же мгновенно скатился вниз на самое дно своей паучьей пропасти. Я представил себе, как этот паук или, если уж говорить откровенно, не паук, а я сам сижу в этом ужасном фарфоровом сосуде с неодолимой стенкой — сижу одинокий, никому не нужный, растерянный, отчаявшийся. Задумавшись, я долго стоял над сосудом, пока ко мне не прибежал по какому-то срочному делу Стернович. Я двинулся вслед за ним, но все никак не мог отделаться от мысли о пауке и, уж не знаю почему... о Сенаке. Мысль о нем до того истерзала меня, что в полдень я сел в омнибус и отправился к Сенаку в тот самый тупичок, где он обитал. Втайне я надеялся, что не застаю его дома, но, уверяю тебя, дело здесь не в малодушии, а лишь в том, что излюбленное его одиночество всегда страшит меня. Стоит мне представить, как он один на один сидит со своими мыслями, и мне сразу же становится не по себе.

Увы, Сенак оказался дома. Уж не знаю, что делал он со своими псами — колотил ли их, ласкал ли, — но он весь был в шерсти. Увидев меня, он ничуть не удивился и сказал:

— Заходи, я тебя жду.

— Ты меня ждешь? Почему?

Сенак неопределенно пожал плечами и тут же, без всякого перехода, брякнул:

— А знаешь, Шальгрэн меня выставил за дверь, да, да... выпроводил, будто простого слугу.

Господин Шальгрэн ничего мне не говорил об этом. Да и нужно ли ему было мне говорить? Я пробормотал:

— Я и не знал...

Тогда Сенак и говорит:

— Он отдал мне за месяц жалованье, а сие доказывает, что он не прав. Впрочем, это неважно, но зато, благодаря этой вызывающей щедрости, в нашем распоряжении и кефаль, и голубь, и моя собственная персона. У нас будет чем набить утробу некоторое время.

На столе стояла бутылка водки — величайшая гадость, которую грузчики называют «вырвиглаз». Я не удержался и съязвил:

— Не только набить утробу, но и промочить горло!

Но Сенак заговорил рассудительным тоном:

— Жить без яда невозможно. Ведь человек — животное, кое непременно должно себя отравлять. Ты ведь прекрасно знаешь: даже дикари и те поступают так же. У китайцев есть опиум, у арабов — гашиш, у американцев — кока-кола и прочая дрянь. А у нас, европейцев, — вино и табак. И вот, пожалуйста!.. Те же, кто ничего не принимает внутрь, отравляются собственной слюной, как говорил Валлес, опьяняются злобой, которую они сдобируют своими идеями и причудами. Поступать иначе невозможно.

На сей раз он не зубоскалил и вдруг показался мне таким жалким, что я схватил его за руку и встряхнул.

— Да брось ты болтать всякую чужь, — прервал я его. — Пойдем лучше позавтракаем. Ты небось знаешь здесь какой-нибудь подходящий ресторанчик.

И мы отправились, оставив за дверью рычащих и беснующихся псов.

— Они ободрали когтями всю краску на двери, — сказал он. И прошептал дрожащим голосом: — Если ты произнесешь еще хоть слово упрека, Лоран, я расшибу себе голову о стенку. Прошу вас! Предоставьте мне самому расхлебывать свою беду.

— Бедный мой Жан-Поль, я и не собирался тебя в чем-то упрекать. Совсем наоборот.

И я заговорил с ним мягким, очень мягким тоном, стараясь хоть как-то успокоить его:

— Видишь ли, старина, не стоит все преувеличивать. Ты допустил ошибку в этой злосчастной истории с Шальгреном. Я много думал об этом и понял: ты не хотел поступить неделикатно или, как говорится, непорядочно. Впрочем, конфликт между Ронером и Шальгреном разгорелся бы, наверно, и без твоего вмешательства.

В словах моих не было глубокой убежденности, говорил я лишь для того, чтоб успокоить его. И вдруг я понял, что я на ложном пути, что демон гордости не дремлет, что он еще не связан по рукам и ногам. Черные усы Жан-Поля дрогнули. Он слегка покраснел.

— Ну уж нет! — заявил он. — Нечего принимать меня за такого мальчика из церковного хора, который по рас-

сеянности вылакал весь графинчик лампадного масла. Нет, нет, я просто свинья. Что-что, а совесть у меня есть. Другие делают зло инстинктивно, не ведая, что творят. Но я, я понимаю, что делаю. Разумеется, я свинья и сам в этом отдаю себе отчет. Все мы в той или иной степени — свиньи, только вот я первый заявляю: я всего-навсего свинья.

Я настолько растерялся, что не нашелся что ему ответить. Мы зашли в маленький, пустовавший в этот час ресторанчик и уселись за столик в задней комнате. Во время завтрака Сенак не давал мне раскрыть рта, так и сыпля грустной скороговоркой. Весь этот долгий монолог сводился к одной и той же мысли. Он уныло изрекал свои излюбленные сенаковские афоризмы.

— Я способен на низкие мысли. Впрочем, это не совсем так. Погоди, погоди, сейчас все тебе растолкую. Вам, таким добродетельным особам, тоже случается думать о том, о чем думаю и я, вы только на этом не останавливаетесь. Вы слишком снисходительны к себе и относитесь к мерзостям, которые приходят вам на ум, с этакой благодушной восторженностью. Я же не заблуждаюсь на этот счет и поэтому искренне ненавижу свое моральное нутро. Да, я сказал: это не совсем так! Что сие означает? А то, дорогой мой, что я не благодушный слепец, как все прочие.

Чуть, позже, расставаясь со мной, Сенак добавил:

— Я, как и любой другой, тоже способен на добрые дела. Так вот! Я уеду в Мессину, буду помогать лечить пострадавших от землетрясения, восстанавливать город. Честное слово! Уеду! Можете мне поверить.

У него был какой-то растерянный взгляд. Разговаривая, он брызгал слюной. Чтобы не раздражать его, я украдкой поглядывал на его лицо, лицо больного и несчастного человека, и, казалось, замечал демона неистовой гордости, терзающего свою жертву.

Задумавшись, я долго брел по тротуару. Что делать? Можно ли спасти Сенака? Или уже слишком поздно? Эти мысли терзали меня с такой силой, что я испытывал жгучую потребность с кем-то поделиться, выпалить слово за словом нечто вроде жаркой молитвы. Что ж, не будем подбирать особые выражения. Ведь глагол «молить» — переходный.

Вечером, возвращаясь из Института, — я расскажу уж тебе и об этом, — я зашел в Коллеж. У меня был с собой

ключ от лаборатории. Я прошел в чуланчик и заглянул в фарфоровый куб. Паук, погруженный в свои паучьи размышления, по-прежнему сидел там. Я перевернул куб, и паук тут же бросился наутек.

К сожалению, с Сенаком дело обстоит не так просто. Кстати говоря, этот день был тяжелым днем. Выходя от Папийона около восьми вечера, я наткнулся на Тестевеля, который поджидал меня, разгуливая под дождем по тротуару. Он спросил, можно ли ему проводить меня до дома, Я чуть было не рассмеялся ему в лицо. Однако я взволновался. Наш розовощекий великан Тестевель был бледен, взлохмачен и небрит, отчего лицо его стало неузнаваемым. Одет он был во все черное. Он шагал рядом со мной и хрипло, как астматик, дышал. Выйдя на улицу Соммерар, он снял свою фетровую шляпу и вытер выступивший на лбу пот.

— Вобщем-то, — выдохнуло н , — не стоит подниматься наверх, чтобы сказать тебе об этом...

И, собравшись с силами, Тестевель пробормотал:

— Я покидаю Францию. Завтра уезжаю в Сайгон.

— В Сайгон?

— Ну да, буду там главным редактором местной газеты. Что бы там ни случилось, хуже, чем здесь, мне не будет.

Я так и застыл на месте под светом газового рожка, разглядывая измученное лицо нашего старого товарища. Он с трудом выдавливал из самого своего нутра какие-то обрывки фраз.

— Я ей написал...

— Кому, бедный мой друг?

— Сюзанне. Я не хочу ее больше видеть. Каюта на пароходе оплачена, железнодорожный билет в кармане. Контракт подписан... Нет, я не хочу больше видеть Сюзанну. Что же касается Ларсенера, так это не принесет ей счастья.

Я принялся подыскивать слова утешения, как вдруг увидел, что наш Тестевель выпрямился, расправил плечи и, вздохнув полной грудью, с величайшим спокойствием произнес:

— Надо попробовать сызнова стать человеком.

Могу тебе признаться, что в этот миг Тестевель показался мне человеком достойным всяческого уважения. Чтобы скрыть свое волнение, я хотел было пожать ему руку, но тот без лишних слов взял и поцеловал меня. По-

том он ушел, заложив руки за спину. Издали мне бросились в глаза те два его негнущихся пальца, которые когда-то, еще в «Уединении», он защемил тисками. Пальцы так и не отошли полностью. В общем, он полукалека.

Поднимаясь к себе с благим намерением вечером потрудиться, я все твердил и твердил про себя, что созданный мир не способен к равновесию. В мире царит хаос. Равновесие в нем — не правило, а исключение. И я поклялся трудиться во имя порядка и равновесия. Сколько клятв! Ты непременно улыбнешься.

Все эти истории происходят совсем не вовремя. У меня как раз самый разгар работы. Сейчас я все тебе объясню: с целью проверки патрон проделал все опыты, о которых упоминал Ронер, — ты, конечно, помнишь, что речь шла о получении из одного вида плесени палочки, которая обладает свойствами туберкулезной бациллы и сама по себе превращается в круглые тельца, в кокки, если применять точную терминологию. Итак, результаты опытов патрона совершенно не совпадают с теми наблюдениями, о которых говорилось в научной статье Ронера, и поэтому г-н Шальгрэн собирается выступить в печати с резкой критикой в адрес упомянутой статьи. По секрету могу признаться, что ради вящей уверенности я поставил аналогичные опыты, ничего не сказав своим шефам. Результаты получились потрясающие. В Институте у Ронера опыты мне удалось, а в лаборатории у Шальгрэна — нет. Сам не знаю, надо ли усматривать в этом какое-то определенное влияние убежденности, морального климата.

Меня тревожит г-н Шальгрэн. Он болезненно воспринимает эту ссору. У него даже временами прихватывает сердце, но он не желает прибегать к чьей-то помощи. От этих приступов у него явно портится характер. Г-н Шальгрэн требует, чтоб его любили, ибо он сентиментален, и поэтому становится настоящим тираном. Он трудится с ожесточением и, наверно, стоит на пороге какого-то значительного открытия. Он ежедневно бывает в больницах. Я ж д у, — и ты должен знать об э т о м, — что в один прекрасный день истина заявит о себе. Я страдаю при мысли, что этот столь спокойный человек, которого я по праву ставлю так высоко, подвержен приступам дурного настроения, совершенно недостойным его. Иногда он говорит нам без всякого предисловия:

— Я дошел до того, что спрашиваю себя: надо ли здороваться с ним. В прошлый раз, в Академии, этот господин сделал вид, будто меня не замечает. Если он не поздоровается со мною первый, я вообще больше с ним не буду здороваться.

Господин Шальгрэн не отказывается от сражения, но, чтобы выиграть его, он, кажется, неважно вооружен. Он шутит, пытается улыбаться, однако это ему не всегда удается.

Я где-то читал, что Виктор Гюго рассуждал о Гете с такой великолепной непринужденностью. Он говорил: «Гете? Что он написал? «Разбойников»?» А когда ему замечали, что «Разбойники» принадлежат перу Шиллера, он хохотал: «Вот видите, он написал лишь одну эту вещь, да и то не сам».

Долгое время я думал, что все эти смешные истории почерпнуты из скандальной хроники нашего поэта, и был уверен, что Гюго не мог произнести таких слов, ибо великие люди лучше других понимают и ценят красоту, истину, заслуги перед человечеством. Увы! Теперь я уж не знаю, что и думать. Иногда г-н Шальгрэн говорит: «Как был бы счастлив господин Ронер, если бы он хоть что-нибудь нашел, если бы он действительно сделал какое-нибудь открытие, пусть даже пустячное!» Подобные фразы ранят меня. Ронер жесток, у него мерзкий характер, но он — автор работ, которые ставят его в первый ряд наших ученых. Так считают все, кроме г-на Шальгрена. В наши дни лишь трое или четверо могут понять всю ценность работ Ронера, и среди этих троих или четверых г-н Шальгрэн!

Если мой дорогой патрон догадывается или ему кажется, будто он догадывается, что мы иногда колеблемся и не слишком охотно одобряем его ошибочные утверждения, он тут же начинает нервничать. Обычно мягкий и отзывчивый, он разговаривает тогда сухим тоном. Я бы не отважился его хоть в чем-то упрекнуть. Я довольствуюсь лишь тем, что с болью в душе молча поглядываю на него. Однажды он почувствовал это и, через силу улыбнувшись, как бы извиняясь, бросил мне фразу:

— Пастер тоже не всегда был снисходителен к нам.

Он сразу понял, что «Пастер тоже» звучит не очень скромно. Он смущенно улыбнулся и неопределенно махнул рукой.

Он ждал решения подготовительного комитета Конгресса, то и дело повторяя: «У меня слишком много работы. Забудьте, пожалуйста, о моем существовании». Однако этот вопрос сильно его волновал, и втихомолку он разведывал, какого мнения придерживается тот или иной член комитета. Этот Конгресс, как я тебе говорил, представляет различные научные общества, и дебаты в комитете, довольно бестолковые, тянулись до самых последних дней.

Наконец решение принято, и мне остается лишь рассказать тебе о нем, дабы ты по достоинству оценил всю эту странную комедию.

Вчера мы все собрались в лаборатории г-на Ронера: сам Ронер, Вуйом, Совинье и я. В лабораторию стремительно вошел Рок. В руке — шляпа, на плечи накинуто пальто, ботинки до того грязные, будто он шлепал по лужам. Я сразу же понял, что г-н Ронер ждал его прихода. Он поморщился, опустил уголки рта и стал неузнаваем. Он только и спросил:

— Ну как?

Рок пожал плечами и, видимо, желая смягчить удар, ответил наигранно-безразличным тоном:

— Выбрали господина Шальгрена.

Должен признаться, что лицо г-на Ронера неожиданно оказалось до безобразия. Я несказанно удивился, видя, как человек с таким сильным характером может потерять всякую власть над собой. Указательным пальцем левой руки он теребил свою эспаньолку, прикусывая зубами волосы. И вдруг взорвался:

— Интриган! Мы это знали! Он попал в Академию наук лишь потому, что так захотел я. Если бы я серьезно воспротивился этому, он бы и по сей день торчал за дверь. Но если он хочет войны, что ж! Пусть будет война. Я разобью его, как... как...

Он поискал взглядом какой-нибудь хрупкий предмет, схватил маленький пустой пузырек, стоявший на столе, и повторил:

— Я разобью его, как этот пузырек!

Он с яростью швырнул его на пол. И тогда произошла самая смехотворная в мире вещь: пузырек подскочил два или три раза и — целый и невредимый — словно шар откатился в угол комнаты.

Всех нас так и подмывало расхохотаться, и лишь с великим трудом мы сдержались.

Вчера я не отправил это письмо. Я спешу вскрыть конверт, чтобы сообщить тебе тягостную для меня весть.

Заболела Катрин Удуар. Заболела той самой болезнью, о которой я тебе говорил, той самой болезнью, что г-н Ронер изучал на морских свинках. Поскольку семьи у нее нет, мы устроили ее в больницу Пастера, где ей отвели отдельную палату. У нее страшнейшая ангина с высокой температурой. Я сообщил об этом г-ну Ронеру. Я был потрясен и не скрывал этого. Г-н Ронер похрустел пальцами и преспокойно заявил: «Сначала у нее будет нефрит, а потом — премиленький эндокардит». Я ждал других слов. Хотя бы одного-единственного участливого слова. Но г-н Ронер ничего к этому не добавил. Не могу передать, до чего же грустно и беспокойно на душе.

Глава XIV

Болезнь Катрин Удуар. Поцеловать прокаженную. Замерший эксперимент. Бесспорные выгоды профилактики. Несколько слов о фильтрующихся вирусах. Лучший из всех политических режимов. Опасности, подстерегающие администратора. Незначительный инцидент в Академии наук. Ссора разгорается снова. Справедливость прежде всего. Мнение г-на Шальгрена о божественном происхождении Христа. Жюстен теряет голову

В годы нашей юности, старик, оба мы по тем или иным причинам обрушивались на семью, на ее неписаные законы, на ее тиранию. Теперь я думаю, что Катрин Удуар была бы просто счастлива, если бы ее терзала какая-нибудь упрямая и дотошная семья. К сожалению, ничего этого нет. Она рано потеряла своих родителей и оказалась на попечении кузины, о которой не может говорить без ужаса. Потом она перепробовала множество профессий, вышла замуж за какого-то пройдоху, а теперь вот это одиночество, это ее сиротство, которое поразило меня с первого взгляда.

Я навещаю ее ежедневно в полдень. Иногда я забегаю к ней на минутку и после работы. Она вообще мало говорит, а затянувшаяся ангина делает ее еще более немногословной. У нее держится высокая температура и по вечерам на висках и у ноздрей выступают мелкие капли пота. Она глядит на меня со слабой, почти материнской улыбкой: она, наверно, на пять или шесть лет старше меня. Два раза я приносил ей цветы. Я бы приносил их каждый день, но меня, к сожалению, знают в Институте. Это страшно серьезное и не склонное к чувствительности заведение. Мне стыдно разыгрывать из себя влюбленного, ведь я всего-навсего ее друг.

Уходя от нее в первый же вечер, я обратил внимание на лежавшую на простыне руку Катрин: это рука труженицы, но рука красивая, с длинными пальцами, изящная, полная благородства. Я схватил эту руку и нежно поцеловал ее. Катрин мгновенно отдернула ее и сказала изменившимся от болезни голосом:

— Вы с ума сошли! Вы же можете заразиться.

Я улыбнулся и покачал головой; тем не менее, простившись с Катрин, я вернулся в лабораторию, прополоскал рот, вымыл губы и потер щеткой руки. Я специально говорю тебе об этом, чтоб ничего от тебя не скрывать. Наша профессия страшно уродует нас. Поцеловать прокаженную... Да, я понимаю, что мне искренне хотелось поцеловать Катрин. Я понимаю, что мне необходимо было также принять обычные в этом случае меры предосторожности. Выслушай меня хорошенько: мы прекрасно знаем, мы просто не можем не знать, что иногда мы рискуем. Героизм, о котором много говорят и которым я поистине восхищаюсь, свершается по наивности, по незнанию.

Теперь каждый вечер я целую руку Катрин и, уходя, вынимаю из своего портфеля небольшую салфетку, смоченную спиртом... Прости меня, Жюстен. Ты сам видишь, что я ничего от тебя не скрываю.

Катрин лечит Лепинуа, крупный специалист в своем деле. Тем не менее Ронер бывает у нее почти ежедневно. Думаю, что в этой заботливости нет и намека на обычное человеческое участие. Ронер выслушивает сердце, тщательно исследует белок. Он слегка хмурится и всякий раз говорит: «Пока ничего нет». Ему бы надо радоваться, а вид у него раздраженный, почти свирепый. Я прекрасно вижу, что этот неожиданный эксперимент не двигается с

места, а ведь он так рассчитывал на него и не делал из этого тайны.

Я тебе говорил о том, что официально я работаю в Институте, но я люблю Коллеж и бываю там каждое утро. Иногда я заглядываю в Коллеж даже вечером и особенно в воскресенье. Я предполагал, что за неделю или немного больше все уладится, станет на свои места, предполагал, что свершится чудо, что буря, вызванная ссорой, вскоре развеется, уляжется и над нами снова засияет чистое небо. Г-н Шальгрэн, казалось, всем был доволен или, если говорить точнее, успокоился. Я писал тебе, что сейчас он трудится над крайне важной проблемой. Не сегодня-завтра он отыщет не сам метод лечения коклюша, а профилактический метод, предупреждающий эту отвратительную болезнь. Надеюсь, ты поймешь значение сказанных мною слов и не рассердишься на меня за специальные термины. Г-н Шальгрэн говорит, что всякое терапевтическое вмешательство — еще один медицинский термин — представляет собой настоящую битву, а всякая битва достается дорого даже тому, кто ее выигрывает. Чтобы уничтожить врага, — иными словами, уничтожить инфекцию в зародыше, — иногда необходимо бывает опустошить завоеванную территорию. Большинство эффективных медикаментов ужасны по своему воздействию: они приносят успокоение или спасение, но какой ценой! Некоторые лекарства вызывают активизацию всех наших недугов, прежде чем избавить нас от них. Они вгрызаются в организм вслед за противником, разграбляя, сжигая и уничтожая все на своем пути, словно войско бандитов. Патрон не утверждает, что нужно отвернуться от терапии. Вовсе нет, ибо всегда находятся больные, которых надо лечить. Однако, по его мнению, будущее медицинской науки состоит в том, чтобы предупреждать болезни, профилактика не влияет отрицательно на организм, это — победа, одержанная еще до возникновения болезни, профилактика удовлетворяет и науку и мораль, она — высшая форма милосердия, ибо этому милосердию нет надобности спасать, оно уничтожает опасность до ее возникновения.

Эти опыты над коклюшем будут вестись еще несколько месяцев. Пока не может быть и речи о каких-то публикациях. Мы, естественно, обязаны хранить тайну. Если я и рассказал тебе кое о чем, дорогой Жюстен, то лишь под большим секретом... ну и еще для того, чтоб ты полюбил

г-на Шальгрена. Вирус коклюша, как и вирусы кори, скарлатины, оспы и многих других болезней, — вирус фильтрующийся. Это означает: микроб столь мал, что с помощью современных оптических приборов разглядеть его невозможно. Он так мал, что проникает через самые усовершенствованные фильтры. Нет ничего более волнующего, чем эта битва с невидимым врагом, которого нельзя заполучить даже *in vitro*¹, с врагом, таким же неуловимым, как мысль или как сам дух зла. Извини меня за подобную восторженность, старина: я восхищаюсь г-ном Шальгреном, я люблю его, и мне хотелось бы поделиться с тобой — хотя бы мимоходом — своей радостью, своим торжеством.

Итак, мы трудимся в поте лица. Я продолжаю ставить опыты по своей теме и делаю для патрона всякие незначительные исследования. При встречах г-н Шальгрэн иногда захлопывает свою тетрадь с заметками, смотрит на меня озадаченно, весь во власти неотвязных мыслей, и вдруг расплывается в улыбке.

— Н - да . . . — произносит он , — главное, что мы работаем, что можно работать. Видите ли, Паскье, не существует политического режима без изъяна. Все они порочны и неудобны. По-моему, лучший, или, вернее, наименее плохой, из всех режимов тот, который меньше всего сковывает личность и дает ей свободно и наиболее целесообразно развивать свои способности.

Если на патрона находит приступ откровенности, то он начинает говорить торопливым, еле слышным, прерывистым голосом.

— Работа — это единственная возможность сделать жизнь хотя бы сносной. Отдыха как такового нет. Люди мыслящие отдыхают в самом процессе работы. Самая большая опасность для людей нашего круга — это превратиться в администратора. Вам, друг мой, все это еще не очень-то понятно, вы ведь еще так молоды. Вот вы двинетесь вперед по жизни, и вам станут предлагать всевозможные места, некоторые из которых почетны, другие — материально выгодны. Вас будут уговаривать занять какой-нибудь ответственный пост... Я знаю, науке не обойтись без административной машины, но административная должность гасит гений творца. Посмотрите на господина Ру: он больше ничего не делает, и это огромное

¹ В пробирке (*лат.*).

несчастье. Он руководит замечательным учреждением, он пасет на поле познания целое стадо исследователей, но сам-то он уже не исследователь. Сансье однажды сказал мне, что если человек позволяет втянуть себя в административную машину, значит, ему нечего больше сказать науке, значит, он потерял чутье и вкус к научным открытиям. Я абсолютно в этом уверен. Люди такого сорта идут в администраторы либо из-за денег, либо из-за славы, почестей, звания и орденских лент. Они думают, даже уверяют, будто могут спасти в себе полыхающее пламя, искру гениальности, а на самом деле изо дня в день все глубже и глубже погрязают в куче административных дел, которые парализуют их, подавляют и, главное, становятся для них почти необходимостью. Они привыкают, Паскье, к тому, что их величают «господин президент», «господин управляющий» или «господин директор». Им нравится эта временная власть. Они любят повторять: «Мне ничего больше не нужно», — но каждый день они снова и снова выискивают повод, чтобы испросить для себя или принять какой-нибудь новый пост. Сначала они слегка артачатся, потом соглашаются. Сами академики — и вы это позже поймете, друг мой, — сами академики, которых всячески почитают и прославляют, являют собой одну из самых блестящих побрякушек административного гения. Внимание! Спасите самый дух поиска! Пусть он летит по волнам на всех парусах, стремительный, неведомый, непризнанный, бесценный, единственно желанный!

Вот какие слова я выслушиваю, и выслушиваю их с удовольствием, ибо они лишний раз убеждают меня в правильности всех моих решений. Только вот не очень понимаю, как это патрон по-прежнему соглашается на всякого рода посты — на пост, например, директора, президента, председателя или почетного члена. В жизни пожилых людей есть, наверно, свои тайны, которые я вовсе не спешу выведать и даже предпочел бы вообще никогда к ним не прикасаться, а тем более прояснять их.

Я не удержался и довольно сумбурно поведал тебе о разных разностях, о делах, наблюдениях и мыслях, которые могут показаться несвязными. Дорогой Жюстен, ты достаточно меня любишь, чтобы отыскать в этом кажущемся хаосе путеводную нить и ухватиться за нее, за нить моей жизни.

Я только что рассказал тебе о прекрасных, незабываемых часах, которые уже убегают прочь, растворяются

вдали. А ведь так хочется, чтоб они тянулись долго, долго! В прошлый понедельник произошел незначительный инцидент, который, конечно, никого не поразил, но тем не менее произвел на меня неприятное впечатление. Эти два господина, Шальгрэн и Ронер, встретились в Академии наук и не поздоровались друг с другом. Совинье рассказал мне обо всем случившемся в тот же вечер, потому что он почти всегда сопровождает г-на Ронера на заседания: несет портфель, документы, а в случае надобности и нужные препараты. Кажется, г-н Шальгрэн явился первым, и в зале было еще мало народа, когда вошел Ронер. Он подошел к Рише и Пикару, поздоровался с ними. Ему оставалось пройти буквально два метра до Шальгрена, но он сделал вид, будто не замечает его. В качестве скромного зрителя я тоже иногда бываю в этом святилище, сопровождая своих патронов. Мне известно, что коллеги не всегда приветствуют друг друга, особенно если они углублены в работу. Но Ронер специально решил — я знаю это чудовище! — придать подобной небрежности оттенок издевки, вызова.

На следующее же утро я почувствовал, что Шальгрэн болезненно задет, что перемирие лопнуло, что ссора вновь запыхала ярким пламенем. Каждое утро патрон подправляет, шлифует статью, в которой расскажет о проданных им опытах, ставящих, кажется, под сомнение доводы Ронера о полиморфизме микробов — как видишь, речь идет о видоизменении некоторых видов микроскопической плесени. Патрон не отказывается от борьбы, но она его не захватывает. Он снова грустен и даже подавлен. Иногда он выходит из задумчивости и ни с того ни с сего роняет: «А знаете, он даже не считает нужным перечитывать написанное...» Я понимаю, что здесь подразумевается Ронер. Теперь патрон никогда уже не называет Ронера по имени. Он обходится местоимениями: он... его... ему... Это лишний раз доказывает, как мучительно для него эта идиотская ссора. Впрочем, я заметил, что и Ронер поступает примерно так же. Раньше он намеренно коверкал фамилию г-на Шальгрена, теперь же он вообще обходится без фамилии, величая его: «этот господин», или «этот биолог-любитель», или даже «наш горе-рационалист»... Ронер говорит о Шальгрэне с оскорбительным пренебрежением, однако в своих статьях он высказывается — по крайней мере, сейчас — с неукоснительной и коварной осторожностью.

Вчера я сказал ему, — я имею в виду Ронера, — что, по словам Лепинуа, у бедной Катрин кажется плевроальная локализация, иными словами, плеврит. Г-н Ронер удивленно вскинул вверх брови и раздраженно загремел:

— Как так! Да это же почти невозможно! Это по меньшей мере абсурдно!

Как далек этот биолог от жизни, от настоящей жизни со всеми ее страданиями!

Господин Шальгрэн огорчает меня. Вчера он пробормотал будто про себя: «Выдающийся человек! Выдающийся человек! Что это может означать? Выдающийся среди кого, среди чего?» А немного погодя устало сказал нам — Фове и Стернович тоже были здесь:

— Находятся же люди, которые завидуют моей жизни! Они и понятия не имеют, что у меня за жизнь!

Это признание в слабости возмутило меня, и неожиданно для себя я вдруг заорал:

— Патрон, вы не правы! У вас столько друзей, столько почитателей! Все говорят о вас с любовью и уважением, с похвалой и доверием.

Он слегка пожал плечами:

— Хм... Похвалы!

Должно быть, он понял, что его слова оскорбляют, ранят меня до глубины души, ведь у меня сложилось определенное представление о нем. Позже, когда Стернович и Ришар уже ушли, он забежал ко мне на минутку и пожаловался:

— Последние дни я что-то неважно себя чувствую. Надо бы последить за давлением. Мне нужно непременно быть на ногах. Д'Арсонваль советует попробовать токи высокой частоты.

И вдруг, без всякого перехода, перескочил на другое:

— Если он — вы знаете, о ком я говорю, — будет баллотироваться в Академию медицинских наук, я наверняка поддержу его кандидатуру куда охотнее, чем любой другой. Я знаю, он меня ненавидит. Я же не питаю к нему ненависти, для меня справедливость превыше всего.

Я слушал эти сбивчивые рассуждения, не прерывая его ни словом, ни улыбкой. В заключение патрон сказал:

— Я президент Общества по рационалистическим изысканиям. Это вовсе не означает, будто я забыл о своем христианском происхождении. Я не верю в бога, Паскье, но Христос — величайшее творение человечества. У миллионов и миллионов людей ушли целые тысячеле-

тия на то, чтобы создать, сотворить для себя бога, того самого бога, который бы отвечал всем их чаяниям и надеждам. Это своеобразный феномен, достойный всяческого уважения. Лишь убогие наблюдатели не в силах понять этого. Сегодня христианство в опасности. Оно обременено кучей ненужных деталей. Оно влачит вслед за собой тяжкий груз всевозможных восточных небылиц из Ветхого завета, — можно подумать, что христианство обязано спасти весь этот возвышенный хлам. Это колоссальная ошибка. Нужно спасти главное. Нужно спасти ту самую идею о существовании гуманного и милосердного бога, которая выкристаллизовалась в душах людей ценой бесконечных страданий. И чтобы спасти главное в христианстве, стоит ли цепляться за какие-то древние варварские легенды, которые и в самом деле никому не нужны?

Теперь он уже говорил лишь для себя, не обращая на меня внимания.

Вот такие-то дела. Заканчиваю письмо. Я беспокоюсь за Катрин. Эта болезнь может сильно ее ослабить, даже вконец расшатать ее здоровье, лишит будущего. Я не в силах вынести того отчаяния, которое читаю в ее взгляде. До свидания, мой старый друг. Да будет мир с тобой!

Твой Лоран.

P.S. Я получил твое письмо и добавлю несколько слов к только что отправленному тебе письму. Откуда ты взял, что Ришар Фове и Сесиль бывают вместе, и почему это тебя так тревожит? Кажется, я тебе говорил, что Фове любит музыку. Он встречается с Сесилью для того, чтобы довести до конца свои эксперименты, которые Сесиль по моей просьбе все еще терпеливо сносит. Кстати, эксперименты эти понемногу идут вперед и могут привести к интересным результатам: Фове почти уверен, что некоторые из его колоний микробов подвержены в ходе их развития своеобразному положительному фототропизму. Сам патрон покачал головой и заявил, что это любопытно. И нет ничего удивительного в том, что Сесиль и Фове были вместе на концерте. Вот я живу в Париже, часто вижу свою сестру и даже не слышал об этих вылазках. А ты, по собственной воле и желанию удалившийся от друзей, дабы смиренно пожить среди простых тружеников, ты знаешь все, что здесь творится, ты бесишься и с

великой горечью разглагольствуешь о каких-то там ничтожных событиях. Наверно, тебе неизвестно, что после краха нашей утопичной общины в Бьевре Сенак написал множество стихов в честь Сесили, а потом принес их и прочитал ей вслух? У Сесили много поклонников и друзей. В этом нет ничего удивительного. Эх, Жюстен, Жюстен, я рискну тебе сказать, пожалуй, что ты теряешь голову.

Глава XV

Математика и духовное общение с людьми. Страдания Катрин и стрептококк Ронера. Разум, только разум. Разум — это еще не все... Ученая полемика. Мужественно встретить старость. Микроскоп в качестве убежища. Пусть бог будет мудр, пусть он будет в ответе за все. Ларсенер идет по стопам Тестевеля. Яд гадюки

Да, мое письмо опоздало. Прости меня, прости. Г-н Ронер старается вдолбить мне в голову, что милосердие — одна из лучших добродетелей человека, которой, кстати, сам он начисто лишен. Пожалуй, мне надо быть признательным г-ну Ронеру за сей парадоксальный урок. Больше того, мне бы надо быть снисходительным к этому черствому человеку и проявить к нему истинное милосердие. Так нет! Я начинаю ненавидеть Ронера, и это тем более удивительно, что Ронер поражает меня, страшит и по-прежнему вызывает у меня искреннее восхищение. Этот человек — квинтэссенция разума. Мир его чувств ограничен собственной персоной, которая предельно изнежена, легко возбудима и подвержена всяким страстям и эмоциям, имя которым: злопамятство, презрение, ненависть, гнев. Остальной же мир, раздираемый любовью, желанием, печалью, яростью, отчаянием, недоступен его разумению. Увлечения, страсти и эмоции других для него лишь любопытные феномены, почти всегда неприятные и мешающие спокойно жить. Он имеет о них чисто умозрительное представление, души его это не затрагивает. Ему неведома тайна симпатии к человеку, мысль его никогда не заглядывает в душу и плоть других людей, а если для

подтверждения какого-нибудь опыта он хоть на минуту пытается это сделать, тогда у него такой вид, будто он решает алгебраическую задачу, но отнюдь не задачу душевного общения с людьми.

Он словно не понимает, как тяжело больна Катрин. Будто в простоте душевной он восклицает: «Эндокардита у нее нет! Нефрита тоже нет! Это просто невысказано!» Если я ему говорю: «Она страдает», — он сухо замечает: «Удивляться здесь нечему, в таких случаях больной всегда страдает. Пусть ей дадут что-нибудь успокаивающее. Только не морфий. Мне нужен патологический, а не лекарственный нефрит».

Не знаю, понимаешь ли ты меня. В общем, все это ужасно. Рокер считает, что морфий может вызвать альбуминурию. Альбуминурия же, которую он ждет или, вернее, на которую надеется, должна быть вызвана не лекарством, а микробом. Для него тяжелая болезнь Катрин — самый обычный опыт, который не следует прерывать путем терапевтического вмешательства.

Из-за плеврита бедной Катрин пришлось перенести небольшую операцию: ей вскрыли грудную клетку. Вот уже два дня я не нахожу себе покоя: а вдруг инфекция попала ей в колено. Оно распухло и болит. Высокая температура держится.

Катрин принимает все эти муки с такой безропотностью, от которой я прихожу в полное замешательство и терзаюсь больше, чем если бы она вопила или стонала. Она лежит там, на своей кровати, вся белая; ее красивые волосы, разделенные на пробор, падают двумя густыми прядями на грудь. Тебе не приходилось бывать в больнице Пастера? Она представляет собой комплекс новых зданий, построенных по указаниям самого мэтра. Светлые палаты застеклены со стороны коридора, так что больные в своих прозрачных клетках будто выставлены напоказ. Это, конечно, стесняет тяжелобольных, но зато позволяет внимательно следить за ними. В палате у самой двери висят халаты для сотрудников, в которые они облачаются, когда заходят к больным.

Итак, я прихожу сюда каждый день и еще у двери вижу Катрин в ее стеклянной кабине. Она улыбается грустной и все же счастливой улыбкой. Ведь я единственный ее друг. Иногда к ней заглядывают Рок и Вьюм. У изголовья кровати они, подражая профессору, подолгу спорят об аномальных локализациях, выражаясь слова-

ми Ронера. В общем, должен тебе сказать, что болезнь Катрин — собственность Ронера; этот малоизвестный до нынешней эпидемии микроб именуется отныне микробом Ронера. В своих бумагах он так и пишет «S. Rohneri», что означает «стрептококк г-на Николая Ронера». Видите ли, сугубо неприкосновенная собственность.

Если бы назавтра Ронер подхватил хорошенькую ангину с эндокардитом и нефритом или даже просто обыкновенную ангину без всяких осложнений, то это было бы большим несчастьем для науки, хотя никто из нас и не застрахован от подобных вещей. Мы сами выбрали себе такую профессию и понимаем всю ее опасность. Г-н Ронер получил бы звезду кавалера ордена Почетного легиона или что-нибудь в этом роде, и во всех газетах красовались бы бюллетени о состоянии его здоровья. Не то что Катрин! Она не жаждала славы. Впрочем, славы у нее и не будет. Она — безвестная мученица. Я высоко чту того генерала, который погибает на поле брани. Он идет на смерть сознательно и добровольно. Но так вот, спокойно, бросить в полыхающий костер так называемую скромную лаборантку! Да перед нею надо преклонить колени, надо бить себя кулаками в грудь.

Лепинуа говорит, что при такой болезни локализации обычно проходят удачно и нам, пожалуй, не следует опасаться общего сепсиса. Дай бог, чтоб он оказался прав! Тогда я бы с радостью сообщил тебе, наверное, об этих утешительных новостях.

Болезнь Катрин лишний раз раскрыла мне истинный характер моего наставника Ронера. Если бы я поддался своей обычной мягкотелости, этот удивительный человек отвратил бы меня от разума как такового, от всех его творений и дел. Что было бы несправедливо. Разум — это свойство человека, он — наш повседневный провожатый в суетлоке событий и явлений. Однако я начинаю изрекать загадочные сентенции... «Разумом нужно пользоваться с осторожностью, как великолепным, но исключительным в природе и даже иногда опасным инструментом». Ясно, что г-н Шальгрэн перекликается с Бергсоном. Любопытно отметить, что многие выдающиеся умы, работающие в самых разнообразных областях человеческого познания, одновременно идут к одной и той же точке горизонта. Только что процитированное мною высказывание г-на Шальгрена ни в коей мере не означает, что нужно отречься от разума. Оно означает совсем другое, а именно:

жизнь сама по себе еще полна загадок, и если ты хочешь, например, откупорить бутылку с помощью подзорной трубы, ты поступаешь неумело, или, точнее, неразумно. Всю позицию г-на Шальгрена можно объяснить в двух словах: «Разум, этот великолепный инструмент, не является инструментом универсальным, нашим единственным инструментом».

Ронер никогда не понимает причину своих поражений. Поскольку человеческие симпатии для него — книга за семью печатями, ему и невдомек, что сам он не вызывает симпатии у людей. Он знает лучше любого другого, что у него выдающиеся работы и, следовательно, он один из крупнейших ученых современности. Он считает, что этого вполне достаточно, дабы завоевать всеобщую любовь. Он не знает и не чувствует, что он черств, сух, эгоистичен. Быть может, он даже и не подозревает, что настоящих друзей у него нет. Есть лишь товарищи по работе, коллеги, ученики, «знакомые». Он догадывался, что место председателя Конгресса ему не предложат, и тем не менее, не признаваясь даже самому себе, все еще надеялся, что его в конце концов оценят по заслугам, и тогда в этих условиях... Его постигло разочарование. Удивительная вещь: этот всегда холодный и расчетливый человек совсем не умеет скрывать свое настроение. После избрания Шальгрена он заявил: «Настоящий ученый должен трудиться в своей лаборатории, а не тратить драгоценное время зря. Я знаю одного салонного биолога, который пользуется успехом на всевозможных конгрессах, банкетах и говорильнях, но не умеет толком пересадить культуры». Позволю себе мимоходом заметить, что подобная выдумка крайне несправедлива: искусство г-на Шальгрена вызывает у нас истинное восхищение, и я еще не видел столь умелого экспериментатора. Пусть этот вопрос о технической сноровке не слишком-то сбивает тебя с толку: биолог должен быть искусным хирургом, дабы ничего не испортить. Чтобы заниматься биологией, нужно иметь не только хорошую голову, но и хорошие руки. Пастер, старый и больной, управлял руками своих учеников, и, когда эти руки ошибались или путались, он метал громы и молнии.

Как ты знаешь, г-н Шальгрэн обнародовал результаты своих последних опытов над пресловутым «полиморфизмом». Он сделал сообщение об этом в Академии медицинских наук. Текст его ученой записки исключительно

сдержан, и тем не менее Ронер почувствовал себя уязвленным. Записка еще не появилась в бюллетене, как газеты уже изложили ее сущность. Этим-то и объясняется ярость Николая Ронера. Хотя в записке Шальгрена Ронер даже и не назван по имени, он орет, брызгая слюной: «Он метил в меня, только в меня. Ну ничего, ему не долго придется ждать ответа». Он действительно быстро состряпал этот ответ, сдобрив его ядовитыми приправами. Он распустил слухи, будто Шальгрен страдает теперь дальновзоркостью и уже не замечает отстоя на дне пробирок, будто он не желает носить очки, ибо это мешает ему любезничать с дамами, посещающими его лекции, и вообще подобное поведение достойно лишь светского ученого, а не истинного человека науки.

Патрону бы пропустить мимо ушей все эти сплетни и гадости. Но нет, они огорчили его. Он прислушивается к речам болтунов и предателей, ибо сейчас весь наш научный мир распадается на враждебные группы. Весь он — если прибегнуть к классификации Совинье — делится на ронерфилов и шальгренистов. В Сорбонне, в Коллеже, в Институте, на факультете, в больницах то и дело возникают мелкие ссоры и конфликты. Каждый подбрасывает в этот костер свои маленькие личные обиды и несогласия. Совинье вербует рекрутов, что не мешает ему цинично болтать о том человеке, которого он фамильярно величает «Стариком». Совинье неприятен мне, и я не говорю ему об этом прямо в лицо лишь потому, что не хочу обострять и без того предельно сложную ситуацию. Ронер и Шальгрэн походят на двух гладиаторов, сражающихся на арене. Толпа подбадривает, подстегивает их криками, потому что толпа обожает жестокие зрелища.

Кстати и некстати Ронер прибегает к грубой, низкопробной мистификации, к которой обычно прибегают самые заштаные лекаришки. Он то и дело публикует — если это не он, то кто же? — небольшие заметки в газетах, объявляющие, что г-н Шальгрэн якобы назначен на несуществующую должность Генерального инспектора по борьбе с эпидемическими болезнями, что он только что получил знаки отличия командора имперского ордена Белого медведя, что ему собираются присудить Нобелевскую премию, что буквально на днях он возглавит будущее министерство общественной гигиены и так далее. На прошлой неделе в Коллеж позвонили и поинтересова-

лись, действительно ли г-н Шальгрэн заказал целый вагон канадских яблок для проведения опытов над различными видами плесени... Ты, конечно, понимаешь, что ничего подобного г-н Шальгрэн не заказывал.

Все эти нелепости, бесспорно, волнуют и утомляют его — я говорю о г-не Шальгрэне. Временами он падает духом... Он говорит: «Скоро мне стукнет пятьдесят семь. Это очень трудный жизненный рубеж. Пожалуй, имей я немного терпения, я мог бы не раздумывая шагать дальше и превратиться со временем в старика. Но для этого у меня не хватает мужества». Подобные речи возмущают меня. Недаром такие вопросы решены мною раз и навсегда: я надеюсь, что старость мне не грозит, и каждый день даю себе обет с достоинством уйти из этого мира лишь тогда, когда скажу то, что хочу сказать, и сделаю то, что я намереваюсь сделать. Г-н Шальгрэн уже сейчас выглядит стариком. Так пусть смирится и не охает без толку. В такие минуты он вызывает у меня не жалость, а глухое раздражение. И однако он — мой наставник, тот самый наставник, которого я люблю и который — чую всем своим существом! — действительно сделает из меня настоящего ученого. Только я хотел бы видеть его совершенным! Впрочем, это лишь дань честолюбию, ловушка, которую ставит гордость. Надеюсь, ты понимаешь: речь идет о моей, Лорана, гордости.

Чтобы позабыть об этих невзгодах и даже избавиться — прости! — от тягостных мыслей о Катрин, я молча утыкаюсь в окуляр своего микроскопа, словно в убежище, скрываясь в некоем недоступном для людей мире.

Ты, быть может, дорогой Жюстен, ни разу в жизни не заглядывал в микроскоп. Если бы ты склонился над окуляром, тебя бы поразили свет, краски, странные мелькающие фигуры; ты бы не сразу понял, что перед тобой поистине целый мир.

Я упомянул здесь об убежище, и это может натолкнуть тебя на мысль, будто в ярком свете микроскопа всюду царит порядок и безмятежное спокойствие. Не верь этому. Это такая же жизнь, как и наша, с ее гнусностями и печальями, с ее борьбой, убийствами и крушениями. Это жизнь, наша жизнь, горячо любимая, обожаемая нами жизнь. Я думаю о том, что среди этих эфемерных, ничтожных, едва видимых глазу существ есть свои Шальгрэны, Ронеры, Лораны, Сенаки, Жозефы и Жюстены. Ну, а я по отношению к ним оказываюсь в положении некоего

божества. Но это не значит, как ты, наверное, думаешь, что я пребываю в высокомерном безразличии. Это далеко не так. Если бог существует, он должен все знать, он в ответе за все. Вот почему в минуту уныния мне страшно хочется, чтоб его не существовало. Если бог, однако, существует, то он непременно вкладывает свою лепту в наши радости и наши беды — вот так же, как я вкладываю свою посильную лепту в жизнь моих бактерий, в успехи или поражения этих моих крошечных палочек, моих микроскопических клеточек. И я вовсе не высокомерен. Совсем напротив. Иногда, поворачивая винт микроскопа, чтобы передвинуть пластинку, я чувствую вдруг, как взволнован, как бешено начинает колотиться в груди сердце. Я не тот бог, который погрузился в холодное созерцание. Я тот бог, который прислушивается, который ищет, сомневается, страдает. Я бог очень гуманный, очень слабый и очень беспокойный.

Но оставим это, старина, и вернемся к людям. Ты говоришь, что получил известие о Тестевеле. Я тоже: он прислал мне из Порт-Саида открытку, очень бодрую открытку.

Тестевель не знает и не должен знать, что теперь вместо него страдает Ларсенер. Да, пришла очередь Ларсенера. Несколько раз в неделю он обязательно плачется мне. Сюзанна упрекает его в том, что он поверг Тестевеля в отчаяние. Отныне Тестевель пребывает в ореоле легендарной славы. Он, видите ли, силен, добр, нежен. Он даже красив и обаятелен. Ларсенер принимается жаловаться, испускать вопли отчаяния. Несмотря на это, его последние работы превосходны. Меня тревожит Сюзанна. Она, кажется, не понимает ни своей власти, ни своих действий. На днях я случайно открыл «Дон-Кихота» и увидел следующие строки, которые и переписываю для тебя без всяких комментариев: «Впрочем, учти: я не выклянчивала и не выбирала для себя такой красоты; это — безвозмездный дар небес. И как нельзя обвинять гадюку в том, что она таит в себе смертельный яд — ибо яд этот дала ей сама природа, — так и меня нельзя упрекать в том, что я красива».

Гадюка! Яд! Бедная маленькая Сюзанна, бедная милая сестренка Сюзанна!

Vale. Твой Лоран.

Глава XVI

Смерть Катрин Удуар. Чувства не должны мешать научному эксперименту. Дорога разума. Величие и мизерность профессии медика. Счастье забвения. Крохотная анатомичка в подвале. Гимн во глубине подвала. Гнев Паскъе. Горестные часы

Катрин умерла. Все кончено. Вот она и освободилась от всего: от страданий, от ужасных мук ожидания конца, от боли и радости, от солнца и сумерек, от неведения и знания, ото всех нас и от самой себя. Мягкий, чуть испуганный взгляд никогда уж больше не обратится ко мне в полутемной лаборатории. Красивый, низкий и вибрирующий голос никогда уж больше не поведает мне тех грустных историй о детстве, которые составляли все ее богатство. Все кончено, бедную Катрин навсегда покинула грусть.

Она умерла в пятницу вечером. Я знал уже в среду, что конец неизбежен. Сначала выплыл на сцену, говоря красноречивым языком медиков, артрит коленного сустава. Потом Лепинуа снова заговорил о сепсисе. Наконец, появились признаки нервного расстройства, и болезнь стала стремительно развиваться.

Я предупредил Ронера. Он пришел: порывистый, насмешливый, уверенный в себе. Он только спросил: «Сердце?» Я замотал головой, дабы он понял, что с сердцем пока все в порядке. Он пожал плечами и вытолкнул меня в коридор. Пожевав ус, с хрустом подергав один за другим пальцы, он сказал с упрямым видом:

— Эндокардит неизбежен. Впрочем, там это будет видно.

Он прищурил глаз и с этими словами ушел. Я сразу все понял. Меня особенно покорибил тон Ронера: ни малейшего жеста сочувствия, ни малейшего слова сожаления, он даже не удостоил взглядом эту молчаливую женщину, которая, как ни говори, была верной служанкой в нашем храме и вот теперь стала жертвой нашей религии. Потом вдруг я подумал о профессоре Лелю, с которым я работал целый год в больнице Бусико. Это превосходный человек и знающий медик. Возможно, его ин-

тересуют не столько больные, сколько сами болезни. Он никогда не решается высказать у постели больного свой окончательный диагноз. Обычно он говорит: «Позднее будет видно, там...» Для нас, его учеников, это «там» означает анатомичку, где тело больного, освобожденное наконец от жизни, открывает под ножом патологоанатома все свои секреты. Все мысли мэтра работали в этом направлении. Увидев однажды, как один больной, заблудившись, толкается в дверь анатомического зала, профессор Лелю выпроводил беднягу прочь и по-отечески предупредительно воскликнул: «Нет, нет, друг мой! Вам еще рано».

Своим «там» Ронер неожиданно напомнил мне о традиционной фразе Лелю, и мне стало нестерпимо горько.

Ночь с четверга на пятницу я провел в палате Катрин, рядом с монахиней. Я сказал, что мне якобы необходимо понаблюдать за симптомами ее болезни. А на самом деле мне хотелось отдать последние почести этой почти безымянной привязанности, не прожившей на свете даже и трех месяцев, той самой привязанности, что вскоре упокоится в глубине моего сердца, заняв свое место среди невинных воспоминаний, которые можно ворошить без краски стыда на лице. Катрин бредила уже второй день и не узнавала меня. Ночью я выходил два или три раза в больничный сад глотнуть хоть немного свежего воздуха. Стояла холодная, глухая, молчаливая ночь, ночь, которая опрокидывала и отгоняла прочь все мучительные вопросы.

Днем в пятницу Катрин была еще жива. Я забежал в Коллеж, но задержался там буквально на минуту. В Коллеже никто не знает Катрин, и никто поэтому даже и не поинтересовался ею.

Вечером пришло избавление. Тебе, наверно, никогда не приходилось закрывать глаза покойнику, дорогой мой Жюстен. Это жест милосердия, особенно по отношению к живущим. Обычно это делается большим и указательным пальцами руки. Спешка здесь неуместна, потому что какое-то время нужно поддержать веки сомкнутыми. Я закрыл глаза Катрин, а сестра подвязала платком челюсть, чтоб рот был плотно закрыт.

Мне хотелось провести ночь у одра покойной, но это бы удивило монахинь, а подходящего предлога у меня не нашлось. Я пошел предупредить г-на Ронера. В смерти

есть все-таки какая-то непостижимая, великая сила, ибо даже Старик выдал из глубины своей черствой души слова сострадания, жалкие, навязшие в зубах слова. Он сказал: «Какое горе». Потом он тут же, не теряя ни секунды, снова оказался во власти своих маниакальных мыслей. Он отбросил сигарету, потер руки — поверь, я ничуть не преувеличиваю — и пробормотал:

— Предстоит любопытнейшее вскрытие!

Я пролепетал:

— Но, сударь...

Тогда он уставился на меня своими ледяными, голубыми глазами, пронзительный взгляд которых я не могу вынести, и отчеканил:

— Мы сделаем вскрытие вместе, — вы слышите, Паскье? Мне сказали, что у госпожи Удуар нет семьи. Следовательно, никто не потребует тела, и в воскресенье утром мы вдвоем сделаем вскрытие. Лепинуа я поставлю об этом в известность.

Я снова было заикнулся:

— Сударь, должен вам признаться...

Ронер вдруг впал в тот самый саркастический и едкий тон, который служит для него одной из форм своеобразной обороны, — нечто похожее наблюдается у насекомых, которые меняют окраску при нападении врага.

— В чем вы должны мне признаться? Что вы, может, спали с госпожой Удуар? А если бы даже и так...

— Да нет же, сударь, уверяю вас.

— Не оправдывайтесь. Если бы даже было и так, это не может вам помешать выполнить свои обязанности. Хватит сантиментов, дорогой мой. Речь идет о научной истине, а все остальное не в счет. Поверьте мне, предоставьте испускать слезные вопли и вздохи салонным биологам, чьи имена я предпочитаю не называть. Им бы не наукой заниматься, а брэнчать на мандолине. Неслыханно! Целых два или три месяца мы стремились выявить и определить границы новой болезни, докопаться до самой ее сущности, наконец нам представляется хоть и печальный, но тем не менее исключительный, а может, даже единственный в своем роде случай завершить некоторые наши наблюдения, ибо идиотские законы пока еще запрещают нам экспериментировать на человеке... Единственный случай, который позволил бы нам теперь действовать наверняка. И вот господин Паскье, мой ассистент, начи-

нает хлопать глазами и привередничать. Может, господин Паскье хочет меня уверить, что он ошибся в выборе карьеры? В общем, дорогой мой, в воскресенье, в десять утра, я вас жду там.

Он повернулся и ушел. Ты, Жюстен, — поэт, философ, человек критического и оригинального склада ума, — ты спросишь себя, наверное, почему я ничего ему не ответил. Но ты не можешь себе и представить, что значит для нас, молодых людей, новичков в медицине или в других науках, наш наставник, наш мэтр. Тебе не понять, что требование почтения и повиновения очень сильно действуют на нас, что один только взгляд или одно только слово наставника бросает нас в краску, в дрожь, а иногда даже повергает в слезы. Тебе не понять, что, несмотря на всю свою жестокость, г-н Ронер, никогда не искавший дороги к моему сердцу, находит иногда другую дорогу — дорогу к моему разуму, и тогда я теряюсь от волнения и не знаю, что ему ответить. Одним словом, я опустил голову и промолчал.

Я долго раздумывал, старина, стоит ли продолжать свой рассказ, он может произвести на тебя тягостное впечатление. Но коли ты мой друг, ты обязан знать все о моей жизни, и славную ее сторону и печальную. Ведь вы, все прочие люди, вы даже и не стремитесь познать жизнь, а просто живете в свое удовольствие, вы усердно и наивно холите свое тело, не ведая секретов его странной механики, вы красноречиво и снисходительно разглагольствуете о страстях, не понимая, что это такое, зачастую даже не подозревая о существовании материальной основы этого красивого недуга; вы способны позабыть на часы, дни, месяцы, а может, и на годы о нашей беспомощности перед жизнью, о близости людей, животных и растений; вы веками и тысячелетиями пытались всячески подавить в себе самую мысль о смерти, изгнать ее из вашего обихода и даже из самой речи, вы, счастливики! Вы — а вслед за вами и я — рассуждаете о сердце с этакой лирической томностью, но вы никогда не держали в руках человеческого сердца. Вы заявляете: «Какой могучий ум!» — но вы никогда не видели, как трепещет и бьется мягкое вещество мозга, где формируются мысли. Женская грудь для вас — символ любви или материнства. Рот служит вам лишь для гурманства или поцелуев. Думая о локте, вы и понятия не имеете о синовиальной жидкости, да и вообще никогда не думаете о лок-

те, вы никогда его не пальпировали, никогда его не видели воочию, невежды, счастливые невежды! Ноги необходимы вам для того, чтобы играть, ходить на работу, вести вас в бой или к славе. Для нас же — это сложный комплекс хрупких, чувствительных органов, прихотливое их переплетение. Вы толкуете о коже с поэтической наивностью, не зная, что это такое. Иногда, охваченные каким-то воспоминанием, вы, потупив горящий взор, витийствуете о прахе: мол, все обращается в прах... Хотя прах — это что-то сухое, бесплотное и далекое. Конечно, придет время, мы будем прахом, а пока — пока еще проживем.

Прости, дорогой Жюстен, за эти сентенции, но всю эту трудную неделю меня не отпускало чувство горечи. Я знаю, что в один прекрасный день молодость пройдет. Я постарею, чувства мои притупятся. Я буду, видимо, поступать так же, как наши наставники, как все эти стариканы, которые провели столько лет в созерцании живой материи, которые должны были бы давно отказаться от земных утех и которые, напротив, в силу озадачивающей, хотя и необходимой забывчивости, выдумывают разные проекты, берутся за огромные работы, измышляют теории, проповедают доктрины, создают школы, вербуют приверженцев, ищут почестей и рассуждают о будущем.

Мне было бы намного легче, если бы Старик оставил в покое бедную Катрин. Как бы то ни было, мы сделали утром в воскресенье то, что должны были сделать.

Я пришел, как всегда, раньше времени. Обычно чего я только не придумываю, чтобы прийти позже, но мне никогда это не удается. К тому же мне хотелось тогда побыть одному. Анатомичка здесь маленькая, потому что и сама больница маленькая. Размещается она в подвале. В этот специальный «зал» ведет узкая лесенка, а тело доставляют туда через сложный подземный лабиринт. Открытые фрамуги под самым потолком еле-еле освещают «зал», так что работать здесь можно только при электрическом свете.

В анатомичке стоит один-единственный стол.

Катрин лежала там, на столе.

Бедная Катрин, моя верная подруга! Вот она — это белое, холодное, искалеченное тело, которое, по вине Старика, будет жить лишь в моих воспоминаниях.

Добрый десяток минут мы были вдвоем, она и я. На-

верху шаркал ногами и что-то насвистывал служитель. Меня охватило чувство острой жалости к Катрин, к самому себе, ко всем нам и, кажется, даже к Старику, к Ронеру. (Ты, конечно, заметил, что теперь я тоже величаю его Стариком.) Над столом кружились сонные мухи. Мне жаль было и этих мух, и всех на свете, даже микробов, невольных виновников этой беды, микробов, которые, наверно, сами удивлялись ледящему холоду своей жертвы, холоду, который скоро убьет и их самих. Дорогой Жюстен, мне снова вспомнилось мое безмятежное детство, и в голову полезли какие-то дикие мысли. В самом деле, разве было бы неразумно, если бы бог пожелал пожертвовать собой во имя людей? Как это может бог смотреть, как мучается его детище и сам при этом не мучиться? Я высказываю тебе все свои, пусть даже самые абсурдные, мысли. Нет, сердце у меня еще не очерствело.

И потом, я вдруг подумал о кощунственных стихах Верлена. Не удержавшись, я прошептал их, глядя на стол:

Живот упругий, не таивший в себе плода,
Грудь пышная, не кормившая никогда...

Такой гимн в таком подвале! Уверяю тебя, что иногда приходится думать не о том, о чем хочется.

Пришел Ронер. Он был уже в халате и фартуке, на голове красовалась шапочка. Он попросил перчатки, надел бахилы, чтобы не испачкать ботинки, и произнес последнее, достойное человека слово, обращенное к Катрин:

— Бедная госпожа Удуар! Все-таки красивая была женщина.

Я понял, что он снова во власти своего демона. Оживившись, он проговорил:

— Ну-с, берите нож. Поторопимся, дорогой мой.

Не жди, что я расскажу тебе обо всех деталях этой печальной работы. Старик походил на ищейку, которая старается найти, но ничего не находит. Ибо грудь Катрин была совершенно не изменена, по крайней мере, при первом беглом осмотре.

Мало-помалу Старик начал сердиться, он даже не скрывал своего раздражения.

— Надо заглянуть также в желудочки сердца, — проворчал он. — У всех больных, лежавших в клиниках у

Бисетра и у Жантйи, были обнаружены повреждения внутренней оболочки сердца в районе клапанов. Дайте-ка мне ножницы. Черт возьми! Ничего нет! Это поистине загадочно. Это же почти лабораторное исследование. Его можно демонстрировать как образец, и, вот пожалуйста, оно нетипично. Ей-богу, нам не везет. Но погодите, погодите! Мы прихватим с собой анатомические препараты и заставим сделать срезы. Почти невозможно, чтоб там ничего не было. Это опрокидывает все мои расчеты.

Он был так раздражен, так зол, у него было такое мерзкое настроение, что я невольно стал поглядывать на него с настоящей ненавистью. Он был недоволен тем, что не нашел искомое, и я видел, что он готов был растерзать это несчастное тело, эту беспомощную застывшую плоть.

Я сжал зубы. Что-то знакомое, не зависящее от меня самого — бешеный, необузданный гнев, гнев Паскье, вспыхнул в груди и затопил все мое существо. Я думал: «Одно слово... если он скажет мне хоть одно-единственное слово, то, к его великому изумлению, я взорвусь! Сначала я заору на него, обзову вампиром и жуком-могильщиком, потом дерну его за волосы и, может, даже плюну ему в лицо. Все это будет, конечно, омерзительно, и я буду походить на сумасшедшего. Но терпеть больше я не в силах...»

По счастью, Старик повернулся ко мне спиной. Он раскладывал анатомические препараты в стаканы с раствором формалина или пикриновой кислоты. Понемногу он успокоился и пробормотал:

— Вот увидите, что под микроскопом мы непременно обнаружим и нефрит и эндокардит.

Поначалу я решил, что он ищет окончания нервных волокон, ибо в смертельных исходах была повинна именно нервная система. Но он, казалось, даже об этом и не думал. И вдруг я понял, что он весь во власти навязчивой идеи, что он ищет не истину, а лишь подтверждение своих предположений, что он найдет подтверждение, чего бы это ни стоило, и сумеет добиться от истерзанной в анатомичке ткани любого нужного ему ответа.

Я был потрясен. Я вспомнил, что Пастер тоже был упрямым, ясновидцем, одержимым. Главнейший эксперимент, на котором основывается все лечение от бешенства, — возможно ты об этом не знаешь, — словом, этот

эксперимент никогда не смогли, а быть может, никогда не осмелились повторить. Это был, вероятно, счастливый случай, гениальный ход, одна из тех необычных случайностей, выпадающих на долю исключительных людей, которые не могут ошибаться. Но Пастер был человечен!

Старик все продолжал укладывать на ватные подушечки помещенные в раствор формалина анатомические препараты, а я с горечью думал: «Неужели необходимо, чтобы истина обросла плотью, чтобы она, неистовствующая и незрячая, шествовала вот так по миру, все сокрушая, сминая и разбрасывая на своем пути?»

Пришел служитель. Он принес огромную иглу, нитки, губку и ведро воды. В душе я попрощался с Катрин.

Мы вышли вместе, Старик и я. В саду он произнес своим ледяным и едким тоном:

— Ежели завтра мне доведется умереть от какой-нибудь подхваченной в лаборатории болезни, я прошу вас, господин Паскье, вскрыть мое тело. Мне хотелось бы, чтоб вскрытие это послужило на благо науки.

Говоря это, он ногтем указательного пальца резко провел по своему халату, будто имитируя воображаемый разрез, и сопроводил этот жест выразительным и неприятным звуком: «Кр... р... рак!»

Он отправился прямо в лабораторию. Я не пошел с ним. Гнев мой угас, уступив место печали и унынию. Поднимаясь по бульвару, я говорил себе: «Если без этой холодной страсти невозможно стать великим ученым, то лучше я останусь самым обыкновенным человеком, невеждой. Я хочу снова начать учиться читать...»

Потом пришло облегчение: я вновь стал думать о Шальгрене.

Сумеет ли Шальгрэн утешить меня после откровений Ронера?

Ну ладно, на сегодня достаточно.

22 февраля 1909 г.

Глава XVII

Чтение, которое утешает. Закулисные интриги г-на Николя Ронера. Ловкий ход мэтра. Сумасбродство пятидесятилетних. Добыча, о которую легко обломать зубы. Упреки в адрес Жюстена Вейля. Доверительные сведения. Не мы выбираем себе друзей. Жозеф интересуется Сенаком. Эпилог истории о финансовом крахе. Охота за ланью в лесу. Начало индивидуализма. Г-н Шальгрэн жаждет мира. За спиной мужчины всегда кто-то есть

Верно, я не писал тебе больше трех недель. И знаешь отчего? Все мне осточертело, все опротивело вплоть до собственной персоны, я пал духом, я был зол на весь мир.

В течение этих трех недель меня обуревали мучительные сомнения: существует ли на свете научная истина или вообще истина. Чтобы утешиться, излечиться, я отыскал в институтской библиотеке труды Пастера. Какой огонь, какое вдохновение и, в особенности, какая великолепная логика! И потом, какой превосходный стиль, какая многогранная, богатейшая ритмика! Стиль, достоинство которого не смогли бы не признать ни Боссюэ, ни Паскаль. Чтение его трудов укрепило мою веру, а главным образом позволило мне взглянуть на своего мэтра Николя Ронера более беспристрастным оком.

Я попытался сосредоточиться на мыслях о Катрин, о смерти. Иногда это мне удавалось. Но мы не всегда достойны своих мертвецов. И потом ты должен учесть, что дуэль между Шальгреном и Ронером не перестает волновать весь ваш ученый мир, и не думать об этом мы просто не в силах.

Как я не раз тебе говорил, Старик ненавидит политику и пользуется любым предлогом, чтобы выказать свое к ней презрение и неприязнь. В конце прошлого года, когда он с великим нетерпением ждал орденскую ленту, он вдруг ни с того ни с сего взрывался и яростно обрушивался на парламентариев. Впрочем, это не мешало ему два или три раза в неделю навещать нас

улицу Гренель и теребить министра и прочее начальство. В конце концов он заполучил ленту. Он по-прежнему продолжает громить политиков, хотя и расточает похвалы своему другу Бриану, который сейчас вроде бы министр юстиции, а кроме того, пользуется большим влиянием в министерстве народного образования. Г-н Ронер надеется извлечь из этого какое-нибудь новое украшение, какую-нибудь новую милость.

Как тебе известно, на первых порах он претендовал ни больше ни меньше, как на место председателя Конгресса. Место это он не получил. Потом его попросили выступить с большой речью на торжественном банкете. Он тут же согласился. В течение нескольких дней организаторам Конгресса казалось даже, что трения, возникшие между Ронером и Шальгреном, временно прекратятся. Напрасные надежды.

Поначалу было решено, что на открытии Конгресса в большом зале Сорбонны будет присутствовать президент Республики. Итак, все было заранее утрясено, согласовано, уточнено. Г-н Ронер, который не отступает ни перед чем, развил бурную деятельность, чтобы президент Фальер игнорировал Сорбонну, но зато занял бы свое почетное место на банкете. Ты знаешь или, по крайней мере, догадываешься, не кто иной, как г-н Шальгрэн, должен произнести речь в Сорбонне; он-то и оказался на щите. В конечном счете интриги Ронера потерпели крах. И тогда Ронер принялся поносить президента Фальера на все лады. В разговорах или просто так он стал вдруг именовать беднягу президента «толстым, сальным пузырем», «его величеством Толстяком», «раздутой представительной железой», «жировиком на толстой веревке», «слоном Республики» и так далее. Мы думали тогда, что вся злость Старика уйдет в эти слова и наконец иссякнет.

Все это происходило зимой. Теперь Конгресс на носу, уже опубликована его программа. И мы неожиданно узнаем, что на пресловутом банкете, где должен выступать Ронер, будет присутствовать Клемансо. Это был ловкий ход мэтра. Клемансо — медик. Он глава правительства. Он куда более примечательная фигура, нежели добряк Фальер. Я знаю от Совинье, что Ронер всячески пытался подцепить Клемансо. Сначала-то он рассчитывал на Бриана, но тот оказался занят. Тогда он поставил на другую карту и выиграл партию. Можешь мне поверить, что он отнюдь не молча упивается своим триумфом... Он

говорит: «Господин президент Фальер (*sic*) — не что иное, как образец жирного муниципального чиновника. По своему весу он и впрямь заслуживает первого места. На конгрессе ученых он вызовет лишь гомерический хохот — не больше. Не в пример господину Клемансо... Вот его я называю человеком».

Совинье всегда называет г-на Ронера Стариком, и я тоже стал его так величать без всякого к тому повода — поверь мне. Несмотря на седые усы и белую щетку шевелюры, г-н Ронер совсем не производит впечатления старика. Ему, должно быть, лет пятьдесят семь — пятьдесят восемь, не больше. Он великолепно держится, бодр, энергичен и, вероятно, вовсе не собирается стареть.

Кажется, к пятидесяти годам люди обзаводятся какой-нибудь болезнью, каким-то недомоганием физиологического, психологического, а чаще всего метафизического порядка. По правде говоря, Жюстен, я надеюсь умереть еще до наступления этого опасного возраста. Однажды я сказал об этом Шлейтеру, который, кстати, не намного старше меня, но у него свои взгляды на проблему старости. Он ответил мне нравоучительным тоном: «Подождите хотя бы до пятидесяти, и если вам непременно захочется умереть, то вы всегда успеете уведомить нас об этом». О, я не говорю о самоубийстве. Я рассчитываю на счастливую неожиданность, на случайность, на непредвиденную и мгновенную смерть, на что-то такое, что вовремя избавило бы меня от мучительных тягот старости.

Я мало что знаю о жизни г-на Ронера. Этот человек, вне всякого сомнения, много работает. И мне думается, что при такой напряженной работе ему бы не до сердечных приключений. По определению Совинье, у г-на Ронера, как и у всех прочих мужчин его возраста, «психоз пятидесятилетнего мужчины», и подобная болезнь принимает у него немножко смешную форму. Этот сухой человек с военной выправкой — ну просто полковник в отставке! — заглядывается на всех женщин, кривляется и расточает им любезности. Если по дороге ему попадает зеркало, он непременно посмотрится в него, щелчком взобьет усы и с удовлетворением проведет ладонью по ежику волос. С нами, молодыми людьми, Ронер не очень откровенен, но зато когда он разговаривает со своими коллегами или друзьями, он обычно говорит так громко, что мы все слышим. Ронер был бы не прочь распустить слухок, что он,

мол, любит пожить, он — человек страстей. Он — как говорит Совинье, выпячивая при этом губы, — «великий сластолюбец». Он рассуждает о любви с видом ценителя и знатока! Однажды, увидя проходившую в коридоре г-жу Спалоню, он заметил: «Не люблю, когда на женщине плохо натянуты чулки. Она тут же теряет в моих глазах всякую привлекательность». В пятницу Институт посетила делегация ученых с мировыми именами. Г-н Ронер расхвастался до невозможности, рассыпался в немислимых мадригалах, ходил на цыпочках, чтобы казаться выше. Это покорило нас, его учеников, которые, хоть и не любят его, относятся к нему с уважением. Тема вечной юности и вопрос: «Сколько ему может быть лет?» — стали для меня отвратительны, и ты знаешь почему. Однако эта тема и этот вопрос занимают огромное место в разговорах г-на Николая Ронера.

В больнице начали ставить опыты со светящимися ваннами. Пациента погружают в ванну с прозрачной водой, освещенную с одной стороны, где пробито оконце, квадратным пучком света. Свет этот излучает мощная электрическая лампа, перед которой крутятся стеклянные пластинки различных цветов. Г-н Ронер сам присутствовал при первых опытах. Он настоял, чтоб уложили в ванну не какого-нибудь жалкого подагрика, а пышную красивую девицу, которую можно было разглядывать под потоками то пурпурного, то золотистого, то голубоватого или зеленоватого света. Г-н Ронер с любопытством наклонялся над этим подопытным «кроликом» и отпускал иногда замечания, сдабривая их сомнительными шуточками.

Все эти затеи непременно взбесили бы меня, если бы придумал их мой отец, ну а поскольку автором их является Ронер, то мне следует лишь позабавиться этим. Они и в самом деле меня забавляют, но вместе с тем и огорчают. Когда я слышу, как Ронер громко рассуждает о своих достоинствах как мужчины, я невольно представляю его в те эротические минуты, о которых он разглагольствует. Да, да, мне так и представляются его усы, его эспаньолка, его властная полковничья походка и манера говорить «прощайте», будто он хочет сказать: «С меня хватит». Тогда я раздражаюсь хохотом, хотя мне и не до смеха. Заметь, что этот человек, который знает все, который все читал, все понимает, этот предельно образованный человек упрямо говорит «прощевайте» вме-

сто «прошайте», «лэстица» вместо «лестница» и, как правило, проглатывает в существительном окончание «а», если речь идет о мужчине. Например, он часто говорит: «пройдох» вместо «пройдоха», «проныр» вместо «проныра»...

Стоит только коснуться вопросов пола, как он тут же принимается кокетничать. Однажды кто-то — уж не помню кто — заговорил о педерастии. С понимающим видом он проговорил: «Позвольте, позвольте... Это же крайне интересно... Не следует судить об этих вещах поверхностно, не будучи хорошо осведомленным».

Да, я недоволен. Несмотря на весь его поразительный ум, он, на мой взгляд, — человек злой. Я не желаю, чтоб по его милости мой разум пропитался гнусностью и стал ничтожным, как сама глупость.

Мне надо хоть немного отойти от Ронера. Я чувствую, что если дам себе волю, то потеряю чувство меры. Мне хочется с ожесточением наброситься на эту добычу, о которую легко обломать зубы. Впрочем, ты призываешь меня к умеренности, ибо сейчас, как мне кажется, ты склонен к снисходительности. В своих последних письмах, говоря о Сенаке, ты прибегаешь к удивительно благодушным выражениям. Я прекрасно понимаю, что вас обоих, Сенака и тебя, связывает нечто общее, ну, например, дружеская переписка. Не отрицай: я могу привести неопровержимые доказательства.

В письме от 10 февраля ты, Жюстен, хладнокровно пишешь мне: «Не заболей госпожа Удуар, ты бы, наверно, и словом не обмолвился об этой связи, которая — я знаю! — занимает немалое место в твоей жизни...» Великолепно! Я ничего не скрывал, рассказывая тебе об этой горестной дружбе. Катрин никогда не была у меня дома. Я тоже никогда не навещал ее. Мы никогда не бродили вдвоем по улицам. Как тебе, Жюстен, могут лезть в голову такие мыслишки! Тебе, который по доброй воле оставил нас с нашими заботами и неурядицами, который порвал с нашим ничтожным миром, дабы разделить участь и страдания трудового народа! Я не упрекаю тебя, потому что хорошо понимаю, от кого исходят все эти небывалые, касающиеся наших жалких особ.

В том же письме на шестой странице ты пишешь: «Присматривай за Сюзанной. С Тестевелем бояться было нечего, а вот Ларсенер человек скрытный». Я знаю, ты еще не простил Ларсенера за то, что он одним из первых

покинул Бьевр. Но откуда тебе стало известно, как относится он к моей сестре Сюзанне? Откуда у тебя такое недоверие к нему? Теперь я догадываюсь, в чем дело. Тайна, так сказать, перестала быть тайной.

Наконец в последнем твоём письме ты возмущаешься Ришаром Фове. Но ведь ты никогда его и в глаза не видел, ты ничего толком о нём не знаешь, ибо я почти не рассказывал тебе о нём. И вот пожалуйста, говоря о Фове, ты приводишь такие подробности, которые сделали бы честь сыщику. Тебе, видите ли, известны его вкусы, привычки, склонности, манера одеваться и даже расцветка его галстуков. Не я же сообщал тебе об этом. Тогда кто же? Эх, Жюстен, Жюстен, стыдись. Я понимаю, что ты страдаешь, и все-таки не следует прибегать к содействию и тайной поддержке презираемого тобой человека.

Этот неожиданный прилив симпатии к Сенаку не обижает меня. Значит, мои письма не удовлетворяют тебя? Ты нуждаешься в дополнительных уточнениях! Мне жаль тебя, но оставим это. Впрочем, имей в виду: я ничего не скажу Сенаку о нашем удручающем меня споре. Не стоит нам набрасываться друг на друга.

Я ничего ему не скажу, ибо, несмотря ни на что, я испытываю к нему искреннюю жалость. В последнее время мы с ним часто виделись, и скоро я порадую тебя кое-какими пикантными сведениями, касающимися его будущего. Но сначала мне хочется поведать тебе о душевном состоянии нового твоего корреспондента и тайного агента. Не знаю, помнишь ли ты, как однажды в «Уединении» в споре с Жюссераном, который восхвалял величие авторитетов, ты резко возразил: «Величие! Да! Величие! Есть люди, которые в конце концов из великих превращаются в самых заурядных». Эта запомнившаяся мне фраза терзает, наверное, и Сенака. Сенак сам говорит, что его страшит заурядность. Перефразируя высказывание Жюссерана, он твердит: «Я предпочитаю с треском провалиться, нежели добиться пустячной победы». Ему, несчастному, хочется стать какой-то величиной, неважно какой, но величиной. Поскольку ему заделаться великим философом или великим поэтом ему трудно — кстати, ты знаешь, что стихов он больше не пишет и осуждает тех, кто с остервенением продолжает строчить свои в и р ш и, — итак, поскольку труд или доблесть возвеличить его не могут, то бедняга еще тешит себя иллюзиями, будто может стать великим негодяем или, как он говорит, «великим подлецом».

Это, конечно, совсем не так. У Сенака нет данных, чтоб стать великим негодяем. И, будучи в этом уверен, я всячески стараюсь отвлечь его от подобных мыслей. Когда он, пропустив два или три стаканчика, принимается колотить в грудь и неистово обвинять себя во всех смертных грехах, я с улыбкой поглядываю на него и мягко отвечаю: «Да нет же, нет, бедный мой Жан-Поль! Тебе только кажется, будто ты подлец, а на самом деле ты хороший парень, испорченный праздностью и слишком частыми возлияниями». Я бы мог еще многое к этому добавить. Но я не слишком на него нажимаю, ибо боюсь поранить его и толкнуть тем самым на настоящую подлость, на которую, несмотря на все свои уверения, он просто не способен.

Вот тебе, дорогой Жюстен, бегло очерченный портрет несчастного, у которого ты получаешь, а может, даже выклянчиваешь так называемые «конфиденциальные сведения». Я знаю: я человек рассеянный, однако ты окажешь мне услугу, если не будешь почитать меня слепцом.

Чтобы ты, вопреки всему, не очень-то сокрушался о бедственном положении Жан-Поля, должен сказать, что скоро он непременно заполучит приличное местечко. Он в два счета пропил деньги, услужливо подсунутые ему моим милейшим патроном. В последние недели я не раз подбрасывал ему небольшие суммы — не помирать же Сенаку с голоду! Он был нашим товарищем, нашим другом. Я начинаю понимать, что не сами мы выбрали себе друзей, а посему приходится мириться с ними, терпеть, сносить их причуды, как терпим мы членов семьи, как сносим все тяготы жизни, уготованные судьбой. Я не говорю здесь о небольших денежных суммах, — впрочем, крайне скромных, — которые я одалживал Сенаку. Речь не о них, — и ты меня хорошо понимаешь, — а о том большом моральном грузе, который ложится на плечи всех его друзей.

Поэтому я пытался сам, без чьей-то помощи, подыскать для него какую-нибудь скромную работу, когда вдруг на прошлой неделе мой брат Жозеф говорит мне:

— Твой друг Сенак — интересный человек. Я не прочь даже взять его к себе.

Эта короткая фраза бросила меня в дрожь, даже волосы на руках стали дыбом. Какое совпадение! Оно кажется мне вместе с тем и фатальным и необычным. Оно далеко не случайно: Жозеф встречал Сенака в «Уединении», сталкивался с ним иногда у меня, иногда в бистро

у Папийона. Поначалу мне думалось, что Сенак принадлежит к кругу тех людей, которых Жозеф не замечает или просто отбрасывает ногой, как слизняка. Однако я ошибся: Жозеф заметил Сенака и даже выделил из других. Зная это, я почувствовал при этих словах нечто большее, нежели обычную неловкость. Позже это неожиданное совпадение показалось мне вполне логичным.

Сенак не способен к серьезной работе. Жозеф же принадлежит к категории тех боссов, которые в своих контрактах терпят лишь беспрекословное подчинение рабов, прилежных, точных и усердных. Если Жозеф обратил внимание на Сенака, значит, он, наверно, ждет от него каких-то определенных, не подлежащих оглашению услуг. Все это сильно огорчает меня. Г-н Мерес-Мираль и Жан-Поль! О, боже! Какая бесподобная упряжка! Неужели я ошибаюсь? Неужели Сенак все-таки склонен к низости, если не к подлости?

Коли уж я заговорил о Жозефе, то доскажу тебе все до конца. В тот же день, когда он помянул Сенака, я спросил у него:

— Ну, а как насчет твоего финансового краха? Дела налаживаются?

Я хотел было слегка улыбнуться, но улыбка невольно получилась кривая. Жозеф посмотрел мне прямо в глаза с удивительной обезоруживающей невинностью и зашипел:

— Какой крах? Что ты имеешь в виду? Наверно, неудачу в Руманьских карьерах? Нет, нет, уверяю тебя, все идет превосходно. У вас у всех какая-то странная манера разговора. Вы не отдаете себе отчета в своих словах. Крах! Крах! Если бы тебя подслушали чужие, ты бы мог, сам того не ведая, поставить меня в затруднительное положение. Поосторожнее, Лоран, поосторожнее! Я не суеверен, но не люблю шуток.

Он отчитывал меня — можешь мне поверить — целых две или три минуты.

Если тебя интересует Жозеф, знай, что дела у него идут великолепно. Три тысячи франков он, разумеется, родителям не возвратил, ибо купил себе место на кладбище и заключил контракт с мраморным карьером. Он твердит: «Если хотите знать, я на этом деле потеряю...» Однако учти: покупка и контракт непременно принесли ему определенную прибыль, о которой мы никогда и ничего не узнаем. Что касается Фердинана, то он вложил

свою долю «в дело», получает проценты и потому вес сияет от радости. Но до него даже и не доходит, что он никогда больше не увидит своего, одолженного Жозефу, как говорили в старину, капитала. Что ты хочешь? Фердинан близорук. Настолько близорук, что однажды в театре Сары Бернар он, взглянув в зеркало, не узнал себя и дважды галантно поклонился своему изображению, собираясь уступить ему дорогу.

Напоследок не могу не рассказать тебе одну забавную историю, приключившуюся с Жозефом. О ней поведала мне его жена Элен.

Как-то вечером в прошлом месяце их обоих пригласили на ужин к Веклерам, крупным торговцам шоколадом, у которых есть в Сен-Мартен-дю-Тертре, неподалеку от Пакельри, собственное поместье. Еще до этого приглашения Элен и Жозеф провели в Пакельри два дня — им, видите ли, хотелось понаблюдать за рабочими, гнущими спину в их имении, а заодно и «немного пожить в свое удовольствие», как говорит иногда Жозеф с разочарованным и вместе с тем оживленным видом. Ужин был назначен на девять часов. В половине девятого Элен и Жозеф тронулись в путь; он был в смокинге, она — в вечернем декольтированном платье, мехах и так далее. Выехали они на машине, которую вел Жозеф. Был очень холодный, ясный вечер. Они поднялись по лесистому склону холма. Жозеф был в приподнятом настроении, но разговаривать с женой, сидевшей сзади, было неудобно. Элен слышала только, как он насвистывал. И вдруг в ярком свете фар впереди метнулась лань, изящная лань с белым пятном на груди. Тогда Жозеф, охваченный охотничьим азартом, устремился вслед за добычей. Лань рванулась вперед, как это обычно бывает, безуспешно стараясь удрать от ослепляющего света фар. Жозеф увеличил скорость. К счастью, низкий барьер, ограждающий по бокам дорогу, оледенел, ибо лимузин вилял из стороны в сторону, чуть ли не задевая деревья. Автомобиль, впрочем, как и его водитель, был похож на дикого разбушевавшегося зверя. Элен страшно испугалась и принялась кричать. В конце концов Жозеф догнал лань и раздавил ее колесами. Лишь тогда он затормозил и вышел из машины. Элен рассказывала мне, что в этот момент на него было страшно смотреть. Он сбросил пальто и завернул в него бездыханную лань с вывалившимися наружу внутренностями. Он непременно хотел ее увезти, а не остав-

лять здесь, на дороге. Элен попробовала разубедить его, но Жозеф не владел собою. Он поднял лань на руки и бросил ее в автомобиль. Он хрипло, со свистом дышал. Вот в эту-то минуту они и заметили, что вся машина забрызгана кровью, что руки у Жозефа в крови, а его смокинг и красивое платье Элен тоже в кровавых пятнах. Жозеф, вероятно, уже опомнился и казался грустным и недовольным. Они поспешили к себе в Пакельри и оттуда позвонили, что придут попозже. Жозеф припрятал лань: ему хотелось отведать дичины. Его разбирала досада, что вся подстреленная в лесу дичь принадлежит хозяевам поместья — Веклерам. Пришлось менять туалет, чистить лимузин. Приехали они очень поздно, вечер прошел тягостно, мрачно, и мне думается, что дело, которое Жозеф собирался затеять с шоколадником, сорвалось.

Эту историю мне рассказала Элен. Время от времени она улыбалась, и на щеках у нее появлялись очаровательные ямочки. В такие моменты можно было поверить, что она осуждает мужа. Впрочем, в этом я не уверен. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что, живя с ним, она скоро уподобится своему супругу.

Сто раз я обещал себе никогда больше не упоминать о Жозефе. На сей раз — конечно. Я расстаюсь с ним, я оставляю его вместе с его ланью, богатством, крахом, с его ставленниками, среди которых я, слава богу, не увижу поэта Жан-Поля Сенака.

На следующей неделе Конгресс биологов начнет, как говорят, «свою работу». Стоит ли тебе говорить, что я не особенно верю в работу всевозможных конгрессов. Созидательная, целеустремленная работа выполняется всегда в одиночестве. На форумах только и можно, что толковать о погрешностях стиля и об улучшении формы, но чтобы что-то решить, необходимо уединение и время для обдумывания. Чувствую, что мало-помалу я становлюсь индивидуалистом. Наш опыт жизни в «Уединении» и все, что я вижу перед собой всякий божий день, могут без труда внушить мне ненависть к публичному обсуждению и привить вкус к плодотворному одиночеству, но только такому, где человек действительно предоставлен лишь самому себе. Я знаю, что ты примешься на меня рычать. Ты любишь людей, хоть и жил в «Уединении». Если бы ты только мог навсегда сохранить свое доверие к людям и свои великие надежды! Я не собираюсь с тобой ругаться, дружище, я просто рассказываю тебе, как могу, о сво-

их соображениях, а больше всего, пожалуй, о своих ошибках. Нужно ли добавлять, что я вполне терпимый и дисциплинированный индивидуалист? Я никогда не забываю, что мне приходится жить в обществе. К примеру, я смотрю на все эти конгрессы весьма скептически, но тем не менее я не откажусь в них участвовать, если в будущем мне выпадет такая возможность. На этом Конгрессе мне даже доведется представить свою небольшую работу, проведенную под руководством г-на Шальгрена. Более того, я согласился быть в числе тех молодых людей, которые позаботятся о хозяйственном обеспечении Конгресса, а в ходе всевозможных церемоний будут играть роль этих шаферов и носить нарукавные повязки, чтобы как-то выделяться среди окружающих.

Господин Шальгрэн написал свою речь. Я знаю, что это великолепная речь. Г-ну Шальгрэну радоваться бы да радоваться, потому что все идет у него хорошо. И все-таки он невесел. Мне думается, что все эти раздоры вконец измотали патрона, а со временем вообще доведут его до полного изнеможения. Ронер создан для ссор, он скользит среди них легко и ловко, пожалуй, даже весело. Мой же дорогой патрон — полная его противоположность: он, видимо, несчастен и окончательно выбит из колеи. В иные дни он, кажется, не в состоянии принять нужного решения. Он говорит: «Так что же делать? И что в таких случаях делают?» И добавляет, слегка покачивая головой: «Должен вам признаться, друг мой, я совсем не знаю, что делать, и я бы с радостью вообще ничего не делал».

Я уверен, что этот миролюбивый и деликатный человек отдал бы все, чтобы снова воцарился мир и покой. Часто я себя спрашиваю, кто удерживает его от этого шага. Думаю, что Никола Ронер с его характером не слишком-то склонен к примирению. Но, видимо, есть какие-то другие, более глубокие причины. Иногда я вижу г-жу Шальгрэн, которую я как-то раз обрисовал тебе в общих чертах. Мне становится понятным, какую роль играет г-жа Шальгрэн в жизни моего добродушного патрона. Она, конечно, не корыстолюбивая особа и ни в чем не походит на г-жу Вакслер, которая совершенно не щадит своего ученого мужа, заставляя его добывать деньги любым путем. Нет, г-жа Шальгрэн — женщина чрезвычайно честолобивая. Я уверен, что без нее г-н Шальгрэн никогда бы не согласился исполнять всякого рода обремене-

тельные и утомительные для него обязанности. Г-жа Шальгрэн из тех, кто не смиряется и никогда не смирится. Вполне возможно, что дуэль между Шальгрэном и Ронером следует рассматривать как дуэль между г-ном Ронером и г-жой Шальгрэн. О, боже! У этих наших наставников никогда ничего не поймешь! А вот искренне любимый мною г-н Эрмерель, которого я часто тебе расхваливал, выбрал себе в подруги жизни замечательную женщину; именно ей он обязан всем лучшим, что есть в его творчестве, и даже своим человеческим достоинством. Я индивидуалист, о чем только что имел честь тебе доложить; и все-таки я понимаю, что человек — это целый запутанный клубок всевозможных чувств, настроений и слабостей.

Итак, отправляюсь спать, а то я слишком заболтался.

Твой примирившийся и никогда не отчаивающийся брат

Л. П.

15 марта 1909 г.

Глава XVIII

Конгресс биологов. Наука ведет свой поиск в трудах и страданиях. Нужно ли бояться музыки? В жажде забвения есть свое величие. Неуместность красноречия. Господин, который не скрывает своих чувств. Благоговейные мысли о Катрин. Обед на двести персон. Почетное место. Г-н Ронер знает, чего хочет. Празднество каннибалов

Я сто раз говорил тебе, что официальные церемонии внушают мне какой-то ужас. Когда-то я поклялся — еще одна и, самое худшее, недолго продержавшаяся клятва — никогда не поддаваться заманчивому чувству тщеславия. Я даже осмелился попросту сказать об этом своему дорогому патрону Оливье Шальгрэну. Он посмотрел на меня со снисходительной, усталой улыбкой. Потом заговорил о Пастере, который, имея множество наград, был предельно строг, официален, и тем не менее это был Пастер.

В конце разговора патрон положил мне на плечо свою красивую руку, белую и изящную, еще не утратившую гибкости, и сказал: «Подождите еще лет двадцать и вы увидите, поймете, что поступать иначе нельзя, что мы должны продемонстрировать перед толпой не смиренную, а воинствующую и всепобеждающую науку, которая предъявляет свои требования и знает себе цену. Мы не можем делегировать любителей шума и блеска. Нам придется выступить самолично и во всеуслышание заявить о своей вере».

Это было почти бесспорно, но меня это не убедило. Я все же принял посильное участие в работе Конгресса и сыграл свою роль шафера. Вплоть до последней минуты я пребывал в прескверном расположении духа. Потом настроение вдруг переменялось, и, чтобы быть объективным, я попробую тебе объяснить почему.

Если не ошибаюсь, я уже объяснял тебе, дорогой Жюстен, что вместе с Вьюмом, Роком, Фове, Стерновичем и некоторыми другими я выполнял функции распорядителя. На руке у меня красовалась повязка с вышитыми инициалами конгресса: К. Б. Коли хочешь знать, я был облачен в костюм, взятый напрокат у Латрейя на улице Сен-Андре-дез-Ар. Я пришел, как и полагалось, заранее и принялся за дело: когда кто-нибудь из этой толпы ловкачей, бонз, крупных шишек, магнатов, великих мужей науки и политики подходил ко мне и называл себя, я провожал его на отведенное ему место либо на эстраде, либо прямо в зале. Кое-кого из этих господ я знал еще раньше, встречая их в Сорбонне, на медицинском факультете, в Институте, в Коллеже или в больницах. Большинство из них казались мне издали удивительно респектабельными, но стоило мне разглядеть их поближе, одних — в парадной форме, других — в смешных мундирах с усыпанной драгоценными камнями шпагой вдоль ноги, третьих — в средневековых тогах, а некоторых в черных строгих костюмах, украшенных цветными орденскими лентами, значками, вензелями, цепочками, крестами, медалями, бриллиантовыми звездами, нацепленными в области печени или селезенки, и прочими непонятными знаками отличия, — словом, стоило мне увидеть, как они выставляют себя для обозрения, словно в вертящихся витринах, словно в ковчеге или в раке, и я почувствовал, что все во мне возмутилось, что я не могу не одаривать холодными и злобными взглядами этих высокочтимых

мэтров. Провожая их на место с предупредительностью пажа, или, вернее, привратника, я думал: «Что бы там ни говорил мне патрон, но все это далеко от науки. Настоящая наука, облаченная в порванный, испачканный халат, трудится в поте лица в тиши лабораторий. Спотыкаясь, наука идет вперед отнюдь не под тяжестью почестей, она идет во тьме, в мучительных поисках дороги. Истинная наука не рядится в золото, цветную эмаль и драгоценные камни, она ведет свой поиск в трудах и страданиях. Сегодня вечером здесь, среди разряженной и надушенной толпы, нет места для науки».

Вот какие мысли одолевали меня, когда я провожал старых мэтров к их креслам, в которые они опускались так, словно у них одеревенели конечности. Потом стали подходить политические деятели средней руки. Зал постепенно заполнялся. Слышалось мощное дыхание растущей толпы. Затем вдруг зазвучала музыка. По счастью, духовой оркестр играл весь вечер хорошие вещи, несколько разные по своему характеру, но все же прекрасные: «Аллегretto седьмой симфонии», «Анчар» Римского-Корсакова, увертюру к «Мейстерзингерам» и так далее. Настоящая музыка. Должен тебе признаться, что музыка вызывает у меня душевный подъем и в то же время успокаивает. Я чувствовал, что музыка, даже эта музыка — немного резкая, грубоватая, где отсутствовали струнные инструменты, — отогнала, как обычно, прочь навязчивые мысли. И пока я размышлял, весь зал вдруг встал и загремела «Марсельеза». То было подобно взрыву бомбы.

Дорогой Жюстен, все, что произошло потом, не очень-то понятно. Ты знаешь, что я не большой поклонник «Марсельезы». Меня всегда разбирает смех при виде достопочтенных буржуа, вскакивающих на ноги и снимающих шляпу при звуках этого революционного гимна, зовущего к оружию, к крови и ярости, к священному убийству. Такова уж судьба революционных песен, которые окончательно растрачивают свой боевой задор среди чада народных гуляний, шума карнавалов и манящих запахов банкетов. Помнишь, как однажды во время вечернего представления в театре Батиньоля мы слушали «Интернационал»? И как тогда нас пробирала дрожь? Но я хорошо знаю, что в один прекрасный день «Интернационал» исполнят перед почтенными буржуа в шапокляках и в респектабельных костюмах, которые своими криками и

воплями целыми часами будут прославлять бессмертные принципы 1900 года и что-нибудь в этом роде. Вот так-то! Теперь ты наверняка понимаешь, почему я — коли уж я способен отдавать себе отчет в своих поступках, — почему я не поклонник этих «бум, бум, бум...».

И все же — поистине удивительная вещь! — «Марсельеза», исполненная на Конгрессе, потрясла меня. Я не смогу сказать отчего. Это было что-то захватывающее, ужасное. В зал вошел г-н Фальер. Он показался мне совсем не смешным. Я стиснул зубы, сжал кулаки и, наверно, даже побледнел. В самом деле, надо бояться музыки, божественной музыки, нашей любимой и утешающей нас музыки.

Вслед за г-ном Фальером вошли все те лица, которых считают — уж не знаю почему — значительными личностями. Среди них были министры, назвать которых по именам я затрудняюсь, и, наконец, наши мэтры. Меня покорило, когда я увидел, что наши мэтры, эти необыкновенные люди, чьи имена останутся в веках, шли позади каких-то там политиков, чьи имена позабудут через полгода. Кажется, так у нас, во Франции, заведено. Поразмывлив, я решил, что, в общем-то, это даже неплохо, ибо такой порядок публично подчеркивает скромность действительно заслуженного человека.

Я боялся взглянуть в сторону своего дорогого шефа, облаченного в зеленоватый костюм члена Института. Должен также признаться, что г-н Шальгрэн показался мне вдруг очень красивым, очень элегантным, очень благородным. Возможно, здесь сказалось неожиданное влияние музыки. Впрочем, я не собираюсь вникать в подробности.

Все сели. Музыка еще звучала несколько мгновений. Я устроился на своем скромном месте и принялся созерцать необычное зрелище. Оно и впрямь показалось мне великолепным. В одном конце зала — полным-полно военных в мундирах, в другом — неумная, шумная молодежь. Умопомрачительные туалеты. Эстрада вся пламенела и искрилась. Меня словно подменили — я не только снисходительно смотрел на всю эту парадность, на эту помпу, но я еще и восхищался ими. Я твердил про себя, что иногда людям просто необходимо забыть обо всем на свете и окунуться с головой в роскошь и великолепие, что они лишь ничтожные животные, слабые создания, придавленные нуждой, страхом и печалью. Я думал, что

под этими расшитыми мундирами, под всеми этими бриллиантами, позументами и позолотой сокрыты самые обыкновенные мускулы, органы, составленные из отдельных хрупких частиц, железы со своими секретами, почти неосязаемые нервные клетки и — что еще? — более или менее наполненный мочевой пузырь, играющий не последнюю роль у всех этих господ, ибо именно он дает о себе знать раньше, чем, допустим, боль в желудке или в суставах. Я твердил себе, что, в общем-то, вся эта толпа всячески старается позабыть о мимолетности жизни на нашей планете и что в этой жажде забвения есть тем не менее свое величие.

Видишь, к этому моменту я был почти побежден, я был близок к раскаянию.

Речи все испортили. Никогда не нужно произносить речи на такого рода церемониях. Музыка и без того волнует лучшие умы. К сожалению, я одинок в своем мнении. Н-да, без речей никак не обойтись, таков порядок. Но человек, критически мыслящий, может, если он внутренне соберется, выполнить свою прямую обязанность.

Мне стало скучно. Наука в устах ораторов становится напыщенной и надутой. Какие пышные идеи! Какие высокопарные декларации! Высказанные в речах, самые бесспорные и разумные вещи приобретают оттенок некоей электоральной истины. В лучшем случае они походят на изречения и наивные разглагольствования моего дорогого папаша, когда тот рассуждает об освобождении человечества, на все эти почтенные афоризмы, которыми я сыт по горло. Г-н Шальгрэн в качестве председателя Конгресса произнес превосходную светскую речь, страшно разочаровавшую меня. Пойми меня хорошенько: в этой торжественной речи г-н Шальгрэн высказал ряд мыслей о необходимой трансформации рационализма, о тесном сотрудничестве различных наук и о будущем биологии. Я еще раньше был знаком с этими прекрасными мыслями, или, вернее, знал их истинное, доподлинное лицо. Я ревностно следил за их рождением, за их первыми робкими ростками. Г-н Шальгрэн иногда оказывал мне честь, излагая мне свои взгляды, соображения, посвящая меня в свои раздумья. И я полюбил все эти идеи в их еще незрелой первозданной чистоте. Разряженные, украшенные, подрумяненные ради сборища официальных лиц, они уже не радовали меня.

Зато Никола Ронера они вывели из себя. Вот уж действительно человек, который даже и не собирается скрывать свои чувства. Он просто не в силах это сделать. Он сидел за столом для почетных гостей, чуть поодаль от центра, и это обстоятельство, должно быть, бесило его. Он ерзал, вертелся, хрустел пальцами, ерошил свою эспаньолку. Во время речи г-на Шальгрена он никак не мог успокоиться, всячески выказывая свою досаду или неодобрение. Он покачивал головой, зевал, вызываясь обмахивался листком с напечатанной на нем программой Конгресса, поправлял узел галстука, то и дело дотрагивался до эфеса шпаги, поскольку был в парадной форме.

Когда в зале вдруг загремели аплодисменты, я вспомнил Катрин, свою бедную подругу Катрин Удуар, которую похоронили тихо и скромно, без речей и «Марсельезы». О, я ничего не требовал для этой скромной служительницы науки, но подумал, что нельзя было забывать о ней в этом оглушительном грохоте. Я перестал прислушиваться к речам болтунов и весь остаток вечера посвятил благоговейным воспоминаниям о Катрин.

Два последующих дня, как ты сам понимаешь, были заняты заседаниями, прогулками по Парижу, чаепитиями, конференциями и скучными, утомительными речами. Я, конечно, с беспокойством ждал главного — знаменитого банкета в Пале д'Орсэ, банкета, на котором должен был выступить г-н Никола Ронер, мой всезнающий мэтр.

Вечер этот начался с такой забавной истории, о которой даже неловко рассказывать, хотя я и должен это сделать.

На банкете присутствовало не менее двухсот гостей. Там было много французов, англичан, немцев, американцев из Северной и Южной Америки, несколько итальянцев и русских, горсточка скандинавов, шведов, бельгийцев, трое японцев, — словом, там были делегаты от всех биологических институтов земного шара.

Господин Ронер пришел заранее и тут же попросил показать ему план, на котором были указаны места гостей за столом и который был выставлен на общее обозрение в небольшом салоне ожидания. Г-н Ронер быстро взглянул на план и сказал, что хотел бы переговорить с членами организационного комитета. Почти все они уже пришли, так что собрать их вместе оказалось нетрудно. Было видно, что Ронер раздражен, щеки у него побледнели, взгляд остекленел. Он пыхтел в усы и все пощипы-

вал их, будто собрался начисто вырвать. Один за другим подошли члены комитета, и тогда Старик принялся неистово вопить. Мы, молодые распорядители, толпившиеся у входных дверей, молча слушали. Лишь одни мы сразу же поняли причину подобной выходки.

Во главе стола для почетных гостей должен был воссесть Клемансо. По левую руку от Клемансо находилось место г-на Шальгрена, по правую — г-на Бушара, исполняющего обязанности президента Академии наук. С противоположного почетным местам края к главному столу были придвинуты перпендикулярно другие столы, так что почетных мест, расположенных с одной стороны стола, оказалось немного. Большинство из них предназначалось для иностранных гостей. Место же г-на Ронера находилось хоть и не в конце стола, но все же довольно далеко от кресла Клемансо.

Он стал выкрикивать, что он, мол, сию же минуту уйдет, ибо в его лице оскорбляют науку. Г-н Перье благоразумно заметил, что все гости — именитые ученые, а, следовательно, наука здесь совершенно ни при чем и говорить о каком-то там оскорблении просто нелепо. Старик тут же возразил, что раз его уполномочили произвести на банкете большую речь, значит, он играет первую скрипку в церемонии, а поэтому претендует на достойное его ранга место, и если он не получит этого места, то он уйдет, а заодно прихватит с собой и написанную речь. Кто-то — думается, г-н Дастр — ответил ему известной поговоркой: дело, мол, и выеденного яйца не стоит, а место, предназначенное г-ну Ронеру, становится почетным уже только потому, что занимает его г-н Ронер.

Эти примирительные слова не произвели никакого впечатления на г-на Ронера. Он обратился к Року: «Попросите лакея принести мне пальто. Я пообеду дома». Положение оказалось тем более затруднительным, что без речи г-на Ронера обойтись было невозможно, — так, по крайней мере, говорили, — а посему членам комитета совсем не улыбалось отпустить его восвояси вместе с речью. Итак, все эти господа столпились перед планом стола. С раздраженным и чопорным видом Ронер уселся в кресло и стал ждать, ковыряя под ногтями уголком сложенного пригласительного билета. Дважды ему предлагали более удобное место. И всякий раз, пожимая плечами, он отказывался. Он ворчал: «Все это мне до смерти надоело. Я не хочу, чтоб надо мной смеялись. По доброте душев-

ной, я согласился произнести эту речь и не потерплю, чтоб злоупотребляли моей доверчивостью».

Тем временем гости заполняли салоны, а кое-кто из них уже стал разыскивать свое место за столом. Чтобы покончить с долгими и мучительными пререканиями, отправились к г-ну Шальгрёну, который болтал с бельгийцами. Члены комитета отозвали его в сторонку и смущенно попросили уступить свое место нынешнему оратору, чтобы разрешить наконец этот щекотливый вопрос. Мой дорогой патрон сначала пожал плечами и ответил: «Пусть меня посадят где угодно, мне совершенно безразлично». Потом, кажется, сообразил, кому он уступает место. Он поморгал глазами и с дрожью в голосе сказал: «Я охотно уступлю свое кресло, но при одном условии: чтобы всем стало об этом известно. Я прошу поставить мой прибор в конце стола. Посадите меня среди моих учеников. По крайней мере, там я буду спокоен и не засну от скуки». Г-н Дастр, человек поистине доброжелательный, попробовал дать понять Шальгрёну, что ему, председателю Конгресса, не подобает сидеть в конце стола, ибо это непременно вызовет скандал. Мой дорогой патрон заупрямился и не хотел ничего слушать. «Да, да, я должен быть среди моих ассистентов. Пусть все видят, где сидят здравомыслящие люди». В конце концов все это ему надоело, и он сдался. Он пожал плечами и согласился занять место Ронера.

Члены комитета испустили вздох облегчения и снова принялись расхаживать среди толпившихся гостей, ожидая прибытия Клемансо, который сильно запаздывал. Признаться, я с любопытством наблюдал за лицом Ронера. Две глубокие и злые складки прорезались по обеим сторонам рта. Пробираясь в толпе и не обращая ни на кого внимания, он громко смеялся. Я думал, что он доволен, что он упивается своей победой, и тогда, повергнутый в изумление, а может, и в ужас, как один из тех варваров, о которых пишет Флобер, я последовал за ним.

Он добрался до банкетного зала, потом подошел к столу для почетных гостей. Я решил, что он хочет усесться на свое место, и собирался уже отвернуться, как вдруг заметил одну удивительную вещь. Я тебе говорил, что Клемансо должен был сидеть в центре, по правую руку от него — президент Академии наук, а по левую — г-н Шальгрён или, по последнему уговору, — г-н Ронер. Итак, Старик, добравшись до почетных кресел, осторожно огля-

нулся, быстро схватил карточку, где начертано было его имя, и положил ее по правую сторону от председательского места, а другую карточку жестом фокусника мгновенно переложил на левую сторону. После этого он преспокойно уселся в кресло. Когда же прибыл Клемансо, Ронер, оказавшись по его правую руку, даже и глазом не моргнул. Организаторы банкета слишком поздно заметили подтасовку. Уже ничего нельзя было сделать. Президент Академии наук развернул свою салфетку, не проронив ни слова, и я понял, глядя на своего учителя Николая Ронера, какая это огромная сила — упрямство наглецов.

Зазвенели, ударяясь о фарфор, ложки, потом битый час расхваливали — впрочем, лишь для вида — тюрбо под острым соусом и филе молодого кабанчика. Я сидел с краю одного из приставленных столов, тех, что были перпендикулярны почетному столу. Со своего места я видел г-на Шальгрена, г-на Ронера и «всех этих эпохальных особ», как говорил сидевший напротив меня Совинье. Г-н Шальгрэн казался спокойным и умиротворенным. У Ронера был такой вид, будто он лакомится не деликатесами, а своими врагами. Время от времени он смеялся, уткнувшись в свой стакан. Потом принимался рвать жареное мясо своими крепкими зубами. Каждый оторванный кусок именовался Шальгреном.

Наконец настала очередь пить шампанское и произносить речи. Клемансо с угрюмым, но учтивым видом говорил не больше трех минут. Как-никак, а Клемансо медик. Это у него осталось в крови. Мне думается, он презирает почти всех. Может, не презирает лишь тех людей, среди которых он вырос, тех, которым он обязан своими первыми познаниями.

Его наградили шумными аплодисментами. Затем взял слово Ронер. Я чувствовал, что Старик не обойдется без жалящих уколов в адрес своего ненавистного врага. То, что мы услышали, превзошло все мои ожидания. Представь себе едкое и тщательно отделанное опровержение речи г-на Шальгрена, произнесенной им на открытии Конгресса. Это тем более удивительно, что на сей раз Сеняк был здесь ни при чем и г-н Ронер четыре дня назад и понятия не имел о содержании речи г-на Шальгрена. Ненависть, как и любовь, бывает иногда поразительно прозорлива. Кстати, Ронер ни разу не упомянул имени Шальгрена. Все знали об их ссоре и могли уловить его

коварные намеки. Но только нам, десяти или двенадцати их верным ученикам, удалось заметить все стрелы, сосчитать все раны. Должен заметить, что г-н Ронер, хоть и злоупотребляет жестами, очень ловкий оратор. В конце концов он добился успеха и заметно порадовался ему. Мне же было тем более не по себе, что к некоторым ораторским эффектам иногда прибегал я и сам; мне было тем более противно, что все эти люди, четыре дня назад рукоплескавшие моему дорогому патрону, теперь так же горячо аплодировали идеям его противника; А ведь они не были простой толпой. Это был сам цвет науки.

Господин Шальгрэн молча страдал. Позже, на будущей неделе, я расскажу тебе об этом идиотском празднестве каннибалов. Сегодня вечером я делаю еще один стремительный шаг на пути к индивидуализму, а потому мне необходимо погрузиться в полное одиночество, куда не будет доступа даже самому дорогому моему другу.

Глава XIX

Выходка Жан-Поля Сенака. В глубине тупицка. Необходимое и жестокое решение. И снова Соланж Меземакер. Приглашение к опасному кровосмешению. Лоран не примиряется с отцом

Мне необходимо сообщить тебе очень важные новости. Я должен рассказать о событиях, которые не дают мне покоя вот уже неделю — я не преувеличиваю, — и вряд ли я скоро успокоюсь. Но сегодня, сегодня я тебе ничего не расскажу, потому что ты любишь повернуть все другим боком, потому что твое последнее письмо возмутило меня, потому что ты даже и не читаешь моих длинных посланий, написанных кровью сердца, тех самых посланий, которые ты так жаждешь заполучить от меня и которые, конечно, не в силах утишить боль, терзающую твою душу.

Я не буду тратить попусту время на ораторские приемы: «Кто тебе сказал?.. Кто тебе мог сказать?..» Я знаю, что, несмотря на мои послания, ты получаешь — и даже сам выклянчиваешь — письма от Жан-Поля, от этой низ-

кой и пропащей душонки. Все это недостойно ни тебя, ни меня и особенно тех лиц, за которыми ты шпионишь.

В довершение всех своих подлых выходов, Жан-Поль Сенак уведомил тебя и о том, что моя сестра Сесиль якобы вскоре выходит замуж за Фове: Будь на месте Жюстена Вейля другой человек, мужественный и гордый, он бы сказал себе прежде всего, что Сенак — каналья, и отшвырнул бы прочь тот самый яд, который услужливо подсовывает ему Сенак. Человек разумный и сильный сказал бы себе, что Сесили Паскье почти двадцать шесть лет, что она выдающаяся пианистка и, как всякая другая женщина, имеет право поступать так, как ей хочется. Наконец, человек хладнокровный сказал бы себе, что, возможно, уверения Сенака — не что иное, как плод его фантазии.

Ибо, в конечном счете, даже я, Лоран, ничего толком об этом не знаю. Я вижу то, что видят и все другие. Я вижу, что Сесиль не отталкивает Фове, что иногда они вместе бывают в обществе, — но мы-то с тобой знаем об этом уже давно. Сесиль ничего не скрывает от меня, по крайней мере, я верю ей или хочу верить. В тот день, когда она твердо решит выйти замуж, я наверняка узнаю об этом раньше всех и тут же уведомяю тебя, Жюстен, как бы горько тебе ни было. Я сделаю это, потому что знаю жизнь, потому что вижу, как растет твоя любовь к Сесили, потому что хочу верить в полное твое исцеление; наконец, просто потому, что я уважаю тебя.

Что же касается этой последней подлости Сенака, то она в моих глазах сыграла свою определенную роль. Я твердо решил порвать с Сенаком, а ему пусть остается его недоброжелательство, его кошмары, его бедность, его собаки, его сногшибательная настойка, его желчное одиночество. И поскольку я ненавижу пустые разглагольствования, то отправился прямо к нему, в его глухой тупичок. Произошло это сегодня утром, во вторник. Я еще был взвинчен неприятной сценой, разыгравшейся накануне в Академии наук между Ронером и моим патроном, — сценой, о которой непременно тебе позже расскажу, когда почувствую, что ты сможешь спокойно меня выслушать. Я буквально не находил себе места от волнения и, перебирая в памяти эти последние бурные дни, загорался то гневом, то восхищением. Но как бы то ни было, я все же сунул в карман твое письмо и двинулся размашистым

шагом к тупичку, мечтая разделаться с Сенаком, поставить крест на Сенаке, вскрыть и ликвидировать гнойник.

Было не больше половины девятого. Барышники, живущие в начале тупичка, уже выводили из сараев лошадей и, награждая их пинками, осыпали такими мудреными и крепкими словечками, что хоть уши затыкай, однако лошади как будто понимали. Поодаль строгаги доски столяры, и позади их шуршавших фуганков вились, падая, длинные, красивые и пахучие стружки. А еще дальше застыла тишина, и в самом центре этой тишины стояла хибарка Жан-Поля Сенака.

Хибарка его была будто самим источником и первопричиной тишины: ни дать ни взять кусок льда в мороженице, головешка в угольях. Я постучал два или три раза. За дверью зарычала собака, но дверь так и не открылась. Я решил, что Сенак отправился спозаранку по своим делам, и собрался было уходить, как вдруг заколебался. Ты, конечно, помнишь, как еще в Бьевре мы поднимали по утрам Сенака с постели. Для нас это было чистым наказанием. Ложился Сенак поздно и засыпал с трудом. Его почти невозможно было вырвать из объятий сна, из объятий ночи. Он выползал из своего сонного царства, пошатываясь, отупевший, со спутанными волосами и отсутствующим взглядом. Каждое утро мы сталкивались с этой проблемой: как разбудить Сенака? Это была наша каждодневная забота, наша обязанность. Я вспомнил об этом, уже собираясь уходить. Поэтому я несколько раз с силой ударил ногой по створке двери и, несмотря на лай и визг собак, уловил наконец какой-то шорох, шаги, выдающие присутствие человека.

Сенак открыл дверь. На нем была ночная рубашка. Из-под рубашки торчали кривые, покрытые черными волосами ноги. Он напоминал больного барана, который бесцельно кружится на месте.

Он пробурчал:

— Меня что-то знобит. Не возражаешь, если я полежу в постели?

Он опять юркнул под одеяло и, поскольку я молчал, стал вяло разглагольствовать о политических событиях, в которых я ничего не смыслил: о забастовке почтовых работников, о вооружении Англии... Я пристально и по-прежнему молча смотрел на него. Тогда он вообще стал молотить всякий вздор — как он обычно делает: он, мол, не намерен плесневеть в этих бумажонках; он ненавидит

Париж и вообще Францию; он хотел бы попутешествовать вместе со Свенем Гедином по Тибету или уехать на «Нимроде» с Шеклтоном куда-нибудь поближе к Южному полюсу; он чувствует, что способен добиться успеха как исследователь...

Мое молчание, наверное, смущало его, потому что он замолчал, взглянул на меня исподлобья и заметил:

— Ты, должно быть, знаешь, что я работаю у твоего брата Жозефа?

Я молча кивнул. После затянувшегося молчания Жан-Поль со вздохом спросил:

— И что же ты хочешь от меня?

Я был бесстрастен и совершенно спокоен; ни гнев, ни злость не душили меня. Я тут же ему ответил:

— Если хочешь, можешь обделывать свои делишки вместе с моим братцем Жозефом. Мне все равно. Твоя затея с рукописью Шальгрена огорчила и удивила меня. Я сделал все, что в моих силах, ибо мне хотелось вдолбить тебе в голову, что ты не мерзавец, а только болтун и разиня. И вот теперь ты опять берешься за свое и намеренно мучаешь людей, которые не заслуживают этого и которые не сделали тебе ничего плохого. Ты, Сенак, просто грязная скотина. Я пришел, чтобы сказать тебе об этом, а теперь я ухожу. Хватит! Я больше никогда не приду к тебе, я не хочу тебя больше видеть.

Я думал, что он опять начнет зубоскалить. Поэтому я встал и собрался было двинуться к двери, но он вдруг весь задрожал, словно в лихорадке, под своим грязным одеялом. И снова меня охватило отчаяние — с этим окаяннм малым не знаешь, как надо себя вести: говорить с ним или лучше молчать. Он весь дрожал и жалобно стонал:

— Это неправда! Это неправда! Я не сволочь, я не грязный тип! Я еще докажу вам это. Я скажу только одно: меня никто не любит, никто обо мне не думает, а если и думают, то лишь тогда, когда хотят унижить или обидеть меня.

Он подпер голову рукой, и я увидел, как из его глаз льются крупные слезы. Потом он неторопливо произнес такую нелепую фразу:

— Я бы мог, например, жениться на твоей сестре Сесили. Но вы все против меня.

Я чуть не задохнулся от изумления. Сенак когда-то написал стихи в честь Сесили. Я всегда считал, что они

восславляют скорее всего музыку, а не музыкантшу. Вот уж поистине никогда не поймешь, что творится в глубине человеческой души.

Он вытер ладонью слезы и опять задрожал, застонал:

— Я не сволочь, хотя именно так думает обо мне твой братец Жозеф. Надо же мне как-то жить. Надо же зарабатывать себе на жизнь. Если бы я родился богачом, как многие другие, я был бы другим человеком, веселым, честным и порядочным.

Несмотря на все эти жалобные сетования, я медленно отступал к двери, а две увязавшиеся за мной псины обнюхивали манжеты моих брюк. И тогда я сделал хоть и жестокую, но необходимую вещь — я пожал плечами и произнес: «Прощай!» — и, не добавив ни слова, вышел из комнаты. Собаки вслед мне залились лаем.

Я рассказываю тебе все так подробно потому, что ты сам меня к этому принуждаешь... ну, а кроме того, мне хочется избавить тебя от мучительных мыслей.

Этот нынешний, так тягостно начавшийся день весь прошел в треволнениях. Г-н Шальгрэн даже и не заглянул в Коллеж. Его отсутствие взволновало меня — в другой раз я расскажу тебе почему. Я зашел позавтракать к Папийону, потом, прежде чем отправиться в Институт, поднялся к себе домой, на улицу Соммерар. Завидев меня, консьержка сказала недовольным тоном:

— Я думала, что вы у себя. К вам только что поднялась какая-то дама.

— Дама? Какая дама?

— Не знаю, не знаю, право... Она уже два или три раза заглядывала сегодня, хотя сейчас еще утро. В общем, она там, наверху.

Я двинулся вверх по лестнице. Я был настолько поглощен мыслями о спектакле, коего участниками были Шальгрэн и Ронер, что на первых же ступеньках начисто забыл о существовании этой дамы. Я вспомнил о ней лишь тогда, когда увидел на лестничной площадке незнакомую, расплывшуюся в улыбке женщину. Представь себе особу лет сорока—пятидесяти — я не специалист по диагнозам подобного рода, — высокую, пышную, даже грузную, в огромной круглой шляпе с вышитыми на ней листьями, в жакетке, отороченной мехом кролика, в платье, на которое пошло не меньше восьми метров ткани, с кружевным воротничком, подпирающим ей уши, с сумкой и зонтиком в руке, накрашенную, как хозяйка дома

терпимости, и весьма похожую на старьевщицу. Она растянула в улыбке губы чуть ли не до ушей и сказала:

— А я уже собралась было уходить. Все-таки я хорошо сделала, что зашла.

— Но кто вы, сударыня? Я не имею чести...

Она захохотала на всю лестницу:

— У вас короткая память. Что ж, я вам напомню. Прошу любить и жаловать: госпожа Соланж... Позвольте на минутку заглянуть к вам. Госпожа Соланж Меземакер, подруга вашего папочки.

Мы зашли в мою комнату, и тут я вдруг вспомнил. Когда-то я рассказывал тебе о своем знакомстве с этой особой. Она была одной из любовниц моего отца примерно в 1895 году, когда мы жили на улице Ги-де-ла-Брос — припоминаешь? — как раз рядом с Зоологическим садом... Она — я говорю о Соланж — написала моему отцу какую-то записку, и моя мать, чистившая пиджак мужа, нашла эту записку в кармане. Я отправился к этой женщине — в четырнадцать лет все мы глупцы, — чтобы умолить ее расстаться с моим отцом и оставить всех нас в покое. Не без фиглярства и не без слез она обещала выполнить мою просьбу и даже, кажется, слегка чмокнула меня в щеку, не придав этому никакого значения. Я очень гордился своим дипломатическим успехом и лишь потом узнал, что мой отец и г-жа Соланж продолжали встречаться, а меня, юного дурачка, попросту надули... Я рассказывал тебе об этом во время прогулки в Жуи. Как все это теперь далеко от нас! Как старо!

Ну ладно, пойдем дальше. Я вдруг почувствовал, что старая история будет иметь свое продолжение и что еще ничего не кончено. Если судить трезво, то мне следовало бы преспокойно распахнуть дверь и указать на нее посетительнице энергичным и недвусмысленным жестом. Но нет, я — человек робкий и до щепетильности вежливый. Я пододвинул ей один из своих двух стульев, и г-жа Соланж тут же плюхнулась на него.

Она не спеша оглядела мою холостяцкую комнату и произнесла какую-то избитую, чисто женскую фразу, вроде: «У вас очень мило...» Потом принялась болтать с великолепной непринужденностью обо всем на свете: она, видите ли, была очень огорчена, потеряв из виду моего отца; мой отец — человек крайне воспитанный, правда, не слишком великодушный, но только потому, что не очень богат; сама она, даже будучи в крайне стесненных

обстоятельствах, ни за что бы не рискнула — у нее тоже есть сердце! — потревожить нескромной просьбой семью г-на Раймона Паскье, но она, мол, сохранила наилучшие воспоминания о юном г-не Лоране, и вот теперь, случайно узнав его адрес, она обращается к нему с просьбой, не окажет ли он ей в память об отце и его визите на улице Флерю небольшую услугу, потому что она сидит без денег — потом, разумеется, она отблагодарит меня тем или иным способом...

Она все тараторила, тараторила, и мало-помалу в чертах этой пожилой женщины я разглядел прежнюю хорошенькую девчущку, которая некогда почти взволновала, почти опьянила меня своим дразнящим ароматом женщины.

Я подошел к комоду, выдвинул ящик, взял из него пятидесятифранковую бумажку и молча протянул ей.

Она взяла ее, вскочила со стула, схватила меня за руку и простодушно рассмеялась. Потом взглянула на мою кровать и подмигнула так выразительно и энергично, что я не мог не признать достоинства ее сфинктера.

Я, видимо, совершенно не способен к такого рода поступкам, которые ведут к кровосмешению. Я сказал ей, что тороплюсь, что у меня куча работы, и г-жа Соланж удалилась.

Будь уверен, она еще вернется. Через десять—пятнадцать минут, спускаясь по лестнице, я ощутил неприятный запах дешевых духов, который выветрить из моей комнаты можно лишь сквозняком.

Я пообедал на бульваре Пастера, у родителей. Раз в месяц на такой обед собираются все наши родственники. Около девяти отца вызвали к роженице. Он тут же поднялся из-за стола, как всегда, бодрый и энергичный. Он по-прежнему нетерпелив и горяч, как дикий зверь.

Едва он ушел, как мама дернула меня за руку и незаметно затащила в переднюю. Она сразу угадывает каким-то особым, едва ли не болезненным чутьем все шероховатости и трения во взаимоотношениях между нами, членами ее клана. Она, должно быть, заметила тень, пробежавшую между отцом и мною. Едва слышно, но настойчиво она проговорила все те же избитые слова:

— Что случилось? Я не нахожу себе места. Мне кажется, Лоран, ты больше не любишь отца.

Бедная мама, которая все понимает и ничего не знает! Я искренне ответил ей:

— Ну что ты, что ты, я люблю папу, как и прежде, можешь мне поверить. У меня все в порядке, тебе нечего опасаться.

В сущности, я не солгал. Моя ненависть к отцу угасла. Я люблю его, «как и прежде», и не иначе. В начале зимы я писал тебе: «Отец давно не подавал о себе вестей. Он действительно давненько ничего не вытворял». Мне оставалось только ждать. Мне стало ясно, что он будет со мной всегда, всю жизнь, что я не могу обойтись без него, что я все время думаю о нем, что он проник в меня, заполонил мою и душу и плоть и мне лучше примириться с этим. Я буду отвечать за все свои ошибки, за все свои прегрешения. Но это еще не все, я буду отвечать также и за все ошибки и прегрешения моего отца. Всю жизнь мне придется думать о его долгах, о его любовницах, о его друзьях, которых у него мало, о его врагах, которых он плодит и постоянно оставляет в дураках, о его вкусах, страстях, авантюрах и, конечно, о его болезнях, которые наверняка достанутся мне по наследству, когда он отправится в царство теней.

Это не то письмо, которое я собирался тебе написать. То было бы совсем другое письмо, пронизанное светом и торжеством. Что ж, тем хуже. Сегодня вечером я делюсь с тобой лишь своими невеселыми мыслями. Ничего другого ты и не заслуживаешь.

Во вторник вечером 6 апреля 1909 г.

Глава XX

Господин, Шальгрэн превозмогает себя. Долг истинной аристократии. Величие очистившейся души. Единственно возможная мораль. Галерея бюстов. Г-н Шальгрэн подставляет другую щеку. Горе вслед за радостью. Письмо Жан-Поля Сенака

Тебе долго придется дожидаться письма, которое я собирался написать, но события опережают мои намерения. Счастливого письма, дорогой Жюстен, ты так и не получишь. Между пером и чернильницей промелькнула черная тень.

Прошло почти две недели, как закрылся Конгресс. Собрания подобного рода всегда очень утомляют тех, кто играет в них первую скрипку. Поэтому-то я и волновался за своего патрона. Мне страшно хотелось, чтоб он снова обрел покой в стенах своей лаборатории и как можно скорее вошел в ритм работы. Опыты над коклюшем еще далеко не кончены. Стернович и Фове ежедневно бывают в больницах. Иногда к ним присоединяется и г-н Шальгрэн. Чтобы успешно завершить такого рода эксперименты, необходима дисциплина, которая есть одновременно и оковы и благоденствие, и принуждение и счастье.

Итак, Конгресс закрылся. Гости разъехались. В институтах и школах снова водворилась тишина. Поначалу я думал, что вчерашние бойцы, вернувшись восвояси, примутся пересчитывать и перевязывать свои раны. Против моих ожиданий г-н Шальгрэн казался отнюдь не раздавленным таким жестоким испытанием. Он приходил в Коллеж, целыми днями совещался, болтал с друзьями и коллегами, а иногда даже с нами. Я чувствовал, что он еще взвинчен, несчастен, что он во власти неотвязных, хоть и скрытых дум о возмездии, о необходимости прибегнуть к общественному мнению, о справедливости и наказании. Похоже было, что г-жа Шальгрэн прививает этому бедному и великому человеку вирус злобы, и это меня очень огорчало.

Лишь в середине этой недели неторопливо, шаг за шагом, час за часом, пришло избавление, а вместе с ним и непоколебимая решимость. Не думай, будто я отдаю дань своей гордости, когда утверждаю здесь, что я один из первых и, наверно, единственный, да, единственный, кто обо всем догадался, все понял. Я, разумеется, не самый блистательный ученик Оливье Шальгрэна, но я люблю его и почитаю. Я всегда ждал от него мыслей и действий, созвучных моей душе... Поэтому вполне естественно, что самое зарождение этих мыслей, возникновение этих действий тоже волновало меня.

Сначала г-н Шальгрэн надолго заперся в своем кабинете. Он принял у себя лишь одного посетителя — г-на Дафра. В среду вечером, провожая его до двери, он сказал: «Уверю вас, я всей душой готов примириться со всеми, но примириться с ним трудно, даже невозможно. Такой шаг позволит ему удвоить свою наглость, непочтительность, свое высокомерие. Кроме того, если он увидит, что я уступаю, он непременно уверится в своей якобы не-

оспоримой правоте. Я не в силах себе представить, что этот жест примирения может изменить его натуру. Нет, мой друг, уж поверьте мне: унижаться перед человеком с таким характером — значит унижать в то же время свое собственное достоинство, вызывать новые ссоры, новые глупости, новые жертвы».

Больше Дастр не приходил. Мой дорогой патрон опять погрузился в одинокое раздумье. Впрочем, «погрузился» — не то слово. Я чувствовал, что в своем раздумье он открывает для себя что-то новое, доселе ему неизвестное. Я чувствовал, что вскоре — уж не знаю как — он выйдет из борьбы, которую сейчас ведет. Но я был глубоко убежден, что выйти из нее он может лишь одним путем — достойным и мудрым. Он стал улыбаться, как прежде, когда его еще не терзали ни гнев, ни злоба. Он стал снова моим учителем, моим патроном, моим идеалом. Часто он оставался в большой лаборатории как раз в те часы, когда там работал и я; он садился на табуретку позади меня и начинал говорить будто сам с собой. Он говорил: «Людям приходится бороться против всех сил природы и еще против множества существ живых. Но это еще не все, им приходится бросаться друг на друга, пожирать друг друга. Мы же, элита общества, должны подать пример хотя бы добрых взаимоотношений. Думается, что подать подобный пример действительно трудно. Но все-таки возможно. Вот об этом-то я теперь и размышляю».

Я ничего ему не ответил, я просто не мог выдавить из себя ни слова. Но зато я посмотрел на него так выразительно и восхищенно, что он был, наверно, тронут. На следующий день он спросил меня:

— Вы свободны в понедельник? Не смогли бы вы пойти со мной в Академию наук?

Я ответил:

— Ну, какой может быть разговор, патрон. Практических занятий у меня нет, а все остальные дела можно уладить.

Вопрос патрона не удивил и не насторожил меня. Мне не раз приходилось сопровождать своих наставников либо в Академию наук, либо в Общество биологических наук, либо в Академию медицинских наук. Я обычно нес документацию, книги, препараты. Поэтому я сразу же, не раздумывая, охотно согласился. И тут же почувствовал, что патрон чего-то не договаривает.

Было семь часов вечера. Я только что пришел в Коллеж поглядеть на своих зверушек, измерить у них температуру — словом, сделать то, что обычно я делаю сам, и делаю тщательно. В лаборатории, скудно освещенной одной-единственной жалкой лампой, стояла тишина. Я и по сей день спрашиваю себя, уж не эти ли вечерние сумерки, тени и тишина так повлияли на г-на Шальгрена, что ему вдруг захотелось по-дружески поговорить со мной. У этих великих людей, которых видишь обычно в окружении толпы друзей и должностных лиц, бывают иногда минуты уныния и упадка душевных сил. Им иногда необходимо раскрыть перед кем-то свою душу. Короче говоря, я хочу знать, в чем причина подобных порывов патрона, ибо мне кажется, что я недостоин их, а сама мысль о том, что в эти минуты я становлюсь доверенным лицом своего учителя, приводит меня в смятение. Он положил мне на плечо руку и едва слышно произнес:

— Вы знаете, что у меня был сын. Он умер в пятнадцатилетнем возрасте от бронхопневмонии. Сейчас ему было бы примерно столько же лет, сколько и вам. Если бы сегодня вечером он был здесь, рядом со мной, я бы, наверно, заговорил с ним так же откровенно, как говорю сейчас с вами. О, конечно, не для того, чтобы прочесть ему наставление. Я пребываю в нерешительности, бедный мой друг. Однако я, кажется, отыскал наконец свой путь во всей этой неразберихе. Вы знаете, что речь идет о злощастной ссоре с господином Ронером. Мне бы хотелось окончательно уверовать, что во всем повинен только я один. Так было бы намного легче. Но все равно я хочу поставить на этом крест. Вы знаете, что господин Ронер демонстративно не здоровается со мной. Ситуация ясна. Вот уже несколько недель господин Ронер делает вид, будто не замечает меня, хоть мы раз двадцать сталкивались друг с другом. Я не могу вам сказать, что нашел превосходное решение, я ищу, причем ищу на ощупь. Я решил отправиться в понедельник в Академию наук. Туда же придет и господин Ронер. Ему, кажется, предстоит там сделать какое-то сообщение. Что ж, я подойду к нему, протяну руку, а если понадобится, даже скажу ему несколько слов. В общем, это невесть как трудно; но если я отступлюсь от своей затеи, то перестану уважать самого себя, а это мучительное чувство. Впрочем, дело здесь не в уважении. Необходимо принять решение, и я

нашел его, одно-единственное решение. Видите ли, Паскье, когда хотят сотворить добро, то бывают не слишком щедрыми. Не то что в подлых делах — там есть где развернуться. Но что бы там ни случилось, я выхожу из игры, ибо, уверяю вас, я больше ни к кому не испытываю вражды. Я отказываюсь от новой битвы. Я уступаю — вы понимаете? — я отказываюсь. Я заключаю мир.

Он тщательно подбирал слова и выговаривал их осторожно, неторопливо. Иногда повторял их, но не как нищий-побирушка, который бросает их наобум, а, скорее, как человек, на которого снизошло озарение и ему вдруг открывается дорога к свету, нужный выход. Я, Лоран, в полнейшей тишине присутствовал при этих мучительных родах. Мне стало ясно, что каждый из нас должен снова поразмыслить над этими простыми откровениями, дабы еще раз почувствовать их первородную силу. Я понял и другое: чтобы признать эти элементарные истины, необходимо такое же усилие, которое потребовалось для сотворения мира.

Господин Шальгрэн все мечтательно повторял: «Я заключаю мир. Я сам иду навстречу, пусть и мне пойдут навстречу...»

Возможно, что в жизни народов этот принцип, только что провозглашенный здесь, не слишком приемлем и даже опасен. Я ничего об этом не знаю, я никогда не был и не буду наставником людей. Но мне всегда казалось, что в духовной, интеллектуальной жизни людей это — единственная и даже единственно возможная мораль, к которой мы приходим после множества горестей, разочарований и ошибок.

Я не осмелился высказать свое мнение г-ну Шальгрэну. Но он, наверно, понял, какие чувства булбуряют меня, ибо притянул меня к себе за воротник и легонько коснулся щекой моей щеки, словно я был тот самый сын, о котором он только что вспоминал и которого призывал в свидетели.

Все это произошло в субботу. Воскресный день я провел в одиночестве, блуждая по улицам, заглядывая в сады. Никто из знакомых мне не повстречался. А если бы и встретился, я постарался бы обойти его стороной. Я дошел до Института, потом до Коллежа, чтобы посмотреть на своих зверушек. На следующий день, в понедельник, я провел все утро в лаборатории Коллежа. Патрон отсутствовал. Я чувствовал, что сюда он так и не заглянет.

Недаром он еще в субботу назначил мне свидание. Потом я узнал, что вышел он из дому один, и я понял, что это благотворное одиночество нужно было ему, чтобы подавить в себе последние сомнения, одержать верх над самим собой, не дать закрасться в голову предательской мыслишке.

В три часа я уже ждал его во дворе Института. Он опоздал на несколько минут. Выйдя из фиакра, он попросил меня взять у него портфель, и мы двинулись вверх по лестнице.

Теперь попытаюсь коротко рассказать тебе о дальнейшем.

Наверху в зале, уставленном бюстами, толпился народ. Г-н Шальгрэн быстро пробирался между собравшимися. Он искал г-на Ронера. Он шагал вперед как человек, который не хочет отвлекаться, прежде чем не достигнет цели.

Господин Ронер сидел на одном из бархатных мягких диванчиков, стоявших у самых окон. Рядом с ним о чем-то толковали пять или шесть его коллег. Увидев г-на Шальгрэна, подходившего к ним твердым и решительным шагом, они невольно посторонились. Г-н Шальгрэн остановился перед Ронером. Из окон лился яркий дневной свет, и поскольку я шел следом за Шальгрэном, то хорошо видел, что губы у него дрожали, а лицо превратилось в белую маску. В этом уголке зала воцарилось почти невыносимое молчание, и г-н Шальгрэн, не говоря ни слова, протянул руку.

Я хорошо знаю г-на Ронера. По лицу его пробежала тень, оно одеревенело. Он смотрел ледяным взглядом, который скорее принадлежал уже не человеческому существу, а какому-то дикому зверю. Он долго глядел на протянутую руку г-на Шальгрэна, не выказав ни малейшего желания пожать ее. Он был недвижим, словно статуя, статуя ненависти.

Господин Шальгрэн не убрал руки. Затаив дыхание, он ждал. Ждал. И я понял, что ничто еще не кончено, что он решится еще на что-то другое, что ему остается, так сказать, подставить другую щеку, а это очень трудно, мучительно трудно, и все-таки он не отступит.

Негромко, четко выговаривая каждый слог, он произнес:

— Господин Ронер, если я позволил себе по неосторожности обидеть вас в разговоре или в статьях, знайте:

я сожалею об этом, и я пришел сюда вечером лишь для того, чтобы принести вам свои искренние извинения.

Господин Ронер встал. Вся его маленькая фигурка замерла, окаменела, застыла в напряженности. Он отрицательно покачал головой, сунул руки в карманы пиджака и, не глядя ни на кого, медленно отошел в сторону. Потом я заметил, что он прошел в зал заседаний.

В зале же, уставленном бюстами, воцарилась глубокая тишина. Г-н Шальгрэн опустил руку, направился к двери и, спотыкаясь, вышел. Я, словно тень, следовал за ним и, спускаясь по лестнице, поддерживал его под руку.

У г-на Шальгрена нет своего выезда, поэтому мне пришлось нанять фиакр. Я хотел сесть вместе с ним, проводить его, но он заявил, что предпочитает остаться один. В этом достопочтенном заведении делать мне больше было нечего, и я побрел наугад, куда глаза глядят. Но я вовсе не был обескуражен. У меня было такое чувство, что мой дорогой патрон не только не потерпел поражения, а, напротив, одержал победу, единственно возможную победу, и поэтому мне хотелось петь.

Вечером, в этот знаменательный понедельник, то есть позавчера, придя домой, я увидел твое письмо. Теперь ты понимаешь, почему твое письмо пришло некстати.

О прошедшем вторнике я уже тебе подробно рассказывал в своем вчерашнем письме. Признаться, мне сейчас не до Сенака и не до г-жи Соланж.

Весь вчерашний день я мучился неизвестностью: я ничего не знал о своем дорогом учителе. В лаборатории втихомолку болтали о вчерашней сцене, о сцене в Институте. Я ничего не хотел слушать и ничего не слушал.

Сегодня утром я, снедаемый беспокойством, отправился домой к г-ну Шальгрэну.

В комнатах было все вверх дном, пахло лекарствами. В прихожей промелькнула г-жа Шальгрэн в пеньюаре, в папильотках. Лицо у нее осунулось. Она сделала вид, будто не заметила меня. Хорошо знакомая мне горничная шепнула, что в понедельник вечером г-н Шальгрэн вернулся домой со страшной головной болью и тут же лег в постель, а ночью у него случилось что-то вроде удара, и врачи думают, будто его разбил паралич, но болтать об этом пока не следует.

Я побежал к Легри, который знает патрона с юных лет и лечит его в случае надобности.

Теперь я знаю, знаю. У г-на Шальгрена шок и правосторонний паралич. У него, должно быть, сильное кровоизлияние, потому что он все еще в коматозном состоянии. Легри держит язык за зубами. Г-жа Шальгрэн и слушать не хочет, чтоб сообщения об этом проникли в печать. Смехотворное тщеславие. Назавтра весь Париж узнает...

Сегодня вечером, возвратившись домой, я увидел под дверью письмо, написанное рукой Сенака. Что ж, пусть оно там и лежит. Я его, конечно, не выброшу, но сейчас я не в состоянии его прочитать. Мир довольно сложная вещь. И все-таки не стоит валить в одну кучу и все мысли, и всех людей. Ты, наверно, думаешь, что я ничего не извлек из полученного урока. Сам не знаю. Поживем — увидим. Сенак меня не оскорбил. Самое страшное в том, что он противен мне и в то же время приводит меня в отчаяние. Можно ли помешать этому? Можно ли простить это?

Среда, 7 апреля 1909 г.

Глава XXI

Зов на краю пропасти. Жозеф Паскье бьет тревогу. Послание Жан-Поля. Утренний поход. Результат действия аконита. Прощай, Миньон-Миньяр. De profundis¹. Живая плоть в темнице. Когда-нибудь мы тоже станем наставниками. Болезнь Ронера. Утраченное равновесие. Наставник, святой и герой. Витражи и книжки с картинками. Основы оптимизма. Четверть часа в жизни замечательного человека. Тишина в лаборатории. Возвращение весны

Сначала я думал, что, получив мою телеграмму, ты освободишься на денек от своих дел и приедешь к нам. Ты не приехал. Я не упрекаю тебя за это и, пожалуй, понимаю, почему ты воздержался от поездки, не появил-

¹ Из глубины (взываю) (лат.) — начало католической молитвы.

ся в Париже. Я знаю, что ты любишь меня и всегда относился ко мне по-братски; однако мы в таком возрасте, когда приходится придерживаться избранной позиции. И если твой отказ вызван скрытыми и тягостными для тебя причинами, то знай, что мне это ведомо, я все это испытал на собственной шкуре.

Поскольку я нынче не занят в своей маленькой институтской лаборатории, я расскажу тебе сейчас о том, чего ты еще не знаешь.

Последнее письмо Сенака мне следовало бы тут же прочитать. Я совершил глупость и поэтому теперь не нахожу себе места. Дурное настроение, усталость — ничто по сравнению с тем, что произошло. Тысяча бесполезных писем никогда бы не привели меня в большее отчаяние, нежели это тысяча первое письмо. Никогда не знаешь, что кроется в письме. Быть может, это зов, крик. Быть может, это мучительный стон души, стоящей на краю бездны и еще не погрузившейся в серый сумрак небытия.

Что ты хочешь? Сенак доводил меня до иступления. Я боялся заразиться от него, да, да, боялся заразиться мыслью о смерти. Как-то раз Сенак сказал мне: «Я не верю ни во что, даже в небытие». Эта выпрєнная фраза лишний раз доказывает, что он находился во власти неотвязной мысли о смерти, которая иногда может удручать и нас, но которая лично его никогда не отпускала.

Впрочем, мне было не до Сенака. Все мои мысли прикованы были к изголовью постели г-на Шальгрена. Ну и потом... потом этакая романтическая потребность доказать самому себе, что я могу быть суровым и даже злопамятным... Прошла неделя, нет, больше недели. Как ни странно, но именно Жозеф забил тревогу. Он заглянул ко мне в лабораторию, что иногда с ним случается, и приходит он не потому, что ему некуда девать время, а потому, что не может отделаться от какой-нибудь привязавшейся к нему мысли. Уже уходя, он вдруг заметил:

— Я не видал Сенака вот уж четыре, а то и пять дней. А между тем он не подумал извиниться. Этого я не люблю. Полагаю, что даже у сумасбродов должна сохраниться хоть капля порядочности (*sic*).

Итак, Жозеф ушел, но эта фраза застряла где-то в уголке моего сознания, словно затаившийся паразит, пока еще не вызывающий нестерпимого зуда. Только ночью он напомнил о себе. Ведь ночью все наши мысли обре-

тают свое пугающее лицо. Спал я плохо, ворочался с боку на бок, а потом встал, зажег лампу и принялся разыскивать это пресловутое письмо. Я нашел его под грудой разных бумаг и тут же распечатал. Оно было написано карандашом и состояло всего из трех-четырех строк. Я узнал корявый, почти неразборчивый почерк Сенака.

Это неправда, это неправда, Лоран. Я не подлец. И даже докажу вам всем это — твоему брату Жозефу и, в особенности, тебе. Подожди, подожди только, чтоб я набрался храбрости. Он подписал эту записку своим инициалом «С», извилистый хвостик которого добежал до края страницы.

Я потушил лампу и снова улегся в постель. Мало-помалу письмо Сенака стало превращаться в какое-то кошмарное видение. Когда забрезжил рассвет, я окончательно проснулся. Я знал. Ты понимаешь: я знал.

Чтобы не прийти слишком рано, я пошел пешком, поднялся по улице Сен-Жак, потом по улице Томб-Исуар. Когда я добрался до тупичка, было около восьми. Расспрашивать кого бы то ни было я поостерегся. Соседей у Сенака не было. Со столярами, а тем более с барышниками, он вообще никогда не разговаривал. К тому же — и я говорил тебе об этом — на пути к его хибарке, стоящей в самой глубине тупичка, приходится миновать унылое безлюдное место, где пустоши чередуются с конюшнями, каретными сараями, брошенными лагугами.

Я думал, что, услышав шаги, собаки поднимут лай. Но сначала я услышал только царапанье когтей об обшивку двери. Они залаяли лишь тогда, когда я постучал в дверь. И залаяли негромко. Это был скорее не лай, а жалобное прерывистое повизгивание, от которого мороз по коже дерет. Наконец я сообразил, что за дверью всего одна собака. Я снова громко постучал и барабанил добрых пять минут, потому что вовремя вспомнил о знаменитом утреннем сне Сенака.

В конце концов я перестал грохать в дверь, и собака тут же умолкла. В это мгновение я увидел под дверью уголок засунутого письма. Уж не знаю, может, мне и не следовало так поступать, но я вытащил письмо и увидел твой почерк. На письме стоял почтовый штампель от 10 апреля. Наверное, оно валялось здесь не меньше недели. Я опять сунул его под дверь.

Надо было на что-то решиться. Я выбрался из тупичка и не спеша двинулся вперед, раздумывая надо всем слу-

чившимся. Потом нанял фиакр и поехал на Монпарнасский бульвар к Вьюому. Он только что встал. Я говорил тебе, что Сенак довольно часто виделся с ним. Иногда мы все вместе даже обедали у Папийона. Вьюом — серьезный, флегматичный и немного медлительный парень. Он твердо решил сделать себе карьеру. Он далеко не сентиментален, но тем не менее не отказывается выполнить какую-нибудь просьбу. Я высказал ему все свои опасения по поводу Жан-Поля Сенака и добавил, что время не терпит, что надо сначала предупредить полицию, а потом взломать дверь, и, возможно, окажется, что мы ошиблись, чего я страстно желал. Вьюом только и сказал: «Я к твоим услугам». И почти тут же заметил: «Надо прихватить с собой Рока. Он живет на авеню Мен».

Он хорошо придумал. Мы отправились к Року, а от него прямо к полицейскому комиссару. Было примерно девять часов, и нам пришлось ждать. Этим господам самые обычные вещи кажутся крайне сложными. Тогда Рок заявил, что он лично знаком с г-ном Лепином¹ и сию же минуту ему позвонит. После этого машина мгновенно завертелась. Нам дали полицейских и одного агента в штатском. Но это было еще не все. Нужен был слесарь. Мы прихватили его по дороге. Было, по крайней мере, десять утра, когда мы попали в тупичок. Принялись стучать в дверь, а когда слесарь стал искать отмычку в связке ключей, агент в штатском вдруг проговорил: «Здесь чем-то противно пахнет». И тогда все мы почувствовали, что действительно в глубине тупичка стоит какой-то неприятный запах. Я еще подумал, что повинны в этом бродячие собаки. Кстати, за дверью все время рычала собака, но только одна собака.

Наконец дверь распахнулась. Мы вошли. Тяжелый запах ударил нам в нос.

Сенак лежал на постели почти голый, почерневший и такой раздутый, что узнать его было почти невозможно. Собаки разорвали простыни и его рубаху. Одна из ног трупа была изгрызена наполовину. Увидев это, все мы как-то вдруг сбились в кучу. Полицейские с опаской косились на собак, потому что один из псов околел. Это был новый пансионер Сенака, немецкая овчарка, злобная зверюга. Миньон-Миньяр был еще жив. Новый же нахлебник, которого я, вероятно, несправедливо величаю

¹ Лепин — префект парижской полиции.

«злой зверюгой», погиб, разумеется, от голода. А Миньон-Миньяр вонзал клыки в труп своего хозяина — это видно было по его пасти. Я не могу без содрогания вспоминать об этом. Сенак любил собак, однако к этой любви примешивалось что-то беспокоящее, что-то жестокое, непонятное нам. Миньон-Миньяр был жив и все еще скалил зубы, рычал. Один из полицейских тут же пристрелил его из револьвера.

В это мгновение мы заметили на столе, рядом с кроватю, флакон с аконитом. Я сразу узнал его. Это флакон из Коллежа. Один из тысячи флаконов с раствором аконита, которым патрон пользовался для изучения воздействия этого яда на сердце. В конце осени флакон исчез. Патрон думал, что его разбили, но служитель клялся и божился, что он здесь ни при чем. Бутылка была полупустая. Аконит вызывает прежде всего рвоту, и мы видели, что Сенака рвало. Выпитая доза оказалась так сильна, что, несмотря на обильную рвоту, привела к смерти. На столе, рядом с флаконом, лежал ключок бумаги. Сенак написал, как обычно, карандашом: «Я стянул аконит у господина Шальгрена в начале декабря, перед тем как он выставил меня за дверь». Чуть ниже добавлено: «Я выпью из него половину, этого, наверно, хватит». И, как всегда, инициал «С» с затейливым росчерком.

Если Жан-Поль стащил флакон в декабре, то ты сам прекрасно понимаешь, что мысль о самоубийстве зародилась у него давно. Я говорю об этом не для того, чтобы уменьшить свою долю ответственности за это несчастье, а может, и долю ответственности со стороны... Жозефа, да, Жозефа, о котором не знаю что и думать. Только не считай, пожалуйста, что какие-то несколько резких слов могли подтолкнуть его к этому шагу. Нет и нет! И без моих жестоких слов — уверяю тебя, слышишь, уверяю тебя! — Жан-Поль все равно бы погиб. Он дошел до такого полного отрицания и отказа от всего и ото всех, что смерть ему казалась не только возможной, но и необходимой. Полицейские попросили нас выйти. Им нужно было вернуться в комиссариат, опечатать хибарку Сенака, выполнить, наконец, все прочие обычные формальности. Мы все трое ушли. У Вьюома, страдающего блефаритом, всегда такой вид, будто он плачет. Но сейчас он не плакал. Он, как и все мы, онемел от горя.

На углу тупичка, укрывшись от ветра, распускала свои первые бутоны лилия. Мы все трое сразу увидели ее.

И долго не отводили от нее глаз, как не отводят глаз от спасательного круга в водовороте бури потерпевшие кораблекрушение.

В тот же день тело Сенака перевезли в морг. Найденная на столе записка и флакон с аконитом значительно упростили дело. Тут же было получено разрешение на похороны. А тебе известно, что у Сенака есть брат? Сам он никогда о нем не говорил. Мы увидели его в день похорон. Это добрый малый, с лысой головой и густыми усами. Плача и сморкаясь, он рассказывал идиотские истории об их детстве, истории, которые мы очень живо представляли себе: вот Жан-Поль отрывает крылышки у мух, вот он шлепает себя ладонью по лицу перед зеркалом, чтобы расплакаться, вот вывертывает веки, чтобы поугагать своих школьных товарищей. Бедный Жан-Поль! Мир праху твоему!

Похоронили его в прошлую среду на кладбище Баньо. Мягко светило ласковое утреннее солнце, — время прощения.

Если бы я был уверен, что Сенак действительно наслаждался этим самым небытием, в которое, как он говорил, не верил, если бы я был уверен, что скорбный призрак Сенака не вырвется из стен кладбища Баньо, если бы я был уверен, что печальный гений Сенака и в самом деле не бродит по миру... Неужели он прибег к такому ужасному способу лишь для того, чтобы мы узнали о его кредо и поняли свою ошибку? О нет, я не верю этому.

Господин Шальгрэн чувствует себя лучше. Так утверждают Легри и Дьелафуа в бюллетенях о состоянии его здоровья, которые публикуются большой прессой. В виде особой благосклонности я добился права навещать своего дорогого патрона каждое утро. Полный паралич правой стороны и полная потеря речи. Я повстречал Жоржа Дюма, который хорошо знает моего патрона. Он считает, что кровоизлияние у него, по всей вероятности, значительное. Говорить, конечно, о будущем преждевременно, но Дюма все же надеется на лучшее. Мой патрон, разумеется, обречен теперь на молчание. Он, кажется, еще различает лица — но и только. Может, мы больше никогда и не узнаем, что еще живет в этой душе. Трудно сказать, насколько затронута органика, но кажется, мозгу нанесен непоправимый ущерб. Мы даже не можем узнать, осознаёт ли он свое состояние, мучается ли он. И это тот самый Оливье Шальгрэн, который, ликуя, без остатка

отдавался жизни, а теперь его живая плоть, возможно, надолго заперта в темнице в ожидании благополучного исхода. Он, чей могучий и независимый разум взлетал ввысь и парил над нами, замурован отныне во тьме подвала!.. Мне больно думать, что проводимые нами исследования никогда не увидят своего завершения. Мы, его ученики, сделаем все, что в наших силах. Нам потребуется много времени, чтобы тоже стать наставниками, коли уж так суждено.

Согласно обычаям Коллежа, за г-ном Шальгреном оставят кафедру и жалование. Мой патрон не сделал себе состояния. И, однако, ему не придется владеть жалкое существование и погибнуть в нищете.

Господин Николя Ронер опубликовал на днях научное исследование о *Streptococcus Rohneri* и о новой болезни, именуемой болезнью Ронера. По-видимому, Катрин Удудар умерла от эндокардита и нефрита, что подтвердили гистологические срезы, исследованные под микроскопом.

Господин Ронер работает как одержимый. Он ни словом не обмолвился о том, какой страшный удар нанес он г-ну Шальгрону. Теперь я раскусил г-на Николя Ронера и сумею утверждать, что, несмотря на эту ненасытную потребность в труде, несмотря на бесконечные доклады в разных научных обществах и статьи в газетах, он выбит из колеи и совершенно растерян. Можно подумать, что, потеряв своего врага, он потерял смысл жизни, утратил чувство равновесия. Глядя на него, я прихожу к мысли, что подобное состояние может привести его к смерти. Нужно немало времени, чтобы взрастить, вскормить и взлелеять такую безграничную ненависть. Если г-ну Ронеру больше некого будет ненавидеть, он, наверное, погибнет.

Я был бы не прочь работать с этим упрямым и злым человеком, если он, конечно, выживет и будет работать. У него есть чему поучиться. Большого, чем он может дать, от него и не требуется.

Как видишь, я становлюсь мудрым. Когда наставник учит нас окрашивать препарат или правильно прививать вирус, казалось бы, это уже кое-что да значит, и этого достаточно. Так нет! Мы непременно хотим, чтобы наш наставник был святым и героем! Мы требуем от него все, а когда он дает нам это все, мы требуем еще немножко сверх того, рискуя обмануться в своих надеждах, поскольку он уже не может нас удовлетворить.

И-да... Я начинаю смотреть на мир с большим хладнокровием. Замечательные люди! Целую неделю я считал, что они — фигуры вполне реальные, как реальны наши нужды и наши надежды. Но это не совсем так. Пессимизм часто примешивается к оптимизму в глупом пустословии, когда с пафосом произносятся избитые истины. Замечательные люди! Они есть. Я знал их. Знаю. Не везде и не всегда они замечательные. Может быть, только тогда, когда обстоятельства выносят их на гребень волны, когда их посещает вдохновение. Тем лучше для тех, кто внизу. Надо бы удовольствоваться тем, чем владеешь. Ах, абсолют! Ах, совершенство! Святые в витражах! Герои книг с картинками! Да, это так красиво, так трогательно. Мало-помалу я привыкаю жить с существами несовершенными, на чью долю выпадают и счастливые часы, и минуты озарения. Не всякий день увидишь плающее пламя в глубине глаз или глубокую складку меж бровей. Великие люди почти всегда ненавидят друг друга, особенно тогда, когда по несчастливой случайности сталкиваются на одной и той же служебной лестнице. Великие люди горько сетуют на толпу, якобы не признающую их, на эту несчастную толпу, которой следовало бы, пусть даже с невероятным трудом, понимать хоть изредка самые элементарные истины. Они сетуют на то, что их не понимают, а сами почти никогда и ничего не делают для того, чтобы взглянуть на себя со стороны и оценить себя по достоинству.

Впрочем, все равно! Я не выхожу из игры. Пусть тебя не смущает звон моих слов, старина. Великие люди грызутся меж собой, а тем не менее мысль человеческая идет вперед. Несмотря на всю эту грызню, воздвигается монумент знания. Пусть листва повреждена и деревья больны, а все же Лес великолепен.

Замечательные люди! Я искал их, я ищу их и сейчас. Я нахожу их: это либо малоприметные, либо броские натуры. Мой дорогой патрон Шальгрэн был замечательным человеком почти целую неделю. А Ронер? Что ж, Ронер хорош лишь тогда, когда я разглядываю его в лупу, причем разглядываю как можно пристальнее. Надо неустанно искать. Надо срывать все маски, распахивать все двери, обходить все препятствия, перевертывать все камни. О, я не разочаровался. И если однажды мне суждено разочароваться... но нет, я сделаю так, чтоб и самое разочарование послужило на благо моему оптимизму.

Представляешь, вчера мне очень повезло: добрых четверть часа я созерцал некоего замечательного человека. Ты спросишь меня: кто этот человек? О, держу тысячу против одного, что ты не угадаешь. Этим человеком был — употребим здесь глагол в прошедшем времени, ибо действие длилось недолго, — был мой отец, почтенный доктор Раймон Паскье. Он зашел ко мне в Институт и попросил навестить вместе с ним одного из его больных. К таким вещам он прибегает крайне редко. Он клиницист чистой воды и лечит своих больных старыми методами. На нас же, лабораторных медиков, он смотрит как на неких дилетантов. И тем не менее иногда он вдруг просит нас сделать анализ крови и даже посев на кровь. Я отправился вместе с ним взять на исследование кровь больного. Дом пациента находился на улице Котантен, в конце нашего старого квартала. Оттуда, с улицы Вандам, доносится грохот поездов. Представь себе несчастных, которые живут вшестером в двухкомнатной квартире. Я взял кровь. Мой отец был предельно спокоен, молчалив, учтив. Он не мешал мне выполнить мой таинственный ритуал, к которому он относится не вполне одобрительно. Лишь после того, как я взял кровь и наполнил ею пробирки, отец выступил — именно выступил — на сцену. Он долго, очень тщательно и умело осматривал больную. Потом пришел в ярость, потому что больной неудобно было лежать. Он тут же решил сам перестелить постель. Он рылся в шкафу, осыпал бранью старшую дочь, подталкивал мужа, вытирал носы малышам. В конце концов он подмел комнату и распахнул настежь окна. Не знаю, нравится ли больным подобное обхождение, но когда, уходя, отец взял в руки цилиндр, в комнате царил порядок, больной легче дышалось и она лежала теперь на чистой постели. На стене был прибит двумя или тремя гвоздями осколок большого зеркала, похожий на человеческую ладонь. Проходя мимо, отец невольно заглянул в него и любовно погладил свои длинные светлые усы. Так-то, голубчик! Вот и все. Четверть часа величия стали уже историей. Человек вдруг упал на все свои четыре лапы. И таким он останется до следующей победы.

Госпожу Соланж я больше не видел. Но она еще непременно заглянет ко мне! Будущее отца сейчас мало меня беспокоит, а его прошлое тоже, по счастью, не дает

о себе знать. Вот это я и называю счастливым совпадением.

Рассказывать о женитьбе Сесили и Ришара Фове я тебе не буду. Я знаю, что Сесиль должна была сама тебе написать. Она говорила мне об этом как-то раз после своего концерта. Что же касается Ришара, то он не оказал мне чести поведать о сей экстравагантной истории.

Я пишу тебе из своей маленькой лаборатории, единственное окно которой выходит в зазеленевший сад. Позади меня крутится и гудит центрифуга. В клетке бегают морские свинки и поглядывают на меня своими маленькими глазками, живыми и умными. Если я пристально гляжу на них, сердце у них — я знаю точно — начинает биться быстрее. Эти животные удивительно чутки. Мы изучаем их во имя рода человеческого, к которому они не принадлежат. Если не хочешь умереть, нужно точно определить границы своего отечества.

Стоит великолепный весенний день. Скоро у нас, в нашем институтском саду, расцветут нарциссы.



Битва с тенями

РОМАН



Перевод
Е. А. ГУНСТА



Глава I

Отражение в водоеме. Лоран Паскье таким, какой он был в году 1914-м. Вариации на темы «уже» и «еще только». Относительная ценность времени. Возвышение семьи Паскье. Размышления холостяка. Век и мгновение

Между кирпичной конюшней, откуда с утра до ночи слышится, как лошади топчут подстилки и жуют корм, между шумной конюшней с лошадьми-донорами и строгим зданием, где расположены лаборатории, разбит простенький садик — пространство, сверкающее небесным светом и нежной зеленью.

Озабоченный, спешащий человек, снующий от одной двери к другой с папками под мышкой, неизменно останавливается на этой узкой полоске земли, чтобы повременить, помечтать, передохнуть.

Спешащий не так уж спешит, чтобы не задержаться на минутку и не поставить ногу на край водоема, где плавают два золотистых карпа среди беспорядочно несущихся облаков. Озабоченный не столь уж озабочен, чтобы не улыбнуться, вдруг увидев около рыб, среди бликов и блесток, некий зыбкий о б р а з , — словом, самого себя.

Апрельский ветер так порывист, и облака мчатся с такой быстротой, что солнце то и дело вспыхивает и гаснет, словно огонек на маяке. В зависимости от игры облаков городской пейзаж, раскрывающийся перед мечтателем, становится то сумрачным, то лучезарным.

Человек в белом халате старается поймать свое отражение в покрытой рябью воде. Это не самолюбование Нарцисса. Это не восторг, не безразличие. Разве такое лицо он выбрал бы себе, если бы ему был предоставлен

выбор? Ему хотелось бы лицо продолговатое, бледное, худощавое, почти аскетическое, а вовсе не такое вот — мясистое, с квадратным подбородком, с коротким толстым носом, вовсе не такие полные щеки, на которых бритва каждое утро обнажает глубокие оспины. Ему хотелось бы, чтобы глаза у него были темные, как ночь, и бархатистые, вроде тех, что у его друга Жюстена, а ему судьба судила глаза голубые — цвета вероники, как у всех его родственников с отцовской стороны. Руки у него тонкие и даже изящные. Они не вяжутся с его общим несколько грузным обликом. Это руки интеллигента, руки, выражающие мысль даже скорее, чем черты лица, руки с белой, нежной кожей. Некогда он мечтал о том, чтобы в нем слились воедино атлет и ученый, чтобы у него было могучее тело и одухотворенное лицо. Оказывается, что в конечном итоге даже с самого начала человеку не остается ничего другого, как принять то, что ему предложено. Он уже давно согласился с необходимостью посвятить себя умственному труду, но до сих пор сожалеет, что ему еще неведомы радости чисто физических ощущений, героические решения потребностей плоти.

Несколько недель тому назад он вступил в тридцать четвертый год жизни: значит, он молодой человек. Но, он знает, что уже восемь лет, как в его костяке закончился последний этап формирования. Уже восемь лет, как рост его стал таким, каким ему предстояло стать. Метр шестьдесят девять сантиметров: не бог весть что. Уже восемь лет, как он субъект, достигший полного развития — как сказали бы физиологи. И уже седина (о, еще совсем незначительная, но все же заметная) вкрапливается в его густые волосы. Уже во рту у него при малейшей улыбке сверкают искорки золота. В организме его кое-где уже таятся изношенные клетки, которые никак не возродишь. Прошлой зимой у него из-за ячменя выпали ресницы — и выпали навсегда! На лице появилось много глубоких морщинок, которые уже никогда не сотрутся, много шрамов и бугорков — неизгладимых следов сражений, трудов и дней.

Тридцать три года! Каким он себя чувствует молодым! А ведь машина уже не новая! Уже тридцать три года! Как будто только вчера он, в черном переднике, в носках, сползавших с тощих ног, с леденцом, оттопырившим щеку, бегал на почтой за маркой в два су, которая на обратном пути то и дело прилипала к его пальцам.

Тридцать три года! Возможно ли? Да, вполне возможно. Больше того — так оно и есть. Но это не «уже тридцать три года», с которыми должен считаться мечтатель в белом халате, а это — «еще только тридцать три». Ослепительная разница! Через двадцать лет, — да, через двадцать, — ему будет всего лишь пятьдесят три, что следует считать вершиной прекрасной трудовой жизни. Даже через сорок лет, если доживет, он будет не намного старше, чем его учителя Дастр или Рише, сверкающим умом которых восторгается весь мир.

Ему еще остается возделывать огромное поле жизни. Но что же все-таки означает та перемена в ритме, которая вот уже лет пять путает все его расчеты? Похоже на то, что годы начинают сменяться быстрее прежнего. Говорят, что для стариков время представляет собою совсем иную ценность, чем для подростков. Тридцать три года! Это не обязательно середина пути. Дни стоят еще долгие, зато годы начинают кружиться в неистовом вальсе и один за другим исчезать в темной бездне. Прошло уже больше года, как у Сесили умер ребенок, больше двух лет, как Лоран защитил две свои докторские диссертации — теоретическую и практическую. По меньшей мере пять лет минуло с тех пор, как мрачный Жан-Поль Сенак нашел себе убежище в смерти. Пять лет, как профессора Шальгрена поразил паралич. «Не навесить ли его, хоть он далек от жизни и безразличен как труп?» Уже давно, давно дружественные связи, возникшие в «Уединении», потускнели и распались.

Несмотря на страшную сутолоку событий и людей, кое-что или, лучше сказать, кое-кто продолжает расти и развиваться. Все те несчастные, которые около 1890 года надеялись, что какое-то воображаемое наследство поможет им выйти из мрака, — все они долго карабкались, взбираясь по склонам бесплодной горы. Но клан Паскье, мечтая подняться к свету, рассчитывал не на это наследство, не на эту ненадежную помощь, не на ту горсточку денег, которая все равно сразу же будет растрачена, растащена хищниками и паразитами. Клану Паскье слышался какой-то тайный зов, вроде того, который подсказывает растению, что пришла пора цвести и плодоносить; то было таинственное веление, подобное тому, какое дается птенчику, что наконец настал час пробить скорлупу и раскрыть глаза. Кто же мог подать знак из глубин судьбы этой семье садовников, сельских труже-

ников, крестьян? Она несколько веков трудилась в народной гуще, и вот она высвобождается, вот мало-помалу выделяется и готовится проявить себя в полной мере. Ибо так Франция беспрестанно обращается к глубинным недрам, черпая в них новые питательные начала. Еще одно усилие, еще одно поколение, и на древе Паскье, быть может, распустятся чудесные цветы. Полноте, к чему столь нелепые надежды? Что еще требовать от ветви, давшей Сесиль, музыкантшу?

Лоб Лорана Паскье, лоб выпуклый, чистый, покрывается морщинами. Его тревожит мысль — неужели он окажется последним в роду? Он до сих пор еще не обзавелся семьей. Он и любит одиночество, и страшится его. У него уже выработались привычки и почти что предрасудки заядлого холостяка. Неужели жизненные соки, текущие из глубины веков, иссякнут на нем?

Молодой человек пожимает плечами. Он размышляет: «Я люблю жизнь, даже когда она ранит меня, даже когда приводит в отчаяние. Что может увлечь меня в сторону от избранного мною пути? Все мои устремления определились, все они совершенно ясны. Я занят любимой работой. Все говорят, что я выполняю ее честно. Если я не вполне счастлив, так зависит это только от меня самого. Я даже не вправе жаловаться кому бы то ни было».

Молодой человек в белом халате резким движением откинулся назад. Как смел полет мысли! Эти медлительные раздумья длились не более полминуты. Облако, плывшее на всех парусах навстречу солнцу, еще не достигло его. Сонная пчела, собирающая нектар с тюльпанов, еще не успела выбраться из первого цветка. Пузырек воздуха, поднимавшийся со дна водоема, еще не успел лопнуть, выйдя на поверхность... Лоран Паскье быстро проводит по нахмуренному лбу белой рукой, рукой ученого, которую он хотел бы гордиться, в то время как на самом деле скорее стыдится ее. Потом он направляется дальше.

Действительно ли он останавливался у водоема? Утверждать это могли бы только терпеливые хрупкие насекомые, для которых секунда человеческого времени — нескончаемый век истории. Считать так могут лишь крохотные неведомые создания, коим молния наших гроз представляется нескончаемым днем.

Глава II

*Портрет великого служителя общества.
О независимости административных
функций. Выбор физического типа. Ре-
визитель дисциплины. Воздание труженику.
Область, царство и империя. Не надо
враждовать. Пальчиком по щеке*

Время от времени дверь лаборатории отворялась. Лоран непременно оборачивался, и в движении этом сказывались готовность, беспокойство и даже некоторая тревога. Затем в лаборатории появлялся белый халат. Это входил молодой человек с банкой или клеткой в руках — один из двоих, занимавшихся исследованиями под руководством Лорана, либо уборщица с вениками и щетками. Ученый, на минуту отвлеченный этим появлением, вновь и не без усилия сосредоточивал внимание на препаратах, залитых холодным ясным светом из окна. По его быстрому взгляду, по легкому трепету рук даже самый недогадливый наблюдатель сразу понял бы, что молодой человек чего-то ждет.

Некто, отворивший дверь, оказался, по-видимому, не тем, кого надеялся увидеть Лоран. То был мужчина лет шестидесяти, солидный, с достоинством носивший свое толстое брюшко; на нем был сюртук, потертый на швах, и огромные башмаки с кожаной шнуровкой. Его черные крашенные волосы были прикрыты цилиндрической шапочкой. Видевшие его впервые, невольно искали в его толстых белесых руках преподавательскую указку.

Пьер-Этьен Лармина, директор Национального института биологии, не был ученым. Полученное им образование было вообще весьма неопределенным, хоть он охотно и распространялся о нем, и притом весьма серьезно, чтобы не сказать торжественно. Уйдя из университета еще задолго до получения диплома, он сразу бросился в политику и в одни из первых выборов при Третьей республике был избран депутатом парламента, однако в дальнейшем никогда не добивался переизбрания. Расставшись с депутатским мандатом, г-н Лармина терпеливо, изобретательно и с неизменным успехом стал помогать различных вакантных должностей, причем каким-то чудом у него всегда оказывались необходимые

в данном случае способности. Он был из числа тех, о которых при любой смене правительства, при любых политических пертурбациях добрые души говорят с нежной озабоченностью: «А как же Лармина? Куда же теперь назначат Лармина? Надо подыскать что-нибудь для Лармина! Такой человек, как Лармина, не должен оставаться не у дел». Он всегда готов был принять то, что ему соблаговолят предложить: заведование каким-нибудь предприятием, руководство театром, получающим субсидию, управление только что учрежденным ведомством, руководящий пост в совете благотворительного общества, участие в какой-нибудь чрезвычайной ревизионной комиссии или в комитете по подготовке большой выставки. К началу века Лармина, будучи приверженцем порядка, стал устремляться преимущественно к руководству в сфере научной. Он покровительствовал развернувшейся в прессе кампании в защиту, как он выражался, «независимости административных функций». Он утверждал, писал, а главное, заставлял писать других, что ученые — всегда посредственные администраторы и что, вмешиваясь в вопросы управления, они только бесплодно расточают свои таланты и не выполняют основных своих обязанностей. Эта точка зрения, не лишенная оснований, со дня на день завоевывала все больше сторонников. И вот, когда был учрежден Национальный институт биологии, г-н Лармина оказался чуть ли не единственным кандидатом на пост директора. Он устроился в этом теплом месте с таким ощущением, что теперь он достиг вершины своей карьеры и отныне может посвятить остаток жизни делу, достойному его великих заслуг.

Добившись столь высокого положения, г-н Лармина не сложил руки. Он стал осторожно проводить свою политику, основанную на двух положениях. Первое заключалось в том, чтобы неустанно критиковать Институт Пастера, который, по его мнению, «отдан в руки ученых, несомненно превосходных, но игнорирующих великие практические цели»; второе положение, хотя г-н Лармина о нем и умалчивал, сказывалось во всех его поступках и состояло в том, что он, прикрываясь улыбками, называл «научным мышлением». В подчинении у директора Национального института было человек тридцать незаурядных сотрудников — научных работников и профессоров, которые вызвали у него презрение, похожее на затаенную злобу. Он говорил, строя сочувственную мину и

улыбаясь: «Все это взрослые дети, беспомощные дети!» Если ему случалось беседовать о своих сотрудниках с каким-нибудь политическим деятелем, он принимался тяжело вздыхать: «Они талантливы, может быть, даже гениальны, — спору нет, но они ничего не понимают, ничего не знают или знают весьма мало, а это означает, точнее говоря, что они знают только то, что знают. Вдобавок они тщеславны, безмерно обидчивы и, что хуже всего, страшно злопамятны. Нелегкое дело мирить их и добиваться, чтобы они шли в ногу».

Когда г-н П.-Э. Лармина выступал публично, — что случалось нередко, — он говорил о науке с таким воодушевлением, что у него сотрясались щеки и шевелились усы. К сожалению, г-н Лармина страдал забавным недостатком произношения, значительно умалявшим величие его речей: он выговаривал «с» как «ф» — словно школьник, читающий старинный текст, где эти две буквы похожи одна на другую. Он говорил: «Инфтитуг... Фадитесь. Пожалуфта». Быть может, именно из-за этого легкого изъяна г-ну Лармина пришлось рано отказаться от активной политической деятельности, чтобы все силы отдавать, как он сам выражался, «великому флужению обшефтву».

В первые годы нынешнего столетия, когда г-н Лармина начал осваивать околонучную деятельность, он решил, что уже пора ему выбрать себе определенную личину, некий физический тип, некую внешность. Он остроумно остановил выбор на внешности ни более ни менее, как самого Пастера, умершего за несколько лет до того. Он подстриг бороду, придав ей квадратную форму, отрастил усы, надел узкие очки в тонкой металлической оправе. Он стал носить прямые, открытые воротнички с отворотами, широкие черные сатиновые галстуки и крупную розетку ордена Почетного легиона, прикрепленную на видном месте. Ордену он придавал огромное значение, он ценил людей в зависимости от того, какой степени у них орден, и начинал знакомство с посетителем с беглого, но весьма тщательного обследования его петлицы с той или иной орденской ленточкой.

Господин Лармина жаловал собеседнику пухлую влажную руку и забывал отнять ее, так что посетитель начинал смущенно вертеть и мять в своих руках этот забытый безжизненный предмет, благоухавший нюхательным табаком и потом.

Лоран, зная по опыту, как следует поступать в данном случае, сразу же бросил работу и направился за стулом, от которого директор обычно отказывался, ибо предпочитал красоваться во всем своем величии и любил вещать стоя.

— Я знаю, что вы лишились своего старшего лаборанта... — сказал г-н Лармина.

— Совершенно верно, господин директор.

— И что вы ищете нового. Так вот, у меня есть подходящий человек.

— Дайте мне кого хотите, господин директор, лишь бы он знал свое дело и мне не пришлось учить его с азав.

Господин Лармина не терпел даже намека на умаление его директорских прав. Он принял удивленный вид, движением челюсти приподнял свою бородку и обнажил большой кадык, который затем нырнул за галстук, потом резко появился на прежнем месте и снова погрузился в глубину.

— Господин Паскье, поверьте, — сделайте мне такую честь, — я лучше кого-либо знаю нужды моих лабораторий и моих сотрудников, — сказал он. — К тому же человек, о котором идет речь, поступает к нам из Сорбонны. Он три года проработал у профессора Дуссерена. Есть рекомендации.

— Отлично, господин директор.

— Я только что принял, — пожалуй, несколько поспешно, — вашего друга, господина Рока.

— Да, мы с ним друзья. Я знаю его, господин директор, лет четырнадцать—пятнадцать.

Господин Лармина снял очки, протер их уголком кашне и несколько мгновений подержал между большим и указательным пальцем. У него был тик — он выбрасывал вперед правую руку рывками, словно хотел сбросить с нее манжету. Он делал похвальные усилия, стараясь сдерживать этот тик или придать ему вид какого-нибудь осмысленного жеста, на что тотчас же обращали внимание даже самые рассеянные наблюдатели.

— Господин Рок добивается чести занять место среди научных сотрудников Института, — продолжал директор. — Хм! А вы этого не знали? Господин Рок, ваш друг, ничего вам об этом не говорил? Любопытно!

Лоран покраснел, потом беззаботно рассмеялся.

— Господин Рок — отличный товарищ и весьма до-

стойный человек, — ответил он. — Он ничего не сказал мне, несомненно, потому, что хотел сначала представить вам свои труды и прошение.

— Действительно, так приличнее, — величественно согласился г-н Лармина. — Не трудитесь провожать меня, господин Паскье.

Всегда опасаясь недостаточного соблюдения строжайшей дисциплины, директор имел обыкновение напоминать подчиненным их обязанности, делая вид, будто освобождает их от этих обязанностей. Тем, кто недостаточно поспешно снимал перед ним шляпу, он говорил: «Нет, нет, прошу вас, не снимайте шляпу!» Тех, кто продолжал курить в его присутствии, он сразу же начинал уверять, что дым отнюдь не беспокоит его и даже наоборот. Лоран правильно истолковал слова начальника и проводил его до самой двери.

— Новый лаборант явится к вам сегодня же, — говорил г-н Лармина, кладя на перила лестницы дряблую руку. — Не забудьте, прошу вас, что мне его горячо рекомендовали.

С минуту молодой человек наблюдал, как на стене лестницы медленно кружится тень старого педанта. Потом он склонился над пустотой, прислушиваясь к звукам, доносившимся снизу; наконец, словно открыв, под влиянием какой-то тайной тревоги, средство более действенное, чем ожидание в темноте, он вернулся в свой рабочий кабинет — крошечную комнатку, заставленную книгами, с окном, выходящим на главную аллею Института. Молодой человек пожал плечами, выказывая таким образом самому себе насмешливое порицание. Решительным шагом направился он к своему месту в лаборатории, сел, нахмурившись, перед микроскопом и принялся рассматривать стеклышки, на которые он время от времени осторожно лил блестящую каплю масла. В этом миг, словно в награду за его благородную решимость, дверь в лабораторию распахнулась, и на пороге появилась девушка.

Она была невысокого роста, худенькая, в облегающем сером пальто с легкой меховой оторочкой. Шляпа со спущенными полями бросала тень на ее серьезное лицо; у нее были прекрасные темные локоны и большие золотистые глаза с длинными ресницами; они были широко раскрыты и, как у совсем маленьких детей, казалось, не мигали.

Лоран вскочил с места. Он говорил изменившимся от волнения голосом:

— Я надеялся вас увидеть.

— Вот я и пришла.

— Не подумайте только, что это с моей стороны просто прихоть, пусть даже дружеская. Но я всегда думал, что тому, кто, как вы, занимается благотворительностью, надо хоть кое-что знать о жизни лабораторий. Я вам все объясню, — если хотите, конечно: как я работаю, какие у меня планы, как я живу...

Девушка рассмеялась.

— Не забывайте, господин ученый, что я отнюдь не подготовлена, чтобы понять что-нибудь во всех этих изумительных вещах. Вот это — что за аппарат?

Лоран, слегка огорченный, покраснел.

— Нет, нет, — забормотал он, — вы только послушайте меня и увидите, до чего все это просто. Это микротом, но нельзя начинать с микротомы, это нелепо. Моя область — прекрасна, обширна, и, не скрою, я горжусь ею. Комнатка направо — это лично мой кабинет, здесь я пишу, читаю, размышляю, думаю, — в частности, о своих друзьях.

— Однако, — задорно возразила девушка, — если вы думаете о друзьях вместо того, чтобы заниматься важными открытиями, то вы не заслуживаете ни доверия начальства, ни преклонения толпы,

— Не питайте лишних иллюзий: открытия делаются не каждый день. Чтобы в зрелую пору появилась удачная идея, нужен упорный однообразный труд и долгие раздумья. Вспоминать тех, кого любишь, тоже не бесполезно — это подбадривает. Здесь моя личная лаборатория, а с той стороны — лаборатория моих ассистентов. Я еще не имею права говорить о своих учениках, — это слово немного пугает меня. Мне кажется, что и я сам все еще ученик. Вот моя грифельная доска — как в школе.

— Школьник Лоран Паскье, соблаговолите подойти к доске и написать на ней какое-нибудь изречение, де-виз, — словом, что-нибудь прекрасное, — сказала девушка с напускной важностью.

Лоран взял мел и написал, медленно выводя каждую букву: «Жаклина», потом пониже: «Жаклина Беллек, мой друг».

— А дальше? — сказала девушка.

Лоран обернулся к ней.

— Дальше? Нет! Это будет чересчур длинно. Я тяжелодум. Чтобы выразить свою мысль, мне нужно много времени.

Несколько мгновений молодые люди смотрели друг на друга, и Лоран, улыбнувшись, опять покраснел. Потом продолжал объяснения.

— Не думайте, — говорил он, — что вы видели все, что есть в моем царстве. Работа у меня не из простых. Я руковожу отделением, занимающимся изготовлением вакцин и сывороток; в его составе находится экспериментальная лаборатория. Поймите: чтобы эксперимент принес пользу, он должен быть сначала всего лишь экспериментом. Широкой публике это неясно.

— Господин профессор, вы говорите сейчас не для широкой публики, а для Жаклины Беллек, то есть для публики очень, очень, очень маленькой, для публики невежественной и крайне доверчивой.

— Не смейтесь надо мной!

— А почему бы не смеяться, господин Паскье? Мой отец всегда утверждает, что насмешка — весьма ценное возбуждающее средство, что она успешнее, чем упреки, заставляет нас прислушаться к голосу совести.

Лоран в смущении покачал головой и заговорил о другом:

— Залы, где изготавливают вакцины, находятся внизу. Помещения у нас образцовые. Вот грузовой подъемник и опускное окошечко, через которое я могу наблюдать за сотрудниками и отдавать распоряжения. Но это еще не все. Взгляните в окно. Вон там — конюшни, где содержатся лошади, у которых мы берем кровь для сыворотки. Этот садик — тоже часть моей империи, и я сам подбираю для него цветы. Все здесь имело бы весьма суровый вид без этого клочка земли и зелени.

— Погодите, — сказала де в у ш к а . — Сначала вы говорили об области, потом о царстве, потом об империи. Мне кажется, что у вас голова кружится от гордыни.

Она опять засмеялась. Смех у нее был ясный и звонкий. Лоран смутился и снова покраснел, — справиться с этим он, к великому стыду своему, не мог. Он в растерянности потирал руки и бормотал, улыбаясь:

— Нет, не смейтесь надо мной, ведь... как бы это сказать? Я сразу же стану на вашу сторону, буду того же мнения, что и вы. Я себя отлично знаю. Не относитесь ко мне враждебно, ибо у меня ужасная способность: я сразу же становлюсь сторонником того, кому я неприятен. Да, поймите: ужасная способность ненавидеть себя, тем более что я довольно хорошо себя знаю...

Девушка слушала, и лицо ее вдруг приняло сосредоточенное выражение. Она сняла перчатку, протянула руку и осторожно, дружески коснулась тонким пальчиком щеки молодого человека.

Глава III

Успех в делах и суеверие. Пример Поликрата. В оркестре начинает звучать тема лжи. Грусть и замысел Жозефа Паскье. Истинный богач. Институт профессора Гийома де Неля. набросок семейной сцены. Доктор Паскье не лишен последовательности. О том, что от застенчивости можно вылечиться. Случай с г-ном Жюлем Бобиашем. Богиня и пастух. Жозеф Паскье строит планы. Мыслитель, ни о чем не мыслящий

Лоран еще издали заметил и сразу же узнал лимузин, остановившийся между углом Гаврской улицы и воротами лица Кондорсе. Он был наполовину жемчужно-серый, наполовину синий. За ветровым стеклом восседали шофер и выездной лакей в ливрее, выдержанной в тех же тонах, что и машина. Жозеф выскочил на тротуар и на несколько минут замер в неподвижности. Потом Лоран увидел, как он стал рукой делать какие-то жесты, должно быть, отдавая распоряжения, и затем исчез на лестнице метро.

«Н-да, Жозеф сегодня во всем черном, в одежде бедняка, — мысленно заметил Лоран. — Значит, состряпал выгодное дельце и хапнул изрядно денег».

Дела Жозефа, как было известно всему Парижу, шли блестяще, особенно после недавней вспышки войны на Балканах. Но Жозеф был суеверен и поэтому не ведал покоя. Все, кто хорошо его знали и имели возможность за ним наблюдать, замечали в характере этого ловкого дельца любопытные перемены. Он явно опасался, что удача изменит ему: на связке ключей он носил золотой талисман, никогда не решал никакого дела, предварительно не отыскав беспокойным взглядом какой-нибудь

деревянный предмет, за который можно было бы подержаться, страшился числа тринадцать даже в деньгах, раз по двадцать в день твердил магическую защитную формулу, почерпнутую из какого-то восточного языка, нечто вроде «пум-аскара», которое его собеседнику обычно не удавалось расслышать, ибо Жозеф бормотал заклинание себе под нос, боясь, как бы кто-то другой не воспользовался этим преимуществом. Наконец, у него хранился старый потрепанный шевиотовый костюм, уже почти совсем негодный, в который он облакался дня два-три подряд, после того как ему удавалось заключить выгодную сделку. Так он по-своему обезоруживал судьбу, умерщвлял свою плоть, боролся с гордыней. Хоть он и не кидал, как самосский тиран Поликрат, свое золотое кольцо в море, он все же предписывал себе кое-какие лишения, избегал некоторых внешних признаков богатства, на время, и даже украдкой, воздерживался от дорогих английских костюмов, от роскошной обуви из дубленой телячьей кожи, от перчаток из свиной кожи и огромных белых шелковых кашне, которые изготавливались по его особому заказу и стоили баснословных денег. Эти самоограничения давали двоякие результаты: с одной стороны они умеряли его суеверные страхи, с другой — вводили поверхностных наблюдателей в заблуждение относительно его капиталов и коммерческих успехов.

Все это Лоран узнал от г-на Мерес-Мираля, личного секретаря Жозефа Паскье. Но Лорану случалось забывать о том, откуда он получил сведения, и он самообольщался, приписывая их собственной проницательности.

«Я рассеян, — рассуждал Лоран, — и все на меня за это в обиду. Во многих случаях я веду себя как слепец или, по крайней мере, как простофиля. Но когда дело касается Жозефа, у меня появляется нюх, я сразу все разгадываю. Когда дело касается отца, я на расстоянии чувую, что он собирается что-то выкинуть. Ничего удивительного! Я немало выстрадал от обоих... Куда же, однако, направился Жозеф?»

В этот миг Жозеф появился на тротуаре Амстердамской улицы, как раз возле Лорана.

— Давно ждешь меня? — спросил он.

— Нет, только что подошел, — ответил Лоран. — Ты не на машине?

Жозеф неопределенно повел рукой.

— На машине? На какой машине? Нет, я на метро.

«Поразительно! — подумал Лоран. — Сразу же вранье. И к чему это? По правде говоря, я сам немного виноват. Ведь и я приврал, сказал, будто только что приехал, и скрыл, что видел, как он выходил из своего лимузина».

Жозеф взял Лорана под руку, и они направились по Амстердамской улице. Молодой человек спросил:

— Зачем ты меня вызвал?

— Сейчас объясню, — многозначительно ответил Жозеф. — Во-первых, я никогда не беспокою тебя понапрасну; во-вторых, речь идет об очень важном деле; в-третьих, я задержу тебя не больше часа; в-четвертых, несмотря на твой хмурый вид, мне приятно время от времени повидаться с тобою в более или менее интимной обстановке. Да, никогда я тебя не беспокою зря: я слишком хорошо знаю цену времени. Даже время мечтателей кое-что стоит.

— Ну, ну, не нападай!

— Это не нападки. Я не презираю мечтателей, да и сам я порою мечтаю, — когда вздумается.

Жозеф взял Лорана за руку так непосредственно и сердечно, что молодой человек удивился.

«Должно быть, я ошибся, — подумал он. — Он поддается таким дружелюбным порывам, когда ему бывает тяжело, когда ему хочется, чтобы его пожалели. Право же, этого молодца не разгадать».

— Ты плохо меня знаешь, братец, — шептал Жозеф Паскье доверчиво и грустно, склонив голову ему на плечо.

Жозеф был выше и внушительнее брата. У него была мускулистая шея, широкое решительное лицо с темными усами, подстриженными на американский лад, бледно-голубые глаза, смотревшие настойчиво и волнуяще, могучий низкий голос, — но теперь голос у него неожиданно задрожал.

— Тебе только кажется, что ты меня знаешь, — продолжал он, — а на самом деле ты не знаешь, и прежде всего потому, что недолюбливаешь меня.

— Ну, давай без сентиментальностей, — сказал Лоран, смутившись.

Жозеф поднял голову, несколько мгновений смотрел на клочок неба, видневшийся между домами, потом тихо сказал:

— Мне хочется сделать что-нибудь неожиданное, что-нибудь необыкновенное.

— Вот как? — молвил Лоран. — Скучаешь?

Жозеф с удивлением покачал головой:

— Скучаю? Вот уж ничуть! Со мной этого не бывает. Однако...

Он большим пальцем переместил на голове котелок и продолжал:

— Я не скучаю, но мне хотелось бы сделать что-нибудь непредвиденное, что-нибудь непредвиденное для меня самого.

— Что именно?

— Не знаю, не могу сказать. Что-нибудь, что порадовало бы меня.

— Значит, тебя не радует наживать деньги, — с горечью вскричал Лоран.

Жозеф потянул воздух, еле разжав губы:

— Тс! Позволь заметить, любезный Лоран, что у тебя совершенно нелепое представление о деньгах. Конечно, все дело в деньгах, я тысячу раз твердил тебе это, поскольку с помощью денег можно приобрести все остальное. Но и деньги, и все остальное... иной раз говоришь себе, что как-никак это еще не все. Погоди немного, ты идешь слишком быстро, а проклятая улица подымается вверх.

Лоран разглядывал брата сбоку с недоумением и любопытством. Он сказал, улыбнувшись:

— У тебя брюшко растет.

— Да, — согласился Жозеф, кивнув головой, — и это доказывает, что я не настоящий богач. Настоящие богачи едят, пьют, обжираются, но желудком не страдают и не толстеют. Я всего лишь дилетант.

— Привет дилетанту, — сказал Лоран. — Мне говорили, что у тебя двадцать миллионов, не считая недвижимости.

Жозеф уцепился за руку брата.

— Замолчи, несчастный! Кто тебе наговорил подобных глупостей? Зачем болтать? Зачем бросаться такими словами? А хуже всего то, что тебя могут услышать. Помалкивай! Впрочем, мы уже дошли.

— Дорогой мой, ты так и не сказал мне, куда ты меня ведешь.

— Ну, сейчас сам увидишь.

Братья остановились в конце Амстердамской улицы возле площади Клиши, у дома, с виду старинного и скромного. Вдруг Лоран испуганно прошептал:

— Это новая папина затея?

Жозеф не отвечал, и Лоран раза два-три топнул ногою.

— Бьюсь об заклад, это опять что-нибудь крайне неприятное.

Жозеф медленно кивнул головой.

— Не знаю. Мы не знаем. Не надо кипятиться.

Он пальцем указал на эмалированную табличку, прибитую сбоку от двери, с надписью:

ИНСТИТУТ ПРОФЕССОРА ДЕ НЕЛЯ

IV этаж

прием ежедневно

с девяти до двенадцати утра

— Поднимемся, — сказал Ж о з е ф . — Все как следует разгляди. Прежде всего надо хорошенько разобраться. Может быть, все тут безупречно и даже почтенно.

— Но как ты это обнаружил? — прошептал Лоран.

— А агента моя на что? Кроме того, я читаю газеты. Мне все известно. Этого требует мое ремесло.

Лестница, застеленная потертым ковром, тонула в пыльной полутьме.

— Но зачем мы, собственно говоря, идем?

— Мы произведем своего рода проверку. Ему, как тебе известно, доверять нельзя, и поэтому надо наводить справки. Вот четвертый этаж. Следуй за мной и не произноси ни слова.

На длинную, узкую площадку выходили две двери, на одной из коих была такая же табличка, как внизу.

— Видишь, — прошептал Ж о з е ф . — Он за псевдонимом в карман не полез. Это название деревни, где он родился. Благодаря этому-то я все и раскрыл. Итак, звоню.

Послышался звонок, потом торопливые, четкие шаги. Затем девушка в юбке, сужающейся книзу, отворила дверь и ввела посетителей в некую прихожую.

— Желаете пройти вместе или по отдельности?

— Вместе, — ответил Жозеф.

— Хорошо, — сказала девушка. — Сначала пожалуйста в приемную. Я доложу профессору.

Братьев ввели в крошечную приемную с окном, выходящим на черный от угля дворик, где красовались две катальпы, на ветвях которых тшились распуститься несколько бутонов. Посреди комнаты стоял столик в стиле Людовика XV с проспектами и брошюрами. Остальное место было занято четырьмя-пятью разрозненными стульями. На стенах — несколько гравюр XVIII века: «Любовная записка», «Урок музыки».

Внимание Лорана тотчас же привлекла брошюра, несколько экземпляров которой было разложено на столике. Взяв один из них, он прочел:

ПРОФЕССОР ГИЙОМ ДЕ НЕЛЬ
доктор медицины
секрет личного обаяния

Ниже значилось:

*Станьте сильными и богатыми
Что надо делать, чтобы преуспевать в жизни
Застенчивость всего лишь болезнь
Будущее принадлежит смелым*

Среди брошюр было раскинуто множество листовок, на которых Лоран прочел следующие строки, набранные крупным шрифтом:

ПРЕОДОЛЕННАЯ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ
ЛЕЧЕНИЕ В ДЕСЯТЬ СЕАНСОВ
ПО МЕТОДЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

— Вот оно что! — еле слышно промолвил Лоран. — Я так и думал, это дело нешуточное, так и думал, что это новая катастрофа.

Жозеф пожал плечами и шепнул:

— Не торопись. Не волнуйся.

Тут дверь отворилась, и в приемную вошел доктор Паскье. На нем был белый халат отличного покроя, с поясом. Холеной рукой он теребил свои длинные золотистые усы, несмотря на его возраст, стойко отказывавшиеся сесть; волосы, разделенные пробором посредине, спускались на лоб двумя прядями; цвета они были неопределенного, зато были волнисты, воздушны, чарующе игривы, как у тенора Капуля, которым доктор особенно увлекался в юности. Глаза у него были голубые, как утреннее небо, а в улыбке улавливались ирония и дерзость.

— Вот хорошо! — весело воскликнул он. — Два клиента сразу! Вот удача. Итак, дети мои, вы страдаете застенчивостью? Клянусь, любопытная новость! И вы, как видно, хотите полечиться...

— Ну, папа, шутки в сторону, — сказал Жозеф.

— Дорогой мой, если не шутить, так чем же нам заняться?.. Ибо мне невдомек, зачем вы сюда явились.

— Но мы просто пришли с тобою повидаться, папа.

— В таком случае, бесценные мои мальчики, пройдите ко мне в кабинет. Мне не хочется раскрывать перед моей секретаршей наши маленькие секреты. Входите оба.

Доктор приподнял портьеру и пропустил Жозефа и Лорана в довольно просторную, скупо обставленную комнату, которую он только что назвал своим кабинетом.

— Садитесь, — сказал он с долгим напевным вздохом вроде тех, с каких обычно начинались склоки в их семействе. — Садитесь. Если вы собираетесь устроить мне очередную семейную сцену, — что я, с вашего позволения, считаю довольно неуместным, — то начинать ее надо сидя, дабы можно было вставать в моменты ораторского апогея.

— Папа, — пролепетал Лоран, — мы пришли не для того, чтобы устроить тебе сцену, а только чтобы узнать, чтобы понять.

— Что касается тебя, дорогой мой, — отрезал доктор, — ты мог бы записаться на полный курс лечения в моем институте, ибо ты, кажется, еще не преодолел своей врожденной застенчивости. Говори, говори, малыш. Ты даже еще не совсем четко говоришь слово «папа». Согласный звук «и» у тебя еще лишен должной взрывной силы. П... п... Сожми губы, потом резко раскрой их.

— Поговорим серьезно, — сказал Жозеф. — Мы пришли, чтобы...

— Понимаю, понимаю. Вы пришли не то чтобы слезить за мною, а чтобы только разведать, что я тут делаю. Вы решили, что я задумал какую-нибудь новую, как вы выражаетесь, безумную выходку, и явились, как сами признаетесь, с намерением сунуть сыновние добropорядочные и почтенные носы в мои скромные делишки. А может быть, вы подумали, как бы отец не совершил что-либо порочащее семью, и поэтому забес-

покоились. Так вот, любезные мои мальчики, позвольте сказать вам, что вы просто смешны.

Доктор Паскье зашагал взад и вперед по комнате, заложив руки за пояс халата; теперь усы его топорщились и шевелились, как лапки паука. Он бушевал:

— Можно подумать, что у вас одна забота: отравлять мне жизнь и препятствовать моим успехам. Я поставил перед собою задачу преодолеть препятствия. Я хочу заработать деньги, понимаете? А потом все узнают, что я собою представляю, и я проявлю себя в полной мере.

— В прошлом году ты собирался писать книги, стать крупным литератором, — сказал Жозеф. — И даже издал роман.

— Дорогой мой, меня тогда одурачил мошенник. Вернее сказать, хотел одурачить, но это ему не вполне удалось... Чтобы блистать в области литературы, надо прежде всего быть богатым, давать обеды, ужины, принимать у себя балерин, герцогов и дипломатов, приезжать к издателям в экипаже, запряженном парю, — словом, бросать деньги на ветер. Пример тебе — Сарду с его дворцами, поместьями, челядью. Пример — Ростан, который живет, как набоб. А вот тебе Батай, — уж на что худосочный драматург, а сажает гостей на кресла из белого мрамора, так что многие простужаются. Все эти молодцы, дорогой мой, преуспели в литературе потому, что у них были деньги. Вот так то! Чтобы зарабатывать деньги, надо прежде всего иметь их, и не тебе, Жозеф, отрицать это!

— Согласен. Однако...

— Никаких «однако», мальчик мой. А у меня как раз возникла идея. Чего другого, а идей у меня хоть отбавляй.

— И ты бросаешь литературное попрание?

— Вовсе нет! Сначала я заработаю денег, сколочу небольшой капитал, а тогда опять, уже во всеоружии, займусь литературой. Не думайте, что я последователен. Я последователен в высшей степени. Чтобы приняться за вторую книгу, мне надо немного постранствовать по свету. Да, нужны непосредственные наблюдения. Я последователен. Другие на моем месте пали бы духом. А я — наоборот, чем больше встречаю препятствий, тем больше мне хочется сокрушить их. Так вот, у меня возникла идея...

Доктор остановился перед сыновьями, мечтательно провел рукой по тщательно выбритому подбородку, понизил голос и как-то восторженно продолжал:

— Идея превосходная, уверяю вас. Будь бы у меня средства! Имей бы я возможность обосноваться, скажем, на бульваре Османа или даже в Елисейских полях, в доме с лифтом и роскошным ковром! Имей я деньги на покупку модной обстановки, американского бюро, будь у меня телефон, будь к моим услугам реклама в гораздо больших масштабах, чем сейчас...

Господин Паскье погружался в мечты. Лоран заметил вполголоса:

— Но ведь у тебя степень доктора медицины. Мне кажется, что уважение к науке...

— Ну, ну, ну! — воскликнул господин Паскье. — Бедняга Лоран, ты сам не смыслишь, что говоришь. Уж не воображаешь ли ты, что я занимаюсь шарлатанством, что думаю только о деньгах? Ты плохо знаешь меня, мальчик. Я всесторонне изучил вопрос. Я разработал определенную методику. То, чем я занимаюсь, — столь же научно, а порою даже основательнее работ других ученых, например, в Сорбонне.

— В таком случае, папа, почему бы тебе не продолжать...

— погоди, Лоран, — проворчал Жозеф, — дай ему хоть раз высказаться. Доводы его не так уж плохи.

— Зачем, — упрямо продолжал Лоран, — зачем выступать под чужим именем и придавать всему этому характер чего-то, чего-то...

— Дорогой мой, — ответил доктор с ангельской улыбкой, — я поступил так только из уважения к вам, чтобы чувствовать себя свободнее, чтобы мне ничто не мешало. Сначала я хотел было назваться Паскье де Нелем. Но вы, пожалуй, подняли бы шум. Я написал: профессор де Нель, ибо не скрою от вас, что частица «де» производит впечатление определенной изысканности, солидности, незаурядности... Входите! Что вам?

Девушка в юбке, суживающейся книзу, которую доктор называл своей секретаршей, появилась на пороге.

— Господин профессор, — сказала она, — вас ждут в гостиной.

— Пациент?

— Да, молодой человек лет двадцати пяти — тридцати. Говорит, что пришел по объявлению.

Врач на минуту задумался, но глаза его тут же ожились, и он сказал:

— Дайте, пожалуйста, мадемуазель, этим господам халаты, — это мои знакомые. Вы оба наденете халаты и сядете вот здесь. Возьмите в руки блокноты и делайте вид, будто отмечаете что-то, записываете рецепты, словно вы мои ученики. Вам хотелось все узнать. Ну вот и узнаете. Скрывать мне нечего. Пригласите сюда пациента.

Жозеф и Лоран облачились в халаты и уселись по сторонам письменного стола. Секретарша ввела белокурого молодого человека с миловидным лицом, усеянным веснушками.

— Садитесь, — пригласил профессор.

Молодой человек сел на стул посреди комнаты. Секретарша скромно удалилась.

— Эти господа — мои постоянные ассистенты, — пояснил профессор. — Отлично. Сядьте поудобнее, на обе ягодицы, мосье! Это очень важно. Как вас зовут? Повторите... Еще раз. Прежде всего надо уметь хорошо произносить свое имя. Я вас не вполне понял. Кажется, Жюль Бобиаш?

— Так точно, мосье: Жюль Бобиаш.

— Это не от вас зависит, но нельзя сказать, чтобы такое имя особенно подходило для человека застенчивого. Жюль — имя неудачное. Это имя Юлия Цезаря, спору нет, однако в военной среде оно опорочено. Придется его заменить. Почему бы вам не зваться Сезар Бобиаш, например? Тогда «Бобиаш», звучащее несколько нелепо, сразу приобретет оттенок мужественный и внушительный. Отлично. Ваша профессия?

Молодой человек на мгновение потупился, как бы собираясь с силами, потом пролепетал:

— Я служу в банке.

— Так. И вы желаете вылечиться от застенчивости?

— То есть... Да, именно от застенчивости.

Молодой человек не был заикой, но временами он не сразу произносил нужное слово, мешкал, потом выпаливал его как бы очертя голову.

— Курс лечения у меня методический и состоит из трех этапов, — говорил господин П а с кье. — Первый этап представляет собою практические упражнения, — всего десять сеансов, которыми руковожу я сам. Второй этап заключается в чтении научного труда, написанного ва-

шим покорным слугою; в этом труде речь идет о самосознании личности, о том, как ее выявить, о различных ее проявлениях. Наконец, все это дополняется специальными лекарствами в виде пилюль и укрепляющего вина, ибо застенчивость не что иное, как недуг, и с нею надо бороться всеми возможными терапевтическими средствами. Секретарь ознакомила с условиями лечения? Если вы согласны с ними, мы начнем немедленно.

Молодой человек два-три раза решительно кивнул головой. Он делал отчаянные усилия, чтобы проглотить слюну, которой у него набрался полон рот; руки он держал на коленях, и они заметно дрожали.

— Господин Б о б и а ш , — сказал в р а ч , — итак, приступим к делу, начнем с приветствия, рукопожатия, с первых слов. Благоволите выйти отсюда. Сначала возьмите шляпу. Вы выйдете отсюда, затем войдете, как подобает. Вы стучитесь. Я откликаюсь. Вы входите и представляетесь. Вот так. Да, пожалуйста. Войдите.

Молодой человек послушно удалился в коридор, потом сразу приотворил дверь. Доктор, с указкой в руке, стоял посреди комнаты и командовал, жестикулируя, как укротитель:

— Отлично, отлично. Во всяком случае, недурно. Шляпу чуточку набок. Не набекрень, а чуть-чуть набок. Итак, вы входите. Сделайте, пожалуйста, четыре шага уверенно и четко. Еще раз. Тверже в коленях. Хорошо. И улыбайтесь. Когда я говорю: «улыбайтесь» — это не значит: «откройте рот». Это значит: «придайте лицу выражение любезное, ласковое, веселое». Хорошо. Не пересаливайте. Сделайте плавное движение рукою и протяните ее мне. Внимание! Пошире раскройте ладонь. Руки у вас не потеют. Это счастье. Обычно у застенчивых они потеют. И, может быть, именно этого-то люди и стесняются. Пожмите мою руку. Не бойтесь, что сделаете мне больно. Пусть все это дышит искренностью, простодушием, врожденной силою. Хорошо. Вот вы вошли — решительно и даже победоносно. Но все же надо было подождать, пока я крикну: «Войдите», а затем уже бодрым шагом войти. Каблуками стучите чуточку погромче. Хорошо. Теперь раза два-три слегка откашляйтесь. Нет, нет, у вас получается, как у астматика. А вы откашляйтесь, как человек, прочищающий голос. Вынесите вперед правую ногу и два-три раза скромно, но решительно согните ее в кол е н е , — вот смотрите, как я сделаю.

Доктор несколько раз оглушительно крикнул и судорожно распрямил колено.

— Все это выходит у вас неплохо. Теперь возвысьте голос и предложите, скажем, в чем-нибудь свои услуги.

Молодой человек слегка побледнел, два-три раза проглотил слюну и невнятно промычал несколько слов:

— Сударь, я хотел бы... касательно какой-нибудь должности...

— Ох нет, нет, — остановил его доктор. — Это никуда не годится. По части жестов еще куда ни шло, хоть и тут далеко не все в порядке. А уж в отношении красноречия — все надо иначе. Во-первых — долой слюну, понимаете? Прежде чем начать речь, незаметно сплюньте ее в платок. Слюна при доверительном разговоре отнюдь не желательна. Затем — погромче, побойчее, поагрессивнее! Чтобы облегчить задачу, я в виде исключения сейчас перейду к упражнению из четвертого сеанса — к упражнению по перебранке. Поймите, мосье, хорошенько, что я хочу сказать. Вы должны упрекать меня, говорить мне самые неприятные вещи. Словом, должны осыпать меня бранью. Просто для того, чтобы развить у вас напористость, боевой дух.

— Но... — начал было молодой человек, побагровев.

— Друг мой любезный, не бойтесь, вы ведь понимаете, что все это лишь нарочно придумано, чтобы развить в вас агрессивность, которой вы, по-видимому, совершенно лишены. Итак, смелее. Предположим, что я отказываю вам в месте, которого вы добиваетесь, и постарайтесь запугать меня. Примите во внимание, что в данном случае, как и во всех вообще, лучший способ преодолеть свою природную застенчивость — это ошеломить противника или, если хотите, собеседника. Итак, я усаживаюсь за письменный стол и жду вашего нападения.

Молодой человек дрожащими руками повертел шляпу. Он делал чудовищные усилия, чтобы преодолеть смущение, потом беззвучно забормотал:

— Вы мне обещали место... Нехорошо... Я надеялся... гм... гм... что вы вспомните обо мне... Право же, так поступать нехорошо...

Доктор Паскье вскочил с места. Он хохотал и хлопал в ладоши.

— Никуда не годится. Позвольте подсказать вам тон, темп и даже отдельные выражения. Теперь сядьте вы и мотайте себе на ус. Начинаю. «Сударь, я сделал

честь руководимой вами фирме, попросив принять меня в число ее сотрудников. Сначала, сударь, вы ограничились молчанием, что совершенно неприлично, а более настойчивой моей просьбе, как говорится, не дали ходу. Так знайте же, сударь: я очень рад, что не поступил в фирму, которая пользуется в парижских торговых кругах весьма нелестной репутацией. Да будет вам известно, что я особенно радуюсь тому, что мне не придется приветствовать в качестве моего непосредственного начальника лицо, которое я считаю прохвостом и хамом, ибо вы, сударь, как есть хам, и я мог бы, сударь, добавить к этому еще кое-что...

Тут доктор Паскье резко остановился, понизил голос, успокоился, улыбнулся и сказал, подпрыгнув:

— В особо серьезных случаях вы можете употребить даже слово «рогоносец», — оно хорошо звучит и производит неотразимое впечатление. Но учтите, о чьей голове идет речь. Теперь начнем сначала, и скажите мне кратко, но прочувствованную речь. Но даже условно, прошу вас, в отношении меня не употребляйте слово «рогоносец»: я этого, пожалуй, не выдержу. Это будет свыше моих сил. Итак, смелее, дорогой мой!

Молодой человек поднялся с места, сплюнул в платок, сделал два шага, швырнул шляпу на пол и, вдруг побледнев, сказал:

— Вы мне обещали место. Вы мне его не дадите. Вы мерзкий тип, жулик, мошенник, проходимец. Не знаю... не знаю... что только сдерживает меня, а то бы я...

— Стоп! — вскричал доктор, властно подняв руку. — Стоп! Теперь уже гораздо лучше. Но не увлекайтесь. Я заметил, что приступать к четвертому сеансу с новичками небезопасно. Остерегайтесь также слова «мошенник». Оно может повлечь за собою последствия. Предпочтительнее выражаться так: «Я мог бы обозвать вас мошенником, однако не делаю этого» — таким образом, вы остаетесь неуязвимым с точки зрения правосудия. Однако вы в самом деле чрезвычайно застенчивы, ибо вскипаете немедленно. Поэтому я вам для начала дам рецепт номер два. Это средство не содержит рвотного. Можете вы прийти завтра?

— Могу, господин профессор.

— Отлично. Мы сразу же приступим к более сложным упражнениям. Шестой и седьмой сеансы посвящаются отношениям с женщинами... Я имею в виду отношения

общественные и повседневные. Что касается отношений иного рода, то я смогу вам дать лишь завуалированные советы. Вопрос исключительно деликатный. Последний сеанс посвящается уходу, я имею в виду особое искусство удаляться из гостиной, прощаться, расставаться, скажем, с возлюбленной или с другом. Вот увидите, как это увлекательно. Не скрою: начали вы довольно удачно. Не беспокойтесь: вас вполне можно вылечить. Мой секретарь даст вам брошюру — ту, что подходит к вашему случаю. Насчет гонорара узнайте опять-таки у секретаря. Признайтесь, что вы чувствуете себя уже гораздо увереннее.

Молодой человек рассмеялся.

— А ведь правда! — сказал он. — Правда, увереннее!

Доктор отечески потрепал молодого человека по плечу и сказал:

— Мне попадались субъекты во сто раз труднее вас, а теперь они входят в кабинет министра так же спокойно, как в табачную лавочку. До завтра, господин Бобиаш. Лево́й рукой слегка раскачивайте шляпу, а правую на секунду суньте в карман брюк. Плавно выньте ее и протяните мне непринужденным, гибким движением — вот так, как я, смотрите. Просто, изящно. Ну что ж, получается неплохо. До свиданья.

Молодой пациент ушел, доктор молча направился к раковине в углу кабинета и стал мыть руки. Жозеф и Лоран не произнесли ни звука, зато доктор принялся игриво напевать арию из «Богини и пастуха», некогда с особым успехом исполнявшуюся Капулем:

Тороплюсь поднять цветок,
Что порой она, мечтая,
Вдруг уронит, обрывая
Ароматный лепесток.

В розе — капля дождевая,
Птичке жаждущей глоток...¹

Доктор порывисто повернулся, схватил мохнатое полотенце и, вытирая руки, скромно заметил:

— Застенчивые! Я начинаю в них разбираться. Некоторые из них неизлечимы, даже путем упражнений. Это садисты застенчивости. Они, видно, упиваются ею. Попадают и лжезастенчивые. Один-два сеанса — и они становятся как львы. Что ж вы молчите, мальчики?

¹ Перевод М. А. Касаткина.

— Я слушаю, — угрюмо буркнул Жозеф. — Во всяком случае, не скажу, чтобы это было совсем лишено занимательности.

— А ты, Лоран, — продолжал доктор, — конечно, считаешь, что это не особенно научно?

Лоран сердито пожал плечами.

— Я считаю, что для врача, для настоящего врача это несколько балаганно.

Доктор воздел руки.

— Дорогой мой, это балаганно в такой же мере, как и все остальное в науке. Знай, однако, мальчик, что я трачу тут больше сил, нервов и собственного здоровья, чем мой коллега из соседнего дома, который отправляется к пациенту, делает ему укол и наспех выписывает рецепт. Приходи через неделю, посмотри на этого недотепу и тогда скажешь свое мнение. Ты заметишь в нем большую перемену. Ты увидишь, как изменился у него взгляд, походка, и согласишься, что совершилось чудо. Надо тебе сказать, что лечение женщин, — я имею в виду застенчивых, — гораздо труднее и всегда гадательно. Иные исправляются в один сеанс и сразу же успешно выполняют упражнение на ссору, — стоит только чуточку подзадорить их.

Жозеф снял с себя халат, потом зашагал из угла в угол, опустив голову и нахмурившись.

— В общем, папа, ты говоришь о личном влиянии, о том, как преуспевать в жизни... — сказал он. — Послушать тебя, так можно подумать...

Господин Паскье степенно поднял руку.

— Погоди! Погоди! — возразил он. — Ты собираешься сказать колкость, а то и просто чепуху. Ты хочешь сказать, что я тщусь учить людей, как им преуспеть в жизни, а лучше преподавал бы это самому себе. Как видишь, я недурно угадываю мысли моего любезного сынка. Соблаговоли уразуметь, мальчик, что, хоть я и действительно не преуспел, методу я открыл совсем недавно, что я начинаю применять ее в отношении самого себя и что впереди у меня еще много времени.

Доктор сделал над собою усилие и снова стал напевать:

В розе капля дождевая...

Потом он пожал плечами и прошептал:

— Профессора всегда такие. Учат тому, чего сами

не могут делать. Я некогда брал уроки пения у лучшего тенора Оперы, который потому и стал преподавать, что петь уже не мог. Но оставим это. А ведь у вас у обоих, мальчики, вид довольно-таки дурацкий. Вы приехали, чтобы проверить. Нельзя сказать, что вы поступили особенно деликатно. Но ничего, вы проверили. Я даже прошу вас дать мне возможность заняться делом, ибо жду еще пациента, а сейчас кто-то звонит. Итак, прощайте! И без обид! Жозеф, дорогой мой, пожми мне руку покрепче, благо и у тебя руки не потеют. А ты, Лоран, улыбнись, скажи что-нибудь изящное. Тебе придется как-нибудь побывать у меня, чтобы заняться десятым упражнением. Тебе урок не повредит, и я дам его тебе бесплатно.

На целый этаж братья спустились, не обмолвившись ни словом. На площадке Жозеф остановился, неодобрительно вдохнул носом воздух и вполголоса сказал:

— Дом невзрачный, надо было бы выбрать получше. Смотри: тут на двери «Мадемуазель Бушет, модистка», там — визитная карточка «Господин Сеси, пенсионер»... От всего веет убожеством. Как можно начинать какое-либо серьезное дело в таких условиях? А наверху, заметил? Прихожая расписана под мрамор, да в углу еще подпись есть! Вот куда забирается жалкое тщеславие! Подумать только!

Жозеф безнадежно повел плечами и стал спускаться.

— Так денег не наживешь. Мебель — дрянь. Кресла как будто собираются переодеться и подсовывают вам под зад свои жесткие подушки. Все это — убожество, все это опять сорвется. Одно тут только приемлемо: секретарша. Прелесть!

— Да, — сказал Лоран, заморгав. — Она даже слишком хороша. Это внушает тревогу.

— Не будем преувеличивать, — продолжал Жозеф, снова понизив голос. — Мне известно, что у папы еще две семьи, не считая законной. Этого, полагаю, достаточно для шестидесятидевятилетнего человека. Нет, меня тревожит другое — впервые у нашего почтенного родителя возникла действительно сногшибательная идея, но он и тут промахнется.

Братья уже вышли на улицу и оказались в густой, торопящейся, болтающей толпе, которая, словно река, текла по Амстердамской улице, среди оглушительного грохота трамваев.

— Уже двенадцать, — вздохнул Жозеф. — Все идут обедать. Весь трудовой Париж сядет сейчас за стол, и даже бездельники, прохлаждающиеся на верху Эйфелевой башни или на террасе Монмартра, услышат, как работают челюсти и сопят носы.

Лоран не обратил внимания на это лирическое отступление. Он уныло сказал:

— Ты находишь папину идею сногшибательной? По моему, идея нелепая.

— Ты так считаешь потому, что она как никак в некоторой степени соприкасается с твоей специальностью, она тебя задевает или, как вы, ученые люди, выражаетесь, оскорбляет тебя. Сам знаешь, я не из увлекающихся. Повторяю: папина идея — идея сногшибательная, потому что дает ему возможность показать себя, тут он может пустить в ход свои врожденные способности. Выдумка его — все равно что Институты красоты: женщинам всегда будет хотеться быть красивыми, даже когда им нечего будет есть. Да и мужчины не отстают от них — им всегда хочется слыть умными, блистательными, шикарными. Повторяю — папина идея сногшибательна.

Лоран не проронил ни слова, и Жозеф, взглянув на него сбоку, продолжал:

— Должен сказать, что мне хочется на этот раз как следует помочь отцу, — да, финансировать ею идею, оказать ему серьезную поддержку.

Лоран продолжал шагать и словно не слышал брата.

— Да, я знаю, ты никогда не любил папу, — сказал Жозеф проникновенно. — Ты сердит на него. Старая обида. У тебя против него зуб. Не спорь.

Лоран на ходу пожал плечами и промолчал.

— Поначалу, — продолжал Жозеф, — я хотел тебя попросить помочь мне, раз речь идет о так называемом добром деле. Я хотел, чтобы ты, так сказать, принял участие в расходах. А теперь мне все ясно. К тому же знаю, что ты без гроша. Согласись, однако, малыш, что ты потратил час своего драгоценного времени не зря.

Лоран резко остановился и протянул брату руку.

— Мне на Берлинскую, — сказал он. — До свидания, Жозеф.

— Уже, уже? — молвил Жозеф с досадой, — А я рассчитывал, что мы пойдем ко мне и вместе пообедаем. Насчет того, чтобы улизнуть — это ты мастер. Наставлений тебе не требуется. Что ж, до свидания, друг мой.

Не успел Лоран пройти и десяти шагов по Берлинской улице, как услышал за спиной торопливые шаги.

— погоди, — говорил Жозеф, запыхавшись. — Я захотел спросить тебя кое о чем. Как, по-твоему, — будет война?

— Какая война?

— И ты еще спрашиваешь! С Германией, старик, — как всегда, как всегда. Ты в каком чине?

— Брось, — пробурчал Лоран. — Еще недавно ты говорил, что войны не будет.

— Все меняется на свете. А вот ваш брат, ученый, остается все таким же. Ни о чем не думает. Если бы ты умел читать газеты между строк, а то и самые строки, так заметил бы, что тревожным признакам несть числа: австрийский император болен, английский король едет в Париж. А зачем? Это ясно как день. Видел, что происходит в мире? Итальянцы, австрийцы и немцы сговариваются, как воры на ярмарке. Они заявили, что между их правительствами полное единство взглядов. Все это сулит взрыв. Французская рента упала до 86,57. В этих делах я кое-что смыслю и говорю тебе: будь начеку! Ты не слушаешь. Напрасно. Тем хуже для тебя, старина. Совесть моя чиста — я тебя предупредил.

Глава IV

Первое письмо к Жюстену Вейлю. Взгляд на сунин и инфинитив. Профсоюз и понятие качества. Ипполит Биро. Ничтожный повод к ссоре. Шпик в штатском, кабатчик и торговец коврами. Господин всезнайка. Г-н Лармина и «профекция». День образцового сотрудника. Скромные служители святилища. Параллель между романской психологией и психологией славянских писателей. Запрос относительно Иасента Беллека

Любезный старина Жюстен, я знаю тебя уже двадцать лет. Это невозможно вообразить себе! — как сказал бы мой батюшка, обладающий богатым воображением и поэтому особенно восторгающийся всем, чего он не может вообразить в одиночку. В моей жизни у же

нашлось место для такого значительного явления, как двадцатилетняя дружба. Лет двадцать тому назад, как-то вечером, мы вышли из лица Генриха IV, и ты на площади Пантеона принялся объяснять мне, что французские слова, в корне которых лежит латинский глагол, образовались, в основном, из супина, а не из инфинитива и не из индикатива, как думают легковверные люди. Ни один профессор не обратил моего внимания на эту филологическую истину. С того памятного дня я стал относиться к твоим познаниям с уважением, граничащим с восторгом. Долгие годы дружбы, уважения, восторг — все это дает мне право сказать тебе, что когда речь заходит о моих политических убеждениях — прибегаю к стилю Жюстена Вейля, — ты начинаешь рассуждать как чурбан. У меня никогда не было политических убеждений, у меня нет политических убеждений и, надеюсь, в будущем также не появится никаких политических убеждений. В отношении проблем, которые ставит передо мною жизнь, я рассчитываю руководствоваться только простыми человеческими убеждениями. Вот тебе! Удар сокрушительный. Даю тебе девять секунд, чтобы прийти в себя.

Ты заражен болезнью гражданственности; ты хочешь доказать, что мысль твоя и поступки следуют единой, твердо определившейся линии... «Граждане, каким я был при правительстве Гриви, таким я и остаюсь...» — и т. д. и т. п. К счастью для тебя, к счастью для тех, кто тебя любит, ты полон очаровательных противоречий. Три года тому назад ты говорил: «Я никогда не сделаюсь журналистом. Я предпочитаю остаться бедным поэтом, чем превратиться в преуспевающего журналиста». Друзья предложили тебе пост главного редактора благороднейшей, могущественнейшей газетки «Пробуждение Запада», и ты немедленно согласился. И для этого у тебя нашлись такие убедительные доводы, что я сам посоветовал тебе согласиться. Ты расстался со мною ради Нижней Луары, которую ты, человек неисчислимых добродетелей, конечно, выведешь из ее упадочного состояния. Летом 1910 года ты говорил: «Я, пожалуй, займусь политической деятельностью, однако никогда не примкну ни к какой партии». Милый старый болтун! Ты был принят Жоресом; полтора часа приватной беседы, — да, не угодно ли, — и на другой же день ты записался в объединенную социалистическую партию. Не

бесись! Не рви моего письма! Таков ты есть, таким я тебя люблю! И я мог бы продолжить свою филиппику. Когда нам было по двадцать лет, ты говорил мне, захлабываясь, со слезами на глазах: «Убежденность! Главное — убежденность!» Потом мы отправились в наше «Бьеврское Уединение» и, как многие другие, попробовали жить в своего рода фаланстере, а когда уехали оттуда, ты стал бить кулаком по столу и кричать: «Власть! Я признаю только власть!» Теперь мы снова вернулись к елейности, к проповедничеству. Ты мне пишешь: «Будь кротким, осмотрительным и справедливым». А по какому поводу разразился ты, милый мой наставник, этим пастырским посланием? По поводу истории, о которой ты почти что ничего не знаешь и о которой я имел осторожность несколько упомянуть в последних строках своего письма.

Это дает мне основание предполагать, мой старый собрат, что политика окончательно вскружила тебе голову и ты теперь легко бросаешься в рискованные обобщения. Плохой работник — просто плохой работник, и ничего больше. Плохой работник не народ — он язва народа, его горе. Я восторгаюсь некоторыми успехами профсоюзов, но с условием, чтобы они никогда не пренебрегали понятием качества, чтобы они к яблокам никогда не подбавляли камней.

Плохой лаборант совсем иное дело, чем плохой рабочий; это своего рода предатель, которого ученые, и без того уже опасавшиеся возможных ошибок, должны особенно остерегаться.

Я тебе писал, что Биро — плохой сотрудник. В ответ на это ты, существо чувствительное, призываешь меня к снисходительности. Этого и следовало от тебя ожидать. Наша старая дружба напоминает жизнь старой супружеской четы. Ты постоянно заботишься о том, чтобы не нарушалось равновесие. Когда я в изнеможении, ты говоришь мне: «Бодрее!» — а когда я бодр, говоришь: «Спокойнее!» Прелесть! Я сказал тебе просто так, мимоходом, что мой новый лаборант никчемный человек, — сказал просто так, почти без комментариев, — а ты отвечаешь мне целой тирадой, да еще лирической, о взаимоотношениях труда и капитала. Все это у тебя сильно преувеличено, прежде всего потому, что я ни в коей мере не являюсь представителем капитала, а Ипполит Биро работает еще слишком мало времени и слишком плохо

и, следовательно, недостойн играть роли символической фигуры в этом бурном поединке.

Я, быть может, отнесся бы к Биро, недостойному поводу нашего спора, снисходительнее, не будь он мне рекомендован, даже навязан тупицей Лармина, моим директором.

Недели полторы тому назад г-н Лармина сообщил мне, что нашел для меня идеального сотрудника и что эта из ряда вон выходящая личность ранее служила у Дуссерена, одного из профессоров Сорбонны. Ипполит Биро явился в тот же день, утром. Я шел из ресторана, где позавтракал в одиночестве. Могу заверить тебя, что я был совершенно спокоен и желудок у меня был в полном порядке: за тринадцать лет харчевни еще не повредили мне. Словом, я собирался приняться за работу, как кто-то постучался в дверь. Появляется довольно полный господин, лет сорока пяти, точно не скажу, с каким-то свертком в газетной бумаге под мышкой; на голове у него котелок, но похожий не столько на великолепную тиару моего брата Жозефа, сколько на прелестный головной убор шпиков в штатском. В дополнение к начертанному образу следует добавить пару внушительных башмаков, подбитых гвоздями. Затем субъект входит, затворяет дверь, снимает котелок, и на лице его появляется улыбка. Я быстро оглядываю его и вижу пышные свисающие усы, волосы жидкие, но длинноватые, напомаженные и зачесанные назад, щеки в красных прожилках, солидное брюшко, полоску рубашки между брюками и жилетом, и впечатление мое меняется: это не типичный шпик, а типичный кабатчик. Человек снова улыбается, причем в улыбке его непонятным образом блестит помада, увлажняющая его шевелюру. Я решаю: «Это коммивояжер. Собирается предложить мне белье или какие-нибудь мази для ухода за металлическими изделиями. Как этого молодца пропустили ко мне?» Тут следует третья улыбка, и вместе с тем незнакомец начинает так моргать, что я думаю: «Это не из сыскайной и не трактирщик, а торговец коврами». Спрашиваю:

— Что вам угодно?

Посетитель кланяется и говорит:

— Вот и я. Ваш новый лаборант.

Должен признаться, первое впечатление мое было не из особенно приятных. Я уже две недели жду лаборан-

та, лаборант мне крайне нужен. Я подумал только: «Так вот он! Что ж, тем хуже». Все же я сказал ему какую-то любезность, нечто вроде «добро пожаловать» — уж не помню что. И даже весьма дружелюбно добавил: «Когда же вы приступите к работе?» На это опять последовала улыбка:

— Сегодня же, дорогой мэтр.

Я покраснел. Во-первых, я не в том возрасте, когда заслуживаешь, чтобы тебя называли мэтром. Во-вторых, в нашей среде это отнюдь не принято. Никогда, ни при каких обстоятельствах лаборант не называет своего начальника «дорогим мэтром». Повторяю: я покраснел. И тотчас же я заметил, что субъект взирает на мой румянец с любопытством, которое мне определенно не понравилось. Я ответил резковато:

— Я попросил бы вас не называть меня «дорогой мэтр».

Малый поджал губы с обиженным видом, потом лошадиному пошевелил ушами и сказал:

— Очень жаль! Очень жаль! Я говорил так, чтобы выразить уважение. Как же мне к вам обращаться?

— Просто «мосье», так и обращайтесь.

— Слушаю-с, мосье.

Полминуты холодка, во время коей я расстегиваю и застегиваю халат. Потом решаюсь возобновить беседу:

— Как вас зовут?

На лице субъекта появляется напомаженная улыбочка, и он отвечает, сложив губы сердечком:

— Биро... Ипполит Биро.

Я наклоняю голову с сосредоточенным видом, как человек, старающийся тщательно запечатлеть нечто в памяти, как вдруг малый добавляет:

— Ипполитом меня не зовут, меня зовут Бобом, всегда меня звали Бобом.

Я сделал легкий отрицательный жест головой, однако ничего не возразил. Панибратства я не выношу.

Я поспешил сказать:

— Подите наденьте халат. Гардероб здесь, слева. А затем я покажу вам лабораторию.

Ипполит Биро поклонился, сделав жест котелком, и опять-таки выдавил улыбку, которую я теперь хорошо знаю, но все же переношу с трудом. Это улыбочка ироническая и снисходительная, улыбочка говорящая: «Вы

доктор, заведующий лабораторией и т. п.; но я старше вас, я в тысячу раз опытнее вас. Я согласен быть образцом вежливости, но вынужден считать вас мальчишкой».

Из гардеробной слышно было, как он передвигается и сопит, словно буйвол. Потом донесся какой-то необычный звук, словно на пол бросили снятые с ног башмаки, потом опять последовали стенания и вздохи. Наконец, дверь гардеробной распахнулась, и предо мной предстал господин Биро в жилетке без пиджака, в домашних туфлях и синем фартуке — настоящем фартуке трактирщика.

— Почему вы не надели халат? Он должен быть вам в пору.

Биро решительным тоном отвечает:

— Я никогда не ношу халат — принципиально. Достаточно фартука.

Заметив, что взгляд мой задержался на его туфлях, он опять улыбнулся:

— Башмаки очень топчут. В лаборатории нужна тишина.

Я промолчал. Чем объяснить, друг мой, что я не осмелился что-либо возразить ему? Мысль, что возле меня целыми днями будет помощник, выраженный под кабатчика, была мне прямо-таки нестерпима. У меня мелькнула подловатая мысль: «Поживем — увидим».

Я стал показывать ему лабораторию. Должен сказать тебе, Жюстен, что состоящий при мне лаборант никогда не уходит из того помещения, где я обычно нахожусь и где ты неоднократно навещал меня. Ему нечего делать, например, в отделении сыворток, которое находится в моем же ведении, но в совершенно отдельном флигеле. Водя новичка по лаборатории, я говорил себе, что не следует чересчур доверяться первому впечатлению, что молодцы типа Биро порою оказываются образцами преданности, что всегда необходимо приладиться друг к другу и тут требуется время. Словом, я старался успокоиться.

Сначала я показал ему свою личную лабораторию. Я объяснял:

— Здесь центрифуги. Обратите внимание на эту, она вмещает целый литр жидкости и вращается с большой скоростью...

Господин Биро улыбался своей, если можно так вы-

разиться, напомаженной шевелюрой и невозмутимо под-
дакивал:

— Да, да, знаю. Будьте покойны! Продолжайте, продолжайте. Все это мне привычно.

Он осматривал сушильные шкафы новейшей конструкции и подпевал:

— Так, так. Я не сторонник подобных новшеств. Я предпочитаю, как у господина Дуссерена. Но ничего, приспособимся.

Ипполит Биро долго рассматривал подсобный виварий, где содержатся подопытные животные; здесь за ними ведется постоянное наблюдение. Он говорил:

— Поди ж ты! Вот у вас здесь какие порядки! Чудно! У нас, я хочу сказать, у господина Дуссерена, это делается иначе. Мне больше нравится, как у господина Дуссерена.

Обход продолжался. У Биро был такой вид, словно он ревизор. Он советовал:

— На вашем месте я ставил бы ведро для мусора в этот угол. Это неудобно... На вашем месте я поставил бы кипятильники под вытяжной колпак, как у профессора Дуссерена, принимая во внимание пары.

Потом неожиданно изрек:

— Профессор Дуссерен — вот, что ни говори, настоящий ученый!

Мне хотелось ответить: «Почему же вы не остались у профессора Дуссерена?» — но я этого не сказал, не решился. Мы переходили из комнаты в комнату, и каждый раз, как только я начинал что-то объяснять, он бубнил все то же:

— Говорю вам, это мне не в новинку. Будьте покойны! Продолжайте, продолжайте.

Мы спустились в отделение вакцин, где у меня двое хороших сотрудников и где у моего личного лаборанта всегда тысяча дел. Я сказал очень строго:

— То, чем здесь занимаются, господин Биро, требует исключительной добросовестности.

Он принял обычный свой полунасмешливый, полубиженный вид и ответил:

— Что касается добросовестности, так мне никто не страшен.

Затем он опять стал давать мне советы. Я не так уж щепетилен в вопросах иерархии, однако в некоторых случаях все же уязвим. Я уже лет шесть-семь специа-

лизируюсь в вопросах, касающихся пневмококка и антипневмонийных вакцин. Г-н Биро дал мне понять, что по части пневмококка ему известно все, что вообще доступно человеку. Тираду свою он подкреплял бесчисленными «дорогой мой мосье» и не столь бесчисленными «продолжайте, продолжайте».

Что же тебе еще сказать? В тот вечер, уходя домой, я встретил в садике очаровательного г-на Лармина, моего директора. Он спросил:

— Вы беседовали с новым лаборантом? Это первоклассный работник.

Я ответил:

— Возможно, господин директор. Время покажет.

Господин Лармина смачно добавил мне вдогонку:

— Прямо-таки удивительно, но я получил о нем три или четыре письма. У него влиятельная протекция.

Когда г-н Лармина заводит речь о том, что он имеет протекцией, глаза у него увлажняются и сотни доверчивых морщинок тут и там появляются на его лице, еще не изборожденном морщинами естественными. В довершение нелепости г-н Лармина произносит «профекция», «у него фляфельная профекция», так что слово «протекция», и без того противное, становится уже совсем несносным.

Любезный друг мой, старина Жюстен! Вот уже — десять дней, как Ипполит Биро работает под моим началом. Я выражаюсь весьма смело, ибо г-н Биро не принимает никаких распоряжений решительно ни от кого. Десять дней! Я начинаю привыкать к аромату его тувель, оставляющих на плиточном полу широкие влажные следы. Привыкнуть к его улыбке мне труднее.

Утром он опаздывает на службу минут на десять — пятнадцать. Я уже давно за работой. Мне слышно, как он ворчит:

— Ташиться в моем возрасте через весь Париж ради ничтожного жалованья просто горе. Если мадам Боб не будет возражать, я в конце концов перееду на другую квартиру.

Он с тяжкими вздохами раздевается, снимает обувь. Закончив эту процедуру, он выражает свою радость, как курица, снесшая яйцо. Обычно он начинает насвистывать «Миссури», «Sole mio»¹ и «На берегах Ривьеры».

¹ Солнышко мое (итал.).

Я хотел было запретить ему эти развлечения. Подумав, я ничего не сказал. Утешаюсь мыслью, что чуточку свободы, веселья не повредит дисциплине. Чистейший софизм! Я молчу только от недостатка смелости. К тому же говорить о веселости г-на Биро невозможно: я не знаю ничего мрачнее этого персонажа.

Мне хотелось проверить — что он умеет? Я просил его заготовить мне пипетки — это детское поручение для человека его профессии. Он разбил несколько метров трубок, не изготовив ни одной приличной пипетки. Я у него спросил:

— Вы умеете обращаться со стеклом?

Он ответил:

— Я умел обращаться с ним, дорогой мосье, еще тогда, когда вы были грудным младенцем.

Тем не менее все пипетки пришлось выбросить. Он раз по двадцать в день говорит мне с торжествующей скромностью:

— Надеюсь, вы довольны моей работой? Таких, как Биро, на мостовой не подберешь.

Я тщательно наблюдаю за ним. Я все боюсь, как бы он не наделал бед. Одно меня успокаивает — он вообще мало что делает. Взглянешь на него и видишь — он все отдыхает: то в голове почесывает, то поясницу поглаживает, то папироску свертывает, а то и вовсе газету читает или без конца чинит мои карандаши. Он мало что делает, зато любит переставлять вещи с места на место, и мне приходится наводить за ним порядок. Будь у меня еще один такой сотрудник, так для работы у меня совсем не оставалось бы времени. Он жалуется на ревматизм. Когда приходится ходить с этажа на этаж, у него, по его словам, болят ноги, а когда нужно перенести какую-нибудь тяжесть, оказывается, что болят руки. Он обращается ко мне и стонет:

— Сделайте такую милость, помогите мне чуточку!

Тогда я несу вместо него то, что он должен был бы нести вместо меня. И получается скорее. Вчера он, стая, попросил меня помочь ему надеть пальто. Я помог, потому что жалею больных. Во время этой операции с лица его не сходила такая занятная улыбочка, что я почувствовал себя дураком. Когда он сидит, он зачастую обращается ко мне: «Подайте мне кристаллизатор, дорогой мосье. Простите, тысяча извинений — это все из-за

ног...» Я подаю кристаллизатор. Возможно, что у него и в самом деле болят ноги. Однако стоит только в конце рабочего дня зазвучать звонку, как к нему чудесным образом возвращается подвижность. Время от времени он издает какие-то подозрительные звуки. Тогда он спешит двинуть стулом или принимается громко петь, чтобы отвлечь внимание.

Он то и дело выходит из комнаты. Если спросишь — куда он направляется, он отвечает с непередаваемой напыщенной улыбкой:

— Иду облегчиться.

А иногда добавляет, смеясь:

— Иду на своих на двоих.

Если же он не в духе, то поднимает вверх указательный палец и загробным голосом говорит:

— А простата! Вы забываете о простате, дорогой мосье. Видно, простата вас не беспокоит.

В десять утра и в четыре пополудни г-н Биро закусывает. Он варит себе еду на одной из моих бунзеновых горелок. Однажды он вздумал жарить лук. Я готов был завывать! И все же промолчал! Вероятно, я и бледнел и багровел. Почувствовав, что я недоволен и сердит, он пробормотал, сложив губы сердечком:

— Но надо же поесть, дорогой мосье.

Возразить на это было нечего. Но запах жареного лука и какого-то варева в моей лаборатории! Мне это представляется прямо-таки кошунством!

Иной раз он подходит ко мне, чтобы посмотреть, что я делаю. Он становится у меня за спиной — чего я не выношу — и вдруг любезнейшим тоном спрашивает:

— Что это вы тут варганите?

«Варганите!»! Что за выражение! Он чувствует, что я не понимаю и переводит:

— Ну, валякаете, что ли...

Я молчу. Г-н Биро напускает на себя обиженный вид.

Словом, у меня все время такое чувство, что я делаю все не так. Г-н Биро своим видом, своими замечаниями беспрестанно дает мне понять, что я начальник чопорный, суровый, надутый, чуждый человечности и радушия. Согласись, что это довольно тяжело.

На днях я отправился в Сорбонну. Я хотел поговорить с профессором Дуссереном и конфиденциально расспросить его о Биро. Как назло, профессор Дуссе-

рен сейчас в Южной Америке. Я застал только Жильбера Ансома. Он мне сказал: «Ах, так вам достался этот молодец?» Он расхохотался и тут же убежал — его позвали к телефону. Я не решился возобновить разговор. Но схожу туда опять.

Меня часто навещает Вьюом. Вьюом — прелесть. Вчера он посмотрел на Биро и сказал мне:

— У тебя ангельское терпение. Я давно вышвырнул бы такого субъекта вон.

Но не могу же я прибегнуть к такой мере только потому, что он мне не нравится.

Я не стал бы заводить с тобою разговор об этом странном... сотруднике, если бы ты не изводил меня — именно не изводил бы! — своими советами, укорами, социальными соображениями, которыми полным-полно твое послание.

Если ты хочешь хоть немного вникнуть в мелкие дразги, о которых я зря так подробно тебе пишу, тебе следует узнать, что, по нашему мнению, должен представлять собою лаборант, действительно достойный своей должности. Великие ученые вроде Пастера, Рише, Бертело окружены толпою восторженных учеников, которые только и думают что о пользе делу. Возле этих ученых всегда находятся люди, готовые, если понадобится, провести без сна хоть десять ночей, не уходить обедать, пока не закончится реакция, предложить собственную шкуру для опасной прививки, часами вести наблюдение за подопытными животными, чтобы описать симптомы какой-нибудь инфекции. Такую роль выполняют ученики, которые сами по себе уже крупные ученые. Таков Ру, скрывающийся в тени своего знаменитого учителя. Но чтобы все шло удачно, даже в прославленных лабораториях, нужны добросовестные труженики, честные безвестные люди, которых никогда не коснется слава и которые выполняют то, чего не могут или не умеют выполнять сами ученые; они необходимы, как необходим камень для постройки, вода для водопровода, пламя для газовой плиты. Для нас, скромных искателей, для нас, начинающих, которые еще вчера действовали в лучах славы наших учителей, лаборант нечто гораздо большее, чем просто служитель: он равен секретарю, это друг, это очевидец, иной раз он — частица нашей совести.

Охотно признаю, что труд его оплачивается недостаточно. К тому же труд этот небезопасен — вспомни бед-

ную Катрин Удуар, которой следовало бы поставить памятник — как безымянной мученице. Подобно тем, кто ухаживает за больными, работники лабораторий должны знать, что они делают. Конечно, тут, как и повсюду, встречаются заблуждающиеся люди, оказавшиеся здесь случайно или по недоразумению, такие, которые просто нуждались в заработке и взялись за первое попавшееся ремесло. Таким должно быть не по себе среди нас, и они в конце концов уходят, чтобы искать счастья в другом месте. С нами остаются те, которые отмечены для этого свыше. Эти прекрасно понимают, что их имена никогда не будут высечены на мраморных досках институтов и академий. Но они знают, что без них наука зачахнет, и они преисполняются вполне законной гордостью; эту гордость они не выставляют напоказ, но мы ее уважаем и считаемся с нею.

В больнице Сен-Луи, когда я работал там под руководством старика Аллопо, служил санитар по имени Гастон, с которым врач всегда советовался в трудных вопросах диагностики; Гастон высказывал свое мнение — высказывал решительно, не колеблясь, и притом почти никогда не ошибался. В лаборатории Рено Сансье служил некий овернец — я даже забыл, как его звали, а это с моей стороны уже прямая неблагодарность. Он умел не только выбирать анатомический материал, делать срезы, окрашивать их — это не так уж хитро, — но он рассматривал срезы под микроскопом и говорил, качая головой: «Тут саркома, да еще очень явная». И говорил он не зря.

Если мы таких людей и зовем просто по имени, то мы всегда высоко ценим и уважаем их, считая их своими сотрудниками. Таких в наше отсутствие можно поставить вместо себя и поручить им сделать в определенный час определенную инъекцию или операцию. Мы питаем к ним тем большее доверие, что нам известно их полнейшее бескорыстие. Пойми это правильно: слово «бескорыстие» лишено малейшего оттенка иронии. Это благородное слово обозначает, что такие преданные помощники не стремятся извлечь какую-нибудь пользу для себя лично из того, что мы им поручаем сделать: они трудятся, они выполняют свой долг. Попадают среди них, конечно, и люди непокладистые, но мы все прощаем им, ценя их достоинства. Они знают, что, занявшись чем-нибудь другим, поступив, например, на завод, они могли бы зарабатывать несколь-

ко больше при меньшей затрате времени. И если они все же остаются у нас, так потому, что, невзирая на свое подчиненное положение и на всяческие отрицательные моменты, они считают, что жизнь возле нас прекрасна, почетна, словом, что она проходит не зря. Вот, друг мой любезный, что такое настоящие работники лабораторий. Остальные же — всего лишь поденщики, чернорабочие или, если хочешь, простые наемники.

Перед тобою я не робею, Жюстен; зато я чертовски робею перед наглецами, перед всеми этими Биро, Лармина, Жозефами... А весь свет полнится наглецами. На днях Жозеф обратил мое внимание на то, что я, как ребенок, краснею из-за всякого пустяка. Говорить мне об этом было не особенно великодушно, потому что я никогда не думал об этой своей злополучной способности, а теперь не могу не думать о ней. И вот — стоит мне только вспомнить об этом, как я краснею, даже наедине, даже безо всякого повода. Мускулами своими управлять можно, кровеносные же сосуды, так же как и мысли и образы, нам не подвластны. Вот в чем секрет застенчивости.

Хочу сказать тебе еще кое-что насчет Жозефа; мне приятно закончить это горьковатое письмо чем-то более приятным, более человеческим.

Родитель мой пустился в новую затею. Мне недосуг подробно объяснять тебе, в чем именно заключается эта сногшибательная затея. Как ни странно это тебе покажется, новая его причуда имеет некоторое отношение к застенчивости... Нет, нет, речь идет не о папиной застенчивости, а о застенчивости вообще, о застенчивости, рассматриваемой с точки зрения патологии. Не пытайся понять, в чем тут дело, это чрезвычайно сложно; мы спокойно обсудим вопрос, когда ты будешь в Париже. Знай, однако, что затея отца требует для своего осуществления немалых денег — по меньшей мере тысяч десять—двенадцать. И знаешь, кто ссудит отцу эти деньги? Нипочем не угадаешь. Жозеф. Вопрос на днях решится окончательно, но все делается в строжайшем секрете. Впервые Жозеф, мой брат, собирается совершить поступок, который, по-видимому, диктуется не только алчностью. Он делает вид, будто просто хочет поддержать человека, и твердит, что с финансовой точки зрения уверен в том, что делает, что папина идея представляется ему превосходной, что финансирование такого дела вполне рентабельно — именно так он говорит. Так он говорит, но последнее время я

замечаю в нем нечто странное. Не скажу, что он стал доверчивее, чувствительнее — это было бы преувеличением, — но он стал менее агрессивен. При случае он заговаривает о некоторых нравственных ценностях. Он говорит о них языком биржевика, а все-таки говорит. Поразительно! Сначала я подумал, что, собрав за последние пятнадцать лет поистине огромное состояние и накопив множество материальных благ, он начинает присматриваться к благам духовным и не теряет надежды запастись кое-какими из них по сходной цене. Предположение мое не лишено смысла, но, может быть, все объясняется гораздо проще.

Мы воспитаны психологией романских классиков. Психологией страшной! Нам втолковали, что характеры людей неизменны, непреклонны или, лучше сказать, необратимы. По-видимому, это слишком отвлеченно теоретично. Я года два-три читаю произведения русских писателей и глубоко потрясен. Не думай, что одних книг достаточно, чтобы изменить мое мнение о людях. Мной руководит и на меня влияет прежде всего сама жизнь. Отец долгое время представлялся мне образцом характера в классическом духе. Мысль о том, что он может в какой-то мере стать мягче, покориться, измениться, казалась мне безумной. Думая о нем, я восклицал: «Это стена!» И вот, последние два-три года я отмечаю в нем глубокие перемены. Он становится мягче, мудрее и даже благоразумнее, невзирая на все свои бредни. Я из принципа продолжаю дуться на него, даю ему понять, что обижен; но случается, что я готов сдаться, случается, что он кажется мне почти очаровательным, и тогда я начинаю укорять себя в неправильном к нему отношении. Быть может, я был чересчур суров, чересчур строг, чересчур требователен, как ты мне иной раз говорил. Жозеф утверждает, будто у папы не менее двух побочных семей, и даже приводит адреса. Возможно, что Жозеф преувеличивает.

Как видишь, я готов подписать мирный договор, готов раскрыть объятия и пасть на колени.

Иногда мне кажется, что и Жозеф стал лучше, даже более того — возвышеннее. Поверишь ли? Даже Фердинан в некоторых случаях представляется мне теперь сердечнее, живее, откровеннее, словом, мне кажется, что он стал лучше, чем был. В такие дни я жестоко упрекаю себя; я был, несомненно, излишне строг и требователен по отношению к ним; я, быть может, любил их сначала

любовью слепой, неловкой и опасной. И, вероятно, раздражал их этим. Люди безразличные — мудрецы.

Одно-единственное существо в нашем клане, представляется мне, не может измениться. Это моя мать. Душа ее незыблема, хотя телом она заметно стареет. На днях я разглядел ее лицо близко, очень близко. Я с трудом узнал его. Я испугался. Передо мною оказалась очень старая женщина. Иной раз мне приходит в голову мысль, что она в одиночку несет на себе весь груз старости — да, и за себя, и за своего сумасбродного супруга.

Довольно на сегодня, дорогой мой частный поверенный! Однако еще словечко. Ты хорошо знаешь социалистическую партию, политику социалистов, социалистическую среду, а известно ли тебе что-нибудь об Иасенте Беллеке, депутате, главном редакторе «Народного вестника»? Гони от себя безумные надежды. Не воображай, например, будто я поддаюсь соблазнам общественной деятельности. Нет, нет. Я немного знаком с м-ль Беллек, это замечательная девушка. Мне хотелось бы узнать что-нибудь о папаше Беллеке; я его никогда не видел, но издали он мне кажется довольно узким сектантом. Я не хочу сказать, что робею перед ним, ибо я поклялся излечиться от застенчивости, излечиться собственными силами. Со временем объясню тебе, почему застенчивость так занимает меня сейчас.

Прощай. Береги себя для тех, кто тебя любит!

Твой Лоран.

25 мая 1914 г.

Глава V

Оптимистические рассуждения насчет лестниц в соборах. Благоразумное намерение. Даже самые большие города в мире небезграничны. Ваятели пространства. Ориентиры в хаосе. Как бог внимлет земному шуму. Царство Жаклины. Труднее ли подчиняться, чем повелевать? Клан Паскье и дух злобы

Лестница становилась все уже и темнее, и Лоран самым непринужденным тоном спросил:

— Протянуть вам руку, поддержать вас? Требуется помощь?

— Нет, вероятно, не понадобится. Я хорошо знаю такие лестницы. Когда чувствуешь себя уж совсем растерянной, всегда появляется утешительный проблеск света. Как в жизни.

— Как в жизни! — повторил Лоран. — Значит, вы не из числа унывающих?

— Конечно, нет. Я всегда уверена, что в пору самого мрачного отчаяния мне будет ниспослан свет.

— Кем?

Девушка остановилась, перевела дух и очень быстро проговорила:

— Я объясню это вам позже. Вот видите — я не ошиблась — виднеется просвет.

Она снова стала подниматься по ступенькам. Еще несколько мгновений, и молодые люди оказались на самом верху башни.

— Ах, как красиво! — воскликнула Жакина. — Вот и вознаграждение!

— Да, зрелище невероятное, восхитительное. Когда я в первый раз поднялся сюда один, я пришел в такой восторг, я был так рад, почувствовал такое умиротворение, что сразу же решил подниматься сюда каждый день и проводить здесь минут пять — не больше, чтобы заглянуть себе в душу и стать со вселенной лицом к лицу. Я жил тогда здесь по соседству, почти что в тени Нотр-Дам, так что решение мое не было безрассудно. К сожалению, на следующий день у меня не нашлось свободных четверти часа на подъем, размышление и спуск. Да не нашлось их ни на другой день, ни в последующие. Я подумал: буду молиться на башне только раз в неделю. Я это твердо решил. Но обстоятельства складываются не всегда так, как хотелось бы...

— И что же?

— И вот я не взбирался сюда больше десяти лет! Если мне удастся подняться под конец жизни еще пять-шесть раз, у меня уже не будет оснований жаловаться.

— А ведь эта история наводит на тревожную мысль, — сказала Жакина. — Значит, вы не исполняете своих обещаний?

— В ответ на такой вопрос я промолчу. Попрошу вас только подняться еще выше.

— Куда же выше? На облака?

— На свинцовую крышу. Она кажется очень покатой, однако прекрасно пристает к ногам. Пойдемте, не бой-

тесь. Крепко ухватитесь рукой за громоотвод. А теперь дышите, любуйтесь Парижем. И слушайте, потому что мощный трудовой гул, несущийся с низу, — это дыхание и веяние Парижа. Париж — огромный город. Если бы он простирался среди обширной равнины, как многие большие города, то ему не было бы предела; а тут вы почти со всех сторон можете различить зеленые холмы, поля. Какой отличный урок скромности! Париж не может упиваться своим величием. Когда римляне чествовали какого-нибудь вождя, возле него всегда находился раб, который без умолку твердил: «Не забывай, что ты всего лишь человек!» Славный город торжествует, но деревья и трава миллионами голосов, со всех сторон, напоминают ему, что и самые большие города небезграничны. Всюду растительная сила пробивается сквозь камни и асфальт. Всюду деревья, всюду сады, всюду величественное пустое пространство. Наибольшее величие города не в зданиях, а в свободном пространстве между ними. Великие строители городов — зодчие пространства.

Смеркалось. На западе небосклона вытянулась длинная, широкая грозовая туча, а из-под ее громады вдруг вырвался луч солнца, и всюду брызнули серебряные искры и языки пламени.

— Смотрите, смотрите на реку, если она не ослепляет вас, — сказал Лоран. — Видите? Церкви, стоящие на берегах Сены, отражаются в ней и напоминают корабли, плывущие по течению. Все обращены алтарной частью на восток, а папертями — на запад. Город прежде всего являет нам свои храмы. В Египте, говорят, сохранились только храмы и могилы. Здесь мы прежде всего видим эти молитвы, воплощенные в благородном камне. А все остальное не так убедительно, не так ясно. Да, конечно, есть еще Эйфелева башня. Но это не произведение искусства, это графическая формула, алгебраический знак. Я вижу также Отель-Дьё — он у самых наших ног. Я работал там когда-то, в первые годы ученья. Вижу также Сорбонну, она выделяется своей обсерваторией, похожей на колокольню без шпиля. А вот Института Пастера не вижу — он заслонен нагромождением других зданий. Не вижу и своего Биологического института. Он где-то там, к югу. Он пресмыкается среди страшных реальностей. Он еще не может, как храм, спокойно устремиться к небу. Если внимательно присмотреться, я могу отыскать местоположение школ, где я работал. А что еще я могу обнаружить? Ро-

дательский дом? Это уже не мой дом. Отец слишком часто переезжает с места на место. Родной осталась только мебель. Можно ли думать о каких-то немного нелепых предметах обстановки, когда ищешь в этой каменной безбрежности родную улицу, родной очаг? Присядем, хотите? Тут не бог весть как удобно, но сидя все-таки приятнее смотреть. Обхватите рукой громоотвод.

Последовало долгое молчание, и в это время из глубин слышался уже не глухой рокот, но тысячи шумов, тысячи раздельных, отчетливых звуков. Доносился грохот каждого экипажа, топот каждой лошади, шаги каждого пешехода, крик каждого торговца, голос матери, зовущей ребенка, свист какой-то машины, скрип затворяющей двери, рычание мотора, вздохи скрипки, звон колокола, быть может, даже звук оброненной монеты, и вдруг долетали тоненькие голоса детей, игравших в епархиальном саду, их возгласы, песни, отдельные словечки, чуть ли не их дыхание.

— Поразительно! — заметила девушка. — Так, мне кажется, должен слышать бог земные звуки. Он должен, как мы сейчас, различать жалобу одного, гневный голос другого, веселую песнь третьего. Еще бы немного, и я могла бы различить: вот шаги хромого, вот плачет бедняк, вот чиновник торопится, потому что боится, что его уволят, вот мальчуган в первый раз в жизни лжет.

Снова молчание, потом Лоран как-то настойчиво продолжал:

— Этот огромный город, где я провел всю жизнь, имел бы для меня смысл лишь в том случае, если бы я мог точно указать на определенное место в хаосе зданий и сказать: вот мой очаг, вот родной мой дом, сюда устремляются все мои помыслы, к этому благословенному месту обращаюсь я, когда ишу правильный путь.

Теперь Лоран говорил почти шепотом. Девушка вдруг посмотрела ему в лицо — сосредоточенно, строго.

— Недавно вы показали мне свои владения, или, вернее, ваше царство, или даже империю, — сказала она, — видите, я все помню. И отлично сделали. Мне хотелось бы ответить вам тем же. И лучшего случая показать вам свое царство, чем сейчас, уже не представится. Ох, мое царство — далеко, очень далеко! Да вы и не увидите его. Почти все оно скрыто от нас холмом Монмартра. Множество людей, занимающихся благотворительностью, работает в конторах или вяжет белье в мастерских. А на моей

обязанности — навещать нуждающихся. Вы никогда не спрашивали у меня, почему я не нарядна.

— Но, по-моему, вы очень наряжны, Жа к л и н а, — ответил удивленный Л о р а н. — Я не представляю себе вас оде той иначе.

Девушка встала. Смотря на горизонт, она неуверенно протянула вперед руку.

— Мое царство — где-то там, между Сен-Дени и Пьер-фиттом. Вы ученый и к тому же врач, и вам хорошо знакомы людские горести, но вы знаете еще не все. Как-нибудь я вас возьму с собою. Вы что-нибудь понесете. Вы не должны казаться посторонним или просто любопытным. Этого они не любят. Некоторые могли бы оскорбить вас. Они не всегда покладисты. Я мало имею дела с мужчинами, все больше с женщинами, особенно с матерями, которые родили, как животные, на досках, прикрытых соломой; но случается, что младенец все-таки очень хорош, очень мил, с похожим на бархат густым пушком на острой головке. Я вам объясню, в чем моя задача. Сходишь с трамвая на одной из больших улиц. Кажется, город как город, и вдруг оказываешься в каком-то болоте, среди развалин. Иной раз находишь там какой-то непонятный фруктовый сад с персиковыми деревьями в цвету. И тут же рядом — кучи старых банок, просмоленных досок; туда-то мне и надо, оказывается, это дом. Иной раз у них имеется печь, и они что-то в ней состряпали. Нет ничего грустнее холодной жареной картошки, застывшей в сале. Нет ничего грустнее грязной высокой бутылки с прокисшим вином. Она словно подбирается к самому потолку халупы. Нет ничего грустнее бумаги с прилипшими к ней корочками сыра. Нет, неправда, есть много такого, что еще грустнее. Запах от ящика, где спят двое младенцев, больших коклюшем, койка без белья, на которой валяется нечесаная старуха, и нет у нее ни хлеба, ни огня, ни теплого отвара. А ей не раз приносили и сахару, и липового цвета, но за водой надо тащиться чуть ли не полкилометра по черепкам битой посуды и залежам ржавого железа. Не знаю, зачем я вам рассказываю все это.

Лоран снял шляпу.

— Продолжайте, — сказал он упавшим голосом. — Вы очень хорошо говорите.

— Как-нибудь вы пойдете со мною. Когда мне нужно будет нести что-нибудь тяжелое: керосиновую печку, или белье, или ящик сгущенного молока.

Она опять помолчала, взглянула молодому человеку в лицо и сказала совсем просто:

— Понимаете, это прекрасная работа, и, раз познакомившись с ней, я прямо-таки не могу себе представить, как жить без нее.

Она приподняла воротник пальто и, вздрогнув, продолжала:

— Я озябла. Пойдемте, пожалуйста. Еще только разок взгляну. Прекрасно! Я тут впервые. Но я вернусь раньше чем через десять лет.

Она хотела рассмеяться, но губы у нее дрожали. Ее миловидное личико выражало решимость.

И все же немного погодя, когда они стали спускаться по каменным ступеням и вошли в потемки, Лоран услышал бодрый, почти что веселый шепот:

— А теперь дайте мне руку. Как бы не упасть и не испачкаться о стенку.

Лоран в темноте протянул руку и тут же почувствовал ответное горячее, доверчивое пожатие. «Непостижимо, — подумал он. — Ведь только что словами, голосом она сказала «нет». Другое толкование невозможно. А сейчас — я, вероятно, заблуждаюсь — рукой без перчатки, которая крепко сжимает мою руку, она, кажется, говорит совсем иное».

До самого низа молодые люди молчали, и они уже долго шли рядом по тротуару, когда Жаклина спросила:

— Вы чем-то недовольны? У вас озабоченный вид.

Лоран задумчиво покачал головой.

— Да, правда, — сказал он.

И поспешил добавить, стараясь улыбнуться:

— Жизнь дело нелегкое. Раз по десять в день я становлюсь лицом к лицу с проблемами, которые волнуют меня до глубины души, а их надо бы решать просто, не задумываясь. Скажите, вы из тех, которые умеют заставить окружающих служить себе?

Девушка расхохоталась.

— Что за вопрос! Повелевать легче, чем подчиняться.

— Нет, нет, это заблуждение. По крайней мере, для меня.

— У нас дома все это очень просто, — сказала Жаклина. — Я живу с папой. Мама умерла. Я единственная дочь. Прислуга живет у нас уже пятнадцать лет. Отец зовет ее «гражданка» — полушутя, полусерьезно. Отец, как вам известно, старый партийный деятель, социалист, друг

Гэда и Жореса. Я зову нашу служанку Мари, потому что это ее имя. И мы с ней вдвоем делаем то, что от нас требуется.

— Да, я решительно лишен дара упрощать вещи, — сказал Лоран, сжав руки в потешном отчаянии. — Отношения между людьми всегда представляются мне чудовищно сложными. Мой брат Жозеф любит напоминать, что я не создан начальствовать. Возможно. Моего брата Жозефа мало что тревожит. У него старик-секретарь, своего рода опустившаяся богема, которого он держит в страхе, как раба, и это длится уже несколько лет. Такой у него один. Что касается конторщиков, слуг, то их очень много, и он обращается с ними как с собаками, доводит их до отчаяния. Кухарку он держит не дольше месяца. Первую неделю он утверждает, что она — сокровище. На десятый день он начинает поносить ее... другого слова не подберешь. Видеть и слышать это крайне неприятно. Когда Жозеф распекает кого-нибудь в моем присутствии, я краснею от стыда. Мне кажется, что все удары наносятся мне. Простите, все это не может интересовать вас.

— Мне будет, вероятно, особенно интересно то, чего вы еще не сказали, то, о чем вы думаете и что терзает вас, — ответила Жаклина.

Лоран снял шляпу и два-три раза порывисто обмахнулся ею.

— В Институте, — продолжал Лоран, — я часто встречаюсь со служителями, рабочими, служащими. Все они меня знают. Им известно, кто я такой. Они охотно поздоровались бы со мною, но их удерживает гордость, проклятая гордость, потому что они бедные, неуверенные в себе люди и ни к чему не могут относиться просто. Поэтому...

— Поэтому...

— Вполне естественно — я их опережаю. Я первым раскланиваюсь с ними, громко говорю: «Здравствуйте!» И это сразу расковывает их, ободряет. Они становятся моими друзьями. Я решил всегда делать первый шаг на встречу. А вот с проклятым Биро дело не так просто.

— Кто такой Биро?

Лоран сразу насупился.

— Биро, — вскричал он, — это несносный субъект, и если так будет продолжаться, он отравит мне жизнь. Это мерзкая, отвратительная личность.

— Да я не собираюсь спорить с вами, — воскликнула Жаклина, смеясь.

— Биро — мой новый лаборант. Но не будем говорить о нем, прошу вас.

— У меня нет ни малейшего желания говорить о нем — я его не знаю. Я никогда не видела его.

— Простите! Вы — само благоразумие! Я очень люблю свою работу, очень доволен своей жизнью. Беспорядок мне глубоко противен.

— Мне кажется, что вы чуть было не утратили обычного хладнокровия, — заметила девушка.

— Возможно. Со мной это случается редко; но, возможно, что вы правы. Вы не знаете, что всем нам, Паскье, приходится считаться с духом злобы! Приходится даже Сесили! Ее прекрасное лицо становится тогда страшным и страдальческим, почти неузнаваемым. Я — самый смиренный из всей семьи, но и мне иной раз не удается сдержаться, я выхожу из себя. Где-то внутри моего существа образуется страшная, разрушительная пустота. Весь мир предстает в другом свете.

— Перестаньте! Подайте мне руку. Скоро стемнеет. Что это за пустынная набережная?

— Это набережная Сен-Бернар. Это Париж моего детства. Вот сад с хищными зверями, как говорила Сесиль; сад, куда я приходил играть, и я даже страдал здесь, когда мне было пятнадцать лет.

— А нельзя ли нам некоторое время идти молча? И помедленнее, хорошо? Поспокойнее.

Глава VI

Господин Лармина не любит склок. Гибель португальского итамма. Злонамеренность, небрежность, пьянство и гордыня. Не превысил ли Лоран свою власть? Расставание с г-ном Биро. Плодотворное размышление. Ку-ку, жив курилка! Служебные записки. Воззвание к миру

Господин Лармина открыл рот и многозначительно кашлянул. Через стол до Лорана донеслось его дыхание, отдававшее гнилыми зубами и гвоздикой.

— Соболаговолите подождать, — сказал старик, — возьмите стул.

Лоран, по-видимому, не был расположен следовать этому совету. Залитый румянцем, взъерошенный, с глазами, в которых вспыхивали лазоревые огоньки, он стоял посреди обширного кабинета перед директорским столом, над которым г-н Лармина вновь склонился, величественно сдерживая свой тик.

Чтобы успокоиться, Лоран принудил себя взглянуть в окно. Автоматический опрыскиватель, вращаясь, разбрасывал капли воды на веселую лужайку, а в образовавшемся вокруг него облачке вспыхивали и гасли все цвета радуги. На траве дрожали капли воды. Поодаль двое садовников разбивали клумбу и высаживали из горшков герань. Лоран несколько минут полюбовался этой мирной картиной, ему стало чуточку легче, и он вновь обратил взгляд на г-на Лармина.

Директор подписывал деловые бумаги. Он отнюдь не торопился, а, наоборот, читал бумаги очень внимательно, затем не спеша подписывал их, старательно завершая подпись всевозможными точками, черточками и замысловатым росчерком. Время от времени он поддавался своему тикю, двумя-тремя рывками выбрасывал правую руку вперед, словно ловя улетающее перо. Затем, справившись со своими мускулами, он опять терпеливо, как старинный миниатюрист, принимался подписывать бумаги. Рука у него была белесая и отечная. На одном из пальцев красовался перстень с печаткой. Г-н Лармина то и дело прочищал свой слуховой канал мизинцем с ногтем жестким, изогнутым и длинным, как у китайского мандарина.

Наконец он отложил в сторону перо, сменил очки, обратил на молодого человека олимпийский взгляд и молвил:

— Слушаю вас.

— Господин директор! Считаю своим долгом доложить вам о серьезной неприятности, случившейся в моей лаборатории, в результате которой я намерен расстаться с одним из моих сотрудников...

— Дальше.

— Как вам известно, я отвечаю за изготовление некоторых вакцин, заказанных нашими иностранными корреспондентами.

Директор спокойно и важно кивнул головой, показывая, что все это он отлично знает.

— Наши португальские заказчики просили в спешном порядке приготовить ампулы с вакциной. Речь идет об

особой форме менингита, вызываемого пневмококком; несколько случаев его зарегистрировано в стране, и, по-видимому, он приобретает характер эпидемии.

— Знаю, з н а ю , — промолвил г-н Лармина, протягивая руку как бы для того, чтобы приложились к его перстню.

— Я затребовал штамм, и мне его доставили в назначенное время, я поддерживаю его путем пассажей на мышах и приготовил две серии по пятьсот ампул, другими словами — две разные вакцины. В одной серии культура ослаблена путем тиндализации, то есть...

— Продолжайте, продолжайте, я все понимаю.

— В другой серии культура ослаблена иодированием. Чтобы долго не распространяться, скажу вам, господин директор, что я только что распорядился уничтожить всю тысячу ампул и что мне приходится все начинать сызнова.

— Почему?

— Операции по тиндализации и иодированию превосходно разработаны и обычно поручаются лаборанту.

— Все это крайне досадно, — сказал г-н Лармина, мрачней.

— Что и говорить, господин директор. Теперь мы сильно запаздываем, и я не уверен, успеем ли к сроку. Вирус, как я уже сказал, сохраняется при помощи пассажей, и за ними должен регулярно следить лаборант. Именно он вводит животным вакцины и наблюдает за ними.

Господин Лармина резким движением отодвинул свое кресло в сторону. Он снял очки и протянул руку в сторону Лорана.

— Погодите, — проворчал о н . — Все это крайне досадно. Терпеть не могу склок.

— Господин директор, все очень просто. Нового лаборанта я наблюдаю уже целый месяц.

Господин Лармина зашагал взад и вперед около письменного стола.

— Вот уже третий раз вы жалуетесь мне на этого сотрудника. Первый раз поводом послужила его манера держаться. Согласитесь, господин Паскье, что это мелочь. Второй раз — память у меня, будьте уверены, отличная — вы обвинили господина Биро в том, будто он похищает лабораторных животных, в частности, кроликов. Мне знакомы такого рода жалобы. В основе их всегда лежат

сплетни, совершенно недостойные хорошо поставленного учреждения.

— Господин директор, я тщательно наблюдал за сотрудником, с которым сейчас расстался...

— С которым вы расстались? Погодите, господин Паскье. Все это представляется мне чрезвычайно неприятным, чрезвычайно прискорбным.

— Я знаю, господин директор, что этот служащий удостоен горячими рекомендациями и пользуется в Институте особым покровительством.

Господин Лармина подскочил.

— Никто, — возразил он величественно, — никто не пользуется здесь особым покровительством, включая и заведующих лабораториями.

— Весьма возможно, господин директор. Позвольте все же обратить ваше внимание, что за последние несколько лет я уже дважды по своему усмотрению уволил негодного сотрудника и не встречал при этом ни малейших возражений.

— Это совсем другое дело. В данном случае человеку предъявляется тяжкое обвинение.

— Вот именно, господин директор, весьма тяжкое. Представьте себе, что я в это время был бы болен и не произвел бы контрольных прививок, какие всегда делаю из предосторожности...

— Разве препарат оказался неактивным?

— Не неактивным, господин директор, а опасным, крайне опасным. Ампулы, которые я незамедлительно уничтожу, убивают мышей за несколько часов, ибо речь идет о вирусе, предварительно сильно активизированном.

— Знаю, з н а ю , — молвил г-н Лармина, подобрав бороду движением, выдававшим крайнюю растерянность. Старик прошелся по комнате и, приблизившись к Лорану, обычным жестом выбросил вперед р у к у . — Прискорбный факт, о котором вы сочли необходимым мне доложить, вы объясняете злонамеренностью?

— Позвольте, господин директор, — воскликнул Лоран, сильно покраснев. — Я не могу предположить, что вы сомневаетесь в уместности моих действий.

Господин Лармина махнул рукой, как бы отгоняя муху.

— Не будемте отклоняться в сторону. Объясняете ли вы действия господина Биро злонамеренностью?

— Нет, разумеется, нет, господин директор.

— Значит, и это уже не так тяжело, вы объясняете их небрежностью?

— Не только.

Старик неожиданно улыбнулся, морщины на его лице разгладились.

— Ни злонамеренность, ни небрежность. Что же тогда? Он пьет?

— Нет, господин директор, не очень, не чрезмерно.

— Ни злонамеренность, ни небрежность. Так что же тут такое?

— Гордыня, господин директор.

— Гордыня?

— Несомненно. Господин Биро, конечно, не имеет в виду причинять вред нашим португальским заказчикам, и ему нет никакого дела до пневмококкового менингита. Господин Биро убежден, что он все знает. Господин Биро из числа тех, кого я не могу ничему научить, и его, несомненно, никому никогда не удастся чему-либо научить. Когда я начинаю объяснять господину Биро какой-нибудь процесс, он не без добродушия отвечает: «Все это мне известно... Это ясно как день... Я выполнял работу и потруднее... Не беспокойтесь».

— Значит, господин Биро в точности следует всем вашим указаниям.

— Я, кажется, объяснил вам, господин директор, что господин Биро воображает, будто он все знает; я сказал, что он не признает ни малейшей дисциплины, делает все, как попало и считает себя при этом большим авторитетом. Я не могу положиться на господина Биро, когда речь идет о мало-мальски ответственной работе.

Господин Лармина сменил очки, поковырял в правом ухе мизинцем с ногтем-лопаточкой и два-три раза проговорил:

— Все это крайне досадно.

— Позвольте обратить ваше внимание, — продолжал Лоран, — на то, что вопрос это не такой уж важный, что служащий, взятый на месячное испытание вполне может быть уволен, если он не удовлетворяет предъявляемым требованиям.

— А знаете ли вы, — внушительно сказал г-н Лармина, — что этот служащий попал ко мне с самыми блестящими рекомендациями?

— Быть может, господин директор, это объясняется тем, что кому-то очень хотелось избавиться от него, сплавив другим.

— Не приписывайте своим коллегам столь низких намерений.

— Господин директор, как вы знаете, я имею возможность через окошко у подъемника наблюдать за своими подчиненными, работающими этажом ниже. Я внимательно следил за господином Биро. У меня о нем совершенно определенное мнение. Кроме того, я за месяц собрал о нем весьма точные справки. У господина Биро, быть может, и отличные рекомендации, но репутация у него дурная.

Старик сидел, задумавшись. Лоран продолжал:

— Помимо потери времени, помимо вероятной утраты португальского штамма, ибо, как я уже сказал, его, должно быть, придется уничтожить, эта досадная история причинит еще и немалый материальный ущерб.

Господин Лармина сделал рукой два-три движения, как бы ловя в воздухе улетающую мысль, и ничего не ответил.

— Я, кажется, заявил вам, господин директор, — вдруг вскричал Лоран, и голос его становился все взволнованнее и громче, — я, кажется, заявил, что я на свою ответственность уволил этого негодного сотрудника.

— Я мог бы ответить вам на это, что вы превысили свою власть, — отчеканил г-н Лармина.

Старик замолчал, украдкой взглянул на Лорана, по видимому, заметил в его ясных голубых глазах назревающую вспышку гнева и молвил, пожав плечами:

— Оставим это. Вы свободны, господин Паскье.

Господин Лармина неукоснительно поддерживал в своем, как он выражался, «доме» военную дисциплину и поэтому охотно прибегал к военным выражениям.

Лоран попрощался, поклонившись, — старик не подал ему руки. Он повернулся и пошел. Он собирался затворить за собою дверь, когда директор весьма торжественно сказал:

— Соболаговолите пригласить этого сотрудника ко мне.

«Уму непостижимо! — думал молодой человек, возвращаясь через сад в лабораторию. — Уму непостижимо! Какое ему, старому крокодилу, до этого дело? Можно подумать, что речь идет о свержении президента Республики».

Лоран вихрем влетел в лабораторию. Он сразу же увидел Биро — тот стоял у стола посреди комнаты и старательно увязывал в большой сверток одежду, газеты, ночные туфли, кастрюли и бутылки.

— Господин Биро, — сказал молодой человек, — по пути зайдите, пожалуйста, в кабинет господина директора.

Затем Лоран сразу же отвернулся и ушел в комнатку, уставленную книгами, которую он называл своим рабочим кабинетом. Из этого убежища он мог, не вставая с места, наблюдать, как Биро расхаживает по лаборатории. Станный субъект не торопился связать свой узел. Он, по обыкновению, то и дело испускал вздохи. У него вырывались стоны и обрывки фраз: «Нет больше уважения! Нет признательности! К чему же распинаться? Одна только неблагодарность...» Связав с грехом пополам узел, он стал у двери и слезливо воскликнул:

— Вы все-таки попроситесь со мной, мой дорогой мосье?

Лоран встал и протянул ему руку.

— Будем откровенны, господин Биро, — сказал он. — После месячного испытательного срока у меня создалось впечатление, что мы с вами не созданы для совместной работы.

Субъект вдруг два-три раза всхлипнул по-театральному.

— Тяжело, — молвил он. — Я уже полюбил вас и начал прощать вам все ваши недостатки.

Лоран два-три раза топнул ногою. Все было ему противно в этой сцене. Он строго сказал:

— Прощайте, мосье.

— Вы все же дадите мне хороший отзыв? — спросил субъект с елейной улыбочкой.

Лоран был так озадачен этим вопросом, что не сразу нашелся что ответить.

— Нет, нет, — сказал он наконец. — Я предпочитаю, в ваших же интересах, не давать вам никакого отзыва. К тому же вы прослужили у меня слишком мало времени.

Биро снова захныкал:

— Грустно, очень грустно так расставаться, мой дорогой мосье. Не поминайте лихом, мой дорогой мосье.

Наконец он ушел. Лоран два-три раза глубоко вздох-

нул и, сделав над собою усилие, занялся очередным делом.

Пробило четыре часа. Для Лорана это было всегда самое спокойное и самое ценное время дня, час, когда он мог всецело сосредоточиться на работе. Чувствуя, что ему не удастся собраться с мыслями, он твердил себе: «Ничего особенного не случилось. Человек этот плохо работал. Он ушел. Вопрос решен, оставим это — как сказал директор. И займемся делом».

В то время как Лоран был занят этим тайным самоговариванием, дверь лаборатории тихонько отворилась. Сначала показалось несколько напояженных прядей, потом уголок лба в красных прожилках, потом часть лица — ровно столько, сколько требуется для улыбки, наконец вся фигура чудовищного г-на Биро.

Субъект выпустил из рук дверь, сказал с приятностью: «Ку-ку! Жив курилка!» — выступил на три-четыре шага вперед и протянул Лорану запечатанное письмо.

Лоран сразу же узнал почерк г-на Лармина. Не без смущения распечатал он конверт и стал читать.

На верху листка имелась сделанная от руки надпись: «Служебная записка». Затем адрес:

*Директор Национального института биологии
заведующему лабораторией, доктору Лорану Паскье*

а ниже — несколько строк, написанных витиеватым, хитроумным, замысловатым почерком г-на Лармина.

Честь имею уведомить Вас, что я тщательно, самолично расспросил г-на Ипполита Биро. Он представляется мне во многих отношениях незаурядным и имеющим неоспоримые заслуги. Думаю, что при некоторой снисходительности и справедливом к нему подходе все может уладиться, и прошу Вас предпринять к этому необходимые шаги.

Следовала подпись г-на Лармина со всеми росчерками и загогулинами, но без какой-либо формулы вежливости — на военный лад.

Несколько минут Лоран простоял посреди лаборатории недвижим, в раздумье. Потом он сообразил, что листок в его руке, несомненно, дрожит, дрожит от охватившей его ярости и что это заметно вошедшему. Он подошел к письменному столу, схватил листок бумаги,

тщательно вывел наверху «Служебная записка» и стал писать ответ.

*Доктор Паскье, заведующий лабораторией,
господину Директору Государственного института
биологии*

Имею честь доложить Вам, что после зрелого размышления и принимая во внимание особую ответственность, лежащую на моей лаборатории, я не могу оставить у себя в качестве лаборанта человека, который ни в какой мере не обладает качествами, необходимыми для этой должности.

Чувствуя, что он теряет самообладание, молодой человек поспешил запечатать письмо и отдал его Биро.

— Отнесите это господину директору, — сказал он.

Биро улыбнулся.

— Значит, конечно, — сказала она. — Бесповоротно?

Лоран не отвечал, и чудной субъект исполнил целую гамму улыбок и всхлипываний.

— Как же так! — стонал он. — Я уж готов был полюбить вас, право слово! Я стал бы преданным, как пес. Биро — это не кто-нибудь, дорогой мой мосье.

Дверь снова затворилась. Лоран сел за письменный стол, запустил руки в шевелюру и тихо проговорил:

— Довольно! Довольно! Конечно! Оставим это. Вон из головы! Боже мой, надо успокоиться! Надо успокоиться!

Глава VII

*Ничем не замечательное безобразие. Сю-
занна Паскье и настойчивый поклонник.
Рок произносит балаганный панегирик.
О превращении ученых в чиновников. Во-
просы приоритета. Страдания человека,
занятого умственным трудом. Ипполит
Биро жив! Новая схватка с директором.
Как трудно поддерживать согласие среди
людей!*

Тех, кто плохо знал Эжена Рока, он поражал своим законченным безобразием. Правда, в этом безобразии не было ничего низменного: Рок был человеком образованным, общительным, словом, вполне приличным. Но отли-

чался ли он тем живописным безобразием, к которому равнодушны женщины и которое они даже предпочитают красоте? Нет, нет, в безобразии Рока не было ничего выдающегося, ничего диковинного и редкостного. Он отличался безобразием угрюмым и как бы униженным: случайное соединение черт, которые, казалось, не были созданы для того, чтобы, слившись, образовать человеческое лицо. Бесцветное лицо, глаза неопределенного оттенка, затрудненная, замедленная и беспорядочная жестикуляция; вдобавок унылый, неприятный голос. Словом, сочетание губительных изъянов, которые могли бы постепенно парализовать даже самый закаленный дух, — но на Рока они такого действия не оказали.

В семье Паскье он впервые появился году в тысяча девятисотом, во времена Кретея и воскресных прогулок на лодке по Марне. При виде его Сюзанна, ребенок, уже тогда отличавшийся редким очарованием, вдруг расплакалась. В то время никто, в том числе и сама девочка, не догадался о причине ее слез. Один только Эжен Рок, чрезвычайно чуткий к впечатлению, которое он производит, и к тому же наученный опытом, понял, в чем дело, и был глубоко огорчен.

Много позже, с настойчивостью людей, которых ничто, даже собственная внешность, не может привести в отчаяние, Рок стал упорно, неустанно ухаживать за Сюзанной, превратившейся к тому времени в прелестную девушку; но она только подшучивала над своим поклонником. Отвергнутый молодой человек в конце концов отступился, не отказавшись, однако, от права возобновить свои домогательства. Он часто писал девушке, и письма его, отлично составленные, говорили убедительнее, чем его лицо. Он посылал ей трогательные подарки. Он появлялся в поле зрения Сюзанны без предупреждения и весьма осторожно. Он поджидал ее, например, у театрального подъезда или приглашал в ресторан. Он настороженно, как собака, ждал перемены в ее отношении к нему, полагая, что нет никаких оснований считать такую перемену невозможной.

Как всегда, Эжен Рок вошел в лабораторию робко и тихо. Он никогда сразу же не снимал пальто и шляпу. Он ждал, чтобы его попросили об этом. У него был такой вид, будто он здесь оказался невзначай. Он никак не может побыть здесь дольше минуты. Потом завязывался разговор, да не без отклонений, и посетитель блуждаю-

щим взглядом начинал искать стул. Он вытаскивал из кармана кисет и пытался свернуть папироску; он принимался за это раз по двадцать, ибо то бумага прорывалась, то табак пересох, то в нем оказывался какой-то мусор. Наконец, видя, что Лоран теряет терпение и косится на свои препараты и книги, гость раскрывал рот. Начиналась медленная вереница фраз — бесхребетных, лишенных видимой связи. Мысли Рока представлялись, как и его черты, не предназначенными к тому, чтобы образовать единое целое. Но внимательный наблюдатель начинал понемногу различать в них путеводную нить, еле уловимую, но бесконечно упорную.

Рок говорил что-нибудь приятное, даже дружественное. Он ворчливо шептал нечто, и в этом шепоте слышались скрытые упреки:

— Тебе-то везет. Не возражай. У тебя все кончается успешно, даже твои ошибки, даже заблуждения. Уж такой у тебя дар, вот и все. Это особая благодать.

Тут Рок вынимал перочинный ножик и принимался задумчиво чистить ногти. Он цедил сквозь зубы:

— Орден в двадцать шесть — двадцать семь лет, безо всяких возражений, без хлопот. Ничего не скажешь. А тебе известно, что есть люди, которые и в пятьдесят все еще только ждут ордена? Многие тебе этого не простят вовеки. Они кретины, но это в порядке вещей. Вызывать зависть в двадцать шесть лет — опасно, зато и величественно. Да, знаю, ты на себе самом испробовал вакцину Эрмереля!.. Не отнекивайся, теперь это уже всем известно. И ты от нее не умер, — вот это-то я и называю удачей.

Он щелчком сбрасывал с папиросы пепел, — тот падал на отвороты его пиджака, — и жалобно продолжал:

— Все-таки надо мне идти... У тебя удача во всем, и, главное, вполне заслуженная. Теперь ты ответственный секретарь «Биологического вестника». Ну и ну! Я говорю о «Вестнике», и говорю не зря. Даже такой тип, как Бовизаж, — сорок лет и важные посты, — и тот не отказался бы от «Биологического вестника». Пойми меня, я не ставлю тебе в упрек то, что ты слишком за многое берешься, но беда в том, что кое-кто так считает. Все же надо мне отправляться, я ведь заглянул мимоходом. Мне передавали, будто тебя могут избрать членом-соревнователем Комитета по исследованиям. Это поразительно!

Лоран слушал одним ухом, помешивая жидкость в пробирке. Он думал: «Не это он хочет сказать! Не ради этого он пришел. Это только соус. А где же жаркое? Проклятый Эжен!»

Болтун вновь принимался разглагольствовать, уставившись в потолок:

— Обрати внимание, Лоран, я не жалуясь. С чего мне жаловаться?

— Да и не надо! — воскликнул Лоран. — Я бы очень огорчился.

— Я не жалуясь, я констатирую. Я своего рода отшельник. Мне нужны только тишина и возможность созерцать. А жизнь вроде твоей, со всеми ее обязанностями, вся эта суета, весь этот шум и даже почести — о, у тебя это только еще начинается, вот увидишь, — жизнь такая была бы мне не по душе. Я люблю тишину. Я отшельник.

Лоран слегка покачивал головой. Он не сердился, скорее сочувствовал. Он прошептал, озабоченно разведя руки в стороны:

— Что ж поделаешь, друг мой? Каждый живет по-своему.

— Да, да, так я и говорю, когда на тебя нападают при мне. Ибо, поверь, я всегда заступаюсь за тебя. Я даже единственный на твоей стороне.

— Спасибо тебе, старина...

— Не благодари, это просто в моем характере. Однако мне пора. Я забежал мимоходом. И даже не к тебе, а к твоему директору.

— К господину Лармина?

— Да, к Лармина. Я решил, что никак нельзя явиться в Институт биологии, не заскочив на секунду к тебе в твою прекрасную лабораторию. А теперь ухожу. Вот только скручу еще папироску. Для такого типа, как я, для кабинетного ученого, нужно одно — приличный оклад. Оклад немаленький. Нет, посредственность я не приемлю. Нужен оклад, который давал бы свободу уму. Я стою за то, чтобы ученые считались чиновниками. Это единственный путь к очищению науки. Да и сам-то ты кто тут такой? Чиновник. Единица, и только. А кто я в Институте Пастера? Мелкий чиновник. Да, правда...

— Что правда?

— Ты сделал какое-то открытие, кажется, насчет аглутинина. Но ты еще ничего не напечатал.

— Нет, не напечатал.

— Тем лучше, потому что я собираюсь через месяц опубликовать свою работу. Я так и знал, что ты не станешь перебивать мне дорогу. И даже... Ох, мне надо бежать.

Лоран молчал. Гость улыбнулся.

— Ты сказал, и мне этого достаточно. Вопрос первенства — не последнее дело в нынешней науке, где, в сущности, только тем и занимаются, что обкрадывают друг друга.

Лоран не мог сдерживать улыбки. С самого начала их деятельности Рока терзал, как некий недуг, нелепый вопрос о первенстве. Он страшно боялся, как бы его не предали или не опередили. Даже от самых близких друзей он тщательно таил то, что он именовал «своими идеями». Не проходило недели, чтобы он не направил в научные журналы два-три письма, в которых настаивал на своих преимущественных правах на ту или иную научную тему и напоминал о всех своих предыдущих трудах, подтверждая эти притязания бесчисленными цитатами и библиографическими справками.

Рок протянул Лорану не всю руку, а всего лишь указательный палец, следуя примеру их общего учителя г-на Ронера, который, впрочем, обычно подавал два пальца: указательный и средний. Затем Рок принялся теревить ручку двери. Он попытался еще рассказать историю подспудного соперничества Института Пастера и Национального института биологии, оснащенного таким множеством анекдотов и намеков, что Лоран ничего в ней не понял. Стоя у двери и ногою не давая ей захлопнуться, он тяжело вздохнул и сокрушался: «Из-за тебя я опоздаю». Потом толкал дверь и спускался на несколько ступенек. Потом возвращался, хватал Лорана за пуговицы его халата и ворчал: «Я не совсем уверен, что ты слушал меня, Паскье. Ты все умеешь, только не умеешь слушать. Ну, на этот раз удираю».

В общем, в конце-то концов он уходил. Но случалось, что несколько минут спустя он возвращался, чтобы что-то добавить к сказанному, чтобы с равнодушным видом шепнуть какой-то обрывок фразы, смысл и связь которой с предыдущим не всегда удавалось уловить.

На сей раз Рок выпустил из руки перила, обернулся и сказал, резко понизив голос и подмигнув:

— Чем ты мог досадить Лармина?

Вопрос был задан так стремительно, что Лоран с трудом понял его. Он склонился над лестничной клеткой и повторил с удивлением:

— Досадить Лармина?

Но тут Рок действительно скрылся. Его шаги уже доносились из пустынного коридора, который тянулся внизу вдоль всего здания. Лоран смущенно пожал плечами. «Что он хотел сказать, упомянув Лармина? — подумал он. — Странный малый! Мне кажется, что он ко мне расположен. Но то, как он свое расположение проявляет, несколько смущает меня. Ну, что ж! Ничего! Ничего! Спокойствие и работа!»

Лоран взял перо и раскрыл большой журнал, в который он заносил результаты своих опытов. Но душевное спокойствие, которого он так жаждал, в тот день было глухо к его призывам. Лорану не удавалось сосредоточить внимание, не удавалось заполнить своего рода пустоту, которая иной раз возникает между разумом и его созданием. Ему не удавалось хотя бы немного увлечься привычными, любимыми мыслями, даже не удавалось подыскать слова для выражения истин, обдуманых уже тысячу раз. Охваченный тоской, какую испытывает человек, когда ум его как бы сбился с пути и ждет благоприятного часа, Лоран позавидовал скромным ремесленникам, занятым физическим трудом, которых сам материал учит, побуждает, направляет, а потом и утешает.

Уже который раз взгляд молодого человека обращался к окну, к зелени и аллеям сада, как вдруг ему почудилось, что шагах в пятидесяти он видит нечто, чем вызваны и огорчение его, и тревога, — причем видит вполне реально и четко.

На самой середине аллеи стоял Ипполит Биро; котелок его был чуть отодвинут на затылок, весенний ветер играл несколькими маслянистыми прядями его шевелюры, красное лицо было еще ярче от обильного пота, живот, казалось, вот-вот выскочит из-за пояса; он стоял на самой середине аллеи, залитый яркими, горячими лучами солнца. Левой рукой он держал под мышкой большой сверток в газетной бумаге. В правой руке у него был желтый конверт.

«Ну что ж, — подумал Лоран, — вероятно, забыл что-нибудь, когда уходил».

Недолго постояв в задумчивости, Биро отправился

дальше. Лоран услышал, как он не спеша поднимается по деревянной лестнице. Подбитые гвоздями башмаки стучали по ступенькам, и время от времени чудак испускал стон, словно больной. Он остановился у двери, вытер ноги о половичок, три-четыре раза постучал и повернул ручку двери.

Так как Лоран не проронил ни слова, гость изобразил улыбку, обгтер усы тыльной стороной руки и вздохнул:

— Дорогой мосье, это, естественно, опять-таки я. Не кто другой, как я.

Последовало краткое молчание, после чего Биро Продолжал:

— Я не умер, а убить меня как-никак нельзя.

— Что вам угодно, господин Биро? — весьма спокойно спросил Л о р а н . — Вы что-нибудь забыли?

Господин Биро снова заулыбался.

— Д а , — воскликнул о н , — забыл здесь остаться!

Субъект положил сверток на стол. Он утирал потный лоб и продолжал с упреком:

— Сказать по правде, я-то думал удивить вас. Для старого слуги прием, как говорится, довольно прохладный.

— Что вам угодно? — невозмутимо повторил Лоран.

Ипполит Биро протянул желтый конверт, который он держал в руке. То была служебная записка от г-на Лармина, записка крайне лаконичная: всего три строки, украшенные пресловутой подписью.

Господин Биро назначается с сего числа помощником лаборанта по изготовлению свороток в лаборатории Паскье.

Молодой человек с удивлением вертел в руках это неожиданное послание. Г-н Биро обмахивался котелком, держа его двумя пальцами. Он прокашлялся, проглотил мокроту, изобразил одну из своих елейнейших улыбок и произнес целую речь:

— Согласитесь, дорогой мосье, что нельзя же было так просто расстаться. Признайтесь, это было бы уж чересчур грустно. Вас, простите за выражение, тошнило от бедняги Биро. Мне это было тем горше, что сам-то я относился к вам дружелюбно, терпеливо, даже нежно, — что и говорить. Но отклика никакого я не получал. Всю жизнь буду скорбеть об этом. Итак, я не буду обслужи-

вать вас лично, я перехожу в отделение сывороток, Все в порядке. Я стану корпеть над работенкой — один, в своем углу, как ангелочек. И не будем разговаривать друг с дружкой, разве что по делам службы. Не скажу, чтобы это не было огорчительно. Но что же поделатъ! Надо примиряться... Конец нежностям, дорогой мой мосье.

— Подождите немного, — бросил Лоран, порывисто отворяя дверь.

Сначала молодой человек бросился по лестнице бегом, потом немного замедлил шаг, положил директорскую записку в карман и на несколько мгновений задержался у аллеи, в тени молодых лип, чтобы отдышаться. Он уговаривал себя: «Ведь нельзя допустить, чтобы эта нелепая история отравила мне существование. Все домашние ссоры одинаковы: вблизи они представляются ужасными, издали — ничтожными. Нельзя допустить, чтобы какой-то Биро помешал мне работать. Значит, спокойствие и твердость!»

Господин Лармина был занят, и Лорану пришлось подождать минут десять в приемной с зелеными бархатными креслами. На стене красовалась известная картина, пожалованная правительством и изображающая обнаженную даму, склоненную над умирающим: *Наука служит Человечеству*. Лоран в двадцатый раз разглядывал это произведение искусства, когда швейцар доложил, что директор ждет его.

Господин Лармина стоял у своего письменного стола из черного дерева и, казалось, уже приготовился к схватке. Он стал наступать, не дожидаясь вызова.

— Не думаете ли вы, господин Паскье, что большую часть вопросов мы могли бы разрешать при помощи письменных обращений? Мне тяжело думать, что столь ценный человек, как вы, тратит время на ожидание в приемной.

У Лорана мгновенно загорелись уши.

— Господин директор, я не терял бы на это время, если бы вы не заставляли меня ждать, — выпалил он одним духом.

Старик сделал примирительный жест и внезапно изменил тон:

— Как видите, господин Паскье, досадная история с Биро наконец разрешилась ко всеобщему удовлетворению. Насколько я понял, этот честный труженик не вы-

зывает у вас симпатии, поэтому я освобождаю вас от него и вместе с тем не выгоняю вон.

— Господин директор, я не питаю к господину Бирони добрых, ни дурных чувств. После месячного испытания я пришел к убеждению, что он совершенно непригоден для работы в лаборатории. Кроме того, — и это гораздо важнее, — я считаю, что господин Биро в силу некоторых своих прирожденных недостатков представляет собою в лаборатории типа моей нечто опасное и вызывающее тревогу.

— Господин Паскье, даже в разговоре с глазу на глаз взвешивайте слова, которые вы употребляете. Мне довелось долго беседовать с господином Биро. Он не глуп. У него есть опыт. Быть может, он чуточку фамильярен. От вас зависит держать его на должном расстоянии. Вдобавок теперь у вас уже не будет с ним постоянного общения.

— Речь не обо мне, господин директор. Речь идет о безупречной работе моей лаборатории, о строжайших технических правилах, которые должны соблюдаться всеми моими сотрудниками. Речь идет о здоровье больных, для которых мы здесь все сообща работаем.

Господин Лармина величественно, как епископ, воздел руки.

— Мне кажется, — сказал он, — что вы берете на себя смелость преподать мне своего рода урок относительно моих обязанностей.

Лоран ничего не отвечал; воцарилась долгая злоеющая тишина, потом директор продолжал, уже тише и спокойнее:

— Сначала я думал, что среди заведующих отделениями вы единственный, кто может быть мне опорой, меня понять и помочь мне поддерживать в Институте порядок и справедливость.

— Простите, мосье, — упрямо возразил Лоран, — на мне лежит весьма тяжкая ответственность, я принимаю ее с радостью и горжусь ею. Но я считаю себя хозяином в вопросе подбора своих сотрудников. Если вы во что бы то ни стало хотите сохранить господина Биро в Институте, то переведите его, господин директор, в какое-нибудь другое отделение.

— Вы говорите так, не подумав, господин Паскье. Либо это человек порядочный, и тогда у вас нет никаких оснований отвергать его, либо он негодяй, и в таком слу-

чае вы не осмелились бы подсовывать его, как фальшивую монету, кому-нибудь из коллег.

Сбитый с толку этим аргументом, Лоран молчал, раскрыв рот. Щеки его пылали. Он вдруг смутился, почувствовал себя неловко. Он прошептал:

— Лаборатория сывороток укомплектована. Там у меня два препарата, конюх, два лаборанта.

— Именно поэтому, — возразил г-н Лармина со спокойным величием, — именно поэтому я и пометил: «помощник лаборанта».

Лоран опустил голову и насупился.

— Господин директор...

— Что, господин Паскье?

— Я не намерен ни нарушать ваши распоряжения, ни подавать в отставку.

— Очень рад, господин Паскье.

— Все же не скрою от вас, что решительно не допущу господина Биро хотя бы к малейшему участию в работе лаборатории. Если Институт может позволить себе держать на жалованье ненужного служащего, то против этого я возражать не могу.

Господин Лармина чуть усмехнулся в нос.

— Несмотря на не вполне корректные намеки, содержащиеся в ваших последних словах, мне кажется, господин заведующий отделением, что вы начинаете относиться к этой совсем незначительной проблеме разумно и по-философски. Подумайте, прошу вас. Для меня выбор весьма прост: либо оставить этого человека временно без дела, что не имеет особого значения, либо вызвать серьезное неудовольствие одного лица, — да зачем скрывать, — неудовольствие министра, которому Институт многим обязан. К тому же пройдет время, и все само собою уладится, время все смягчит и оросит не в меру горячие головы свежей водой. Желая вам, господин Паскье, чтобы на вас никогда не лежала тяжелая миссия поддерживать согласие среди людей. До свидания, господин Паскье.

Идя с понурой головой, со сжатыми зубами под тенью лип, Лоран думал: «Старик меня, конечно, околпачил. Но ничего. Эта дурацкая история не должна помешать мне выполнять свой долг. Любой ценой я добьюсь покая».

Глава VIII

Второе письмо к Жюстену Вейлю. Слово о психологии искупления в русском духе. Дело, принимающее досадный оборот. Политика и вакцина. О безличных формах глагола. Мальчик желает трудиться. Беглый портрет Вьююма. Помощники ученых. Эжену Року известно все. Редакция боевого листка. Лирические излияния скрытного человека.

Дорогой Жюстен, не приписывай мне того, чего я не говорил. Произведения русских романистов показались мне волнующими потому, что они меня взволновали, — простосердечно исповедуюсь в этом. Они все же не превратили меня в полного идиота. Мысль, что люди иной раз могут выйти из состояния, которое кажется для них естественным, что они могут внезапно совершить с блеском неожиданные поступки, например, отказаться от преступления, пасть на колени, бия себя в грудь, — такая идея кажется мне не только прекрасной, но, кроме того, умиротворяющей и ободряющей. Если подобного рода перевороты могут совершаться в душе одного человека, то, быть может, люди в конце концов устанут от своих недостатков, от своих пороков. Совершая без конца все те же преступления, те же гадости, они должны смертельно заскучать. Признаться ли? Если я когда-либо сделаю нечто хорошее, так сделаю это только ради забавы, в виде развлечения, чтобы отдохнуть от дурных мыслей, которые обычно одолевают меня. Сам видишь: то, что я предлагал тебе в предыдущем письме, это смягченный, латинизированный вариант русской психологии искупления. Будь уверен, я никогда не пренебрегаю критическим началом. Мне следовало бы даже добавить, что я пренебрегаю им недостаточно. Что же касается примеров, на которые я решился обратить твое внимание, то я не могу не задумываться над ними. Я писал тебе, что отец, от характера которого я так долго страдал, который терзал меня своими причудами, вспышками гнева, безрассудством, теперь понемногу становится рассудительнее, обходительнее, становится даже очаровательным — именно очаровательным, другого слова не подберу. Жозеф тоже беспрестанно удивляет меня. Он одолжил папе две-

надцать тысяч франков на новое предприятие, о котором я расскажу тебе, когда ты будешь в Париже. Жозеф мне сказал: «Я дал двенадцать тысяч франков...» Не надо заблуждаться насчет смысла этих слов: речь идет всего лишь о займе. Жозеф взял с папы расписку. Жозеф никогда ничего не сделает без расписки, без документа, без договора. Как бы то ни было — заем ли это или дар — Жозеф расстался со значительной суммой. Он раскошелился. Даже если он сделал это только ради развлечения, в паскалевом смысле слова, то и тогда это поступок не менее сногшибательный. К тому же Жозеф не хочет разглашать этот акт, — подобная скромность, как и все остальное, представляется мне прямо-таки чудом. Жозеф просил меня никому не говорить об этой истории, в частности, ни маме, ни Сесили, ни Фердинанду, которые в конце концов, конечно, всё узнают. Как видишь, мы все-таки еще далеки от публичной исповеди и торжественного покаяния.

Я говорю тебе о Жозефе и об отце потому, что ты по-дружески справляешься о них, но должен признаться, что я вспоминаю их отнюдь не каждый день. Дело Биро принимает весьма досадный оборот, оно начинает занимать в моих мыслях поистине непомерное место. Биро — это тот лаборант, по поводу которого ты, дорогой Жюстен, написал мне несколько глупостей. Биро, поверь мне, не что иное, как ничтожный, несносный человек, каких встречаешь на каждом шагу; но он превратился в «явление Биро», дальнейшее развитие которого представляется мне совершенно непонятным и чрезвычайно огорчительным.

Я терпел это жалкое создание в своей лаборатории целый месяц и, поверь, не забывал твоих евангельских советов. Я проявил незаурядное терпение. Человек этот болтлив, бестактен, почти нахален, — что ж, я не обращал на это внимания. Он воровал у меня животных — морских свинок и особенно кроликов. Я все терпел. Положение окончательно омрачилось, когда я понял, что этот негодный помощник не только не знает дела, но к тому же еще и путаник, недотепа, невежда, хвостун. Мне пришлось уничтожить заготовки, на которые я положил много труда и которых ждали наши иностранные заказчики. Тогда я на свою ответственность выгнал этого малого вон и в тот же день имел объяснение с Лармина.

Для психолога вроде тебя Лармина стал бы превосходным объектом изучения. Признаюсь, я не вполне понимаю его. Субъект этот с надменной властью руководит Национальным институтом биологии, представляющим собою весьма крупное учреждение. Он требует, чтобы все шло по струнке, и это я, в общем, понимаю. Он все время напоминает нам о нашей ответственности, и тут он опять-таки прав. Он вбил себе в голову навязать мне совершенно негодного сотрудника. Когда я этого шалопаю выгнал, Лармина попросил меня взять его обратно — я отказался. Кончилось тем, что он назначил Биро в лабораторию сывороток и осмелился толковать мне, чтобы объяснить свою настойчивость, о каком-то министре, министре, который... Какое отношение имеет политика, мерзкая политика, к нашим вакцинам и сывороткам? Какое отношение имеет политика к нашим чисто научным, человеческим спорам? Право же, если политика будет вмешиваться во все наши дела и во все наши мысли, это явится признаком того, что Франция не на шутку больна. Я человек дисциплинированный. К Лармина у меня не было никакого нежного чувства, я уважал его как начальника. А теперь я его презираю и презираю даже свою работу, которую так люблю; теперь она кажется мне как бы оскверненной, не столь прекрасной, не столь чистой.

Между Лармина и мной произошло бурное объяснение из-за назначения Биро в лабораторию сывороток, и я твердо заявил старику, что готов терпеть Биро, но не дам ему никакой работы, буду держать его в стороне, так что он станет всего лишь паразитом. Директор, казалось, был удовлетворен такой развязкой, и мы расстались, обменявшись миролюбивыми словами, — во всяком случае, ему хотелось, чтобы их приняли за таковые, но от них отвратительно несло подлой сделкой.

В общем, Биро почти ничем не занимался во время своего пребывания в моей личной лаборатории. Раз говорят, что я обязан терпеть его присутствие, мне проще всего было напрямик освободить его от каких-либо обязанностей. Я осведомил об этом означенного Биро. Сначала он расхохотался, затем пожал плечами, потом, вздыхая, произнес несколько наставительных и грустных фраз. Из последних перемен в риторике Биро особенно следует отметить склонность к употреблению без-

личных глаголов, а самое любопытное то, что он пользуется ими, говоря и о себе, и обо мне. Он мне сказал:

— Значит, теперь уже утратили доверие. Француз не доверяет французу. Как ни верти, это весьма прискорбно. А ведь делали все возможное, чтобы добросовестно выполнять свои обязанности.

Тут Биро пустился в рассуждения о долге и о почетности труда. Но я сбежал.

Недели полторы я надеялся, что такое положение сохранится и в дальнейшем. Приближается лето, погода стоит прекрасная, очень теплая. Биро сидел у входа в здание. Он курил трубку и читал газету. Когда я проходил мимо него, он вставал, шурша бумагой, потом взирал на меня с какой-то непередаваемой улыбкой — и насмешливой и скотской. Его большие выпученные глаза наполнялись какой-то мутной влагой, которую люди чувствительные могли бы принять за слезы, — но они ошиблись бы. Он говорил мне: «Здравствуйте, дорогой мосье». Я отвечал односложно, кивком, и, не скрою от тебя, меня охватывало какое-то беспокойство: уж не ошибаюсь ли я? Но нет, нет! Мы не можем, не должны терпеть возле себя недостойных сотрудников, даже если им «покрофительствует» министр.

«В моей личной лаборатории Биро ловко воровал кроликов, а в лаборатории сывороток не украдет же он лошадь», — думал я. Но это, конечно, слабое утешение.

Последние дни положение омрачилось. Как-то утром Биро явился ко мне. Он был в рабочей одежде, то есть в ночных туфлях и синем фартуке. Он сказал, шевеля ушами, как животное (у него это получается отлично):

— Дорогой мосье, так длиться не может.

Я удивленно смотрел на него, а он продолжал, не без вздохов, стонов и откашливаний:

— Меня хотят довести до отчаяния. Это унижение, это позор, дорогой мосье. Так продолжаться не может. Впервые недовольны услугами Биро.

И вдруг, отказываясь от безличных форм глагола, он заявляет:

— Я хочу трудиться, как все. Я хочу зарабатывать хлеб, как все, своим трудом.

Ты слушай меня внимательно, вникай в мои слова, и ты увидишь, что вереница этих мельчайших событий развертывается вполне логично. Прохвост этот, когда был

в моей лаборатории, не хотел ничего делать. Я был вынужден оставить его при себе, но решительно и начисто освободил его от работы. А теперь он, видишь ли, желает работать.

Ни слова не сказав, я отворил дверь, и г-н Биро, ворча, удалился. В последующие дни г-н Биро стал суетиться. При лаборатории сывороток имеется большое подсобное помещение, связанное с конюшней крытым переходом. Г-н Биро носился по лаборатории, подходил ко всем приборам, передвигал сосуды, навязывал свои услуги препараторам, которые не знали, как от них отказаться; они два-три раза со смущенным видом говорили мне об этом, ибо они заняты чрезвычайно тонкой работой, требующей большой сосредоточенности.

Комедия эта принимала уже совсем нелепый характер, и я снова отправился к г-ну Лармина. Он меня не принял. Я послал ему служебную записку, он мне не ответил. Я до сих пор ничего не говорил об этой истории своим коллегам, чтобы — в случае если меня избавят от Биро и передадут его кому-нибудь другому — не подумали, что я участник этого мерзкого подарка. Итак, я ничего не говорил в Институте, зато подробно рассказал всю эту невероятную историю Вьюому, который часто навещает меня и советами которого я дорожу. Ты немного знаком с Вьюомом: он значительно старше меня; мы с ним на «ты» еще со времен Сорбонны. Он уже поседел, у него высокая, гибкая фигура и мелодичный голос; на вид он очень обходительный, но он человек твердых убеждений. Краешки век у него красноватые из-за хронического блефарита, и это придает его взгляду нечто растроганное, взволнованное. Но он человек весьма рассудительный, и я ему вполне доверяю.

Я подробно поведал ему нелепую историю с Биро и мои переговоры с директором. Вьюом сказал:

— Люди вроде Лармина смертельно боятся политиков, так как они их рабы; но есть другая сила, которой они боятся не меньше.

— Что это за сила?

— Печать.

— Но не могу же я обратиться к печати из-за дразги с негодным сотрудником, — воскликнул я.

— Почему не можешь? — ответил Вьюом, покачивая головой. — В плане научном все серьезно и должно рассматриваться серьезно. Недопустимо, чтобы такая рабо-

та, как твоя, страдала от того, что Лармина связан с более или менее продажными, более или менее властолюбивыми политиками.

— Допустим. Но у меня нет ни одного знакомого среди парижских журналистов.

— Это ничего, — ответил В ю й о м. — Ты поразмысли над этим. Но, если надумаешь написать статью, не надо отдавать ее в профессиональные журналы, в научные или медицинские органы, — это не вызовет отклика. Надо обратиться и привести в действие общественное мнение.

— Но не могу же я критиковать своего директора в обывательской газете.

— Согласен. Но ты вполне можешь написать очерк о материальных и моральных условиях, необходимых для научных исследований, о роли наших младших сотрудников и, в частности, о тех, кто помогает ученым при изготовлении лекарств. Черт возьми! Ведь это великодушная тема... И твой Старик сдрейфит.

Признаюсь, я очень растерялся, не знал, что ответить. В ю й о м продолжал рассуждать, и я чувствовал, что у меня возникает множество мыслей. Спору нет, пресса — могучая сила, к которой можно обратиться для защиты правого дела, и ты не станешь отрицать э т о г о, — ты, главный редактор газетки, которая собирается ни больше ни меньше, как пробудить Запад от спячки. Пока в голове у меня вертелись все эти мысли, В ю й о м говорил:

— Если ты решишь обратиться к общественному мнению, а это вполне правильно, советую тебе избежать интервью, а самому написать очерк и тщательно взвесить все выражения.

— Где же его напечатать? Ведь очень трудно поместить статью в большой газете.

— Вовсе нет! Это сделать нетрудно, если есть что сказать, есть нечто интересное и если притом есть знакомство.

Я все еще колебался, а В ю й о м продолжал:

— У меня есть знакомый, один из главных редакторов «Натиска». Это не такая уж крупная газета, зато это орган боевой, смело высказывающий свои суждения.

Тут В ю й о м встал, собираясь уйти. Пожимая ему руку, я опять сказал:

— Все-таки странно прибегать к прессе только потому, что какой-то проклятый Биро портит мне препараты и что мне никак не удастся от него избавиться.

— Что ты! — воскликнул В ю й о м . — К прессе часто обращаются по гораздо менее важным поводам. Не надо относиться к ней с излишним уважением. Она творит немало зла. Тем разумнее дать ей возможность изредка сделать и доброе дело. Подумай.

Я отпустил Вуюома и сначала решил, что проект этот из числа тех, что выдвигаются в беспорядочной беседе и отнюдь не достойны осуществиться в действительности. Но после его ухода я весь день ловил себя на том, что в уме слагаю фразу за фразой — почти невольно. Я понял, что даже если я статью не напечатаю, она поможет мне избавиться от гнета, понудит меня точно сформулировать мои мысли по весьма важному вопросу о мелких, незаметных работниках науки. Я так увлекся, так загорелся, что написал статью за один прием, — взялся за нее часов в девять, а к полуночи она уже была готова. Я не литератор, и обычно составление даже самого простого доклада дается мне с трудом, зато статья, о которой идет речь, вылилась у меня за один присест, так же как и название пришло в голову сразу: *Помощники ученых*. Как жаль, дорогой Жюстен, что тебя не было возле меня. Ты избавил бы меня от сомнений, ибо, уже написав статью, я целых два дня держал ее в портфеле, не осмеливаясь принять какое-либо решение.

Тем временем у меня побывал Рок. Впрочем, он заходит чуть ли не каждый день. Какой странный тип! Мне почти никогда не удается уловить ход его мыслей, причины его поступков. Я знаком с ним пятнадцать лет. Мне он представляется весьма загадочным и — как бы сказать — совсем меня не интересует. Он не является представителем чего-то. Он в своем роде уникален. Мне он немного досаждал.

Рок мне сказал после всевозможных околичностей:

— Говорят, Паскье, ты человек своенравный и вносишь в Институт дух недисциплинированности.

Такие разговоры меня огорчают. Я даже не могу разобратся, дружеское ли это предупреждение или злонамеренная инсинуация. Поэтому я ему ничего не ответил. Немного погодя Рок продолжал:

— Мне сказали, будто ты собираешься что-то написать в газетах о жизни лабораторий.

— Кто это тебе сказал? Вуюом?

— Нет, я с Вуюомом не виделся.

— Кто же тогда?

— Я уж не помню. Да это неважно.

Что же подумать? Неужели я сам проговорился? Быть может. Иной раз мы уверены, что ничего не говорили о чем-то, что беспокоит нас, а на самом деле проговариваемся — почти не сознавая этого, почти невольно... А Рок уж принялся разглагольствовать:

— Будь осмотрительнее, Паскье. Ты занимаешь чересчур хорошее положение, чтобы действовать опрометчиво и рисковать.

Я не знал, что и думать. Совет придерживаться благоразумия никак нельзя считать коварным.

Дорогой Жюстен, все это время тебя мне очень не достает. Мне кажется, что твое мнение было бы для меня чрезвычайно ценным, тем более что ты хорошо знаком со средой газетчиков.

Короче говоря, я статью отнес. Мне во что бы то ни стало надо было освободиться от этого бремени. Как только статья появится, я тебе ее пришлю. Ты, пожалуй, найдешь, что она плохо написана; знай, однако, я все выражения тщательно взвесил.

У «Натиска» много читателей; по крайней мере, так утверждает Вьюом, и действительно, в автобусах, в метро мне попадается множество людей с этой газетой в руках. Отправляясь в редакцию, я ожидал увидеть роскошное здание, слуг в ливреях с золотыми пуговицами, как у моего брата Жозефа. И что же? Оказалось все не так. Мне пришлось взобраться на четвертый этаж старого дома на улице Монмартр. На лестнице воняло кошками. В приемной сидели странные личности, человек десять; вид у них был смущенный, они зевали, ковыряли пальцем в носу и, рассеянно просматривая последний номер газетки, искоса поглядывали друг на друга.

Я вручил письмо, данное мне Вьюмом. Принял меня человечек лет двадцати пяти. Курчавый, с моноклем, важный на вид. Он взял у меня статью и продержал меня минуты три. Молниеносно проглядев статью, он затем, улыбаясь, стал подталкивать меня к двери: «Вот именно это нам и требуется! Превосходно! Поздравляю!»

Уже три дня я покупаю «Натиск». Статья еще не появилась. У меня имеется копия, которую я время от времени перечитываю, чтобы убедиться, что в ней нет ничего неуместного, дурного или хотя бы несправедливого.

Теперь собственная моя работа в лаборатории не так страдает от этих дрызг. Хотя временами я сам не пони-

маю, что делаю, иногда думаю о Лармина с чудовищной ненавистью. Умственная работа страшно зависит от внешних обстоятельств: достаточно малейшей ссоры, неприятности, головной боли, прострела, фурункула — и все повисает в воздухе.

«Терпение! Терпение!» — как постоянно твердит одна особа... та девушка, о которой я тебе уже писал. Ты знаешь, Жюстен, что в сердечных делах я очень скрытен — даже с тобой. И все-таки не могу не сказать тебе, до чего эта девушка мне нравится, как я дорожу ею. Кажется, впервые в жизни мне захотелось оберегать кого-то, ради кого-то трудиться, ради кого-то страдать, добиваться славы. Она невероятно кроткая и вместе с тем решительная, непреклонная и мудрая, как шекспировские героини. Я старше ее на девять лет, а возле нее я чувствую себя глупым, неловким мальчишкой.

Мне хотелось бы согреть ее, когда холодно, укрыть ее плечи теплой накидкой, взять ее руки в свои, носить ради нее тяжести, призывать солнце, когда идет дождь, останавливать ветер, когда он дует, устранить с ее дороги все, что может ей помешать, не понравиться, оскорбить ее.

Довольно! Не прими эти слова за припадок чувствительности. Я вполне владею собою, а сейчас мне даже очень грустно и тревожно.

Твои верный Лоран П.

8 июня 1914 г.

Глава IX

Писать трудно. Лоран перечитывает свой труд. Портрет, заголовок и типографские ухищрения. Величие и непорочность науки. Современная печать и человек XX века. Совершенно бесполезный телефонный разговор. Необоснованные волнения. Ученое общество. Г-н Ронер не скупится на похвалы. Неужели надо кричать, чтобы тебя услышали? Смелый поступок. Размышления Лорана о судьбе. Жюстен сводит радость на нет. Никто не болен, никто не умер; положение, однако, чрезвычайно серьезное

Лоран положил бритву на столик, вытер с пальцев мыльную пену, подбежал к письменному столу и в двадцатый раз взялся за свою статью. Не забыл ли он ис-

править на первой странице сомнительное, даже неправильное, выражение, которое может покорибить щепетильного читателя? При этой мысли по спине у него побежали мурашки. И он принялся в двадцатый раз перечитывать фразу за фразой — медленно, вслух, ища погрешности, взвешивая аргументы, подчеркивая ритм и плавность каждого абзаца. Большую часть текста он уже знал наизусть и сам улыбнулся этому. Статья начиналась с фразы несколько тягучей, чуточку неуклюжей; по неопытности Лорану не удалось ни разбить ее на части, ни в достаточной степени облегчить.

«Выдающимся местом, которое, особенно начиная с XII века, заняла наука в цивилизованных странах, наука обязана не только великолепию, величю достигнутых ею результатов, но также и благородству и чистоте жизни служителей знаний, их самоотверженности, их независимости от государственной власти и в не меньшей степени — строгой, почти благоговейной дисциплине, которую они поддерживают в храмах новой религии, то есть в лабораториях».

«Элементарно! Грубо! — думал молодой человек, покачивая головой. — Что ж! Это все-таки то, что я и хотел сказать. Досадно, однако, что, дважды употребив слово *наука* в самом начале, я должен был дальше написать *знаний*, чтобы не повторить *наука* в третий раз. Тьфу, пропасть! Смущает меня и выражение *чистота жизни* — раньше я этого не заметил. Да и эпитет *выдающееся* вначале совершенно ни к чему, лучше бы сказать *значительное*. Но *значительное* как-то мелко. Да, все это не так просто, когда ты не специалист. К счастью, дальше идет получше...»

Следовали соображения о способностях, необходимых для научной работы, и о дисциплине, которую надлежит поддерживать в лабораториях. Потом шли удачные рассуждения о младших сотрудниках ученых; об обязанностях и заслугах безвестных служителей, которых Лоран справедливо называл подсобниками науки — термин, который несколько мгновений казался ему прямо-таки превосходным.

«Работу подсобников, — читал он дальше, — никак нельзя считать случайным занятием, ибо это подлинное призвание. Как и всякое другое, оно предполагает настоящие способности, свободный выбор, отменные добродетели, как-то: послушание, терпение, самопожертвование, преданность. Поэтому для правильного течения научной работы крайне пагубны всякие внешние вмешательства. Поэтому политика и протекционизм, например, должны умолкнуть у входа в лабораторию так же, как у входа в больницу. Здесь на карту ставится благо всего человечества. Терпеть дурного служащего в храме значит не только рисковать экспериментом, но подвергать опасности все общество».

Увлечшись чтением, Лоран скандировал слова, слегка ударяя рукою по столу. «Несколько торжественно, несколько высокопарно, — думал он, смеясь, — но Старик поймет намеки. А если не поймет — значит, не хочет понимать. Что ж, тем хуже для него! Посмотрим, что дальше».

Следовали точные, даже чисто технические сведения о роли младших работников лабораторий, занимающихся экспериментами и изготовлением препаратов. Вся заключительная часть статьи была посвящена проблеме, получившей известность благодаря выступлениям Пьер-Этьена Лармина, а именно, проблеме управления наукой. Никого не называя, Лоран высказывался за полную независимость ученых, занятых поисками и открытиями. Очерк он заканчивал мыслями о науке будущего. Она должна, она, несомненно, будет *«сама собою управлять, сама распоряжаться в своей области, спокойно избирать соответствующие методы работы, свои пути и своих служителей».*

Лоран на несколько мгновений сомкнул веки. Все это, конечно, не представлялось ему особенно новым, особенно удачно изложенным, но все было разумно, справедливо и даже не так уж агрессивно. Лоран оделся, потом пожал плечами: «Я потратил три-четыре дня на пережевывание этой статьи. Но, по крайней мере, я привел свои мысли в порядок. Польза какая-то все-таки есть. А что касается скотины Лармина...» Но он тут же взял себя в руки. «Нет, — прошептал он, — без оскорблений! Спокойнее! Я считаю, что должен сдерживать себя, как толь-

ко почувствую, что у меня сжимаются кулаки и начинают скрежетать зубы!»

Выйдя на улицу, Лоран пошел быстрым шагом. У до рога лавки газетчика ему стало совестно, что он так то ропился. Свежие газеты были вывешены на проволоке. Теплый летний ветерок приподнимал листки и разносил легкий запах типографской краски, сырого теста и на воза. Лоран поискал глазами и на несколько мгновений замер, впившись в «Натиск», название которого выделя лось красными готическими литерами. В наказание за свою поспешность молодой человек решил не покупать газеты, пока не окажется на площади Данфер-Рошери, то есть пока не пройдет более половины пути, — и му жественно осуществил свое решение.

В киоске на углу Орлеанской авеню Лоран купил га зету, не спеша развернул ее и сразу почувствовал, что лицо его залилось румянцем: на второй странице он уви дел свой портрет. То была фотография, изображавшая его в халате, в институтском садике, — фотография, некогда снятая его товарищем; он уже забыл о ней. «Кто же мог дать им этот портрет? — с досадою думал Ло р а н . — Я не просил помещать портрет, я вовсе не хотел этого...» Тут лицо его вспыхнуло от новой волны негодо вания. Ему попались на глаза следующие строки, напе чатанные под портретом:

«Доктор Лоран Паскье, знаменитый молодой ученый, которому мы обязаны признаниями, наводящими на глу бокие размышления».

Почти одновременно он увидел заголовок статьи, предисловие редакции, и его охватило смутное ощущение стыда; он почувствовал, что его предали. Слова *под собники науки* были еле видны, набраны мелким шриф том, зажатые между двумя черными полосами. Зато на верху, броскими литерами, красовался заголовок, кото рого Лоран не давал и который привел его в смущение: *Надо очистить науку от карьеристов и рвачей*. Текст был разбит на несколько маленьких отрезков, причем каждый из них сопровождался крикливым заголовком. В довер шение всего Лоран с первого же взгляда заметил, что многие фразы — и в том числе самые существенные — упразднены, другие почему-то выделены курсивом или жирным шрифтом; что статья его, искаженная, изуродо ванная, обезображенная, стала просто неузнаваемой.

Молодой человек некоторое время стоял, понутив голову, опустив руки, в раздумье — что же ему делать? Вдруг, приняв решение, он вскочил на извозчика и велел вести себя на бульвар Монпарнас, к Вьюому.

Еще не было девяти. Поднимаясь по лестнице, Лоран вспомнил, что Вьюом человек женатый, что столь ранний визит может оказаться неуместным и что Вьюом, несомненно, ничем не может помочь, если друг его оказался жертвой газеты, которая, как считал Лоран, злоупотребила его доверием.

Вьюом все еще жил в своей весьма скромной холостяцкой квартире. Из столовой, куда ввели Лорана, он слышал, как г-жа Вьюом журит девочку, которая не дает себя причесать. Время от времени к этому семейному концерту присоединялся, как звук виолончели, низкий, медлительный голос самого Вьюома. У Лорана кружились мысли: «Вот она, современная наука и ее полное бескорыстие! Я-то один, я могу довольствоваться двумя небольшими комнатками. Но Вьюом! Он старше меня. Он выдающийся ученый. Он создает первоклассные труды. И он безропотно соглашается жить с семьей в квартире, которую почел бы убогой даже какой-нибудь молодой приказчик из магазина Лафайет. И что ж! Вот это-то и восхитительно, — да простит меня Жозеф. Так и должна жить наука, чтобы оставаться чистой и действительно величественной».

Наконец появился Вьюом; он был в халате с узором. Он сразу же ласково спросил:

— Что с тобою?

— Катастрофа. Прости, что беспокою тебя так рано...

— Катастрофа? Какая катастрофа?

— Вот смотри.

Лоран протянул ему газету, и Вьюом неторопливо развернул ее.

— И так, — сказал он, — статья появилась.

Лоран подскочил на месте.

— Они изменили заголовок, выкинули целые абзацы, приспособили мой текст для сенсации. Это ужасно, это позор! Я попался в ловушку. Знаю, ты тут ни при чем. Но скажи, что мне теперь делать?

— Спокойнее! Спокойнее! — прошептал Вьюом, полускрыв глаза, за воспаленными веками которых, казалось, вечно таится улыбка. — Спокойнее! Ты рассуждаешь как мальчишка. Статья напечатана, это главное.

И, несмотря на сокращения, она все-таки хороша. А что касается эффектного заголовка, броских подзаголовков, жирного шрифта, так все это, старина, приемы современной прессы, и тут уж ничего не поделаешь; с этим приходится мириться. Ты, Паскье, возмущаешься вполне искренне, не сомневаюсь в этом. Зато другие! Другие негодуют на прессу только потому, что считают, что она оказывает им недостаточно внимания. Когда они видят свой портрет, помещенный на видном месте, — поверь, старина, — они бывают очень рады и горды.

— Но я не хотел ни портрета, ни личной рекламы. Это в корне противоречит той линии поведения, какую я избрал.

— Конечно, конечно, — бормотал Вьюом, рассеянно пробегая по столбцам газеты. — А в общем, эта дрянная газетка — зеркало обыденного сознания рядового человека, обывателя.

— Но я написал статью не для обывателя. Ее будут читать наши коллеги, наши учителя, ученики.

Вьюом рассмеялся.

— Ну, ну, спокойнее! — сказал он. — Как тебе известно, мысли людские всегда представляют собой смесь — смесь лучшего и худшего. Что такое дурак? Это несчастный, который изрекает одни только глупости. А что такое человек умный? Это человек, изрекающий глупости, как и все остальные, но временами он высказывает и разумную, правильную мысль. Повторяю: временами, и не более того. А ум — даже ум высшего порядка — всегда представляет собою страшную мешанину. Пресса дает картину этой мешанины, картину, которая кажется нам гнусной только потому, что она точна, откровенна и навевает грусть.

Вьюом говорил, не повышая голоса, чуть циничным тоном, вполне подходящим для рассуждений современного мудреца. Лоран два-три раза порывался что-то ответить.

— Возможно! Возможно! — растерянно проворчал он. — Но все это мне противно. Мне противна эта газета. Мне противна моя статья. Мне стыдно за нее.

— Давай, старина, без громких слов, — продолжал Вьюом. — Не забывай, что сотрудничать в этой газете не гнушаются весьма блистательные имена. Сам Мечников поместил в ней несколько популярных статей о фагоцитозе. Как видишь, ты — анахронически — в недурной

компании. В прошлом году, в разгар Балканской войны, «Натиск» опубликовал прекрасное послание Анатолия Франса. И не следует тебе привередничать.

— Все-таки надо позвонить этому т и п у, — прошептал Лоран.

— Какому типу?

— Типу из редакции. Тому, что меня принимал.

— Зачем?

— Чтобы потребовать у него объяснений.

Вьюом поднял брови, выражая вежливое сочувствие.

— Ну, если это тебе доставит удовольствие... А главное, если это тебя успокоит. У меня нет телефона. Подожди минут десять, я выйду вместе с тобой. Позвоним из кафе на улице Делаамбр.

Немного погодя друзья спускались по лестнице, и Вьюом еще раз сказал примирительно:

— Напрасно ты кипятишься. У прессы свои, неведомые нам, законы. Помни, что люди в массе своей — то есть обычная толпа — ничего или почти ничего не понимают. Чтобы вбить им что-нибудь в голову, надо все упрощать, надо непомерно раздувать аргументы, всякие трудности надо дробить на мелкие куски, что, в сущности, вполне согласуется с одним из положений картезианского метода. Мы позвоним, но ведь в это время там никого не будет. Подумай: сейчас только девять.

— Прости, — молвил Лоран смущенно и вместе с тем упрямо.

Телефон помещался в закутке, позади зала. В темном уголке, у аппарата, где стояли друзья, уже реял запах жаркого и капусты. Вьюом позвонил в редакцию. Там оказалась только одна из секретарш, она зевала и отвечала вяло и односложно.

— Спроси у нее, — подсказал Лоран, нахмурившись и сь, — спроси номер телефона того типа, который меня принимал.

— Рикарди?

— Ну да, Рикарди.

— Если хочешь, пожалуйста, — равнодушно согласился Вьюом.

В конце концов они получили адрес и номер телефона журналиста.

— Алло, — говорил Вьюом ровным, певучим голосом. — Друг мой, звоню вам по поводу статьи господина Паскье. Ведь господин Паскье очень недоволен.

Трубка имелась только одна. Лорану показалось, что в телефоне раздавался смех, и он стал перебирать ногами, как лошадь, готовая лягнуть. По проводу шел непонятный для него разговор. Вюйом шептал какие-то слова, обрывки фраз: «Но я... Ну, конечно... Я так ему и говорю. Но надо понять... нет опыта... Он во что бы то ни стало хотел вам позвонить... Да, да... Извините меня».

Вюйом отошел от аппарата и спросил:

— Хочешь сам поговорить с ним?

— Нет, нет, — испуганно ответил Лоран.

— Но почему же?

— Я, пожалуй, обругаю его.

— В таком случае лучше воздержаться, — отрезал Вюйом.

Он повернулся к телефону и продолжал разговор: «Я передам ему все, что вы мне сказали. Простите, что побеспокоил вас так рано... Да, да, разумеется, я-то все отлично понимаю».

Вюйом повесил трубку, и друзья вышли на улицу.

— Что он сказал? — мрачно спросил Лоран.

— Он ответил очень определенно. Сказал, что сделал как лучше.

— Я слышал, что он смеялся.

— Будь благоразумен. Не хочешь же ты, чтобы он рыдал.

— У меня такое чувство, что меня одурачили.

— Вовсе нет. Ты становишься чересчур раздражительным. Он сказал, что статью в том виде, как она была, никто не стал бы читать. А теперь, когда ее умело перекроили опытные люди, ее прочитают все. Это ясно как день. У прессы, как у физики или химии, свои законы.

— Прости, — возразил Лоран, — но у меня такое чувство, что я несколько смешон.

— Нет, — сказал Вюйом. — Ты не смешон, ты только излишне чувствителен и, прости за откровенность, чуточку наивен, я сказал бы даже — не в меру раздражителен. Вот увидишь — статья произведет отличное впечатление.

И он добавил, подчеркивая каждое слово:

— Я тут ни при чем, Паскье. То, что я сделал, я сделал, чтобы оказать тебе услугу, словом, чтобы угодить тебе. А ссориться с такими людьми, как Рикарди, — ты этого не понимаешь, — весьма опасно.

— Знаю, — проворчал Лоран, вдруг смутившись.

— Хочешь, пойдем сегодня днем в Общество научных изысканий, — продолжал Вьюм ласково и примирительно, — сегодня оно открыто. Ручаюсь, что тебя там отлично примут.

Лоран колебался. Вьюм добавил:

— Да тебе и нельзя не пойти. Подумают, что ты прячешься. Я зайду за тобою в лабораторию, и отправимся вместе.

Лоран не без волнения пожал протянутую ему руку.

Лорану показалось, что в лаборатории как-то неестественно тихо. Он успокоился, сообразив, что еще никто в Институте не мог прочитать «Натиск», что статью, даже в перелицованном виде, все же должны счесть разумной, что лишь одно лицо во всем мире может понять ее смысл и уловить определенные намеки и, наконец, что это лицо, в силу своего характера, не отважится, пожалуи, подать голос.

И действительно, все утро г-н Лармина никак не проявлял себя. Лоран в одиночестве позавтракал в ресторанчике поблизости от Института, потом вернулся в лабораторию и проработал довольно рассеянно до прихода Вьюма.

День был солнечный, жаркий. Выглянув на улицу, Лоран сказал:

— Мы возьмем открытый экипаж, вон там как раз стоит один. Мы отдохнем, проветримся.

— Знаешь, твоя статья всеми встречена весьма благосклонно, — говорил Вьюм, пока извозчик катил по только что политым бульварам. — Я видел Шарля Рише. Он мне сказал: «Паскье — благородный человек. Передайте ему мои поздравления. Статья превосходна и по тону и по форме». Повторяю дословно. Видел я и Дебара. Он сказал, что считает статью просто замечательной. Мы с ним проговорили о тебе целых полчаса. Оказывается, ты, быть может, сам того не зная, воскрешаешь старый конфликт, в котором давно еще столкнулись интеллигентство и военно-медицинская служба. Все то же: наука стремится освободиться от чиновников, которые упорно пытаются опекать ее. Ты виделся с Лармина?

— Нет.

— Когда Лармина прочтет статью, он отнесется к ней, как все. Он поздравит тебя. Я сейчас завтракал с Шартреном. Он воскликнул: «Голубчик Паскье судит трезво и очень смело». А вот и Бло. Я расплачусь с извоз-

чиком, а ты ступай поздоровайся с папашей Бло. У него из кармана пиджака торчит уголок «Натиска».

У г-на Бло, руководителя семинаров в Сорбонне, было простодушное, сияющее, румяное лицо, обрамленное седой пушистой бородкой.

— Не знал, что вы так хорошо пишете, — сказал он. — А ведь нам так нужны люди вашего пошиба! Все, что вы говорите о наших отношениях с администрацией, — превосходно, Паскье. Я рукоплещу вам. Я всю жизнь воевал по вопросам такого рода.

Лоран упивался словами старого педагога, и восхитительное чувство облегчения и гордости разливалось в его груди.

— Зайдем, хорошо? — говорил Вьюом, беря Лорана под руку. — Мы посидим четверть часика, не больше. Главное — почувствовать моральную атмосферу почтенного собрания.

Заседание началось. Один из членов Общества, стоя у кафедры, слабым, еле слышным голосом, читал доклад. Только несколько глухих, сосредоточившихся в первом ряду, слушали его, приставив дрожащие руки к ушам, заросшим белым пушком. Подобно тому как евреи оглашают синагогу своими дрязгами и радостями, всегдагда эти собрания переговаривались, образовав небольшие группы, — кто шепотом, а кто и во весь голос. Председатель временами постукивал карандашом по столу, требуя тишины, которой, казалось, никто, включая и самого докладчика, всерьез не желал.

Лоран тотчас же заметил профессора Ронера, своего бывшего учителя; он стоял с кожаным портфелем под мышкой в глубине зала. Маленького роста, но подтянутый и суховатый, с усами и эспаньолкой, он с виду был похож на отставного полковника. Он дружески кивнул Лорану.

— Мне показали вашу статью, — сказал он. — Отнюдь не плохо. Я с удовольствием замечаю, что вы удачно воспользовались мыслями, которые я не раз излагал перед вами. О, это вовсе не упрек. Самое главное, по-моему, чтобы идеи развивались.

Обычно г-н Ронер был скуповат на похвалы, Лоран покраснел от смущения и пытался должным образом выразить благодарность, а тем временем Вьюом подошел к нему и дернул за полу пиджака.

— С тобой хочет поговорить Гадзони. Он утром про-

читал статью. Говорит — изумительно! Говорит, что она будет иметь решающее значение.

Вьюмом увлек Лорана в коридор, и здесь его поздравил Гадзони — существо скелетоподобное, со странным, битональным голосом; склонясь к уху Лорана, он несколько раз прошептал:

— Я знаю, в кого вы метите... Нет, нет, не отрицайте. Лорийё — настоящий охранник, Лорийё — наш общий враг. Поэтому рукоплещу от всего сердца. Статья решающая, никак не иначе.

Несмотря на недоразумение, Лоран был радостно взволнован. «Зря я терзался, — думал о н . — Проклятые журналисты свое дело знают и знают, что творят. Если бы я разбавил статью розовой водицей, она, пожалуй, прошла бы совершенно незамеченной. Чтобы тебя услышали — даже избранные, — надо говорить громко, надо кричать и топтать ногами. Как странно!»

Тут Лораном завладел г-н Шартрен, с которым он каждую неделю встречался в «Биологическом вестнике»; старик всегда относился к нему весьма благожелательно. Сейчас этот благородный человек доверительно подмигивал ему.

— Я высказал вашему другу Вьюму все, что думаю о статье, — шепнул он совсем тихо. — Добавлю лишь одно: то, что вы сделали — превосходно и очень смело. Поверьте бывалому человеку.

— Но, мосье, тут нет ничего смелого.

Старик сделал гримасу, поджав губы, и продолжал шепотом:

— Есть, есть! Я знаю, что говорю. Всегда требуется смелость, чтобы сказать вслух то, о чем все только думают.

Немного спустя, когда Лоран уже собрался уходить, на лестнице ему встретился знаменитый профессор Дебар, своего рода Геркулес с могучей шеей и огромной львиной головой.

— Bravo! — просто сказал великан. — Люблю людей, которые высказываются ясно. Люблю и полемику. И если вам придется драться, мы все будем за вас, — не сомневайтесь в этом, мой дорогой Паскье.

Оставшись наедине с Лораном в темном переулке между бульваром Сен-Мишель и Медицинским институтом, Вьюм взял приятеля под руку и сказал ему потечески:

— Вот видишь, все довольны. Видишь, все тебя одобряют. Видишь, нечего и расстраиваться. Могушество прессы прямо-таки невероятно. Дело твое правое, следовательно, все идет отлично. Но если бы ты был неправ, то и тогда результат был бы тот же.

— Но мне еще предстоит как-нибудь уладить ссору с Лармина, — сказал Лоран.

— Лармина ничем не отличается от других. Прочитав твою статью, он поздравит тебя. И будет тих, как овечка.

Лоран смотрел на Вьюома глазами, сиявшими благодарностью. Немного спустя, идя уже в одиночестве по бульвару Сен-Мишель, он без зазрения совести отдавался радости победы. Быть слугою науки — вот единственная цель его жизни. Но стать защитником науки, ее апостолом, ее пророком, отважно бороться за великие нравственные и философские проблемы науки, решать их беспристрастно, благородно и смело — вот судьба, быть может, предназначенная ему, Лорану Паскье. Он выполнил ряд незаурядных работ. Все в один голос предсказывают ему блестящую карьеру. Ему этого мало. Теперь он может стремиться к чему-то гораздо более значительному, к чему-то еще более прекрасному. Стать одним из мудрецов их племени, стать совестью корпорации... Он сразу же наметил более двадцати тем для статей. Целая кампания, кампания блистательная! Быть может, получится полновесная книга, в которой он разовьет свои взгляды на роль науки в будущем обществе!

Тут Лоран заметил, что до того размечтался, что по рассеянности направляется не к лаборатории, а к себе домой. Вот уже улица Гэ-Люссака. Еще несколько шагов — и он возле своего дома. Он решил не подниматься к себе, а только взять у швейцара корреспонденцию. Женщина подала ему несколько газет, несколько писем и телеграмму, доставленную днем.

Лоран не спеша распечатал телеграмму: никаких особых новостей он не ждал. Он прочел текст телеграммы, не совсем поняв ее смысл, прочел вторично. В ней было всего несколько слов:

«Советую не печатать статью если еще не поздно воздержаться письмо следует Жюстен».

«Просто удивительно, — думал Лоран, кладя в карман загадочное послание, — удивительно, до какой степени Жюстен, журналист, профессиональный полемист, может быть в некоторых случаях осторожен и даже робок. Тем хуже! Предупреждение его опоздало. По каким же соображениям он советует мне не печатать статью, которая, как теперь выясняется, вполне своевременна? Что за чудак наш Жюстен!»

Лоран сел в автобус и приехал в Национальный институт биологии. В саду он встретил своего коллегу, Пьера Юреля, ученика профессора Р у , — молчаливое существо, которое, как и его учитель, совершенно неспособно было ни на какие излияния. Юрель долго держал руку Лорана в своей и, сказал взволнованным, хоть и глухим голосом:

— Я прочел ваш выпад и, кажется, все понял. Не могу не заверить вас, что я всем сердцем на вашей стороне, особенно против этого болвана.

Он подбородком указал куда-то в сторону деревне в , — как показалось Лорану, в направлении директорского флигеля.

Лоран пролепетал в ответ несколько неопределенных сердечных слов, потом быстро направился в лабораторию. Здесь он узнал, что его брат Жозеф в течение вечера трижды вызывал его к телефону и настоятельно просил, чтобы Лоран, когда вернется, сам позвонил ему.

Лоран снял трубку и, после соответствующих манипуляций, услышал хорошо знакомый голос.

— Приезжай немедленно, — говорил Ж о з е ф , — приезжай к маме на бульвар Пастера, я там.

— В самом деле так спешно?

— Чрезвычайно.

— Никто не заболел?

— Никто не заболел, не умер, и все-таки, повторяю, дело страшно серьезное.

— Так скажи, что случилось.

— По телефону нельзя. Жду тебя у мамы.

Жозеф, по-видимому, положил трубку: телефон молчал. Лоран взял шляпу.

«Значит, так суждено, что работать мне не дадут, — ворчал Лоран, спускаясь по лестнице, — все силы земные и небесные сговорились не давать мне работать. Никто не заболел, никто не умер... Так что же могло случиться?»

Глава X

Загадочная сцена. Молчание 2-жи Паскье. Воспоминания о маленькой Люси-Элеоноре. Поговаривают о кандидатуре Рибо. Г-н Паскье совершил неслыханное безумство. Хочешь видеть идиота? Открытка доктора. Жозеф — дойная корова. При наличии детей и стариков. Откровение насчет «Экономического обозревателя». Одни только неразрешимые проблемы!

Госпожа Паскье сидела посреди комнаты в старинном кресле времен Луи-Филиппа и, вопреки обыкновению, не встала при виде входящего Лорана. Смеркалось, было жарко; единственное окно, выходившее на квадратный двор между домами, было распахнуто настежь. Доносились голоса соседей, собравшихся за вечерним столом, и гнусавые звуки двух фонографов, которые, казалось, соперничали в овладении тишиной.

Жозеф стоял у комода с мраморной доской в крапинку. Он тотчас же воскликнул тем особым, решительным и певучим голосом, каким обычно говорят с детьми и даже с больными:

— Вон оно что! Какой сюрприз! Лоран удостаивает нас визитом мимоходом, между двумя чудесными научными открытиями!

При этом Жозеф смотрел на брата, так нервно подмигивая ему, что озадаченный Лоран счел благоразумнее промолчать. Он прошел два-три шага, поцеловал мать в лоб и смущенно присел на низенький стул, обитый красным плюшем; одна ножка у него была короче других, и Лоран тотчас же почувствовал знакомое покачивание, потом стал утирать лоб.

Обычно г-жа Паскье, расслышав еще издали шаги кого-нибудь из детей, радостно восклицала: «Вот как! Сесиль! Вот как! Жозеф!» Она постоянно перебирала имена их всех, прежде чем подыскать соответствующее. Потом она подставляла щеку, а если вошедшему случилось, приложившись к ней, отойти чересчур поспешно, почтенная дама сердито говорила: «А как же я?» — что-

бы показать, что, отвечая поцелуем на поцелуй, она остается строгой блюстительницей обычаев и традиций. На этот раз Лоран был поражен тем, что мать сидит в старинном кресле неподвижно, словно окаменев.

— Ты не больна? — спросил он.

— Нет, нет, — ответила г-жа Паскье и сразу же поджала губы, продолжая внимательно разглядывать ящики комода и фаянсовое кашпо, стоявшее на его мраморной доске.

— Я зажгу лампу, — сказал Жозеф, берясь за спички.

Послышалось робкое возражение г-жи Паскье. Спичка уже пылала, уже в мутном стекле лампы запел газ. Клочок неба, видневшийся в верхней части окна, над крышами, вдруг померк, и в резком свете ауэровского светильника выступила из темноты старая мебель. Обои, покрытые длинными полосами черной пыли, тусклое каминное зеркало, в котором блестели крупницы амальгамы, высокая кровать с широким кружевным покрывалом, под которым топорщился красный пуховик, вещицы, расставленные на столиках, на камине, на шаткой этажерке, — все свидетельствовало в тот вечер не о покое старого, безмятежного убежища, но об ужасе и недоумении. Необычное молчание окаменевшей старухи придавало оцепенению вещей что-то человеческое и тем самым еще более гнетущее.

— Затвори окно, Жозеф, — молвила г-жа Паскье еле слышно.

В это время среди тягостной тишины из передней донесся звонок. Послышались голоса, и горничная постучала в дверь.

— Это от обойщика, — сказала она. — К доктору.

Госпожа Паскье встала и с трудом направилась в переднюю.

— Объяснишь ты мне наконец, что все это значит? — шепотом спросил Лоран.

— Потерпи малость, — ответил Жозеф. — Немного погодя мы вместе выйдем, и я все тебе расскажу.

— Где папа?

— О папе не заикайся, — во всяком случае, в настоящий момент.

— Ничего не понимаю.

Жозеф принял добродушный, ласковый вид,

— Мама сейчас вернется. Скажи ей что-нибудь приятное, задушевное.

Лоран пожал плечами. Вошла г-жа Паскье.

— Все в порядке, — вздохнула она. — Все в порядке.

Она опять уселась в кресло. На ней было черное платье, не перехваченное в талии, и поэтому она казалась ниже ростом. Белый пикейный воротничок придавал этому наряду нечто столь мрачное и даже траурное, что молодой человек не выдержал.

— Где папа? — спросил он.

Госпожа Паскье разжала губы и поспешила ответить:

— Он еще не приходил.

Сразу же опять воцарилось молчание. Лоран вглядывался в лицо матери и думал о маленькой Люси-Элеоноре со сжатыми губами и пристальным взглядом, о девочке, прямо держащей головку и напрягшей все мускулы в преддверии долгой и трудной жизни, — такую фотографию, пожелтевшую и помятую, можно было увидеть в самом начале семейного альбома, который лежал в зеркальном шкафу. Неужели эта старая женщина с поблекшим лицом, со вспухшими, хоть и сухими глазами, с носом, испачканным табаком, с редкими, бесцветными волосами — неужели это та самая крошка Люси-Элеонора? «Да, да, — думал Лоран, — это та же душа, это то же беспокойное, страдающее существо. Та же манера поджимать губы в минуты опасности, та же манера держаться прямо, та же манера встречать события, та же манера страдать».

Лоран молча смотрел на мать и заметил, что она обеими руками, лежащими на коленях, нервно, беспрерывно как бы складывает воображаемую материю, чтобы подрубить ее, и шьет, шьет, шьет по-прежнему маленькими ручками, хоть пальцы их и окоченели и исколоты за целый век, проведенный за рабочим столиком.

Жозеф принялся весело болтать что придется.

— Правительство подало в отставку, — разглагольствовал он. — Поговаривают о кандидатуре старика Рибо. Ну что ж, это весьма почтенно, но вместе с тем и довольно бесцветно...

«Что все это значит? — с горечью думал Лоран. — И что такое мог натворить папа? Ну вот, Жозеф собирается уходить».

Братья один за другим поцеловали мать. Теперь она

казалась совсем бесчувственной, безразличной или, лучше сказать — отсутствующей.

— Я завтра проведаю тебя, — сказал Жозеф, похлопав ее по спине шутливо, нежно и вместе с тем смущенно. — А может быть, и Лорану удастся приехать. Не правда ли, Лоран?

Вскоре они уже были в темной прихожей, а затем на лестнице.

— Объясни же наконец... — резко сказал Лоран.

— Еще минутку. Я отпущу машину, мы пойдем пешком, — это успокоит меня.

Несколько минут спустя братья уже шагали по широкой средней дорожке бульвара Вожирар.

— Итак? — коротко спросил Лоран. — Что означает все это представление? Что случилось? Чего ты от меня хочешь?

— Случилось то, — ответил Жозеф, отчеканивая каждое слово, — случилось то, что отец четыре дня тому назад уехал.

— Уехал? Отец путешествует?

Жозеф остановился, схватил Лорана за отвороты пиджака, два-три раза яростно встряхнул его и проговорил, стиснув зубы:

— Хочешь видеть идиота? Вот он — перед тобой. Хочешь видеть простофилю? Смотри — вот он. Хочешь видеть ловкача, которого обвели вокруг пальца? Ну так смотри, смотри на Жозефа Паскье.

Лоран осторожно, но решительно пытался разжать пальцы Жозефа.

— Ты все только о себе, — сказал он раздраженно. — Скажи наконец что-нибудь о папе, я начинаю терять терпение.

Жозеф понурил голову с сокрушенным, почти ханжеским видом.

— Вот что значит разыгрывать из себя великодушного человека, — жаловался он. — Вот что значит разыгрывать благородство. Впервые я дал папе денег. Ты знаешь, сумма немалая. Я дал двенадцать тысяч. Слышишь: двенадцать тысяч, двенадцать тысяч! Двенадцать кредиток по тысяче франков! А как только деньги оказались у него в руках — он сбежал.

— Куда же он уехал?

— В Алжир.

— В Алжир, в июне?
— Ах, солнца он не боится. Жары не боится.
— Он уехал не один?
— Уж конечно, не один.
— С кем же?
— С секретаршей, с девицей в узкой юбке.
— Вот я тебе это и предсказывал.
— Да, правда, ты, ты, обычно ничего не смыслящий, предсказал это... И это, пожалуй, свидетельствует о том, что я болван!

Жозеф расхохотался.

— Итак, я болван. Вот первая новость. Только этого мне и недоставало! Я сам преподнес себе это звание. Заплатил за него двенадцать тысяч. Теперь я во всеоружии.

Жозефа охватил безудержный гнев. Лоран, задумавшись, тайком поглядывал на него. В голосе Жозефа, в его движениях, его поведении было что-то непонятно-фальшивое, что-то искусственное, вызывавшее возмущение. Старший брат порылся во внутреннем кармане пиджака. Он осторожно извлек оттуда двойную открытку и подул на створки, чтобы они раскрылись.

— Но как же ты все это узнал? — спросил Лоран.

— Очень просто — вот из этой открытки. Она из Марселя. Можешь ознакомиться.

Лоран сразу же узнал крупный, угловатый и жесткий почерк, отнюдь не соответствующий, по его мнению, характеру отца. Послание содержало лишь несколько строк:

«Дорогой Жозеф, — писал доктор, — у меня, конечно, уже никогда в жизни вторично не представится случая осуществить давнюю мечту — мечту постранствовать по нашей планете и в первую очередь по нашей прекрасной североафриканской колонии. Я уезжаю. Надо уметь разрывать цепи и следовать велениям судьбы. Поставь себя на мое место, и ты одобришь меня. Я вывезу оттуда какой-нибудь замечательный труд и при помощи его добьюсь академической премии. Это позволит мне возвратить тебе долг. Матери твоей я сказал, имея в виду первый вечер, что уезжаю к больному в провинцию. Я рассчитываю, что все вы окружите мать вниманием и

заботой: вы всегда были примерными детьми, несмотря на вашу склонность читать мне мораль.

Я еще напишу вам, а пока дружески целую вас всех. Р. П.»

Лоран сложил открытку и несколько минут шел молча. Жозеф продолжал нарочито и даже театрально негодовать.

— На этот раз вам не удастся упрекать меня в эгоизме, — бормотал он. — Я дал двенадцать тысяч. Зато какой урок! Какой урок!

— Уму непостижимо! — шептал Лоран. — Уму непостижимо! И уже прошло четыре дня! И мама не сообщила никому из нас! Быть может, она подумала, когда он исчез, что он ранен, попал в какую-нибудь катастрофу...

Жозеф покачал головой.

— Если бы он попал в катастрофу, она сразу догадалась бы и всех нас подняла бы на ноги. Помнишь, когда его задержали за то, что он надерзил полицейскому, она сразу поняла, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Они живут вместе сорок три года. Она знает его лучше, чем он самого себя. Она, должно быть, заранее предчувствовала эту дикую выходку.

— Чудовищно!

— Нет, уверяю тебя, все очень просто. Несмотря на открытку, несмотря на историю с больным провинциалом, она, вероятно, вдруг поняла, что наступил день расставания — расставания, которого она ждала, которого опасалась уже целых сорок три года.

— Да, возможно, что и так, — молвил Лоран.

— Но она не хотела говорить с нами об этом, — продолжал Жозеф.

— Это я понимаю, — прервал его Лоран. — Я как-никак отлично знаю ее. Она не хочет, чтобы мы сурово судили о папе. Она предпочитает разыгрывать комедию: «Он еще не возвратился». Это вполне в ее духе.

— Печально, что так не может долго продолжаться, — сказал Жозеф.

— Она, быть может, надеется, что он с минуты на минуту вернется.

— К несчастью, это заблуждение. У него на траты двенадцать тысяч франков. Их хватит на несколько месяцев, даже если жить на широкую ногу. А чтобы бро-

сать деньги на ветер, нужна особая привычка, которой у него нет.

— А как ты догадался, что секретарша...

— Тут, друг мой, сделали свое дело мои соглядатаи.

— Почему же, — ответил, помолчав, Лоран, — почему ты ничего не сказал остальным?

Жозеф возразил:

— Сюзанна неуловима, особенно с тех пор, как живет одна. Сесиль в Швеции, Фердинан... На Фердинана вообще рассчитывать нечего. Тебе не кажется странным, что я потревожил тебя при таких обстоятельствах?

Лоран покачал головой.

— Ты мог бы все объяснить мне по телефону... Я не знал, как держать себя. Ты нелепо советовал мне: «Скажи ей что-нибудь приятное...» Сам знаешь, что достаточно обратиться с такой просьбой, чтобы человек не мог рта раскрыть и сказать вообще что бы то ни было.

— У тебя недостает воображения.

— Возможно. Все это очень грустно. Я страшно устал.

— Ты, конечно, догадываешься, что мама без гроша, — вдруг сказал Жозеф. — Папа ни на минуту не усомнился в том, что мы сделаем все необходимое.

— Действительно, не в этом дело.

Жозеф опять схватил брата за борта пиджака.

— Сам понимаешь, запасных денег у них не было. Сейчас, перед твоим приходом, я сунул маме кредитку в пятьсот франков.

— Что она сказала?

— Ничего, ни слова. Это ей на первое время. Потом я ей растолкую, что это от нас всех. Не могу же я быть дойной коровой всей семьи.

— Жозеф!

Снова молчание. Теперь братья огибали Люксембургский сад. Летняя ночь благоухала свежей листвой.

— Я буду как можно чаще ходить к ней обедать.

— Конечно, ты одинокий...

И вдруг, словно вновь заполоненный духом зла, Жозеф прошептал, причем лицо его покрылось множеством морщинок:

— Позволь, однако! Если ты будешь обедать у нее каждый день, так твоя доля помощи ей, естественно, должна повыситься.

— Жозеф! — проговорил Лоран глухим голосом. — Жозеф! Ты вызываешь у меня отвращение.

Жозеф кивал головой, как лошадь.

— Не понимаю почему, — ответил он. — Я опять оказался бы в дураках.

Лоран промолчал. Жозеф добавил наставительно:

— Люди, не имеющие на руках детей и стариков, не знают, что такое жизнь. Я говорю так, поверь, не потому, что ты холостяк.

Некоторое время они опять шли молча и наконец оказались на улице Гэ-Люссака. Вдруг Жозеф примирительно улыбнулся.

— А у тебя незаурядный литературный дар.

— Что ты имеешь в виду?

— Имею в виду твою статью, статью в «Натиске». Ты мог бы предложить ее и в мою газету.

— В какую газету? У тебя газета?

Жозеф воздел руки к небесам.

— Ты решительно ничего не знаешь. Находишься я сейчас в веселом настроении, я расхохотался бы. У всякого в моем положении есть собственная газета, без нее нельзя. Ну, разумеется, имя мое не значится на первой странице, и даже на последней его нет. Не в этом суть. Ты — рассеянейший из ученых. А я твою статью охотно напечатал бы в «Экономическом обозревателе». Она имела бы огромный успех. Что скажешь на это, малыш?

Лоран медленно поднял руку.

— Ничего не скажу. Я расстроен и устал.

— В таком случае ступай спать. До свиданья!

Лоран не спеша взобрался на седьмой этаж. Он был утомлен и подавлен. Поднимаясь со ступеньки на ступеньку, он размышлял: «Чтобы работать, чтобы безмятежно создавать что-то, что-то действительно значительное, надо ни с кем не видеться, ни о ком не заботиться, никого не любить. Но какой смысл тогда создавать что-либо? Опять неразрешимая проблема. Куда ни глянь — одни только неразрешимые проблемы!»

Глава XI

Почерк Жюстена. Дружеский нагоняй. Парсифаль и борьба мнений по поводу этимологии слова «geqip». Точка зрения провинциала и человека немощного. Со-чувственные письма. Виаль и Моммажур. Провозвестник катастроф. Лабораторный журнал. За работу! У г-на Лармина тугое пищеварение. Насущная необходимость опровержения. Разрешение цензуры. Лоран принимает душ. Мысли о материнских чувствах. Человеколюбие Фердинана Паскье. Знаком ли тебе остров Сен-Панкрас?

Лоран спал тревожным сном; его терзал один из тех тягучих кошмаров, которые без конца повторяются и против которых бессильны и пробуждения, и разум, и даже дневной свет. Лорану казалось, будто он в каком-то бесцветном полумраке натывается на множество существ, которые похожи были то на Лармина, то на доктора Паскье, то на Жозефа или Рока. Молодой человек вступал с ними в нескончаемые безмолвные ссоры, и его противники неизменно ускользали от него, испарялись, превращались в дым, в облачка пыли. Тогда спящий приоткрывал глаза, поворачивался на другой бок и упорно утешал себя: «Этот ужасный день все-таки не был совсем неудачным. В Обществе научных изысканий я слышал одни только похвалы. Сам Жозеф, когда речь зашла о моей статье, стал медоточив. Что касается мамы, мы все обсудим... Мне не понравилось, как она неуклонно обращала взор на ящики комода. А насчет папы... Что ж, он наконец совершил глупость из ряда вон выходящую. Этого так долго ждали... Теперь чувствуешь чуть ли не облегчение».

Молодой человек умылся, побрился, но ум его все еще был одурманен ночными призраками. Выходя на улицу, он мимоходом взял у швейцара почту, и ему показалось, что в тот день писем больше, чем обычно.

Лоран всегда ходил в Институт пешком. День начинался для него этой одинокой прогулкой, во время которой он размышлял, строил планы, дышал свежим возду-

хом; мысли его прояснялись и сами собою приходили в порядок. На одном из конвертов он узнал почерк Жюстина Вейля, и именно его письмо он распечатал первым.

«Едва успел я отправить тебе телеграмму, — увы, по моей вине слишком поздно, — как у нас в редакцию уже поступили парижские газеты... — писал Жюстен. — Я увидел твою статью в «Натиске». Она вызвала у меня нечто большее, чем беспокойство, большее, чем досаду, — она просто привела меня в ярость. Людям твоего склада следовало бы хорошенько все взвесить, прежде чем бросаться в этот адский круг. Я знаю тебя уже двадцать лет. Я достаточно люблю тебя, чтобы высказаться откровенно. В статье твоей мне не нравится почти все. Начать с заголовка. Что это за стиль, что за стиль предвыборной прокламации? Какой-то голос подсказывает мне, что ты не сам придумал все это. Кто же подзадорил тебя, настропалил, насоветовал тебе — тебе, Лорану Паскье, тебе, такому безупречному человеку, такому рыцарю? Не нравится мне и разбивка на мелкие абзацы с броскими подзаголовками. Теперь мы прибегаем к такому приему, только когда печатаем творение какого-нибудь незадачливого министра, желающего заполнить чем-либо невольный досуг. Обычно мы разбиваем его стряпню на несколько порций, чтобы читателю легче было ее переварить. В отношении этих господ такой прием превосходит, но когда дело касается тебя — становится противно. Не знаю, обратил ли ты внимание на то, в какое окружение втиснули твою статью? Статья, содержащая, бесспорно, весьма справедливые, весьма благородные мысли, достойные тебя, оказалась зажатой между заметкой об отвратительном происшествии — о женщине, разрезанной на куски, подобно твоему злополучному шедевру, и мерзкой рекламой какого-то снадобья, которое якобы способствует росту грудей у чересчур худеньких особ. Неужели тебя не возмущает такое соседство?»

Мне лучше, чем кому-либо, известно, что в наше время печать во всем мире вовлечена в торгашеские комбинации, и я не вижу выхода из создавшегося положения. Не вздумай только обратить мой упрек против меня самого. Не вздумай укорять меня той газеткой, которая кормит меня и которой я живу за неимением лучшего, живу в смертельной тоске, да, в смертельной тоске. Мне не грешно писать вздор, мне не грешно опешляться, не

грешно компрометировать себя. Я уже и так скомпрометирован участием в этой грязной кухне. Я пожертвовал чувством собственного достоинства. Жизнь моя не удалась. Все, что относится ко мне, представляется мне совершенно безразличным. Но в отношении тебя я не пожертвовал ничем. Я перенес на тебя все свои чаяния и весь свой пыл. Именно это и позволяет мне пробираться к тебе с полной откровенностью,

Поверь, Лоран, ты слишком... Парсифаль, чтобы вмешиваться в то, что у нас именуется «борьбой мнений». Честным маленьким рыбкам вроде тебя не следует разгуливать там, где водятся акулы. Кстати, я вычитал в словаре Литтре, что слово «requin»¹ происходит от «requiet»², ибо тому, кто видит акулу, не остается ничего другого, как прочесть самому себе «requiet». Мне это показалось прекрасным и очень простым. К сожалению, наиболее авторитетные филологи считают, что такое объяснение — вздор. Как правило, стоит только какой-либо этимологии прийти мне по душе, как оказывается, что она ошибочна. Истина прямо-таки неуловима.

Рассказываю об этом, чтобы немного развлечь тебя. Надеюсь, что осложнением со всякими Биро и Лармина придет конец и что ты снова будешь наслаждаться возвышенной, чистой тишиной своей лаборатории.

Твой печальный брат Жюстен».

Лоран, хмурясь, прочел еще и еще раз эти строки. Он стал ворчать, браниться, — однако пылкая, преданная дружба, изливающаяся так щедро и благородно, трогала и умиляла его. «Нет, — думал он, — Жюстен преувеличивает. Как ни странно, а он уже смотрит на все с точки зрения провинциала, с точки зрения немощного. Я ведь видел, как меня повсюду встречали: все на моей стороне и далее все будут за меня. Кроме Лармина. Да и то как сказать! В отношении Лармина ни в чем нельзя быть уверенным. Быть может, он присмирееет. А впрочем, наплевать мне на Лармина. Заглянем в другие письма».

Их было пять. Три — от друзей и коллег: Виктора Леграна, Жильбера Ансома и Стерновича. Во всех трех содержались горячие похвалы и одобрение, — они отличались друг от друга лишь индивидуальными оттенками.

¹ Акула (франц.).

² Начало заупокойной молитвы: «Вечный покой подай, господи...» (лат.)

Два других письма исходили от неизвестных лиц, довольных и даже восхищенных статьей, — и они говорили об этом не без воодушевления.

Идя среди потока пешеходов по тротуарам, уже подогретым утренним солнцем, Лоран прочитывал письма, доставлявшие ему такую радость. «Нет, нет, — думал он, — напрасно Жюстен тревожится. К тому же ведь все уже кончено. То, что я должен был сказать, я сказал. Теперь я возвращаюсь в свое уединение. Только уединение благодатно, — как утверждает Альфред де Виньи».

На пороге здания, перед тем как войти в гулкой коридор, ведущий к лестнице, Лоран увидел Виалья и Моммажура, препараторов из отделения сывороток, превосходных юношей, испытанных четырехлетней безоблачной совместной работой, юношей с открытыми, простодушными лицами. Они бесхитростно протягивали ему руки.

— Мосье, — обратился к нему Моммажур, более речистый и говоривший притом с сильным провансальским акцентом, что помогало ему высказываться откровенно, — мосье, мы с Виалем будем вам очень признательны, если вы избавите нас от гражданина Биро, потому что работать с ним совершенно невозможно.

Лоран встрепенулся. Последнее время он делал огромные усилия, чтобы забыть о Биро, и это стало ему удаваться.

— Дети мои, — отвечал он, рассмеявшись, — я вас прекрасно понимаю. К сожалению, вопрос этот решается не мною. Обратитесь непосредственно к директору, я не возражаю. Только он может решить вопрос.

Молодые люди отошли, смущенные и растерянные. Лоран поднялся по лестнице, направился в свою лабораторию. У двери он с удивлением увидел Эжена Рока.

«Ну вот, — подумал он добродушно, — вот и провозвестник катастроф!»

Провозвестник, казалось, не торопился с сообщением новостей. Он заговорил о Джоконде, которую наконец нашли и водворили на прежнее место в Лувре, о Шлейтере, которого приводила в бешенство неудача Вивиани, его начальника, в попытке сформировать новый кабинет министров; он говорил о пресловутом методе лечения зубной невралгии, предложенном далматским врачом и заключавшемся в применении ингаляций с горчичным маслом... И вдруг, резко понизив голос, он еле слышно прошептал:

— Тебя упрекают не за твои идеи, с которыми можно бы и согласиться, а за то, что ты взываешь к широкой публике по таким вопросам, которые касаются только посвященных.

Фраза прозвучала просто, совсем тихо, без подготовки и без какой-либо связи с предыдущим. А Рок уже собрался заговорить о чем-то другом, быть может, о поездке Мориса Барреса на восток, быть может, об албанском восстании; но Лоран положил руку ему на плечо и невозмутимо ответил:

— Кто же меня упрекает? Уж не ты ли?

Рок чуть-чуть попятился.

— Нет, не я, сам знаешь. Упрекают другие.

— Другие? Кто именно? Скажи.

— Ну, например, в Обществе научных изысканий...

— Вот как? Я вчера там был, и все единодушно одобряли меня.

Рок откинул голову и насторожился.

— Я тоже был там; ты только что ушел. Я говорю тебе, Паскье, чтобы предупредить тебя. Все считают, что надо остерегаться газет, когда речь идет о научных разговорах...

Лоран в смущении отвел глаза. «Пятнадцать лет! — думал о н . — Пятнадцать лет он терзает меня таким образом. И я не могу даже разобраться, любит ли он меня или ненавидит. А хуже всего то, что он, пожалуй, и сам этого не знает».

Рок поднялся, собираясь уйти, и, по обыкновению, стал переминаться с ноги на ногу, разыскивая свою шляпу, перчатки, трость и портфель. Вдруг он подошел к Лорану, взял его за руку и весьма дружелюбно пожал ее. Он бормотал:

— До сих пор, Паскье, ты знал одни только успехи, и они давались тебе легко. А теперь ты, вероятно, узнаешь, что такое неприятности. Считаю за благо предупредить тебя.

Он еще раз двадцать повертелся в разные стороны и наконец ушел. Отзвуки его шагов уже замирали в отдалении, а Лоран все стоял, понурившись, и думал — как же истолковать посетителя и его слова?

Молодой человек наугад раскрыл один из объемистых журналов, куда он несколько лет записывал мысли, возникавшие у него в долгие часы, проведенные у микроскопа за наблюдением над подопытными животными,

над ходом реакции, над действием красителей, выявляющих невидимые детали.

На одной из страниц, испещренной цифрами, можно было в углу прочитать следующую, мимоходом написанную заметку!

«Могущество жизни. Чтобы создать эмаль, требуется песок, свинец, поташ, сода, а в некоторых случаях и окиси металла; нужен также горн, дающий высокую температуру. А крошечная живая клетка создает прекрасную эмаль зубов при температуре, свойственной организму, создает ее из того, что наличествует в крови и во влаге тела».

Лоран глубоко задумался. «Таков и мой путь, — думал он. — Я посвятил свою жизнь поискам истины. Это великолепная цель. Я собрался раскрыть тайны природы. Жюстен, безусловно, прав. Не следует мне растрачивать силы на битву с тенями, на сражение с ничтожествами и призраками. Итак, баста! За работу!»

Лоран был погружен в эти спасительные размышления, как вдруг дверь лаборатории растворилась, и появился г-н Лармина. В ознаменование наступившей жаркой погоды, директор облекся в короткий люстриновый пиджак, блестящий в ярком свете, который лился из окна. В руках он держал соломенную шляпу с черной лентой. Он, по-видимому, только что позавтракал, и все тело его поминутно сотрясалось от толчков диафрагмы, а в воздухе противно запахло каким-то подобием кофея.

Торжественным движением, но в два-три приема директор протянул, как некое сокровище, студенистую руку, в которой, казалось, должны были отпечататься все пальцы Лорана. Заметив, что над желтоватой бородой начальника появляется улыбка, молодой человек на мгновение подумал, что Лармина, пожалуй, явился, чтобы поздравить его, — как предсказывал Вьюм. Но вот директор раскрыл рот, и сразу же, по его интонации, по первым словам, по выражению лица, Лоран понял, что борьба продолжается, и притом принимает непредвиденную форму.

— Вы, несомненно, удивились бы, — медленно произнес старик, — если бы я ничего не сказал о статье, которую вы вчера напечатали в газете. Статья блестящая, не спорю.

Лоран молчал. Директор прикрыл рот рукою, чтобы скрыть бурные признаки пищеварения, потом продолжал:

— Вы дали волю нервам, господин Паскье. Я думал, что вы разумнее и, позвольте сказать вам это, умнее. Не краснейте. Можно быть весьма почтенным биологом и совершенно не разбираться в общественных вопросах.

Старик подчеркивал отдельные слова и при этом слегка подергивал головой. Как политические ораторы, он к концу фраз усиливал голос. Его высокий рост, представительная фигура, медлительность речи — все должно было придать нагоняю определенную торжественность. Но при словах «общественных вопросах» Лоран стал моргать, и старик это заметил. На лице его появилась, злобная, желчная улыбка. Он продолжал еле слышно разглагольствовать:

— У меня не было детей, господин Паскье, но я ведь гожусь вам в отцы. Я лет на тридцать — тридцать пять старше вас. Старше вдвое. Да, детей у меня не было, но, по сути дела, все мои подчиненные — мои дети. Позвольте мне дать вам добрый, полезный совет. Позвольте мне, друг мой, избавить вас от ненужных и порою даже тяжелых испытаний.

Впервые за четыре года г-н Лармина, отказываясь от официального языка, пробовал прибегнуть в разговоре с сотрудником к явно сердечным выражениям. Молодого человека это смутило и встревожило. Насторожившись, весь обратившись в слух, он, не шевелясь, ждал продолжения этой речи.

— Вы совершили неловкость, позвольте мне вам сказать это. Всем известно, да и газета о том упоминает, что вы являетесь сотрудником нашего Института. Для всякого, кто умеет читать, ясно, что ваши критические выпады направлены против Института, то есть против его директора. Если вы сочли нужным обратить внимание на те или иные недостатки крупного учреждения, значит, сам я их не замечаю, значит, они не тревожат меня, значит, я не выполняю своих обязанностей. Вот смысл вашей статьи. Можете вы отрицать это?

Лоран резким движением головы ответил «нет». Старик не спеша, довольно логично, продолжал:

— Можно ли предположить, что карьеристы, рвачи, которых вы упоминаете в подзаголовках вашей статьи, можно ли предположить, что они никак не связаны — будем вполне откровенны — с директором Института?

— Мосье, — порывисто воскликнул Лоран, — это выражения не мои. Против моей воли, не согласовав со мною, поставили мою подпись под фразами, которых я не писал.

— Да, да, — пел г-н Лармина, — такие прискорбные явления почти неизбежны в журналистике. Как-никак, господин Паскье, вы поступили не только неловко, не только неосторожно, но и непорядочно.

— Мосье!

— Успокойтесь, друг мой. Вы дали волю своим нервам. Прекрасно. Теперь вам остается только исправить эту досадную ошибку.

Директор запустил в ухо ноготь мизинца и тщательно обследовал свой слуховой орган.

— Вам известно, — продолжал он, — что во французской армии офицерам запрещено печатать что-либо без письменного разрешения начальства. Вам известно, что у духовенства, — действий коего я, впрочем, отнюдь не одобряю, — это правило соблюдается еще строже...

Лоран зашагал взад и вперед по комнате. Старый ментор взглядом наблюдал за ним, чуть повертывая голову ему вслед. Встрепка продолжалась:

— Впервые один из моих сотрудников позволяет себе обратиться к общественному мнению, — пусть даже намеками, — по поводу разногласий, какие всегда возможны между директором и его подчиненными.

— Мосье...

— Дайте мне сказать, прошу вас. Теперь моя очередь. Я всегда восторгаюсь хирургом, который, убедившись в своей ошибке, публично признает ее и исправляет. Я знаю лучше, чем кто-либо, что вы воспитаны в духе научной дисциплины...

— Что вы хотите сказать?

— Хочу сказать, что для восстановления порядка совершенно необходимо опровержение.

«Совершенно необходимо» г-н Лармина повторил два-три раза. Потом добавил:

— Все, что нужно, я подготовил.

Лоран резко остановился и возразил решительно:

— Опровержение, которое вы намерены написать от своего имени?

Господин Лармина благословляющим движением поднял руку и вкрадчиво проговорил:

— Простите! От вашего имени, господин Паскье. Чтобы такая заметка произвела надлежащее действие, она должна исходить не от кого другого, как только от вас.

— Вы рассчитываете, что я вдруг всенародно отрекусь от своего мнения? — прогремел Лоран, задыхаясь от злости.

— В столь нелепое положение поставил вас, друг мой, не я.

— И вы рассчитываете, что я отрекусь от своего мнения и, в довершение позора, подпишу текст, автором которого я не являюсь?

— Такие вещи случаются, — вздохнул г-н Лармина. — Вы же сами сейчас разъяснили мне, что под вашим именем в газете напечатаны подзаголовки, написанные не вами. Значит, в этом нет ничего особенного.

Лоран сделал несколько шагов вперед. Сжав кулаки, взъерошенный, с пылающим лицом, он так наступал на старика, что тот попятился и отошел за письменный стол.

— Вы подстрекаете, — опять заговорил он, — вы подстрекаете своих сотрудников к неповиновению. Сегодня утром — это прямо-таки невероятно — ко мне явились двое ваших препараторов...

Лоран вдруг успокоился; он поднял руку, как бы кидая что-то через плечо.

— Не рассчитывайте на меня, чтобы опровергнуть статью, которую весь научный мир безоговорочно одобряет.

Господин Лармина проглотил слюну, обнаружив под бородой огромный и тотчас же исчезнувший кадык.

— Ну, господин Паскье, это мы еще посмотрим, — сказал он, берясь за дверную ручку.

Оставшись один, Лоран прежде всего снял халат и расстегнул рубашку. Потом он подставил голову под струю холодной воды и долго стоял так, чтобы развеять последние остатки ярости. В конце концов ему захотелось смеяться и кричать. Положение, по крайней мере, прояснялось. Раз приходится драться — он будет драться. И не с нелепым и неуловимым Биро, а со старым ядовитым хрычом Лармина. Какой вред, в конечном счете, может нанести ему Лармина? Четыре года тому назад Лоран прошел по конкурсу. Он вполне убежден, что защищает правое дело. Его учителя, коллеги, друзья, ученики — все будут на его стороне, если конфликт обострится. Размышляя так, молодой человек обрел успокоение, граничившее с блаженством. Весь день он работал с увлечением И

пользой. Временами в воображении его возникало окаменевшее лицо матери, и он решил сегодня же навестить ее и пообедать с ней. Он слишком долго страдал от причуд доктора. Как ни тревожна была последняя скандальная выходка отца, Лоран твердо решил в дальнейшем не принимать к сердцу его фокусы. Ему вспомнились рассуждения насчет искупительной психологии русских писателей, которые он недавно развивал в переписке, и он весело, беззлобно побранил самого себя. Потом он незаметно погрузился в радость труда.

Когда он входил в маленькую квартирку на бульваре Пастера, было еще светло. Г-жа Паскье сидела, как и накануне, одна посреди комнаты. Две глубокие морщины легли на ее лоб, еще недавно неизменно ровный, неизменно гладкий — даже в дни тяжелых невзгод.

— Я пришел к тебе пообедать, — сказал Лоран.

Госпожа Паскье встала, двигаясь как автомат, разжала губы.

— Обедать будем вдвоем, — сказала она безжизненным голосом, — отец вотъезде.

Лоран не решился развивать эту тему с помощью каких-либо выдумок.

За обедом, который продолжался недолго, г-жа Паскье вдруг сказала:

— Я не знала, что ты придешь... а то мы заказали бы твой любимый миндальный торт.

Лоран улыбнулся. Как-то давно он похвалил миндальный торт. После этого г-жа Паскье всякий раз, как приходил Лоран, подавала такой торт. Молодому человеку в конце концов надоело это угощение, но он не смел высказаться и покорно съедал большой кусок, который клали ему на тарелку.

Госпожа Паскье опять замолчала. Лоран, продолжая есть, смотрел на ее изможденное, грустное лицо и думал: «Я даже не могу поговорить с ней об ее горе. Мы живем во лжи, как всегда, как всюду. Она боится, что, если мы заговорим о случившемся, я стану осуждать отца. Однако она, конечно, знает, что я кое-что знаю и даже что знаю, что она знает об этом».

Немного погодя, устав от тягостной немой сцены, молодой человек подумал еще: «Прежде она сама, без единого слова с моей стороны, без единого жеста почувствовала бы, что сейчас у меня неприятности. Она не могла бы понять их значительность, но они все же огорчили бы

ее. Она положила бы руку мне на лоб; некогда я бывал недоволен этим, и все же это оберегало меня от мрачных мыслей. Теперь она занята только своим горем. Отец совершил наконец нечто трудное, казавшееся совсем невозможным: он так измучил эту несчастную старую женщину, что в ее исстрадавшемся сердце ослабли, угасли даже материнские чувства. Нет, нет, не надо преувеличивать. Если бы она видела, как мне тяжело... Однако прежде ей не надо было видеть, достаточно было вздоха, беглого взгляда, мысли».

Обед кончился, со стола убрали. Лоран не мог далее выносить эту атмосферу молчания и безысходности; он поцеловал мать, пообещал в скором времени опять навестить ее и, сославшись на работу, поспешил уйти. На лестнице он встретился с братом Фердинаном.

— Я тебя разыскивал, — сказал тот. — Я провожу тебя, надо о многом поговорить. Потом вернусь на минутку к маме. Только на минуту: мы еще не пообедали, Клер, наверно, уже беспокоится.

Смеркалось. Фердинан отер лоб и сокрушенно вздохнул.

— Что за чудовищная выходка! — проговорил он, качая головой. — Да тебе еще не все известно.

С годами Фердинан становился «страшным сплетником», как любила говорить Сюзанна. Лоран принял вид недоступный, сдержанный, с каким он всегда говорил с братьями.

— Что же осталось неизвестным?

Фердинан напыжился, желая показать, что располагает важными новостями:

— Я виделся с Пола Лескюр.

— Пола Лескюр?

— Да, с нашей кузиной. Ты, Лоран, вечно витаешь в облаках. Но Пола Лескюр все еще существует. Она все еще папина любовница. История длится со времен Кретейля, другими словами — четырнадцать лет. Теперь ее не узнать. Тогда она была худенькой. Теперь это особа дородная, солидная, с почтенными манерами.

— Ну и что же?

— Она приезжала к нам домой. Ты не представляешь себе, как она рыдала! Папа прислал ей открытку, и она, кажется, осталась совсем без денег. Но это еще не все...

— Еще не все?

Фердинан вдруг возликовал. Он посмотрел на Лорана с жалостью, потом заговорил в духе Жозефа, которому охотно подражал, особенно при патетических обстоятельствах:

— Нет, не все. Ты — мечтатель, ты, как все ученые, ничего не замечаешь.

— Ну, довольно! — сказал Лоран в бешенстве. — Говори, что намереваешься сказать.

— Так вот. Я виделся с Марией Пюек.

— Объяснись, пожалуйста. Что это за Мария Пюек?

— Это другая папина любовница. Помнишь, прачка, которая на них стирала, когда они жили в предместье Сент-Антуан?

Лоран топнул ногой. — Что за комедия? Мария Пюек все еще фигурирует со времен Сент-Антуана?

— Но ты же знаешь, что они никак не могут с ним расстаться, и он тащит за собою целую вереницу. Мария Пюек приезжала ко мне и тоже рыдала. Что же нам теперь делать? Надо принять какое-то решение.

Лоран ледяным взором посмотрел брату в лицо.

— Да, — твердил Фердинан. — Мария Пюек сейчас тоже не получает от него никаких известий и тоже без денег. Папа беспощаден.

— Очень сожалею, — проговорил Лоран, — но мамино горе исчерпывает всю мою способность сострадать.

— Ты все тот же, — сказал Фердинан, мелодраматически вздохнув. — Говоришь о возвышенных чувствах, а сердце у тебя черствое.

— Ах, с ума сойти от всего этого можно! — тихо проворчал Лоран. — Папа бежит в Алжир, оставив после себя чудовищную неразбериху. Бежит опрометью с собой, которую нам приходится отметить номером четвертым. Так вот, дорогой мой Фердинан, должен признаться тебе, что я ни в коем случае не желаю ничего слышать ни о Пола Лескюр, ни о Марии Пюек, ни о полдюжине других, которые могут объявиться.

— А я считаю, — возразил Фердинан сокрушенно, — что в некотором смысле отчасти и мы ответственные. Надо считаться с узами.

Лоран пожал плечами. Негодование снова душило его.

— О своих волнующих встречах поведай-ка ты лучше Жозефу.

Фердинан замер на месте. Он понял, что история его дала осечку, и был этим крайне огорчен.

Лоран порывисто взял его за руку.

— Тебе не знаком остров Сен-Панкрас? — спросил он. — Не знаком? Вот и мне тоже не знаком. Но это пустынный остров в антарктическом океане или где-то в тех местах. Мне хотелось бы поселиться там в одиночестве, жить там и там умереть в полном одиночестве! До свидания, малыш Фердинан!

«Вот так-то оно и есть! — думал немного погодя Лоран, шагая по улице Ренн. — Вот она, жизнь! Изумительная химия миллионов клеток, тончайшие воздействия, приводящие в движение чудесные силы, которые мы в конце концов познаем после многих веков труда, все тайны, которые время от времени открываются в свете наших микроскопов, — вся эта феерия действует, поддерживается от начала мира и постоянно возобновляется только для того, чтобы в конечном итоге прийти к подлой тупости Лармина или к слезливой, сентиментальной глупости моего бедного Фердинана. Да, поскорее — на необитаемый остров! Ну, полно! Я, кажется, иду не туда, куда следует. Куда я девал носовой платок? Я, кажется, потерял ключи. Я уже сам не понимаю, что делаю. Они в конце концов превратят меня в идиота. Поскорее — на необитаемый остров!»

Лоран прошел еще несколько шагов, потом сказал, беседуя сам с собою: «Два дня нет писем, нет даже записочки... Вероятно, работа совсем замучила ее. Да, необитаемый остров... Но предварительно следует поговорить с ней об этом вождеденном необитаемом острове. Надо объяснить ей также, что меня возмущает, что мучит меня».

Глава XII

Лорану наносят две раны. Как разговаривать с женщинами? Газета г-на Беллека вступает в игру. Воспоминания уличного мальчишки. Мольба о любви. Лина принесла свою жизнь в жертву. Не надо говорить о будущем. Первый инструмент Сесили Паскье

Она, по-видимому, очень торопилась, поднимаясь наверх, потому что тяжело дышала и была бледна. Она села на табуретку у рояля — очень высокую, подвижную, неудобную, — но в эту горькую минуту ей не хотелось

ничего лучшего. То была старая табуретка с вертящимся сиденьем. При каждом движении девушки стальной винт жалобно поскрипывал.

Лоран положил шляпу на стол и стал шагать по комнате. Он глухим голосом говорил, запинаясь:

— Простите меня, Жаклина, дорогая Жаклина. Я еще не привык к такого рода ранам.

Девушка казалась спокойной. Она даже усиленно старалась улыбаться, однако пальчики ее беспрерывно шевелились, застегивая, расстегивая и вновь застегивая короткую жакетку из сурового полотна.

— Не з н а ю , — прошептала о н а , — но, по-моему, все это никак не должно задевать вас.

Молодой человек вдруг остановился и бросил на нее взгляд, полный мольбы и отчаяния. Тогда она добавила:

— Если бы тут было что-то оскорбительное для вас, меня это тоже огорчило бы, огорчило бы не меньше, чем вас.

Черты лица Лорана на мгновение разгладились, и он тотчас же снова зашагал по узкой комнате.

— Благодарю, благодарю, — вздыхал о н . — Как мило вы это сказали! Как вы умеете говорить ласковые и благородные слова! Я имею в виду сегодняшний номер газеты. Речь идет об унылой газете, простите, — о газете вашего отца. Вы знаете, что раньше я иной раз по месяцу не брал газет в руки, а теперь... Ах, теперь я роюсь в них, как старьевщик в помойной яме. Нет. Не стану раздражаться. Иначе что же вы подумаете о своем друге? Но как-никак — две стрелы подряд, и обе такие острые! Вы не знаете Маро-Ламбера, и это к лучшему. Внешне он отвратителен — гноящиеся глаза, цвет лица, как у пропойцы, живот торчит. Всем известно, что он завистливый и злой. Смеетесь? Нет, нет, я ничуть не преувеличиваю. Лично у меня никогда с ним не было стычек. Мы пожимали друг другу руки. И вдруг — такой выпад. Вы не читали заметку в «Хроникере». Да и не стоит ее читать.

— Разумеется, — сказала Жаклина, вновь сияясь улыбнуться. — Разумеется, я не стану ее читать.

На мгновение Лоран остановился; губы у него были полуоткрыты, взор обращен в темный угол, заставленный мебелью. Он понял, что опять собирается произнести защитительную речь и что в ней вовсе нет надобности. То

была его всегдашняя манера разговаривать с женщинами. Сердце его наполнилось любовью, а он все начинал рассуждать, рассказывать о своей работе, о своих спорах. Так некогда, в дни, когда Элен Строль еще не была его невесткой, он провел в Люксембургском саду под проливным дождем несколько часов в бесконечных жалобах. А на что он жаловался, праведное небо? Вероятно, на то, что в груди его бушует великая потребность в нежности и ласке? Вовсе нет — он жаловался на астрономические аномалии, на вращение Урана и тому подобный диковинный вздор. То же случилось и впоследствии, с Лорой Дегру. И опять-таки то же с прекрасной белокурой девушкой, наделенной насмешливым и нежным взглядом, которая была к нему очень расположена, а в один прекрасный день исчезла, словно золотистый луч света... А у Лорана то было, быть может, проявление доверия и страсти, то была, быть может, жажда полного обладания. Да, обладать не только юным телом, но также и податливым, терпеливым умом, который ваяешь, как вазу, и который должен стать вместилищем всех замыслов, не дающих покоя мужчине.

Лоран на минуту остановился, затаив дыхание. Но встретит ли он когда-либо взгляд, более внимательный, чем этот сосредоточенный и нежный взгляд? Попадется ли ему ухо, более восприимчивое, чем изящное ушко, созданное словно из прозрачного фарфора и выглядывающее из-под темных и пышных шелковистых кудрей? И Лоран снова зашагал по комнате и заговорил:

— Заметка этого проходимца появилась во вторник. И представьте себе, в чем он меня упрекает. Он упрекает меня в том, что я выступил без соответствующих полномочий. Он упрекает меня в том, что я грубо обхожусь со скромными служителями науки, без коиx, говорит он (будто я не знаю этого сам), мы, командиры, оказались бы генералами без армии. Я послал ему письмо, в котором вежливо оспариваю его утверждения. Он даже не ответил мне. Я недоумевал, как же следует поступить, ибо я не полемист, я теряюсь. И вдруг сегодня — статья в «Народном вестнике», в газете вашего отца. А это для меня — жестокий удар. Статья не подписана.

На полу был постелен восточный так называемый молитвенный коврик, некогда привезенный Жюстеном Вейлем из Палестины. Лоран вдруг опустился на этот коврик, к ногам девушки.

— Простите! Простите! — лепетал он. — Вы так редко удостоиваете меня посещением! И вот вы пришли ко мне. Мне следовало бы радоваться этому. Я должен бы взирать на вас как на владычицу, как на владычицу моей вселенной, и должен был бы обращаться к вам с благоговением. А я вместо этого жалуясь. А я рассказываю вам о каких-то дрязгах, за которые мне стыдно. Мне тяжело, простите меня.

Жаклина положила руку на голову молодого человека. Но он сказал еще не все. Ему нужно было поведать так много! Мог ли он отказаться от скальпеля, когда ему надо было обнажить всю глубину раны? Он продолжал, понизив голос:

— Мы были очень бедные. Мы приехали издалека. Все детство я играл с уличными ребятами. Мама нам запрещала играть с ними, но это доставляло мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Из уличных канавок я вылавливал кусочки стекла. Тому, кто никогда не занимался этим, не понять, что за прелесть для десятилетнего ребенка заключена в ручейках, бегущих по парижским улицам! Потом положение семьи улучшилось. Но, право же, я по-прежнему возле бедных, с бедными, меня по-прежнему гнетет их ноша и мучают их страдания. И вдруг меня упрекают в том, будто я пренебрежительно отношусь к скромным труженикам. До чего это глупо! До чего возмутительно! Ах, простите... Простите!

У него был такой расстроенный вид, что девушка рассмеелась.

— Не смущайтесь, — сказала она. — Отец всегда подписывается под своими статьями, значит, не он ваш противник.

— Я и не имел в виду вашего отца. Знает ли он вообще что-либо обо мне?

— Конечно, знает, — сказала Жаклина. — Я рассказываю ему о вас. Разумеется, я не могу поручиться, что он вникает во все, что я ему говорю. Он тоже одержимый.

— Тоже?

Девушка молчала. Она, казалось, задумалась.

— Никогда, — сказала она серьезно, — никогда не пришло бы мне в голову критиковать поступки моего отца. По многим вопросам я другого мнения, чем он, но я всегда восторгаюсь им.

Лоран кивнул головой, одобряя ее слова, потом вдруг

изменившимся голосом, с другим выражением в глазах воскликнул:

— Лина! Милая Лина, выходите за меня замуж, прошу вас! Примите меня таким, каков я есть, со всеми моими недостатками, со всей моей любовью. Выходите за меня, дорогая Лина; когда я вижу вас, у меня сердце готово выскочить из груди.

Этот внезапный порыв, должно быть, испугал ее. Тем не менее она продолжала водить пальчиком по волосам молодого человека. Он продолжал умолять ее, обратив на ее милое, сосредоточенное лицо затуманенный взгляд.

— Выходите за меня. Я уверен, — понимаете? — что нас ждет прекрасная жизнь, что вы сделаете что-нибудь из этой дурной головы, уверен, что вы будете счастливы.

Он обнял ее колена не грубо, но страстно, настойчиво, властно. Она не защищалась, она даже не подумала освободиться из его рук. Она только слегка побледнела. На ее длинных шелковистых ресницах показались две крупные слезинки.

— Что ж, — проронила она совсем тихо, — я не могу сказать, что вы не нравитесь мне.

Она передохнула и продолжала еще тише:

— Сказать, что я не люблю вас будет неправдой. И все-таки — нет, нет! Вы сами знаете, что я не могу.

Он смотрел на нее пристально, с испугом, а она продолжала, опустив голову и придав лицу выражение детски упрямое и почти отчаянное:

— Я еще совсем маленькой девочкой дала себе обет, что выполню что-то значительное и трудное, что посвящу себя одной из тех задач, которые требуют целой жизни, что я пожертвую своей жизнью; да, что отдам всю свою жизнь делу благотворительности. Не лишайте же меня мужества!

Лоран схватил ручку, поглаживавшую его лицо. Он хотел задать вопрос, но не решался; приоткрыв губы, он подыскивал слова и боялся заговорить. Но она сама ответила на его немой вопрос:

— Нет, нет, я неверующая. Эта мысль зародилась во мне сама собою. У нас дома, как вы сами понимаете, о некоторых вещах никогда не говорят. Однако...

— Что однако, милая Лина?

— У меня нет религии. Я ничего не знаю о религии. Но как бы вам объяснить это? Я всегда чувствую, что я не одна. Вот и все. Вот и все, что я знаю. Мне так хоте-

лось бы совершить нечто прекрасное. И не вы, Лоран, помешаете мне творить добро!

— Что ж, — вздохнул молодой человек, — быть счастливым и значит творить добро.

— Если я отступлюсь, если я отступлюсь теперь, у меня на всю жизнь останется чувство, что я потерпела неудачу, потерпела поражение, — говорило ее личико, искаженное упрямством. — Даже если буду счастлива. У меня всегда будет ощущение, что ради личного счастья я отказалась от чего-то величественного.

Лоран был погружен в горестное раздумье. Ему вспомнилась долгая, отвергнутая любовь Жюстена Вейля к Сесили. В пору их бурной юности ему не раз приходилось быть свидетелем немых сцен, сцен, когда один умолял, другая отказывала, — и он до сих пор, по прошествии стольких лет, все еще страдал от этого, и за сестру, и за друга — за обе эти обездоленные души. Сердце его сжималось от мысли, что и ему, пожалуй, суждено бороться без конца и без проблеска надежды. Девушка добавила:

— Не будемте говорить о будущем, прошу вас. Я не хочу расставаться с вами. Я так дорожу нашими встречами.

Она наклонилась и быстро-быстро, как птичка, губами коснулась виска молодого человека; ласка эта была почти неощутимой, но в ней таилось столько тепла и нежности, что она совсем ошеломила его.

Жаклина уже поворачивалась на старой вращающейся табуретке с ковровой обивкой, и винт ее протяжно закрипел. Потом она попробовала засмеяться.

— Сейчас я вам поиграю.

— Осторожно! — воскликнул молодой человек. — Это первое пианино моей сестры Сесили. Родители отдали его мне, когда я переехал сюда из своей студенческой каморки. Я им сказал, что, быть может, Сесиль будет навещать меня. Так оно и есть, Сесиль иногда заходит и соглашается поиграть на старом инструменте в память нашего детства.

— Вот видите, какая я смелая, какая отважная, — сказала Ж а к л и н а. — Я играю, как школьница, а решаюсь играть на пианино архангела.

— Не смейтесь над нами.

— Да нет. Я не смеюсь. Даже если я ошибусь, мои ошибки понравятся вам, и мне не будет стыдно. Когда

я ошибаюсь, я останавливаюсь и говорю: нет, не то! И принимаю за дело сызнова.

— Лина, вы хотите меня рассмешить? С некоторых пор я разучился смеяться.

— Я сыграю вам пьеску, которую выучила еще давно и даже не знаю ее автора, пьеску, у которой, может быть, и вообще нет автора. Но когда я воскресну, через две тысячи лет, и когда меня спросят, хочу ли я услышать какую-нибудь мелодию и какую именно, я выберу именно эту. Сядьте опять у моих ног. Так я меньше смущаюсь перед вами, перед братом Сесили Паскье.

Глава XIII

Третье письмо к Жюстену Вейлю. Между правыми и левыми. О полемической журналистике. Хулитель скромных тружеников. Г-н Лармина не принимает. Лоран никогда не изменится. Жозеф и обладание земными благами. Беглый взгляд на деловую преисподнюю. «Экономический обозреватель» не выступит против Лорана. Париж в лунном свете

Старина, дорогой мой, ты прислал мне на днях два письма совершенно разных и по содержанию и по тону. Одно из них было несправедливо, но прекрасно; в нем выразилась вся твоя сущность. Другое показалось мне путаным, насмешливым и даже возмутительным, ибо ты вдруг заговорил, как мои враги. Да, враги; оказывается, у меня есть враги. Хотя я и рискую, что письмо займет у меня целый вечер, я все же хочу на все ответить. Попутно мне хочется поставить тебя в известность о том, в каком положении находится мое дело, ибо теперь уже поговаривают о «деле Паскье». Весьма прискорбно, но это так.

Я начинаю постигать, почему моя первая пресловутая статья (я говорю «первая», потому что у меня в столе лежит еще несколько совершенно готовых), — я начинаю постигать, почему эта злосчастная статья, вызвав пона-

чалу такое одобрение, вдруг затем возбудила такой гнев. Произошло это не из-за ее содержания, а потому что она появилась в «Натиске», крайне правой газете, о чем я имел весьма смутное представление. Согласись, Жюстен, что если моя статья шокировала тебя, даже возмутила, так именно по этой причине, хоть ты и никогда в этом не признаешься.

Я не читаю всех газет, но, насколько мне известно, до нынешнего дня появилось более сорока статей о моем деле. Первая из них, вполне корректная по форме, но весьма ядовитая по существу, принадлежит некому Маро-Ламберу, начальнику отделения Городской лаборатории. Этот негодяй много старше меня; в научных кругах у него репутация неблестящая, и тем не менее, с тех пор как он вступил в игру, некоторые стали отворачиваться от меня. Уму непостижимо! Прием, которым пользуется Маро-Ламбер, заключается в том, что он говорит (весьма вежливо по форме, но весьма желчно по существу), что у меня нет достаточных заслуг, чтобы выступать от имени науки, и что во Франции в лабораториях все обстоит превосходно. Статейка завершается демагогической концовкой, в которой проглядывают честолюбивые мечты этого молодчика. Мне известно, что он выставлял свою кандидатуру в последних парламентских выборах.

Не успел я еще переварить статью Маро-Ламбера, как появилась передовая в «Вестнике». Эта уже не на шутку огорчила меня. Ты ее читал. Страшно сказать, но у меня такое чувство, что ты не совсем осуждаешь ее. Неужели политика в силах испортить такое сердце, как твое? Политика вызывает у меня отвращение! Анонимный автор статьи говорит таким назидательным тоном, который должен был бы привести поэта Жюстена Вейля, моего бесценного и преданного друга, в дикую ярость. Ты, вероятно, не забыл такие, например, утверждения автора: *«Почему господин Паскье хочет преградить политике вход в лабораторию, в больницу, в школу? Политика — это наука об общественной жизни, это наука наук. В качестве таковой политика должна контролировать всякую человеческую деятельность, и прежде всего деятельность людей, высоко стоящих»*. Если от таких рассуждений у тебя волосы не становятся дыбом — я не узнаю тебя. Не могу скрыть от тебя, что все это задело меня тем больше, что оно появилось в газете Беллека. Я кое-что говорил тебе о своем чувстве к Жаклине Беллек. Я бе-

шусь от одной только мысли о том, что политика может встать между Жаклиной и мной. Но пока что оставим это.

Я не мог не ответить на статью «Вестника». Я ответил. Письмо небольшое, но оно заняло у меня часа три-четыре. Для человека, который в обычное время и без того перегружен работой, это трата немалая. Ответ мой вполне разумен. Я все тщательно взвесил, вплоть до запятых. В основном, я говорил о том, что статью мою из «Натиска» истолковали неправильно, что научная дисциплина ни для кого не унижительна, что наши младшие сотрудники почти всегда — наши друзья; словом, говорил многое такое, что тысячу раз объяснял тебе. Я добавил, что знаком с пьесой Ибсена и что, как бы ни ловчились, никому не удастся представить меня врагом народа.

Итак, я послал в «Народный вестник» свое опровержение (заказным письмом). Ответа не последовало. Человек я упрямый, поэтому я сам отправился в редакцию газеты и сказал, что хочу переговорить с кем-нибудь из ответственных лиц. К счастью, я был вполне уверен в том, что не встречу с папашей Беллеком, ибо он в настоящее время на каком-то съезде в провинции. Меня принял бородатый господин; он навел справки о моем деле, затем заявил мне, что «Вестник» ни в коем случае не может напечатать что-либо написанное сотрудником «Натиска». Я заговорил было о праве на ответ. Он равнодушно улыбнулся и сказал, подталкивая меня к выходу: «Хотите судиться — судитесь. Если все станут пользоваться правом на ответ — заниматься журналистикой будет невозможно». Он говорил весьма поучительно. Все, с кем я встречаюсь, горят желанием поучать меня.

Я хотел, чтобы мой ответ был во что бы то ни стало напечатан. Поразмывлив, я снова направился на улицу Монмартр, в «Натиск», чтобы поговорить с тем субъектом, что принял меня в первый раз. Он держался со мной вполне учтиво. Он быстро пробежал глазами по моему, как он выразился, «документу», потом поморщился и снял монокль.

— О нет! — говорил он. — Нет, нет. Это звучит двусмысленно. Вы как бы извиняетесь. Читатель «Натиска» не потерпит на наших страницах статью, в которой вы как-никак делаете определенные уступки социалистической левой.

Я, ни слова не говоря, взял свое письмо и вышел, почти что спокойно затворив за собою дверь. Но дул сквоз-

няк, и в редакции, вероятно, создалось впечатление, что я захлопнул дверь со страшной силой. А это как-никак досадно.

Короче говоря, левые отталкивают меня потому, что считают меня сторонником правых, а правые отвергают потому, что считают меня чересчур левым. Вот и вся проблема. Франция разделена на два враждующих лагеря, а те, кто (вроде меня) находится между ними, оказываются в пустоте. Согласись, что это нелепо.

Пока я размышлял над созданным несносным положением, мне пришло в голову обратиться к брату Жозефу. Ты все знаешь, и тебе, вероятно, известно, что Жозеф владелец газеты, именуемой «Экономический обозреватель». Он чуть ли не попрекал меня на днях за то, что я не догадался доверить ему мою статью. Я попытался разыскать его; оказалось, что он в отъезде. Я снова обратился к Вьюому; это действительно сногшибательный тип. Он прочел мое письмо и сказал:

— Правильно поступаешь, что защищаешься. Оставь мне его, я сделаю все необходимое. Но надо сообразить. Дай мне время подумать.

Мне не оставалось ничего другого, как набраться терпения. Я, конечно, вполне преуспел бы в этом, но, к несчастью, на другой день после разговора с Вьюомом, ко мне в лабораторию явился Рок. Он пожаловал, чтобы показать мне две крошечных заметки, появившиеся в «Рыжей лягушке» — мерзкой газетке, занимающейся шантажом; ты намекаешь на нее в конце своего второго письма. Когда меня, Лорана Паскье, называют *«хулителем скромных тружеников»*, это может только рассмешить меня. Нельзя придавать особого значения и тому, что какой-то малограмотный писака осмеливается вопить: *«Нет сил больше терпеть зазнайство так называемых ученых»*. Но когда я читаю: *«Господин Паскье, обливающий грязью своих преданных сотрудников, просто-напросто дурной пастырь. Кроме того, о мнимых научных заслугах господина Паскье у нас имеются конфиденциальные сведения, которые мы можем предоставить в распоряжение интересующихся...»* — когда я читаю фразы вроде этой, я готов зарычать от бешенства.

В Париже все разворачивается очень быстро. Подумай только — ведь первые дни после появления моей статьи я с каждой почтой получал по несколько сочувственных писем, как от людей мне незнакомых, так и от товарищей

и учителей. Теперь почти неделю я не получаю ничего. Не без колебаний отправился я на последнее заседание Общества научных изысканий. Народу было очень мало. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что кое-кто из присутствующих посматривает на меня косо. Я изнервничался и поэтому, возможно, склонен видеть все в более мрачном виде, чем оно есть.

Я изнервничался, но — поверь — я сопротивляюсь. Я был у Лармина, чтобы попробовать объясниться с ним. Не знаю, какую роль он играет в своего рода заговоре, который собираются сколотить. Я предпочел бы ясность. Директор велел передать мне, что не принимает. И действительно, он сейчас не показывается ни в одном из отделений Института.

Гораздо больше, чем все это, огорчает меня, дорогой мой Жюстен, то, что я замечаю у своих препараторов, ассистентов, лаборантов какую-то сдержанность и недомолвки. Конечно, это пустяк, но это беспокоит меня. Я хорошо знаю этих славных тружеников. Когда у одного из них болит голова, когда другой повздорил с женой или имеет основание попрекнуть меня в какой-либо мелочи — я сразу чувствую это. Как правило, достаточно мне сказать слово — и тучи рассеиваются. В настоящее время я не решаюсь сказать что-либо, я не хочу подливать масло в огонь. Возможно, что стараются науськивать их на меня. Кто же старается? Лармина? Повторяю, его никто здесь сейчас не видит. И не слышит. Он даже прекратил рассылку своих излюбленных «служебных записок». В эти дни Лармина превратился в нечто мифическое, в какое-то баснословное существо.

В субботу мне стало известно, что Жозеф возвратился в Париж. Вуюм не подавал никаких признаков жизни, а я подумал, что мой «ответ» не может ждать бесконечно и что я ничем не рискую, если нажму на другую педаль, то есть если обращусь к Жозефу.

На прошлой неделе я, совсем растерявшись от изумления и горя, вкратце сообщил тебе о чудовищной выходке отца. Я от тебя никогда ничего не скрывал. И на этот раз, как всегда, мне не хотелось оставлять тебя в неведении. Ты мог приехать в Париж, зайти на бульвар Пастера и задать какой-нибудь неуместный вопрос. Словом, я тебе все рассказал, хоть и немного наспех. А ты пользуешься моей откровенностью, чтобы язвить на мой счет! Как это милосердно! Русские романисты описывают

чудесные превращения грешников, коленопреклонения, искупления, вероятно, именно потому, что они хотят утешиться в том, что создали таких героев. Увы, я попробовал утешиться, не думать о поведении папы, Жозефа и Фердинана. Эти три персонажа, к несчастью, не мною созданные, считаются только с собственной волей, и они откровенно напомнили мне об этом. Ты говоришь: «Итак, ты остаешься все таким же! А ведь тебе тридцать три года». И то правда: я все такой же дурачок. Я не изменяюсь, раз по-прежнему надеюсь, что в один прекрасный день другие изменятся и, быть может, изменюсь я сам.

Но оставим это, прошу. Каждый вечер я бываю на бульваре Пастера, и эти посещения зачтутся мне, когда я окажусь в чистилище.

Я виделся с Жозефом в субботу, перед его отъездом за город. Машина уже ждала его у подъезда. Он был не в духе. Он стал бормотать какие-то странные фразы:

— Я не хочу, чтобы властелином моей жизни стала привычка. Привычка требует ехать в это время года в Мениль. А мне наплевать — мы отправимся в Барбизон. У меня два загородных дома, и я имею полное право выбирать.

И в самом деле, у них два дома, другими словами, два роскошных барских поместья (не считая виллы на Лазурном берегу). Одно из них в Мениль-сюр-Луаре, другое около Барбизона. Последнее было куплено в прошлом году после пожара в Пакельри. Элен говорила мне, что Жозеф каждый раз колеблется — куда им ехать: в Мениль или в Барбизон? Решение он принимает в последнюю минуту, и всякий раз у него такое чувство, что он ошибся в выборе и что надо было ехать в другое имение. Элен уже становится невольницей эти постоянные дразги: Жозеф, вероятно, тоже страдает — от роковой неудовлетворенности. Нельзя находиться одновременно во всех своих вотчинах, а всякий раз, как он отправляется в одну из них, ему недостает других. Обладание прочими материальными благами несет ему, несомненно, еще более тяжкие мучения. Однажды он косвенно признался в этом, сказав:

— Везет же тебе, Лоран, что у тебя ничего нет за душою!

У него множество дел, и они требуют от него сверхчеловеческих усилий. Они все растут и порою ускользают из-под его власти.

Я спросил — может ли он уделить мне десять минут. Он ответил, поморщившись:

— Конечно, могу. Значит, я просижу на десять минут меньше в противном обществе, которое мне отнюдь не интересно и куда я все-таки должен пойти, потому что надо же куда-то идти.

Мы вошли в его рабочий кабинет, и я без обиняков спросил, не может ли он мою статейку с возражениями напечатать в «Обозревателе», хозяином коего он является, как он сам мне в этом признался. Я думал, что это самое простое дело. Жозеф стал откашливаться. Он прочищал себе горло и ворчал:

— Зачем ты сунулся в такую кляузную историю? После нашего разговора я думал о ней. Позволь сказать тебе, что ты не прав. Пресса против тебя. У меня тонкий нюх.

Он довольно долго разглагольствовал в этом духе. Я чувствовал, как во мне вскипает гнев. Он, вероятно, понял это, ибо вдруг резко изменил тон. Он сопел и, подчеркивая каждое слово, поднимал кверху указательный палец.

— Раз все против тебя...

— Вовсе не все против меня...

— Дай мне сказать. Раз все против тебя, значит, тут что-то неладно. Ты поступил неосторожно, поступил опрометчиво. Не спорь, не спорь, так мне сказали. Ты ведь знаешь, у меня собственные осведомители. Говорю прямо: на «Обозревателя» ты не рассчитывай. Да и не следует впутывать газету, прежде всего экономическую, в дела вроде твоего. Пожалуй, еще скажут, что тебе платят...

— Платят? Да ты с ума сошел.

— Скажу не я, скажут негодяи.

— Кто мне платит?

— Ну, владельцы химических заводов, например.

— Владельцы химических заводов? За что?

— Тут дело в конкуренции. Конкуренция сказывается во всем. Платить, думаю, могут те, кто заинтересован в опорочении сывороток. Впрочем, не знаю. Это не по моей части.

Все это было действительно темно, но и в потемках я почувствовал раскрывшиеся бездны: деловой ад. Я еще не пришел в себя, как Жозеф сказал:

— Вдобавок не забывай, какое имя ты носишь.

— Что?

— Люди вроде тебя, люди ученые должны бы пользоваться псевдонимами. Возьми папу. Глупости свои он творит под псевдонимом.

Я чуть было не рассмеялся; это спасло меня от приступа гнева. Я спросил:

— Уж не вам ли, дельцам, надо предоставить честь носить фамилию семьи и прославлять ее?

Он даже ничего не ответил, он уже думал о другом. Он сказал, улыбнувшись:

— Сесиль вернулась. Ее гастроли в Швеции были подлинным триумфом.

Я собрался улизнуть, и он проводил меня до передней, даже до лестницы. Он говорил тише, с улыбочкой, за которую мне было стыдно. Он сказал:

— Оказывается, Сесиль стала теперь на редкость набожной. По-моему, это очень хорошо. Религия, дорогой мой, одно из самых сногшибательных явлений нашего никудышного времени. Да, да! Сам я, разумеется, неверующий, но я преисполнен уважения к вере окружающих. Да и вообще я человек терпимый.

Я чуть не закричал от негодования. Тут он склонился почти мне к самому уху. Он шептал:

— Думай что хочешь: время от времени я даю Мересу деньги, чтобы он поставил свечку. От моего имени, разумеется.

Я знал об этом: Мерес-Мираль мне говорил. У меня даже есть некоторое основание предполагать, что милейший Мерес-Мираль прикарманивает эти деньги, а Жозеф, как все чересчур хитрые люди, сам поощряет его плутни.

Тут я уж совсем собрался улизнуть, но Жозеф схватил меня за руку.

— Ты военнообязанный? Надо подумывать о войне.

Он говорит о войне! Нет, нет! Это уж слишком! Война? Почему? Какая война? Как будто у нас мало забот с нашими собственными делами?

Наконец я выбрался и сбежал. Жозеф свесился над перилами и сказал еще фразу, от которой я чуть не рухнул:

— Самое большее, что я могу для тебя сделать, Лоран, это устроить так, чтобы в случае, если завяжется гнусная перепалка, «Обозреватель» не выступил против тебя. Обещаю от души.

От слов этих я мог бы прийти в бешенство, но немного погодя они навели меня на размышление. Что хотел

сказать Жозеф? Почему может завязаться гнусная перепалка? Конечно, я ясно чувствую, что начался бой. Кстати, мой бывший начальник, г-н Ронер просил меня зайти к нему в понедельник. Я много раз говорил тебе о Ронере. Он человек очень суровый и очень умный. Он может дать ценный совет. Он сам сказал мне недавно, что я развиваю его идеи и что он не видит в этом ничего худого.

Ах, если бы бедный Шальгрэн, самый любимый мой учитель, еще был в состоянии понять меня! Ты знаешь, он еще жив. Но он в параличе. Это труп, обращающий на тебя взгляд, который не поддается расшифровке. После каждого посещения его я неделю не могу прийти в себя. По правде говоря, я редко хожу к нему.

Будь бы здесь мой дорогой господин Эрмерель! Я, кажется, говорил тебе, что он в Индокитае. Он работает в пастеровском институте в Сайгоне.

Мне особенно хотелось бы поговорить с тобою, Жюстен, — поговорить подольше, по душам. Я так был бы рад! Я воображал, что ты очень гордишься своим положением, гордишься работой, за которую взялся с таким воодушевлением. А ты, кажется, и тут разочаровался; журналистика, видимо, тебе не по сердцу и даже тяготит тебя. Будь я уверен, что ты занимаешься ею ради заработка, только ради заработка, я сказал бы тебе: «Приезжай в Париж! Будем жить вместе, достойно, с высоко поднятой головой, как два покорных судьбе холостяка! Моего заработка хватит на двоих. Вероятно, мне никогда не удастся делить этот заработок с моей избранницей... Так приезжай же, старина! Приезжай!»

Чуть было не забыл сказать тебе, что мой «ответ», стараниями Вьюома, все же появился в «Голосе Парижа». Поместили его в уголке, мелким шрифтом. Он не порадовал меня. Вряд ли нашелся во всем Париже, во всей Франции хоть один человек, который прочел его. Не беда! Шкуру свою я дешево не отдам. Сопrotивляюсь и буду сопротивляться.

Сейчас уже за полночь. Погода отличная. Окно растворено, и мне виден Париж, залитый лунным светом. Я мог бы пересчитать тысячи домов. А что делают, скажи на милость, люди, живущие в этих тысячах домов? Спят? Едят? Мечтают? Предаются любви? Может быть, трудятся? Нет, любезный друг мой Жюстен! Они пишут опровержения для газет. Они пишут друзьям, которыми они не вполне довольны.

Глава XIV

Старинный барский дом. Г-н Ронер тщится быть сердечным. Мнение административного совета. Надо улыбнуться и обороняться. Профессор неуязвим для клеветы. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Просьба о помощи. Комментарии Эжена Рока и вспышка гнева у Лорана

Господин Ронер жил в конце улицы Сены в одном из тех старинных барских домов, мощные дворы которых еще недавно оглашались топотом копыт и грохотом экипажей. Профессор занимал квартиру на втором этаже, с высокими потолками, с темноватыми, холодными, скудно обставленными комнатами. Г-н Ронер, ярый сторонник американского изобилия и немецкого благоустройства, когда дело касалось лабораторий, г-н Ронер, неотступно терзавший министров, чтобы добиться кредитов и самого дорогостоящего инвентаря, сам обходился услугами шестидесятилетней экономки и придерживался чисто спартанской бережливости. Он почти весь день проводил в лаборатории, являлся домой, только чтобы поесть и отдохнуть, а вечерами сидел в своей библиотеке среди книг, пропитанных запахом остывшего табачного дыма. В этой тихой обители незаметно было ни малейшего беспорядка или причуд, свойственных богеме. Ни пылинки не видно было на витринах, огражденных сеткой, на мебели, на выступах стенной лепнины. Никаких предметов роскоши, если не считать нескольких бронзовых статуэток да медалей, поднесенных ему за годы его славной деятельности приятелями и учениками.

Ожидая в гостиной, обставленной строго, словно приемная адвоката, Лоран погрузился в воспоминания. «Целых пять лет, — думал он, — я работал под руководством господина Ронера. Я был у него на дому раз десять—двенадцать, когда требовалось сообщить ему нечто важное. Он никогда не приглашает своих учеников к обеду, — и это, пожалуй, лучше... Обычно он принимал меня на улице Дюто. Зачем же вызвал он меня сегодня?»

Сейчас девять часов утра. В это время господин Ронер уже за работой...»

Так разбегались мысли Лорана, когда дверь библиотеки отворилась.

Профессор Ронер был невысокого роста. Он старался исправить это при помощи высоких каблуков и безукоризненной осанки. В то утро на нем был черный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Седые волосы, подстриженные бобриком, эспаньолка и усы, пристальный и прозрачно-ледяной взгляд — все придавало, старому ученому облик «генерала в штатском», что, впрочем, было ему явно по вкусу.

— Входите, Паскье, — сказал он. — Рад вас видеть. К тому же мне надо с вами поговорить по важному вопросу.

Профессор явно силился быть приветливым, что обычно не было ему свойственно. На Лорана это подействовало не ободряюще, а, наоборот, смутило и даже встревожило его. Когда дела шли хорошо, г-н Ронер не утруждал себя любезностью.

Профессор сел в плетеное кресло у письменного стола. По знаку хозяина Лоран занял место напротив него. Как фехтовальщик, которому не терпится скрепить клинки, г-н Ронер постукивал ногой по паркету.

— Я уже говорил вам, дорогой друг мой, что ваша первая статья в целом порадовала меня. Вы в ней не упомянули меня, но это неважно и, пожалуй, даже к лучшему. Как бы то ни было, вы высказали здравые мысли, хоть их несколько и заслонили кое-какие неудачные детали.

— Профессор...

— Паскье, вы ведь не ждете от меня лести? Она мне не свойственна. Я вас хорошо знаю. У меня было достаточно времени, чтобы оценить вас. Я прислушиваюсь к тому, что говорят окружающие, и я обязан не только считаться с этим сам, но и вас поставить в известность для вашей же пользы, дорогой мой, для вашей пользы.

— Понимаю, профессор.

— Оказывается, — продолжал г-н Ронер, пощипывая эспаньолку, — оказывается, что вашей статье, такой, в общем, простой, суждено вызвать бурную полемику. Подобные явления, Паскье, нельзя ни предписать, ни сдерживать, ни даже приостановить. Мнения суть мнения. Когда касаешься чувствительных мест, у всех развязы-

ваются языки. При других обстоятельствах вы могли бы написать целые тома и взорвать несколько бомб — и никто не обратил бы на них ни малейшего внимания.

Старик немного помолчал, а Лоран не без раздражения подумал: «Куда это он клонит?»

— Что касается меня, я не боюсь схваток, — продолжал г-н Ронер. — Значительная часть моей жизни прошла в том, что я наносил удары и сам принимал их. Следовательно, не мне советовать вам осторожность.

«Вот оно что! Вон оно что! — думал Лоран. — Всё это, в сущности, советы соблюдать спокойствие».

— Как бы то ни было, — продолжал Ронер, — я обращаюсь к вам сейчас не от своего собственного лица. Я говорю от имени административного совета, от имени совета в целом.

В уме молодого человека блеснула догадка. Он вдруг вспомнил, что «Биологическим вестником», где он состоит секретарем, руководит совет и что господин Ронер — как только мог он упустить из виду столь существенное обстоятельство! — председатель совета. Едва только Лоран осознал это, как почувствовал, что ему предстоит услышать нечто весьма неприятное.

— Люди, считающие, что вы совершенно неправы, не составляют большинства, однако все единодушны в мнении, что, если вы намерены публично защищать опеределенные взгляды, вам надо быть совершенно свободным в своих действиях, в своих решениях.

— А тогда что? — спросил Лоран сдавленным от изумления голосом.

— А тогда вам лучше бы, по нашему мнению, отказаться от секретарства. Я, как и другие, тоже считаю, что так было бы гораздо лучше. «Биологический вестник» должен быть вне каких бы то ни было дрызг.

Господин Ронер опять запнулся. Он покусывал усы. Обычно он бывал сух, холоден, жёсток; но выражение лица Лорана, по-видимому, склоняло его в этот момент к некоторой бережности. Он попытался улыбнуться, и у его собеседника мелькнула мысль, что ему хотя бы предположить какую-то сделку — посоветовать ему, например, прекратить борьбу с тем, чтобы не отстранять его от секретарских обязанностей. Мысль летит стремительно: Лоран тотчас вспомнил, что, если не считать одного-двух его робких и притом неудачно высказанных возражений, он во всей этой истории является жертвой, а не напа-

дающим, что он добыча, а не хищник. Он с трудом выговорил:

— Хорошо, я подумаю. Если вы желаете, я напишу.

Лицо старого ученого сразу помрачнело. Видимо, он считал, что беседа чересчур затягивается.

— Нет, Паскье, вы не поняли. Совет считает, что надо решительно прекратить бесполезные пререкания, а для этого вы должны заявить мне о своей отставке немедленно, устно и безо всяких оговорок.

Лоран поднялся с места; вид у него был совершенно растерянный, почти что глупый. Г-н Ронер обошел вокруг стола, заваленного книгами. Голос у него опять звучал дружелюбно:

— Секретарство в нашем журнале дело очень трудное. К тому же, оплачивается оно весьма скудно. В вашем холостяцком бюджете это не будет особенно ощутимо. Зато вы сразу же почувствуете себя совершенно свободным. Воспользуйтесь же этим, дорогой мой. А если вы воспринимаете это как удар, что было бы явным преувеличением, так улыбнитесь и обороняйтесь.

— Должен признаться, господин Ронер, я потрясен.

— Без громких слов, дорогой Паскье. Что касается меня, я не придаю им значения. Но найдутся люди, которые, услышав, что вы потрясены, начнут болтать, что вы человек заурядный. Поверьте, человек твердый и энергичный всегда воспрянет. Со мной это случилось не раз. Как я уже говорил, я люблю сражаться. Пусть это останется между нами. Мне кажется, что зря вы обратились к большой прессе. В мире науки этого не любят. И еще один совет, Паскье. Старайтесь действовать так, чтобы никто не смел обвинять вас в некоторых поступках.

— В каких поступках, господин Ронер?

— Что вы, например, сваливаете на своих сотрудников промахи, которые совершаете сами.

— Господин Ронер, неужели вы допускаете...

— Дорогой мой, не обо мне речь. Я-то вас хорошо знаю.

Лоран не без досады почувствовал, что краснеет, как провинившийся школьник. Он вскричал в негодовании:

— А вы, господин Ронер, как поступили бы, если бы клеветники бросили вам обвинение в том, что вы изго-

товляете отравленные вакцины, или ядовитые сыворотки, или что-нибудь подобное?

Профессора передернуло. Он ледяным голосом ответил:

— Такого не скажут, будьте уверены. Этого быть не может. В том-то и дело. Поймите: со мною этого быть не может. Никто не посмеет.

— Значит, господин Ронер, вы думаете, что если речь обо мне, то...

— Дорогой мой, я думаю одно: жена Цезаря должна быть вне подозрений. Я считал вас человеком более выдержанным, а главное — благоразумным.

Господин Ронер никогда не провожал своих посетителей в переднюю. Он остановился на пороге и сказал, с добродушным видом протянув Лорану два пальца правой руки:

— Излишне пояснять, Паскье, что решение это принято советом отнюдь не под давлением извне. Все обойдется! Желаю успеха, дорогой мой.

Лоран спустился по лестнице медленно, со ступеньки на ступеньку. Он думал: «Может быть, они и правы. Я буду свободнее. Да, конечно. Но свободнее для чего? Чтобы принимать удары? Все это уму непостижимо. Чего от меня хотят? Что это значит? За что они все на меня ополчились?»

Он остановился на нижней ступеньке, взявшись за медный шар, венчавший конец перил. Он успокаивал себя: «Секретарство в «Биологическом вестнике» уж не такое большое дело. Не надо пугаться». Тем не менее у него было ощущение надвигающейся опасности и уже сейчас — тяжелого удара. Целую минуту он находился во власти непреодолимого страха. Потом он подумал: «Сегодня же или завтра я постараюсь повидаться с Дебаром. Он ко мне хорошо относится. Поговорю также с Шартреном. Так легко, без драки, без скандала я им своей шкуры не отдам!»

Он поехал в Институт на такси. По пути велел остановиться у почты. Тщательно обдумав текст телеграммы, которую он решил послать Жюстену Вейлю, он наконец написал:

«Если можешь, дорогой Жюстен, приезжай немедленно. Ты мне очень нужен. Дела мои плохи. Привет. Твой Лоран».

Садясь в автомобиль, он почувствовал облегчение. «Надо, конечно, поговорить с моими старыми учителями, — думал он. — Но кто даст мне дружеский совет лучше Жюстена?»

Он поспешно прошел в свой флигель, потом в лабораторию. Во всем здании царила полная тишина. Временами из нижнего этажа доносился звон стеклянных палочек и пробирок. Морская свинка грызла в клетке соломинку. Лоран обвел взглядом комнату и не без удивления заметил Эжена Рокка, — тот сидел на табуретке в полной неподвижности.

— Ах, ты тут! — молвил Лоран.

— Да, я тебя жду.

Лоран стал молча надевать халат, а Рок тем временем неожиданно спросил:

— Ты виделся с господином Ронером?

— Виделся, — отвечал изумленный Лоран. — А ты откуда знаешь?

Рок сделал рукою неопределенный жест. Прошло несколько минут, в течение которых Рок словно впадал в какое-то забытье. Наконец он открыл рот и прошептал:

— Вьюом...

— Что Вьюом?

— Я знаю его лучше, чем ты.

— Возможно. И что же?

— На твоём месте я остерегался бы его.

— Вьюома?

— Да, Вьюома.

Лоран сделал несколько шагов. Он побагровел. Вид у него в эту минуту был страшный.

— Рок! — прохрипел он. — Я тебя не всегда понимаю, но иной раз я задаюсь вопросом: неужели ты...

— Что? — спросил Рок, побледнев и моргая.

Лоран пожал плечами.

— Ничего. Предпочитаю ничего не добавлять, а не то я, пожалуй, скажу... что именно? Что ты мне противен.

Рок задрожал. Он попятился к двери и лепетал, охваченный непритворным отчаянием:

— Да ты с ума спятил! С ума спятил! Я же в твоих интересах!

Глава XV

Лоран хлопочет. Расчет на дружбу оправдался. Предвестие бури. Люди разучились читать. Итак, Лоран останется в одиночестве. Жюстен юной поры. Суждения о скандалах и о карикатуре. Г-н Лармина мастер своего дела. Люди хотят, чтобы ими повелевали. Различные поводы для огорчений. Боязнь замараться. День, потом два дня ожидания. Мнение Жюстена. Два несносных типа. Неужели надо всех остерегаться? Совет благоразумия. Запутанная история

Лоран проснулся задолго до зари и ворочался в своей жаркой постели. Ему припоминались события минувшего дня. Он ушел из лаборатории несколько раньше обычного и, чтобы сэкономить время, взял такси. Он отправился к превосходному человеку, к «папочке Бло», как называл его Вьюом. Словно назло, г-н Бло только что надолго уехал в Бретань. В университетах заканчивались экзамены. Наступала пора каникул. Лоран подумал об этом не без ужаса.

От «папочки Бло» он направился к г-ну Шартрену, который был в «Биологическом вестнике» *persona grata*¹ и состоял членом административного совета. Г-н Шартрен принял его любезно, но несколько торопливо.

— Я ведь говорил вам, что надо быть очень смелым, чтобы делать то, что вы затеяли. Это весьма благородно и в то же время опасно. Что ж, подождите, пока не кончатся каникулы. Через три месяца все забудется. Мы тогда опять поговорим...

Лоран понял, что не следует пытаться продолжать разговор. Он сел в машину и велел возить себя к профессору Дебару, колоссу со львиной головой.

Профессор принял Лорана в коридоре, между двумя дверьми. В руках он держал салфетку и, отгоняя мух, размахивал ею, как лев — хвостом.

— Я говорил вам, что все мы будем на вашей стороне. Не знаю, что скажут другие. На меня вы можете

¹ Лицо, пользующееся особым расположением (*лат.*).

рассчитывать. Недопустимо, чтобы вам чинили неприятности. Кстати, на будущей неделе я повидаюсь с министром. Он еще новичок на этом посту, но ничего — он человек умный. Я на всякий случай поговорю с ним о вас, ибо как-никак на вас нападают, а вы не остаетесь в долгу... Но ничего особо серьезного тут нет.

Эта краткая беседа ободрила Лорана. Он закрывал глаза, стараясь уснуть, и упорно твердил: «Ничего особо серьезного... Он прав».

Рассвело. Лоран порывисто вскочил с постели и начал рыться в ящиках письменного стола. Он вытащил оттуда расписание поездов и стал перелистывать его. Он прикидывал: «Моя телеграмма пришла около полудня, может быть, раньше; Жюстен получил ее после завтрака в ресторане. Уверен, что он отпросился у своего шефа и товарищи заменят его. Уверен, что он выехал с вечерним поездом. В таком случае он должен приехать на вокзал Монпарнас в начале седьмого. Расписание таких поездов обычно не меняется. Значит, можно поехать, чтобы встретить его».

Лоран побрился и быстро оделся. Хоть он и твердил себе, что его расчет весьма сомнителен, он все же надеялся и ждал встречи с человеком, которого любил как лучшего друга — друга самого давнего, самого преданного.

Он шел по пустынным улицам и наслаждался утренней свежестью. У храма Нотр-Дам-де-Шан он на минуту остановился. «Я безумец, — подумал он, — ведь если бы Жюстен поехал этим поездом, так он дал бы мне телеграмму». Теперь Лоран шел уже медленнее, однако не решался вернуться домой. Когда он вышел на перрон, нантский поезд только что прибыл. Пассажиры стали выходить из вагонов, и среди самых первых Лоран увидел Жюстена Вейля. Он с гордостью подумал: «Я был в этом уверен!»

Жюстен издали кивнул ему и улыбнулся; но улыбка друга показалась Лорану натянутой, неопределенной, и у него сжалось сердце. Он побежал, кинулся к приехавшему, обнял его, силою отнял у него фибровый чемоданчик — весьма жалкий, весьма легонький, болтавшийся в его руке.

Он заметил:

— У тебя усталый вид.

Жюстен ответил, мрачно поморщившись:

— Я не спал. Против меня с самого вечера сидел отвратительный тип; грыз ногти, чесался, беспрестанно вертелся, говорил сам с собою — словом, психопат, которого твой отец непременно оборвал бы и угомонил. Какие у тебя вести от отца?

— Он шлет мне открытки с лирическими излияниями. Но не будем о нем говорить, по крайней мере, сейчас. Мы по пути позавтракаем в каком-нибудь баре, а потом — ко мне.

Жюстен устало и равнодушно кивнул в знак согласия. Они зашли в небольшой бар на улице Вавен и выпили по чашке кофея с рожками. Лоран временами украдкой поглядывал на друга. Жюстен, насупившись, рассеянно глотал большие, еле прожеванные куски. За четыре-пять месяцев пребывания в провинции он еще пополнил. Его прекрасные рыжеватые волосы стали редеть, обнажая широкий, усыпанный веснушками лоб. Восточные глаза его подернулись пепельным оттенком — прекрасные глаза, загадочные, мечтательные и томные. Нос с горбинкой и тонкими ноздрями стал как бы крупнее. Все в лице его свидетельствовало об усталости и грусти. Когда Лоран предложил взять такси, Жюстен покачал головой:

— Нет, чемодан у меня легкий, а мне хочется полюбоваться Парижем, подышать парижским воздухом.

Минут десять они шли, обмениваясь незначительными фразами. Лораном постепенно овладевало отчаяние. Рядом с ним, вывертывая длинноватые ноги, шел не его давний друг — то была тень друга!

Потом они поднялись по лестнице, и их уныло встретила квартирка, которую за час до того Лоран оставил в полнейшем беспорядке.

Жюстен положил шляпу на стол, остановился возле камина и сказал, вздохнув:

— Ну вот, теперь объясни, что случилось.

Лоран взял себя в руки. Он чувствовал, что вот-вот, как во времена их ребяческих ссор, начнет кричать, задышаться от злости.

— Н е т , — возразил о н , — ты объясни. Зачем ты приехал, Жюстен?

Жюстен удивленно поднял брови.

— Ты лучше меня, лучше, чем кто-либо, знаешь, зачем я приехал. Ты вызвал меня, вот я и приехал.

— Н у , — горестно воскликнул Л о р а н , — если ты совер-

шил длинное путешествие только для того, чтобы явиться ко мне с таким лицом, так лучше было вовсе не приезжать.

— Пожалуй, действительно лучше было бы не приезжать, — мрачно отвечал Жюстен, — ибо мне ясно, что нам уже не найти общего языка. Я внимательно изучил твое дело.

— И ты не на моей стороне, не за меня безоговорочно? Не за меня всем сердцем? Значит, я с ума сошел, и ты, Жюстен, с ума сошел, и весь свет с ума сошел!

— Не расходишь, прошу. Послушать тебя, так можно подумать, что ты не понимаешь, что значит жить в определенной «среде». В Нанте я живу в такой «среде» — вполне, впрочем, соответствующей моим политическим убеждениям.

— Сразу же политика! Это какое-то наваждение! Ты знаешь, что я взволнован, что я в опасности, ты едешь за четыреста километров — и для того только, чтобы, не успев войти, произнести слово, противное мне в высшей степени!

Жюстен пожал плечами:

— Все сводится к политике. С этим надо считаться. Повторяю тебе: я живу в определенной среде. Окружающие меня люди во всем руководствуются, как обычно бывает в провинции, парижской газетой их партии, газетой Беллека. А это значит, что вот уже две недели, как о тебе говорят без малейшей симпатии. Всем известно, что мы с тобой друзья. Я тебя защищаю, из кожи лезу вон, чтобы тебя защищать, а ты делаешь все возможное, чтобы препятствовать мне. Вчера вечером, перед моим отъездом, мы получили «Народный вестник»...

Жюстен сделал жест, полный отчаяния, но Лоран, вдруг совсем успокоившись, просил его продолжать.

— Ты запутываешься, бедняга Лоран. Вместо того чтобы слегка склониться, переживая грозу, ты шумишь — это очевидно. А окружающие потешаются. Ты начинаешь делать непоправимые глупости...

— Продолжай, продолжай. Какие глупости?

— Ты пишешь, ты осмеливаешься писать: «Подчиненные должны наконец примириться с мыслью, что они подчиненные, и тихо сидеть на своих местах». Это глупость. Я всю ночь обдумывал этот вздор, чтобы как-нибудь оправдать тебя, но должен сказать, что такие утверждения глубоко возмущают меня.

— Подожди! — все так же спокойно возразил Лоран, останавливая его жестом. — Подожди, Жюстен. Ты, видно, убежден, что я мог написать такую чушь.

— Но, друг мой, я собственными глазами прочел это, да и все читали.

Лоран открыл ящик стола и вынул оттуда газету. Он горько усмехнулся:

— Ты разучился читать, Жюстен. Да и все, надо думать, разучились. Автор этой мерзости поступил, как и многие другие полемисты: он приписывает мне слова, которых я никогда не говорил. Смотри, смотри, Жюстен. Он пишет: «Господин Паскье не преминет возразить на это»... и помещает в кавычках придуманную им самим фразу, которую ты ставишь мне в укор и за которую вполне мог бы меня укорять, если бы я ее действительно написал. Но я этого не говорил. И вот так-то создается общественное мнение во Франции, да, вероятно, и повсюду! Кто в наше время берет на себя труд правильно прочесть что бы то ни было? Все чересчур заняты. Большинство тех, с кем я общаюсь, представляют себе факты, основываясь на словах соседа, а тот, в свою очередь, говорит со слов другого, который, быть может, и в самом деле прочел о том или ином факте и виделся с соответствующими людьми. Все это довольно шатко. Ах, Жюстен! Дорогой Жюстен!

Молодой человек умолк, тщательно укладывая газету обратно в ящик. Потом он заложил руки в карманы, безнадежно повел плечами и стал говорить, кружась вокруг стола:

— Мне так нужно было повидаться с тобою! Ты мой лучший друг, мой самый старинный друг, быть может, единственный. Я позвал тебя. Ты приехал, верный друг. А теперь, повидав тебя, я чувствую, что было бы в тысячу раз лучше, если бы ты не приезжал, ибо убеждаюсь, что я одинок, совсем одинок, и это очень грустно.

Лоран, быть может, продолжал бы говорить, но тут произошло нечто удивительное: Жюстен бросился на своего товарища. Он не знал удержу, орал, сопел. Он лез на него с кулаками и слезливым голосом вопил:

— Неправда! Неправда! Я не так прочел! Я не понял. В глубине сердца я ругал тебя, но я тебе никогда не изменял. Я не мерзавец, как другие, как большинство других. И я докажу тебе это. Скажи, что прощаешь

меня, или я покончу с собою, вот тут же, у тебя на глазах, чтобы доказать, что люблю тебя.

Он совсем преобразился и стал похож на Жюстена юных лет, прекрасного в своем воодушевлении. Железнодорожная копоть, словно грим, подчеркивала черты его лица, и он инстинктивно говорил театральным голосом, тем трагикомическим голосом, который жил в их воспоминаниях как песнь юности. Он залился долгим раскатистым смехом, как актеры «Комеди Франсез», которым он прекрасно подражал. Потом он опять стал серьезным, боком прислонился к стене, нахмурился и сказал, смотря на Лорана добрыми, влажными глазами:

— Если имеются какие-то новые факты, расскажи мне о них, чтобы я все знал. Затем мы постараемся обсудить положение как можно спокойнее.

— Новые факты — это, пожалуй, слишком сильно сказано. Вернее, множество мелких пакостей. Вполне достаточно, чтобы портить мне жизнь.

— Давай по порядку. Газету Беллека я вчера прочел. Неудачно, сознаю, но все ж прочел. А кроме нее?

— Я расскажу тебе историю с Ронером после всего остального.

— Почему?

Лоран сделал неопределенный жест и продолжал:

— Начать с того, что за последние дни появились еще две-три статьи, и все они, по-видимому, из одного источника. Тема все та же, отвратительная: при изготовлении вакцин и сывороток я занимаюсь сомнительными, рискованными, бессовестными экспериментами, а последствия стараюсь свалить на своих скромных сотрудников... Помимо таких статей, во многих мелких газетках, даже названий коих я не знал еще месяц тому назад, в газетках, которые, по правде говоря, занимают только шантажом и всевозможными дрызгами, то и дело появляются более или менее язвительные, более или менее агрессивные заметки...

Жюстен Вейль кивнул:

— Все презируют эти газетки, и все их читают, потому что они всех забавляют, — подтвердил он. — Это ужасно, но это факт. Когда эти подлости касаются лично нас, нас от них тошнит. Если же речь идет о других, мы говорим: «Вот потеха!» Возьми карикатуры — там то же самое. Самих себя в карикатуре нам никак не

хочется узнавать, зато карикатуры на других мы всегда находим очень удачными.

— Кстати, насчет карикатур: я уже испытал на себе этот род пытки, — сказал Лоран. — Третьего дня меня изобразили со шприцем и скальпелем в руках, будто я колю в спину несчастного больного, а тот орет во всю глотку. По правде говоря, я не представлял себе, что такое кампания в печати. Теперь начинаю понимать. И развивается она чрезвычайно стремительно. Она разгорается, как пожар в кустарнике. За меня не беспокоюсь, я твердо стою на своих позициях, но, говорят, бывает, что несчастные, которых долго изводят подобным образом, в конце концов кончают самоубийством. Мне это вполне понятно. Должен признаться, я стал подписчиком одной конторы, занимающейся газетными вырезками.

— Этого, положим, ты мог бы и не делать.

— Но надо же наблюдать за процессом. Надо быть во всеоружии, чтобы отвечать.

— Продолжай.

— С прошлой недели я стал получать анонимные письма.

— Неужели? Да, Лармина мастер своего дела. Но ты мне еще ничего не сказал о Биро.

— Два-три дня тому назад он исчез. Его послали в пригород на какую-то таинственную эпизоотию; вероятно, в центральный виварий Института.

— Словом, убрали вещественное доказательство, невыгодного свидетеля, — поддакнул Жюстен.

Лоран задумался.

— Не знаю, следует ли придавать такое большое значение ничтожествам типа Биро и интриганам вроде гнусного Лармина, — сказал он.

— Уж не собираешься ли ты оправдывать их?

— Некоторые болезни возникают из-за небольшого прыща или царапины, — тихо сказал Лоран. — И они все распространяются, все распространяются, и тогда забывают о прыще, с которого они начались. Я уже не думаю о Биро. Что же касается Лармина...

— Не торопись исключать его из игры. Я знаком с ним только по твоим письмам, но он представляется мне крайне опасным. Мы еще поговорим о нем.

— Особенно огорчает меня, как я тебе уже писал, то, что мои сотрудники начинают посматривать на меня

недружелюбно, — продолжал Лоран. — Я замечаю явно враждебные взгляды, и меня это очень огорчает. Вчера, когда мы шли в отделение сыворток, я пропустил перед собою Моммажура. Это в моем характере: я никогда не решаюсь войти в дверь первым. В отношении моего отличного препаратора это было с моей стороны проявлением вежливости, расположения. Но теперь отношения между нами ухудшились. Моммажур вообразил, будто я ему приказываю. Он что-то проворчал. Будь я находчивее, я тотчас придумал бы своим словам повелительный оттенок, я сказал бы: «Не мешкайте» — или нечто подобное. Но я промолчал. И напрасно. Людям необходимы приказы.

— А история с Ронером?

— Погоди... Мне еще многое надо рассказать. Я не желаю быть в глазах честных людей, которые помогают мне, каким-то людоедом или палачом. Я заявлю во всеуслышание, объясню, что сам я вышел из народа.

— Ну, это еще ничего не значит, — с горечью заметил Жюстен. — Почти все величайшие тираны — выходцы из народа. У самых яростных антисемитов нередко течет в жилах еврейская кровь. И именно метисы относятся к неграм особенно презрительно.

— Я не понимаю, причем...

— Прости меня. Я отвлекся. А ты думаешь легко быть евреем? Мне знакомы все заботы, не дающие людям покоя, да еще одна, постоянная и главная: я еврей. Еще раз — прости!

Последовало молчание; из глубины двора доносились звуки корнет-а-пистона. Кто-то играл вальс из «Веселой вдовы», но по мрачной прихоти играл его в миноре — и это придавало разговору друзей мелодраматический и грустный оттенок. Жюстен прервал молчание:

— Объясни мне все подробно.

— Объяснить невозможно. Двое моих коллег, встретившись со мной во дворе Сорбонны, явно сделали вид, что не замечают меня. С какой целью? Не понимаю. По-видимому, только для того, чтобы избежать затруднительного разговора на эту тему, ибо не прокаженный же я. И наконец, история с Ронером.

— Что там такое?

— Это еще не катастрофа, однако положение весьма тревожное. Я уже два года секретарь «Биологического вестника». Теперь мне предложили подать в отставку.

— Да что ты? Почему?

— Для того, оказывается, чтобы я был свободен, мог бы всецело отдаться полемике в прессе.

— Чудовищно!

— Я виделся с несколькими своими учителями. Как видно, все они встревожены, колеблются. Газетные репалки, им непривычны. Я чувствую, что пресса наводит на них страх и что они готовы предоставить меня самому себе, лишь бы не замараться, словом, лишь бы их не беспокоили.

— А ты крепко держишься в Институте?

— Я прошел конкурс. Но у меня такое чувство, что нет ничего прочного, все могут перерешить, а главное, могут заставить меня от всего отказаться.

Жюстен потупился и сказал, размышляя:

— У тебя нет никакой политической платформы, но твоя история может послужить поводом для политических махинаций. Будут стараться превратить тебя в пешку и пешку станут передвигать в своей грязной игре, о которой ты и понятия не имеешь. Зловещий Ронер, не раз тобою упомянутый...

— Он политикой непосредственно не занимается. Однако в наших кругах его считают крайне правым. Он должен бы превозносить меня, а он меня выгоняет. У него, несомненно, определенная цель. Он отнюдь не глуп.

Жюстен воздел руки.

— Когда люди глупы — это ужасно! — воскликнул он. — Но когда они умны, это куда страшнее.

Жюстен стал снимать с себя пиджак и отстегивать воротничок.

— Позволь мне у тебя побриться и привести себя в порядок, — сказал он. — Я еще не решил, поеду ли к своим; они от меня совсем отrekliсь. Они причинили мне много горя. Я постараюсь кое-что предпринять для тебя. Из ученых я знаком только с твоими друзьями, с которыми и я со временем в какой-то степени подружился. Я хорошо знаю нравы редакций и займусь разведкой. Но я могу пробыть здесь день, самое большее — два. Я позвоню тебе насчет встречи.

— Мне необходимо знать твоё мнение, получить от тебя совет, — прошептал Лоран. — Мне прежде всего хотелось поговорить с тобою. Сейчас я должен идти, Жюстен. Мне надо в Институт. Там начинают погово-

ривать, что я пренебрегаю своими обязанностями. Рок уже сообщил мне об этом. Время от времени я даю ему взбучку, но он все-таки приходит.

День прошел для Лорана в тишине, похожей на оцепенение: сплетни, слухи, письма, статьи — все отодвинулось на второй план, и молодой человек мужественно старался отстраниться от всех треволнений, успокоиться, сосредоточиться — и это удалось ему. Под вечер его вызвали к телефону.

— Сегодня мы не увидимся, — говорил дружеский голос. — Я хожу по разным местам, расспрашиваю и начинаю кое-что понимать. Поговорим обо всем завтра.

На другой день, когда Лоран собрался уходить из лаборатории, Жюстен снова позвонил ему.

— Можно у тебя переночевать? Я отправлюсь в Нант завтра с первым же поездом.

— Конечно. Устроимся, — ответил Лоран.

— Хорошо. Раньше десяти не буду. Пообедаю в городе.

Второй день пребывания Жюстена в Париже казался Лорану бесконечным. В лаборатории он принял журналиста, который попросил у него интервью для «Парижского эха».

— Я решил, что раз уж вся парижская пресса начала говорить о вас, то лучше всего обратиться к первоисточнику, — сказал он.

Лоран колебался. «Быть может, крайне неосторожно доверять какие-то сведения этому молодому человеку; он хоть и симпатичен, однако мне совершенно неизвестен. С другой стороны, если я ничего ему не скажу, он может обозлиться и — как знать — написать какие-нибудь гадости. Постараюсь не промахнуться».

Поэтому он слово за словом продиктовал текст интервью, снова и с большим жаром, объясняя по возможности ясно, как он понимает роль младших служителей науки и дисциплину, которую надлежит поддерживать в современных лабораториях.

Провожая журналиста до лестницы, Лоран думал: «Я говорю все одно и то же. Сколько же раз мне придется твердить это, чтобы меня поняли?»

Он пообедал в ресторане, один и поспешил на улицу Гэ-Люссак. Дома он снял с кровати матрац, застелил его чистой простыней и одеялом и таким образом устроил в углу комнаты ложе для Жюстена. Потом он стал

курить и делал вид, будто занимается. Около десяти часов, когда консержка уже ходила по этажам и гасила на лестнице газовые рожки, он услышал шаги Жюстена; тот поднимался по ступенькам, отдуваясь.

— Я стал слегка задыхаться, — вздохнул Жюстен, опускаясь на стул. — Впрочем, сегодня я одолел по меньшей мере сотню этажей.

— Я разобрал свою постель надвое, чтобы тебе было удобнее, — пояснил Лоран. — Помнишь последнюю ночь в «Уединении»? Я поставил свою койку на землю в каморке, где ты жил. Нам обоим было холодно. Ты мне предложил перебраться к тебе, чтобы обоим стало теплее. Мы были молоды! Я решил, что на матраце, — он неплотной, — тебе будет удобнее. Так ты сможешь поспать. И избежишь неприятной встречи с волосатой ногой, расположившейся поперек постели.

— И то правда, — молвил Жюстен, зевая. — Ведь у меня не было братьев...

Лоран вздохнул:

— Тебе повезло... Если ты завтра уедешь рано, я провожу тебя на вокзал.

— Я лягу немедленно. Мы поговорим, пока будем раздеваться.

— А где ты провел ночь?

Жюстен сделал неопределенный жест и стал разуваться.

— За эти два дня я перевидал множество народу, особенно в редакциях. О тебе говорят, это ясно. Но дело оборачивается дурно, это тоже ясно. Хорошего мало. Все эти люди заняты тобою, хоть ты от них ничего не требуешь, и — что совершенно нелепо — все они или почти все упрекают тебя в том, что ты нарочно шумишь, создаешь себе рекламу.

— Это чудовищно!

— Но так оно и есть. Многие упрекают тебя в том, что ты к науке примешиваешь политику.

— Политику? Я?

— Говорю тебе. Надо понять, что такое кампания в печати. В первые дни непременно должен был фигурировать дирижер. Негодяй Лармина или кто-нибудь из его подручных. А теперь очень трудно докопаться до корней уродливого растения, которое разрастается уже само собою. Люди злы — и не только из корысти, но и ради игры, ради развлечения. Сначала выбрасывается

какой-нибудь лозунг, а потом в дело вмешивается мода. Кто-то один наносит первый удар, а потом каждому не терпится тоже ударить. История с лабораторией не лишена загадочности. И этого достаточно, чтобы возбудить любопытство публики.

— Что же ты узнал определенного?

— В таких случаях почти ничего определенного узнать нельзя. Ясно, что на тебя нападает и будет нападать вся левая печать. Но правая печать за тебя не заступится, — ты это уже почувствовал, — не заступится потому, что из твоего дела никакой выгоды не извлечешь. Поэтому они предоставляют тебя самому себе. Они даже принесут тебя в жертву, если им понадобится, например, доказать общественному мнению, что они судят с высших позиций, что они — умы независимые. Словом, Лоран, ты не из их лагеря. Жан Жамен собирается писать статью.

Лоран, уже расположившийся на постели, вскочил и воздел руки к небесам:

— Жамен? Почему?

— Он человек экстравагантный. Он ничего не читает. Он ничего не проверяет — он бросается в схватку очертя голову. Он не лишен таланта. Мне говорили, — но я в этом не уверен, — что он не собирается стереть тебя в порошок.

— Как это мило с его стороны!

— Он напишет только потому, что сейчас о тебе много говорят и он, в сущности, вынужден высказать свое мнение. Какая неразбериха! Но вернемся к левым. Гражданин Беллек...

— Ты с ним знаком? Ты виделся с ним?

Жюстен утвердительно кивнул головой.

— Не беспокойся, он не намерен причинить тебе особые неприятности. Но он занимает видное положение в своей партии. Он обязан подчиняться указаниям.

Последовало молчание. Заложив руки за шею, Жюстен уставился в потолок, где хороводом кружились и жужжали мухи.

— А ты стал бы подчиняться указаниям? — спросил Лоран. — Стал бы подчиняться, если бы речь шла о каком-то абсурде?

— Нет, не стал бы, — мрачно ответил Жюстен.

— Так как же?

— Дело в том, что я тип несносный, как и ты, впрочем. Как и ты. Сколько мух! Погасил бы ты лампу.

Лоран встал и дунул в ламповое стекло. В темноте сразу запахло керосином, а в распахнутое окно стало видно летнее небо.

— Ты не привык, — продолжал Жюстен, — ты тонкокожий. А я-то знаю, что такое терпеть оскорбления изо дня в день, у всех на глазах. Я ведь еврей.

«Он все об евреях, — подумал Лоран. — Как-никак он чуточку преувеличивает. Это у него навязчивая идея».

Вслух он сказал:

— Каково же в конечном итоге твое мнение?

— Тут многое можно сказать. Тебя укоряют — и ты это почувствовал — в том, будто ты небрежно относишься к службе в Институте. Здесь, несомненно, рука Лармина. Чтобы поддерживать кампанию в прессе, надо все время подливать горячего. В «Схватке» есть субъект, который не прочь бы в отношении тебя поднять вопрос об ордене Почетного легиона. Злословие, клевета, ложь, инсинуации — для некоторых это желанная среда, они плавают в ней как рыбы в воде. Это их естественная стихия.

— Что же ты мне советуешь, Жюстен?

— Вопреки собственным принципам, — ибо я вояка, — советую тебе лучше переждать грозу.

— А если это будет в ущерб моему доброму имени?

— Ну, не будем преувеличивать. В Париже доброе имя всегда можно восстановить.

Лоран ответил жестким, почти резким, почти грубым голосом — голосом бедняков, знающих, как достается хлеб:

— А если они лишат меня должности?..

Он подождал несколько секунд и продолжал спокойнее:

— Когда у меня хорошее настроение, когда я начинаю строить планы, мне иной раз думается, что я мог бы обзавестись домашним очагом и, невзирая ни на что, попытаться наладить жизнь. С уходом из «Биологического вестника» я лишюсь пятисот франков в месяц. Это треть моего заработка. Но если я лишусь всего... Если они вынутят меня подать в отставку...

Жюстен промолчал. Немного погодя он совсем тихо сказал:

— Знаешь, твой приятель Легран, Виктор Легран...

— Да, на днях я получил от него поразительное письмо! Он безоговорочно одобряет меня.

— Вот как?

— А ты что хотел сказать?

— Вчера я встретил его, и мы поговорили о твоём деле. На твоём месте я не доверял бы ему.

— Леграну?

— Да, Леграну.

Лоран так подскочил на кровати, что скрипнули все её пружины.

— Ну, н е т , — кричал о н . — Нет, простите! Вуюм мне говорит: «Остерегайся Рока». Рок говорит: «Остерегайся Вуюма». Это становится невыносимо. И ты туда же, Жюстен.

— Зато никому, никогда никому не придет в голову сказать тебе: «Остерегайся Жюстена», — возразил Вейль.

Он протяжно зевал, причем модуляции зевоты завершались у него нисходящей хроматической гаммой.

— Ах, — прошептал Лоран, — как хотелось бы мне быть затворником в каком-нибудь монастыре. Впрочем, нет! Говорят, монахи тоже ссорятся между собою и страдают, как и все.

Лоран задумался на минуту, потом горестно добавил:

— Я хочу только одного: подняться при помощи науки к решению великих проблем жизни. Я уже находился на подступах к вершинам, а обстоятельства складываются так, чтобы сбросить меня на землю, связать, парализовать.

— Ну, ты особенно не огорчайся, — проговорил Жюстен сонным голосом, — пройдут каникулы, и костер покроется пеплом. Да и в печати все быстро мелькает. Скоро в суде будет слушаться дело Кайо, это отодвинет вопрос о тебе на задний план. Кроме того, не надо забывать о великой европейской трагедии.

— О какой европейской трагедии? Ты, как Жозеф, имеешь в виду войну?

Жюстен ничего не ответил. Немного погодя Лоран добавил:

— Насчет Жозефа... Помнишь дело, затеянное на Амстердамской улице, дело, которому Жозеф собирался помочь, как я тебе писал... Так вот, для этого маленького предприятия все-таки требовалось немного денег. Если не ошибаюсь, некто, находящийся сейчас непода-

леку от меня, в прошлом году одолжил папе четыре тысячи франков, чтобы он мог заплатить издателю Анжибо за выпуск в свет его книги. Папа, чувствуя, что имеет дело, как он выражается, с пиратом, отказался платить. Он, как говорят (а говорит это Жозеф), заявил: «Я передаю в его полную собственность свою книгу, шедевр, который может принести ему миллионы, если он умело возьмется за дело». Итак, папа ничего не уплатил, и дело было передано в суд. А папе на это наплевать, ибо мебель юридически мамина, а у мамы с папой имущество раздельное. Вот так история! Вот так история! Значит, в конечном итоге в дураках остался не кто иной, как разбойник Анжибо. Таким образом, на эти четыре тысячи папа обстригал дельце на Амстердамской улице — открыл институт профессора де Неля, о котором я тебе, кажется, говорил. Теперь ведь куда ни глянь — всюду институты! Но, знай, Жюстен, четыре тысячи я тебе отдам. Жюстен, ты слушаешь?

В темноте раздавалось легкое, ровное дыхание. Лоран понял, что Жюстен наконец уснул.

Глава XVI

Нападки и ответные удары. Дьявольская кутерьма. Очаровательный господин, очаровательная семейка. Реакция родных. Сражение разгорается. Посещение специалиста. Ложь торжествует. Пьянящий вкус славы. Орден г-на Дебара. Копье в пустоте. Открытое письмо Канцлеру. Благодарное действие прохлады и тени

Жюстен уехал рано утром, и Лоран вновь оказался в одиночестве. Ночами он плохо спал, ибо мысленно сочинял ответы на передержки и прямые оскорбления своих противников. В оцепенении бессонницы, в тревожных, мгlistых потемках, среди которых блуждает разум, он перебирал один за другим аргументы в свою защиту. Он вставал, не отдохнув за ночь, машинально одевался, спускался вниз за корреспонденцией, и не раз ему приходилось постоять у подъезда в ожидании почтальона. Он просматривал газеты тут же, на тротуаре,

все ожидая утешительных вестей, которых по-прежнему не было, и находя все новые и новые враждебные выпады. Почти каждодневно приходил конверт с вырезками. Лоран распечатывал его, дрожа от гнева. Иной раз ветер вырывал у него из рук два-три листка, и тогда он бросался за ними, причем оправдывал свое чрезмерное любопытство тем, что «надо же все досконально знать»...

Нередко его охватывало острое желание ответить тотчас же, хотя бы для того, чтобы облегчить сердце. Он возвращался домой, взбирался на седьмой этаж. Он устремлялся к перу и бумаге, призывая себя в то же время к спокойствию. Но он неизбежно повторял все те же, надоевшие и опротивевшие ему, выражения: «Сударь, пользуясь неотъемлемым правом на ответ, прошу Вас напечатать настоящее письмо, в котором я решительно опровергаю утверждения...»

Порою он замирал с пером в руке. Он думал: «Это не мое ремесло. Я не умею строить фразу в полемическом стиле. Я твержу все одно и то же. Это мерзкое занятие». Закончив письмо, он чувствовал облегчение. Он торопился наклеить марку и опустить письмо в ящик. Затем он вынимал из кармана часы, замечал, что опаздывает и на такси мчался в Институт. По дороге он думал: «Меня упрекают в том, что я стал пренебрегать работой. Тут есть доля истины. Теперь я просто не знаю, за что братья».

Он бросал на свое царство, на любезную свою лабораторию рассеянный, удивленный взгляд. Когда кто-нибудь из препараторов обращался к нему за справкой или за советом, он отвечал что придется — как человек, свалившийся с луны. Позже, оставшись наконец в одиночестве, он вынимал из кармана проклятые вырезки и, скрежеща зубами, снова перечитывал их. Тон газет понемногу изменялся. Теперь Лоран уже не был, как в первые дни, хулителем скромных тружеников, а превращался в «бесстыжего экспериментатора, который относится к человечеству, как к морской свинке, и, видимо, воображает, что ему долгое время позволят заниматься столь бессовестными опытами».

Лоран подумал: «Быть может, Жюстен и прав. Похоже на то, что этим адским оркестром руководит опытный дирижер».

Спустя некоторое время тон опять изменился. Напад-ки стали еще откровеннее и вместе с тем еще коварнее.

«Рыжая лягушка», с самого начала выступавшая с особым остервенением, стала еще резче и язвительнее. То была газетка малого формата, выходившая два раза в неделю без подписей и содержавшая, помимо политических памфлетов, заметки о текущих скандалах и о злоключениях всем известных лиц. В «Лягушке» вдруг появилась, между двумя карикатурами, коротенькая заметка, чудовищная по тону и по выражениям, где Лоран изображался не только как практик-садист, занятый не в меру дерзкими опытами, но и как авантюрист, прошлое которого должно бы привлечь внимание полиции, если она действительно достойна общественного доверия. «Означенный Л. П., — говорил автор этой сногшибательной заметки, — в 1906—1907 годах входил в кружок анархистов, которые поселились в Бьевре и, чтобы скрыть свои махинации под благовидной ширмой, основали там коммерческую фирму. Один из членов этого кружка, некий Жан-Поль Сенак, вскоре после банкротства предприятия покончил с собою при весьма драматических обстоятельствах. По-видимому, господин Л. П. мог бы дать объяснения касательно смерти своего товарища, будь он допрошен решительными людьми». Заметку венчал дерзкий заголовок: «Очаровательный господин!» В конце заметки с возмущением подчеркивалось, что пресловутый Л. П., благодаря неслышанному попустительству, продолжает руководить важной работой в одной из государственных лабораторий.

Лоран погрузился в скорбное раздумье. Кто мог еще помнить бедного Жан-Поля Сенака? Уже более пяти лет он предан забвению. Жизнь, которую он не любил, жестоко отринула его. Кто же отважился отыскать этот призрак, с тем чтобы привлечь его к нынешней гнусной склоке?

Прошло три дня, и появился очередной номер «Лягушки» с новой заметкой, озаглавленной «Очаровательный господин, очаровательная семейка!». Анонимный памфлетист не без юмора доказывал, что пресловутый Л. П., позор современной науки, вполне достоин своих предков. Отец его, такой же шарлатан, уехал из Франции по причинам, которые неплохо было бы выяснить, да вскоре придется, вероятно, заняться и остальными членами этой прелестной семейки...

Лоран готов был завопить. Последний выпад причинял ему жгучую, нестерпимую боль, боль, еще более

острую, чем все прежние. Он про себя возмущался: «Что еще собираются они выискивать? Что еще обнаружат они?»

Он не подумал о том, как отнесутся к этому родные. Но реакция не заставила себя ждать. В тот же день, пока Лоран еще находился в лаборатории, ему позвонил Жозеф. Объяснение было кратким и резким.

— Да будет тебе известно, что я не потерплю никакого скандала, — заявил старший брат.

— Я очень сожалею, но как мне остановить этот поток клеветы?

— Делай как знаешь. Но чтобы я не был замешан. В противном случае я выступлю против тебя.

— Ну что же, Жозеф, выступай.

Человек на другом конце провода выходил из себя. Он плевал в трубку. Слышно было, как он под конец даже затопал ногами.

Но он, несомненно, располагал какими-то устрашающими средствами, ибо в дальнейшем речь в газетах пошла только о Лоране, о нем одном.

Тем не менее молодой человек получил от брата Фердинана коротенькое, гневное и ледяное письмо: *«Клер очень плакала. Помни, что тут твоя вина. Если в этой отвратительной истории будет упомянуто мое имя, то положение мое пошатнется и ответственность падет на тебя...»* Десять—двенадцать строк в этом духе. Лоран был в отчаянии, однако решил не отвечать и не ответил. У него было достаточно забот и неожиданностей в этом нелепом сражении. Интервью, взятое у него корреспондентом «Эха», наконец появилось. В общем, оно было достаточно точным во всем, что касалось Лорана, но журналист предупреждал, что почел благоразумным выслушать и другую сторону и с этой целью обратился к одному из сотрудников молодого ученого, а сотрудник этот, по вполне понятным соображениям, пожелал сохранить инкогнито. Затем следовала целая колонка путаного, почти бессвязного текста, где Лоран изображался как человек, неспособный серьезно руководить какой-либо лабораторией Института.

У Лорана было семь подчиненных. Кто же из семи выступил? И что он, в сущности, мог сказать? Лоран мучительно старался обнаружить на привычных лицах признаки вероломства. Потом он вдруг сообразил, что обвинительная речь вполне в духе несносного Биро, который,

несомненно, где-то еще процветает. Мысль эта принесла ему облегчение.

При содействии неизменно услужливого Вьюома Лоран поместил в «Прессе» своего рода отчет, который он назвал *«Справкой о спорах насчет лабораторий»*. Там между прочим говорилось: *«Если бы, например, мой выдающийся коллега Юбер Жуар, под просвещенным руководством коего в Национальном институте изготовляются вытяжки из желез, обнаружил бы в один прекрасный день, что сотрудники, выполняющие эти ответственные процессы, не желают придерживаться строго предписанной методики, то здравый смысл и нравственная ответственность побудили бы его немедленно наказать виновных. Проблема дисциплины отнюдь не сложна»*.

Результат этих строк оказался плачевным. Не предупредив Лорана, господин Жуар поместил в «Прессе» сухую реплику, в которой говорилось, что доктор Л. Паскье, конечно, волен приводить любые примеры, но что напрасно он ссылается, пусть даже предположительно, на коллегу, в лаборатории коего малейшее нарушение дисциплины представляется совершенно невероятным.

Лоран был так задет этим опровержением, что даже не пожелал ответить на оскорбление. На другой день в нескольких мелких газетах появилась заметка, до того нелепая, что сначала она показалась Лорану смешной, однако он все-таки не стал смеяться. Заметка гласила: *«Л. Паскье, страховой агент, проживающий на бульваре Эксельманса, дом № 13, считает необходимым предупредить своих многочисленных клиентов, что он не имеет ничего общего со своим однофамильцем Л. Паскье, имя которого часто упоминается в парижской прессе в связи с недавним скандалом»*.

В тот же день к Лорану в лабораторию явился посетитель. То был маленький человечек, желтокожий, черноволосый. Он говорил по-французски бойко, но с ужасным акцентом. Едва войдя, он предупредил:

— Я не журналист.

Лоран кивнул головой, а посетитель добавил:

— Я интересуюсь науками. Как и все, я слежу за кампанией, которую вы ведете относительно лабораторий. На вас ожесточенно нападают...

Лоран опять уклончиво кивнул.

— «Рыжая лягушка» — газета, которой распоряжа-

ются бессовестные люди. Нет, нет, я с ними незнаком. Но мне известно, что нетрудно заткнуть им рот.

Посетитель умолк, прищурил правый глаз и прошептал, хитро улыбаясь:

— Говорят, это обходится не так уж дорого.

Лоран встал, пересек комнату, настезь распахнул дверь и жестом предложил человечку убраться, тот молча удалился.

Стояло жаркое лето. Но Лоран не ощущал зноя. Над насторожившейся Европой стали проноситься тревожные дуновения. Лоран не чувствовал приближения грозы. Он видел только свои собственные горести, свой ураган. Иной раз он сжимал руками голову и стонал, обращаясь к самому себе: «Я больше не могу работать. Я больше ничего не знаю. Я уже никогда ни на что не буду годен. Эти люди окончательно сведут меня с ума».

Он решил сделать еще одну попытку повидаться с Лармина. «Я поговорю с ним откровенно. Надо выяснить все до конца». Директор по-прежнему никого не принимал. Он ответил Лорану краткой «служебной запиской», в которой говорилось, что «господина Паскье просят не добиваться, без особой надобности, приема у директора и что для поддержания связи с различными отделами Института вполне достаточно письменных обращений».

Вечерами, после душного дня, Лоран заходил на часок к матери. Она приказывала служанке поставить еще один прибор и почти тотчас же погружалась в оцепенение, из которого порою выходила, чтобы сказать что-нибудь если и не бессвязное, так, во всяком случае, неожиданное, ибо трудно было понять, какими кружными путями дошла она до таких мыслей. Однажды она нарушила свою мрачную задумчивость, с каким-то недоумением взглянула на Лорана и прошептала:

— Ты здесь! Да, ты в самом деле здесь, Лоран!

И тотчас же повторила жалобу, которая уже почти двадцать лет неизменно вырывалась у нее:

— Мне кажется, что ты уже совсем разлюбил своего отца. До чего мне было бы грустно, если бы это оказалось правдой!

Лоран отвернулся, чтобы скрыть раздражение. Он думал: «И тут ложь! Даже мама начинает лгать. Знаю, что она говорит так, чтобы любой ценой спасти то, что является для нее смыслом жизни, незабываемой верой, чтобы

спасти свою несчастную семью. Что же, тем хуже! Тем хуже! Я отвергаю эту ложь».

Он резко ответил:

— Однако же нам все известно.

Это было неопределенно и почти что грубо. На лице старухи вдруг появилось испуганное выражение. Она прошептала совсем тихо, умоляющим голосом:

— Зачем ты так говоришь? Нет, нам ничего не известно.

Лоран пожал плечами и решил не возражать. Он думал: «Если я буду настаивать, я поступлю дурно. Нет, нет, ложь — владычица. Ее надо уважать».

Он замолчал. Немного погодя он опять подумал: «Что означает это молчание? Возвышенное милосердие? Любовь? Или просто-напросто гордость? Ну вот, я начинаю кощунствовать. Но как же так? Она ни словом не обмолвилась о моих личных невзгодах. Быть может, она ничего не знает? Быть может, она стала совсем бесчувственной от горя?»

В тот вечер, в долгие летние сумерки, возвращаясь домой вдоль домов, от которых еще веяло теплом, Лоран в свете фонаря заметил знакомое лицо. Встречный, еще молодой человек с открытым, доверчивым лицом, тотчас же воскликнул: «Паскье!»

То был давний приятель, которого Лоран потерял из виду уже лет десять тому назад, один из тех мимолетных спутников жизни, с которыми охотно переходишь на «ты», хоть и не знаешь твердо их имена.

Они поболтали несколько минут, потом молодой человек сказал радостно и почти что благоговейно:

— Что же, чудесно! Сейчас весь Париж говорит о тебе.

Лоран пожал плечами.

— По-моему, это скорее прискорбно, если принять во внимание, что именно говорят.

Приятель покачал головой. Он запнулся, потом добавил с грустной усмешкой:

— Ничего! Как-никак, а говорят. Вот мне никогда не удавалось обратить на себя внимание.

Лоран пожал его пухлую руку и продолжал путь. Возможно ли, чтобы горькая чаша, которую ему приходится волей-неволей пить, имела для кого-то пьянящий вкус славы? Оказывается, вполне возможно.

Нередко, возвратившись в свою поднебесную квар-

тиру, Лоран принимался писать Жаклине длинные горестные письма, чтобы заполнить чем-то первые ночные часы. В те дни у нее было очень много работы. На другой день она все же забегала невзначай, выкраивая время между делами; она заставляла Лорана дома, в лаборатории или в ресторане, долго, внимательно и проникновенно всматривалась в его лицо и гладила его лоб своими удивительно прохладными ручками.

Бывали у него и другие посетители, в том числе, почти ежедневно, Рок. Станный малый, как ни обижал его Лоран, все возвращался. Казалось, к вечеру он забывал об утренней встрепке. Он начинал ровным, мягким голосом сообщать новости. Он говорил:

— Насчет Шартрена не беспокойся. Он раньше августа не уедет из Парижа. Он занимается твоим делом. К тебе он искренне расположен. Вдобавок он ненавидит Лармина. Этим все сказано. Однако...

— Что однако?

— Однако весь этот шум, эти статьи, все эти газетные подлости немного пугают папашу Шартрена. Он сразу пасует при мысли, что имя его, да еще с какой-нибудь бранью, может появиться в газете. Страх вполне понятный. А что касается Дебара...

Эжен Рок остановился, два-три раза пытаясь закурить туго набитую табаком папиросу. Лоран в отчаянии наблюдал за ним.

— Так что же? Что тебе известно о Дебаре?

— Мне ничего неизвестно. То есть известно, что Дебар — порядочный малый. При обычных обстоятельствах у него, пожалуй, достало бы смелости. К несчастью...

— К несчастью, обстоятельства не обычные; это ты имеешь в виду?

Рок отрицательно покачал головой,

— Дебар ждет ордена, — отвечал он. — На сей раз он непременно получит его летом, когда объявят списки. А пока что ему благоразумнее не рыпаться. Если бы дело разгорелось в октябре, Дебар наверняка был бы за тебя, Но, согласись, бросаться в драку в этот момент — для него просто губительно. Это означало бы, что два-три года работы пропали зря.

— Это не имеет никакого отношения к его работе.

— Имеет! Я хочу сказать, что о пресловутом ордене он два-три года хлопотал в министерствах.

В промежутках между этими отрывочными фразами Рок вновь принимался за свой окурок. Лоран думал: «Я одинок!.. Одинок! Я барахтаюсь, как муха в паутине. Кто помогает мне? Решительно никто!»

Приятное опровержение таких мыслей он получил однажды в письме из Нанта. Ценою долгих стараний и всяческих уловок Жюстену удалось напечатать в «Пробуждении» превосходную статью. Он прислал ее, сопроводив краткой запиской. Он пояснял, что партийная дисциплина и этика заставили его исключить значительную часть текста — самую горячую, самую решительную. Но и то, что осталось, было очень хорошо, очень благородно, очень смело. Статья называлась «*Призыв к справедливости*», и «маленький Вейль», как его называли в окружении Лорана, заканчивал ее, как и следовало ожидать, словами: «*Надо предоставить господину Паскье, честному служителю науки, спокойно работать по-прежнему. Франция не может позволить себе такую роскошь, как новое дело Дрейфуса*».

Лоран с наслаждением читал и перечитывал написанное его любимым другом. К сожалению, никто в Париже, вероятно, не выписывает «Пробуждение». Копье падает в пустоту.

На другой день на первой странице «Схватки» появилось подписанное каким-то неизвестным именем «Открытое письмо Канцлеру ордена Почетного легиона». Автор письма требовал, чтобы была пресечена «подозрительная деятельность господина Паскье» и чтобы он был лишен ордена, полученного, кстати говоря, при весьма темных обстоятельствах...

В тот день, выходя из Дворца Правосудия, где он надеялся застать знакомого адвоката, чтобы просить его о помощи, Лоран случайно оказался на паперти собора Нотр-Дам. Стояла влажная жара, жара, доводящая мух до безрассудной смелости и остервенения. Лоран жаждал тени, жаждал прохлады. Он рассеянно толкнул дверь храма.

Огромный неф был пуст. Сквозь витражи светило чернее солнце, но в приделах царила поистине безмятежная, умиротворяющая тень. Лоран сел на стул, как бедняк, опустив руки между колен. Скромные причетники ходили от часовни к часовне, добавляли масла в лампы, зажигали или тушили свечи, благоухание которых сливалось вокруг с запахом древних стен. Великий покой

овладевал умом молодого человека. Вдруг он подумал с горечью и даже с досадой: «Многих влечет сюда, когда им тяжело. И они уходят, чувствуя облегчение. А я уйду все таким же удрученным. Это несправедливо! Несправедливо!»

Потом ему в голову пришла наивная мысль: «Будь я верующим, все, пожалуй, оказалось бы для меня легче, даже легче стало бы переносить унижения, вражду, ненависть. Но беда в том, что я неверующий. Мне, в сущности, не везет». В эту минуту чувство подавленности сменилось у него смирением, почти что покорностью.

Он просидел так целый час в каком-то оцепенении, почти во сне. Потом вышел из храма. На улице жара начинала спадать. Он подумал: «Свежесть оказалась благотворной. Теперь мне лучше, гораздо лучше». Он чувствовал, что лицо его осветилось слабой улыбкой. «Молитва, должно быть, оказывает такое же действие, но сильнее, — рассуждал он. — Неужели я, сам того не сознавая, молился? Для рационалиста это как-никак было бы поразительно».

Он прошел еще несколько шагов куда глаза глядят, потом, одумавшись, вдруг решил: «Зайду к Сесили. Разумеется, не насчет этих мыслей о молитве... А чтобы повидаться с ней, поговорить или просто послушать ее»,

Глава XVII

Встреча на лестнице. Остерегайся чувства жалости. Сесиль не одинока. Таинственный намек на бегство доктора. В сердцах тех, кто его любит, Лорану не грозят никакие опасности. Бог живет, страдает и надеется. Беседа со Шлейтером. Во Франции все — политика. Немецкая пресса удостаивает Лорана своим вниманием. Особенности режима. Простофиля. Ссылка на Евангелие

Как только бракоразводное дело Сесили окончилось, она выехала из особняка на улице Прони. Теперь она жила на набережной Пасси, в одном из тех домов, что высятся вдоль берега, как огромные известняковые утесы.

Она сняла два верхних этажа, чтобы избавиться от соседей, без помех заниматься с учениками и обеспечить себе благодатную тишину.

Поднимаясь на медлительном лифте, Лоран услышал шаги человека, идущего по лестнице. Кто-то, пока еще невидимый, проворно сбегал по ступенькам. И вдруг, когда оба они оказались на уровне окна, Лоран заметил Ришара Фове, бывшего мужа Сесили. Мгновение они молча глядели друг на друга. Но лифт продолжал подниматься, и Ришар исчез за поворотом лестницы. «Странно, — подумал Лоран. — Зачем он здесь?»

Лоран застал сестру в гостиной. Она была одна и сидела понурившись, спиной к двери, у большого клавесина.

— Я нехстати? — спросил Лоран. — Может быть, ты собиралась играть или только что кончила?

Сесиль жестом ответила: «нет». Она казалась не встревоженной, а, наоборот, спокойной и, главное, безучастной.

Немного погодя она спросила:

— Ты встретил Ришара?

— Да, видел его на лестнице.

Почти тотчас он сердито добавил:

— В прошлом году ты говорила, что не намерена встречаться с ним.

Сесиль ответила как бы издалека:

— Я с ним и не встречаюсь... После развода он был здесь только раз, не считая сегодняшнего. Он усаживается вот тут и сидит. Я не могу, не хочу затворять перед ним дверь.

— Что ему надо? — резко спросил Лоран. — Он, может быть, приходит за деньгами?

Сесиль удивленно покачала головой.

— Нет. Это как-никак не в его характере.

— Так зачем же он приходит и мучит тебя?

Сесиль смотрела в широкое окно на Париж, понемногу погружавшийся в сумерки.

— Он еще может страдать, как все. Он не застрахован от страданий. Он даже еще может глубоко страдать.

— Сестра! Остерегайся чувства жалости!

Сесиль сделала жест, полный печали и гордости и говоривший, по-видимому: «Не беспокойся! Не беспокойся!» И почти тотчас же добавила:

— Он говорит со мною странно, неожиданно. Гово-

рит, что стал лучше и что я должна простить зло, которое он мне причинил.

— Остерегайся этой покорности.

— Что ж, — сказала Сесиль, — ему я все простила. Вот самой себе мне еще остается кое-что простить. Я, вероятно, была чересчур жестока по отношению к этому несчастному.

— Остерегайся таких угрызений совести.

— Нет, нет, можешь не беспокоиться. Я хорошо знаю, что мне делать, в особенности когда речь идет о бедном Ришаре.

Она добавила тише:

— Ты ведь знаешь, я не одинока.

«Удивительно! — подумал Лоран. — Сесиль, верующая, сейчас рассуждает совершенно так же, как неверующая Жаклина».

Молодая женщина беспрестанно складывала и разводила руки, скрещая и разнимая тонкие пальцы. Вдруг она воскликнула:

— Я позволяю мучить себя потому, что заслужила это.

Теперь она вдруг лишилась высокомерной, холодной самоуверенности. Она встала и принялась расхаживать по комнате, заботливо переставляя вещи с места на место. Она спросила:

— Когда ты виделся с мамой?

— Да еще только вчера. Я бываю у нее почти каждый день.

— Тебе что-нибудь известно?

— Насчет чего?

— Насчет папы.

— Ничего. Я только получаю от него открытки, как и ты, вероятно.

— Да.

Сесиль повернулась к Лорану. Ее прекрасное лицо, которому она так упорно старалась придать равнодушное выражение, вдруг исказилось от гнева.

— Самое возмутительное во всем этом то, что вся история, бегство папы, вся эта своего рода катастрофа, да, все это — моя, моя вина!

— Твоя вина? Какой вздор!

— Не спрашивай меня. Со временем я тебе все объясню. Я знаю, Лоран, знаю, что у тебя крупные неприятности. Газет я никогда не читаю. Но я знаю.

— Благодарю тебя, сестра.

— И если я с тобою не говорю об этом, так только потому, что думаю, верю, не сомневаюсь в своем праве верить, что ты выше этой грязи. Тех, кто тебя любит, она никак не может задевать.

Лоран прошептал, смутившись:

— Человеку трудно утверждать, что сам он выше того или иного... Но то, что ты говоришь о папе, как-никак уму непостижимо.

— Не будем об этом толковать, прошу тебя, по крайней мере, сейчас. Мне это слишком тяжело. Ты пообещаешь со мною?

— Нет, мне надо домой, — ответил Лоран. — У меня куча дел.

Отворяя дверь в полутьме передней, он взял Сесиль за руку:

— Я, вероятно, скажу глупость. Пусть! Скажи мне, Сесиль, если бог всемогущ, почему он давно уже не восторжествовал, почему он не торжествует всегда?

Сесиль с раздражением ответила:

— Бог как все мы: он живет, страдает и надеется. А теперь помолчи. Помолчи.

И она подтолкнула его к выходу.

Лоран сел в автобус и вскоре был уже у себя. Он надеялся на письмо от Жаклины. Стало совсем темно. Молодой человек думал: «У Сесили на душе должно бы быть спокойно, раз она нашла свой путь. А ведь этого нет; она страдает, как я, как мы, как все люди. Но что означает таинственный намек на бегство папы?»

У консьержки Лорана ждала вечерняя почта. Письма от Жаклины не было, зато оказалось несколько других, и на одном из них Лоран сразу узнал почерк Шлейтера.

В первые годы века Леон Шлейтер работал препараторм у Дафра, на теоретическом факультете. Пройдя конкурс на замещение должности преподавателя, а затем получив степень доктора наук, он рано оставил работу в лаборатории и всецело посвятил себя политике. Он долгое время был начальником канцелярии у Вивиани. С образованием нового правительства в июне он вновь занял этот пост. До этого, во время междуцарствия, он исхлопотал себе в виде компенсации другой пост и стал начальником секретариата председателя Сената. Он отказался от этой должности, чтобы вновь работать со своим прежним шефом, но остался в казенной квар-

тире, войдя в соглашение со своим преемником, человеком молодым и одиноким. Лоран распечатал письмо. Там оказалось лишь четыре-пять строк, не больше, выдержанных в обычном для Шлейтера сухом стиле: «Приезжайте ко мне, Паскье, как можно скорее. Если это письмо придет к Вам рано, приезжайте сегодня же вечером. Надо кое-что Вам сказать. Для Вас я буду дома до полуночи».

Часы показывали без десяти девять. Лоран вышел из дому, направился на бульвар Сен-Мишель, в каком-то баре съел, стоя, бутерброд с ветчиной, выпил стакан пива и пошел по улице Медичи к зданию Сената.

Шлейтеру было под сорок. Он был все такой же длинный, такой же тощий, такой же мрачный. Но теперь он был женат. С тех пор как он жил в старом запущенном домике на улице Сен-Жак, он прошел большой путь. Он жил обеспеченно, в роскошной квартире.

Он принял Лорана в библиотеке, заставленной шкафами и витринами, в которых виднелись великолепные переплеты. Он сразу же принял тот властно-дружественный тон, которого придерживался с самого начала их знакомства.

— Так, милейший, продолжаться не может, — сказал он.

Дружелюбную привычку называть людей «милейшими» он перенял у своего шефа, г-на Даистра, и обращался так ко всем, у кого было к нему дело и над кем он рассчитывал властвовать. Но в отличие от г-на Даистра он придавал этому слову несколько снисходительный оттенок.

— Вполне с вами согласен, Шлейтер, так продолжаться не может.

Откинувшись в кресле, свесив длинные руки и уставившись в ковер, Шлейтер продолжал глухим, холодным голосом, который его друзья прозвали «голосом следователя»:

— Сами понимаете, в этой прискорбной истории я не из числа тех, которые хотят причинить вам неприятности. В то же время я и не из числа тех, кто одобряет вас.

Лоран встрепенулся, как прищипленный конь. Шлейтер махнул рукой и продолжал:

— Нет, милейший. Вы не во всем были правы. Вы перенесли вопрос на политическую почву...

— Шлейтер, вы ошибаетесь. Меня хотели завлечь на эту почву, но я не поддался. Я совершенно чужд политике... Мне достался плохой сотрудник...

— Знаю, знаю.

— Я его прогнал. Вопрос был весьма несложный. Его раздули в проблему государственного значения. Стали копаться в моей личной жизни. Меня обвиняют в нелепейших преступлениях. Стараются раздавить меня — иначе это не назовешь. Хотят отнять у меня орден, и этим, конечно, дело не ограничится.

Шлейтер расхохотался.

— Во Франции, милейший, все — политика. Выйдите на улицу и скажите чуть громче, чем принято: «Завтра будет хорошая погода», — таким словам может быть придан политический смысл. Вденьте в петлицу цветок: политическая эмблема! Возьмите в руки трость: это политический знак! Повторяю, милейший, вы были неосторожны. Да, неосторожны и неловки.

— Возможно, — простодушно признался Лоран, — все мне так говорят.

— Раз все говорят, значит, так оно и есть. Кроме того, напрасно вы опираетесь на шаткую опору. Левые дали по вас пулеметную очередь, а правые на это никак не ответили.

— Вероятно, потому, что я не принадлежу ни к левым, ни к правым.

Шлейтер многозначительно поднял вверх указательный палец.

— Так не бывает, милейший. Поневоле принадлежишь либо к левым, либо к правым — надо только выбрать. Бесполезно пересматривать то, что уже решено. Вы начинаете худеть. Да, да, посмотритесь в зеркало, и вам станет ясно, что вы больны. Вот поэтому-то я и говорю, что так продолжаться не может.

Лоран ничего не ответил, и Шлейтер, помолчав, медленно продолжал:

— У вас очень деятельные враги и далеко не столь же деятельные друзья. Первый долг тех, кто вам сочувствует, разъяснить вам положение, открыть вам глаза и тем самым вам помочь.

— Благодарю вас, Шлейтер, однако...

— Подождите. Я должен сказать вам нечто весьма важное. Вы не знакомы с Оганьером, новым министром просвещения? Он не желает вам зла, но история эта его

раздражает, особенно в настоящий момент. Вы читаете по-немецки, милейший?

— Плохо, — ответил Лоран.

— Держите, — сказал Шлейтер, протягивая ему газету. — Читайте сами. Немецкая пресса почтила вас своим вниманием. Смотрите статью в «Берлинской ежедневной газете»: *«Французская наука в опасности. Раздоры и беспорядок в лабораториях. Руководители не выполняют своего долга. Подчиненные нарушают дисциплину»*. и т. д.

— Совершенно невероятно! — говорил Лоран, качая головой.

— Тем не менее министр в принципе не будет возражать, если на днях вас привлекут к ответу... Ну, конечно, не перед настоящим судом... а только перед дисциплинарным, который соберется в Национальном институте и не выйдет за рамки Института. Без особой огласки.

Лоран встал одеревенелый; он не покраснел, как обычно, а, наоборот, совсем побледнел, стал мертвенно бледным.

— Продолжайте, Шлейтер, продолжайте, — промолвил он.

— Недалеко и до конца, милейший. Вас попросят подать в отставку.

— В отставку из Института?

— Разумеется.

— А дальше?

— Я для того и пригласил вас, чтобы посоветовать не ерепениться.

— То есть?

— Ну, смириться.

— Но как же так...

— Погодите. Тогда постараются после каникул куда-нибудь вас пристроить, если до тех пор в Европе не стрясется чего-нибудь из ряда вон выходящего.

— Шлейтер! — сказал Лоран дрогнувшим голосом, — либо вы считаете меня виновным, и это ужасно. Виновным! Виновным в чем? Но тогда пусть докажут мою вину и подвергнут меня наказанию. Либо я невиновен, а я действительно невиновен, невиновен! В таком случае пусть оставят меня в покое. Если же меня считают до такой степени преступным, что надо лишить меня должности, так зачем же подыскивать мне новую?

— Значит, вы ничего не понимаете в особенностях нашего режима, в его человеколюбии, — возразил Шлейтер, мрачно улыбнувшись.

Он встал, подошел к Лорану, положил ему на плечо длинную костлявую руку и еле слышно сказал:

— Позвольте признаться вам, Паскье, что в этой истории вы похожи... сказать вам? Похожи на Простофилю. Понимаете, что это значит?

— Но ведь меня же не в чем упрекнуть!

Шлейтер взял Лорана под руку и тихо, тихо повлек его к двери.

— Не в чем вас упрекнуть, милейший? Есть в чем! Поразмыслите малость. Во-первых, вы нарушили правила игры. Такие истории ни в коем случае не должны проникать в печать, становиться достоянием широкой публики. Кроме того...

— Это еще не все?

— Увы, нет! Не все. Вторая претензия к вам еще серьезнее. Она основывается на Священном писании. Вы знаете о чем речь, милейший: «Горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит»¹. Может быть, я не совсем точно цитирую. Но вы меня понимаете.

Глава XVIII

*Далеко нам до праведников. Упоительное безразличие. Несметное множество чело-
веконенавистников. Прелесть физическо-
го труда. Скандал в Национальном ин-
ституте биологии. Кредит — тот же товар.
Мир становится дыбом. Бежать, бежать
куда глаза глядят. Присутствие Жакли-
ны. Душа, которую придется спасти*

В потемках сна возникает слабый проблеск. Подобно серебристому пузырьку, поднимающемуся из глубин на поверхность воды, душа вырывается из бездны. И вдруг Лоран Паскье вновь начинает существовать.

¹ Евангелие от Матфея, XVIII, 7.

Горестное воскресение! Кровь тяжело бьется в висках и в горле. Все суставы связаны, все мускулы одеревенели и ноют. Волосы сухи и всклокочены. Кажется, будто и скромные железы, искони трудящиеся в толще тела, решили замереть вместе с застывшей душой.

Лоран встает, потягивается, тоскливо вздыхает и думает: «Далеко нам до праведников!» И который уже раз приходит ему в голову мысль, что лучше бы и вовсе не просыпаться. Тем, кто уже не просыпается, действительно повезло.

Он одевается. Он видит в зеркале свое лицо и морщится: лицо ему противно. Он отворяет дверь квартиры, выходит на площадку, берется за перила лестницы и мучительно вопрошает самого себя: «Сумею ли я еще спуститься по лестнице? Смогу ли правильно написать свою фамилию? Не сведут ли они меня окончательно с ума?» Он на мгновение зажмуривается, чтобы сосредоточиться и взять себя в руки. «Они» — это призраки, терзающие его, призраки, с которыми он несколько недель ведет нелепое сражение.

Прежде Лоран, направляясь утром в Институт, весело шагал по светлым, просторным улицам, — и тут сказывалось его довольство, быть может, даже гордость. Он всегда выбирал самые оживленные бульвары, самые прославленные улицы. Теперь же он предпочитает узкие, темные улочки и шагает, держась поближе к домам. Он пробирается в Институт, даже не поздоровавшись со швейцаром. Он крадучись проникает в свой флигель, старательно скрываясь в тени каштанов. Он уже замечал, что стоит ему подойти к группе коллег, учеников или приятелей, и те сразу замолкают. Теперь Лоран отворачивается от них и уже ни с кем не здоровается. Люди, не питающие к нему неприязненного чувства, в конце концов начинают думать: «Какой тяжелый характер!»

От каждого, с кем бы Лоран ни встретился, он ждет только язвительности и обиды. И безразличие, свойственное некоторым людям, представляется ему началом упоительным, но — увы! — редкостным. Сам он стал крайне чувствительным к малейшим оттенкам выражения лица. Из множества мельчайших и, несомненно, не имеющих значения жестов он делает сложные и неизменно удручающие выводы. Он целыми днями думает: «Я упрямец, быть может, даже дурак... Я все более и более замы-

каюсь. Раз все сторонятся меня, значит, я, по-видимому, не прав...» А потом так же упорно восклицает, стиснув зубы: «Я прав! Я прав! Я не такой подлец, как все эти презренные». Когда он думает об «этих презренных», в его воображении не возникает то или иное лицо. Тут страшное, смутное множество постепенно разворачивается перед Лораном, захватывая все общество, все окружающее.

Когда открывается дверь, ему кажется, что сейчас ему подадут проклятое письмо, о котором говорил Шлейтер, письмо, приглашающее его предстать в определенный день и час перед дисциплинарным советом. Из кого будет состоять совет? У Лорана порою возникает такой вопрос, но он тотчас же презрительно пожимает плечами, ибо твердо решил не являться на это сомнительное судилище.

Лоран еще делает вид, что работает, но работает он мало. Как удержать мысль, постоянно ускользающую? В садике между флигелями Лоран останавливается в прозрачной тени акаций. На одном из зданий работают кровельщики. Некоторые из них на земле, другие на лестницах, третьи взобрались на стропила. Они перекидывают друг другу стопки черепиц. Картина напоминает балет, изящный и смелый танец. Черепицы перелетают из рук в руки с неизменной скоростью, неизменно попадают в место назначения и аккуратно складываются на положенном месте. Работа эта являет зрелище силы, уравновешенности и особенно согласованности. Лоран вдруг позавидовал тому рабочему, что наверху, в сверкающей лазури, ловит и укладывает черепицы. Временами танец приостанавливается. Корифеей отдает распоряжения. В ответ на замечание садовника, который возится возле клумбы, работающий наверху не без гордости отвечает: «А в нашем ремесле мы предпочитаем потеть от зноя, чем дрожать от стужи». И балет продолжается. Лоран возвращается к своим горестным размышлениям: «Мне нравятся такие люди. Я люблюсь ими, когда наблюдаю, как ловко они справляются со своей трудной работой. Я искренне переживаю вместе с ними их невзгоды. Я разделяю их надежды. А находятся негодяи, называющие меня хулителем скромных тружеников! От этого можно заскрежетать зубами».

Лоран чувствует, что, пожалуй, сейчас заскрежетает. И он уходит.

Поднимаясь по лестнице в своем флигеле, Лоран

останавливается и опирается рукой о стену. Он чувствует в груди стрелы клеветников, ему хочется вырвать их.

Враги Лорана, те неуловимые и по большей части неизвестные ему люди, обозначаемые им неопределенным словом «они» или «те», стали разыскивать Биро, которого Лоран считал уже исчезнувшим среди прочих призраков начальной стадии травли. В мелких газетках пишут, будто у Биро есть дети, и ныне они бедствуют. Поговаривают о подписке в их пользу. Лоран отлично знает, что у Биро детей нет. Говорят также, что Биро несчастный чахоточный, прилагавший героические усилия, чтобы работать, невзирая на недуг. Все это ложь!

А травля продолжается. Газеты еще не высосали из этой кости все, что можно. Толкуют о тысячах ампул, которые Институту по вине г-на Паскье пришлось спешно уничтожить, и Лоран понимает, что для обоснования любой клеветы всегда можно подыскать какой-нибудь ничтожный правдоподобный факт. Большинство газет ежедневно помещает заметки, посвященные тому, что теперь именуется «скандалом в Национальном биологическом институте». Наиболее серьезные газетчики настойчиво требуют официального расследования.

Жюстен написал новую статью, из-за которой чуть было не рассорился с руководителем своей газеты. Ему пришлось удовольствоваться присылкой рукописи Лорану, и тот прочел ее со слезами на глазах. Он останется единственным читателем этой статьи. Ну что ж, это все же некоторое утешение, а утешения теперь редки.

Как-то вечером Лоран застал у г-жи Паскье своего брата Жозефа. Молодчик был не в духе. Он проворчал:

— Как видишь, «Обозреватель» молчит. Это все, что я могу для тебя сделать. Кредит — тот же товар. Кредит можно израсходовать, а можно его и накопить. В том положении, в какое ты всех нас поставил, мне необходимо сберечь свой моральный кредит. Я должен сохранить его в неприкосновенности.

Лоран сердито ответил:

— Я у тебя ничего не прошу.

Уходя, Жозеф еще сказал:

— Носить фамилию Паскье в настоящее время, из-за тебя, дело нешуточное. А что скажет Сесиль?

Лоран чуть не схватил с комода фаянсовое кашпо, чтобы швырнуть его в Жозефа. Теперь его порою охватывает неистовое желание буйствовать.

Он послал в «Журнал лабораторий» большую статью об изменениях вирусов под влиянием радия. Это его двухлетний труд. «Журнал», с давних пор печатавший все работы Лорана, вернул ему статью без каких-либо комментариев и даже без извинений. Лоран подумал: «Мир становится дыбом. Неужели моя карьера, работа, вся моя жизнь пойдет прахом только из-за того, что я имел несчастье встретиться с каким-то Лармина и выступить против какого-то Биро? Нет, нет, так можно дойти до полного отчаяния. Мир становится дыбом».

Июль уже на исходе. С каждым днем лето приближается к концу. Жалкий род человеческий неуклонно следует предначертанной ему судьбе. Тем не менее горожане укладывают свои пожитки, набиваются в поезда, мечтают о море, о зелени, о свежести, о развлечениях. Они не допускают мысли, что им может быть отказано в заслуженном отдыхе. Почти все учителя и друзья Лорана уже выехали из Парижа. Тех, кто еще в городе, Лоран упорно посещает, даже рискуя оказаться назойливым. Поднимаясь по лестницам, он думает: «Я всегда потешался над теми, кто наносит визиты, чтобы быть избранным в Академию. Теперь я сам хожу с визитами, но делаю это только затем, чтобы не лишиться заработанного честным трудом». Лорана не всегда принимают. А если принимают, так принимают рассеянно, потому что не понимают, чем так взволнован этот молодой человек, или потому, что твердо решили ни во что не вмешиваться. Вновь оказавшись на улице, Лоран думает о необитаемом острове. Отныне это одна из главных тем его жизни. «Бежать, бежать куда глаза глядят...»

Жаклина, так много работавшая, Жаклина, которую можно было видеть только раз или два в неделю, теперь каким-то чудом освободилась. Иной раз она находится возле Лорана в самые мрачные часы. Она сосредоточенно всматривается в него, как, вероятно, всматривается в больных, когда ходит по пригородным баракам, принося нуждающимся молоко и лекарство. Она берет Лорана под руку, и они совершают по безлюдным бульварам мучительные, напряженные, молчаливые прогулки, жгучее воспоминание о которых сохранится у них на всю жизнь. Порою Лоран выходит из своей горестной задумчивости. Он пожимает ручку, тяжесть которой едва ощущает на своей руке, и, сокрушенно вздохнув, говорит:

— Не надо любить меня. Иначе я сам себя возненавижу.

Девушка ничего не отвечает. Но ее внимательный взгляд не отрывается от скорбного чела. Она начинает хорошо понимать мятущуюся и страждущую душу, которую ей, быть может, придется спасать.

Глава XIX

Два послания. Краткая и таинственная встреча. Г-н Шартрен, честный человек. Поворот в умонастроении. Лоран больше не может уступать. Кое-что о вспышке гнева. Агония политического режима. Наука — не привилегия одного класса. Письмо к Жаклине. Буря и утешение. Война? Ради чего война?

Однажды утром, когда Лоран выходил из дому, ему вручили письмо, о котором предупредил его Шлейтер и которое он ждал с тревогой и негодованием. Он сразу, еще не распечатав его, понял, что это такое, и тут же, на ходу, прочел. Письмо было за витиеватой подписью Лармина и содержало всего лишь несколько строк, к тому же довольно туманных. Случай, по-видимому, был из ряда вон выходящий, а потому и стиль письма был необычный. Г-на Паскье, руководителя лаборатории Национального института биологии, уведомили, что через два дня ему надлежит предстать перед дисциплинарным советом, чтобы дать объяснения насчет неоднократных нарушений распорядка.

Лоран трижды, не спеша, прочел эти краткие строки. Странно: по мере того как он перечитывал их, волнение его утихло. Пальцы переставали дрожать. Лицо его преобразалось под влиянием твердо принятого решения. Слабая улыбка засветилась в бледно-голубых глазах, напоминавших то Сесиль, то г-на Паскье-отца, Паскье Африканца.

Немного спустя, когда он входил в лабораторию, ему подали письмо по пневматической почте. Писал г-н Шартрен.

«Приезжайте ко мне немедленно, — просил старый ученый. — У меня для Вас добрые вести. Не откладывайте, ибо, хотя это, может быть, и глупо с моей стороны, завтра я уезжаю отдыхать».

Некоторое время Лоран взвешивал на ладонях эти два послания: от господина Шартрена и от Лармина. Минуту он обдумывал, не разумнее ли сначала повидаться с превосходным человеком, не отвернувшимся от него в нынешних тяжелых обстоятельствах. Но Лоран уже был не в силах преодолеть демона, который владел им. Итак, он взял шляпу, не спеша прошел по саду и вскоре оказался в приемной директора. Служитель, завидев его, сразу же объявил, что директор еще не приехал, — что, впрочем, соответствовало действительности. Молодой человек ответил:

— Ничего. Я подожду,

Пьер-Этьен Лармина прибыл несколько минут спустя. Он увидел Лорана и еле скрыл раздражение.

— Господин директор, мне надо поговорить с вами, — сказал Лоран спокойным, церемонным тоном.

Старик постарался было найти лазейку, чтобы уклониться. Не найдя ее, он сказал, пожав плечами:

— Что ж, господин Паскье, входите.

Лармина направился в свой кабинет; Лоран, войдя вслед за директором, тщательно затворил двойную дверь. Минуты две-три спустя молодой человек появился в приемной, еле заметно кивнул служителю, которого знал давным-давно, и вышел из Института. У подъезда он остановил такси, назвал адрес г-на Шартрена и стал напевать мелодию из партиты до минор Иоганна Себастьяна Баха — мелодию, преисполненную безмятежной ясности.

Господин Шартрен был дома, весь поглощенный укладыванием чемоданов. Он встретил Лорана весьма сердечно и повел его в гостиную, почтенная мебель которой уже скрылась под холщовыми чехлами.

— Благоразумнее было бы остаться в городе, — молвил старый ученый, — подождать событий, узнать, что предпримет Германия.

Лоран встрепенулся. Германия? Ах да! Г-н Шартрен имеет в виду то, что называют международной напряженностью... Лоран сел на диван. От скатанных и перевязанных ковров веяло нафталином. Шторы были уже

опущены. В полоске солнечного света плясали пылинки, поднятые хозяйственной суматохой. Добрый г-н Шартрен сел в кресло напротив Лорана.

— А теперь потолкуем о вас, ибо я для этого главным образом вас и пригласил. Как вы знаете, в отношении вас намечается поворот в вашу пользу. Дастр, Рише, Ляпик решили, так же как и я, потребовать расследования. Пусть это слово не пугает вас...

— Неужели вы думаете, профессор, что что-либо еще может напугать меня...

— Речь идет не об обследовании вашей деятельности, а о той обстановке, в какой хотят заставить вас подать в отставку. Шарль Николь, хорошо знающий вас, обратился к министру с письмом, в котором защищает вас и одобряет все написанное вами. Господин Ру, Габриель Бертран и еще кое-кто говорят повсюду, что вы — жертва несправедливости, что все это — подлость и ничего подобного не могло бы случиться ни в одном почтенном учреждении, как, например, Институт Пастера.

— Профессор, я не сомневаюсь в этом, однако...

— К несчастью, друг мой, большинство тех, кто любит вас, разъехалось на каникулы либо отвлечено политическими волнениями, что вполне естественно. Поэтому мы полагаем, что для вас лучше было бы явиться на дисциплинарный суд. Среди его членов, по крайней мере, двое будут на вашей стороне. А остальным мы напишем.

— Профессор, — ответил молодой человек, — не нахожу слов, чтобы выразить, насколько я тронут. Однако...

— Друг мой, не противьтесь, не поддавайтесь дурному настроению.

— Дело в том, профессор, что теперь уже поздно.

— Поздно? Почему? Не понимаю.

— Я уже подал в отставку.

— Когда?

— Четверть часа тому назад.

— Как вы подали в отставку? Письменно? Кому?

— Устно. Директору Института.

— Господину Лармина?

— Господину Лармина.

— С господином Лармина у меня отношения неважные, однако можно еще уладить дело.

— Нет, профессор. Это невозможно.

— Но почему же невозможно?

Старик взволнованно Потирал руки. Он тоскливо смотрел на Лорана, а тот наивно улыбнулся и прошептал:

— Профессор, я сказал господину Лармина, что он подлец.

Господин Шартрен слегка вздрогнул и отшатнулся.

— Черт возьми, — молвил он. — Дело принимает серьезный оборот.

— И да же... — продолжал Лоран.

— Как? Это еще не все? Что вы ему еще сказали?

— Я ему больше ничего не сказал, я просто...

— Что просто?

— Я плюнул ему в лицо.

Профессор воздел руки, как бы призывая на помощь силы небесные. Он лепетал:

— Ну, это уж слишком, это уж зря! В лицо! Это нечто неслыханное, этого и представить себе невозможно. Вы, молодой человек, такой спокойный и, главное, отлично воспитанный! Черт возьми! Но, надеюсь, это все?

Лоран встал с места; он очень покраснел, но был по-прежнему спокоен. Он ответил тихим, но поистине жутким голосом:

— Мне хотелось его задушить. Я все-таки этого не сделал. Так противна была мне мысль, что придется прикоснуться к нему.

— Замолчите! Замолчите, несчастный друг мой. Вы еще не в себе. Ну вот, меня зовут. Все насчет чемоданов. Никому ни слова о том, в чем вы сейчас признались. Вас, бедняга Паскье, примут за сумасшедшего. А вы только вне себя от гнева. Через два-три месяца мы с вами все это опять обсудим. Умы утихомятся. Лишь бы события не перевернули все вверх дном. Ведь дела-то, знаете, совсем плохи. Итак, до свиданья, Паскье. И успокойтесь! Успокойтесь.

Спускаясь по лестнице, Лоран опять улыбнулся. «Мне успокоиться? — думал о н . — Вот еще! Я и так спокоен, как никогда».

На улице он увидел киоск, со всех сторон увешанный газетами. В то утро он по понятным причинам еще не успел просмотреть газет. Мимоходом он взглянул на те, что были выставлены, и сразу остановился. «Народный вестник» выделялся крупным заголовком: РЕЧЬ ИАСЕНТА БЕЛЛЕКА. АГОНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА».

Лоран подумал, что в речи должно быть кое-что сказано по его адресу, что Беллек, долго молчавший, решил наконец высказаться. Лоран купил газету и сел на скамейку, чтобы прочесть ее.

Догадка его оправдалась. Социалистический вожак, распространившись о политической обстановке в Европе, рисовал картину буржуазной Франции, разглагольствовал о процессе г-жи Кайо, потом обращался к тому, что в его газете с недавней поры стали именовать «предательством интеллигенции». Под конец он обращался к истории молодого ученого, который, под влиянием безумного, а быть может, и преступного тщеславия, забыл, по-видимому, что наука — не привилегия одного класса, а достояние широких масс.

Лоран сложил газету и спрятал ее в карман. По носу его сбегали капельки пота. Он косился, следя за их движением. Он встал, судорожно сжал руки и сказал вслух: «Мне не остается ничего другого, как отправиться домой».

Он находился тогда на бульваре Сен-Жермен. Выбирая переулки потемнее, он стал взбираться на холм Сент-Женевьев; в руках он держал шляпу и широким жестом обмахивался ею. Вот и лестница его дома, вот и квартира, погруженная в тишину. Тут он взял лист бумаги, решительно окунул перо в чернильницу и, подумав, начал писать:

«Дорогая Жаклина, бесценная, друг мой, любовь моя! Вы как-то весной сказали мне, что восхищаетесь своим отцом и что никогда в жизни не позволите себе критиковать его суждения. Ваш отец сегодня публично высказался обо мне и даже, вслед за многими другими, решительно осудил меня.

Дорогая Лина, сегодня утром я подал в отставку: я уже не заведующий отделением в Биологическом институте. Карьера моя кончилась. Работа, которую я люблю, станет для меня теперь недоступной. Я человек очень бедный. У меня уже почти не осталось друзей. Врагам моим несть числа. А я все еще как следует не понимаю причин моих бедствий.

Я много раз просил Вас соединить наши судьбы. Еще вчера я надеялся, что Вы наконец согласитесь, ибо, как Вы сами говорили, не чувствуете ко мне неприязни. Но теперь, милая Лина, мне уже нечего предложить Вам,

кроме истерзанного сердца и имени, носить которое не-легко. Вы заслуживаете, милая Жаклина, гораздо лучшего».

Лоран положил перо на стол и глубоко задумался.

Утро подходило к концу, со всех сторон доносился бой башенных часов, бивших двенадцать. Лоран очнулся от своих дум, услышав шаги на лестнице; потом входная дверь слегка дрогнула, словно кто-то оперся на нее плечом. Затем снова стало совсем тихо.

Лоран на цыпочках прошел в крошечную переднюю, куда выходили двери спальни и кабинета; сердце его сжималось от упоительной тревоги и тоски. В доме стояла глубокая тишина. И вдруг Лоран ясно услышал даже не дыхание, а как бы глухое и ритмическое биение сердца.

Он тихо-тихо приоткрыл дверь.

На площадке, в тени, стояла Жаклина. Она сразу же вошла. Она неловкими, угловатыми движениями стала снимать перчатки; сняла широкую золотистую соломенную шляпу, наполовину закрывавшую ее лицо. Она не поднимала взора и лепетала быстро, дрожащими губами:

— Если хотите, чтобы я вышла за вас — я согласна, согласна. И даже сама прошу об этом. И я все утро всюду разыскиваю вас, чтобы сказать, что согласна.

Лоран неистово, обеими руками обнял девушку. И буря, которую он несколько месяцев сдерживал силою воли, вдруг разразилась в детских рыданиях, в страшных судорогах, в долгих стенаниях, разрывавших ему сердце. Сквозь слезы он говорил: «Простите меня! Простите меня! Я не могу не плакать, не могу не кричать. Пусть все это вырвется у меня, пусть я от этого освобожусь. После все наладится. Нет, нет, тут не горе. Никогда еще не был я так счастлив, так полон сил!»

Когда Жаклина стала влажным платком вытирать ему лицо, чтобы освежить его, он сказал:

— Лина, дорогая, я как раз писал вам письмо, чтобы объяснить все, что происходит.

Она кивнула головой и улыбнулась:

— Не объясняйте. Я все знаю.

Потом, перестав улыбаться, добавила:

— Но нам надо поторопиться. Да, поторопиться со свадьбой.

— Поторопиться? Конечно. А почему?

Она серьезно ответила:

— Потому что несомненно начнется война.

Лоран в изумлении поднял голову:

— Война? Какая война? Да, действительно, кажется, поговаривают о войне. А зачем война?

Она стала возле него на колени, вынула из своих кос гребенку и стала заботливо, терпеливо причесывать его, как причесывают ребенка после того, как он чем-то очень огорчился или раскапризничался.

Глава XX

Четвертое, последнее письмо к Жюстену Вейлю. Лоран лишился всего и в то же время все приобрел. Великие и малые события. Перед лицом будущего. Телеграмма от г-на Эрмереля. Лоран отказывается от «четвертого упражнения». Опасность отдыха. Мнение Лорана о политических деятелях. Г-н Дебар, или осторожность льва. Черточка характера Вуйома. Фантастические противники. Битва с тенями. Двенадцать тысяч франков Сесили. Война кажется невозможной

Дорогой старый друг, от тебя нет вестей почти целую неделю. Не откликнулся ты и на мое, правда, очень краткое письмо, в котором я сообщал, что лишился всего и в то же время все приобрел, ибо скоро женюсь. И действительно, я рассчитываю жениться в ближайшие дни, если, конечно, не помешают немцы.

По-прежнему ли ты в Нанте? Дойдет ли до тебя мое письмо? Но мне все равно необходимо написать тебе, хотя бы для того, чтобы излиться в своих чувствах перед истинным другом. Мне необходимо рассказать о себе. Я стыжусь этого. Мы живем здесь в ожидании и тревоге. Конечно, совершенно несоизмеримы опасность, угрожающая Европе, и моя личная ничтожная катастрофа, и между ними нет никакой связи. Тем не менее в моем уме все эти события, и большие и крошечные, смешиваются, сливаются в одно. Все раны одновременно дают себя знать. Я должен бы пребывать в полном отчаянии, ибо мне причинили много зла, причинили, кажется, все

зло, какое только могли. Неделю тому назад я думал лишь о том, как бы умереть, расстаться с этим страшным миром. Сегодня я хочу жить, хочу начать жизнь сначала. Я полон планов, решений, расчетов. И это в такой момент, как сам понимаешь, когда великий долг, быть может, потребует от меня жизни, лишит меня жизни, которая мне все еще дорога. Жаклина в таком же настроении.

Будущее весьма неопределенно, весьма темно, а мы только о будущем и говорим.

Минувшей зимой Шлейтер как-то сказал мне своим загробным голосом: «Тридцать три года! Спешите, дорогой мой! Вот увидите, не успеете оглянуться — и конец!» Но Шлейтер ошибается. Тридцать три года! Все еще отнюдь не кончено, раз мне приходится начинать сначала.

Жаклина виделась с гражданином Беллеком. Оказывается, старый простофиля свалился с небес. Он ничего не понимал, ни о чем не догадывался, — тут отчасти и наша вина. Словом, он заявил, что стоит прежде всего за полную свободу. Нам не придется составлять «почтительное требование». К несчастью, если во Франции будет объявлена мобилизация, как этого опасаются, я уеду на второй же день. Все это не будет благоприятствовать нашему браку. Ничего! Я все-таки женюсь. Если не в Париже, так в Ремиремоне, куда мне предстоит явиться, или по окончании войны, которая не может долго продолжаться. Да еще неизвестно, будет ли война. Многие здесь в нее не верят, например, Ронер, о котором я тебе недавно писал. Я живу, как видишь, в полной неопределенности. И все же я счастлив, счастлив безусловно, безгранично.

Представь себе, я получил телеграмму от г-на Эрмереля, моего дорогого, доброго начальника; сейчас он в Индокитае. Французские газеты попали в его руки с большим опозданием. Он пишет: *«Ваша статья превосходна. Я всем сердцем с вами»*. Милый г-н Эрмерель! Помнишь, ведь не кто иной, как он, исхлопотал мне орден, в год «Бьеврского Уединения», потому что я испробовал на себе его новую вакцину. Думаю, что в конечном счете, несмотря на кампанию в прессе, у меня этот несчастный орден не отберут. У господ из капитула Ордена найдутся и другие дела.

В мелких газетках писали, будто я дал Лармина пощечину, будто поколотил его. Тут значительное преуве-

личение. В порыве гнева меня сильно подмывало побить его, точнее — задушить. Но мысль, что придется взяться за него руками, коснуться его кожи, внушала мне, к счастью, спасительный ужас, своего рода священное отвращение.

Мне пришлось посетить г-на Ронера, чтобы передать дела, касающиеся «Биологического вестника». Я отправился к нему, стиснув зубы, готов был кусаться. Он принял меня превосходно. Я шел, собираясь обругать его, ибо вообще был в боевом настроении, еще не успокоился, не остыл. Г-н Ронер сразу же обезоружил меня. Он сказал со смешком: «Поздравляю вас по поводу Лармина!» Странное дело: сцена с Лармина разыгралась в полнотой тайне. Я рассказал о ней только Шартрену, и он почти тотчас же уехал из Парижа. Сам Лармина, казалось бы, по многим причинам должен о ней умолчать. И что же — всему Парижу известно, что на прошлой неделе между мной и Лармина произошла перепалка. А воображение у всех, как я тебе уже говорил, работает бойко. Мне приписывают куда больше того, что я сделал.

Итак, Ронер поздравил меня. Я сразу же размяк. Характер г-на Ронера мне не по душе, но я восхищаюсь его умом. Я тут же отказался от того, что профессор Гийом де Нель еще недавно называл «четвертым упражнением», то есть от сцены с боевыми выпадами.

Когда я уходил, г-н Ронер намекнул на то, что он называет моим «делом». Он сказал:

— Вы слывете человеком с несносным нравом. Мы постараемся все это уладить после каникул, в ноябре.

Я робко заметил:

— Но если начнется война...

Он холодно возразил:

— Ну, война вообще все уладит — и ваше дело, и все остальное.

Он не верит в войну. Он говорит: «Немцы как-никак не такие дураки». Он всегда восторгался немцами. На прощанье он добавил:

— Постарайтесь отдохнуть.

Нет, отдыхать я не хочу. Я решил впредь никогда не отдыхать, слишком трудно потом опять возвращаться к работе. Великие дела свершаются только в порыве, во вдохновенном усилии. Если война разразится и если я, по счастью, уцелею, я хочу работать, работать, браться за большие дела и осуществить их, пока не настанет

единственный возможный отдых: «*Dona eis requiem aeternam*»¹.

Ронер всерьез спросил у меня: «Говорили ли вы с политическими деятелями?» Что за вопрос? Я не говорил с политическими деятелями и никогда не буду с ними говорить — даже если войны не будет. Когда я наблюдал за врачами, за хирургами, наблюдал за работой моих учителей, в том числе и грозного г-на Ронера, мне всегда казалось, что передо мною люди ответственные, люди достойные выполнять лежащий на них грозный долг. Зато каждый раз, когда мне доводилось встречаться с политическими деятелями, с членами правительства, всегда оказывалось, что это люди нерешительные, несколько безликие, несколько невежественные, которые играют в правительство и крайне тешатся такой игрой. Между хирургом, который во всеоружии накопленных знаний рассекает живую плоть, и красноречивым парламентским оратором, защищающим свою программу, весьма мало общего. Поэтому я не разговаривал с политическими деятелями и думаю, что в настоящий момент у них достаточно серьезных забот, чтобы не иметь ни малейшего желания заниматься мною.

В который раз уже я говорю с тобою о своих учителях с глубоким уважением. Однако не все они в равной степени достойны уважения. Я тебе уже кое-что рассказывал о г-не Дебаре, великане со львиной головой, который ничем не помог мне по той причине, что ждет ордена — ордена, который, судя по событиям, он так и не получит. Я с ним снова повидался. Случилось это еще до стычки с Лармина. Дела мои были в тот момент в самом плачевном состоянии. Г-н Дебар принял меня в своем рабочем кабинете. Он по-прежнему казался львом, однако львом в наморднике. Разговаривая, он поглядывал по сторонам, как бы проверяя, не подслушивают ли его. Он сказал мне: «Повремените. Поживите в полном уединении. Трудитесь в тиши. Жизнь человеческая продолжительна. У всех встречаются невзгоды, их надо пережить, а потом все вновь проясняется...»

Пока он выкладывал эти пошлости, из соседней гостиной послышались голоса. Г-н Дебар стал в замешательстве ерзать в кресле. Он понизил голос: «Сейчас мне предстоит принять делегацию. Понимаете, делегацию

¹ Вечный покой подай им, господи (*лат.*).

моих коллег». Он встал, с напускной фамильярностью положил мне руку на плечо и вывел меня в другую дверь. Квартира его, старая и неудачно расположенная, мне несколько знакома. Я вдруг сообразил, что г-н Дебар боится проводить меня через гостиную, где собрались его коллеги, а хочет вывести на черный ход. Тут я остановился, пристально посмотрел ему в лицо и сказал: «Понимаю! Нет, профессор, нет!» Я повернулся обратно и прошел через гостиную, где находилось человек десять, большинство коих я знаю. Я прошел через комнату, надевая шляпы и ни слова не говоря. Г-н Дебар, несомненно, был страшно огорчен, когда обнаружилось, что он принимает прокаженного. Теперь можно сказать наверняка, что г-н Дебар на всю жизнь мне враг.

Будь у меня сомнения на этот счет, Рок помог бы мне их развеять. Року известно все. Ему известны мысли людей даже раньше, чем они возникнут. Ты знаешь, что я переехал на другую квартиру. Это значит, что на днях мне пришлось отправиться в Институт и взять оттуда свои личные вещи. Не могу сказать тебе, как у меня жаль сердце, когда я в последний раз окинул взором то, что называл своим царством. Я пожал руки своим сотрудникам. Вид у них был удрученный.

В этом походе меня сопровождал Рок. Он даже помог мне потом перенести на шестой этаж все мои тетради, книги и прочее. Он разглагольствовал без умолку. Он мне сказал — так, между прочим, исподволь, — что газетные писаки вспомнили в своих подлых статьях о смерти Сенака и позволили себе кое-какие намеки, вероятно, потому, что проболтался Вьюом. Я вспомнил, что Вьюом и Рок сопровождали меня, когда я ездил, чтобы опознать тело бедняги Сенака. Действительно, вполне возможно, что он был недостаточно осторожен... А Рок, по-моему, малый просто непостижимый. Он не бесталанен, а последние его работы прямо-таки достойны внимания. Он не покидал меня в самые отчаянные дни и не скрывал этого. Третьего дня он мне сказал: «Будь уверен, что, если бы мне предложили твое место — я отказался бы». Я еще раздумывал над этой довольно загадочной фразой, как вдруг вчера вечером получаю по пневматической почте записку Вьюома. Я прочел ее не без смущения. Тебе, кажется, известно, что во время набора сотрудников для Института я прошел по конкурсу. Позже было издано постановление, предоставляющее

директору право назначать заведующих отделениями. Не хочу переписывать для тебя записку Вьюома, мне это было бы слишком тяжело. Знай только, что он, не без явного смущения, сообщает мне, что поговаривают о нем как о моем преемнике в Институте, что слух этот может дойти до меня, что вопрос еще не решен, но что если такое назначение и состоится, то он примет должность только с той целью, чтобы впоследствии вернуть ее мне, если, впрочем, война и т. д. и т. д. Все это сопровождается дружескими излияниями, от которых меня всего передернуло.

Ну, довольно о Вьюоме: я, пожалуй, буду несправедлив. Я часто бывал несправедлив к Року — это ясно. Я не могу сомневаться в его дружбе. Но мне она непонятна. Он досаждал мне, обижал меня, даже когда хочет услужить. И тем не менее бывали дни, когда я, не зная на кого бы опереться, мог обратиться только к нему, к нему одному. Я не говорю о тебе, старина мой, но ведь ты пропадаешь в Нанте!

Теперь он является со своей болтовней ко мне на улицу Гэ-Люссака. Вчера он воскликнул, покачивая головой:

— Поверь, вся эта возмутительная история — дело рук масонов...

Я чуть не рассмеялся. А на днях один приятель проходя сказал мне — прости меня, дорогой Жюстен, ты сейчас подскочишь, — что такого рода дела всегда подстраиваются евреями. Я даже ничего не ответил. У нас во Франции привычка в зависимости от политических убеждений объяснять все наши беды происками либо масонов, либо евреев, либо иезуитов. Это было бы смешно, если бы не было так прискорбно.

Последнее время, в бессонные ночи, я много размышлял. Я сражался не против Биро, не против Лармина, не против масонов и вообще не против какой-либо группировки, я сражался — неловко, слепо — с людской подлостью, с людской глупостью, с великими, неуловимыми темными силами.

Не хочу закончить это письмо, не признавшись тебе, что все мы (мы — это семья, несчастная семья Паскье, такая разрозненная, такая жалкая), все мы очень беспокоимся о папе, от которого уже две недели нет никаких вестей. Мама ничего не ест, она все больше погружается в мрачное безмолвие. Ты помнишь, конечно, что в начале

своего пресловутого романа папа рассказывал историю некоего Путийара, которого в его нелепом изгнании застигла война 1870 года. Если на днях вспыхнет война, что же станет с нашим несносным отцом, которого мы все еще достаточно любим, чтобы страдать из-за него?

Сесиль, с которой я после отставки вижусь почти ежедневно, в конце концов призналась мне. Двенадцать тысяч Жозефа, двенадцать тысяч, которые позволили папе бежать за тридевять земель и морей, оказывается, принадлежали вовсе не Жозефу. Эти деньги Жозефу ссудила Сесиль, ибо он не давал ей покоя, предлагая поместить капитал, как он выражается, «в дело». Несколько месяцев тому назад он спросил у нее, не согласится она вложить эту сумму в затеянное папой предприятие. Сесиль согласилась, остальное тебе известно. С тех пор Сесиль терзается мыслью, что она способствовала безумной выходке экстравагантного персонажа, коего я являюсь навеки изумленным сыном. Что же касается Жозефа, то я уверен, что не сбеги папа, так он, Жозеф, так или иначе присвоил бы себе капитал Сесили и что теперь он твердо убежден, что папа его околпачил.

Что же еще сказать тебе, старина? Сюзанна собирается пойти в сестры милосердия... Она уже сшила себе форменное платье. Но нет! Нельзя представить себе, что разразится война. Ее, конечно, не будет. Постарайся приехать в Париж, чтобы поделиться со мной своими соображениями насчет этих страшных дел.

Горячо обнимаю тебя.

Твой Лоран.

Глава XXI

Офицерский сундучок. Прощание со всем привычным. Любовь и дружба. Спокойствие и печаль Парижа. Жюстен Вейль жаждет обрести родину. Предвидение будущей идеологии. Доктор бессмертен. Г-же Паскье приходится вновь взять себя в руки. Остерегайся вспышек гнева. Люди поют на улице. Слезы на черном платье

Сундучок был наполовину пуст, так что Лоран без труда поднял его. Он решил:

«Снесу его вниз один, а то Жюстен может запоздать». То был черный сундучок, обитый железом, с малень-

ким нарисованным трехцветным флажком и фамилией владельца: Лоран Паскье, полковой врач.

— Остальное белье я сейчас возьму у мамы. Она пожелала собственноручно проверить его и починить, как в былые времена.

Он захлопнул крышку, сел на сундучок и задумался. Потом он поднял голову и стал оглядывать все, что его окружало: книги, этажерки, пианино, на котором ребенком играла Сесиль и струны которого жалобно вибрировали, когда наступали на некоторые дощечки паркета, картину Бренюга, написанную некогда в Бьевре и изображавшую огород, поросший цветущим маком, переносную печурку на керосине, хрипевшую, как шарманка, когда он работал зимними ночами.

— О чем вы думаете? — спросила Жаклина.

— Я прощаюсь.

— Нет! Нет! Вы вернетесь. Я уверена. Я ручаюсь.

— Может быть, и вернусь. Но сейчас я все же прощаюсь со всеми этими свидетелями дней, прожитых без вас. Я прощаюсь с ними без сожаления. И все-таки сердце шемит. Да, грустно прощаться — даже со своими страданиями.

Молодые люди молча обменялись долгим взглядом, потом Лоран сказал:

— Я совершенно спокоен и полон сил; мне кажется, я вполне достоин вас, дорогая Лина. Вот, возьмите ключ от квартиры. Если мне понадобится книга или что-либо другое, я обращусь к вам.

Лина с сосредоточенным видом взяла ключ. Она спросила:

— Когда отходит поезд?

— Я обязан явиться на вокзал к трем часам, тогда, вероятно, и будет поезд. Ах, кажется, идет Жюстен.

Жюстен торопливо, нервно постучался в дверь. Вошел он порывисто. Казалось, он не был особенно удручен событиями, однако был возбужден и болтлив. Он тридцать часов ехал из Нанта в Париж в переполненном поезде. Прибыв утром, он прямо с вокзала явился на улицу Гэ-Люссак и сказал Лорану, что приедет еще раз около полудня.

Друзья поцеловались, потом Жюстен отступил на шаг, взглянул на Лорана, на его краги, на красные штаны, на венгерку с золотыми пуговицами и спросил:

— Когда едешь?

— Сегодня, часа в три.

— Хорошо. Я провожу тебя. Ах!

При виде Жаклины он запнулся, раскрыв рот. Затем, отступя на шаг, он изящно, по-юношески и чуть театралью поклонился ей и сказал:

— Вы позвольте мне, мадам, проводить моего друга?

— Да нет же, н е т , — поправил его Л о р а н , — мы еще не поженились. Мы еще только собирались просить об оглашении. Война опередила нас.

— Ничего, со временем мы поженимся, — отвечала девушка. — Проводите, господин В е й л ь , — теперь уже пора.

— Помоги мне снести вниз сундучок, — сказал Л о р а н . — Мы возьмем за ручки. Подожди, я еще привяжу к нему накидку и с а б л ю , — и что еще? Ах, не забыть бы пояс и нарукавную повязку. Да, еще сумку. Надеюсь, нам удастся достать такси. Мы все втроем поедem завтракать к моим родителям.

— Что слышно о твоem отце?

— Он вчера возвратился.

— Ты виделся с ним?

— Как же я мог с ним увидеться? Я был занят сборами. Жозеф уехал сегодня утром. Я и не знал, что он интендантский офицер. У него чин капитана и чудесная форма. Он должен отправиться в Бельфор или в его окрестности, словом, в ту сторону.

— А Фердинан?

— Он в нестроевой части из-за близорукости. Его, кажется, направили куда-то в пригород Парижа. Поставим поклажу на тротуар, а я пойду за машиной. На улице Сен-Жак их всегда много, даже в эти тревожные дни.

— Просто удивительно, до чего Париж может быть спокоен, — заметил Жюстен.

— Ну, это зависит от района. В простонародных кварталах разгромили лавки. А в общем — спокойно. Франция опечалена, изумлена, полна решимости. А, вот извозчик! Мы отлично поместимся все трое вместе с багажом. Вы сядете вдвоем, а я примощусь на откидном сиденье. Мне надо хоть разок наглядеться на вас, когда вы рядом: на любовь свою и на друга. Не возражай, Жюстен. Сам понимаешь — это приказ.

Они разместились, и Жюстен поспешил сказать:

— Завтра я вступаю в армию на все время, пока будет война. В свое время я не отбывал воинской повинности, меня почему-то не взяли. Так я пойду добровольцем.

И он вдруг мрачно и вызывающе добавил:

— Ты знаешь, лет в двадцать я был сионистом. Это было после дела Дрейфуса, следовательно, у меня к тому имелись основания: мы достаточно пострадали. Но этому уже давно конец. Теперь мне хочется, хотя бы и очень дорогой ценой, приобрести право иметь родину. Чтобы быть интернационалистом, надо прежде всего иметь родину.

Он снял шляпу. Ветер развевал его рыжую шевелюру. Несмотря на ущерб, нанесенный временем, несмотря на одутловатость черт, несмотря на две-три глубокие морщины, уже бороздившие его лоб, к нему вдруг вернулось то несколько выпященное воодушевление, которым некогда, в детские годы, так восхищался Лоран. А Жюстен улыбнулся.

— Простите, — воскликнуло н , — простите. Простите, мадемуазель Мадам. Я все о себе. Порчу вам последние часы перед разлукой.

— Нет, н е т , — возразила Ж а к л и н а . — Нам не обязательно говорить. Видите: он держит меня за руку.

Они проезжали тогда под виадуком авеню Дюмен. Слышался гул переполненных поездов и крики ехавших в них людей. Жюстен напомнил:

— Я ведь давно еще говорил тебе, что войны не избежать.

— Н е т , — возразил Л о р а н , — ты мне ничего подобного не говорил.

— Говорил раз двадцать, но ты меня не слушал. Лоран, ты одержимый, ты думаешь только о своих делах.

Молодые люди обменялись несколькими дружескими колкостями, потом Жюстен продолжал с видом сведущего человека:

— Война будет страшная. Утром я встретил папашу Лависа, своего бывшего учителя. Он говорит, что война будет к тому же и длительной. Зато, когда она кончится, настанет царство порядка и справедливости.

— Н е з н а ю , — молвил Л о р а н . — Мне кажется, что это только твои мечты. Недавно пережитый мною опыт скорее разочаровывает. У людей всегда будет охота уничтожать, поедать друг друга.

Жюстен упрямо покачал головой.

— Любезный мой Лоран, — сказал он, — ты ничего не понимаешь в социологии. Ты кабинетный ученый и ничего не смыслишь в жизни народов. Я возвещаю тебе, торжественно возвещаю в этой старой неудобной пролетке, грядущее царство социализма. И я знаю, что говорю. Я человек опыта. А ты, во многих отношениях изумительный, все же очень поддаешься влияниям. Все твои суждения находятся в зависимости от личных твоих дел.

— Ну, это уж слишком, — возмутился Лоран. — Именно это я и сказал бы о тебе, если бы ты дал мне высказаться. Ну, вот приехали. Надо вылезать.

— Вот видите, мадемуазель Мадам, — сказал Жюстен, спрыгнув на тротуар, — так-то и ведется между нами уже лет двадцать. Вот каков ваш муж.

— Лина, — шепнул Лоран, входя в дом, — маму вы знаете, а с отцом еще не знакомы. Будьте снисходительны. Ах, как мало остается времени! Уже почти час.

Дверь им отворил сам доктор. На нем был светло-серый костюм в мелкую клеточку, ярко-зеленый, как стрекоза, галстук. Теплый сквозняк развеивал его вьющиеся, медно-русые, неседующие волосы. Чтобы не отставать от моды, он немного подстриг свои прекрасные галльские усы, но по старой привычке ласковым жестом все еще искал их на прежнем месте. Он тут же закричал:

— Люси! Люси! Это Лоран с будущей невесткой, если не ошибаюсь. Лоран в мундире! А вот и Жюстен Вейль! Дети мои, дайте расцеловать вас!

Он был беззаботен, весел, изящен и остроумен. Отъезд детей, война, потрясение целого мира были в его глазах всего лишь эпизодами блестящей комедии, в которой он чувствовал себя участником, неутомимым и бессмертным — именно бессмертным, как сам он говорил. Он поцеловал Лорана, потом Жюстена, потом Жаклину. Он кричал: «Люси, иди скорее! Пожалуйста, мадемуазель Беллек. Пожалуйста к свету, чтобы можно было разглядеть и, я сказал бы, полюбоваться вами. И ты иди, милый мой Жюстен».

Столовая выходила на бульвар. Стол был уже накрыт. Появилась г-жа Паскье. Она была, как всегда, в черном платье с белым кружевным воротничком. Увядшее лицо ее говорило об усталости, о скорби, страхе, смятении, успокоении, надежде и снова об ужасе. Она больше сорока лет терпела присутствие этого странного

человека, его бредни, вспышки гнева, прихоти, вытерпела его бегство, а теперь — возвращение. Она родила семерых детей, пережила войну и Коммуну, работала денно и ночью, выгадывала пятаки и гроши, тысячи раз поздним вечером дожидалась возвращения то одних, то других, детей и мужа, ухаживала за больными, утешала их, когда они бывали огорчены или обижены. И вот опять война прошествует по свету, зато муж, которого она уже считала утраченным навсегда, все же возвратился к семейному очагу. Но сыновья уезжают, и им грозит смертельная опасность, а она не умерла от горя и видит, что все надо начинать сызнова. Она расставляла на обеденном столе блюда, одному подавала его любимый бокал, другому тарелку с его любимым вензелем. Да, да, началась война, а ей все же удалось добыть у кондитерши миндальный пирог, который некогда понравился Лорану.

— Садитесь, — говорил доктор. — А я тоже иду на войну.

Жюстен рассмеялся:

— Как? И вы туда же?

— Да, дети мои, иду. Мы с немцами старые знакомцы. В семидесятом году я служил в национальной гвардии. Я участвовал в сражениях при Бюзенвале и Шампиньи. Итак, решено: я поступаю добровольцем.

— Рам! Рам! — остановила его г-жа Паскье. — Не говори вздора, а лучше подумай о Лоране; он, бедный мальчик, отправляется неизвестно куда.

Доктор заговорил серьезно:

— Вчера я виделся с Жозефом. Он рассказал мне, Лоран, о твоих недавних неприятностях. Да я и сам читал газеты. Жозеф сказал мне о том, чего не было в прессе, а именно, что ты, прости господи, плюнул в лицо этому... как его там... господину Мину, Минару, Люминару... Дорогой мой, это уже нечто из ряда вон выходящее. Со мной ничего подобного не случилось, хоть я и хорошо знаю, дитя мое, что такое удачный выпад. Застенчивые, как ты, легко выходят из себя. Сам знаешь, проблема застенчивости изучена мною много лучше, чем кем-либо. Позволь напомнить тебе: остерегайся вспышек гнева. Люси, где мой нож? Мой нож. Я хочу свой, другого мне не надо. Я сам схожу за ним. Стоит мне только отвернуться, пойти прогуляться, чтобы потеряли мой нож!

Он уже встал, порывисто, как юноша. Г-жа Паскье застонала, вновь растерявшись.

— Как вы его находите, Лина? — робко спросил Лоран.

Девушка пыталась улыбнуться.

— Нахожу очень симпатичным и даже очаровательным; да, именно очаровательным.

— Рам! — говорила г-жа Паскье. — Подумай о том, что Лоран уезжает. Не забывай, что Жозеф уже уехал, что Фердинан скоро уедет и что Сюзанна тоже уехала как сестра милосердия. Словом, что сейчас война.

— Я не забываю этого, раз сам иду добровольцем. Но я требую свой нож, единственный во всем доме, которым можно резать мясо.

— Подожди! Подожди! — вдруг сказала г-жа Паскье. — Прислушайся, Рам. Все прислушайтесь. Боже мой! Это еще что такое?

Окно было растворено. С бульвара, покрывая обычный уличный шум, доносилось громкое пение, сопровождаемое чеканным шагом небольшой толпы.

Лоран, Жюстен, доктор, а вскоре Лина и старая г-жа Паскье подбежали к окну. Мужчины, одетые в штатское, шли шеренгой по четыре, как солдаты на учении; они выходили из улицы Фальгиер и направлялись по бульвару. Они шли, сжав кулаки, размахивая руками, и хриплыми голосами, размеренно, степенно, пели «Марсельезу». Люди, остановившиеся на тротуарах, сняв шляпы, молча приветствовали их. Вскоре небольшой отряд исчез вдаль, в направлении бульвара Вожирар.

Лоран, Жаклина, а за ними и другие вернулись к столу. Воцарилась глубокая тишина.

— Когда мы вернемся с войны, — сказал наконец г-н Паскье, — я поделюсь с вами впечатлениями от Африки. Путешествие сногшибательное.

Снова стало тихо. Потом вдруг раздался страшный, душераздирающий вопль, вырвавшийся, казалось, не у живого существа, а из самых земных недр. По черному платью старой г-жи Паскье, которая уже давно разучилась плакать, одна за другой потекли крупные слезы.

Содержание

<i>О. Л. Тимофеева. Жорж Дюамель</i>	5
<i>Гаврский нотариус. Перевод М. Вахтеровой</i>	27
<i>Наставники. Перевод (главы I—X) О. Моисеенко и (главы XI—XXI) В. Финикова</i>	167
<i>Битва с теньями. Перевод Е. А. Гунста</i>	345

Жорж Дюамель

Хроника семьи Паскье

Гаврский

нотариус

Наставники

Битва с теньями

Редактор

О. Лозовецкий и Р. Родина

Художественный редактор

Д. Ермоленко

Технический редактор

Е. Полонская

Корректор

Л. Фильцер

Сдано в набор 14/V 1973 г. Подписано в печать 21/XI 1973 г. Бумага типографская № 3. Формат 84X108¹/₃₂. 16,5 печ. л. 27,72 усл. печ. л. 29,186 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 513. Цена 1 р. 71 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28. Отпечатано на полиграфкомбинате им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23.